неизвестный

ЮЛИАН Семёнов



УМРУ Я НЕНАДОЛГО...

Письма, дневники,
путевые заметки


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книгу вошли письма, дневники и путевые заметки Юлиана Семенова, а также воспоминания друзей и близких писателя. Бережно собранные его младшей дочерью, они не только ценные источники осмысления фактов и событий, но и познания внутреннего мира художника, его творческих исканий, жизненных сомнений.

Трудная юность, опасные командировки, конфронтация с бюрократической системой, семейные неурядицы — все это позволит читателю лучше представить творческую и личную жизнь известного писателя, родоначальника детективного жанра в нашей стране, Юлиана Семенова.

Несомненно, книга будет с интересом встречена читателями.

- Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго…
  - ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
  - ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
    - ВОСПОМИНАНИЯ МАМЫ Ю. СЕМЕНОВА, ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ НОЗДРИНОЙ
    - ВОСПОМИНАНИЯ КУЗИНЫ Ю. СЕМЕНОВА ГАЛИНЫ ТАРАСОВОЙ
    - ВОСПОМИНАНИЯ АКАДЕМИКА ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА
    - ВОСПОМИНАНИЯ УЧЕНОГО ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА
    - ВОСПОМИНАНИЯ АРТИСТА ВАСИЛИЯ ЛИВАНОВА
    - ВОСПОМИНАНИЯ РЕЖИССЕРА НИКИТЫ МИХАЛКОВА
    - ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЯ-ФРОНТОВИКА АЛЕКСАНДРА БЕЛЯЕВА
    - ВОСПОМИНАНИЯ РЕЖИССЕРА БОРИСА ГРИГОРЬЕВА
    - ВОСПОМИНАНИЯ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА КГБ

ВЯЧЕСЛАВА КЕВОРКОВА
- ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЯ ВАЛЕРИЯ ПОВОЛЯЕВА
- ВОСПОМИНАНИЯ АРТИСТА ЛЬВА ДУРОВА
- ВОСПОМИНАНИЯ БАРОНА ЭДУАРДА ФАЛЬЦ-ФЕЙНА
- ВОСПОМИНАНИЯ КРИТИКА И ПИСАТЕЛЯ ЛЬВА АННИНСКОГО
- ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЯ ГЕОРГИЯ ВАЙНЕРА
- ВОСПОМИНАНИЯ КИНООПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА КАРМЕНА
- ВОСПОМИНАНИЯ ФИЛОЛОГА ТАВРИЗ АРОНОВОЙ
- ВОСПОМИНАНИЯ ЖУРНАЛИСТКИ ТАТЬЯНЫ БАРСКОЙ
- ВОСПОМИНАНИЯ ПОЭТА ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА
- ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЯ ИРЖИ ПРОХАСКИ
- ВОСПОМИНАНИЯ ПРОФЕССОРА-НЕВРОПАТОЛОГА ВИКТОРА ШКЛОВСКОГО
- ВОСПОМИНАНИЯ БРИТАНСКОГО ИЗДАТЕЛЯ ДЖОНА КАЛДЕРА (Великобритания)
- ВОСПОМИНАНИЯ ИЗДАТЕЛЯ АЛЕКСАНДРА УИКАМА (Франция)
- ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЯ-ЮМОРИСТА ВЛАДИМИРА ХОЧИНСКОГО
- ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЯ ДМИТРИЯ ЛИХАНОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57

- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101

- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133

Неизвестный Юлиан Семенов. Умру я ненадолго… Письма, дневники, путевые заметки

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Уходит писатель. Остаются быстро желтеющие рукописи с его правкой, дневники, неразборчивые строки на разрозненных листочках, наспех записанные стихи, грустные и веселые письма, резкие и хвалебные рецензии и статьи, фотографии с такими знакомыми, но неуловимо изменившимися лицами уже ушедших людей (это верно, когда люди умирают, они смотрят с фотографий иначе). Одним словом, остается архив.

Слово само на первый взгляд суховатое, запыленное какое-то. Только на первый взгляд. Когда несколько лет назад я оказалась наедине с многочисленными коробками, в которые был сложен архив отца, мне стало не по себе. Как разобраться?! Боязливо открыла одну из коробок, взяла наугад какое-то письмо и… попала в давно забытые времена. По мере изучения этих документов передо мной вставал весь бурный, многогранный, с водоворотами людей и событий мир отца и он сам. С друзьями — громогласно хохочущий; за рабочим столом — предельно серьезный и собранный; с противниками — яростно защищающий свою точку зрения. Но всегда настоящий и искренний. Архив открыл целые пласты его жизни, о которых он почти никогда не рассказывал, в том числе время политической «отсидки» деда и ничем не омраченные первые годы его жизни с мамой. Мне было невероятно интересно, и не думаю, что фактор родства в данном случае сыграл существенную роль, — скорее значительность личности предопределила значительность архива. Однажды Сергей Николаевич Дмитриев, главный редактор издательства «Вече», где уже вышли многие произведения отца, поинтересовался:

— А что с архивом Юлиана Семеновича?

— Лежит дома, — понуро ответила я.

— Плохо! — со свойственной ему решительностью сказал Сергей Николаевич. — Архивы надо печатать.

Так и появилась идея выпустить двухтомник «Неизвестный Юлиан Семенов», включив в него архивные документы, неопубликованные или малоизвестные произведения отца и воспоминания его друзей.

Мама помогла разобрать сложный папин почерк в рукописных письмах, старшая сестра пересняла и отреставрировала старые фотографии, друзья рассказали о нем — искренно и честно, без прикрас — как и должно истинным друзьям. Спасибо им.

Автора вошедшего в историю Штирлица не назовешь

баловнем судьбы. Сын «врага народа», в девятнадцать лет он оказался противопоставлен отлично отлаженной государственной машине уничтожения наиболее здравомыслящих и отстаивал невиновность отца, писал жалобы в органы, рискуя не только студенческим и комсомольским билетами, но и свободой. Мало кто поддержал его в тот момент. Среди немногих — институтский товарищ Евгений Максимович Примаков. Позднее, став писателем, отец никогда не использовал связи тестя — Сергея Владимировича Михалкова. Работой — колоссальной, каждодневной, без жалости к себе — добился читательского признания.

Завистников у Семенова хватало, да это и естественно — талант никогда не оставлял равнодушными неудачников. Но только один из них позволил непозволительное — открытую клевету. Речь идет о писателе Анатолии Гладилине. Еще в 1980-е годы, работая на «голосах», оплачиваемых западными разведслужбами, он обвинял Семенова в том, что тот, дескать, полковник КГБ и за границу ездит не для сбора материалов для новых романов о Штирлице, а для выполнения секретных заданий. Продолжает клеветать и сейчас, много лет спустя после смерти прославленного и любимого россиянами автора. Его «Попытка мемуаров» — некая смесь из кухонных дрязг, бабских сплетен и абортированных злостью творческих задумок. Плохая «попытка», одним словом.

Один из героев повести, написанной отцом, говорил: «Каждый человек — это верх чуда, и нет ничего чудовищнее определения человеку „простой“». Это справедливое утверждение как нельзя лучше подходит к самому писателю. Он был необычен, многогранен, сложен, порой противоречив, но в определенных вопросах неизменен. Неизменной была его любовь к работе, к нам, дочерям, к России, без и вне которой он себя не мыслил. Отец часто выезжал в горячие точки: работал военкором «Правды» во Вьетнаме, летал на Северный полюс, в Афганистан, Никарагуа, был собкором «Литературной газеты» в Германии, собирал материалы для романов «Экспансия» (продолжение Штирлица) в Латинской Америке, участвовал в международных конгрессах писателей, — одним словом, объездил весь свет. Из всех странствий спешил домой с либеральными идеями и творческими задумками. Даже в самые мрачные времена застоя не возникла у него идея «выбрать свободу» — он столь остро ощущал свою принадлежность России, что думать о своем благополучии вне ее не хотел. Видя недостатки и проблемы строя, желал кардинальных перемен, но считал, что изменения должны быть серьезно продуманы, проводиться в интересах самых широких

слоев населения и в рамках закона и логики, а не стихийно. Он не был членом партии, но верил в возможность социализма европейской модели — с частной собственностью, свободой предпринимательства, открытыми границами, конвертируемым рублем и сохранением в руках государства недр — всего лишь. Увы, большинство было настроено менее романтично, и отцу это стало ясно. Накануне «смутных времен», не побоюсь сказать — голодной зимой 1989 года, в откровенном разговоре с дочерью Дарьей — художницей, он признался: «Грядет хаос, если вы с мужем решите поработать некоторое время за границей, — я пойму». «А как же ты, папа?!» — спросила она. «Я останусь до конца. Создатель Штирлица уехать из России не имеет права». Эта преданность своей стране и чувство личной ответственности за миллионы поверивших ему читателей предопределяли все его поступки. Фразу одного из отцовских литературных героев — писателя Никандрова из «Бриллиантов для диктатуры пролетариата»: «Мою землю, кто бы ею ни правил, люблю», можно считать и его жизненным кредо.

Легко было критиковать в те времена драконовские советские порядки из-за кордона, значительно сложнее — писать, оставаясь в стране за железным занавесом. Юлиан Семенов выбрал последнее, и, если сейчас молодые россияне (как и их родители когда-то) с интересом читают его книги и смотрят фильмы по его произведениям, значит, все он в своей писательской жизни сделал правильно.

«Нельзя быть Иванами, не помнящими родства» — часто повторял отец, считавший святым долгом каждого живущего хранить память об ушедших, а в письме к замечательному русскому танцору Лифарю сказал: «Жизнь человека — это память по нем».

Если писателя Семенова знают миллионы, то Семенова-человека помнят все меньше и меньше. И горько это, ибо человеком он был редкостным. Надеюсь, что благодаря этому сборнику читатели смогут убедиться в этом сами.

Ольга Семенова

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ ЮЛИАН СЕМЕНОВ О СЕБЕ, О РАБОТЕ, О ШТИРЛИЦЕ

У каждого человека есть альтернатива: либо смириться и бездействовать, либо пытаться сделать хоть что-нибудь. Пусть не хватит сил, но попытка подняться похвальна.

Юлиан Семенов

Чтобы добыть огонь, надо высечь искру. Высекание — это длительный и шумный труд, это как речи писателя, в то время как его истинный труд — это искра. Важно, на что обращают внимание: на процесс высекания или на саму искру; на речи или на книги. Процесс высекания — либо самолюбование, либо сбор материалов для книги об огне.

Я далек от того, чтобы считать, будто смог добыть огонь. Но прилагал максимум усилий, чтобы высечь хоть какую-то искру. И процесс высекания этой искры был для меня великолепным поиском, который начался давно: может быть во время первой бомбежки Москвы, — а ведь я тоже пел: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей земли не отдадим», но и тогда, в этом ужасном и страшном, я видел друзей отца — писателя Владимира Лидина и журналиста Эзру Виленского, которые, чтобы преподать мне урок самообладания, во время бомбежки терли друг другу спины в маленькой ванной на Спасо-Наливковском, и мне, десятилетнему, было стыдно выбегать на улицу и блевать от страха.

Может быть, этот процесс высекания продолжался в Берлине, на развалинах Унтер-ден-Линден, весной 45-го, когда я познакомился мальчишкой с Берзариным, Боковым, Телегиным, Лесиным и воочию увидел высокое достоинство победителей? Может быть, это случилось в 52-м, в Институте востоковедения, где я впервые понял — до слез горькую — цену мужской дружбы? Или наблюдая моего научного руководителя И. Рейснера в МГУ, — не знаю, когда точно: даты важны для некролога или, в лучшем случае, энциклопедии. Во всяком случае, если без точных дат не обойтись, то осенью 1955-го я пришел в «Огонек», и полетел в Таджикистан как их спецкор. С тех пор я благодарен

журналистике, которая так помогала высекать искру, в быстром свете которой мне посчастливилось видеть лица Хо Ши Мина и Луиса Корвалана, принца Суфанувонга и Дюкло, Твардовского и Орсона Уэллса, Петра Олейникова и Вана Клиберна, советника Джона и Роберта Кеннеди Пьера Сэлинджера — за день перед убийством Бобби, и Матадора Домингина — друга Хемингуэя, Шандора Радо и подруги Зорге — Иисии, помощника Даллеса — Пола Блюма и помощника Канариса — Бамлера; в эти же годы я смотрел в глаза генералу Пиночету — тогда он козырял Альенде, доктору Веддингу — полковнику СС Швенду, ныне арестованному в Перу; жизнь сводила меня с одним из лидеров «Роте армее фракцион», Хорстом Малером, арестованным ныне, с американскими летчиками, которые прилетали на отдых из Сайгона — на Борнео, с летчиками, которые начали летать в 45-м году, защищая Берлин от американской, союзной нам авиации; со многими людьми сводила жизнь — и за это я благодарен журналистике, ибо с нее начался отсчет времени в моей работе…

Однажды, встречаясь с читателями на конференции в библиотеке, мне пришлось отвечать на вопросы: «Как можно стать писателем? Какие есть учебные пособия? Как можно поступить в Литературный институт?» Сначала я думал посмеяться над их детской наивностью, но потом решил, что это неверно, потому что паренек, который интересовался литературной учебой, был славным, улыбчивым и каким-то обнаженно-доверчивым. Я глубоко убежден, что литературе нельзя выучиться в институте. Лучшие университеты писателя — это жизнь. Но если и существует в мире главное учебное пособие, так сказать инструмент, помогающий становлению писателя, то это, бесспорно, журналистика. Бросив рассказы, доктор Чехов поехал как журналист на Сахалин. Отрываясь от своих губернаторских обязанностей, писал очерки Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. С фронта в газету писал репортажи Алексей Толстой, шолоховская военная публицистика оказалась предтечей «Судьбы человека», герои леоновских корреспонденций становились глыбами — характерами в его прозе. У Симонова есть книга «Остаюсь журналистом». Зависть — дурное человеческое качество, но я, признаться откровенно, завидую этому великолепному и простому заголовку, в котором большой писатель присягает на верность тому университету, без которого не может быть настоящей литературы…

Моя первая книга «Дипломатический агент» была издана в 1958 году. В основу, как и во всех остальных моих романах, положен исторический факт, весьма любопытный. В 1821 году в Вильне царский суд приговорил к смерти — с заменой на

пожизненную солдатчину — участников подпольного общества «Черные братья». Старшему заговорщику было семнадцать лет, младшему — Ивану Виткевичу — четырнадцать. Мальчик был талантлив, от роду талантлив. Сосланный в орские степи, он выучил восемь восточных языков, составил словари персидского, афганского, киргизского, казахского языков. Его «открыл» — причем совершенно случайно — великий ученый Александр фон Гумбольдт. Виткевича приблизил к себе губернатор Оренбурга Василий Перовский, и ссыльный волею судеб сделался первым русским послом в Кабуле. В Афганистане мне пришлось по крупицам собирать крохи сведений об Иване Виткевиче, и месяцы, проведенные в этой замечательной стране, которая до сих пор романтична и таинственна, остались навсегда как праздник.

Импульсом к написанию повести «При исполнении служебных обязанностей» стал первый полет на полюс в 1961 году и случайная встреча с ветеранами полярной авиации Героями Советского Союза Марком Ивановичем Шевелевым и Ильей Павловичем Мазуруком, прославленными генералами, великими авиаторами нашей эпохи. В Арктике до сих пор говорят, даже молодые летчики — чечако, которые в глаза не видели ветеранов: «Не будь дураком, летай с Мазуруком!»

Я часто вспоминаю слова поэта: «Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех, обидно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех». Действительно, что же «отдавать»? В наш век информации читателя не удивишь изыском формы или поверхностным скольжением по теме. В Варшаве один друг познакомил меня с математиком, занимающимся аналитическим расчетом информации, заложенной в творчестве разных поэтов. Абсолютная, стопроцентная информация была заложена в строчке Пушкина из «Каменного гостя»: «Ах, наконец достигли мы ворот Мадрида». Здесь каждое слово несет в себе информацию: «Ах» — усталость, «наконец» — протяженность, «достигли» — преодоление препятствий, «ворот» — Средневековье, «Мадрида» — столица Испании. Сейчас ребенок пяти лет знает больше, чем его сверстник пять лет назад; телевизор, приемник, книги стали привычными в быту каждого дома. Литература сейчас претерпевает внешне невидимую, но тем не менее важную «технологическую революцию»: если раньше сцену цветения можно было описывать на десяти страницах и читатель был благодарен писателю за эту неторопливую описательность, то ныне телевидение, цветное фото и кинематограф подложили нам свинью — они все это делают емче, компактнее и экономнее — во времени и средствах выражения. Французские импрессионисты

победили мир, когда фотография и цветная печать стали бытом. Живопись претерпела изменение — от скрупулезной точности художники перешли к самовыражению чувств. «Самоотдача» живописца очевидна, «самоотдача» писателя сложнее — из массы увиденной и перечувствованной информации нужно выбрать сгусток, основу, которая станет смыслом, счастьем и болью книги или фильма.

Призвание, как любовь. Родившись в человеке, оно, если истинно, подчиняет его себе целиком. История — то есть политика, опрокинутая в прошлое, позволяющая при этом относиться к будущему с той мерой серьезности, которую предполагает истинное знание, — завладела мною в детстве, и я благодарен моим учителям в Институте востоковедения и на историческом факультете МГУ за ту одержимость, которую они смогли передать мне. Распространенное мнение о том, что труд историка — труд тихий, спокойный, кабинетный, сугубо неверно. Истинный исследователь фактов подобен хирургу, зодчему, военачальнику: он подчинен идее, он всегда в поиске, он ощущает в себе яростное столкновение разностей, из которых должна родиться концепция того или иного эпизода истории. Казенное определение — «эпизод истории» включает в себя борение пушкинских и шекспировских страстей, взаимосвязанность миллионов и личности, добра и зла, прозрения и обычности, подвижничества и прозябания.

Чехов утверждал, что тот, «кто выше всего ставит покой своих близких, должен совершенно отказаться от идейной жизни». Я видел, как профессор Арциховский, великий русский археолог, проводил годы вне дома, ибо он отдал себя служению своей идее: понять и объяснить великую роль Новгорода в истории славянства. Я помню, как Игорь Михайлович Рейснер, выдающийся русский историк Востока, брат легендарной Ларисы Рейснер, не знал покоя, посвятив себя исследованию поразительной, трагической и поэтической истории Афганистана.

Литератор, отдавший себя служению истории, оказывается в положении особом: он обязан былое сделать сегодняшним, он должен вдохнуть в прошлое — живое дыхание реальности, похожести и понятности. Вне и без героя, который бы шел сквозь пласт истории, труд писателя обречен — плохая иллюстрация в век цветной фотографии смотрится жалко и беспомощно.

В свое время умный Сенека сказал: «Для меня нет интереса знать что-либо, если только я один буду это знать. Если бы мне предложили высшую мудрость под непременным условием, чтобы я молчал о ней, я бы отказался». Когда и если ты у з н а л, возникает главная проблема: как это твое знание сделать

предметом литературы: если не озадачить себя этим вопросом, книги твои будут пылиться на библиотечных полках. Как отдать твое знание, как организовать эту задачу — вот вопрос вопросов литературы, которую мы называем исторической.

Успех работы печника или столяра зависит от качества инструмента. Понятия «ремесло» и «ремесленник», рожденные одним корнем, обладают, тем не менее, кардинально разным смыслом. Именно литературное ремесло должно помочь тебе найти единственно правильный ответ.

Литература может быть любой, она не имеет права быть скучной. В наш век избыточной информации чувство становится инструментом знания, неким экскурсоводом в драматических коллизиях истории.

Когда я задумал первую книгу из цикла политических хроник о Штирлице, я больше всего думал о том, как организовать исторический материал. Я считал, что сделать это можно, лишь пропустив события сквозь героя, сплавив воедино категорию интереса и политического анализа, исторической структуры и судьбы человека, оказавшегося в яростной круговерти громадных событий прожитого нами пятидесятилетия. История нашей Родины такова, что человек, родившийся вместе с двадцатым веком, должен был пройти через события революции, Гражданской войны, испанской трагедии, Великой Отечественной войны. Как быстролетен — с точки зрения исторической ретроспективы — этот пятидесятилетний миг и как он насыщен событиями, поразительными по своему значению. Иной век былого не уместился бы в месяц недавнего прошлого. «Кирпичи» фактов истории обязаны быть накрепко сцементированы сюжетом, который не только развитие характеров, но — обязательно — интерес, заключенный в личности, которая пронизывает все повествование. Такой личностью оказался Максим Исаев, он же Всеволод Владимиров, он же Макс Штирлиц.

Я получаю множество писем сейчас. На конверте адрес: «Москва, Союз писателей, Семенову для Исаева-Штирлица». Разные люди, разных возрастов, национальностей, вкусов, просят дать адрес Максима Максимовича Исаева, чтобы начать с ним переписку. Мне даже как-то неловко отвечать моим корреспондентам, что Исаев-Штирлиц — персонаж вымышленный, хотя точнее следовало бы сказать вымышленно-собирательный…

Летом 1921 года в редакциях нескольких владивостокских газет — а их там было великое множество — после контрреволюционного переворота братьев Меркуловых, которые опирались на японо-американские штыки и соединения

китайских милитаристов, появился молодой человек. Было ему года двадцать три, он великолепно владел английским и немецким, был смешлив, элегантен, умел умно слушать, в спорах был доказателен, но никогда не унижал собеседника. Главными его страстями — он не скрывал этого — были кони, плавание и живопись. Человек этот начал работать в газете. Репортером он оказался отменным, круг его знакомств был широкий: японские коммерсанты, американские газетчики и офицеры из миссии, китайские торговцы наркотиками и крайние монархисты, связанные с бандами атамана Семенова.

Покойный писатель Роман Ким, бывший в ту пору комсомольцем-подпольщиком, знал этого газетчика под именем Максима Максимовича.

В Хабаровском краевом архиве я нашел записочку П. П. Постышева Блюхеру. Он писал о том, что переправил во Владивосток к белым «чудесного молодого товарища». Несколько раз в его записках потом упоминается о «товарище, работающем во Владивостоке очень успешно». По воспоминаниям Романа Кима, юноша, работавший под обличьем белогвардейского журналиста, имел канал связи с П. П. Постышевым.

Об этом человеке мне также много рассказывал В. Шнейдер — друг Виктора Кина, работавший во владивостокском подполье.

Когда Меркуловы были изгнаны из «нашенского города», Максим Максимович однажды появился в форме ВЧК — вместе с И. Уборевичем. А потом исчез. Вот, собственно, с этого и начался мой герой — Максим Максимович Исаев, который из романа «Пароль не нужен» перешел в роман «Майор Вихрь» (в одноименный фильм он не «попал» из-за обычной в кинематографе проблемы «метражности». В романе Штирлиц-Исаев — отец помощника Вихря по разведке, «Коли»), а уж потом из «Майора Вихря» — в роман «Семнадцать мгновений весны» и затем в роман «Бриллианты для диктатуры пролетариата».

Увы, у нас еще бытует слащаво-мещанское представление о работе разведчика. Иногда наталкиваешься на пожелание: «Вы ведь пишете детектив, придумайте какие-нибудь лихие повороты! Ваш разведчик бездействует, не проявляет себя». По-моему, такое мнение рождено детской привязанностью к «Трем мушкетерам», с одной стороны и презрением к литературным поделкам о манекенах «с седыми висками и усталыми, добрыми глазами» — с другой. Пожалуй, нет спора, что важнее: похитить — с многими эффектными приключениями, погонями, перестрелками и таинственными перевоплощениями — «ключи от сейфа» или же, находясь в стане врага, внешне ничем себя не выделяя и никак «героично» не проявляя, дать серьезную оценку положения,

высказать свои предположения о настоящем и будущем. Но если похищение ключей (я нарочно огрубляю) втискивается в требование, предъявляемое к детективу, то анализ, размышление, исследование — экономическое, военное, историческое — никак в эти рамки не входят.

Максим Максимович Исаев, работая во Владивостоке в стане оккупантов, должен был «пропустить» через себя, понять и выверить информацию о настроениях в «Черном буфере», которую он ежедневно получал как газетчик, легально, не прибегая к «бондовским» сверхэффектным трюкам. При этом следует учесть, что контрразведка белых во главе с опытным офицером охранки Гиацинтовым сугубо внимательно относилась к газетчикам, имевшим широкий круг знакомств среди самых разных слоев общества. Только благодаря тому, что друзьями Исаева были настоящие люди, предпочитавшие смерть предательству, он смог выиграть поединок с начальником белой контрразведки. Солдатам ставят памятники, об их подвиге пишут; подвиг же разведчика молчалив и безвестен, и чем более он неприметен, тем весомей он.

Сюжет романа «Пароль не нужен» я не выдумывал — просто шел по канве исторических событий. Вообще, когда детектив базируется на факте, на скрупулезном изучении эпохи, предмета, конкретики, именно тогда появляются «Тихий американец», «Наш человек в Гаване», «В одном немецком городке», «Сожженная карта». Я убежден, что чем дальше, тем больше детектив будет переходить в жанр документальной прозы, — этим он прочно утвердит свое место в «серьезной» литературе.

Когда я начинал «Майора Вихря», в моем распоряжении были материалы, связанные с группой «Голос», которая действовала в Кракове, — резидент Е. Березняк, заместитель по разведке А. Шаповалов (об этой группе впоследствии была написана документальная повесть «Город не должен умереть»). Были записи бесед с польскими товарищами — Зайонцем, Очкошем, был рассказ польских друзей о том, как в окружении Кейтеля, когда он прилетал в Краков из Берлина, находился человек в форме СД, связанный с глубоко законспирированным подпольем. Были, наконец, беседы с генералом Бамлером, в прошлом одним из ближайших сотрудников адмирала Канариса. Сейчас я встречаю во многих газетах статьи с сенсационными заголовками о живом и здравствующем «майоре Вихре». Считается, например, что я писал образ Вихря с Е. С. Березняка. Это неверно. Да, действительно, я взял один эпизод из жизни Е. Березняка — его бегство от гестаповцев с краковского рынка, но характер Вихря, его облик, его манеры, его привычку говорить и думать я

«списывал» с моего доброго друга, писателя Овидия Горчакова, которого многие знают как одного из авторов фильма «Вызываем огонь на себя» и немногие — как разведчика, сражавшегося в фашистском тылу. Образ связника Исаева — биржевого маклера Чена — я писал с двух людей — с Р. Н. Кима и В. Н. Шнейдера.

Таким же подвигом, как бегство Березняка от гестаповцев, была работа Алексея Шаповалова, внедрившегося в абвер к полковнику Бергу. Вообще, консультировавший «Майора Вихря» генерал — он был в дни войны во фронтовой разведке — рассказывал, что в окрестностях Кракова работало во время войны несколько групп военной разведки и каждая их этих групп еще ждет своего писателя, ибо подвиги их поразительны.

Когда я беседовал в Кракове с человеком, знавшим советского нелегала из окружения Кейтеля, «офицера СД», я попросил дать словесный портрет нашего разведчика. Интересно, что словесный портрет, данный польским товарищем, удивительным образом совпадал с описанием Максима Максимовича Исаева — покойный Роман Ким совершенно великолепно и очень точно обрисовал мне «белогвардейского газетчика». Именно это и заставило меня допустить возможность «перемещения» Максима Максимовича в Германию.

Я спрашивал потом генерала Бамлера, человека, прошедшего сложный путь — от помощника Канариса в абвере до борьбы против Канариса в комитете «Свободная Германия»: «Допускаете ли вы возможность работы русского разведчика в абвере или СД?» Генерал ответил, что русскую разведку он считал самой талантливой и сильной разведкой в мире. Бамлер также проанализировал по моей просьбе возможность работы на советскую разведку высокопоставленного офицера абвера. Он даже назвал фамилии тех офицеров восточного управления абвера, которые, по его мнению, могли начать работать на нас, поняв неизбежность краха гитлеризма. Отсюда родился образ полковника Берга.

Особенно много вопросов читатели задают о романе «Семнадцать мгновений весны»: насколько события реальны и сколь точна историческая первооснова происходившего?

В переписке Сталина с Рузвельтом и Черчиллем есть совершенно определенное утверждение, что советскому руководству стало известно о сепаратных переговорах Гиммлера — Даллеса от «моих информаторов, — как писал Сталин, — Это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле».

И снова я засел в библиотеки, переворошил множество

переводов английских, американских, немецких источников, выстроил точную схему исторических событий, а потом занялся поисками «контрапункта» провала переговоров Гиммлера и Даллеса. Смешно считать Гиммлера и Даллеса слабыми противниками, это были серьезные контрагенты в смертельной схватке. Но в ряде узловых моментов, когда, казалось бы, до заключения сепаратного соглашения рукой подать, включились невидимые мощные рычаги, и все летело в тартары. Случайность?.. Смешно верить в слишком уж закономерные случайности.

В Токио я встретился с одним из помощников Даллеса — мистером Полом Блюмом. Память у него великолепная, и он подробно, с деталями рассказал о том, как первым начал переговоры с двумя представителями генерала Вольфа — доверенного Гиммлера — в Швейцарии весной сорок пятого года.

И снова мне помогал генерал Бамлер, рассказывая о тех немцах — интеллигентах, которые втягивались в антифашистскую борьбу — не с самого начала, а когда крах гитлеризма стал очевиден каждому здравомыслящему человеку.

Берлинцы показывали мне, где был бар «Мексико» и «Цыганский подвал», — эти хитрые места гестапо, где прослушивались все разговоры посетителей; показывали мне то место, где находился кабачок «Грубый Готлиб», — точность в описании «атрибутов» исторического повествования так же необходима, как выверенность факта и четкость позиции.

С большим трудом мне удалось найти охотничий домик Гиммлера и Гейдриха. Побывал я и в Каринхалле — замке Геринга, разрушенном в дни войны! На лесную дорогу, которая ведет в Каринхалл, выбегали олени и долго смотрели на нас: с тех пор как рейхсмаршал перестал стрелять из лука, животные привыкли к людям, не боятся их и уходят с дороги, лишь если шофер резко им посигналит…

В охотничьем домике Гиммлера — его последнем пристанище перед бегством на север — живет крестьянин. Он не знает, естественно, о том, что где-то здесь, неподалеку, зарыто несколько узников концлагеря, работавших до последнего дня садовниками, — палачи любили наслаждаться ароматом цветов…

Любезная фрау Мантай в киноархиве в Бабельсберге помогла мне познакомиться с уникальными кинодокументами о гитлеровском руководстве, и я просмотрел все выпуски немецкой хроники за последние два года войны.

Много трудностей у меня было с описанием гитлеровцев…

Как дать портрет шефа гестапо Мюллера — человека, именем которого пугали детей, палача и вандала? Как написать

блестящего, «интеллигентного» Шелленберга, который в своих кокетливых мемуарах прилагал максимум усилий, чтобы «сохранить лицо» и выставить себя этаким холодным профессионалом… Можно было пойти по пути «ужесточения» этих бандитов, но «ужесточить» их, огрубить значило бы облегчить задачу нашей разведке — с глупым болваном, изрыгающим проклятия, не так уж трудно сладить, а вот с людьми, которые подмяли под себя всю Европу, — с этими куда как сложнее. Я решил попросту сложить нужные мне факты из биографий нацистов. И когда я соединил интересующие меня материалы в некие биографические справки, то получилось, что правда — не подправленная, без всякого тенденциозного переосвещения — и будет «самым верным цветом на верном месте».

Много мне помогал покойный писатель Лев Шейнин, принимавший участие в Нюрнбергском процессе, — его рассказы о Геринге и Гессе отличались точностью, он много раз говорил с Герингом, и тот поведал ему целый ряд историй, ранее никому не известных.

Не могу не поблагодарить Романа Кармена, который в течении восьми месяцев прожил в Нюрнберге, работая над своей картиной «Суд народов».

Порой литература — в ее формальном выражении — оказывается подобной биллиарду. Удар одного шара по крепко сложенной «пирамиде» вызывает непредугадываемые движения по шершавому зеленому сукну стола, освещенного низкой и яркой лампой, словно бы обязывающей к тщательности, логике, точности.

Роман «Бриллианты для диктатуры пролетариата» начался с ленинского тома, где была приведена его записка члену Коллегии ВЧК Глебу Ивановичу Бокию по поводу хищений драгоценностей из Гохрана РСФСР. Драматизм этой записки был сам по себе законченным сюжетом для романа. В архиве Октябрьской революции я познакомился с запыленными папками Гохрана. Потом — поездка в Таллин, работа в библиотеках и архивах, встречи с самыми разными людьми, сбор по крупицам фактов, из которых должна была вырасти правда того времени.

Десять весенних дней сорок первого года, события в Югославии, реакция на эти события в Москве, Берлине, Лондоне и Вашингтоне, позволили мне подойти к серьезнейшей проблеме национализма в системе межгосударственных отношений.

Месяц, проведенный в Югославии с учеными, работа в архивах Белграда и Загреба, две недели, проведенные на маленьком острове Муртер, в доме рыбака Младена Мудрони-

Бакарелла, который по утрам угощал меня рыбой, жаренной на оливковом масле, которое он сам давит, пробуя на пальцах, словно нефтяник — первую нефть, позволили мне написать роман «Альтернатива» и, как прямое его продолжение, после работы в институтах и библиотеках Польши и Чехословакии, после громадной помощи украинских ученых — роман «Тридцатое июня».

Можно ли считать, что Максим Исаев-Штирлиц, действующий в этих исторических хрониках, — фигура выдуманная? Ни в коем случае. Образ этого разведчика «списан» с нескольких ныне здравствующих людей, которым хочется принести благодарность за их великолепную, честную и смелую жизнь.

Глава первая
ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Счастье литератора — это когда он уверен, что его книги читают. В этом отношении я человек счастливый. О читателе я лишь и думаю, когда пишу, а не о том, как понравиться скорбным литературным снобам.

Юлиан Семенов

По статистике Юлиан Семенов был одним из самых читаемых писателей. Читали его люди самых разных возрастов и профессий: рабочие, ученые, учителя, шахтеры, ветераны войны и, наверное, самые дорогие для любого литератора читатели — школьники. Ведь дети как никто чувствуют фальшь и если писателю удалось завоевать их сердца, значит он по-настоящему искренен. Все они Семенову писали.

Сколько же он получил писем от читателей?! Сотни, тысячи! Сосчитать сложно. Маленький эпистолярный ручеек, взявший начало в конце пятидесятых годов, после выхода первой книги «Дипломатической агент», быстро превратился в бурный, часто захлестывающий поток похвал, благодарностей, дельных замечаний, поэм. Многие письма заканчивались робкой просьбой помочь достать книгу — ведь в те времена дефицитом было все, в том числе и любимые книги. Длинные очереди выстраивались не только за изредка «выбрасываемыми» на прилавок бананами и колбасой, но, к чести россиян, считавшихся самым читающим народом мира, и за книгами хороших писателей.

Отец старался отвечать всем, но чем дальше, тем сложнее это становилось — слишком много писем, слишком мало времени. В восьмидесятые годы ему помогал литературный секретарь Андрей Черкизов, лихо разбиравший корреспонденцию и рассылавший надиктованные ответы.

Часть писем сохранилась в нашем семейном архиве. Они прекрасны своей искренностью и сдержанной мудростью — за ними видятся светящиеся интересом, думающие лица людей, приходивших на читательские встречи.

Быть может, кому-то некоторые строки покажутся наивными, но наивность эта придает их авторам лишь большую

привлекательность, ибо свидетельствует об их умении радоваться, удивляться, верить и мечтать, которого нам теперь порой так не хватает.

Когда за фильм «Семнадцать мгновений весны» власти наградили всех, кроме Юлиана Семенова — автора сценария, он выдержал во многом благодаря замечательным письмам. Они стали для него лучшей наградой — наглядным доказательством народного признания.

Как наши ветераны войны со сдержанной гордостью хранили боевые медали и ордена, так отец хранил письма читателей. Вот несколько из них.

* * *

В Союз писателей

Уважаемые писатели!

Пишет Вам Сафронова Любовь Владимировна, 30 лет, заведующая подростковым клубом. Я работаю 7 лет с подростками от 12 до 18 лет. И вот какая у меня возникла проблема. Я проводила анкетирование среди подростков моего клуба. На вопрос «Кто из писателей вам больше всего нравится?» из 120 подростков 114 назвали Юлиана Семенова. Все они смотрели фильмы Ю. Семенова. Вместе мы прочли его публикации в «Огоньке», в «Ниве» и других журналах. Хотели взять его книги в библиотеках города, но, увы, — его нельзя достать. А купить в магазинах невозможно. А как же нам поподробнее познакомиться с его творчеством? Мы бы хотели узнать его адрес.

С уважением, Пенза, ул. Бийская, 15—2.

Подростковый клуб «Искатель».

* * *

Товарищ Семенов!

У меня к Вам очень большая просьба. У меня сын инвалид Армии, приравнен к инвалидам Отечественной войны. Объяснять не буду, Вы человек умный. Уже несколько лет сидит в коляске — поврежден позвоночник. Очень любит Ваши книги.

Живем в маленьком городке, достать их невозможно. Люди мы рабочие. А за Вашими изданиями гоняются, как во время войны за хлебом.

У меня к Вам просьба очень большая. Хотя бы посоветуйте, где подписаться на Ваши издания, может быть Вы нам чем-нибудь поможете. Мы купим везде, если даже придется за ними поехать.

Больше ничего нет на свете у моего сына, кроме книг. Здоровье ему не светит. Очень Вас просим, помогите.

Счастья Вам и здоровья за Ваши прекрасные книги.

С уважением,

Ашаев Юрий Александрович.

412340, г. Балашов. Саратовская область. Ул. Юбилейная, 36–40.

* * *

Здравствуйте, уважаемый Юлиан Семенович!

Пишет Вам группа Уфимского Высшего Военного Авиационного училища летчиков. Мы очень интересуемся Вашими произведениями, главным героем которых является М. М. Исаев (Штирлиц).

В фильме «Семнадцать мгновений весны» показана только часть жизни прославленного разведчика, а мы хотим полностью узнать жизнь и деятельность этого прекрасного человека.

Хотя сериал книг о Штирлице обширен, но тираж выпускаемых книг пока беден, т. к. эти книги очень популярны и читаемы. Мы обращаемся к Вам с просьбой, если это возможно, выслать нам эти книги. Возникшие расходы обязуемся оплатить.

Желаем Вам новых творческих успехов в Вашем нужном всем труде.

С уважением, группа курсантов. 3 рота 109 к-о.

* * *

Добрый день, Юлиан Семенович!

К Вам великая просьба книголюба. Посылаю Вам Вашу книгу «Семнадцать мгновений весны» и прошу Вас дать на книгу автограф Вашему читателю. Книга очень интересная, заставляет человека о многом пережитом поразмышлять.

С уважением,

контр-адмирал Ворков С. С.

Ленинград, ул. Лахтинская, 1—60, кв. 22.

* * *

Уважаемый Юлиан Семенович!

Меня зовут Света. Мне двенадцать лет. Я учусь в 5-м классе. Еще я учусь в музыкальной школе. Я прочла Ваши романы о советском разведчике Максиме Исаеве иначе Штирлице. Очень мне его жалко стало. Нельзя ли сделать так, чтобы Штирлиц улетел из Америки в Советский Союз и в дороге встретился с сыном. Думаю, это было бы справедливо после стольких мучительных испытаний.

Сарадзинова Света.

Челябинская область, г. Аша, ул. Краснофлотцев, 6–2.

* * *

Пишет Вам экипаж военного корабля Тихоокеанского флота. Прочитав книгу «Семнадцать мгновений весны» и первую книгу «Экспансия», напечатанную в роман-газетах № 17 и 18 за 1986 год, в экипаже разделились мнения по поводу главного героя книг, полковника Исаева. Посоветовавшись, мы решили написать Вам в редакцию письмо, чтобы вы разрешили наш спор. Одни утверждают, что полковник Исаев вымышленный герой, другие, что подлинный. Просим Вас написать нам единственно правильный ответ на наш спор. Заранее благодарим Вас.

Экипаж военного корабля Тихоокеанского флота.

Т. Шкатово-17, в.ч. 69279.

* * *

Здравствуйте, дорогой Юлиан Семенович!

Пишет Вам старый шахтер, ветеран труда из Кузбасса. Найдите минуту времени прочесть мое искреннее, от всей души к Вам письмо.

Смолоду не любил я выписывать цитаты, крылатые фразы великих людей, писателей. Понравятся — запоминал. Но вот посчастливилось мне, переждав долгую очередь в библиотеке на вашу книгу, читать Ваши произведения. Наверное, с таким же трепетом садился Максим Горький в детстве при свете огарка свечи читать «Королеву Марго», так и я принялся за Вашу книгу.

Одно слово: восхищен, потрясен! Мысли, фразы — четкие, как формулы, литые, глубочайшие, как у философа. «Нет, — думаю, — надо записать эту мысль». Записал.

Читаю дальше — да тут все сплошь надо записывать! Или запоминать. Через месяц у меня исписана была уже целая

тетрадь. Поделился впечатлениями со своим старым другом — он со мной солидарен. Стал я ему на память читать отдельные места, а он их тоже помнит. Оба довольны.

И глубокие, философские мысли, вроде: «Политика — это всегда союз нескольких сил… Политика — это игра равных, в противном случае это уже не политика — это бунт».

Или: «А что такое писатель, имеющий свое политическое мнение, идущее вразрез с общепринятым? Не знаете? Я объясню…»

И в конце веселое, оригинальное сравнение: «…но вам откажут, если бы позвонил Хемингуэй — ему бы билет дали…» Ведь это красота! Это чудо! Такие образные сравнения!

Или чисто философское: «Только слабость делает женщину всесильной». А сколько лиризма, тихой грусти в словах: «Я хочу обыкновенного, маленького счастья, а оно всегда маленькое — это настоящее счастье. Большим бывает только горе».

А вот позавидовали бы и создатели передачи «Вокруг смеха»: «Воистину зануда — это тот человек, который на вопрос „как поживаешь?“ дает развернутое объяснение».

Но кому я это пишу? С кем радуюсь? Да самому автору, создателю такой красотищи! Уверен: пройдут годы, десятилетия, века, а люди будут читать и чтить Вас, великого классика. А мы? Мы с моим другом (он учитель), мы счастливцы — мы современники Юлиана Семенова.

Дорогой Юлиан Семенович! Я думаю, что Вам, как и всякому человеку, свойственны все человеческие чувства. Вы и радуетесь, и грустите, и горюете, — наверное, всего хватает.

Так вот, я очень хочу, если это мое искреннее, от всей души написанное письмо прочтете Вы, или Вам близкий человек, или секретарь, который хоть в двух словах передаст Вам, что далеко, очень далеко, есть люди, которые любят Вас, ценят, восхищаются, — пускай в Вашей жизни будет больше хоть одной доброй минутой. А Вы — человек, умеющий ценить и мгновения.

Теперь печальный постскриптум. Кому сказать, кому написать, кому крикнуть во весь голос возмущенно: «Где книги Юлиана Семенова?!» Люди, от кого это зависит, разве таким тиражом надо его печатать?! Нет, в тысячи раз большим!

Какой парадокс: его потомки, я уверен, будут иметь Семенова настольной книгой, а мы — счастливые его современники, делаем рукописи с одной-единственной, добытой по великому знакомству в библиотеке.

Я не знаю, что бы отдал, чтобы иметь у себя хоть одно произведение, хоть одну книгу своего любимого писателя! Но я ведь всего-навсего старый шахтер из Кузбасса, я даже не знаю,

куда посылать это письмо, чтобы оно дошло до адресата.

Дорогой Юлиан Семенович! Осмеливаюсь обратиться к Вам с великой просьбой — помогите мне заиметь хоть одну Вашу книгу. Ведь это была бы для меня радость, событие.

С искренним к Вам уважением,

Асанов А. В.

Кемеровская область, г. Белово, ул. Киевская, 44–14.

* * *

Уважаемый Юлиан Семенов!

Извините, что так обращаюсь к Вам, но отчества Вашего не знаю. А решил Вам написать вот по какому поводу. Я большой поклонник Вашего таланта, читаю все Ваши романы.

Буквально на днях смотрели по телевидению «Семнадцать мгновений весны» и у меня возник резонный вопрос: «Почему бы не снять фильм „Приказано выжить?“». И продолжение — «Экспансии» 1, 2 и 3.

Я отношусь к молодому поколению, которое про войну знает лишь по фильмам и рассказам старших. Мне думается, пора сделать экранизацию Штирлица дальше. Ведь фильм смогут смотреть миллионы зрителей. Согласитесь, Штирлиц полюбился многим, и в этом вопросе я не одинок — хотелось бы увидеть продолжение этого сериала.

Книги, которые вы пишете, пользуются огромным спросом, достать их невозможно. Хочу надеяться на Ваш отклик.

С уважением,

Александр Бередников.

Кемеровская область, Юргинский р-н, ст. Арлюк.

* * *

Уважаемый Юлиан Семенович!

Прошу Вас воспринять это письмо отнюдь не как тщеславную попытку написать известному литератору, а скорее как отклик на последнюю телевизионную передачу о Вас и Вашем интересном творчестве.

Мне просто хотелось затронуть несколько моментов, связанных с Вашей большой и не совсем обычной для писателя деятельностью.

Прежде всего я был бесконечно рад, узнав, что непосредственно Вы явились инициатором и активным

участником переноса на Родину праха Федора Ивановича Шаляпина. Дело в том, что примерно с 1950 года я занимаюсь собиранием материалов о жизни и деятельности великого артиста, читаю очень много лекций о нем и у нас в Киеве и в других городах. В свое время я и несколько моих друзей (почитателей его) затрагивали вопрос о переносе праха, писали в Париж де Голлю. Я лично писал в Италию его жене Иоле Игнатьевне Парнаги и получил ответ от Федора Федоровича (И.И. тогда была тяжело больна), бывал в Москве на Кутузовском проспекте у покойной Ирины Федоровны — все сводилось к одному: перенос праха невозможен, т. к. это зависит от второй жены певца Марии Валентиновны, а она, как Вы, наверное, знаете, была не очень расположена к нашей стране.

И вот сюрприз: прах Федора Ивановича на его Родине. И главная заслуга в этом, поистине замечательном деле, принадлежит Вам, за что шлю Вам свой низкий поклон и сердечную благодарность.

Уважаемый Юлиан Семенович!

Вы удивительно много пишете и издаетесь. Уверен в том, что в Ваш адрес приходит масса писем читателей, глубоко почитающих Ваш талант, так что все мои слова относительно Вашего творчества для Вас, конечно, не новинка. Понимая, что каждая Ваша минута рассчитана, я пишу Вам, вовсе не надеясь на Ваш ответ. И все же я просто удивляюсь, поражаюсь Вашей трудоспособности, воле, достоверному и многогранному знанию предмета и, наконец, разнообразию сфер деятельности. Поверьте, это не комплиментация.

Очень жаль, что приобрести Ваши романы и повести, вышедшие отдельными изданиями, почти невозможно. Вот и приходится извлекать, что удастся, из журналов, собирать воедино и отдавать переплетчику.

Поэтому интересно, не готовится ли какое-либо подписное издание Ваших произведений?

И еще: в каких журналах (кроме «Знамени») будут опубликованы Ваши новые книги в будущем?

Простите за отнятое время.

С уважением,

Нестеровский В. С.

г. Киев, ул. Толстого, 5, кв 2.

* * *

Глубокоуважаемый Юлиан Семенович!

Позвольте мне сердечно поздравить Вас и Ваших близких с Новым, 1990 годом и пожелать счастья, здоровья и успехов в творческом труде!

Пишу Вам из эстонского города Раквере, где работаю преподавателем истории. Сам я родился и вырос на острове Сааремаа, на берегу синего моря…

Я очень увлекаюсь литературой и поэтому изучаю историю литературы. Ваши книги произвели на меня глубокое впечатление. У меня к Вам большая просьба. Прошу выслать для моего архива Ваш автограф в книге «Майор Вихрь», «Семнадцать мгновений весны» (на эстонском языке). Я был бы очень рад и благодарен. Надеюсь на Ваше доброе сердце.

С глубоким уважением.

Эстония, г. Раквере, п.я. 10.

Сепп Анто Арвович

* * *

Уважаемый Юлиан Семенович!

Мы являемся поклонницами Вашего таланта, с большим уважением и любовью относимся к Вашим книгам, ставшим, к большому сожалению, в настоящее время редкостью.

В нашем коллективе работает Трушина Людмила Харитоновна, у которой существует особый подход к Вашему творчеству: т. к. у нее нет возможности достать Ваши книги (в библиотеках их тоже редко встретишь), она, чтобы иметь возможность перечитывать их по нескольку раз, посопереживать вместе с Вашими героями, в буквальном смысле переписывает Ваши произведения от руки в общую тетрадь, жертвуя даже своим обеденным перерывом, не говоря уже о послерабочем времени.

Юлиан Семенович! Может быть наша просьба покажется несколько странной, но помогите приобрести этой женщине Ваши книги. Мы просто не можем остаться равнодушными к ее «каторжному труду», это и заставило нас обратиться к Вам.

Она действительно книголюб и ценитель именно Ваших произведений. Мы понимаем, что Вы человек занятой, и все же надеемся, что наше письмо Вы не оставите без ответа.

С большим уважением,

коллектив женщин, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 6.

* * *

Уважаемый Юлиан Семенович!

Вот только что прочитал Вашу книгу «Репортер». Мне ее подарили вчера ко дню рождения. Прочитал ее залпом, т. е. как начал читать и пока не перевернул последнюю страницу, не смог оторваться, хотя читал всю ночь.

Большое Вам спасибо за Ваши книги — умные, добрые, заставляющие и самого думать и самосовершенствоваться, и делать лучше людям. Я по профессии электросварщик. Ваши книги я прочитал все (которые смог достать). «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Пароль не нужен», «Семнадцать мгновений весны», «Бомба для председателя», «ТАСС уполномочен заявить» и в журнале «Сельская молодежь» — «Испанский вариант».

В настоящее время я работаю в кооперативе «Строитель» и воочию убедился, что деньги можно получать, а можно и зарабатывать, что я и делаю честно. Я много поездил по свету: работал в Монголии (оттуда привез только книги), был в Афганистане (1980–1982 гг.). На Колыме работал и на Чукотке. Всего повидал.

Уважаемый Юлиан Семенович, если Ваше издательство ДЭМ уже выпустило те книги, о которых вы писали в начале Вашей книги «Репортер», то убедительно прошу помочь достать Ваши книги и книги Вашего издательства.

Заранее благодарен,

Харьковенко А. Б.

г. Новороссийск, ул. Чехова, д. 20, кв. 30.

* * *

Юлиану Семенову от благодарного читателя

Читал и раньше Вас немало,
И на душе приятно стало,
Когда прочел я «Репортера»,
В свет пущенного без «забора».

Прочел от корки и до корки.
Вы смело распахнули шторки,
Проблемы общества раскрыли,
Меня романом окрылили.

В романе нет слащавых песен,
Вся в нем правдиво вскрыта плесень,

Что в Перестройке нам мешает,
Надежды, радости лишает

И баламутит весь народ,
Который двигаться вперед
В своем развитии желает,
Но об интригах мало знает,

Что супротив него плетут.
И вы пришли на помощь тут,
За что Вам честь, хвала и слава.
И Ваше слово, как булава,

Пусть рушит все, что нам мешает.
И пусть Вас трудность не стращает
В борьбе за счастье для народа
И пусть Господь продлит Вам годы.

И чтоб всегда Вам быть здоровым,
А мы Вас поддержать готовы.
Труд Ваш под силу лишь титану,
Пишу без лести, без обману,

Ведь чтоб такое написать
Ох, как немало надо знать!
Чтоб информацию добыть
Нормальный нужно сон забыть,

Себе во многом отказать,
Чтоб людям правду показать.
Я перед Вами преклоняюсь,
Я не поэт и извиняюсь,

Коль что не так в моем посланье.
Прошу принять мое признанье
И благодарность от души.
Все Ваши книги хороши.

Одно прискорбно — мал тираж.
Для многих Ваш роман — мираж.
В такой глубинке, как у нас
Не сразу прочитаешь Вас.

Николай Звонарев, военнослужащий,
г. Сасово Рязанской области, в.ч. 21862, дорожно-строительные войска

* * *

Торгпредство СССР в Луанде

Прозаик — мыслитель,
Писатель — разведчик!
Для нас Ваша проза
Поэзией дышит.

Ваш мудрый анализ
Не просто словечки,
В нем сердца биение
Каждый услышит.

* * *

Письмо неизвестного автора, прочитавшего роман «Приказано выжить»

ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ

Посвящается Юлиану Семенову

Мне не больно, не страшно,
Словно память не та,
Словно горем вчерашним
Обожгла пустота.

И, напомнив, все выжгла,
Страшной силой лучась…
Я «Приказано выжить»
Дочитала сейчас.

Что такое тревога
Провожающих в путь?
Ты стоишь у порога
И не смеешь вздохнуть,

И простившись навеки,
Сердце рвется в груди,
Но дрожащие веки
Словно шепчут: «Иди…»

— Подвиг — это не только
Смерть во имя других.
Подвиг — жить, если больно,
Жить вдали от своих,

Жить средь страха и боли,
Не сдаваясь судьбе.
Пусть не хочет позволить
Кто-то выжить тебе!

Даже если расправа
За углом впереди,
Не имеешь ты права
Гибнуть, не победив!..

Я вдруг пальцы разжала,
Отстранив от лица…
Пусть пылают пожаром
Молодые сердца!

Я узнала сегодня,
Что такое фашизм.
Но не властью господней
Отнимается жизнь,

И никто тут не властен.
Раз так надо — живи!
Чтобы дать людям счастье,
Встанешь, пусть из крови,

Встанешь, пусть из-под пытки,
Пересилив себя,
Словно тонкую нитку
Боль свою разрубя.

Пусть у смерти бесстыжей
Меч в руке задрожит!
Раз приказано выжить —

Ты останешься жив!..

Пусть все видят и знают:
Через страшную боль,
Кто силен, принимает
самый яростный бой.

Пусть все ближе и ближе
Надвигается день!
Раз приказано выжить,
Надо жить — для людей.

* * *

Глубокоуважаемый Юлиан Семенович!

Позвольте признаться Вам в любви. Прочел ВСЕ, что Вы опубликовали. Часть книг имею дома (покупал на «толчке» за валюту во время загранкомандировок, подарили ученики, знающие, что Ваши книги — лучший для меня подарок), часть читал в библиотеке по записи. Многое не раз перечитывал и еще буду перечитывать, открывая для себя новое. Считаю, что Вы лучший и самый умный из ныне здравствующих советских писателей.

Никогда за свою долгую жизнь не писал писателям, не пытался познакомиться. А с Вами хотелось бы…

Надеюсь, что мне выпадет счастье еще и еще читать Ваши новые произведения. Доброго Вам здоровья, радостей творчества и минимум огорчений.

Искренне Ваш,
Соминский Владимир Самуилович,
профессор, кандидат технических наук.
Ленинград, Бассейная, 53, кв. 81.

* * *

Здравствуйте, Юлиан Семенович!

Пишет Вам ученик теперь уже 8-го «Г» класса средней школы № 24 города Таганрога.

Зовут меня Алексей, мне 14 лет. Я постоянно читаю и перечитываю Ваши романы и повести. Особенно понравилось произведение «ТАСС уполномочен заявить». Я хочу выделить то,

что мне понравилось. Это насыщенность событий, их логическая связь. Все в повести захватывает, все интересно.

Читал я и серию романов под общим названием «Альтернатива». Романы тоже очень понравились. Особенно увлекает меня политический детектив. Понимаете, я сам сейчас пишу повесть «Официальное заявление». Мне очень важно Ваше мнение.

Я хотел бы прислать повесть к Вам, на Ваш суд. Вы подумаете, что я писал под влиянием «ТАСС уполномочен заявить».

Может быть и так, но у меня свое, собственное. Могу ли я просить Вас ответить на мое письмо?

С глубочайшим уважением,

Рудской.

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Тольятти, д. 8, кв. 24.

* * *

Уважаемый писатель Юлиан Семенов!

Я читаю Вашу 2 книгу «Альтернатива». Ваши мысли и размышления очень совпадают моими. Спасибо за хорошую, умную и полезную книгу. Но у меня нет книги 1, не знаю, вышли ли 3 и 4? Есть ли возможность выслать их? Я была бы очень благодарна Вам.

Счет будет оплачен. Жду Вашего ответа.

С глубоким уважением.

А если будете в Венгрии, просим быть нашим гостем.

Васоли Эрика, 16 лет[1]*, Венгрия, Будапешт, ул. Кметти, 2.*

* * *

Уважаемый Ю. Семенов!

Очень уважаю Вас, как блистательного ученого, писателя. Вы — гений в вопросах исторического повествования. Я не сумасшедшая собирательница книг «для интерьера».

Мне 58 лет, я 30 лет стенографистка, у меня 3 полки книг, но любимых, Ваших — нет, их достать невозможно, а я не миллионер, чтобы покупать у спекулянтов.

Только что прочла Вашу книгу и Горбовского «Без единого выстрела» — где ее достать? Я читала ее, как пила напиток богов! Нет слов, как я хочу, чтобы у меня была эта книга, — я буду счастлива.

Вы, как я думаю, очень похожи (своим умом) на одного героя этой книги — гениального Виткевича — так много Вы знаете. Будьте же похожи еще на одного своего героя — губернатора Перовского — он так же уникален — как Вы (это не комплимент, а правда).

Помогите мне достать эту книгу — я буду каждый год ее перечитывать, как своих любимых писателей — А. Н. Толстого, К. Дойля, Нестора (его Летопись), Бородина (Дмитрий Донской), «Слово о полку Игореве» и Вас, да еще Шолохова и Гашека.

Надеюсь, что минута внимания Вашего поможет мне выполнить мою мечту!

Уважающая Вас,

Печникова Р. Г.

Москва, пр. Вернадского, д. 24, кв. 33.

* * *

Здравствуйте, уважаемый Юлиан Семенов!

Мне сейчас 15 лет, я учусь в 9-м классе. Первый раз смотрела Ваш фильм «Семнадцать мгновений весны», когда мне было 3–4 года. Мало я тогда понимала, но ясно запомнила, как Кэт пряталась с детьми в колодце. Мне кажется, что этот фильм периодически надо показывать еще и еще. Поскольку малыши будут подрастать и им тоже будет интересно смотреть этот фильм.

Хочу, чтобы фильм о Штирлице был вечным. Смотрела я его в этом году, находила для себя много нового и интересного. Слушала по радио продолжение — «Приказано выжить», смотрела Ваши беседы по телевизору.

Считаю, что продолжение о Штирлице необходимо и, конечно, желательно на экране.

Мои ровесники предпочитают смотреть фильмы, а не читать книги, и для расширения кругозора, понимания нашей истории необходимы хорошие исторические фильмы.

Считаю, что нет лучшего фильма, чем о Штирлице. Очень прошу Вас писать продолжение, а главное экранизировать.

Здоровья Вам,

Долгих лет творческой жизни.

С уважением,

Скляр Татьяна Тимофеевна,

г. Балаклея, Харьковская область, Банковский въезд, 2.

* * *

Уважаемый Юлиан Семенович,

Конференция трудового коллектива ярославского полиграфкомбината единодушно выдвинула Вас кандидатом в депутаты РСФСР.

Просим письменно подтвердить согласие баллотироваться по национально-территориальному округу номер 84 города Ярославля.

Председатель конференции полиграфкомбината Кравчинский.

Секретарь Брыгина.

Ярославль. 1989 год[2].

* * *

Дорогой товарищ Семенов!

Пишу Вам как близкому, хотя между нами и расстояния и годы. Мне сейчас 65. Я — участник Отечественной войны, которая окончилась для меня в Праге, где я получил свое последнее ранение.

Сейчас нас все меньше и меньше. Но тем сильнее мучит нас память. Хотелось бы, чтобы такое никогда не повторялось, а это возможно только тогда, когда все до единого поймут, сколько крови и разбитых судеб скрывается под словом «война».

Но даже показания очевидцев не могут заменить исторического документа. В своих произведениях Вы очень к месту используете и то, и другое. Тонкий лиризм Ваших романов обусловлен Вашей жесткой мировоззренческой установкой, направленной на разоблачение зла, развенчание философии и практики фашизма и его современных разновидностей.

Жанр детектива, в котором Вы так плодотворно работаете, не принадлежит к жанру магистральных, но Вашими произведениями Вы подняли его на небывалую высоту. И если мы ищем в Ваших произведениях не только острых ощущений, но и нравственного очищения, значит тут дело не в жанре, а в Вас.

Моя память может угаснуть вместе со мной, но Вы своими книгами память отдельных участников войны сделали памятью народа. А народ — вечен.

С уважением,

Адилов Калабай.

Казахская ССР, Кзыл-Ордынская обл., ул. Ленина, 50.

Глава вторая
ПИСЬМА ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ

С момента появления телефона торопыги писатели, журналисты и редакторы досадно редко пользуются пером и бумагой для внутриклановогo общения. Почила в бозе восхитительная эпистолярная эпоха и как много все — и пищущие и непищущие — потеряли! В этом отношении не стала счастливым исключением и жизнь отца. Многочисленные друзья и приятели весь день обрывали его телефон, а писали редко. Тем не менее в архиве сохранились образцы хорошего стиля пишущей братии. Здесь же приводятся теплые письма коллег и друзей из-за рубежа.

Часто завистники представляли Семенова этаким законспирированным разведчиком, который встречался на Западе с писателями и журналистами в «разведывательных» целях и дружбой эти отношения назвать нельзя.

Придется подобные мифы развеять — у отца было очень много друзей за рубежом, причем людей умных, образованных, пользовавшихся уважением. Все они Семенова ценили и гордились дружбой с ним. Среди них: немецкий ученый и писатель Клаус Мэнарт, писатели Джон Стейнбек, Жорж Сименон, Грэм Грин, русский меценат барон Фальц-Фейн, и, конечно, вдова Эрнеста Хемингуэя — Мэри.

Как и для большинства молодых писателей-шестидесятников, Хемингуэй был для отца кумиром. Ему нравились сюжеты Хемингуэя, его стиль, импонировала личность заокеанского коллеги — мужественного, принимавшего участие в военных действиях, отстаивавшего антифашистские убеждения. В дневниках отец даже записывает свой сон, в котором он беседует с американским бородачом. Увы, встретиться наяву им не пришлось — Хемингуэй ушел из жизни до того, как отец приехал в Америку, хотя свою книгу «Зеленые холмы Африки» он ему заочно подписал и отправил с оказией в Москву. На первой странице каллиграфическим почерком выведено: «Моему другу Юлику Семенову с наилучшими пожеланиями Эрнест Хемингуэй». Теплая дружба связала отца в конце шестидесятых с вдовой писателя — Мэри. Русского молодого писателя и старенькую американку объединила любовь и уважение к ушедшему. Мэри тщательно занималась архивом мужа, публикациями о нем и рассказала много интересного во время их встреч в Москве и в США. Она по достоинству оценила человеческие и литературные качества отца, не скупилась на

похвалы и мечтала снять фильм, в котором он бы сыграл Хемингуэя.

С Грэмом Грином Юлиан Семенов познакомился и подружился в конце 80-х. Он приезжал к нему в его небольшую двухкомнатную квартирку с видом на порт в Антибе, и они замечательно проводили время, попивая виски и обмениваясь воспоминаниями. Ю. Семенов рассказывал ему о своих дружеских отношениях с Андроповым, а Грэм Грин — о конфликтах с американскими властями и секретными службами в момент «охоты на ведьм» из-за его либеральных юношеских убеждений. В 1923 году Грэм вступил в компартию, чтобы бесплатно съездить в Россию, и партийный билет на его имя значился под номером 1, что не прошло незамеченным у «бешеных».

До последних месяцев активной жизни отец переживал из-за того, что не смог найти со своими друзьями, бароном Фальц-Фейном и Георгом Штайном, Янтарную комнату. А сколько было надежд! Сколько было получено интересных писем с чертежами, фотографиями и планами от бывших советских военнопленных, грузивших по приказу немецких офицеров в шахты таинственные ящики или таскавших в бункеры коробки. Не осталось ни одной «ниточки», за которую Юлиан Семенов или его друзья бы ни ухватились.

«Между делом» Юлиан Семенов и барон выкупили на аукционе и вернули в Ливадийский дворец пропавший во время революции уникальный гобелен с изображением царской семьи — подарок шаха Ирана к трехсотлетию дома Романовых, привезли редкие книги и картины, организовали перевоз в Россию праха Ф. Шаляпина, о чем власти тогда умолчали…

После трагической смерти Штайна Юлиан Семенов продолжал поддерживать тесные связи с учеными-историками ФРГ и ГДР, занимающимися культурным наследием, всячески им помогал.

* * *

1959 год

Автограф Степана Злобина на первой книге Ю. Семенова «Дипломатический агент»

Это очень настоящая книга. За исключением двух-трех описок она замечательна. Автор — настоящий писатель, напишет много умного и талантливого. Пусть хвалят смолоду за талант. У таланта — живого и умного — от этого не убудет. Похвала, как и брань, — пробный камень для подлинного таланта. Ими

отравляются только дураки или бездарности. Тут же я вижу и труд, а это залог настоящины. Многих лет талантливой жизни автору.

* * *

1964 год
Всеволод Иванов
Хабаровск

Дорогой Юлиан Семенович!

Извольте Вас поздравить с великолепной рекламой, сделанной Вам «Известиями»: «Юлиан Семенов каков он есть»[3]. Это же нужно придумать! А самое главное — Ваше письмо совершенно справедливо. Комментаторы из «Известий» всегда считают, что ли, что писатели должны смирно стоять, когда на их головы критики кладут всякую дрянь, как у Гоголя в «Т. Бульба» при выборе атамана. Я обратил сразу внимание на статью Т. Ивановой и подумал: «В чем дело? Почему эта дама так гневается?» И картину Вашу смотрел, и все О.К. Напишите мне о Вашем отношении к Т. Ивановой, please.

Вообще, положение с кино страшно. Нечего смотреть почти, а вот «Быть или не быть» можно было смотреть.

Вообще, еще раз поздравляю и напоминаю Вам, что Вы обещались написать мне, что слышно в кулуарах о «Черных людях».

Жму руку.
Вс. Иванов.

* * *

9 мая 1964 года
Джон Стейнбек
Нью-Йорк

Дорогой Юлиан,

С тех пор, как мы с Элен вернулись из нашего путешествия в Москву, мы не перестаем вспоминать тебя и твой большой город. Твое теплое гостеприимство живет в нас.

Безусловно, твои и мои аргументы и мнения разнятся, но они ничего не изменят в нашей дружбе. Природа наших различий убеждает нас лишь в том, что для хороших людей, а они есть

повсюду, направление движения и конечная цель всегда одинаковы.

Мы расходимся лишь во мнении о средствах. И я думаю, что мы должны постоянно следить за тем, чтобы средства не «замутнили» конечную цель.

Как небольшой залог моего признания твоей доброты отправляю тебе копию моей единственной речи — в ней все то, во что я верю. Тем не менее, если бы я должен был ее сейчас исправить, я бы добавил к обязанностям авторов в этом мире обязанность помогать людям смеяться и радоваться. Это, право, не повредит и станет доказательством того, во что мы с тобой верим. Люди, которые вместе смеются, всегда становятся ближе друг к другу. Я не забыл, как здорово мы с тобой смеялись в Москве.

Мы с Элен надеемся, что ты навестишь нас, и вдвойне надеемся, что сумеем оказать тебе, хоть частично, то гостеприимство, которое ты оказал нам.

Твой друг Джон Стейнбек.

* * *

Конец 1950-х гг.
Письмо Н. П. Кончаловской[4]

Юлька!

Рассказ этот замечательный. Но одно только мне бы хотелось знать. Очень вскользь о пантакрине. Хорошо бы дать более четкий и яркий кусочек о самом важном, о физическом исцелении тех, кто лечился оленьей кровью. Конечно, не натуралистически. Не слишком кроваво, но художественно, как давнее, традиционное, идущее от предков — колдунов и знахарей. А иначе получится, что Сизов исходит в своем исцелении только от морального душевного исцеления, духа. Т. е. он сумеет умереть не навязывая никому своей слабости и болезни, как сильный духом. Может быть, здесь в конце не хватает одной его мысли о том, что величайшее исцеление у него тут же под руками? И все же древней, исконной картины исцеления (почти шаманского) не хватает!

Не будь торопливо скупым! Расщедрись!

Название претенциозно и слишком абстрактно. Мысль его мне очень нравится, но ведь есть же еще и белые ночи, когда утро не приходит, потому что день не уходит. Я бы сделала только «утро». И все! Ты, пожалуйста, извини за то, что я пачкала на

рукописи карандашом, сотри все это резиночкой.

И потом, надо поработать над языком. Надо культурного редактора, вот к примеру: смотри как это беспомощно: Подумав т а к, он усмехнулся, п о т о м у ч т о вспомнил, к а к возвращаясь из Москвы, в с е девять дней пути, загадывал: с к о л ь к о в с т р е т и т с я женщин с полными ведрами — на счастье. Экая мякина непропеченая. Не выбитая, не обработанная, как сырое тесто вязнет в зубах. И таких мест полно, как клопиных гнезд.

Умоляю тебя поработать. Я их подчеркнула.

Извини еще раз за бесцеремонность моего карандаша.

Н.К.

* * *

9 июля 1964 года

Мои дорогие и любимые ребятишечки — Катюшка, Юлька, Дашка.

Ваше письмо довольно долго шло, потому что лучше посылать на Москву. Ведь надо писать ст. Перхушково! А лучше на Москву — вернее. Я нездорова еще. Частые спазмы в желчном пузыре. Придется ехать в этот раз в Ессентуки, промывать, видимо, песок, — сам он пока из меня еще не сыплется! Поеду в сентябре, возьму с собой Полю, она хоть не разговаривает, не храпит, не капризничает, не говорит пошлостей, не просит мужика, у нее дома мужик останется! Куда лучше! Помнишь, Катенька, как она была прелестна в Ленинграде? Я страшно рада, что вы там хорошо живете, пишете, купаетесь, загораете, играете в песочек, лопаете обеды и ужины.

Тут у нас была эпопея Ильи Глазунова. Это было нечто грандиозное по нахальству, ловчильству, пакости и глупости. Начиная с того, что этот черносотенец устроил выставку с помощью Министерства культуры без какого бы то ни было участия и разрешения МОСХа. Он даже на свой счет заказал афиши, которые сам при помощи учеников суриковского института расклеил на заборах там, где клеить не полагается. Афиша гласила огромными красными буквами: «ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ. Выставка живописи открывается в Манеже 25 июня!». С четырех утра к Манежу выстроилась очередь на выставку. Что там было — невообразимо! В книге отзывов писали либо — гениально, либо — говно! Кончилось все скандалом. «Вечерка» напечатала о выставке ругательную статью за подписью Кибальникова, Петрова и еще какого-то члена. Все это

организовал МОСХ. На следующий день назначено было обсуждение самой выставки. Его не успели начать, как пришлось просто выключить провода: ворвалась толпа каких-то девок студенток, которая стала орать: «Долой Кибальникова, подать его сюда, мы ему бороду выщипаем!» Милиция стала их выпроваживать, но они сели и легли на пол и устроили точь-в-точь как в негритянских событиях «сидячую забастовку». Тут подоспело множество иностранных корреспондентов и журналистов и давай щелкать аппаратами. В это время подкатил Леонид Ильич Брежнев, его постарались не впустить, дабы он не попал в объективы сплетников. Через три часа все газеты Европы были полны сенсации: «Скандал в Манеже!», «Свобода творчества в СССР» и т. д. Но самое интересное, что к Фурцевой были присланы на следующий день приглашения для Глазунова из всех национальных музеев с запросами устройства выставки «гениального русского художника». Его ждут в Риме, Париже, Нью-Йорке, Лондоне! Каково! В общем, был еще созван весь комплект МОСХа, министерства, ЦК, писательской и научной общественности и шли безумные споры, ссоры, разговоры. Все кидались на Сергея[5], что-де он вывел в люди этого негодяя и так далее. Сергей выступил на этом заседании в министерстве и заявил так: «У меня лично в квартире висит Кончаловский и Суриков, и я Глазунова не могу держать на стенах, тем более что он заявил, что, по его мнению, Кончаловский плохой художник. Моя жена просто не пускает его на порог. Я, поскольку не очень хорошо разбираюсь в живописи, защищать его не стану, как жанр, но то, что его до сих пор не приняли в МОСХ, — безобразие. Это снобизм — объявлять бойкот, и я считаю что МОСХ, поскольку он не хотел его ни защищать, ни перевоспитывать, ни помогать ему, не имел никакого права нападать на него, когда министерство устроило выставку. А как художник мне лично он не нравится. Но есть справедливость, и ее надо добиваться». Так заявил Сергей, и я уже была счастлива, что он хоть признался, что сам в живописи — ни бельмеса! В общем выставку закрыли раньше срока. Глазунов так погано, мелко-идиотски выступил сам, что все, кто его защищал, стали от него открещиваться. А когда он позвонил Сергею и сказал: «Звонит вам гениальный русский художник Глазунов!», то Сергей уже осатанел против него и бухнул: «Ты просто говно! И больше ко мне не звони!» Вот что было у нас в Москве возле Манежа. Так!

Теперь идет новое событие. Помер Маршак. Завтра его будут хоронить. Поставили в Конференц-зале ЦДЛ. Он бы очень удивился, если б был жив. Он бы хотел, конечно, лежать в Колонном зале! Но не вышло. Сергей в хлопотах по комиссии

похоронной. Столько хочет народу говорить надгробных слов, что не хватит даже пяти дней на высказывания. Я на похороны не пойду. Уж если я на юбилеи его не ходила, а их было на моем веку пять или шесть, то уж на похороны, мне сам Бог простит, не пойду. Много он мне горя принес, ну да Бог простит! Хороший был поэт, хоть всю английскую литературу ободрал как липку.

Боже ж ты мой, до чего все же некоторые люди умеют внушать всем вокруг, что без них культура не движется. Что они — пупы земли, что все остальное — мусор. Вот еще один такой номер есть у нас — Чуковский.

Твардовский, который потерял в Маршаке родного отца, сейчас пьет горькую. Недавно выкинул такой номер: пьяный вышел на площадь Маяковского и стал нецензурно ругать памятник и кричать, что его пора скинуть, а вместо него поставить памятник Твардовскому самому. Он грозил Маяковскому кулаками и плевал в него. Его отвезли в вытрезвитель и кажется здорово натурзучили, не зная, что он — сам пан Твардовский. Не знаю, насколько это правда, насчет потасовки, но что он ругался с бронзовой статуей Маяковского, — это факт.

Никитка[6] сдал все экзамены довольно прилично 4–5, сейчас ходит наниматься в картины, если в июле не пойдет на картину, то в августе «прощай радость» — забреют в солдаты, и будет, как Вовка[7], ходить под ружьем. Сергей едет 11 июля в Дубулты, лечиться и отдыхать и писать какую-то пиесу. Я остаюсь одна на всем участке в 1 га. Скучно и даже как-то жутковато. Хоть бы уж вы скорее вернулись с «морских ванн», конечно, я не смею вас торопить, поскольку вы там хорошо ладите, и дай вам Бог так всегда. Вот пишу, а сама думаю, а может уже друг другу холки повыдирали? За последнюю неделю-то? Дураки вы мои ненаглядные! Самая умная из вас Дашутка[8]. Она, моя красавица, все видит, все понимает, хитрая бестия! А какая она без вас-то послушная и рассудительная и спокойная! Как-то она сейчас выросла? Наверно волосятки отросли в хвостик! Хочу скорей обнять и прижать к себе всю, маленькую, хрупкую, нежненькую, как молодую морковочку! Юлька пишет! Это здорово!

Мне принесли верстку «Дара бесценного». Я как увидела и давай реветь. От гордости что ли! Или от волнения. Стала читать. «Ну неужели я это писала?» — думаю. Уж очень странно читать печатное.

Тут еще я занялась. Переводила кабардинского «классика» Амирхана Шомахова. Он, конечно, парторг там у себя в Нальчике, и ему полагается быть изданным в Детгизе. Но что он пишет, одному Аллаху понятно, как это можно принять в печать. Я,

конечно, заявила ему, что буду пересказывать его рассказы. Он был счастлив, что я взялась за него. Но я так «перевела» его, что, пожалуй, теперь ему все придется переводить с «русского» на кабардинский. Деньги за эту поденщину будет получать Нина Павловна[9]. Я для нее это делала, может теперь на курорт куда-нибудь махнет. Получит она не так уж много — рублей триста, но и это — хлебушек!

Ребятки, я сделала новый вариант Эдит Пиаф. Получилось очень здорово. Я нашла ее песни разного жанра, даже есть старая революционная песня времен Парижской коммуны, которую она прелестно поет: «Са ира!» В понедельник пригласили меня в Малеевку, просветить писательскую компанию насчет Эдит Пиаф. Поеду, попробую новый вариант на писательских ушах. Ну вот и все! Как будто обо всем доложила.

Жду от Вас еще хоть маленькой весточки! А то страшно мне здесь одиноко нынче летом. Да! Флигель получился превосходный, и его тотчас реквизировал у меня Никиток.

Целую вас всех крепко. Дашеньку беречь! Чур не баловать. И не давать ей слишком много понимать!

Ваша мамочка — Татулька.

* * *

19 августа 1968 года
Кетчум, Идахо, США
Мэри Хемингуэй

Дорогой, замечательный Юлиан Семенов — ты ангел, потому что написал мне письмо в «высоком стиле», и я благодарю тебя за него и за твои героические занятия — восхитительную охоту — рыбалку. Но здесь, в моем доме в горах Идахо (6 тысяч футов — 2 тысячи метров), я не могу найти никого, кто читал бы по-русски. Мне придется ждать до следующей недели, когда я вернусь в Нью-Йорк и смогу позвонить Генри Боровику.

Меня окрыляет надежда увидеть твою большую и восхитительную страну, даже если «я не говорю по-русски». Но, Юлиан, я не знаю, позволят ли мне организаторы «Тура природы» пойти с тобой на охоту. Программа тура очень насыщена и если я оторвусь от них, то смогу ли снова их найти? Может быть, после этого путешествия я смогу снова приехать и охотиться с тобой? Недавно я стреляла по глиняным целям — получилось неплохо.

Здешние места потрясающи: огромные горы и косяки форели в реках — Эрнест любил охотиться на диких голубей и уток в

водопадах, и мой дом удобен. Ты должен приехать в следующем году и провести сентябрь и октябрь со мной и охотниками, бродя по окрестностям.

Спасибо тебе еще раз за письмо. Надеюсь встретить тебя если не в Ленинграде, то, по крайней мере, в Москве. Может, ты сможешь присоединиться к нашему туру — это было бы здорово.

Всего тебе самого хорошего.

Мэри Хемингуэй.

* * *

17 октября 1968 года

Дорогой, восхитительный Юлиан!

Я все время думаю о тебе, о том чудесном, счастливом дне, когда мы отправились в Ясную Поляну, о милом Николае Пузине, а еще о морозном утре, когда мы смотрели на уток на Волге. Эти дни были блистательны, и я от всей души благодарю тебя и очень надеюсь, что они повторятся и мы еще больше времени проведем в тире, и я не буду сонной.

Генрих Боровик дал мне адреса Симонова и Кармена, и я отправила тебе и им благодарственные телеграммы в ночь моего возвращения. Надеюсь, ты получил ее.

Теперь у меня работа, работа и работа — гора непрочтенных писем и верстка биографии Эрнеста из издательства Карлоса Бэйкера.

Если увидишь Симонова или его жену, скажи им, что я каждый день думаю о них и о замечательном ужине, потому что каждый день пью чай из красивой голубой чашки, которую они мне подарили, — к счастью, ее не утащили во время путешествия и она не разбилась.

Мои фотографии скоро будут проявлены, и я отправлю копии тебе и Пузину.

Дорогой Юлиан, у меня появилась хорошая идея. Как только я закончу книгу об Эрнесте, я бы хотела вернуться в СССР, взять у тебя большое интервью — детство, учеба, карьера и написать твою биографию. Многие американцы недостаточно хорошо знают русский народ, так мне, по-крайней мере, кажется. Поскольку ты, — ординарный русский, — такой неординарный, история твоей жизни будет интересна и информативна для американских читателей. Мы могли бы сделать это интервью на берегу Черного моря, в одном из мест, о которых ты мне рассказывал. Возможно, это понравится и твоей жене.

В ожидании я постараюсь получше учить ваш язык. Пожалуйста, прости мне теперешнюю некомпетентность.

В Испании говорят «abrazos», а по-английски «сжимаю тебя в моих объятиях».

Всего самого-самого хорошего.

Мэри Хемингуэй.

* * *

12 ноября 1970 года
Семран Касумов
Баку

Дорогой Юлиан, от всей души поздравляю тебя с крупной художественной победой — удивительно живым, напряженным, по-новому написанным романом «Семнадцать мгновений весны». Это вещь, захватывающая по материалу, по исполнительскому своему уровню открывает новые горизонты перед возможностями современной прозы, а это, по-моему, ставит ее в ряд явлений исключительных. Еще раз горячо поздравляю тебя, передаю поздравления от всей моей многочитающей семьи, ставшей коллективным пропагандистом этого произведения у нас в Баку. Желаю тебе много новых сил и много новых свершений. Крепко обнимаю.

Твой Семран Касумов.

* * *

14 декабря 1973 года
Мадрид
Хуан Гарригес[10]

Дорогой Юлиан,

Не нахожу слов, чтобы отблагодарить тебя за поддержку, оказанную нам во всех смыслах во время нашей поездки в Советском Союзе. Благодаря ей наше путешествие, и особенно моего отца, получилось с личной точки зрения незабываемой.

Дон Антонио мне говорил, что никакая из предыдущих его поездок не удовлетворяла его до такой степени, и я даже думаю, что он стал немного «коммунистом».

Антонио Гонсалес передаст тебе картину испанского художника. Надеюсь, что она тебе понравится, но я знаю, что

никаким подарком не сумею возместить твою заботу и внимание.

Прилагаю письмо — приглашение приехать в Испанию, если что-нибудь еще нужно — скажи обязательно.

Обнимаю тебя, Катю, Дуню и Ольгу.

* * *

2 июля 1974 года
«Дружба народов»
Главный редактор.

Милый Юлиан!

Сегодня вышел № 7 «Дружбы народов» с началом «Альтернативы». Ура!!!

Дальше все будет проще…

А пока ты путешествуешь, было всякое…[11]

Сейчас я тебя от души благодарю и поздравляю!!!

Крепко обнимаю!

До скорой встречи!

Всегда твой Баруздин.

* * *

12 декабря 1974 года
Минск.
Василь Быков[12]

С давно не испытываемым удовольствием прочел Вашу книгу «На Козле за волком».

Отменно хороша во всех отношениях: с точки зрения содержания, информации, жизни, Вашего неповторимого стиля.

Ваши строки о Хемингуэе окончательно сразили меня. Я не часто пишу авторам, даже тем, с которыми состою в близких отношениях, но тут не удержался, чтобы не послать Вам дружеское, читательское спасибо.

Будьте здоровы и благополучны. Авось как-то случится познакомиться, чему был бы очень рад.

Ваш Василь Быков.

P.S. Вместе с сыном прочли «Испанский вариант», который печатает с продолжением минская комсомольская газета «Знамя юности». Прекрасно.

* * *

27 февраля 1975 года
Президент Республики Сенегал
Дакар

Дорогой господин Семенов!

Искренне благодарю за Вашу книгу, присланную мне.

Я и раньше читал некоторые из Ваших романов и привык к Вашему стилю, настолько захватывающему читателя, что он не знает, где заканчивается реальность и начинается авторский вымысел. Полученное произведение подтверждает эту замечательную и качественную особенность.

С уважением.

Леопольд Седар Сенгор[13].

* * *

1976 год
Петр Васильевич Полиевский

Дорогой Юлиан!

Высылаю тебе обещанную книгу. Прочитай, памятуя, что твой покорный слуга читает каждую написанную твоей рукой строчку. Читает и — без всякой лести, совершенно искренне! — восхищается. Ты по-настоящему талантлив, друг мой, и дай тебе Бог, чтобы крылья твои никогда не ослабели.

В тот вечер после Пленума ты так неожиданно ушел, что не дал даже возможности попрощаться. Хотя, как утверждают злые языки, в конце я был пьян как суслик и лыка не вязал. Нина Павловна Жилтцова на другой день подошла ко мне и говорит: «Шумновато было за вашим столом, Петр Васильевич, и шум сей больше всего производили лично Вы». Я только и нашелся, что ответить: «Пардон, мадам…»

А вообще было хорошо. Плохо, что ты поставил нас в интересное положение. Мы ждали официантку, чтобы расплатиться, ждали порядочно долго, а когда она наконец подошла, мы узнали, что «Юлиан Семенов за все заплатил и всем велел кланяться».

Ну и за это тебе спасибо, а то ведь никто из нас даже не поблагодарил тебя по-человечески.

Дорогой Юлиан! Вчера отослал на имя Юры Бондарева письмо с просьбой посодействовать в поездке в Испанию с

творческими целями. Будет возможность, замолви словечко. Буду тебе искренне благодарен.

Еще раз от всей души поздравляю тебя с присвоением Лауреата. Черт подери! — кто-кто, а уж ты это звание заслужил честно, тут никто ничего не скажет, как говорят о других. И я за тебя искренне рад, можешь мне верить! Молодец!

Обнимаю тебя сердечно. Привет твоим близким.

* * *

3 июня 1977 года
Ленинград
Вл. Дмитриевский

Дорогой Юлиан Семенович!

Прочитав Ваш роман «Альтернатива» и по-доброму подивившись Вашему умению подчинять движение сюжета подлинным событиям и документам, я уже по-иному перечитал Ваши романы «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и «Пароль не нужен». Я бы не стал писать Вам лишь для того, чтобы утверждать, что Вы превосходный романист-документалист. Хотя для меня это стало аксиоматично давно, когда я впервые встретился с Вашими книгами. Но вчитываясь в мысли и суждения Исаева (особенно в высказываемых им во время дискуссий с Никандровым), я нашел для себя много такого, что я считал «своим». В частности, все, что относится к старой русской деревне, из которой многие наши «деревенщики» сделали жупел и на каждом шагу клянутся именем Есенина. Старая русская деревня, если отнять от мужика его долготерпение, спокойно-мужественное отношение к смерти, когда она уже его обнимает, — ужасна. Я, будучи мальчишкой, имел возможность видеть ее в действительности.

Вы очень умно сфокусировали внимание читателя на ряде ленинских документов. Они бьют в «яблочко». Вы стали близки мне, как писатель-интернационалист. Мне очень приятно (пока мысленно) пожать Вашу руку и пожелать огромнейших успехов.

С уважением, Владимир Дмитриевский.

* * *

26 октября 1979 года
THE SUNDAY TIMES Of LONDON

Антони Терри

Дорогой Юлиан,

Большое спасибо за восхитительный жаждоутоляющий вечер. Тебе удалось влить в Эдит столько водки, сколько она никогда до этого при мне не пила, но, похоже, ей от этой жидкости совсем не плохо. Ты — замечательный хозяин, Юлиан.

Твои книги, как говорят в моей стране, чертовски хороши. Надеюсь, гонорары за них превратят тебя в довольного капиталиста.

Как продвигаются твои поиски? Как ты знаешь, проблемы моей газеты улажены, и она вновь появится 18 ноября… Нас интересует твой сбор материала для новой книги.

Всего тебе наилучшего.

Антони Терри.

* * *

14 ноября 1979 года
Жорж Сименон
Лозанна

Дорогой собрат по перу!

После нашей встречи, от которой у меня остались самые приятные впечатления, я тут же «пробежал» Вашу книгу. Я пока отказал себе в удовольствии почитать Ваше произведение с тем вниманием, которого оно заслуживает, — обязательно это сделаю, как только позволит время. Это было четыре дня назад, я в ней буквально растворился, как в знаменитой толстовской фреске. Это количество персонажей и переплетение действующих лиц, их человеческая правдивость произвели на меня неизгладимое впечатление. Ощущение невыдуманности истории было настолько сильно, что мне снова пришлось посмотреть обложку Вашей книги, чтобы увидеть слово «роман». Теперь я понимаю, почему Ваша книга стала бестселлером и по ней был снят сериал. Я, будучи сам не в состоянии написать что-нибудь, кроме коротких романов с небольшим количеством действующих лиц, был просто поражен этой гигантской историей, которая захватывает зрителя настолько, что он не может отложить ее ни на один вечер, пока не прочтет до конца.

Поздравляю Вас, мой дорогой собрат по перу и почти однофамилец!

Хочу еще сказать, что, когда читал Вашу книгу, я зрительно

представлял Вас сидящим в кресле Терезы, тихо и спокойно, с внимательным взглядом, ничего не оставляющим незамеченным, словом, таким же, как Ваши герои.

Крепко обнимаю Вас,

Жорж Сименон.

* * *

01.09.1980
Клаус Мэнарт[14]
Шемберг, г. Фройденштадт
ФРГ

Дорогой Юлиан Семенович,

Я очень рад, что Вы приедете на следующие выходные… Верхняя квартира в Вашем распоряжении, на сколько хотите. Привезите с собой печатную машинку! Но прежде всего Вашу Ольгу и, что меня особенно обрадует, Вашу маму! Места достаточно. Во время телефонного разговора с Вашей мамой у меня сложилось впечатление, что ей во время Вашего отсутствия было немного одиноко, поэтому Вы не должны ее снова оставлять одну, а взять ее с собой в Шварцвальд[15].

Наилучшим участком дороги к нам является, из моего опыта: из Карлсруэ по автомагистрали Штутгарт — Мюнхен, из Пфорцхейм на запад и через Кальмбах, Безенфельд до Фройденштадт.

До скорого свидания, надеюсь увидеться с Вашими двумя дамами.

…Насчет Польши вы правы: никакого восстания, но зато еще больше проблем.

Кандидат в канцлеры от «союза»[16] Франц Йозеф Штраус, в дебатах в бундестаге в четверг цитировал слова Бисмарка: «была ли внешняя политика правильной или нет — обычно это выявляется только через 50 лет». Это может быть также справедливо по отношению поездки канцлера в Москву. Что бы у нас ни думали о политике и намерениях советского руководства, сохранение мира является для русских самым важным. Как раз потому, что Федеративная Республика твердо стоит в западном союзе, мы, западные немцы, можем позволить себе ясно сказать русским, что мы их ценим и что мы с ними, хоть и с разными системами и ценностями, хотим жить в мире и дружбе. Об отсутствии немецких спортсменов на Олимпийских играх меня ни разу не спрашивали. Когда же спрашивал я, то русские махали

рукой с миной на лице: «Ах, оставим это». Из косвенных наблюдений я извлек подтверждение моим предположениям о том, что русские обвинят в неутешительных обстоятельствах игр в конце концов не столько собственное руководство, сколько злого Картера. Они говорят: «Государство затратило миллиарды рублей на Олимпиаду, а теперь Картер ломает все наши планы, портит праздник, да еще заставляет другие страны-участницы не приезжать».

Последнее и очень частное наблюдение — дом моего дедушки Юлия Хойсса, в котором он когда-то жил со своей большой семьей (моя мама была одиннадцатой из двенадцати детей), еще стоит, кстати, в самом прекрасном месте Москвы, напротив Кремля, на набережной реки-Москвы, которая ранее была названа в честь святой Софии, а теперь по имени французского коммуниста Тореза. Это скромный дом, отнюдь не чудо архитектуры, но городские жители, которые после революции были так истовы к разрушениям и нововведениям, стали — как и все русские — осознавать историческую обусловленность развития человеческого общества и хотят сохранить старый центр. Сегодня, пожалуй, уже ни у кого больше не возникнет мысль на той же самой набережной, на которой стоит дедушкин дом, построить кошмарное здание, подобное тому, что дало приют советским политическим деятелям и было так впечатляюще описано в романе Трифонова «Дом на набережной». Люди стали если не консервативными, то консервационными. До скорого свидания.

Ваш Николай Германович.

* * *

16 января 1982 года
Георг Штайн[17]
Асхаузенерштрассе, 25

Мой дорогой Юлиан!

По всей видимости, мы прибудем в Москву 15 февраля. Так как я себя не очень хорошо чувствую, то возьму со мной обоих моих сыновей. По известными обстоятельствам самолет я оплачу сам.

По делу Бернштена-Циммера мы значительно продвинулись вперед, как это видно из письма госпоже доктору Стороменко. Пожалуйста, сообщи об этом господину Барабас. Мы должны об этом хорошенько посоветоваться. Возможно, мне будет

необходимо лично поехать в Калининград, чтобы выяснить дело на месте.

Устрой, пожалуйста, приезд специалистов из Калининграда. Дело теперь становится по-настоящему увлекательным — твои специалисты искали не там, где надо[18].

С наилучшими пожеланиями

Твой Георг.

* * *

23 марта 1982 года
University of California, Berkeley
Департамент славянских языков и литературы

Дорогой господин Семенов,

Я пишу Вам, чтобы пригласить в Калифорнийский университет осенью 1982 года. В нашем университете существует множество хорошо подготовленных программ по изучению славянских языков, в том числе по изучению советской литературы. Мы хорошо знаем, что в Вашей стране Вы являетесь одним из наиболее читаемых авторов, и хотели бы послушать Ваше выступление и поговорить с Вами о современной русской литературе.

Если Вы приедете в Калифорнию, мы могли бы организовать визит в Станфордский университет.

Искренне Ваш

Роберт П. Хьюг Шармэн.

* * *

17 июня 1983 года
Клаус Мэнарт
Шемберг ФРГ

Уважаемый Юлиан Семенович,

С этим письмом передаю Вам пакет, в котором находятся два небольших подарка от Анны-Лизы для Вашей дочери и ткань для Вашей Григорьевны[19].

Во втором пакете находятся гранки моей книги, которую Вы так любезно хотели взять с собой в Москву.

…Ваш роман о Петре прочитал с о г р о м н ы м интересом. Я нахожу его великолепным, смелым и весьма актуальным. Роман

этот не только вызов всем сторонникам традиционализма, но и бюрократии в вашей стране. Он звучит как призыв к новому НЭПу. Так же в романе Вы подняли тему, согласно которой российские традиционалисты убивают великого реформатора, что легко можно применить к современной эпохе.

Называется ли роман «Версия»? В случае заглавия на немецком языке нельзя сказать просто «Версия» (Version), может быть «Die Version» или «Die andere Version»?

Мои перемещения теперь точно определены. 3 июля я прибываю в Шереметьево-2… Было бы замечательно, если бы мы встретились в Москве уже вечером и поговорили бы обо всем.

Дружески жму Вам руку,
Ваш Николай Германович.

* * *

20.10. 1983
Мыльников А. С.[20]
Ленинград

Глубокоуважаемый Юлиан Семенович!

Сегодняшняя почта принесла мне Ваш дружеский ответ на мое июньское письмо, которое я написал сразу же после прочтения первой части Вашей повести о Петре Первом. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик (кстати, лингвисты утверждают, что это выражение есть русская калька XVII в. сходного немецкого выражения), сразу же выполняю свое обещание относительно источников о Блуменстротах и прочих лицах петровского окружения.

Наибольшее количество сведений по данному вопросу Вы легко найдете в монографии ныне покойного немецкого историка (он после войны жил и умер в ГДР) Эдуарда Винтера «Halle als Ausgangspunkt der deutschen Ruslandkund».

В этой книге есть подробный именной указатель, по которому легко найти нужные сведения. Сами по себе они интересны, не говоря уже о том, что принадлежат немецкому (и вполне респектабельному!) ученому. Смысл состоит в том, что почти все приглашенные Петром немцы (о которых идет речь) прямо или опосредованно были связаны с пиэтистами из Галле. Они видели смысл своей деятельности в миссионерстве в славянском и ближневосточном православном мире — как против католиков, так и против православных. В последнем случае они надеялись усилить свое влияние для выполнения далеко идущих замыслов,

прежде всего в России. В книге Винтера приведены весьма откровенные документы, из которых, в частности, следует, что зачастую пиэтисты, наряду с «поверхностной» научно-просветительной деятельностью, выполняли прямые поручения прусского короля и других государей. В этой связи обращаю Ваше внимание на славяниста Х. Лудольфа, который в 1692 г. выехал в Москву — Винтер указывает, что поездка эта была тайной даже для друзей Лудольфа (он был автором изданной в Оксфорде грамматики живого русского языка). Он был тесно связан с английскими и датскими политическими кругами, а по дороге в Россию получил тайные инструкции в Копенгагене. Сама по себе эта деталь любопытна, т. к. Лудольф тогда служил секретарем принца Георга Датского, мужа английской королевы Анны. Думаю, что этот сюжет представляет далеко идущий интерес. Точно так же посланец главы галльских пиэтистов А. Г. Франке по имени А. Аделунг, отправившись в Россию, был агентом Фридриха I Прусского и, видимо, сыграл роль в скором заключении после этого оборонительного русско-прусского союза. И таких примеров в этой монографии много (см. стр. 23, 33, 62, 69, и др.) Надо заметить, что о миссионерских замыслах пиэтистов пишут и западногерманские историки: Kriebel M. «Das pietistische Halle und das orthodoxe Patriarchat von Konstantinopel: 1700–1730» — Jahrbucher für Geschichte Osteuroras Neue Folge 1955, № 1, 50–70.

В этой связи заслуживает внимания книга, изданная в ФРГ и вполне открыто рисующая хитросплетения Остермана, уроженца Бохума, насчет возведения членов Брауншвейгской династии на российский престол: сперва путем брака Алексея с принцессой Христиной Шарлоттой Софией (их сын Петр II, и многое в интригах тех лет становится яснее с учетом этого), затем путем брака Анны Леопольдовны с Антоном Ульрихом. Оба раза это была целенаправленная политика, которую умный и коварный Остерман пытался делать русскими руками. Книга называется Klueting H., Klueting E. «Graf Ostermann Urkunden und Regesten «Osermania» aus Hannover und Wolfenbüttel». Amsterdam, 1974.

Не знаю, есть ли эта книга в СССР. Я ее читал в библиотеке им. герцога Августа в Вольфенбютле, откуда ее, в конечном счете, можно выписать по ММБА (или из любой земельной библиотеки, например, из Ганноверской или Гетингенской) через Библиотеку им. Ленина.

Я был бы рад, если бы эти сведения оказались для Вас полезными. Разумеется, если Вы приедете в очередной раз в Ленинград, то с удовольствием приветствовал бы Вас как гостя. Тогда можно было бы подробнее поговорить по вопросам, нас с

Вами интересующим. У меня есть библиография, собранная в ФРГ, где я бывал несколько раз, и с которой Вы могли бы познакомиться, т. к., естественно, в письме сложно предусмотреть все возможные повороты темы.

С наилучшими пожеланиями.

* * *

28. 11.1983
Юнна Мориц
Москва

Дорогой Юлик!

Приветствую тебя во мгле осенней и никак не могу дозвониться. А между тем на черном рынке цена на твою будущую подписку колеблется от 100 до 150 сверх номинала. Это, конечно, радует меня, как твоего друга, поклонника и почитателя, но мои тонкие книжки стихов вышибают меня из сферы здоровой рыночной конкуренции. Поэтому если у тебя будет возможность, помоги мне добыть эту подписку. Я обещаю тебя воспеть в какой-нибудь изысканной по форме и хулиганской по содержанию балладе. Дружески обнимаю —

Твоя Юнна Мориц.

* * *

1984 год
Доктор Поль Энке[21]
Берлин

Дорогой Юлиан Семенович!

Я узнал, что, возвращаясь из Южной Америки, ты заехал в Вадуц. Надеюсь, что большое путешествие оказалось успешным. Твоих читателей и меня, конечно, интересовало бы, нашел ли ты следы Мартина Бормана. Гамбургский «Штерн» опять опубликовал легенду (в связи с лживыми дневниками Гитлера): Мартин Борман все еще жив. Я сейчас прочитал переписку Бормана с его женой. Письма наглядно показывают психологию этого преступника. Сейчас один из моих друзей-писателей сообщил, что он нашел Герду Борман в Италии и беседовал лично с ней. Он уверен в том, что эта женщина является супругой М.Б. Ты знаешь мое мнение о таких «сенсациях»… не объясняюсь…

В прошлом месяце Георг Штайн был в Центральном Государственном Архиве в Потсдаме. Он хотел установить связи с П. Келером, но тот был на Кубе. Так я стал его заместителем и научным руководителем Штайна. Беседа с Штайном длилась 4 дня. Он подробно рассказывал о своей работе и о найденных следах Янтарной комнаты, оказавшихся иллюзорными. Мы дали ему всю информацию о фактах полиции, которую он сможет использовать при поисках в ФРГ.

Все-таки очень жалко, что так называемый немецко-немецкий диалог и обмен мнениями о Янтарной комнате проводился в Берлине, а не в Москве. Да, Россия в век космоса все еще далека…

У нас исследования продолжаются, так как все еще не исключено, что Янтарная комната находится на нашей территории.

Дорогой Юлиан, у меня еще одна просьба: «Комсомольская правда» опубликовала несколько глав твоей книги «Лицом к лицу». Можешь ли ты послать мне один экземпляр? Я организовал для тебя один экземпляр моей книги о полиции ФРГ. Хотя книга написана несколько лет тому назад, она как раз во время правительства Коля — актуальна. Как ты, наверно, из своего опыта можешь увидеть.

Герда и я были после отъезда Штайна в отпуске в Чехословакии. Там по телевидению показывали твой многосерийный фильм «17 мгновений весны». Когда мы возвращались на родину, начали показывать 1-ю часть и по нашему телевидению. Герда тебе предлагает организовать на нашем телевидении передачу и связать ее с поисками Янтарной комнаты. Идея — хороша, т. к. Борман был, без сомнений, инициатором утайки Янтарной комнаты. Половина населения ФРГ смотрела бы эту передачу. Подумай, пожалуйста, о таком мероприятии.

Я желаю тебе, дорогой Юлиан, твоей семье и всем твоим товарищам много новых успехов, счастья и здоровья.

С братским приветом.

* * *

8 декабря 1984 года
Барон Эдуард фон Фальц-Фейн
Вадуц
Княжество Лихтенштайн

Мой дорогой Юлиан,

Уж очень долго от тебя не было никаких новостей! Надеюсь, что дела у тебя идут лучше. Здоровье — это самое главное в нашей жизни.

О перезахоронении Шаляпина. Ведь все это начали мы с сыном Федора. Я в Париже ходатайствовал в различных инстанциях, чтобы наконец было исполнено желание всех русских. И вдруг, не сообщив мне ничего, тело было перевезено в Москву! Мне бы доставило огромное удовольствие присутствовать на погребении!!! Я больше не понимаю мир…[22]

О Янтарной комнате. Я веду большую переписку и частые телефонные переговоры. У Георга[23], действительно, нет больше средств, чтобы продолжать свои поисковые поездки, и я единственный, кто оказывает ему финансовую поддержку. Возможно, очень скоро мы придем к положительному результату. Будет досадно, если все, что мы сделали, не даст результатов.

О Петриковском[24]: до конца января я пробуду у дочери, недалеко от него. Скульптуры моего зятя пользуются большим успехом, что позволило ему купить для моей Людмилы прекрасную виллу. Я собираюсь обустроить ей там сад и буду часто навещать Петриковского и Шагала. Надеюсь, что там все хорошо получится. Желаю тебе и твоей семье счастливого Нового года!

Эдуард.

* * *

1985 год
Жорж Сименон
Лозанна

Мой дорогой Юлиан,

Воспользовался праздниками, чтобы посмаковать Вашу «Петровку, 38». Я нашел живых героев, настоящих полицейских, всамделишных преступников, в общем все человечество, во всей своей бушующей и поразительной правдивости. Книга эта, надо сказать, пользуется успехом во Франции и удивила многих, кто еще считает русских инопланетянами.

Браво, мой дорогой Юлиан.

Со всей моей старой дружбой.

Жорж Сименон.

* * *

23 мая 1985 года
Георг Штайн
Асхаузенерштрассе 25, Штелле

Мой дорогой Юлиан, мой добрый друг!

Это письмо, которое передал тебе барон Фальц-Фейн, вызывает новые вопросы. Между тем, как ты должен знать, наша статья в «Цайт-Досье» о розыске Янтарной комнаты вызвала много откликов с новыми версиями, о которых мы оба теперь должны поговорить. Как ты смотришь на то, чтобы я в ближайшее время приехал к тебе в Ялту? Я мог бы приехать в июле. Следы Янтарной комнаты ведут теперь на территорию ФРГ, где и будут продолжены поиски: шахты железной руды в округе Доннерсберг — Кирххаймболанден на запад от Мангейма, Шпексер-Майнц, руины замка Фалькенштайн, там также есть две руины, одна под Мангеймом и одна между Хам — Регенсбург в Баварии. Кроме того, были начаты следующие поиски: лагерь Швебда при Ешвеге — место расквартирования германского имперского правительства, монастырь Банц при Бамберг — хранилище документов при государственном архиве в Нюрнберге. Обо всех этих поисках у меня будут сведения к концу июня.

Вместе с «Активен Фильм АГ» в Мюнхене мы намереваемся снять документальный телевизионный фильм «Хищения произведений искусства в ходе Второй мировой войны». Договор уже составлен и будет подписан на следующей неделе. Я сам встречаюсь в начале июня в Северной Норвегии с членами норвежского движения Сопротивления, которые расскажут мне о выходе в море двух германских подводных лодок (тип, груз, размеры), вышедших из Лофотен в направлении Южной Америки. Может быть, мы могли бы встретиться там? Это было бы тебе удобно: Мурманск находится рядом!

Если ты пригласишь меня в июле, я хотел бы посетить район Дагестана выше Дербента — страну «царя Шамиля»! Ну, на сегодня достаточно, позвони мне на ближайшей неделе. Старина!!

Твой ужасный Георг, но всегда твой добрый друг[25].

* * *

29 августа 1985 года
Москва
Журнал «Международная жизнь»

Дорогой Юлиан Семенович!

Еще раз большое спасибо за чудесный материал. Сразу поступил на него отклик, который прилагаем. Прочитал № 7 «Знамя». Если судить по началу, «Экспансия» с разных сторон гениальная вещь. Кофейне дона Фелипе позавидовал бы Хемингуэй. Если на том свете работает «Прогресс», то Аллен Даллес должен почувствовать себя не в своей тарелке. Приступаю к № 8, но надеюсь на роман целиком — Вы обещали.

Ваш Виталий Петрусенко.

* * *

1985 год
Алекс Московичh[26]
19, рю де Пресбург
Париж

Господин Семенов,

Мне стало ясно из Ваших произведений, что вокруг Вас создалась группа, в которую входит барон Фальц-Фейн, господа Штайн, Рапи и другие.

Эта группа поставила перед собой цель — вернуть в Советский Союз ценности, украденные нацистами во время гитлеровской агрессии. Я буду счастлив присоединиться к Вашей группе и лично содействовать этому благородному делу.

В качестве первого вклада (прошу Вас об этом проинформировать ассоциацию «Дружба» и Союз советских художников) я купил за 28000 франков два портрета писателей И. Бунина и А. Куприна кисти Малявина и буду счастлив подарить их одному из музеев Москвы.

С глубоким уважением
Алекс Москович

* * *

27 августа 1986
Иржи Прохаска[27].
Прага

Дорогой Юлиан, салют тебе.

Извини мой плохой русский язык и ошибки, но верю, что ты поймешь все. Когда я вернулся из Гаваны, я написал большой

материал для Союза писателей, для Министра внутренних дел и Министра иностранных дел. У этих двух министерств большая поддержка нашим делам, не так хорошо уже в Союзе писателей, где мне сказали (Ян Козак), чтобы я ничего не делал до встречи председателей Союзов писателей социалистических стран в Гаване в ноябре этого года. Эта встреча должна, по мнению Козака, одобрить и утвердить нашу Ассоциацию. Вот уж не знал, что у них на это право!

Я подготовил большие статьи о нашей Ассоциации и конференции для «Руде Право», «Сигнала», «Литературного ежемесячника», «Братиславской вечерни». Сообщил все через Карла Гейнза Союзу писателей в ГДР, но с австрийцами и западногерманцами еще поговорить не мог в связи с мнением правления Союза чехословацких писателей. Лучше для нас в Словакии. Там Союз писателей нам дает всю поддержку. Главный секретарь Союза, заслуженный артист Валлен и Ян Сольвич сказали, что для нас сделают все, дают свой дворец (замок) Бзумерице для нашей встречи.

Редактор газеты «Руде Право» Франтишек Цингер (сделал с тобой интервью) был бы очень рад работать в редакции «Энигмы» от Чехословакии.

В этот момент все. В начале октября (10–11) я буду в Москве — может быть, что мы встретимся. В эти дни я должен встретиться тоже с кубинским послом, когда я узнаю что-нибудь новое из Гаваны, я тебе напишу.

Сердечно тебя обнимаю.

Иржи Прохаска.

* * *

1987 год
Жоэль Гордс
Депутат 62 округа Коннектикут

Дорогой мистер Семенов,

Встретить Вас в прошлую пятницу и слушать Ваше выступление о Гласности было для меня огромным удовольствием. Принять Вас в Коннектикуте стало для нас истинной честью, ведь у Вас также были запрограммированы встречи в более известных школах. Я надеюсь, что Вы продолжите отношения с нашей школой и в будущем вернетесь и прочтете лекцию о прогрессе, происходящем в Вашей стране. Много лет назад, после революции, в Вашей стране М. Ильиным была

написана книга «История великого плана», целью которой было объяснить молодым, что надо сделать, чтобы Россия стала великой страной. Думаю, в ней не хватало главы о Гласности, которая поистине поможет вашей стране достичь всего того, что она заслуживает.

Лекции, как Ваша прошлым вечером, крайне важны для американского народа, поскольку они позволяют ему понять, насколько наши русские братья человечны.

Еще раз спасибо за Ваш приезд в Коннектикут. Надеюсь, что скоро увидимся.

Искренне Жоэль Гордс.

* * *

1987
Штат Коннектикут
Колледж Коннектикута
Комитет культурных планов
Грегори Хаджер

Дорогой Юлиан,

От лица Комитета культурных планов я хочу поблагодарить Вас за выступление о Гласности 2 октября 1987 года. Ваши искренность, ум, юмор и талант подняли уровень знаний студентов и всей общины в вопросах отношений США и СССР. Вы разрушили доминирующий миф о том, что СССР — это коммунистическое монолитное общество. Ваше выступление доказало, что монолитной структуры нет, что сейчас идет борьба, что есть попытки уничтожить новую демократию «советского типа».

Благодаря Вашему присутствию в нашем Университете студенты и община стали иначе смотреть на Советский Союз и испытывают к нему теплое, сердечное чувство.

Чем больше мы будем встречаться, тем заметнее будут улучшаться отношения между нашими странами.

Гласность означает открытость.

* * *

1988 год
Василий Иванович Катанян
Кинорежиссер

Уважаемый Юлиан Семенович!

Мы очень внимательно прочли Вашу «Версию-4», и хочется Вам сказать, что это, по-моему, единственное правдивое и точное изображение последних дней поэта[28]. Я, вообще, противник прямой речи исторических персонажей, но здесь это сделано художественно и всему веришь. Да так оно и было. После школьных сочинений Никулькова или Ал. Михайлова, это, на мой взгляд, первое не мемуарное сочинение, достоверное, насыщенное персональной тревогой, передающее безвыходность и безысходность. И — впервые — никакой пошлости в отношении с женщинами (у него пошлости не было, разумеется, пошлость была у тех, кто писал об этом). И документальное послесловие — наконец-то!

Спасибо Вам. И откуда Вы все это знаете?

Если Вы будете это переиздавать, то свяжитесь со мной, я Вам дам много интереснейшего материала и фото, которые Вы при желании сможете использовать. У отца описана вся «Операция Огонек» — с письмами протеста, с борьбой, с воронковщиной и фальсификацией, с Симоновым и Сусловым… Будем рады, если Вам это пригодится.

С интересом читаем, вырывая друг у друга, Ваши «Ненаписанные романы».

И последнее: «Невы» у нас нет, нам дали почитать. Нет ли у Вас экземпляра? Мы собираем все. Если нет, то не страшно, мы сделаем ксерокс.

Еще раз спасибо. С пожеланиями успеха и здоровья. Инна кланяется.

Уж вечер, облаков померкнули края.

29.3.88. XX век нашей эры.

В. Катанян.

* * *

27 мая 1988 года
Иржи Прохаска
Прага

Дорогой друг мой, Юлиан,

Я уже очень давно не видел тебя и очень ожидаю Хихона, где мы снова увидимся. Несколько дней тому назад я вернулся с Кубы, где очень приятно попил хороший ром с нашими кубинскими друзьями — Альбертом и Рудольфом.

Эти мальчики сделают отличную работу — я видел 5-й и 6-й номера «Энигмы» — уровень повышается, это, по-моему, будет знаменитый международный журнал. Сейчас готовятся 7-й и 8-й номера — я их привезу в Хихон. Если у вас еще проблемы с выпуском советской «Энигмы», возможно будет ее печатать по-русски в Гаване — это проблема только бумаги и одного или двух советских редакторов. Я говорил тоже с работниками политотдела о проекте Жоры Вайнера сделать большой телевизионный сериал с тематикой борьбы против контрабандистов. У них много материалов, и они рады бы в этом проекте участвовать.

Мы говорили также о ситуации с Тайбо[29] и о подготовке конгресса в Лос-Анджелесе. Ну ничего, не бойся, договоримся о тактике и стратегии под твоим руководством.

Я тебя знаю, Юлиан, ты очень умный человек — с тобой мы всегда венсеремос.

Целую тебя.

* * *

2 марта 1989 года
Иржи Прохаска
Прага[30]

Дорогой дружок мой боевой, Юлиан,

Я верю, что тебе снова хорошо и что с сердцем — большим и протестующим, никаких проблем. Я вспоминаю постоянно тебя, потому что мы стали друзьями одного сердца и одной души.

Здесь после твоего отъезда было несколько дней тяжело. «Мальчик со злыми и испуганными глазами» — как ты на аэродроме сказал Маше (извини, я там молчал, потому что я не знаю, если Маша точно на нашей стороне или нет), или этот «Товарищ» Мандат (как выразились наши друзья из Швеции и Западной Германии) сказал Союзу писателей и Центральному комитету партии, что мы были реакционной сессией, империалистическим диалогом, в котором только кубинец Валеро стоял на позициях социализма, и что советское посольство нашу сессию бойкотировало и не хотело ничего с ней иметь.

Ничего, я выдержал эту старую догматическую брежневскую атаку.

Сегодня появилась хорошая статья (которую я тебе посылаю) в «Руде право». Журналисты меня и МАДПР всегда понимали и поддерживали. Сейчас, когда это написало «Руде право», все

справятся с боязнью и начнут писать.

Ничего, мы с тобой победим, венсеремос.

Обнимаю тебя и целую.

Твой (навсегда) друг.

* * *

30 августа 1989 года
Александр Круглов[31]
Севастополь

Дорогой Юлиан Семенович!

Горком все сделал, чтобы выступление Гдляна[32] в Севастополе прошло под возможно более жестким его контролем, чтобы как можно более ограниченный и незаинтересованный контингент встретился с ним. По сговору с горкомом все билеты на встречу (под предлогом, что она проходит в доме культуры рыбаков) скупили на корню севастопольские рыбаки, они только своим и по специальным спискам горкома и перепродавали их, кому считали возможным, «безвредным». В основном ограждали от встреч с Гдляном, по собранной мной информации, творческую интеллигенцию, работников милиции, прокуратуры, суда и т. д. Во многом это им удалось. И все-таки Гдляну в процессе встречи и после нее было передано в письменном виде около 200 вопросов, определенная часть конечно же нежелательных для местных властей. Народ требует ответа на них через печать, и прежде всего через «Славу Севастополя». Внешне, разумеется, и прямо никто не отказывает, наш ответственный за идеологию в горкоме Миненко Николай Филиппович обещает такие ответы. Но если именно он немало сделал для того, чтобы на встречу с Гдляном мало кто из заинтересованных попал, можно представить себе, какие это будут ответы и на какие вопросы. Тем более, что в разговоре перед встречей со мной он выразил совершенно нескрываемое презрение к Гдляну и ничем не помог, а наоборот сделал все, чтобы я, как руководитель севастопольских литераторов, и никто другой из них на эту встречу не попал.

Словом, Юлиан Семенович, что Вы можете сделать, чтобы все задавшие Гдляну вопросы севастопольцы могли получить от него публичный ответ на них? Для начала, конечно, через «Славу Севастополя». Севастопольцы просят Вас использовать для этого и Ваш вестник «Совершенно секретно» — ближайший же его выпуск.

Что касается наших усилий по изданию его в типографии газеты, то со стороны газетчиков по этому поводу только энтузиазм. Но газетчики ведь не власть, а она неизвестно еще, как себя тут поведет. Вот такие дела.

Можете использовать это мое письмо, если в этом будет необходимость.

Можете использовать и следующую мою мысль, уже по другому, более общему вопросу, которую я передаю Вам на отдельной страничке.

* * *

30 октября 1988 года
Грэм Грин
Антиб

Телеграмма

Московская штаб-квартира, Международная ассоциация детективного и политического романа (МАДПР) Юлиану Семенову

Дорогие советские друзья!

Сердечно поздравляю Вас с началом выпуска вашего «ДиП» — «Детектив и политика».

Убежден, что «ДиП» станет одним из самых популярных изданий в Советском Союзе.

Сейчас, когда в стране происходит грандиозная Перестройка, потрясающая мир своими задачами, «ДиП» может и должен внести свой вклад в поддержку тех освежающих общество процессов, внушающих человечеству надежду на выживание.

В добрый час.

Ваш Грэм Грин.

* * *

1 ноября 1988 года
Эдуард фон Фальц-Фейн
Юлиану Семенову
Московская штаб-квартира Международной ассоциации детективного и политического романа

Дорогой друг!

Хочу поздравить читающую публику в Советском Союзе в связи с выходом первого номера «Детектива и политики».

Думаю, что такое издание было невозможно еще три года назад, до того дня, когда президент Горбачев провозгласил программу обновления страны — демократизацию, гласность и перестройку.

Слово «перестройка» сейчас стало международным, не нуждающимся в переводе; я горжусь тем, что происходит в России, я восхищен тем, как всего за несколько лет отношение к Вашей стране в мире изменилось кардинально.

По роду моей деятельности — поиск и возвращение в Москву произведений искусства, похищенных гитлеровцами во время трагичной войны, — сотрудничество с твоим журналом «Детектив и политика» представляется мне крайне перспективным.

Готов дать интервью о тех новых направлениях моего поиска, которыми я ныне занят.

С искренним уважением.

* * *

3 октября 1989 года
Д-р Альфред Кернлль
Замок Шарлоттенбург Постройка Лангханса
Берлин

Глубокоуважаемый г-н Семенов!

К сожалению, я только сейчас выбрал время, чтобы от себя лично, а также от имени моих коллег, д-ра Клауса Гольдмана и Дитриха Франца выразить благодарность Вам и Вашим сотрудникам за прием, оказанный нам во время нашего пребывания в Москве.

Благодаря Вашей личной инициативе и неутомимой заботе эта поездка увенчалась для нас полным успехом. При Вашей поддержке мы смогли установить контакты с важными советскими организациями, такими как Центральный государственный архив, Советский культурный фонд и Комитет советских ветеранов.

Во время посещения Центрального государственного архива СССР мы договорились со своими советскими коллегами изложить свои просьбы относительно отобранных архивных материалов в письменном виде и на этот раз официально передать в управление. Что мы уже и сделали, насколько Вы

можете судить по прилагаемой копии.

За прошедшее время я успел также прочесть вызвавшую у меня большой интерес Вашу книгу «Лицом к лицу». Читая ее, я вновь ощутил общность наших с Вами задач. Вы правы: Ваша книга не закончена. Ее продолжают все люди доброй воли, ненавидящие войну и желающие сохранить величайшие культурные достижения человечества.

Полагаю, что мы можем Вам помочь в разрешении отдельных вопросов, поднятых Вами в Вашем произведении. По этому поводу я напишу Вам отдельное письмо.

С сердечным приветом.

P.S. В качестве приложения к письму Вы найдете набор интересных диапозитивов по научной истории исчезнувшего культурного наследия. Можете поступать с ними по своему усмотрению. Диапозитивы предоставил мой коллега д-р Гольдман.

Глава третья
ПЕРЕПИСКА С ОТЦОМ в 1952–1954 гг.

Ты — гибрид из Спартака, Кюхли и, конечно, Дон-Кихота. В моем представлении такое сочетание — это идеал человека.

Из письма С. А. Ляндреса к сыну. 1963 г.

В 1952 году арестовали по политическим мотивам отца писателя Семена Александровича Ляндреса — редактора, бывшего помощника Н. И. Бухарина в газете «Известия» и доброго знакомого Серго Орджоникидзе.

Юлиан Семенов немедленно начал бороться за его освобождение. Писал письма и жалобы, добивался встреч, стучался во все двери, а когда понял, что надежды на благополучный исход нет, ни словом не обмолвился об этом отцу.

Вот как он описывал тот период в неопубликованном рассказе «Полковник Новиков»: «На улице Кирова, возле странного здания Наркомлегпрома, находится приемная прокуратуры войск МГБ. Я хожу туда раз в месяц — это, как в церковь: знаешь, что ничего не произойдет, а все равно молишься и просишь у Бога своего, затаенного, а он смотрит на тебя со стены и молчит, только разве музыка слышится. Бах или, иногда, Бетховен, девятая симфония. Так и в прокуратуре войск МГБ. Я приходил туда просто для того, чтобы быть честным перед самим собой. Я знал, что на мое очередное письмо ответят очередным отказом. Я даже знал, что там будет сказано, в этом отказе: „Ваш отец осужден правильно и оснований к пересмотру дела не найдено“. Поначалу мне казалось, что может быть чудо. Точно, как молящемуся: разверзнутся небеса, и сойдет Сын Человеческий, и станет на земле счастье. Но постепенно я понял, что чуда не будет, и стал ходить туда для самого себя, чтобы не стыдно было ночью ложиться в кровать, а перед сном пить чай на кухне, а в дни получения стипендий пить с ребятами в Сокольниках, в пивной у старика Гриши — армянина с синим склеротическим носом, который любил студентов и давал полтораста грамм с пивом в долг или, чаще, под залог. В залог мы оставляли ему портфель с учебниками. Так вот, чтобы можно было смотреть в глаза людям,

когда другие, лучше меня, безвинно брошены в тюрьмы, — я и ходил туда».

В этой главе приведены все сохранившиеся письма и жалобы отца и письма Семена Александровича. Последние настолько точно передают атмосферу того времени, что являются настоящим памятником эпохе. Первые весточки написаны на каких-то бумажных обрывках, в пересыльных пунктах, часто чужой рукой, поскольку после допросов деда разбил паралич, позднее — на листочках из школьных тетрадок. От письма к письму, по мере того как дед разрабатывал руку, почерк менялся, становясь красивее и убористее. Сколько же в этих письмах знания, юмора, любви и, вопреки всему творившемуся, преданности России! Кого-то могут шокировать теплые строки Семена Александровича о Сталине в письме за май 1953 года, но из письма (как и из песни) слова не выкинешь, да и Сталина в те времена любили миллионы. Семенов, хоть и прислушивался всегда к мнению отца, его хорошее отношение к диктатору не разделял и иначе как «гадом» последнего не называл. Сам Семен Александрович в определенный момент «прозрел» и в одном из писем к сыну в начале шестидесятых охарактеризовал время Кобы «большим и продолжительным несчастьем»…

Поразителен отрывок, где Семен Александрович говорит о том, что начал молиться. Это робкое обращение к Богу «ортодоксального» коммуниста стало (для меня лично) дополнительным свидетельством его человечности…

Все, кто знал деда, рассказывали мне о нем восторженно. Голоса уже очень немолодых людей, вспоминавших его по работе в редакциях, начинали звенеть: «Это был прекрасный человек!», «Это был настоящий интеллигент!» Какие только лестные эпитеты ни сыпались. Дело было, видимо, в очень бережном и уважительном отношении Семена Александровича к друзьям и коллегам — независимо от возраста и занимаемой ими должности. Он умел объяснить, не унизив, пожурить, не оскорбив. В каждом старался увидеть Божью искру таланта, посоветовать, поддержать. Самым любимым его «учеником» был единственный сын. Характер отца во многом выкристаллизовался благодаря Семену Александровичу, с малых ногтей привившему ему любовь к русской литературе, истории, природе. Маленьким он вывозил его в лес — слушать пение птиц, смотреть на закаты. Позднее воспитал художественный вкус — советовал лучшие произведения классиков и современных авторов, читал вслух Пушкина, редактировал первые сыновьи рассказы и репортажи.

Они оставались очень близки до самой смерти Семена Александровича в 1968 году. За год до этого, будто предчувствуя

близкий конец, он пригласит сына на свой 60-летний юбилей в такой форме: «Обращаюсь к тебе с просьбой: 15 и 16 июня быть в Москве. 15.06. в 17 ч. (вопреки моим протестам) по мне устраивают панихиду в Конференц-зале СП, а 16-го в 18 часов я собираю своих друзей в Мраморном зале ресторана „Москва“. Прошу тебя на эти часы в эти дни отменить съемки, заседания, ген. репетиции и забыть на худой конец Северный полюс. Все же первое и последнее шестидесятилетие отмечаю. Без тебя мне панихида не в панихиду и праздник не в праздник».

Через год после смерти Семена Александровича вышел роман Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны», который он посвятил памяти отца.

* * *

ПРОТОКОЛ от 30 апреля 1952 года

Подполковник Кобцов И. М.[33], майоры Моисеев П. М. и Коптелев А. Д. на основании ордера Министерства Государственной безопасности СССР за номером Ч-85 от 29 апреля 1952 года, руководствуясь статьей 175–185 УПК РСФСР произвели арест Ляндреса Семена Александровича.

Изъято для доставления в МГБ СССР следующее:

1. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и к ней удостоверение № 0116012 на имя Ляндреса С. А.
2. Медаль «За оборону Москвы» и к ней удостоверение № 037144 на имя Ляндреса С. А.
3. Медаль «За взятие Берлина» и к ней удостоверение № 071331 на имя Ляндреса С. А.
4. Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и к ней удостоверение № 414966 на имя Ляндреса С. А.
5. Патроны к пистолету разные — 10 штук.
6. Патроны к охотничьему ружью 16 калибра — 7 штук.
7. Копия письма Ляндреса С. А. на имя секретаря ЦК ВКП(б) т. Суслова по вопросу устранения имеющихся в работе Издательства недочетов.
8. Список телефонов Московского Кремля.
9. Материал для книги Уэверли Рута «Секретная история войны», отпечатанный на пишущей машинке.
10. Материал Ляндреса С. А. по вопросу воздействия на человеческое сознание, отпечатанный на пишущей машинке, на

11 листах.

11. Краткий курс истории ВКП(б) с пометками и надписями на полях.

Опись имущества, на которое наложен арест

1. Кровать никелированная. б/у
2. Матрац волосяной. б/у
3. Машинка пишущая «Rheinmetrau».
4. Часы настольные 2-го часового завода в деревянном футляре.
5. Чемодан фибровый черного цвета.
6. Стеллаж для книг сосн. 41,5 м.
7. Книги разные 310 штук.

* * *

11.8. 1952.
Генеральному прокурору Союза ССР
Тов. Софронову.

ЖАЛОБА

29 апреля 1952 года органами МГБ СССР был арестован мой отец Ляндрес Семен Александрович.

4 июля 1952 года решением Особого совещания он был по 58 ст.п.п. 10 и 11 осужден на 8 лет тюремного заключения в Александровской тюрьме. 6 августа я получил письмо из пересыльной тюрьмы из Ярославля, написанное чужой рукой.

Письмо было от отца. Я выехал в Ярославль и там получил свидание. Моего отца вынесли на руках двое заключенных в сопровождении медсестры… Его разбил паралич, сидеть он не может, ходить — тем более. На спине у него сплошные волдыри, так как, чтобы перенести его с места не место, его тащат под руки. И вот этого больного человека после вынесения ему приговора направляют в Александровскую тюрьму. Его в теплушке везут в Александровск, оттуда в Ярославль, Кострому, Киров и, наконец, снова в Ярославль… В Вологде и Костроме отец лежал 4 суток на каменном полу и не имел, кроме куска черного хлеба, никакой еды… Это безобразное нарушение основного закона нашей Родины — Закона об уважении человека… Прошу

Вас дать указание прокурору г. Ярославля немедленно перевести моего отца в Ярославскую больницу, где бы ему смогли обеспечить соответствующий уход…

После ареста отцу предъявили обвинение в том, что он, якобы, является запасным руководителем правотроцкистского, бухаринского блока, основываясь на том, что мой отец в период 1934–1942 гг. работал в газете «Известия», причем до 1937 года отец был помощником ответственного редактора газеты Бухарина. Но люди, ведшие следствие по делу моего отца, по-видимому, не учли, что есть документы, подтверждающие участие моего отца в разгроме троцкистской оппозиции в 1927 году. Это обвинение отец отверг и опроверг.

Следующее обвинение — отец — участник какой-то подпольной националистической организации. Во все время следствия отец ни разу, ни с кем не имел очной ставки, ему ни разу не предъявили ни одного документа, изобличающего его связь с какой-либо организацией. Отец отверг и это обвинение. Однако в приговоре пункт фигурирует.

Далее, отца обвинили в том, что он якобы говорил о том, что «плохо дело обстоит с укрупнением колхозов». Это, конечно, неправда. По возвращении из Галиниково-Собакино — опытной станции МГУ им. Ломоносова отец на заседании партбюро сказал: «Жалуются колхозники окрестных деревень, что председатель колхоза — пьяница, и срывает укрупнение колхоза». Вот все обвинения, которые были предъявлены отцу. Никаких документов, уличающих моего отца в преступлении, нет. Нет ни одного человека, который бы мог подтвердить преступление моего отца по 10 пункту 58 статьи.

Работники МГБ СССР во время следствия по делу моего отца безобразно нарушали установленные нормы поведения в СССР. Они нарушили Конституцию. Во-первых: мой отец подписал 206 статью в полубессознательном состоянии, когда у него были разбиты очки. Во-вторых: во время следствия, несмотря на неоднократные требования отца, он не смог ни разу поговорить с глазу на глаз с прокурором. В-третьих: на 12-й день после ареста отца разбил паралич и на допросы его возили в кресле. В-четвертых: работники МГБ СССР угрожали ему тем, что они засадят его навсегда в сумасшедший дом…

Прошу Вас дать указание, во-первых, в порядке прокурорского надзора затребовать и пересмотреть дело моего отца и, во-вторых, до пересмотра дела, если возможно, дать указание освободить моего отца из-под стражи с тем, чтобы я имел возможность ухаживать за ним и подправить его здоровье.

Товарищ Генеральный прокурор!

Мой отец — честный коммунист, — даже из тюрьмы он мне пишет записку: «Сынок, верь нашей партии, верь товарищу Сталину». Я верю — мой отец будет реабилитирован и в дальнейшем своей работой докажет свою абсолютную честность.

Очень прошу Вас, товарищ Генеральный прокурор, как можно скорее разобрать дело моего отца и, до разбора его дела, дать указание о переводе его в Ярославскую больницу.

* * *

12 августа 1952.

Дорогой мой мальчик!

Я все еще в Ярославле. Видимо, ожидают на меня наряд из Гулага МВД. Сейчас главное для меня — научиться ходить и предотвратить дальнейшее катастрофическое высыхание руки… Физическая полноценность укрепит меня в противостоянии всем преследователям, и я сумею наконец собраться с силами и мыслями, чтобы написать по существу моего пустячного и тенденциозного дела.

Целуй всех очень крепко.

Папа Сеня.

* * *

Август 1952 года

Дорогой папулька!

Помнишь, твоей первой книгой, изданной в Госкомиздате, была книга тов. Фучика… Папулька, будь стоек! Самую большую боль мне доставляет то, что мне товарищи из охраны говорят, что ты плачешь. Папулька, милый, возьми себя в руки. Я надеюсь, что тов. старший лейтенант передаст мне от тебя бодрое письмо. Еще раз — самое главное — обуздай свои нервы. Не расстраивайся, будь настоящим коммунистом, каким ты был всегда. Свидание, конечно, нам с тобой здесь товарищи дать не могут. Даже первое свидание нам дали только из-за любезности начальства. 13 сентября нам дадут свидание обязательно.

Я был на приеме у зам. Главного Военного прокурора Сов. Армии Т. Китаева. Я передал ему свою государственную жалобу. Исход возможен такой: либо тебя восстанавливают во всех правах, ты снова становишься полковником, членом партии, либо тебя

освободят по состоянию здоровья. Должен тебе сказать, что первое гораздо более вероятно. Ты сам обязательно напиши тов. Косыгину, Берия, Ворошилову. В своей жалобе я писал о состоянии твоего здоровья, о твоем деле, и о нелепости его и о ведении следствия.

В отношении вещей, — не беспокойся, — я был у т. Ермакова — нач. ОИТК, и он сказал, что все твои вещи будет нести конвой, сколько бы вещей ни было.

Еще раз прошу тебя, если ты хочешь, чтобы я спокойно и твердо боролся за тебя, а если за тебя, то значит и за себя, то не плачь, не нервируй себя. В этом залог моего спокойствия и твердости. Нужно очень желать, и тогда все желания сбудутся…

Я уверен, товарищ старший лейтенант скажет мне, что ты был спокоен и не нервничал, иначе я буду очень нервничать. Мое спокойствие зиждется на уверенности в том, что ты будешь молодцом.

Сейчас я шлю тебе 4 пачки «Москва — Волга», — других, к сожалению, нигде не смог найти и 100 рублей.

Папуля, свидание нам сейчас дать не могут, и обижаться на это нельзя. Я скоро с тобой увижусь, и мы водку пить будем, а как же!

Пиши, что тебя надо, все пришлю или привезу. Напиши, куда, что и в каком аспекте писать еще.

Крепко целую.

Будь молодцом. Твое здоровье — мое здоровье. Твое спокойствие — мое спокойствие.

Юлька.

* * *

Август 1952 года

МИНИСТРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
тов. КРУГЛОВУ

ЖАЛОБА

Мой отец Ляндрес Семен Александрович, 1907 года рождения, 4 июля по приговору Особого совещания был осужден на 8 лет тюремного заключения в Александровской тюрьме Иркутской области. Как мне стало известно, на 12-й день следствия отца разбил паралич, однако это не помешало

начальнику Бутырской тюрьмы обмануть моего отца, сказав ему, что его отправляют в г. Александров под Москву «на излечение».

Отца, который не может двигаться, без сопровождающего отправляют в Александров, затем в Ярославль, в Вологду, в Кострому, в Киров и, наконец, снова в Ярославль.

В Ярославле отец объявил голодовку, и после этого по решению врачебного консилиума ему было запрещено дальнейшее движение к месту «излечения».

Я очень прошу Вас, тов. Министр, дать указание в ГУЛАГ МВД немедленно перевести отца в Ярославскую больницу и там создать врачебную комиссию, которая решит, возможно ли дальнейшее пребывание моего отца в тюрьме?

Сейчас у меня создается впечатление, что кто-то хотел отделаться от отца. А о порядке ведения следствия и об «обвинениях», предъявленных отцу, я подал жалобу Главному Военному прокурору.

Сейчас отец находится, по существу, при смерти, и я очень прошу Вас отцу помочь.

* * *

15 августа 1952 года

Дорогой мой сынок!

После свидания с тобой я все пытаюсь собраться с мыслями и написать Ген. прокурору и тов. Поскребышеву, но физически я этого сделать не могу, а продиктовать здесь на пересыльном пункте некому.

Главное *(5 строк вычеркнуто тюремной цензурой)* бы я был в состоянии, мне не составило бы труда изложить, как ловко воспользовался следователь моим состоянием и абсолютной честностью и изобразил меня групповщиком.

Когда я это понял, то попросил свидания с прокурором 5 управления подполковником Старичковым, но ему, видимо, не сообщили нарочно и опять являлся следователь с вопросом: «А зачем вам прокурор?»

Так я с прокурором наедине и не поговорил, а при подписании 206-й я дело только просмотрел, т. к. очков у меня не было и, кроме того, был приступ. Если Ген. прокурор посмотрит оригинал дела, то увидит, что подпись «ознакомился и прочитал» написана рукой следователя.

* * *

23 августа 1952 года
гр-ну Ляндресу Ю. С.

Подтверждая получение Вашего заявления, сообщаю, что нами дано указание об обеспечении Ляндреса С. А. необходимым лечением.

Начальник отдела МВД СССР.

* * *

Сентябрь 1952 года

Дорогой мой старичок!

Ничего страшного, если на пересылке воруют вещи, — новые вышлю. Что г. Владимир — замечательно! Значит, прокуратура СССР очень помогла. Несколько зароков:

1. Держись молодцом, как никогда.

2. В клинике требуй помещения в отделение для легких больных.

3. Главный упор: встать на ноги, выйти из-под опеки врачей и начать работать.

4. Ничего, что на пересылке было трудно, — все наверстается в больнице. Главное, старайся в больнице стать на ноги и начать понемногу ходить. Значит необходимо вложить все свое старание, всю свою волю, всю любовь ко мне в одно великое желание — встать.

Тут же по приезде подай заявление о свидании и немедленно сообщи. Передал тебе варежки, шарфик и гимнастическое трико.

Очки вышлю дня через два. Все у нас живы-здоровы. Как только приедешь во Владимир, вышлем деньги и посылку тут же. В общем, дальше Владимира ты уже никогда не поедешь. Владимир — пункт твоего назначения.

Как только себя почувствуешь лучше — требуй отправления на работу по специальности (таково постановление Совета мин. — заключенных использовать по специальности).

Дома все в полном порядке. Если, повторяю, было трудно на пересылке, во Владимире будет легче. Главное тебя поставить на ноги. Ведь у тебя только явления послепараличного характера и только. Ведь так я понимаю?! Судя по истории болезни, у тебя явления после паралича, головных болей нет, галлюцинаций тоже. Значит, твоя болезнь заканчивается. Тебе надо встать, начать ходить, начать работать.

Итак, еще и еще раз: на что ты должен акцентировать

внимание врачей — пусть тебя поднимут на ноги. Из больницы пиши сразу же — что надо, каково положение, когда можно получить свидание.

Крепко целую.

Твой Юлька.

* * *

3 сентября 1952 года

Дорогой мой мальчик!

Вот и начался твой новый, 4-й учебный год! Пройдет всего лишь 96 недель, а если исключить каникулы, то через 72 недели ты получишь диплом.

Сколько нужно выдержки для того, чтобы полностью исключить легкомыслие при сложившейся ситуации, с успехом преодолеть все трудности и, несмотря на то, что я явился источником твоих небывалых огорчений, я надеюсь, что ты меня не подведешь и так хорошо организуешь свое время, учебу, общественную деятельность, включая лекции, что будешь примерным на курсе. Если этого не будет, то ты меня обрекаешь на такое угрызение, которое можно сравнить только с пережитым. Ты этого, конечно, мой дорогой сын, не допустишь.

Очень важно знать цену людям, памятуя, что во многих живы проклятые шопенгауэровские черты и повадки небезызвестного статского советника, показанного в произведении А. К. Толстого. Забыв это (особенно теперь), ты можешь в своем лице лишить меня единственной опоры, надежды и причинить огромные дополнительные неприятности маме. Одним словом, памятуй: «В много-глаголении несть спасения».

Поцелуи и нежные объятья это не те слова, которые могут выразить мои чувства к тебе. Будь здоров, мой хороший, будь умным, не зарывайся, береги себя. Каждая моя кровинка и слеза с тобой теперь, как и прежде. Кланяйся, желай здоровья и дружбы всем родным.

Твой папа.

* * *

Главная Военная Прокуратура Советской Армии
Гр-ну Ляндресу Ю. С.
22 сентября 1952 года

Ваши жалобы по делу Ляндреса С. А., поданные на имя председателя Центральной ревизионной Комиссии ВКП(б) тов. Москатова и переданные на разрешение в Главную Военную Прокуратуру Советской Армии, рассмотрены.

Проверкой установлено, что Ляндрес С. А. за совершенное им преступление осужден правильно и оснований к пересмотру решения не имеется.

Ваши жалобы, как неосновательные, оставлены без удовлетворения.

Зам. Главного военного прокурора Советской Армии Генерал-майор юстиции Д. Китаев.

* * *

8 октября 1952 года

Спасибо, родной мой, за поздравления с Днем твоего рождения… В эти часы 8 октября 1931 года я рыскал у окон родильного дома, в котором шла борьба за жизнь мамы, а тебя, безнадежного, вытащили щипцами, вывернув тебе руку и с рваной раной на лбу и около уха… При этом голову тебе вытянули, как гамбургскую колбасу и сделали ее круглой, как кочан.

Боже, сколько тревоги, страдания и счастья. Затем, к ужасу моему, я обнаружил, что ты совершенно плешив и украдкой от мамы стал тебе, годовалому пузырю, брить голову… А потом я обдал тебя холодной водой, как-то повис с тобой на одной руке над глубокой речкой, а в Малаховке напоил пивом, а в Клепиках посадил в самолет У-2 и заложил над озером глубокий вираж и тебе было три годика и разное другое.

Все это встает перед моими глазами и заполняет все мое существо мыслями о тебе и счастьем, что ты есть и будешь многие десятилетия и целеустремленным трудом увековечишь в делах своих на пользу народа память о своем взбалмошном романтике отце.

Учись, сынуля, будь крепок, уплотняй мозг знаниями и дисциплиной. Знай, институт сам по себе знаний не дает. Знания надо брать с бою, трудом, наблюдательностью, невозмутимым спокойствием и жаждой преодолеть трудности без внешней аффектации, памятуя белорусскую мудрую поговорку: «Не радуйся в счастье — не бедуй в беде».

Обнимаю тебя, мой славный мальчик, дорогой мой друг.

Папа твой.

* * *

10 октября 1952 года
гр-ну Ляндресу Ю. С.

На Ваше заявление от 3 октября 1952 года в адрес Начальника Управления МВД Ярославской области сообщаю, что свидание Вам с Вашим отцом может быть разрешено только по прибытии последнего к месту наказания.

Начальник части Малков.

* * *

12 октября 1952 года

Здравствуй, дорогой Юлианка!

Вчера вечером получил твое заказное письмо от 7.10. Большое спасибо, сынок. Твои письма помогают мне жить и выкарабкиваться из болезни. Спешу просить тебя о следующем: не высылай мне лыжного костюма и валенок. Это пока лишняя обуза. Если же в будущем понадобится, то я напишу. Надеюсь, эта открытка дойдет своевременно и тебе не придется зря трудиться.

Юка, здесь какой-то тип ко мне привязался (Гавриков) — фальшивомонетчик, и, чтобы отвязаться, я дал ему твой телефон. Выслушай его (но не дома) вежливо и отшей. Это опасный грязный тип и видимо лягавый.

Вообще должен тебе сказать, что я пользуюсь уважением у урок, пацанов и фашистов (58 ст.). Беру спокойствием и молчанием. Был случай, когда один урка меня обобрал, появились два других, разоблачили его как урку без закона (есть законные и незаконные), объявили пацаном и заставили его все вернуть. О некоторых типах я тебе напишу, если цензор пропустит.

Больше курева не посылай. Появились папиросы в ларьке.

Целуй и обнимай Броничку, Иду, Зяму и Илюшу, Гальку, Ирочку, Кларочку, Юрку и других.

Всегда твой папа.

* * *

26 октября 1952 года

Мой милый, дорогой папулек!

Сейчас иду на почту посылать тебе посылку и бандероль.

В посылке: 4 банки сгущенного молока

2 пачки сахару

1 банка с русским маслом, перемешанным с луком

400 гр конфет мятных

3 лимона

9 витаминов С

9 пачек папирос «Спорт»

1 пачка печенья

1 банка шпротов

1 банка лещ в томате — когда начнешь кушать — переложи в блюдечко.

В бандероли посылаю тебе —

1) 1 папку для бумаг — черную, новую

2) 2 блокнота

3) 1 набор почтовый и в нем

4) 1 ручка

5) характеристики — 9 штук

Папуля, очки по твоему рецепту уже отдали, военные характеристики пришлю в следующий раз.

Характеристики от 1) правления ДК Коммунар, 2) Бордадина, 3) Локомотива, 4) Орджоникидзе, 5) от Известий, 6) от ЦК, 7) от ЦКПб, 8) из Института Здравоохранения от Виноградова, 9) из Университета.

Штанишки для гимнастики тебе вышлю в следующий раз, — т. е. дней через десять.

О делах сообщу тебе подробно в письме, которое отправлю во вторник, а сейчас бегу на почту. Крепко целую тебя, дорогой, желаю всего хорошего.

Твой Юлька.

* * *

27 октября 1952 года

Мой милый и дорогой папулек!

Как ты поживаешь, как недуги свои лечишь, как скоро пришлешь мне письмо, в котором известишь, что такого-то числа стал на ноги и, с помощью или без помощи санитара или костыля или, что лучше всего, просто с палочкой, прошелся по двору. Сделал 15 шагов. Это было бы, несомненно, нашей с тобой первой радостью со времени 29.4.52 г. А как известно, первые радости —

это звенья одной цепи радостей.

Папулька, очки я тебе, к сожалению, послать не смог, ибо окуляры твои еще в стадии приготовления. Как только они будут приготовлены, в самый что ни на есть в тот миг, они буде водворены в вату, а затем в коробочки — ибо я делаю две пары — и посланы тебе.

У меня все по-старому. Сейчас много и интересно занимаюсь — очень интересные материалы есть, вернее появились, по Афганистану. Думаем вместе с Лешей написать что-нибудь интересное в сопоставлении: жизнь несчастной женщины афганской и полная творчеством жизнь женщин Таджикистана. Очень интересно и наглядно должно получиться. Трудно, правда, со статьями по философии, — мы их тоже думаем опубликовать, авторов мало — бегаем за ними, а застать их очень трудно. Но так или иначе мы этих авторов — очень уважаемые между прочим и хорошие люди, — застанем, и они нашей редакции помогут…

Сейчас уже час ночи, тихо кругом, — очень люблю заниматься и писать тебе письма по ночам. Чего тебе еще о новостях сообщить? Вроде ничего. Да, ближе к делу — давай-ка, папулька, испросив разрешения у начальства больницы, — начинать писать, хотя бы по одной страничке в день. Напиши мне, о чем ты хочешь писать, — в каком стиле — очерк, повесть, рассказ?

Я со своей стороны подберу много хороших материалов и здесь и в Москве, по разработанному совместно плану буду помогать тебе. Начни писать хотя бы по часу в день (только после того, как пришлю очки). Это здорово смобилизует тебя, здорово подхлестнет нервы, — вернее не подхлестнет, но завяжет в узел.

Устал сегодня за день, как собака, сейчас завалюсь дрыхнуть эдак до 9 часов. А завтра снова день, полный труда и забот.

Ну, дорогой, крепко-крепко, нежно-нежно, мужественно-мужественно тебя целую.

Всегда твой Юлька.

P.S. Да, ко дню рождения бабушка и Броня дали мне 150 рублей — 50 я потратил на книги, 30 — на починку порток, а остальные использовал на посылочку тебе. Мне это доставляет огромное наслаждение. Ребята притащили вина, явств. В общем, друзья у меня золотые. Крепко целую. Юлька.

* * *

30 октября 1952 года

Мой славный сынок!

Получил бандероль. Характеристика здесь приобщена к делу… Я вспоминаю Памир: едет киргиз или таджик на верблюде и поет обо всем, что видит перед глазами. Прошу тебя — пиши мне, уподобляясь этому чудесному методу, — более подробно, обо всем, что видишь, и обо всем, что тебя радует и тревожит.

Вчера получил твою записку к посылке и жду обещанного письма. Как здоровье? Как собираешься праздновать Великий праздник? Я стараюсь начать ходить — это мое соц. обязательство к празднику. Как там Гулаг? Быть может нам повезет на свидание?! Назло и наперекор стихиям!!

Ну, кровинка моя, прекращаю писать и начинаю грустить. Обнимаю тебя, мой хороший, целую и крепко жму руку. Всем сердцем и всеми мыслями с тобой.

* * *

18 ноября 1952 года
Гр. Ляндресу Ю. С.

Сообщаю, что Ляндресу С. А. была оказана необходимая медицинская помощь.

Зам. начальника отдела
(Подпись)

* * *

3 ноября 1952 года (из тюремной больницы).

Мой дорогой, славный сынуля!

Вместо приветственной телеграммы посылаю открытку с бесталанными стихами собственного корпания:

Поздравляю с светлым днем —
35-м Октябрем!
Будьте бодры все и свежи,
Не пишите письма реже.
С помощью всех Вас, друзей,
Буду я здоров, ей-ей.

Как видишь, дорогой мой сынок, поэт из меня не получился,

но победу сегодня одержал — стал на ноги, держась за санитара, и выстоял несколько минут, но шагнуть еще не сумел… Ничего, наладится!

По утрам наслаждаюсь маслом с луком и хлебом. Ничего прекрасней такого блюда я в жизни не едал. Расцелуй того, кто жарил. По вечерам ужинаю чаем и мажу сгущенное молоко на хлеб… Пища для богов, и аппетит отменный. Запиши меня в боксеры — не подведу. Бодростью подминаю грусть — наношу ей удары под дых, а сам живу стремлением ходить и увидеть тебя страшно умным, мощным и известным, а все остальное приложится. Тянусь к тебе из моей богадельни (хм-хм) руками и губами, чтобы с остервенением тебя прижать к себе и расцеловать с нежностью необычайной.

Твой папа Сеня.

* * *

29 ноября 1952 года

Дорогие мои славные любимые!

Кто сказал, что *(вычеркнуто тюремной цензурой)* человек не знает радости?! Это ложь! У меня вот сразу 3 радостных события!

1. Вчера после 5-месячной лежки с могучей палкой в левой руке и поддерживаемый под локоть товарищем из камеры я бодро гулял по дворику и отдыхал на лавочке. У меня нет слов, чтобы выразить свой восторг. От воздуха у меня кружилась голова, а от счастья градом катились слезы. Как видите, дорогие мои, поддерживаемый Вами духовно, я не растерял своего мужества и нашел в себе силы положить на обе лопатки свой проклятый недуг! Погодите! Я еще, чего доброго, сыграю в футбол за какую-нибудь внекатегорийную футбольную команду. Боюсь, что Юлаша на радостях выставит маму и бабушку на хорошую бутылку вина! Ну что ж, я не прочь! Выпей за здоровье *(вычеркнуто тюремной цензурой)* и врачей, которые помогли мне. Это радость № 1.

Радость № 2. Начальник тюрьмы разрешил написать внеочередное в этом году письмо.

Радость № 3. 27.11 вечером мне вручили Ваше письмо. Оно было очень кстати, т. к. начал шибко нервничать. Спасибо Вам, Галя, Юлианка, Бабуля, за большое и хорошее письмо…

Я все надеюсь, что меня переведут *(вычеркнуто тюремной цензурой),* где я буду много и хорошо работать и сумею не только освободить Вас от денежной помощи мне, но и помогать Вам, т. к. в лагерях прекрасно поставлено дело и за труд не только кормят,

одевают, но и платят. Я уже подготовил заявление члену Президиума К. Б. Советского Союза, в котором написал, как я строил паровозы, цеха в Луганске, Брянске, типографию в Сталинграде и других городах, жилые дома в Москве, а также указал, что напечатал в газете и журналах около 50-и статей… Работа мне нужна для того, чтобы не акцентировать своего внимания на остатках болезни и, главным образом, делом показать, что я был и есть верный сын своей Родины…

Юлианка! Счастье, радость и надежда моя! Не забудь сообщить мне о твоих академических успехах, т. е. как они выглядят в зачетной книжке. Фрагмент работы «Две судьбы» может представить интерес также для журнала «Работница» и «Советский Союз».

Целую. Твой папа.

* * *

31 декабря 1952 года
Г-ну Ляндресу Ю. С.

Сообщаю, что Ваша жалоба от 22.12.52 по делу Вашего отца Ляндреса С. А. была рассмотрена Генеральным прокурором Союза ССР т. Сафоновым, который не нашел оснований к отмене или изменению решения по делу.

Помощник Военного Прокурора Войск МГБ СССР Полковник юстиции Новиков.

* * *

Май 1953 года

Дорогие мои родные, ненаглядные Юлианушка, мамуля!

За несколько дней до дня своего рождения я получил твое письмо… и узнал о Сталине, что нет Сталина. Нет, видимо, словами нельзя выразить чувство. Язык беден для этого. Слова — инструмент разума, сознания, а чувства должны иметь свои формы проявления: жесты, звуки… Рыдаешь, вздохнешь — и все понятно. Какими же словами можно рыдание и вздох передать? Нет, ничего другого не скажешь: и я пишу — рыдаю. Осязаю, как реальное, когда он облокотился своей рукой на мое левое плечо на 1-м съезде колхозников, слышу, отчетливо слышу его голос, вижу, вижу милые оспинки на смуглом, улыбчивом лице и руку,

набивавшую трубку табаком из коробки из-под «Герцеговины Флор». Может быть такая поэтическая попытка выразит мое состояние…

Спасибо, дорогой мой, за вещи. Они крепко меня выручают — поддеваю их под казенную одежду. А платочек перецеловываю рано утром и поздно вечером, произнося свою молитву — ваши имена. Это я делаю пунктуальней, чем принимаю пищу. Тебе, сынок мой, поручаю воздать почести, бесконечно облучать нежностью маму от дня ее рождения 25 мая и бесконечно много лет… Вино, цветы к ее ногам. Роковой месяц май. Всем, родившимся в этот месяц цветения, дано, согласно мудрости народной, маяться. Отныне, когда маме исполнилось 46 лет, где сумма цифр этого числа составляет 10, — маета всяческая канет в Лету и она будет счастлива, как может быть счастлива мать такого хорошего, тактичного, рассудительного сына, каким являешься ты.

Находясь в грязи (не в смысле санитарном, конечно), я стал чище, крепче… Пожалуй, даже требовательная и несгибаемая мама меня поощрила бы. Теперь буду ждать ответа на свое большое письмо Л. П. Берии, которому я все поведал. Когда трудно бывает, не нужно искать источника движения в другом человеке. Его нужно искать только в себе, как в части большой жизни общества. Для того, чтобы человеку быть мудрым и принимать дары жизни, как редкое чудо, ему необходимо терять. Тогда в нем, вместе со щемящей болью печали, просыпается то, что спало и не видело жизни.

Меня радует стиль твоей жизни: учеба, работа. Посетить выставку, иногда послушать хорошую музыку надо. Не торопись публиковать своей работы. Будь требовательным к мыслям, слогу. Не гонись за количеством. Не гонись за славой, думай о пользе Родине. Имей умных товарищей. Умей выслушивать и смиряться. Обрети мужество разорвать твою рукопись и начать снова в 3-й и 6-й раз. Делай много, а считай себя малым и недостойным похвалы. Кто чтит достоинства, достопочтен и сам, но не забывай Пушкина: «Что дружба?! Легкий пыл похмелья, обиды вольный разговор, обмен тщеславия, безделья, иль покровительства позор». Будь, мой дорогой, достойным сыном времени и пусть будет тебе примером скромности твоя мама…

Целую тебя, сынуля мой, с целомудренной нежностью затворника, у которого в твоем образе сконцентрирована моя воля к жизни. За меня, пожалуйста, не беспокойся. Совершенствуй себя. Береги маму, пригрей бабулю, мамочку мою.

Твой, всегда твой.

* * *

Октябрь 1953 года

Генеральному прокурору Союза ССР Тов. Руденко

ЗАЯВЛЕНИЕ

Многоуважаемый товарищ Руденко!

Дело, по которому я обращаюсь к Вам, заключается в следующем: 29 апреля 1952 года органами быв. МГБ был арестован мой отец, Семен Александрович Ляндрес, 1907 года рождения, комсомолец с 1923 года, член партии с 1932 года, в прошлом работник печати, полковник Советской армии.

Отец был осужден решением ОСО от 4 июля 1952 года на 8 лет тюремного заключения по статье 58-10-11. Причем во время следствия ни одной очной ставки, ни одного документа, изобличающего отца во враждебной деятельности. И после этого следствия — суд, на котором отец не присутствовал.

В Ярославской пересыльной тюрьме я встретился с отцом, — седым стариком, разбитым параличом… там отец рассказал мне всю «суть» его «дела».

По приезде в Москву я сразу же написал письмо в Главную прокуратуру Советской армии. Это мое заявление было передано на «рассмотрение» подполковнику Старичкову, т. е. тому человеку, который вместе со следователем Макаренко «вел» дело отца. Естественно, моему письму было придано соответствующее «толкование». В ответе мне было сказано, что изложенные в письме факты не подтвердились.

Затем, в период с 19 августа по 31 декабря 1952 года, я написал целый ряд заявлений, — в различные адреса. Все мои заявления автоматически пересылались в прокуратуру войск МГБ, откуда я получал бюрократические отписки.

Со времени моего первого заявления и заявления отца меня лишили свиданий с отцом, до недавнего времени мы были ограничены в переписке. По-видимому — это результат заявлений моих и отца.

4 и 6 апреля этого года я направил Берии, как бывшему министру, два заявления, два закрытых письма из Владимирской тюрьмы в МВД направил отец, и до сегодняшнего дня я не имею оттуда никакого ответа.

Я не прошу помилования отцу, — я прошу пересмотреть дело отца, ибо то, о чем отец пишет в двух своих заявлениях, то, о чем

он рассказал мне при свидании, — все это заслуживает тщательного рассмотрения.

Я знаю, в чем отца «обвиняют», и я уверен в полной невиновности отца. Если бы отец был в чем-нибудь виновен, то его судили бы, ему были бы предъявлены документы, ему были бы даны очные ставки. Мне известно также, как велось следствие, — просто так людей паралич не разбивает…

Все это — заявление отца, его рассказ мне на пересыльном пункте и, наконец, моя вера в абсолютную честность отца — дает мне право обратиться к Вам, уважаемый товарищ Руденко, разобрать дело моего отца.

* * *

7 октября 1953 года

Дорогие мои родные! Юлианушка и мамуля! Прошлое письмо было очень коротким, поэтому отведу душу теперь…

К сожалению, сбылось мое предчувствие. Не поспеет мое письмо к 8-му октября — дню Рождения Юлика. Мысли мои, как и всегда, в этот день с тобой, с вами. Убежден, что мое дитя усатое прославит себя скромностью, знаниями, здоровьем и делами для народа и во имя его! Да будет так!.. Поздравляю тебя, Юлик, и всех близких с днем твоего рождения.

7 и 15 сентября получил письма, а 20 сентября две посылки и денежные переводы. Вашей доброте нет предела. Спасибо вам, но я не заслуживаю такой заботы… Прошу учесть, что одной посылки в месяц мне вполне достаточно для поддержания себя, и Вам не так хлопотно…

За стеной, кажется, дождь, а мне до слез как бы солнечно, каждая буковка твоя, закорючка мамина — лучи света. Хрестоматийно, банально, но верно. Особенно меня взбодрила лестная оценка мамы. Она, как известно, никогда не была щедрой на похвалу. Спасибо, Галя, за письмо и хорошие слова о Юлике. Он был хорошим, а будет еще совершенней. Аминь!

Мое здоровье? Я жив настолько, чтобы, полечившись, стать относительно здоровым и трудоспособным. У Ильича (в философских тетрадях, как будто) есть запись о сущности «этики» Спинозы: «не плакать, не смеяться, а понимать». Так я и стараюсь существовать, хотя и не могу понять *(вычеркнуто тюремной цензурой)*.

Чем я живу? Философией духа, воспитанием чувств. Что это значит? Где, в чем заимствовать жизнеустойчивость? Созданием

для себя «творческих» обязанностей и пунктуальным их выполнением *(вычеркнуто тюремной цензурой)*. Тверди «Мцыри», «Пророка» и верь, главное верь! Кто теряет веру — тот гибнет! *(вычеркнуто тюремной цензурой)*… надо зажмуриться и представить себе вечное и прекрасное — небо, березку, Юлика, спящего в фанерной коробке[34] или делающего первый шаг с полотенцем под мышками… Тогда улыбка разжимает губы, дыханье глубже *(вычеркнуто тюремной цензурой)*. Л. Н. Толстой в своих дневниках сетует, скорбит *(вычеркнуто тюремной цензурой)*. Величие Толстого рождало великие намерения. Психику, логику *(вычеркнуто тюремной цензурой)*.

Главное, мои дорогие, счастье в том, что вы есть и будете, что войны не будет, что советские люди уже осуществляют новые, замечательные решения Партии, что наше Правительство не остановится в своей решимости до конца очистить аппарат от рюминцев, бериевцев и им подобных и ликвидировать последствия их враждебной, антинародной работы. Это задача трудная…

Продолжаю отвечать на вопросы. Как узнать меня при встрече? В списке действующих лиц одной из пьес Островского есть персонаж: «Человек с большими усами и малыми способностями». Так это я! Если тебя такая примета шокирует, то возьмем из «Гяур» Байрона: «I know him now! I know him by his pilid brow! (Это он! Я узнаю его по бледному лбу!). Мало ли примет! Скорей бы встреча. Мадам Фемида велие флегматична…

Теперь позволю высказать мнение по поводу дипломной работы. Избранная тобой тема мне представляется устаревшей. Ведь ты не собираешься быть экономистом, а скорее историком, знатоком международных отношений стран Ближнего Востока и места в них Афганистана. Мне кажется, нельзя быть эрудированным в базисах и надстройках этих стран, не разобравшись в их субстанции — сатанинском, реакционнейшем исламизме. Исторический экскурс в эту интереснейшую, ключевую область очень расширит твой кругозор, принесет пользу кафедре и сделает твою работу оригинальной. Впрочем *(вычеркнуто тюремной цензурой),* поэтому умолкаю. Все же советую прочесть: Вавилов — «История Востока», Стенли Луи Пуль «Мусульманские династии», Мюллер — «История Ислама от основания до наших дней», Huart — «Histoire des arabes», Ernest Renan «L'islamism et la Sciense». Кроме того, советую тебе и маме прочесть Ипполит Тэн (Hippolite Tain) — «Философия искусства», Джон Локк — «Педагогические сочинения», Сборник под редакцией акад. Волгина «Изложение учения Сен-Симона», Жан-Жак Руссо «Исповедь». Очень познавательные и блестящие по

форме книги. Начало скучно, а потом не оторвешься. Больше, больше житейской и книжной мудрости на базе этики и скромности. «Если разум твой советчик, бедняком прослыть не можешь». Это один из 230 афоризмов Руставели в тигровой шкуре.

Прошу (в смысле требую) не посылать мне денег в октябре и ноябре. На «октябрьско-ноябрьские» деньги выпишите мне «Правду» или «Литературку».

…Избави меня, Боже, от сентиментальных ку-ку, но я молюсь! Меня посещает рано утром лучик. Я становлюсь ликом к нему и твержу этому представителю Солнца Ваши имена, свои напутствия Вам на каждый день, счастья, т. е. здоровья и благоразумия. Вы скажете: сдурел старик! Нееет! Такие внушения на расстоянии, даже по Павлову, исторгнутые из мозга и сердца вместе с кровью и слезами, не проходят бесследно!..

Итак, прошу Вас: не подводите меня! Докажите, что мои внушения действенны, что между нами непрерывная, цепкая душевная реакция и связь. Каждое утро встречайте бодро, с улыбкой. Ведь все это так нетрудно. Кушайте, спите, работайте, учитесь, радуйтесь друг другу, и все будет в порядке. Все это так просто, а в остальном Бог поможет! Ведь верно, мамочка моя прекрасная! Вот сейчас тебя Юлик поцелует нежно, а ты его обнимешь и поцелуешь в шейку и в ушко, а мне стало тепло, и я реву, настолько живо я представил себе это видение. Вояка, одно слово!

Обнимите и расцелуйте всех, кого надо…

Не пиши мне, Юлианка, газетных новостей. Теперь я сам читаю свою газету в ажуре, с большим любопытством и всевозрастающим интересом. Жду от тебя обещанного очерка о себе и обо всех наших…

Всегда Ваш Семен.

* * *

2 ноября 1953 года

Дорогие мои родные! Юлианка и мамуля распрехорошие!

Поздравляю вас всех с праздником Октября! Пусть в этот день вам особенно ярко светит солнце. Мне же очень хочется хоть какой-нибудь музыки. О 4-й симфонии Чайковского и Реквиеме Моцарта могу только мечтать. И еще: положи у портрета Ильича, что у тебя на книжной полке, цветок или веточку зелени.

…Я недавно прочел книгу Гиппократа. Она начинается

словами: «Унять боль — божественное дело». Твои письма унимают мою боль. Следовательно, по законам логики, образуется силлогизм: ты — мое божество.

Перейдем к животу (таков уж человек, начнет как Бог, кончит как свинья. Не всегда, конечно, но преимущественно). Получил посылки и пирую, как предпоследний Лукулл. Только соловьиных язычков не хватает, а сгущенности даже излишек. Жир с луком — вне конкурса. Лимон мне разрезал дежурный, и я засыпал его сахаром. Лечусь им — сосу по кружку в день. Вареньем наслаждаюсь, шоколадку нюхаю. Ей-богу, мне, объективно говоря, лучше теперь, чем моему бывшему следователю и его бывшим руководителям (им бы еще мои болячки). Я, как видите, даже шучу. Присланная куртка — мудрейшая вещь, тепло, не промокает. Почему я против присылки штанов от куртки? Я бы не прочь, да грехи…

Как тебе известно, мне довелось поставить рекорд и побывать в тюрьмах и пересыльных пунктах. И вдруг (мало ли что бывает) мне, для ровного счета, доведется побывать еще?! Каково тащить мой груз сопровождающим? А возможные встречи с «урками», прекрасно разбирающимися «Что такое хорошо, а что такое плохо»?! Вот из таких предпосылок исходит мой отказ от брюк. Сейчас пытаюсь исправить ватные брюки. В результате прожарок вата в этих брюках съежилась и сбежалась в место, которое у овец называется «курдюк». Распоров штаны, я пытаюсь растащить бывшую вату в район колен, ягодиц и по прочим местам нижней части своего скелета. Надеюсь, скворцы еще не успеют прилететь, я закончу свою «творческую» работу…

…Ищи отдыха, утешения посредством созерцания природы, в свободное от труда время.

Ins grüne — на природу — как говорил Гете. Бутерброд в карман, палку в руки и трамваем в Фили, в дубовую рощу. Есть больше времени, — автобусом в «Узкое». Лес, пруды, поляны! Снег — еще лучше! Все чисто, ново, и за каждой ложбинкой новые горизонты, правильные хорошие мысли и новые извилины в мозгу. Когда видишь горизонты, то и ухабы нипочем. Они неизбежны и преодолимы. Пожалуйста, мой милый. Держать хвост трубой! Есть держать! Да? Две трети оптимизма, плюс одна треть скепсиса, плюс труд, плюс гимнастика и холодный душ, плюс природа, плюс хорошие люди, и все будет хорошо! Чтобы не быть назойливым и скучным, окончу эту часть вспомнившейся мне записью Пушкина в альбом к Вяземскому: «Душа моя, Павел! Держись таких правил: люби то-то, то-то, не делай того-то. Кажись, это ясно, прощай, мой прекрасный!» Ехидно и здорово! Только Пушкину по плечу такая умная чертовщина. Он был

трезвый, гениальный парень без завиральных идей. Эх! Кабы не Николай Палкин и Наташка Гончарова, этот человечище затмил бы Шекспира.

…Мое здоровье? Вернее мои болезни. Открой 1-й том медицинской энциклопедии и читай подряд, пока не заснешь. Точней: больше всего меня донимает и с чем я не могу справиться — с головными болями, когда идет на «ясно», и болью в сердце и меж лопаток, когда идет на «пасмурно». Больно, как больно рожать, но с той разницей, что я даже от боли кричать не могу. Одновременно с головной болью, как мне говорят (сам я не вижу — трюмо нет), лицо раздувается, распухает. Нет ли там в Москве какого-нибудь патентованного элексира от этих напастей. Может быть мне, действительно, скоро удастся попасть домой и в лечебницу… Я так давно потерял представление о Справедливости, которое пропагандировалось мною в миллионных тиражах, не чувствовал счастья, что сделался недоверчивым к ним, и мне кажется, что ко мне они могут прийти только как предвестники еще большего страдания. Но как бы то ни было и что бы ни ожидало впереди, в настоящую минуту мне хорошо, потому что за письмом к Вам, мои милые и бесценные родные, ничего не замечаю вокруг и забываю все плохое. В таком же состоянии я пребываю, читая письма от Вас. Пиши, Юлианка. Лечи меня! Береги себя и руководствуйся указанием Толстого: «Береги себя для себя, больше людям останется».

Теперь позволено держать при себе фото родных. Пришли мне свою фотографию, но без выкрутасов, а чтобы был мой Юлик — чистый, нежный, сильный, который у меня в груди, мозгу, в глазах. Это тоже меня будет лечить. Помогай маме. Не забывай, чаще навещай и целуй мамулю, Броню и др.

P.S. Если плешь тебе действительно угрожает, рекомендую след. Spiriti vini — 100 гр. Tintura China — 1–1,5 гр. (нет Spiriti — замени тройным одеколоном), смешать, взболтать — втирать в корни дланью на ночь. Так делать до 2065 года. Гарантирую долголетие и марксову шевелюру. При этом не курить, пить не больше 1 литра вина в месяц (до 35 лет виноградное, а потом только водку), воздух, сон (8 часов), питание трехразовое (до 40 лет — все что хочешь, после — растительная и молочная пища), прелюбодействовать минимально, в редких случаях, и то для того, чтобы убедиться, как это плохо. А лучше не падать и при искушении окрестить себя крестным знамением и шептать: Сгинь, сгинь, пропади! К методике отца Сергия не прибегать. Вообще лучше носить короткие волосы и укорачивать свои желания и страсти. Таков тернистый путь к долголетию и длинноволосию…

…Будь здоров, мой дорогой. Жду письма, большого-большого и разборчиво написанного.

* * *

2 декабря 1953 года

Мои милые, несравненные родные! Дорогие Юлианка, мамуля и вся династия!

Поздравляю Вас с почти наступившим Новым годом и от всего сердца желаю Вам не нового счастья, потому что вы не имели старого, а просто счастья, хотя бы и не безмятежного, но вознаграждающего за неотразимые невзгоды жизни. «Бог приходит без колокольного звона», — так говорили в старину, когда образно хотели выразить мысль, что радость и счастье приходят внезапно, когда их не ждешь или совсем перестаешь ждать…

Дорогой мой сын и друг Юлианушка! Прошу тебя, не придавай значения моим стенаниям. Все мои недомогания сущие бобо, и я переношу их с твоей помощью и помощью мамули, с мужеством, достойным мифического Сцеволы. Твои призывы, расположенные на полях письма, бодрые, остроумные строки ваших писем, твой свирепый взгляд с фотографии действуют на меня, как успокаивающее и «устрашающее». Все это помогает мне истязать внутренние ресурсы моей мудрости и не подвергаться коррозии от влияния окружающей среды. Будь уверен, что сберегу свою честь, как и любовь свою к тебе, несмотря на то, что оставаться коммунистом в моем нелепом положении куда сложней, чем быть партийцем на воле. Но этот этап для меня — проверка моих моральных устоев.

В 1927 году я стаскивал с балкона бывшего Коминтерна троцкистов, но за мной была вся моя Красная Пресня, на войне — рядом были боевые друзья, а теперь я один со своей тоской и незаслуженным позором. Но тюрьма для меня зря не прошла. Я много поработал над собой и вычистил из себя много житейского хлама с добросовестностью ассенизатора. Нет! Я не стал хуже, и это чванливое заявление, надеюсь, подкреплю делами во славу моей Родины!

Посылки отличны по содержанию и качеству… Если еще не поздно: ватные штаны не шли. Я исправил кое-как старые и холода не ощущаю. Ботинки при мне, но без пряжек, а с шнурочками. Куртку, после долгих перипетий, я получил и ношу с успехом. Шапку уберег и ношу ее фертом. Франт: банты на

ногах, банты на голове, усы a'la Чингизхан, на носу — две пары очков и капюшон! Прямо бедуин в пешем строю!

«Капитал» перечел. Самое сильное место по драматизму — «Первоначальное накопление». «Рентой» не занимался — мелок шрифт. Читай сам — я тебе верю. Освежил в голове некоторые работы Ленина.

Покончил с книжками идеалистов всех времен и школ. Вник в историю и философию буддизма, браминизма и проч. — это стереотипные, порой красивые, а порой мрачные сказки. Все эти идеалисты и теософы не внесли хаоса в мою черепушку. Сейчас перечитываю Щедрина и читаю пьесу Оскара Уайльда на анг. языке, страдая из-за отсутствия англо-русского словаря с фонетикой и идеоматикой. Библиотека здесь богатая, но я был книгами избалован, и большинство книг, из имеющихся здесь, прошли через мои руки в гранках и верстках. Вот беда, все словари в библиотеке разобраны. Свою книгу «выхаживаю». Ее страницы шелестят в извилинах моей «высокоорганизованной» материи. ОГИЗ когда-нибудь родит ее, и для этого стоит жить. Очень жаль, что здесь нельзя поработать над рукописью и получить из дому некоторые книги. Ну да ладно, потерплю.

Тем временем я радуюсь твоим успехам учебным. Твои планы, связанные с библиотекой И.Л. и аспирантурой, мне приятны. Если добьешься успеха — будет очень хорошо. Помнится мне, что ты в своих конспектах допускал небрежность — писал на клочках, не заводил тематических записных книжек и т. д. Се грех! Помни: даже в посредственной книге можно обнаружить интересную мысль, фразу. Надеясь на память, не записываем, забываем, а потом сожалеем. Жизнь коротка, — книг много. Читая книгу, надо ее сразу выжать, как лимон. Забыть хорошую мысль, факт — расточительность и безхозяйственность.

Уж такой я неисправимый назидатель! Ты, хотя и «сам с усами», но для меня по-прежнему малое дитя, нежно любимое. Ты у меня единственный, — значит должен быть на голову выше меня по всем статьям, но при всем этом уважать пусть невеликие, но здравые мысли.

У нас здесь было холодно, морозно, зимно. 2.XI необычайно поздно улетели грачи, гнездившиеся за стеной на дереве. Я удивлялся, как, живя на воле, можно издавать такие богопротивные звуки, царапающие сердце. Но после их отлета стало еще грустней! Теперь наступила ростепель и вдруг на решетке зачирикали воробушки, повадились голубки сизые и все воркуют. Как это хорошо!

…Накануне мне снилось, что потерял тебя в толпе, долго искал и, наконец потеряв надежду, нашел около Манежа. Радуясь

и плача, я смеялся во сне, да так громко, что мой сосед пнул меня в бок. Узнав причину моего смеха, он очень горевал, что прервал мой счастливый сон. Крепко тебя прижимаю к груди, в преддверии всамделишного поцелуя и начинаю считать минуты до следующего письма.

* * *

6 января 1954 года

Дорогие мои родные, матуля, Юлианушка.

В твоем письме от 27.XI, где были чудесные послания и от мамы и Илюши, ты писал мне, что к Новому году пришлешь мне письмо, а его нет и теперь. В чем причина? Экзаменационная сессия?! Болен? Ждешь меня домой? (Зачем писать, если скоро увижу?) Или, быть может, досрочно начал встречать Новый год и пьешь за мое здоровье вторую декаду?! Был такой исторический, весьма смешной случай: граф Драгомилов — отважный воин, кутила, любимец императора — послал телеграмму Александру III: «Поздравляю Новым годом. 3-й день пью Ваше здоровье». Не лишенный остроумия и такта император ответил: «Благодарю, но не пора ли перестать».

Благодарю тебя, Юлианушка, за роскошные штаны (ватные) и нежнейшие, тончайшие шаровары цвета бедра новорожденной нимфы. В такой одежде мне не страшны ни сырость, ни мороз.

Живу под впечатлением, что правосудие полностью восторжествует — расстрел Берии и его опричников, мощное начало… Мне почему-то кажется, что Р. А. Руденко познакомился с моим письмом к К. Е. Ворошилову. У меня предчувствие, что на этот раз мое письмо попало в руки, которые дали делу ход, толчок. Верно, мне надоело целовать вас и прижимать к сердцу письменно. Очень, очень мне хочется все это произвести на самом деле. Нет сладости в проштемпелеванных поцелуях.

…Теперь я жду большого, подробного письма обо всех и обо всем. Здоровье? Сессия? Об одном прошу: не гонись за должностями, окладами и проч. фейерверком. Остепеняйся! Меньше званий — больше знаний и патриотизма! Признание и материальное благополучие придет само по себе, но зато прочно и не на зыбкой основе.

Кончаю письмо уведомлением, что начинаю свой трутневый день обозрением твоего портрета и перечитыванием твоих боевых призывов и повелений. Я тебя очень люблю и писать об этом может только очень талантливый литератор. Да, да! Просто верь

мне и ты не ошибешься. Мамульку мою и всех, иже с ней, целуй. Надеюсь, что она не лишена столь нужного ей внимания и заботы со стороны моих любимых братьев и сестричек. Кланяйся маме.

Всегда твой.

* * *

5 февраля 1954 года

Родной мой папулька!

Пишу тебе эту весточку и не чаю застать тебя во Владимире. Во вторник я был в Прокуратуре, — там мне пообещали, что тебя вот-вот перевезут в Москву, а здесь можно устроить фрукты, новые очки, может быть даже и свидание. Т. Старичков мне сказал, что как только тебя привезут все закончится очень, очень быстро. Кстати, мы с ним очень хорошо говорили. И, повторяю, он обещает очень быстрое, очень благоприятное для меня с тобой разрешение вопроса.

Если тебя не отправят во вторник, то я пойду и в Военную Прокуратуру и в Президиум — там твое дело на спец. контроле — и нажму крепенько, дабы ускорить твой приезд.

Когда тебя привезут, если выйдут какие-нибудь неувязки с новым следователем — апеллируй сразу и только в Прокуратуру. Они опротестовали решение ОСО, по их предложению Верховный суд дело отменил как неправильное и они заинтересованы в твоем скорейшем освобождении.

Как твое здоровье, родной? У нас все очень хорошо. Я, мама, баба Маша, баба Клава живы, здоровы. Шлет тебе большой привет дядя Алеша — он уехал в Ленинград на работу. Я сейчас целыми днями в читалке в Ленинской, по вторникам — в Прокуратуре.

Папулек, не пишу много, думаю все переговорим уже с тобой без помощи канцелярских принадлежностей, но языком, жестами, улыбкой и всем-всем материальным.

Крепко, крепко целую

Твой Юлька.

* * *

Я[35] не собираюсь быть адвокатом сына, но не могу пройти мимо некоторых обстоятельств, имеющих принципиальное значение. После ареста отца в отношении Юлиана принимаются особые дискриминационные меры.

1. Его освобождают от работы в лекторской группе. Работа в этой группе доставляла ему большое творческое удовлетворение, а ведь сын за отца не отвечает.

2. Секретарь комитета комсомола Примачек вызвал его и предложил подать заявление об уходе из института и прекратить хлопоты об отце, так как этими действиями он компрометирует органы МГБ.

Разве это можно назвать воспитательной работой? Так дрова ломают, а не воспитывают молодежь. А как видите, парень полностью разобрался в партийной сущности своего отца. Отец полностью реабилитирован. Далее.

3. Парень за первый же проступок исключается из комсомола и из института, т. е., по существу, лишается права на труд, перечеркиваются пять лет жизни, полностью аннулируются перспективы на будущую творческую работу.

Почему, наконец, секретарь райкома, вызвав Юлиана, ограничился вопросом «Кто ваши родители?» и, узнав, что арестован отец сказал, что «все понятно», и на этом прекратил разбор дела.

Он все это перестрадал. Сидит дома и занимается. У меня — коммуниста и педагога — не укладывается в сознании такое отношение. Мне кажется, что в данном случае имеет место нарушение партийных принципов об индивидуальном подходе к людям.

* * *

СССР
Министерство государственной безопасности.
Бутырская тюрьма МВД СССР
20 апреля 1954 года

СПРАВКА№ 58

Выдана гражданину Ляндресу Семену Александровичу, 1907 года рождения, национальность — еврей, уроженцу Минской области, д. Боровино, в том, что он с 30 апреля 1952 года содержался в тюрьме, освобожден за прекращением дела и следует к месту жительства.

Глава четвертая
ПИСЬМА К СЕМЬЕ

Все громилы и подлецы слезливы. Добрые обычно кричат и бранятся. И только самые сильные люди умеют подчинить себя себе.

Юлиан Семенов. Семнадцать мгновений весны

В этой главе собраны письма и телеграммы Ю.С. жене, нам — дочерям, маме, теще. «Писатель должен быть бродягой» — любил повторять отец.

Сам он исколесил весь мир и отовсюду отправлял домой весточки. Они были веселы, по-моцартовски легки, порой шутливы, с карикатурными автопортретами. Редко проглядывали в них горечь или обида, хотя безоблачной папину семейную жизнь назвать было сложно.

Женившись по большой любви на Екатерине Сергеевне Михалковой, дочери российской писательницы Н. П. Кончаловской и приемной дочери Сергея Владимировича Михалкова, он вряд ли мог представить, какие сложности повлечет за собой этот брак. Началось с завистливых разговоров за спиной: «Теперь Семенову всюду зеленый свет — тесть похлопочет».

Вскоре стало ясно, что это не так, — отец всего добивался сам, и недоброжелатели притихли. Первые годы жили бедно — делили на двоих пачку пельменей, часто наведывались в ломбард, к родственникам за помощью не обращались.

Мама достаточно легко переносила эти тяготы, столь знакомые большинству молодых семей: послушно перепечатывала папины репортажи и рассказы, экономя деньги на машинистку, придумывала вкусные обеды из имеющегося минимума продуктов и мирилась с тем, что не было возможности купить то, о чем мечталось.

За несколько лет, благодаря потрясающей отцовской трудоспособности, они встали на ноги, появились мы с сестрой. Папа, желая «компенсировать» трудные годы, с удовольствием тратил заработанное на семью, «омеховляя» (его выражение) маму, устраивая нам восхитительные каникулы и заваливая подарками.

Именно в тот период участились домашние конфликты. Быть может, мама предпочитала любые материальные трудности необходимости «делить» папу с его работой, которая все больше захватывала его? Или ее чем дальше, тем больше пугала его реактивность? Или причина была в другом? И почему любовь женщин порой становится столь эгоистичной и требовательной, что и на любовь перестает походить?

Не дочернее это дело — судить или оправдывать своих родителей, могу лишь признаться, хоть и горько это, что дома к отцу порой не проявлялось достаточно милосердия.

Быть женой творческого человека — тяжелый крест, и не каждому дано его вынести. Тут требуются не только искренность и любовь, но и умение на многое смотреть сквозь пальцы, а вот это у мамы никак не получалось: творческие командировки и поздние встречи с друзьями, сонм поклонниц и напряженнейший график работы — одним словом все неотъемлемые атрибуты жизни яркого и беспокойного писателя ее утомляли и раздражали.

С годами разногласий становилось все больше. Сколько же сил отнимали у отца ссоры, сцены ревности, подростковые проблемы нас, дочерей (а позднее наши несчастные влюбленности), в которых ему приходилось разбираться. А ведь для него главным было творчество, он так много хотел рассказать своим читателям, так страшился не у с п е т ь.

Трудно порой близким разглядеть истинный масштаб творческой личности, подле которой они живут. Часто понимание того, что за «человечище» делил с тобой крышу, приходит трагически поздно.

В случае с отцом, увы, так и случилось.

Как он переносил сложившуюся ситуацию? Стоически. Со смирением. По-рыцарски. С терпеливой любовью, на которую мало кто способен. Никогда не жаловался, лишь писал письма, пытаясь урезонить, объяснить, помочь. В этих непростых отношениях двумя константами стали его жертвенность и альтруизм. Он отдавал нам себя без остатка, не считая, не выторговывая любви или уважения взамен, безоглядно прощая. В определенный момент, приняв решение жить с мамой на два дома, он, обеспечив ее, находил время и на работу, и на нас: возил по миру (открывая и показывая его только как он умел — с самых необычных ракурсов), поддерживал во всех начинаниях и совсем не думал о себе. А одиночество и неустроенность, на которые его обрекли обстоятельства, с каждым годом становились все явственнее.

В течение нескольких лет он менял мастерские на чердаках или в полуподвалах, которые регулярно затапливало, некоторое время жил в небольшой двухкомнатной квартирке, заваленной

рукописями и книгами на 2-м Беговом проезде, в начале восьмидесятых из-за слабых легких обосновался в Крыму, под Ялтой, в деревеньке Мухалатка, где написал все свои последние романы о Штирлице и «версию» о Гучкове.

Там он обрел покой и возможность работать. Рано утром гулял по горной дороге, обрамленной можжевельником и кизилом, с любимым псом — огромной овчаркой по кличке «Рыжий», весь день сидел за письменным столом, а по вечерам на кухне, завешанной фотографиями, пил крепчайший чай и, если мы к нему с сестрой приезжали на каникулы, перекидывался с нами в дурачка.

Последние три года жизни отец проведет с мамой на даче в Поселке писателей в подмосковной Пахре — их объединит его тяжелейший недуг. Это страшное испытание они мужественно и достойно вынесут до конца.

* * *

Январь 1955 года
Невесте — Е. С. Михалковой

С утра снег теплыми хлопьями снова начал ласкать землю. Так отец нежно укрывает замерзшего ребенка. Вокруг такая тишина, что даже слышно, как снежинки ложатся на землю. Сосны — летом размашистые и зеленые — сейчас скованы осторожной лаской зимы и поэтому кажутся тонкими подростками. Зимний день догорает сиреневостью неба.

В комнате тихо играет музыка. Хорошая музыка любви и печали. Толстая лампа давит стол овалом света. Два человека сидят на разных концах стола и смотрят друг на друга. Иногда они улыбаются, пьют вино, морщатся от ядреной горечи выпитого, молчат.

Наверное, они не слышат музыку. Музыка для них слилась в общий тон счастья. Она ухаживает за ним. Он что-то ест и наверняка не чувствует вкуса. Потом они подходят к окну. Вдали у ворот фонарь ехидно моргает падающему снегу. Он, наверное, и им моргает — он хитрый, — фонарь. Все понимает, потому что очень много видел. Фонари все такие… В окно видны лозы зелени, которая летом делает дом веселым и зеленым. И сосульки милые и безалаберные…

Я попросил тебя подойти к окну — посмотреть на тот же снег, который в декоративном освещении фонаря шел и шел. Ты сразу вспомнила, потому что это помнили мы с тобой. Только ты и я. И больше никто. Знаешь, это, наверное, присуще любящим:

помнить, понимать и чувствовать что-то, только им принадлежащее. И каждый любящий, наверное, думает, что так только у него одного, и это верно. Очень часто моя память с фотогенической чуткостью, как будто в глупой рамке телевизора, перелистывает страницы моей любви к тебе. И родная, верь мне, я листаю их с таким наслаждением и уже с привычкой, как будто это любимая книга моя.

Очень часто я вспоминаю сентябрь прошлого года. Ты стояла на террасе, украшенной цветастостью зелени, и гладила что-то, вроде простыни, я тебя увидел впервые. Говорили, что ты дикая и с тобой трудно. А когда я оказался рядом с тобой, мне стало хорошо. Они ничего не поняли, глупые. Мы говорили с тобой о твоем брате Никите. Ты говорила, что он дьявол, а я, не знаю почему, может потому, что хотел показаться умным, разубеждал тебя придуманными на ходу цитатами Ушинского. Вечером мы пили чай. Домой мы ехали вчетвером. Ты сидела впереди, и сзади казалось, что звезды, перемигивающиеся в бархате неба, о чем-то шепчутся с тобой.

* * *

Весна 1955 года
Е. С. Михалковой

В этом году весна расцвела неожиданно рано. Прошли дожди, прошумели первые грозы. Воздух, после зимней сырости, пропитался запахом прошлогодней пожухлой листвы, смешанным с почти что неуловимым запахом пробивающейся весенней травы.

Когда мы встретились — начало рассветать серенькое московское утро… В стеклянном воздухе куранты отзвонили восемь. Ты была какая-то по-утреннему свежая и хорошая. Помнишь, мы пошли вниз к реке, стали на площадке, ты смотрела на какую-то церковку с многими куполами, а я смотрел на нежное, милое лицо твое… Потом мы шли с тобой и мне было спокойно и хорошо. И казалось, не знаю, может это глупо очень, — я лечу один на качелях в Архиповке и море что-то ласково шепчет мне — спокойное и хорошее. А потом вдруг волной счастья захлестнет сердце. Взглянула ты на меня и улыбнулась, а улыбка у тебя хорошая очень — лучше тебя, застенчивая какая-то. Почему? Не знаю…

Потом мы шли к Третьяковке по замечательным замоскворецким переулкам. Пришли, и никого не пускают — рано. Мы бродили по набережной возле кино «Ударник». Думали

поехать на пароходе, но было рано. А какой чудный и нежный все-таки фильм «Чук и Гек». Помнишь? Тебе очень понравилось — папа… мама.

А потом мы идем смотреть еще что-то — не все ли равно что — вдвоем с тобой. Выскочили безбилетниками из троллейбуса, пришли в кино — смотрели «Сердца четырех». Почему четырех — почему не двух? Ты засмеялась — звонко, по-детски — очень понравилось тебе, как грузин, темпераментный и страстный, не дает говорить по телефону кому-то. Я тоже засмеялся… Ах, хорошая девочка моя, нежная и капризная, как осеннее московское небо.

Потом ты ушла, и сразу — без тебя — на сердце тяжесть, сразу все горести мои камнем на сердце.

Знаешь, хороший мой, в последние дни у меня появилась совершенно обязательная манера — записывать то, о чем говорил с тобой, что нового увидел я в тебе. Вот, пришел домой. Фото твое передо мной и мне невообразимо хорошо. В этом «хорошо» — приятная — не знаю — может быть это субъективно, но истинно — горечь. Ты знаешь, только сейчас, когда я остался один на один, совесть моя стиснула мозг хваткой правды, железной хваткой, от которой не вырвешься. Истина, абсолютно объективная, заключается в том, что я люблю тебя, люблю, как могут любить хулиганы — искренне, горячо и, пойми это, настороженно. Да-да, настороженно.

…Не знаю, может быть ошибаюсь, но мне кажется, ты будешь несчастной в жизни. «Если родилась красивой, значит будешь несчастливой» — так верней. Хотя верь, не бравирую, твердо уверен — только со мной будешь счастливой.

* * *

Сентябрь 1955 года из Афганистана (Кабул)
Е. С. Семеновой[36]

Дорогой мой, любимый самый Каточек!

Как живешь ты там, маленький? Чем занимаешься, грустишь ли или, вообще, — как там тебе без меня? Ответ на все вопросы эти я надеюсь получить в письмеце, которое завтра должно прийти от тебя.

Хочу тебя обрадовать — выставка будет не три месяца, не два и даже не месяц. Всего-навсего две недели. А если учесть, что сегодня 3 сентября, то, по-видимому, выставка закончится 6—7-го.

Правда, не исключена возможность, что ее продлят. Но и в этом случае я буду дома значительно раньше ноябрьских праздников.

Свекольник мой хороший, тоскливо мне без тебя и одиноко очень. Очень. Очень. Успокаиваю себя твоими фотографиями. Волнуюсь немного, конечно. Умница моя, Катеринушка, не забыла ли ты перепечатать и отредактировать «Маленького Шето» и передать его в «Мультфильм» тов. Воронову? Если забыла, то непременно сделай это до 20 сентября. У меня здесь масса интересных впечатлений, набросков, мыслей. Думаю, по приезде получится кое-что небезинтересное, но рассказать об этом в коротеньком письме — довольно трудно.

Что нового у тебя, золотая моя? Как твоя учеба? Словом, как все, все, все? Прошло ли по радио мое таджикское «очеркотворчество»? Как живут Андрюша, Никитка? Все ли у них в порядке после морских купаний? Я почему-то уверен, что все в порядке. Как Наталья Петровна, Сергей Владимирович? Скажи мамочке, что обходил несколько магазинов в поисках железок для корсета — но, увы, ничего нет и в помине. Как отец? Уехали ли отдыхать? Как мама? Позвони им обязательно.

Котенок, бесценный мой, вот я и кончаю свой, далеко не пространный отчет. Обо всем увиденном расскажу, когда вернусь домой. Расскажу и покажу фото, которые я с этой же почтой отправляю в редакцию. Узнай в редакции, нет ли новостей каких?

Ну, родной мой, крепко-накрепко тебя целую, обнимаю и еще раз целую.

Будь здорова, золотая моя Катюшка.

* * *

14 апреля 1958 года
Е. С. Семеновой

Мой дорогой и бесценный человечек, Тегочка хорошая!

Сижу в номере, смотрю на море, которое кажется сейчас похожим на нефть, думаю о тебе и — соответственно — пишу тебе письмо сие.

Не хочу быть похожим на гоголевских старух, но мне снятся хорошие сны про тебя. Поэтому я не очень о тебе беспокоюсь: сны — штука верная.

И еще: уехал я в ночь нашей третьей годовщины, а паспорт забыл, по-видимому, в нашу шестую или девятую годовщину мы вообще поменяемся ролями. Ты будешь писать, а я нянчить детей.

Пишется мне здесь здорово[37]. В первый же день, нагулявшись до синевы — + 9, ветерок, — я вернулся в номер и ахнул две главки о Виткевиче — не очень большие, но так, вроде, ничего. Думаю, к концу недели с оным, полюбившимся мне поляком все закончу.

Большая часть тутошних рыбаков ушли к Батуму, а затем и к берегам анатолийским. Конечно, хотелось бы с ними съездить, но меня, беспаспортного, наверняка не пустили бы.

Золотой мой, пожалуйста, не хнычь без меня, очень даже тебя умоляю. Как только Виткевича кончу — сразу же на пароход — ура, в Одессу и ура, в Москву, к тебе.

В первый же день своего здесь пребывания встретился с Ник. Ник. Секундовым — огоньковцем. Он тут отдыхает. Хочу сегодня к нему заглянуть.

В поезде (как я и предполагал, в купе ехали три бабы) одна девица из Молотова — внешностью точная Люся, тетя моя, — говорила, когда поезд миновал Харьков: «А где же кенгуру и антилопы? Где же травушки-муравушки и безбрежная даль синего моря?»

Я вышел из купе и долго курил, скрипя зубами.

Родная моя и хорошая — целую тебя всю.

Будь умной-преумной. Ты — всегда и везде со мной.

Твой Юлиан.

P.S. Огненный привет и поцелуй Андрону, Никите. Поклон Наталье Петровне и Сергею Владимировичу. Телефонный радиопривет папе.

* * *

16 августа 1958 года
Е. С. Семеновой

Любимая моя! Тегулепа!

Сейчас я перевернул на нашем «стольном» календаре месяц и день 16 августа 1958 года.

Странно, впервые за четыре года нашей с тобой совместной жизни, великолепной, чудной жизни убежденных холостяков, циников, любящих нежно молодоженов, стариков, прошедших годы разочарований и духовных нищет, — разве в душу мою закралась дрянная старуха недоверия, которая гложет и да будет глодать, покуда человек любит!? Боюсь только одного: не видеть лунных катенькиных глаз, прелесть овала головы ее — такой

женственной, неповторимо милой сердцу, требовательной и немеркнуще — великолепной. Великолепной во всем: в повороте царственно-спокойном, хотя день и ночь плачешь с сумасшедшим мужем, для которого твердь — первооснова всех основ, в изгибе шеи — трепетном, хотя уже пять лет я видел эту шею и любил ее с каждым днем все больше и больше.

Без тебя, Тега, вся жизнь моя была бы пустым бидоном из-под хорошего масла. Красиво, общедоступно, дешево — но! Пусто! Спасибо тебе, любимая, за Дашу, за тебя, за те годы, что ты была верной моей подругой, которая не знала горестей в бедности и радости в богатстве. Относительном, правда, как и все то богатство, которое мы с тобой имели за годы совместной жизни.

Товарищ издательство! Деньги за «Дип. агента» — Катюшке перевести должно! Все до единой.

* * *

5 января 1961 года Ленинград
Е. С. Семеновой

Здравствуй, Каток!

Сижу в своем 206-м номере и пишу, исподволь готовясь к съемкам. Вспоминаю твои слова: «Без тебя я ни в чем разобраться не могу». Это — плохие слова. Можешь и должна во всем разобраться. Имеющий глаза — видит, имеющий уши — слышит, имеющий мозг — понимает, а имеющий сердце — чувствует. И еще я забыл про память. А у тебя хорошая память. Так что вспомни, что у нас было, — все вспомни.

Те, кто говорит тебе, что я — не люблю тебя, сами уже любить не могут. Соблюдение формальной порядочности — хуже, чем пощечина того, кто любит.

Грацидин раз. Шредель отказался от грацидина, о котором он так мечтал, узнав, что от него сходят с ума и теряют остатки нервов. Вспомни, как я писал там, — это два. Я ж был там одержимым. Надо было совсем не уважать мой труд, чтобы сделать то, что сделала ты. Отсюда — реакция моя. И ничего бы не было, не рвись ты уйти. Я боюсь всегда за тебя, я боюсь, что тебя обидят, ты же для меня Каточек, глупыш, свекольничек, как же ты этого не понимаешь, а?

О Новом годе я не говорю — там все очевидно до конца. Делать так, как делаешь ты, — обрекать на тяжелую жизнь Дашу и тебя саму. Пойми это как следует, Катенька. Я бы не писал всего этого, не люби тебя так, как я тебя люблю.

P.S. Все время — думай. И — делай выводы кардинальнейшие. Без них, без выводов — все мы пропадем.

* * *

Январь 1961 года Ленинград
Е. С. Семеновой

Здравствуй, Каток!

Сижу у письменного стола часами и не могу даже строчки написать. Лезет в голову такая дикая белиберда, что просто хоть волком вой.

Спаси Бог, если это так, но мне кажется, что где-то у меня внутри что-то хрястнуло. По-видимому, если у меня и была когда-нибудь в чем-нибудь хоть какая-то *(неразборчиво),* так это в оптимизме. А оптимизм — это все-таки не что иное, как плохая осведомленность.

Вообще гадко мне, уж так гадко, что ехать дальше некуда. И от мыслей не убежишь. Хочется — ан нет, не можется. Я сейчас весь двойной: я говорю, советую, улыбаюсь, комментирую — и все это машинально, какой-то одной своей частью. А вторая моя часть затаилась и молчит. Я в «Агенте» писал про Ивана, когда он думал, расхаживая по камере Бухарской тюрьмы: «Что же делать, что же делать?» И эта мысль сливалась в сплошной жужжащий звук. А потом рождалось слово «бежать». У меня это слово не рождается. Если бежать — так к тебе с Дашкой. Или в тайгу — в шалаш, в одиночество. Помнишь, каким я всегда был компанейским? А сейчас не хочу я никого видеть. Никого. Любопытно: подлость всегда облекается — рано или поздно — в форму разгневанного благородства. Умные были на Руси поэты: «А судьи кто?» Страшнее этой фразы не выдумаешь. Катька, Катька, плохое слово «ценить», очень плохое слово, но ты все-таки ценила бы то, что имеешь. Потеряешь то, что имеешь, ничего лучше не найдешь. Катенька, ты уж поверь мне.

Ну, думаю, все станет на свои места. Должно стать на свои места. Все это от тебя одной зависит, ты это знаешь. Каток, любимый мой, это уже не просьба, но требование — ломай свой характер! Ломай, Катенька. Если не для меня и не для себя — то хотя бы для Дашутки нашей.

Ну, целую тебя.

P.S. А грацидин-то я бы не начал принимать, не пили ты меня

тогда на набережной за мой живот. И тогда я не опьянел бы так сильно от вина. И ничегошеньки бы не случилось.

Ты прочтешь и подумаешь: «Вот сволочь, все на меня валит». Да? Так ведь подумаешь? Ладно. Ерунда все это. Целую тебя еще раз.

* * *

14 ноября 1961 года
Е. С. Семеновой из Дагестана

Здравствуй, золотенькая моя!

Добрались мы с Валюном на Молитвенную косу, ныне переименованную в Новую. Место это заброшенное, в устье Терека, неподалеку от тех мест, кои пел Толстой в «Казаках». Интересно, ветрено и очень далеко. Добирались пять часов по непролазной грязи, вдоль берега Каспия, встречь нескончаемым караванам уток и гусей. Местами все похоже на пустыню, пампасы.

Золотой мой тегулепочкин, очень я тебя люблю и тоскую по тебе. И, конечно, по маленькой Дашечке. Я тоже считаю дни. Приехали, хорошо нас встретили, накормили ухой из красной рыбы, а сейчас я разложил свои атрибуты, отстучал письмецо тебе и принимаюсь за повесть. Уже придумалось три новых рассказа с хорошими названиями. «Дорога на Молитвенную», «Старик, который всегда смеялся» и «Вечер у Лоскутова». Не знаю, что получится, но получится наверняка.

Наверное, это очень хорошо, что я смотался в свои очередные странствия, — после Полюса я здорово подзасиделся, а засиживаться мне никак нельзя, потому что притупляется восприятие окружающего. Поживи месяц в Эрмитаже — к Рубенсу тоже будешь относиться как к старому знакомому и, может быть даже, ошалев совсем, звать его — «раздавить по маленькой».

Каток, если какие-либо новости появятся, сразу же шли мне телеграмму: «Махачкала, почтовое отделение Новая Коса. Абдулаев Рахмет». Для писателя Семенова, как догадываешься.

Пожалуйста, будь очень осторожна, никому не открывай вечером, езди на дачу и береги Дашутку и себя. А все остальное — приложится, а не приложится — так черт с ним, проживем и так.

Целую тебя и люблю.

Твой Семенов.

* * *

16 августа 1962 года
Е. С. Семеновой
Гагры

Здравствуй, Каток, и поклон тебе, Дунька!

Целую Вас обеих крепко и нежно. Наш вояж с Андроном и Никитой закончился благополучно, если не считать того, что Никита 5 раз наступал мне на ноги, 3 раза ударял дверью машины по ребрам, 1 раз выстрелил в Андрея из подводного ружья и только чудом не убил, 7 раз говорил старым евреям, принимая их за абхазцев: «Ну как, жиды вас тут не замучили?» и т. д. и т. д.

Словом, очень славно проехали — с матом, песнями и шутками. («Мит папахес, мит ломпасес унд мит ден еб твою мать!»)

Сейчас сижу, работаю, редактирую то говно, которое уже написал, и думаю о том говне, которое за две недели написать предстоит. Ничего не понимаю из написанного и склонен больше думать о плохом, нежели чем о хорошем.

Как дела в Москве, Каток? Была ли ты в Иностранной комиссии? Пожалуйста, вышли мне фототелеграмму немедленно и все отпиши. И вышли письмо — подробное, с фактами, хохмами и размышлениями — мне глава будет новая. Адрес: «Гагра, Курортная улица, Дом творчества Литфонда СССР».

Здесь в Гаграх, конечно, тоскливо в сравнении с Коктеебелем[38]. Народ — бомоновый, страноватый, к литературе имеющий отдаленное касательство. Кормят херово. Море, правда, сказочное — такого цвета я нигде не видал. Пронзительно-голубое. Чертовски красивое, описать нельзя. Разве что только Даша может его нарисовать точно и реалистично.

Как там она, моя маленькая? Кланяйся Наталье Петровне низко, приветствуй Багалю[39], пусть не паникует.

Если с поездкой какая-нибудь заминка — сразу телеграфь, я помогу по мере своих сил. Здесь я сфотографировался, и завтра, вышлю карточки в инкомиссию (6 штук) и тебе — домой на 1812 года — (6 штук). На всякий случай ты позвони в иностранную комиссию и узнай — получили ли они, ладно? Позвони завтра же, т. е. скажи, что я высылаю.

Просили тебя целовать Стельмахи и кланялись Штейны. Поразительную новость про меня сказал мне Б. Полевой. Об этом — лично. Целую тебя очень нежно, мою сумасшедшую идиоточку.

Твой Юлиан Семенов.

* * *

Октябрь 1962 года
Е. С. Семеновой из Дома творчества в Гаграх

Здравствуй, Каток.

Как ты там? Что хорошего в Союзе — конкретно в иностранной комиссии. Ты к ним позванивай или заходи. Обязательно телеграфь мне в случае чего. Закажи телефон — вызови меня с уведомлением, желательно утром — до восьми. Вызывай не на почту, а прямо дом творчества. Я тут послал страшные карточки в комиссию с Фрэнком Харди. Если они не подойдут — срочно найди у меня старые карточки — хоть они и страшные, но все-таки сделаны по образцу в Интуристе и отнеси их к Медведеву. Если их не найдешь — позвони ко мне, предварительно узнав у Медведева — не подошли ли те, которые я выслал. Передал ли тебе мое письмецо Никита? Он взбалмошный. Мог забыть. Ты ему в случае чего напомни. Позвони по телефону В-3-23-23 в журнал «Наш современник» и спроси у главного редактора Бориса Зубавина, как дела с моей повестью «Г-н Большевик».

Теперь так: зайди обязательно в «Юность» к Леопольду Абрамовичу Железнову или Сергею Николаевичу Преображенскому и попроси их отправить письмо такого содержания: «Председателю КГБ при Совете Министров СССР тов. Семичастному. Уважаемый товарищ председатель! Редакция журнала „Юность“ просит у Вас разрешить писателю Юлиану Семенову ознакомиться с архивными данными о Дальневосточной республике в период 1921–1922 гг. Тов. Семенов начинает сейчас работу над романом, посвященным деятельности подпольщиков по борьбе с американо-японской агентурой. Зам. главного редактора журнала „Юность“».

Сделай это обязательно, потому что работа над муровской повестью подходит к концу, а следующая вещь «Дети отцов» во мне зреет все очевидней и точней.

Как наша Данька? Мне тут скучно, хотя я начал работать на всю железку. Правда ни хера не понимаю — получается что-либо или нет. Сейчас дописываю всякие звенья — связки, выбрасываю всяческие диспуты — они вроде бы тут ни к черту не нужны и усиливаю детективную струю.

Здесь, конечно, несравнимо с Коктебелем. Сижу, пишу тебе, а сам мокрый, как мышь. Влажность — тропическая. Кормят тоже не кулебякой. Еда — фиг с ней, я подпсиховываю с повестью — это меня малость удручает. Завтра дам ее на читку Жене

Малинину, он парень со вкусом, любопытно, что скажет. Спасибо тебе за редактуру, исполненную в твоей манере — синим карандашом и без нажима.

Башка пухнет — и уж очень хочется засесть за роман, вернее за первую книгу, которая будет где-то автономной абсолютно. Вижу его и не знаю, что делать с пьесой для детского театра. Меня приглашал Юра Бондарев в писательское кинообъединение. М.б. пойду к ним, сделаю «Г-на Большевика», а аванс отдам в театр. Вобщем, там видно будет. На прозу тянет, на пьесы нет.

Целуй Даньку тысячу раз. Целую тебя столько же. Поклон всем.

Пиши.

Юлиан Семенов.

P.S. Отдай мой синий костюм в срочную чистку — совсем об этом забыл!

* * *

Открытка
12 февраля 1962 года
Чехословакия
Е. С. Семеновой

Здравствуй, Каток золотой!

Пишу тебе с крыши мира, с Татр, где так красиво, что дух захватывает. Завтра уезжаю в Чехословакию. Если захочешь связаться со мной — позвони в Прагу к Иржи. Целую тебя и Дашу нежно. Будь здоров, малыш.

* * *

20 мая 1963 года
Е. С. Семеновой и дочери Дарье в Коктебель

Здравствуйте, мои золотые человечки!

Сейчас проснулся — пришел домой после Бицаева в двенадцать дня и тут же бухнулся спать. Продрых до семи и вот сел вам писать. Наверное у меня маленько ко всему простуда, потому как температурка — правда минимальная. Проснулся, увидел: Дашенькин бинокль лежит и так сердце сжало, что прямо хоть реви. Очень мне без вас скучно и одиноко. И тревожно за вас

— как вы там устроились, как погода, не холодно ли, не полезете ли в воду раньше времени, не сбежит ли Данька с сумасшедшими писательскими чадами восьмилетнего возраста купаться, пока отвернется воспитательница, и т. д. Фантазия у меня пока что работает, будь она трижды неладна!

В прокуратуре[40] дела не совсем ясные: Круглов, по-видимому, больше сулил, хотя теперь это меня как-то уж и не очень волнует. Правда, и сейчас он повторил Генриху, что дело обязательно заберет себе. Но не в этом дело: по материалам следствия и по заключению единственной точной экспертизы явствует, что по показаниям Столярова, по фактической их части в сопоставлении с экспертизой — он убить лося не мог, т. к. он показывает, что лось шел справа-налево от него, а выстрел в него попал слева-направо, т. е. так, как с места стоянки Столярова он попасть не мог! Это мой основной козырь, он сейчас в прокуратуре РСФСР, посмотрим, что из этого выгорит. Если там начнут ваньку валять, пойду в «Известия» и попрошу, чтобы позвонили к Генеральному прокурору. В конце концов есть суд, а Юдин — мужик занятный, эдакий Спенсер Трэсси из обезьяньего процесса. Только малость помягче. И с большой улыбчивостью мудрейшего иудея расставляющий свои вопросы перед Бицаевым. Осетин легко в эти точно расставленные вопросы попадает. Наблюдать за этим весьма любопытно, хотя весь мокнешь при этом от волнения и ладони потеют, а ноги делаются ледяными. С другой стороны, для литературы это, конечно, кладезь наблюдений. Неисповедимы пути Господни, может быть так надо, бог его знает.

По-прежнему пытаюсь худеть, вроде помаленьку выходит, хотя голова кружится. Водку совсем не пью, а пошел по евтушенковским стопам — если и пью, так только шампанею. Или, как смешно говорит актер ЦДСА Любецкий, — шампанское вино. Мне так очень нравится, как он говорит. Жаль, что вместо водки нельзя сказать — хлебное вино.

Приходит Ноздрина, пыхтит и все время что-то стирает. Конечно, печет пироги, в квартире стоит дым, как в Хиросиме, а во всем оказывается виноват, конечно же, Ляндрес и Лизка — старые бериевцы. Меня она малость удивляет: каждый день требует, чтобы я звонил в милицию по поводу створки ее шкафа, и почти не интересуется моим делом. Может быть, это старческое явление — так мне во всяком случае хочется думать.

Мишенька устраивает мне по телефону истерики, главлит пока что на пьесу не дал добра, «Дети отцов» также добра отнюдь не получили. Голубовский очень интересно в ТЮЗе репетирует. Я был, смотрел, актерам нравится пьеса. А мне нравится, как они ее

делают, хотя роль начальника — а это, мы пришли с Голубовским к выводу, должен быть человек типа Нагибина, т. е. воспитанный в годы, когда некуда было ТРАТИТЬ юность, когда ее БОЯЛИСЬ тратить — и, следовательно, она в огромном, невысказанном количестве саккумулировалась в нем и прячется под педантизмом словесным, а поступки — мимика, умение разыграть и т. д. — это все быть должно в нем очень молодо.

Ты себе не представляешь, любимая моя, как я мечтаю о том дне в сентябре или августе, когда мы втроем купим купе и поедем до самой зимы в Гагру! Даже мне не верится, хотя герои «При исполнении» утверждали, что самое главное — уверенно желать. Наверное, это все же правильно. Я в этом как-то по-звериному чувствовал Холодова. Телепатия строится именно на УВЕРЕННОМ ЖЕЛАНИИ. Так что учти и применяй практицки! Я сейчас в этом направлении тружусь, обрабатывая телепатически прокуратуру Федерации.

В Москве запустили мою «Петровку, 38». Должна идти в двух номерах: в августе и сентябре. А там — черт-те знает, как все обернется. Но думаю, что все же пойдет. Прилетел Гурин, работой доволен, наснимал много интересного. На днях пойду смотреть. Посмотрев — отпишу тебе, что и как.

А вообще-то суета сует и всяческая суета. Заказал себе книги для дальневосточной штуки и до сих пор не могу их заполучить из-за Бицаева — круглые дни я был там. Только сегодня заявил ему официальный отвод и завтра пойду в библиотеку за книгами. В общем, жизнь у меня сейчас, как у Сухово-Кобылина. Посмотрим, что-то дальше будет.

Целую тебя и Даньку несчетное число раз. Дай вам Бог всего самого хорошего, следи за ней, глаз не спускай! Сама не кались на солнце, не надо, и помни, что тебе болеть никак нельзя, — потому что как же тогда Данька одна. И площадка — площадкой, а может и тебе там быть в это время, а то я ужасно нервничаю, родная моя.

Пиши чаще. Завтра высылаю тебе телеграфом 700 рублей. Пока должно тебе хватить, а там напишешь, когда подойдут фрукты.

Твой, очень тебя любящий

Юлиан Семенов.

* * *

Июнь 1963 года

Е. С. Семеновой

Здравствуйте, гр. Семенова Е. С.

Во первых строках — нижайший Вам поклон за письмо Ваше, которое, слава богу, оказалось спокойным и хорошим, а следовательно твоим. Очень я рад, что все в порядке и Дунечка здорова. Дай-то Бог, чтобы пронесло с инфекциями и не понадобился никакой гамма-глобулин. Что касаемо Вашего там задержания — то это на твое усмотрение, но мне, честно говоря, без вас велие тоскливо.

Что тебе рассказывать новенького, Каток, так и не знаю даже совсем. До сих пор ничего неизвестно, когда судилище. Это — муторно и противно. Но — креплюсь. Что касаемо ТЮЗа — так спектакль получается, по-моему, отменный. Режиссура и оформление попросту хороши. Актеры еще не совсем в себе, кое-кто говорит из жопы — низкими многозначительными периодами. Но это, как говорят в театре, обкатается. Сижу на репетициях с задранной ногой, но сижу[41]. Во-первых, это интересно, во-вторых, нужно, т. к. снимаю всякого рода словечки и вставляю взамен иные, а в-третьих, это пригодится в литературе впоследствии, так я думаю.

Сегодня у меня целый день, до того, как я уехал на репетицию, сидел Леонов со сценарием. Просидел час и потребовал водки. Высосал пол-литра, объяснился мне в любви и очень настаивал на завтрашней еще одной встрече. Предложил стоящую штуку — сократить пролог с 12 до 1, 2 страниц. Это будет кстати.

Прочитал гранки повести, которая должна идти в августовской книжке «Москвы». О повести уже говорят по городу, но не потому что она какая-то сверхтакая, а из-за того, что много рабочих в типографии «Красный пролетарий», и там ее читают вовсю. Нравится. Сие — приятно.

Вот так, родные мои бабы. Погода дрянь. Все как-то сильно суетятся. У меня уже готова командировка на Дальний Восток, а я — на приколе, и причину не очень-то объяснишь. Вот так-то.

Целую Вас, любимые мои. Пиши чаще, не давай себя заматывать, КТК. Дай вам Бог, золотенькие.

* * *

Июнь 1963 года

Же ву салю!

Сего дни я поднялся и сел за машинку. Собственно, новостей

у меня нет. Что касаемо дела, так оно уже с 4 июня находится в облсуде, но мне, по правде, не хотелось об этом писать, чтобы не вносить лишних и бесцельных беспокойств, так как, по-моему, всякое неведение по поводу известного — состояние весьма тягостное. Пока еще день процесса не назначен. Думаю, ты успеешь принять в нем участие.

Ныть по поводу ноги — тоскливо и тоже ни к чему. По-видимому, все обходится хорошо. Работает с ней Вильям Ефимович, весьма напуганный возможностью слияния трех творческих союзов и, таким образом, ликвидацией Литфонда, а вкупе с ним и поликлиники.

Вижу довольно скверные сны, хотя один из них (я видел, как провалилась с грохотом премьера в ТЮЗе) Борис Голубовский, постановщик, трактовал как доброе предзнаменование. Посмотрим, посмотрим.

Что касается дела, то Юдин и я — мы надеемся — это я пишу не в успокоение тебе, а по правде — в благополучный исход. Может быть, из соображений суеверия так писать нельзя, но в данном случае самого себя обманывать нечего, да и его тоже.

Даже не знаю, что еще писать. Спрашивать про вас — несколько нелеповато, потому что ответ на вопрос я получу в лучшем случае через неделю, а в худшем — по твоему с Данькой приезде. Ты уж, пожалуйста, не давай себя никому особливо заматывать. В меру заматывайся, особливо с такой компанией, которую ты определяешь, как блядскую. День, два это, может, и забавно, дает какую-то новую грань в мировосприятии, в мироогораживании, а больше, по-моему, ни к чему. Тем более ты, которая меня всегда так бранит за то, что я не могу отказать в той или иной деловой встрече, должна смочь отказать в столь долгом времяпровождении терзающим тебя друзьям, определение которых — блядство и неуязвимость зверя. Я, естественно, никому за тебя отказывать не могу, да и если бы мог — не буду, а вот дать нудный совет — считаю долгом. Впрочем, ты вправе посчитать его моим обычным занудством и послать нас с ним (т. е. с советом) к далекой мамульке.

Ну-с, что дальше? Дальше ни хрена. Дальше надо садиться и пытаться работать, т. к. это великолепнейшее, хотя и крайне горькое лекарство от всех и всяческих горестей и недугов. Я тебе уже говорил, наверное, что пишу длинный и нудный рассказ о нас с тобой под названием «Женщина, которую любим». Что из него выйдет — просто не знаю. Посмотрим.

Целую тебя и Даньку. Дай вам Бог. Все-таки пописывай.

* * *

11 августа 1963 года
Е. С. Семеновой с Дальнего Востока

Любимая моя!

Сижу перед отъездом в кабаке, жру, пью 150 гр. и пишу тебе очередное объяснение в любви. Я тебя очень люблю всю, какая ты есть. И это не твое счастье, это счастье мое. Я себя порой ловлю на мысли — есть ли у меня — как у Феллини — Клаудия Кардинале, белая мечта. Если как на духу — может и была когда-то. Теперь уже — лет пять как — нет. Обеднел я от этого? Нет. Обогатился, потому что ты мне друг. Во всяком случае я тебя для себя иначе не воспринимаю. По-видимому, истинная дружба сродни климату — она подвержена тайфунам, как здесь, на Дальнем Востоке. Только тайфуны мужские выглядят по-одному, а женские иначе. Черт с ними, тайфунами. Мне очень здорово, что я могу сидеть здесь среди шума и балагана и писать тебе про то, что я тебя люблю и никого мне не надо — отныне, присно и во веки веков.

Только ты обязательно меня люби — всегда и повсюду и несмотря ни на что. А 27-го все будет хорошо. Поверь мне. Я чувствую. Не ругай себя. И еще: следи за Данькой, чтобы она не захворала. Хотя я тревожных снов и не вижу, но все равно.

О переговорах с матушкой — дай Бог, только она это могла понять разумом, а сердцем — по-нашему с тобой не поймет. Это, увы, точно.

Иду спать — дописываю на стекле стола у себя в номере.

Целую тебя, любовь моя. Дай тебе Бог счастья. А тебе — значит мне и Даньке.

Твой Юлиан Семенов.

* * *

1963 год
Е. С. Семеновой

Сижу в Хабаровском порту и строчу тебе перед вылетом несколько строк. Умный старик и писатель Вс. Никандр. Иванов (не путай с Вс. Вл. Ивановым) — известный белогвардеец, умница и добрейшей души русский человек, сегодня, перед моим вылетом, за чаем (и перед моей встречей в редакции), читал мне пушкинские письма Нат. Ив. Гончаровой, где он писал: «Мысль, что Наталья может стать моей блистательной вдовой, делает меня сумасшедшим». Я — наоборот, только-то и мечтаю: спаси

Бог окочурюсь — дай-то Бог тебе самого хорошего. А через тебя — Дуньке, ибо где-то я вас не разделяю. Не сочти мое письмецо, вложенное сюда же, исповедью идиота. Нет, право, это очень искренне про все то, чем я был, есть и — дай Бог — буду с тобою связан.

Я не стал бы тебе писать и слать телеграмму — я должен послать письмо, а я представляю, как это тревожно и горько ждать — особенно ночью, и, черт его знает — предчувствие — хреновая интеллигентская штука, и я под ней хожу. Так что я спокоен — в случае чего ты получишь это письмо уже после и будешь знать, что я всегда думаю о тебе и о том, что ты ждала меня, веря в благополучный исход дела, даже при самой трудной ситуации (и воздушной и земной)[42].

Знаешь, я очень тебя люблю. Просто даже очень. Как, отчего и почему, мне непонятно, и слава Богу, что это так. Вот просто люблю и все тут. Если я доставил тебе горе — прости меня. Но знай — я всегда тебя любил, да и не мог не любить, и это не моя заслуга, а твоя, так что чувствуй себя спокойной и свободной. Только маленько жди, пока я буду идти — через все, если только идти смогу. Черт его знает, что еще писать. Любовь, как и признание в ней, — коротки, если только это не литература. Она, опасная, затягивает на многоступенчатую пустопорожность, но это диктуется ремеслом. В жизни все не так. И — слава Господу.

Я целую тебя и Дуньку и вас я только люблю. Дай вам обеим Бог. Он — дает.

Твой всегда Юлиан Семенов.

Середина 1960-х (без даты)
Ленинград
Е. С. Семеновой

Дорогая моя и нежная Тегушка!

Писать тебе, — кроме того что лупят с нас по сотне в день за люстры, бра и прочие буржуйские излишества, — нечего. Думал отдыхать — ан видишь, писать приходится, а по ночам скупо высчитывать потраченные деньги и, вздыхая, думать о том, что завтра надо будет брать не 2, а 1 порцию сосисок на двоих. Ну, не привыкать.

Написал еще и понял, что без тебя скучно и тоскливо, как и на дворе — слякотно, снежно. Но красиво — до сумасшествия. Ленинградские улочки — черт знает что такое.

Целую тебя, родная, и очень люблю.

P.S. Набрел на тему для пьесы (или повести). Очень

интересно!

* * *

3.03.1965
Кенигсберг
Е. С. Семеновой

Здравствуй, Тегочка!

Пишу тебе из столицы поверженной Пруссии. Пишу в преддверии всяческих возможных в нашей судьбе перемен: тут ребята обещают меня повозить — есть возможность купить замок в глубинке, возле озера, или этаж на берегу моря. Подробно отпишу в ближайшие дни.

Малыш, извини меня, но твой муж — фигура известная, вроде М. Жарова. В газете меня встречают по-братски нежно. Тут великолепные ребята. Один из них — с бородой.

Лапочка, это все ж таки великолепно, если вокруг все говорят по-русски. Но это так, нотабене, просто расчувствовался, и очень я горд, что российский молодой либеральный читатель к моим книгам относится очень хорошо, без дураков — это заряжает.

Я люблю тебя очень и нашу девочку. Я вас целую 1812 раз. Ваш всегда

Юлиан Семенов.

* * *

5 апреля 1965 года
Е. С. Семеновой в санаторий

Ну что, дурачок? Каково? Я подумал, что это великое благо, что ты попала в этот санаторий. Будет время и поле для размышлений. Иногда это полезно. Тем более что ты, видимо, будешь общаться с самыми разными соседями, — так что я даже доволен. Как не совестно дурачку, а? Неужели же мне и дальше придется думать за кое-кого — про то, что после ванн и грязей надо быть тепло одетым? Что западный Крым — холодный Крым? Что Саки — это не Коктебель? Да если б и Коктебель? Это сумасшествие с тем, кто лучше напялит на себя хламиду, — недостойно кое-кого — ибо этот кое-кто умен и вкусом одарен от кое-кого, и сердцем и любовью кое к кому. Так хрен же с тем, кто и как из всяческих шмакодявок взглянет. Кое-кто может быть

выше всех, поплевывая на хламиды несчастных Эллочек Щукиных (иносказательный язык Тура, надеюсь, тебе понятен?). Ты можешь хвастаться не покроем линии платья, но тем, что кое-кто тебя очень любит и считает самой красивой, умной, доброй. Коли спрашиваешь совета — выполняй что советуют. Иначе — сугубо обидно. Я уже опускаю перечень соображений, которые вызываются получасовым стоянием у зеркала перед отъездом кое-куда. (Я напустил такого тумана, что даже самый хитрый цензор ни хрена не поймет.)

Надо очень думать друг о друге. Иначе — снова гипертония и снова 120 на 180. Когда давление переваливает за 200 — начинается необратимая вторая и третья стадия. Необратимая. Это значит — пять — семь лет с периодическими больницами. Извини, что привожу эти выкладки, — но страшно бывает за автора второго письма, которое вложено сюда же. И еще потому, что я тебя не просто люблю, я без тебя не могу. Как без Дуни. Поэтому когда кричу, исходя из себя, — так это оттого, что люблю, а меня не слушают, хочу добра, а мне огрызаются. Вот ведь какая непослушная наша вторая дочь, старшая, я имею в виду.

Ладно, может быть когда-нибудь наша старшая помудреет. Теперь о младшей: все в порядке, Дунечка сидит рядом и рисует тебе письмо. Переписывает его второй раз и рыдает, пропустив гласную. Она — прелесть и умница. Багалю показывает по-ермоловски. Раз ночью проснулась, я лег с ней, Багаля стала вздыхать так громко, что проснулся Ботвинник, и при этом повторять: «Не лежи с ребенком, нельзя лежать с девочкой, это непедагогично, иди ко мне, Дашенька, я поглажу тебе головку и ты уснешь».

Я молчал и говорил, как утка, сдавленным кряканьем. Это тоже недешево стоит. И вообще. Так что, говоря откровенно, если сможешь и точно будешь знать, что 20 дней грязи идентичны 26 дням, то учти и мотай к нам. Вот так-то. Без тебя мне дико. Когда ты с Дуней уезжала в Коктебель, то это было все по закону. А когда мы с Дуней остались одни — это дико. Я как потерянный. Серьезно. Иногда я ловлю себя на мысли: неужели я такой же характером? Если так, то пора делать харакири.

Только что звонила Тамара Семеновна и отдает нам свою няню, сейчас я занимаюсь этим вопросом. Дай-то Бог.

Пиши мне, без тебя муторно и пусто. Не конфликтуй ни с кем. Будь паинькой. Не ходи поздно гулять, это тебе не Коктебель. Не ходи на последние сеансы, не рискуй (в плане — идти пешком из Перхушкова на Николину Гору).

Я верчусь как белка. Нигде ничего не получается. Все, как

старая тянучка, которую Багаля хранила с 45 года на случай возможного голода.

Целую тебя и ужасно тоскую.

* * *

5 апреля 1965 года

Тегочка!

Только что кончил писать тебе первое письмо, как начал это. Второе. Звонила Там. Семеновна. Кричала, что я идиот, ибо «дача на Уборах самая хорошая и самая красивая, ибо выше чем Николина Гора нет ничего прекраснее (высокое место)». Понятно? Дунечка уснула, Багаля — злая, будто коммунистическая истина, смотрит нежную телепрограмму, а я, слегка кирнув, пишу тебе.

Обратно же — без тебя ужасно хреново и пусто и обреченно. Дунечка, моя дочь, при всем том дико похожа на тебя — в интонациях, наивной серьезности, обидчивости (особенно, если она пишет тебе письмо и пропускает каждую согласную, ибо для нее «ч» — это «че» и «е» не нужно, т. к. само собой разумеется).

Лапа, тебе совестно? Или нет? Или да?
Никогда, никогда, никогда. Я прошу!
Отвечай за свои ты слова!

В этих стихах очень важны расставленные ударения.

Кутя, меня без тебя нет. Когда я вспоминаю, как ты плачешь, у меня сердце вращается, будто тяжелый пропеллер. Я делаю много ошибок не оттого, что пьян, а потому что хочется скорей написать тебе, Лапа, как я тебя люблю. О, если б мне позволили написать в печати про то, как я тебя люблю. Зачем. С каких пор. И отчего. Цензура не пустит. Бог с ней, я напишу в романе — иносказательно.

Видишь, я раскололся, цензура будет особо внимательна по отношению к новому роману. Я обожаю тебя всю — даже заплаканную, как дурочку. У тебя подбородок, будто у Дашки. Я ни с кем ничего не могу, потому как для меня в мире есть только одна женщина — это ты. Я вижу тебя во сне. Я молодею от этого, дай тебе Бог за это, любовь моя. Я напишу тебе завтра стихи.

Рассказ я переписал заново. По-моему, вышел. Прочту, когда вернешься. Старайся там для мальчика. Или для дубликата Дуньки. Я не против. Не обращай внимания на первое письмо, где я зову тебя все закончить за 20 дней вместо 26, — это с тоски.

Старайся и пыжься, чтоб получилось как надо. Только что ходил с Дуней к Михалковым: наблюдать за профилактикой. Дуня играла с Вайдой, которую я держал за ошейник. Дуня была мужественна и кричала: «Вайда! Дура! Не смей!»

Не устаю восторгаться ей и молить кое-кого о ее здоровье, просить обратно кой-кого о том, чтобы ты там скорее все привела в порядок в пикантной области.

Засим 456765421245678927644567 поцелуев и объятий. Ку-ку! Завигельские читают мой роман вслух и плачут от умиления.

* * *

6 апреля 1965 года
Е. С. Семеновой в санаторий.

Тегочка! Вчера я написал тебе пьяное письмо, а сегодня утром в этот же конверт вкладываю трезвое. Тамара Семеновна действительно кричала, что нет ничего лучше шереметьевских Убор, что это чудо, выше Николиной Горы, а это, по ее мнению, самое главное и только важно, по ее словам, чтоб было далеко от дороги. Я поговорил с бригадой в Успенском через рыжего Сашу — обещают все сделать за месяц. Вероятно, он возьмет отпуск и за месяц все поставит как следует быть. Говорил с Левитом, он хочет не 2500, а 2200 тугриков за свой хлам. Говорил с Левой Петровым. Он что-то покупает в Баковке за 15–20. Но у них после остается зарплата, а у нас с тобой «Петровка» на издыхании.

Далее. По трезвому и спокойному размышлению, то место, которое мне дают, идеально весной, осенью и зимой: тихо, чуть на отшибе перед глазами — парк Шереметьевых. Летом — это божественно как база для купанья с бардаком по воскресеньям и возможным футболом по вечерам в субботу. Но — минус — бесконечные дипмашины на Николке по вечерам и автобусы — по воскресеньям с трудящимися, которые выезжают целыми предприятиями.

Истина заключается в том, что пожечь можно где угодно. Там. Сем. считает, что в деревне сейчас жить лучше, потому как есть кому присмотреть, и протопить и убрать. На Николиной Горе же барство, там рабочей силы нет, все избалованы.

Так что меня можно накладывать ложками — я весь в растерзанных мыслях, завтра иду в МК, чтобы оттуда позвонили и дали участок, который мы с тобой наметили. Сейчас мне дают участок, находящийся примерно в тридцати метрах от избранного нами с тобой. Ничего не знаю, что делать.

Деньги уйдут — и останемся без базы. А так можно сделать в десять раз дешевле, чем на Горе — практически два сезона снимать дачу на Горе, — значит построить в Уборах за эти мамтаки. И будет что-то реальное, куда можно уехать в тишину — особливо зимой, осенью, весной. А летом — под боком детский пляж, лес, сосны, развести можно садик и сразу же вокруг забора насадить елок и кустиков — я это смогу сделать сразу же. И будет автономия. Честное слово. Я мечусь в поисках снятия — пока трудно. Не пришлось бы жить у родственников, вот что я думаю. Дачу Левит не сдает на лето, а на зиму тем более — он опасается, как бы я не расколол, что она полузимняя — в лучшем случае.

Пиши мне, родная, что ты думаешь из своей саковой эмиграции.

Шли авиа — думаю, это быстро придет.

Целую табе.

* * *

11 апреля 1965 года

Тегочка, родная!

Пишу тебе с почтового отделения на Можайке, возвращаясь от Данченко, с которым я веду сейчас переговоры вовсю. Что получится — пока говорить трудно, но обещают помочь через Лизу.

О лете — ничего еще не решил, ничего не снял. Не пришлось бы, если погорит Данченко, тебе с маленькой Тегочкой подождать у Таты, потом, может, на месяц смотать в Коктебель и снова к Тате.

А я б тогда вкалывал где-нибудь. А м.б. вместе к Прокофьевым. В общем, все пока в подвешенном состоянии. Очень без тебя скучаю и грущу — прямо до ужаса. Ничего мне не хочется и дивлюсь, как ты в мое отсутствие в Москве не возвращаешься на ночь к Дуне. Я не могу. Сердце без нее щемит и видятся страхи.

Рад твоим хорошим письмам, нельзя ли все-таки посылать тебе не заказным, т. к. заказные надо обязательно через почту и с очередью и злыми бабами.

Звонил к Шкловскому. Он удивлен — отчего ты не показалась ему. Он сказал мне, что твои страхи напрасны и несерьезны. То, чего ты боишься, — сугубо индивидуально и не от Сак. Не очень там цицеронствуй. Это я так, в порядке подстраховки. Начал писать пьесу для Голуба, подписал договор с вахтанговцами —

тоже сегодня. Денег, правда, ни там ни там не дали пока. Дела — суетные, ничего не успеваю, попав в Москву, т. к. тороплюсь на дачу. Даже не могу увидеться с архивным начальством. Несусь дальше — целую тебя, золотая моя, будь умницей и молодцом, будь разумной и благоразумной.

Будь здорова, голубушка моя, Тегочка, Бог с тобой.

P.S. В субботу ко мне приедет милиционер с Рублевской охран. зоны — подстраховать с дачей. Без тебя Лизу приглашать нет смысла — Багаля не может. С ней я держусь, все ничего. Я обожаю тебя, дурешку родную.

* * *

13 апреля 1965 года
Е. С. Семеновой в санаторий.

Дорогая Тегочка,

Багалю сегодня отпустил в Мафку[43] вставлять выпавшие клыки, потерянные в борьбе с позапрошлогодними сухарями, а равно за элементом денег, которые она мне подбрасывает на покупку дома[44], а сам сижу сего дни с Дунечкой. Она, правда, пристрастилась при бабке ходить к Нине Васильевне — и рубает там второй завтрак, а равно обед. Так во всяком случае было сегодня. Я себе поджарил сыра, купленного в шестьдесят четвертом роке, обглодал вяленую рыбу и съел поджаренные Багалей пур муа телячьи отбивные и был, вернее — есмь — на верху блаженства.

Если бы ты меня сейчас увидела, ты бы решила, что я переквалифицировался из литераторов в математики, ибо я хожу и считаю все время. Считаю — сколько остался должен Дзиганам, сколько Сержу, на что рассчитывать, не лучше ли продать машину, которая там не очень нужна, или не продавать — в общем, раздумья меня душат, однако впервые за много времени они радостные. Они перед удачей, они перед работой.

(Привезу к нам стенографистку Надежду Михайловну. Масса материалов уже в голове к новому роману, массу надо будет, слегка беллетризируя, передиктовать из всякого рода книг — их придется поискать через историческую библиотеку, через каталог. Ты помнишь эту старуху, она к нам ездила. Если, конечно, не померла сейчас. Жить ей будет где в нашем доме.)

Как ты лечишься, малыш? Прошло ли обострение? Я говорил сегодня с Ниной Васильевной, она там лечилась от ишиаса, так у

нее тоже началось обострение, но к концу оно прошло, а в Москве она вообще почувствовала прекрасно, вылечилась. Ты там, валяй, старайся, как следует, тегулепик мой золотой.

Начиная с 19-го мы договорились с Борей и Клебановым посидеть у меня на квартире над сценарием — дней пять-шесть, чтобы сдать его в РАБОЧЕМ порядке, то есть без сборищ говорливых писающих дам и редакторов. Если так, если меня никто не наебнет за роман, если утвердят сценарий в госкомитете, тогда в мае будут деньги.

Может получиться и пьеса для Голубовского, кое-что я уже написал, а остальную болванку надиктую Тюриной, поскольку весь покартинный план вещи я, скрипя зубами, наконец нацарапал. Дальше болванка делается таким образом, что в нее вливается текст, выжимки из романа в заготовленные места, а после дописывается, шлифуется и т. д. Должен сдать ее к 15 мая! Вот так-то.

Завтра беру у вахтанговцев пьесу и в третий раз перепечатываю ее, чтобы отослать в главлит. Если утвердит — тогда получим тоже кое-что. Но что-то у меня екает сердце за главлит. Хотя я ими запуган раз, может быть все от этого. Поживем — увидим. Всегда могу пойти зам. глав. ред. к нам в журнал. Это 350 гульденов ежемесячно. На крайний случай, если очень прижмет. Думаю, до этого не дойдет. По всему не дойдет. И потом, все мы под Ним ходим. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что человек запрограммирован в клетке, с самого изначалия. Это, естественно, вера, с другой стороны, не так будет совестно потом оттанцевывать в стиле блюз. Клетка, программа, сначала и т. д., а к вопросу кем — к этому вопросу через боль и муки придут не скоро, ибо ответ ясен. Придут через страдания. Вот так. Важно, чтобы все у нас в нашем новом доме было хорошо. Ты — основа всего, только ты. Тактично и мило откажи в приеме, тактично и мило выпроводи, если придут. Будь моей защитой, это, Тегонька, твоя обязанность. Будем жить, как Тендряк[45], или Трифонов, или Бондарев, или т. д. — т. е. затворниками. Тем более что с нашего участка ход прямо в лес. Кухню и ванну я пока делать не буду, т. к. осенью будут проводить газ, след. ломать и бить. Погодим. Я пока исподволь достану красивые пластики для кухни и для ванны, а ты у мамы выцыганишь польскую кухню в подарок (286 руб., или 286 долларов по официальному курсу, или 1 юань). Третья комната, не сделанная наверху, будет сделана для Багали с Дуней. Твою комнату я отделаю холстом, свою — циновками, как передняя в НАШЕМ доме.

Целую. Юлиан Семенов.

* * *

14 апреля 1965 года
В санаторий к Е. С. Семеновой

Здравствуй, моя золотая!

Получил твое грустное письмо: сижу пишу тебе весточку, рано утром, сейчас 6, все спят, оттого — каракулями, а не на машинке.

Лапа, я тебе отослал три письма: одно «до востреб.», а два — в санаторий, так что не брани меня за молчание.

Катя, мне позволили уехать в Чехословакию! Это здорово, хотя ехать мне и не хочется. Но поелику мы будем нищие в течение года, я смогу оттуда привезти то, на что здесь не будет денег — люстры, обои, тяпы — тебе. Понимаешь? Вот. Но, думаю, я уже обо всем этом тебе расскажу по телефону, до того, как ты получишь это письмишко.

Сейчас еду в Москву, а после в Пахру, оформлять покупку дачи. Эту неделю очень волновался, засыпал в 9, просыпался в 5, смотрел рассвет и ломал пальцы. Не хандри там, маленький дурачок, веди себя хорошо и, если можешь, приезжай не 27-го, а 25-го, оттого что у меня путевка с 26-го, но я полечу 28-го или 29-го — хочу с тобой понежиться дня три-четыре.

Ну, золотко, я пошел варить себе кашу. Багаля снова в тоске, вздыхает так, что дрожат потолки, обижается на Дашку, как на Броню, и вообще без домработницы нам, боюсь, не обойтись, Каток. С Ниной Васильевной и вообще со всеми чужими она любезничает, а на меня смотрит оскорбленным волком и все время спорит. Ты мне хнычешь, и я тебе в отместку. Дуня у нас — ангел и умница, таких детей больше нет. Целую, родная.

* * *

17 апреля 1965 года
Е. С. Семеновой

Родная Тегулепочка!

Жду звонка к тебе (дождался на слове «тебе» — это знамение). Все рассказал по телефону, малыш. Так что добавить нечего. То, что мы покупаем, — это сказка, которая вдохновит меня на работу, тебя — тоже и еще кое на что — безразлично мужского ли, женского ли пола.

Будем жить в райском, волшебном доме. Будем вкалывать от

пуза. Тогда через год сможем шиковать, как хотим — без долгов, с прекрасным особняком. Тогда начнем заниматься его обстановкой и вылизыванием, деланием третьей комнаты наверху (хотя, может быть, это получится у нас этим летом — так мне кажется). С помощью Николая Николаевича мы, я думаю, сможем ее сделать очень красиво и хитро. Причем отопление туда подведено, надо только поставить радиатор.

Ты засядешь у меня за Максима Геттуева — обязательно, Тегонька. Если Нинон, мамина напарница в литературе, то ты тогда просто Вольтер, а если не будешь делать — расценю, как капитулянство и деградацию.

Верчусь я сейчас подобно пропеллеру. Как задница на сковородке. Кое-какие результаты есть. Сейчас у меня направление главного удара — пьеса для Голуба[46]. Это — касса, это язык и разложение буржуев, что зритель смотрит с яростной умильностью.

После этого, запершись ото всех — на два месяца непрестанной работы над «Резидентом». По-хемингуэевски я буду писать постранично, но не по три, а по пять. Тогда за июнь — июль я сделаю почти все, август — доведу концы романа, полсентября вылизываю и отдаю в Москву — на предмет открытия года.

Маленькая, я несусь к Григорьевым на свадьбу, потому — прости меня за краткость. Да, кстати, я послал в Киев, на студию Довженко сценарий «Петровки». Черт его знает, возьмет да и клюнет. Тогда мы вообще короли. Что касаемо возможных трудностей финансовых, то они будут в общем-то весьма невелики, на жизнь будем тратить 200–250, без шика и приемов, естественно. Будем с тобой кирять чекушку напополам после работы и слушать соловьев, которые поют в лесу, куда выходят наши окна.

Если же я буду морально суетиться из-за долга, хотя Серж дал мне на год с рассрочкой, — всегда можно забашлять машину, т. к. тут круглый год заказы из «Елисеева» и неподалеку магазин, а автобус в полутора километрах в конце концов, и Боровик под боком. Я молодец, что купил авто — вложил сбережения, это у меня надежный резерв, поэтому я сейчас на резерве крадусь по-кирсановски.

Целую тебя, родная моя, поздравляю с нашим десятилетием, которое было изумительным, волевым и прекрасным, несмотря на всяческие явления шелухаобразного характера. Главное, основное у нас было прекрасным и становится — для меня во всяком случае все более и более прекрасным с каждым днем.

С Багалей у нас наконец мир и любовь.

* * *

29 апреля 1965 года
Телеграмма из Чехословакии

Целую. Твой Семенов.

* * *

Май 1965 года
Чехословакия
Карловы Вары

Здравствуй, мой нежный Тегочкин и родной Дунькин и Багаля! Я вас всех нежно целую и очень люблю. Пишу вам после первой прогулки в город, рано утречком, в 6.00. Тут очень хорошо, боюсь только — станут меня лечить и будет туго с работой. Но я буду сопротивляться.

Пишите мне и звоните по тел. Санаторий «Империал» № 572. Это мой адрес. Очень о вас волнуюсь. Ведите себя хорошо — тогда привезу вам всем подарки.

Целую 1 млн раз.

* * *

3 мая 1965 года
Чехословакия
Карловы Вары

Дорогая Тегулепочка и Дуняша — золотые мои!

Только сейчас разогнул спину после романа, который я уже в третий раз перелопачиваю на кино — под Борю и Клебанова. Они — молодцы, предложения были клевые, но я от него уже устал.

Тут очень красиво. Утром, когда я спускаюсь по горной дороге пить воду, там внизу, на галерее, где киряли водичку Гете, Шиллер, а равно и Карл Маркс, — включают музыку и играют Штрауса — все как сто лет назад. Обслуга великолепная и очень заботливая, места для прогулок восхитительны. Я упиваюсь, бродяжничая один с шести утра, после — перед обедом и после ужина. Сегодня первый день, как установилась хорошая, солнечная погоденка, а вчера проснулся — весь в молоке. Я живу высоко над городом, на вершине горы, поэтому туман здесь

плотный и осязаемый. Рано утром, в реке, которая несется с гор, ловят форель. Город сам по себе — невозможно красив, хотя очень много готики, но она — настоящая, старинная, а потому — очень искренне вписывается в тутошний пейзаж. И тихо, очень тихо, только внизу в открытые окна доносятся дитячьи голоса.

Очень волнуюсь за вас — как всегда вижу сумасшедшие сны и т. д. Пожалуйста, будьте молодцами, золотые мои. И больше живите на даче, право слово. Обживайте ее как следует. Я завтра съезжу в Прагу и после напишу тебе, Тегусь, — срочно к моему приезду покрасить стены либо оклеить их обоями. Очень хочется приехать уже, чтоб все было — шла — играла босиком. Если у тебя возникнут какие-либо сомнения — произведи переоценку ценностей и зайди к моим и твоим друзьям на Арбат[47] — они нам помогут с ремонтом до моего возвращения.

Словом, завтра вечером или послезавтра утром — т. е. 4-го я напишу тебе, как быть с дачей — то ли ждать моего возвращения и потом вместе будем ворошить, то ли начать уже сейчас, до моего приезда. Подыскивай постепенно кого-нибудь нам на дачу, ты сама поняла, что тот альянс, который мы имеем, — не всегда прочен и очень подвержен настроениям. Так что — думай сама. Боюсь, что я тут опять оказался прав, Катечка.

Ну, что еще? Скажи Дунечке, чтоб хорошо себя вела, — тогда я привезу ей интересные подарки. Пусть это у тебя будет пряник в воспитательной работе.

И — снова прошу — живи больше на даче, не оставляй там их одних надолго, будь с Дунечкой — ты ж знаешь, как это интересно, быть с ней. Сейчас, после того как закончу кропать для Бори Голубовского пьесу, сяду за «Дунечку и Никиту». Многое уже вижу, что получится — не знаю, боюсь, что ничего не получится, но писать это очень хочу.

Как там наши Боварчики[48]? Целуй и приветствуй их от меня.

Ну вот, пока я отписался. Послезавтра снова напишу тебе, золото мое. Целуй Дунечку сто раз и саму себя — столько же.

Обнимаю вас нежно и желаю вам счастья и всего, чего «хочите», дорогие мои.

* * *

11 мая 1965 года
Е. С. Семеновой
Чехословакия
Карловы Вары

Каток, родной!

Шлю тебе цидульку с Плахеточкой. Я заскочил к нему в Прагу, он летит в Москву, и я шлю тебе с ним поцелуй. Завтра вернусь в «Империал» и напишу тебе длинное письмо. Все очень хорошо, малыш, очень по тебе скучаю и очень вас люблю.

Тегочка, Иржи будет в Москве в командировке — официально 7 дней, но он хочет остаться в Москве еще дня на три по своим литературным делам, а срок в гостинице уже кончится. Так что ты дай ему пожить у нас — или в городе, или на даче, где тебе будет в то время удобней его оставить.

Малыш, забыл: уезжая с дачи, выключай газ, заворачивая баллон, а не только кухню.

Ну вот, все накоротке.

Я обнимаю тебя, Тегулепа, и очень люблю. Целуй нашу Дунечку.

* * *

1965 год (без даты)

Мой друг!

1. Ближе нас с тобой — нет никого в мире больше.

2. Среди тех, кто окружал тебя в течение нашего десятилетия, я жил эти десять лет, и от них, от этих твоих соседей, зависело и зависит в громадной мере судьба всего того, что я пишу. Они вольны разрешить это или запретить. Уплатить деньги или отказать нам и обречь нас на голод. Восславить роман или оплевать его.

3. Ты спасалась, плача в подушку и перечитывая мои письма — мне спасаться негде, а плакать я разучился с юности.

4. Если не мы с тобой станем охранять друг друга и друг друга щадить — то пощады нам ждать неоткуда, право слово.

5. Дунечка не должна никогда слышать ничего из наших вполне возможных размолвок — иначе нас с тобой ждет судьба Ноздриной[49].

6. Если мы с тобой не будем верить друг другу, то тогда нельзя быть вместе. Недоверие по пустякам (пьянка с друзьями, заход в ВТО, загул вместе с Туренком в бане) подрывает основы основ и расшатывает веру друг в друга.

7. Если ты думаешь, что я во всем верю тебе в аспекте верности — кровать, подъезд, курорт и т. д., то ты глубоко ошибаешься: я человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Но

унижать тебя скандалом неверия — я считаю сугубо обидным для меня самого и для тебя, любимая моя.

8. Сейчас, чтобы выкупить дачу, я должен быть как лошадь: мое спокойствие в работе зависит только от тебя одной — ты должна спасать меня и от всех и от меня самого.

9. Давай верить только друг другу, малыш, — и мы с тобой будем самыми счастливыми людьми. Я без тебя не могу жить, просто никак не могу. Но не вынуждай меня лгать тебе по пустякам, если я, без предварительного звонка к тебе, зашел куда-то пожрать или попить.

Нет никого счастливее мужчины, которому верят и который знает это: он незыблем и непоколебим.

Подо всем этим могу расписаться кровью.

Обожаю тебя и страшно люблю и никого не хочу, кроме тебя, тегулепочка моя бесценная и нежная.

10. Теперь о даче. Да, да, да, ты во всем права! Но ты, только ты и никто другой обязана отвечать за мое спокойствие на даче.

11. Поверь, легче улыбнуться, посмеяться, пригласить к чашке чая и элегантно отшить, но обязательно элегантно. Важно прослыть не грубиянкой, но женщиной, которая ТРЕБОВАТЕЛЬНА в выборе знакомых. И чтоб не было выпендривания и грубости. Это все — за тобой, и только так.

* * *

Монголия
Ноябрь 1965 года

Сей бай ну! Здравствуйте, дочечки Катя и Даша!

Как вы там дышете-можете? Каток, мне про тебя и про актера Виктора Коршунова показывали плохие фильмы. Нехорошо! Причем показывали неотвязно, как лекцию: только усну — и снова про то же. Потом я во сне же пошел покупать тебе подарок к Новому году и купил — точно помню — за 5 рублей венгерской валюты игрушку — космонавт в состоянии невесомости.

Эта игрушка тебе не понравилась, и я ее подарил Дунечке, которой игрушка эта понравилась. Вот так-то.

Как твой радикулит? Как дунечкина школа? Как инвалидность Юрки? Я не успел обговорить с тобой и тысячной доли тех вопросов, которые меня волнуют и терзают тут. Как «Дунечка и Никита» в журнале? Как в кино? Как роман в «Москве»? Как лит. на пьесы? Б 045.67 (или 66) — Галина Борисовна, секретарь Евсеева, позвони к ней и узнай, дали ей на

распечатку Блюхера или нет. Позвони в «Мол. Гвардию» — Д 11500 доб. 2-40 — товарищ Сякин и узнай, как лит. на повесть. Позвони в Москву — узнай, как роман у Дианы Тевекелян. И хорошо бы, чтобы ты мне позвонила числа 18—19-го — я, верно, уже вернусь из пустыни Гоби, куда еду бить волков и джейранов. Можешь сказать об этом Санечке[50] — пусть позавидует. Правда, там нет дорог и рядом Китай и на сотни верст — одна пустыня, но мы едем в двух машинах, так что все будет здорово, по-хемовски.

Придумал большой рассказ про эту будущую охоту — длинный, грустный, исповедальный. На мой здешний сценарий ставится большая карта: даже на торжественном докладе в театре в присутствии секретарей ЦК министр культуры говорил о том, что ваш покорный слуга прибыл в Улан-Батор для работы над будущим совместным фильмом.

Страна очень своеобычна, народ прелестный, относятся ко мне очень нежно — сие приятно. Был на Селенге, на севере, — там сказочно красиво, махал на конях за оленями, убил лису и множество всяческих куропаток — они там не пуганые, как куры.

Что еще, малыши мои золотенькие? Сегодня осматривал поразительные дворцы богдо гогена, это буддизм, очень сдержанно, в то же время роскошно. Первый богдо — хан Монголии был великим мастером по бронзе — он делал поразительных богов и эротических богинь.

Деревянные макеты громадных храмов — рай в представлении буддистов — сделал известнейший здешний мастер, жестокий алкоголик. Очень интересны шелкографии одного дня Монголии — с охотой, любовью, ненавистью — эдакая этнографическая зарисовка жизни народа. Интересен ад на шелку — кишки отдельно, кое-что висит отрезанное, а над входом в храм — ужасные рисунки безглазых, расчлененных людей: это ожидает не верящих в желтую религию Будды.

Очень мне понравился один из богов: у него на голове пять черепов: он сохраняет людей от пяти самых страшных — по буддизму — зол: неразумных любовных увлечений, глупости, нервозности, зависти и жадности.

У здешних богов по двадцать четыре руки и по шестнадцать ног — чтобы драться за религию с неверующими, и три глаза, чтобы обозревать три времени: будущее, настоящее и прошедшее.

Я гадал на своих трех косточках — фильм должны запустить в августе. Каток, пойди, если можешь передвигаться, в абонемент б-ки Исторической к женщине, которая ко мне хорошо относится, посмотри у нее номер моего абонемента и вместе с ней покопайся в каталоге — поищи мне книги про Унгерна, Монголию, про

процесс Унгерна в Иркутске в 21 году и все это закажи к моему приезду — я засяду покопаться в архивах и библиотеках.

Позвони к Юре Егорову — узнай, как с кино.

К тебе позвонит товарищ Назаров, председатель кинокомитета Таджикистана по поводу «Дип. агента» — дай ему книгу без злобинского автографа. Он думает по ней делать совместный таджикско-афганский фильм. Он к тебе позвонит, ты ему книгу отпульни.

Как там Костюковский? Прописали Марию или нет? Накатал он на меня телегу за это? Не знаешь? Что с Боровиками? Хотя я все это тебя спрашиваю, а ответ, видимо, получу в Москве, если, Бог даст, все будет хорошо.

Мечтаю о том, как мы втроем встретим Новый год. Это, верно, будет божественно. Я обязательно напьюсь и суну голову в снег. Я почему-то все время мечтаю сунуть голову в снег. В свой пахринский снег.

Сейчас иду на прием по случаю тридцатилетия Монголкино, так что закругляюсь. Завтра буду смотреть богослужение, пить чай у верховного ламы, потом пойду на народную борьбу, это очень красиво, а послезавтра, видимо, отправлюсь туда, на юг, в Гоби, или куда-то поблизости: там одна юрта на сотни верст, громадные отары джейранов, табуны лошадей и волки, а рядом китаезы. Здесь я все время очень вспоминаю Экзюпери и Хема — особенно когда был в горах на Селенге и в Дзельтыре. Охотник, с которым я подружился, очень красиво зовется — Дэмбредь.

Ну вот, пока все, дорогие мои девочки. Дай вам Господь всего наилучшего. Целую вас нежно, обымаю и желаю счастья и чтоб все было хорошо. Смотрите в три глаза за Дунечкой. Плохого мне, правда, про нее не показывали, но все равно.

Да, чуть не забыл: пусть Владимир Самойлович Марон, директор «Пароля», пришлет мне сюда на посольство числа двадцатого телеграмму с вызовом на обсуждение. Телефон у него такой: АИ12583 — служба и И70607 — дом. Скажи ему, что из двух проб Блюхера интереснее тот актер, что старше, по-моему, это Евстигнеев из «Современника». Что касается Епифанцева — Постышева, то тут я пока ничего сказать не могу, пока не определится вопрос с Ефремовым.

Целую и обнимаю. Ваш Борода.

* * *

Монголия
декабрь 1965 года

Дорогие девочки!

Что-то мне без вас немыслимо затосковалось. Завтра я уезжаю — на день Гоби отложилось в связи с юбилеем студии, когда все крупно закладывали кое-что за кое-чего. Уже начал считать дни до отлета к вам: сегодня 13-го, понедельник, а самолет уходит 24-го, то есть через одиннадцать суток. Шесть или семь из этих суток я буду в отъезде. А когда в дороге — время, кажущееся чудовищно медленным, тем не менее пролетает куда как скорей. Да и потом тамочки грандиозная, говорят, охота. А вообще я бы мог уже завтра вылететь в Мофку и сесть на полмесяца в архивы и в б-ки и начать работать — канва готова.

Сегодня ты, Тегочка, приснилась мне в голубом платье, ужасно красивая — входишь в старую квартиру и спрашиваешь меня, можно ли тебе навещать меня почаще. Какая-то дичь и мура. А растолковать сон некому. Сие — прискорбно.

Тут из меня выходит масса электроэнергии: к чему ни прикоснусь, бьет током. Говорят, из-за сухости климата. Наши водяные грозы таким образом выходят.

Много думаю над тягучим рассказом, но писать ничего не пишется. Такой покой в номере — не по моей натуре. Да и потом, хочется эту вещь писать на Пехорке[51], что-то очень меня тянет написать ее там — быстро, на одном дыхании, как «Дунечку».

Что там у вас? Как вы, мои хорошие дурачки? (слово написано в твоей транскрипции, «а» надо произносить длинно, широко раскрыв рот). Вообще, для меня, как оказывается, свободный график и отсутствие забот на день — хуже каторги. Видимо, я за последние 8—10 лет здорово «обоселился». Это уж со мной и помрет. Так что, видимо, когда я гневлюсь на свою забитую занятость — зря гневлюсь. А может быть, это только здесь, когда громадный номер, тишина, никого рядом и даже не сходишь позвонить в поселковую контору — как дела у этих бюрократов в министерстве культуры.

Очень, очень жду публикации «Дунечки». Интересно, как ее встретят? Видимо, замолчат или здорово обругают. Есть у меня такое ощущение. Но это — хрен с ними, плохо, если все замолкнут. Хотя тоже — хрен с ними. Это я говорю процентов на 97 правду. Так мне во всяком случае кажется.

Интересно — чем дальше, тем больше характеры двух людей, живущих вместе, не то чтобы притираются, а взаимосвязываются. Ты раскрываешься в обстановке наибольшего благоприятствия со стороны близких тебе людей, которых ты перестала пугаться, как дикая коза. Я раньше завоевывал себе площадку. А теперь, чем дальше, тем больше ловлю себя на том, что я вроде тебя

становлюсь — особенно когда тверезый[52]. Пьяный, конечно, не такой, но это уже, видимо, от какого-то комплекса.

Когда я, не дожив 1 года до моего пятидесятилетнего юбилея, помру, ты обязательно должна будешь издать мое избранное, проломив все двери наших бюрократов, — очень не хочется помереть забытым. Это я к тому, что перед моим отъездом Римка Кармен, которому исполняется в следующем году 60, не знает, как ему пробить себе издание книги, объемом в «Вихря», чтобы расплатиться с долгами. Дикость какая-то. Ужасно хочется пойти на Пасху в Брюсов[53], а еще лучше — съездить в Лавру, в Загорск, хотя там много показухи, это неинтересно: слишком много золотого шитья, дипломатов и потаскух.

Малыш, обрываю тягучее свое письмо, ибо еду в Посольство, к культурному советнику.

Очень я вас люблю, дурачки мои милые. Матрешки. Жаль мне что-то Митьку Федоровского. Ему что ни говори — он не поймет, а жаль, был мне хорошим другом. Я ему тоже. И оператор он довольно посредственный в художественном кино — я ведь смотрел его кино. Там только один замечательный кадр, да и тот хроникерский, а не художественный, в ремесленном смысле этого слова.

«Вихря», наверное, в «Москве» будут ругать. Тоже — по ощущению. Тогда отдам Толе Никонову, а аванс верну в «Москву». Я с ними договорюсь, если что. А может, мне пессимистская шлея под хвост попала, не знаю.

Ну целую. Покеда.

Резидент Вихрь, который по шоссе на большую медведицу, с девизом иди и не бойся, завернул на Петровку, 38, находясь при исполнении служебных обязанностей, когда дипломатическому агенту, на время 49 часов 25 минут, пока он борется с особо опасной инфекцией во время шифровки для Блюхера — пароль абсолютно не нужен, а нужна только Дунечка и Никита, посвященная Е.С.[54]

* * *

21 декабря 1965 года
Телеграмма

Ночую в Иркутске. Целую. Борода.

* * *

12 мая 1966 года
письмо Е. С. Семеновой в Коктебель

Дорогие мои девоньки!

Мне без вас скучно, и скучаю я с 10 вечера до 6 утра — остальное время я мечусь как белка в колесе. Я опоздал на час — на заседание худсовета Мосфильма по «Вихрю». За моей спиной режиссерский сценарий архихвалили, а меня поносили как могли. Все как следует быть. А когда я на следующий день пришел туда — все жали ручку и говорили, как все хорошо прошло. Ларчик открывается просто — с моей точки зрения: Колосов, худрук телеобъединения, поставивший «Вызываю огонь на себя», — испугался первого серьезного конкурента в своем объединении — Женю Ташкова.

Поэтому его хвалили, меня ругали. Тем не менее, фильм запущен в подготовительный период.

Сидел работал с Борей Григорьевым, они 12-го начинают съемки. Миша Козаков, утвержденный на Чена, отказался сниматься, так как ему не смогли сразу поднять ставку с 25 до 40. Студия вся возмущена. Говорят, что его больше на студии Горького снимать никто не будет — объявят бойкот. Надо будет про это Никитке сказать. Твердость в этих делах не всегда разумна — она оборачивается шкурничеством с одной стороны и презрением — с другой. Ему так же, как и Никите, обещали практически платить по 40 рублей, увеличив число съемочных дней, обещали ходатайствовать перед комитетом об увеличении ставки, но сразу-то не добьешься, это только Егоров смог Никите пробить за день перетарификацию. Ну, это дрязги.

У вахтанговцев интересно, жмут, обещают сдать худсовету 27 — 28-го, то есть, даст Бог, вы сможете это все поглядеть. Очень я волнуюсь в связи с этим спектаклем.

В Хабаровске уже вышла «Шифровка», и я получил гонорар первый — 80 рублей за два спектакля! Сие — меня на моем безденежье порадовало.

На даче божественно, Дюк растет и виляет хвостом и спит со мной в обнимку, дрыгает лапами и лает ночами на жуликов или на пригрезившихся ему лис. Багаля, естественно, с 3 мая на даче не появлялась — изучает решения съезда в городе, в кружке и, видимо, ездит по общественникам с жалобами на мохнатые сердца. По-моему, она поссорилась с Маней[55], которая, правда, молчит. Видимо, Багаля решила посадить плантацию кофейных деревьев — дядя Коля посоветовал, а Маша, видимо, сочла это нерентабельным.

Девочки, будьте умницами. Все время за ручку! Обязательно

на пляж каждое утро. Обязательно каждый день уроки! На площадке Дунечке не вертеться под дагами, не ровен час зашибут. По вечерам не шаландать двум девицам-сестрицам по городу — пьяные пристанут.

Пожалуйста, Каточек, если будут какие-то стычки с бабами, спрячь гордыню в загашник, и от Дуньки ни на шаг, Тегочка! Дунечка — не я, солнышко мое. Она маленькаля[56].

Мне показывают про тебя не совсем хорошие сексуальные сны.

Маня каждый день ходит на почту — ждет письма от своей подружки, ужас как по ней соскучилась.

10-го ночью уматываю в Карелию. Туда едет на зиму Кирсанов и, видимо, подъедет папа Шульц. Я еду с операторами.

Монгольские деньги пока не уплатили. Может быть, сегодня или завтра вытащу к себе на дачу режиссера Ибрагимова. Но вообще отношение к сценарию — тьфу-тьфу — хорошее.

Целую вас, девоньки, да хранит вас Господь. Книжку Джексона не потеряй, Каток, она мне очень нужна.

Ваш, любящий вас Август Абрамович Цезарсон — Гоглидзе[57].

* * *

Январь 1967 года
Письмо Е. С. Семеновой в роддом

Каток, дорогая!

Я за твоим ответом заеду попозже — сейчас несусь в «Мол. Гвардию» — они собираются в альманах «Приключения, 1967» давать мой «Исход». Потом в «Знание», после в Охрану прав, после в ЦТСА — Тонечка Хейфец молчит, надо думать о пиесе, пока есть время свободное от работы над «Козлом»[58]. Сегодня Кармены обещали за осетром — ему прислали нефтяники Каспия — свести меня с Любимовым более близко, у меня с ним шапочное знакомство по Шейнину. И вот еще позвонили американцы — сегодня у них какой-то фильм и ужин — не знаю, как быть.

Вчера очень хорошо поработал с Женей Ташковым — парень он очаровательный.

Я теперь по отношению к Дуньке занял позицию времен холодной войны — по поводу еды. И за три дня появился румянец, хотя еда сопровождается слезьми велие обильными и ссылкой — «А вот ты можешь съесть сразу 30 баранов?!», «Тебя папа так не заставлял!» «От перееды, думаешь, нельзя умереть?!»

Но ничего, я сдерживаюсь, чтобы не смеяться, грозно хриплю, ухожу в другую комнату, но результаты, как говорится, на лице. Девочка — солнце, Господи, дай ей Бог!

Что-то я еще хотел тебе сказать… — твоя телефонная фраза.

Жду сообщения ТАСС про тебя, чтобы начать квартирную эпопею. Почти уже все готово про «Козла» — только скрыться и написать. 1 апреля не за горами. Думаю — успею. Но работать придется по 24 часа в сутки: там же еще «Дунечку» надо подправить и «Господина Большевика». Но это я начну делать исподволь, сейчас: как заведу машину, съезжу на дачу, так привезу рукопись домой.

Старайся, душенька, тужься активнее.

Целую табе, за нас не переживай.

Твой Юлиан Семенов.

* * *

Январь 1967 года
Е. С. Семеновой в роддом

Золотая моя и любимая!

Письмо твое гоголевско-щедринское по духу сразу же навело меня на мысль, что я — остолоп полный. Надо было брать тебя в соавторство. Выродишь — возьму. Вместе писать будем, одному — надоело.

Любимая, не надо нервов!

Нервы в кулак!

И вообще никаких!

Последнее — из-за сульгина. Родишь — и такого громилу, что ой-ой!

Мне сказали, что перед родами всегда меньше двигаются, т. к. тесно. Так что сие — хорошо. А ты — запутался… На то он и Ляндрес — чтобы вывернуться.

Девуля моя бесценная. Мне без тебя скучно. А если ты еще грустить будешь — родится Солоницкий. Мрачный, с самокопанием. А это — ни к чему. Завтра днем еду на дачу — помогать маме писать выступление для ЦК. С лестницы не грохайся — балерина родится. А балерин — к черту. Правда, Андрон со своей по кино шляется, дубина.

10000000000000000 поцелуев. Позвоню вечером.

Твой Юлиан.

* * *

Январь 1967 года
Е. С. Семеновой в роддом

Дорогой Каточек!

Извини, я не дождусь твоей весточки, так как хочу уехать на дачу засветло — у меня испортился замок в машине, а оставлять ее на ночь открытой на улице — безумие. Завтра ее отгонит в гараж Сергей Васильевич, а я буду ездить на такси, а все больше дома сидеть, так как поднакопилось работы и Стржельчик очень просит почитать и сделать что-то для него: материал у Ташкова поразительный, я в восторге от него.

Завтра я буду в Москве с утра и подъеду к тебе и дождусь твоего ответа, а сегодня постараюсь позвонить тебе с дачи, если смогу пробиться сквозь наш коммутатор.

Обнимаю тебя, ласточка, любимая моя. Будь молодцом, бычок, держись спокойно. У нас все в ажуре, Дунька сопит и делает уроки. Дуся нас хорошо кормит — словом, все идет своим диалектическим чередом.

Завтра буду у тебя. Позвони с утра ко мне. Буду ждать.

Вечно твой
До доски гробовой
Юджин Сименон.

* * *

27 марта 1967 года
Чехословакия
Татры

Каток!

Видимо, это письмо придет к тебе уже после нашего возвращения. Стучу костяшками пальцев о дерево — на всякий случай.

Только что проснулись в горах, в Н. Татрах. Поутру было солнце, вчера плутали по пустынной дороге до полуночи и сидели в кабаке с джазом до 12.45 (первый раз за все время — так Дунька со мной укладывалась в 9–9.30). Характер у нее пополам: моя открытость и твоя сибирская застенчивость. Но когда приручится к человеку — тогда колокольчиком звенит, хохочет,

загадывает загадки и вообще очаровашка. А поначалу — бука замкнутая. И человечек она поразительно интересный, нежный и умный. Впечатлений у нее — мне кажется — масса. Интересно, во что это все трансформируется. Пока она выдает очень точные, порой даже не взрослые, а гетевские откровения. Видимо, тебе она выложит еще больше, помножив все на свою неуемную фантазию.

Целую тебя и Ольгу. Дай вам Бог всего.

Завтра здесь начинается Пасха. Христос Воскресе!

Твой Юлиан Семенов.

* * *

Апрель 1967 года
Чехословакия
Карловы Вары

Здравствуй Тегочкин и Ольгушка!

Сейчас Дуня, посасывая волосы и стекленея от волнения, учит английский, а я пишу тебе перед тем, как пойдем слушать цыган — если, конечно, пустят. Поелику на Пасху понаехало до черта проклятых империалистов с долларами — из-за них мы недозагорали своего в Татрах.

По ночам вижу страшные, криминалистические сны, надумал новые рассказы. Психую о «Провокации» — и в фильмовом варианте, и о пьесе, и о тех двух книгах, которые должен написать к лету, а я еще и не садился. Абы не забыть: напомни мне сказать Жене Ташкову в день приезда о досъемке Стржельчика на фоне Арденнской хроники и дать ему фразу: «Ну что, Берг? Поторопился? Или все еще можно обернуть в свою пользу?» Это очень нам надо! Очень. М.б., если мы приедем позже, ты позвонишь Ташкову — телефон в серой большой книге.

Сплю плохо, весь в Москве, в волнениях и об вас и об фильмах. Не обещай Дуньке «Гуда пешта» — вылетел бы к вам. Да и самому Будапешт надо посмотреть — на будущие романы (если таковые будут) пригодится.

Целую вас, мои золотые.

Дай вам, моим курносым, всего наилучшего. Христос Воскресе! Тут по этому поводу идет гулянка, все закрыто и по радио передают литургии.

Юлиан Семенов.

* * *

1 апреля 1967 года
Будапешт

Здравствуй, Каточек и Оленька.

Дунечка еще спит в кровати, в 8.30 нам должны принести завтрак, а я пишу вам письмецо из роскошного отеля восхитительного, поразительной красоты и сложности города — Будапешта (в дуниной транскрипции — Гудашиста). Вчера плавали с ней на пароходике по Дунаю в парк Маргит, бродили по здешнему Невскому — ул. Ракоци, обедали в восхитительном подвале — Мадьяр Пинче, словом — тьма воспоминаний, не считая братиславско-татрских, это было упоительно. Поеду обязательно в Татры писать роман — высоко в горах, никого вокруг, тишина и наедине с Богом.

Я не задаю тебе нелепых вопросов — типа: как ты, как Ольгуня, т. к. ответ ты мне дать не сможешь в письменной форме, а в устной — дождусь до 30—31-го. Хотя волнуюсь, но уже меньше, т. к. мне уже как три дня перестали показывать про вас плохие сны.

Собираюсь — если достану машину через АПН — съездить в Белград, посмотреть хотя бы одним глазом Югославию. Но это будет решаться сегодня — после разговора с апээновцами — звонил ли к ним Карл. Дуня вчера, потрясенная Будапештом, села писать письмо Марине Боровик, берет реванш, значит. Но сделала ошибку в слове Тема — написала его с маленькой буквы и решила переписать сегодня. Боюсь, что это — благие намерения. По-английски я ее натаскиваю, как могу. Она выдает много уморительнейших вещей. Часть я уже записал. Последний ее совет касался того, как мне попасть в Китай: «Шлепнись 10 раз носом об асфальт, покрась лицо в желтый цвет, замотайся в полотенце и поезжай». Или: «Папа, а Христа за дело распяли или просто так? Ага… А он при Ленине жил?» (во время органной литургии в Братиславе во время Пасхи).

Ну, несут завтрак, пора будить Дуньку. Целую тебя, Ольгушу. Привет друзьям. Целую вас обеих матрешек.

Ваш Юлиан Семенов.

* * *

18 апреля 1967 года
Северный полюс
СП-13
Радиограмма

Дорогие мои три тегочки!

Целую вас всех нежно с самого Северного полюса-13, который чертовски быстро плывет к Гренландии, чтобы там растаять. Ждем последнего рейса. Нас тут осталось семеро. Беседуем о медицине и об акклиматизации животного по кличке человек в условиях полюсов, и меряем друг другу кровяное давление. Скучаю по вас и дай вам всем Господь счастья.

Если все будет хорошо — прилечу после полета на СП-15 числа 27-го к вечеру.

Ну пока, время нет, надо идти с радиорубки в блок к начальнику.

Если «Правда» не напечатает репортажей — позвони к Бонгу Д33499 (или узнай) и устрой ему бенц — пусть напечатают, и позвони тогда Марку Михайловичу — он позвонит к редактору «Правды» Зимянину.

Целую вас.

* * *

24 февраля 1967 года
Телеграмма.

Целую с Северного полюса-15. Улетаю на материк. Юлиан Семенов.

* * *

3 мая 1967 года
Телеграмма из Гагр.

Живу в Доме творчества. Холодно. Уже скучаю без вас. Запирайте окна на ночь. Семенов.

* * *

5 мая 1967 года
Телеграмма из Гагр.

Волнуюсь молчание.

* * *

12 июня 1968 года
Е. С. Семеновой и дочерям
США
Открытка

Девоньки,

Целую вас из Голливуда. Люблю вас, раскосые мои малыши и очень — не скрою — люблю. Ну до встречи дома, родные.

Ваш Ю. Семенов.

* * *

15 июня 1968 года
США

Дорогие мои,

Не скрою — у нас в Вашингтоне уже утро, чирикают по-русски воробьи, ездят по улицам красно-сине-белые кары и, главное, идет нудный, батумский (по ощущению) дождь. Сейчас 6 утра — сколько в Москве — рассчитать не могу — пусть Дуня рассчитает. Белый плоский телевизор передает сообщения о победителях на Праймарес. Через час улетаем в Бафало — на Ниагарский водопад. О том, насколько интересно и занятно это путешествие, не пишу: это, как говорится, само собой. Уже начал о вас скучать, хотя только третий мой американский день. Целую вас, мои девоньки, дай вам Бог.

Целую вас.

* * *

Конец 1960-х
Е. С. Семеновой и дочерям
ГДР

Здорово, Каточек!

Как ты там, душенька? Замучил тебя до конца Андрон или все же смилостивился? Режиссеры все подонки — в конечном итоге. Им надо бы не мучить актеров, а заранее все приготовить, а после пулей снимать. Они, гады, несколько шаманствуют. Причем Феллини это делает по поводу себя: это пожалуйста, это

гениально, а когда по поводу нас — но через папиросную бумагу в кармане — это хуже. Я сержусь.

Живу я тут хорошо, на берегу штормящего моря, ругаюсь с режиссером, пытаюсь писать вещь: насколько она получится — не знаю. Но это будет не железобетон, а новелла про любовь капитана и красивой немецкой женщины. И Романов и наш посол П. А. Абрасимов, и немецкие друзья к этой моей задумке отнеслись в высшей мере положительно.

Погода дрянь: в смысле нельзя купаться — шторм, дождик, чайки орут. А в смысле работы — хорошо. Буду я здесь, вероятно, до середины сентября. Найди возможность найти в «Правде» Юру Воронова, отошли с ним письмецо. И сама пиши мне по адресу: Варнемюнде, Штрандвег, 17, гестенхауз Штолтера, Семенову, только все наоборот: начинай с имени, потом Штолтера, 17, Варнемюнде. ГДР. Поняла, дурочка глупенькая даже совсем?

Слегка побаливает сердце, а так все ничего. В Москве сразу займись делами: позвони по тел. 2506868 тов. Никольскому в Политиздат, узнай, как книга, и позвони ко мне по этому же адресу, позвони или заедь в «Октябрь» и узнай, как с рукописью и зайди в ВУОАП. Купи 10–11 экз. «Провокации» и вышли мне одну сюда.

Нежно целуй моих девочек: Кузю и Ильича. Кузя пусть слушается, а то подарков не привезу и высеку, хотя она уже и засл. арт. респ.

Отпиши про все новости. Без тебя — во всех смыслах — жестоко скучаю. Всем привет и салюты. А моя тебе нежность и желание.

* * *

Конец 1960-х (без даты)
Письмо жене и дочкам из Калининграда

Здравствуйте, мои дорогие!

Перед тем как схилять на косу, где сосны, дюны и снежные завалы, — пишу вам несколько строк. Да, Каточка, ты будешь очень смеяться, но сегодня утром здесь объявился — ты угадала — Лапин[59]. Под дверь моего номера была подсунута записка: «Прибыл, жду указаний, „Зоркий“». Но он уехал на концерт в Прейсиш Эйлау, а я уматываю сегодня в 12 часов на милицейской машине с редактором газеты Авдеевым.

Вчера ходил по здешней тюрьме — смотрел ее на предмет романа, т. к. раньше здесь была тюрьма гестапо. Те места, где

стояли у фашистов пулеметы, на углах всех пяти этажей, — у них пустые места, заколоченные тесом.

Я видел двух приговоренных к смерти. Один молодой, в полосатом, стрижен — ходит по камере — изнасиловал 12-летнюю девочку, второй — желтый, обросший — лежит на нарах, не движется, только глазом поводит, когда открывают глазок, — убил жену, разрезал ее и замуровал в стену из-за ревности. А насильник ходит быстро, здоров, брит, на нарах лежит книга (очень толстая, раскрыта на середине).

В камере 4 женщины, молоденькие, хохочут, веселятся — две воровки (2 года), две растратчицы (8 лет). Девки хорошенькие, модно причесанные, красиво одетые. Все бы ничего — только решетки. Иголку у надзирательницы просят — та не дает, не положено. Бабе не дают иголку — символ женской камеры в тюрьме.

Так-то вот. Смеются почти во всех камерах, беззаботно играют в домино, бабы шьют мешки для атлантического флота.

Меня заперли по моей просьбе в камеру смертников — я там был минут пять. Это страшно и очень просто.

Засим — целую вас, мои нежные, дверей не отпирать, улицу переходить при зеленом свете, ночью не ходить. Ужасно я об вас беспокоюсь.

* * *

Конец 1960-х
Венгрия
Открытка

Раскосые мой! (й — не считать кратким, это помарка!)

Отправляю вам писульку в Ольгин день — авось, выйдет 1-го придет ко 2-му.

Целую вас всех. Тут холодно, пусть и тихо. Пробую писать. Со мной что-то случилось — не пишется.

Ваш Папанин.

* * *

Конец 1960-х
Венгрия

Здравствуйте мои золотые!

Вот я и кончил работу. Переехал из Леаньфалу, из деревни, снова в Будапешт. А завтра, а вернее даже сегодня ночью буду охотиться у охотника Кальмана, про которого я написал стихи. Я тут написал несколько длинных, глуповато-нерифмованных стихов. Смертельно хочу домой. Я так понимаю Алексея Толстого, который рвался в Россию после трех лет эмиграции. Я бы, конечно, не выдержал больше трех месяцев — или спился бы, или пустил себе пулю в височную область черепа.

Послезавтра я вылетаю к вам и очень хочу долететь и увидеть вас — кругло-раскосо-голубоглазых. А письмишко пускаю наперегонки с собой.

Целую вас, мои нежные люди.

Повесть вышла объемом в 120–140 страниц за семь дней. Былые темпы. Слава богу. А я уж стал подумывать о творческой импотенции. Нет! Есть еще порох в пороховницах! Зато узнал полную меру бессонницы. Сплю три-четыре часа с двумя таблетками ноксерона. Только Астрахань и Кирсанов могут привести меня в порядок.

В принципе я должен был бы здесь жить до конца сентября. Но я сделал все и теперь рвусь к вам. И целую вас еще раз. И иду покупать подарок Дуньке.

Пока.

Юлиан Семенов.

По-венгерски меня зовут Дьюла.

* * *

19 марта 1969 года
Открытка из Японии

Дорогие мои девочки! Целую вас всех нежно, очень о вас скучаю. Просто-таки очень! Позванивайте Игорю в «Правду», дабы он мне передавал о вас — как вы без меня. Целую вас, дай вам Бог счастья.

Ваш Семенов-Сан.

* * *

Март 1969 года
Токио, Гранд-отель

Здравствуйте, мои родные.

Поскольку в этой машинке нет восклицательного знака или попросту я его не нашел, — обращаюсь к вам шепотом, без восклицаний. Хотя, не скрою, восклицать есть все основания: впечатления в первый же день, при самом беглом осмотре Токио — громадные. «Хайвей», наподобие американских, громадные скорости, посадка на аэродром, стиснутый со всех сторон мощными, марсианского типа, промышленными комплексами, архитектоника, причудливо, но в то же время органично вместившая в себя модернизм Корбюзье, размах Лос-Анджелеса, антику Японии, динамизм второй половины двадцатого века.

В чем-то этот город похож — неожиданно для меня — на Сочи. Но это только по вечнозеленности деревьев и по постоянному ощущению близкого моря-окияна.

Только что вернулся из нашего корпункта: там настоящая Япония — и дом, и камин, и телевизор, и хрупкость стен, которые на самом деле сугубо каменные и отнюдь не хрупкие. А в окно моего «Токио Гранд-отеля» лезут тридцать семь этажей неонового безразличия. Живу я рядом с Парламентом, МИДом и резиденцией Премьер-министра, то есть в самом центре.

Встретил здесь Суламифь Петровну Мессерер: завтра иду к ней на занятия — она тут ставит спектакли, это уже очень интересно — совмещение русской балетной школы с японским традиционализмом. Мессерер потрясает тут всех знанием слов типа мысок, пятка, стопа. Никому другому, кроме нее, эти слова не потребны, а она без них — безоружна.

Девочки мои дорогие, я вас целую и желаю вам счастья. Дай вам Бог всего самого хорошего. Ваш (поелику ручку забыл, не подписуюсь).

* * *

22 апреля 1969 года
Телеграмма

Люблю и целую, родные девочки. Улетаю через Сидней в Новую Гвинею и скоро вернусь домой. Ваш Борода. Скучающий, любящий вас.

* * *

6 мая 1969 года

Плыву из Сингапура домой через Японию. Скучаю. Люблю. Пишу. Привет всем. *Юлиан Семенов.*

* * *

Начало 1970-х
Из Чехословакии Е. С. Семеновой

Здравствуй, Каток!

Живя жизнью схимника, подвигнувшего себя добровольно-принудительному отказу от возлияний в честь Бахуса, я обнаружил массу интересного в самом себе, а именно: стало болеть сердце, щемить печень и т. д. — т. е. все приходит, видимо, от тюремно-курортного режима в некоторый порядок.

Вкупе с этим начинает работать череп, и, не сердись, душа моя, в плане отнюдь не лакировочном, но в критико-реалистическом.

Уехал я под впечатлением разговоров о Дуняшке. Я ее бесконечно люблю, так же как и все мы, и поэтому ее будущее, — а оно очень уже близко — зависит от нас и только от нас.

Посему, еще раз соотнеся свои соображения с теорией последовательности и заранее попросив у тебя прощения за то, что, вероятно, ты назовешь брюзжанием, я приступаю к изложению своих постулатов:

1. 7.00. Дуня просыпается. Что она ОБЯЗАНА делать? Зарядку. Кто должен ее поставить на этот путь? Мелочь — но эта мелочь ста нет для нее через три — семь лет фундаментом ее бытия, т. е. организованностью, традицией.

Каток, ничто так не спасает молодых людей — особенно девушек типа Дуньки — крайне впечатлительных, умных, хорошеньких, ранимых, сложных, как организация домашних традиций, порядок бытия.

2. Кто обязан воспитывать в ней, как в будущей женщине, Порядок Домашнего Бытия? Не Багаля, это уж точно.

Каточек, не сердись, но лучше сломать себя в мелочах сейчас, чем потом смотреть, как Дуня будет уходить все дальше и дальше. А это не только она будет уходить, а часть твоего и моего, без чего мы сразу станем очень старыми, и эта ранняя старость положит определенную печать истого истеризма на Ольгу.

3. Я не имею права давать тебе рецептов, хотя бы потому, что очень люблю их давать. Но, видимо, ты и я обязаны, если мы не хотим через 35 лет стать для Дунечки Ноздриной и Ляндресом,

взорвать изнутри самих себя — и в плане наших взаимоотношений (называй это ненавистной тебе формальной показухой, как хочешь!), и в плане моего статуса, хотя мне легче, ибо при всем при том я ЗРИМО вкалываю для Дуни, она видит мой труд, и это передает то ли уважение, то ли страх — по отношению ко мне. Тебе, Катеринушка, должно сломить себя в плане о р г а н и з а ц и и самой с е б я (пусть даже это будет омерзительная тебе видимость организации). Зарядку она должна делать вместе с тобой. Завтрак она должна готовить сама. Она должна радоваться возможности быть с тобой, помогая тебе мыть клозет, — следовательно, ты должна на ее глазах ЗАНЯТЬ СЕБЯ делами: их у тебя очень много (и мой архив, и мои дела, и дом, и дача). Любят сильных — особенно дети, которые ищут защиты. Они хвастуны, им надо хвастаться материальными доблестями матери или отца. Иначе — идет достоевщина, комплексы и т. д.

Еще допишу — не думай. Иду купаться. Целую тебя, дай вам всем Господь.

Не сердись.

* * *

20 января 1972 года
Испания

Е. С. Семеновой и дочкам Любимые мои дружочки!

(Написал слово «любимые» и долго думал, не ошибся ли я — надо писать «люмибые» или «любимые» — проклятье долгого неупотребления родного языка).

Глупо, конечно, начинать писать со скобок. Пишу неровно. Трясет самолет над океаном.

Я ужасно по вас по всем соскучился и даже не могу выделить — по кому особливо. И по Теге, и по молодой Тегочке и по не любящей меня missis Olga. Как говорится, «Господь не выдаст, свинья не съест», и я долечу (knock wood)[60] завтра домой, а мое письмецо это начнет свою дорогу через всяческие и……е цензуры к вам домой, и, быть может, вместе его и почитаем.

Я вас, дурашек, люблю, а среди вас есть только один человек, который меня — взаимно — да. Остальные — так… терпят. Вот уже и жаловаться начал. Формула условного рефлекса на многочисленные мои приезды. И без вас жизни у меня нет, не было и не будет.

Целую вас, любимые мои, нежные люди.

* * *

30 мая 1973 года
Е. С. Семеновой и дочкам

Каток, Дунька, Олечка!

Поклон вам с Адриатики! Живу на острове, в доме Младена Мудрони, отправил вам два письма, но лишь потом понял, что отправил их не «авиа» и не «международно», а посему не убежден, что они дойдут до вас. О том, как здесь интересно, оливково-красиво, — не напишешь сразу — должно отстояться! Пришлите мне телеграмму — как у вас дела. Волнуюсь очень. Пишу, как проклятый. При свечах — электричества у Мудрони — Бакареллы пока нет. Ваше фото — у меня на столе. Набрал массу интересного материала, теперь роман должен выйти. Буду к 20-му, как и обещал, если только на здешних серпантинах не отлетит колесо. Здесь надо мной смеются: вино здесь пьют вместо воды, чая и кофе, а я хлещу «сладку воду», т. е. воду из-под крана. Хорошо!

Целую вас всех нежно.

Пишите. Телеграфируйте! Жду сообщений о Дунькином экзамене в школе.

* * *

Начало 1970-х
Е. С. Семеновой

Тегочка, любовь моя!

Может быть, от того, что я чувствую себя больным и виден мне далекий мой кончик, и хотя я верю в свой метемпсихоз, но вы-то у меня вне метемпсихоза, и за вас, и за тебя я все время ужасно тревожусь, и оттого любовь моя к тебе так неприкаянна и тревожна. Ты, верно, вправе искать другую любовь — ту, которая бы точно отвечала твоим схемам и видениям, но, видимо, это невозможно, оттого что каждый из нас двоих мучительно и прекрасно и трагично проник друг в друга. Диффузия любви — химия и физика, будь они неладны, объясняют тем не менее нас с тобой для меня точнее «Любовных связей» и «Декамерона» и «Графа Нулина». Диффузия любви — это очень точно, хотя и не выстрадано, а сразу увидено мною, когда я, выпив немного коньяку, в тоске стал писать тебе эту письменцию. А еще я прочитал стихи Межирова в старом «Октябре», за 1956 год. Он

писал там:

Я по утрам ищу твои следы,
Неяркую помаду на окурке,
От мандарина сморщенные шкурки
И полглотка недопитой воды.

И страшно мне, что я тебя забуду,
Что вспоминать не буду никогда,
Твои следы видны везде и всюду,
И только нет в душе моей следа…

И как мне стало нежно потому, что после самых наших мерзких и никчемных ссор, остававшись один на один с собою, я вспоминаю не то гадкое, с чем мы, порой, расстаемся, или, еще хуже, встречаемся, а с памятью о тебе, которая всегда во мне, во всей моей шальной и — наверное — ужасно непутевой жизни. Но ты — моя баррикада и молитва, и спасение, потому что, подобно диффузии, исчерпывающе страшно и точно понятие «эталон». Всякое понятие, рожденное революцией техники, особо точно в сфере интеллектуальной, а еще более точно в нашей сфере любви. «В сфере любви» — это, конечно, ужасно, но наверняка очень точно.

Тегочка, наверное, я виноват в том, что меня таким создал Бог, и, наверное, я не смею требовать, чтобы ты была иной, чем Господь тебя создал. Но если мужчиной не нужно становиться: жизнь сама подведет тебя к этому, то Женщиной стать должно, ибо женственность — прежде всего милосердие. Мужеству нельзя выучить — к нему подводит безжалостная система жизни, а милосердию учат — в обстановке войны особенно — за три месяца. Я не прошу о многом. Страх — явление распространенное и типическое, он гнетет и калечит, и я не очень-то боюсь страха. Но я боюсь твоей слепой казачьей ярости, я боюсь, что ты теряешь себя во мне, и не остается в тебе моих следов, когда я понимаю или смутно чувствую, что боюсь тебя: боюсь по-глупому и мстительно и сладостно — и когда сижу с друзьями в кабаке, и когда сижу, беседуя, с женщиной, и совсем не хочу ее, зная твое над всеми ними во мне превосходство, но — все равно боюсь, и боюсь прийти домой под утро, не обзванивая тебя с предупреждением, что я задержался в Малом Совнаркоме или на проводах Макмиллана в Египец: и это, Тега, ужасно. К концу пути нельзя не впасть, как в ересь, в мучительную простоту — это Пастернак. Мне не хочется ничего придумывать, да ты знаешь, к тому же, что я не умею врать. Стихи Евтушенко оттого длинны и

чрезмерны, что он выговаривается — подминая комплекс молчания под себя. Ты знаешь, что я хочу, что я могу и что я умею. Ты знаешь и то, что и как я делаю.

Ты обязана, Тегочка, стать над тем в себе обычно бабьим, что разделяет нас, как Берлин. Ты должна быть стеной, на которую я могу безбоязненно опираться, но не стеной, к которой я обязан завороженно брести, подавленный ее изначально-могучим существованием.

(Я отчего-то подумал, как ты легко, со свойственным тебе логизмом, можешь разбить каждую мою строчку, но я ведь пишу не думая, а моментально чувствуя то, что мелькает за полпорядка передо мною.)

Катечка! Есть в мире самые тяжелые проблемы. Это:

Человек Х и его взаимоотношения с ним же, с Х-ом.

Человек Х и его взаимоотношения с обществом.

Человек Х и его взаимоотношения с Любовью.

Эти проблемы страшнее и важнее всей суетности увлечений, помыслов и надежд. При этом Любовь человека Х должна скорбеть и думать только о тех двух противоречиях, которые упомянуты мною первыми. Все, что ниже, — я даже не включил в серьезную схему противоречивых раздумий.

Я становлюсь на себя во имя вас и тебя. Стань чуть-чуть на себя во имя меня, которому не всегда так смешливо-весело-самоуверенно, как это кажется.

Я написал абракадабру. Прости меня за нее. Я тебя люблю.

* * *

1974 год
Е. С. Семеновой

Катя,

И все-таки, видимо, пришла пора подвести кое-какие итоги. Точнее говоря — сформулировать наши позиции, кои неизменны и постоянны — и у меня и у тебя.

1. Люди мы по характерам совершенно разные, точнее — диаметрально противоположные друг другу. Во всем. Или почти во всем.

2. Такого рода союз разностей возможен в тех случаях, если:

а. Он любит ее так, что готов отречься от своего «я».

б. Она любит его так, что готова отречься от своего «я».

в. Он любит ее, и принимает ее «я» таким, каково оно есть.

г. То же — она.

д. Он, зная определенную сумму ее «я», которое его раздражает, обижает, унижает, страшит, — во имя карьеры или предстоящего наследства — идет на игру, стараясь не наступать «ей» на больные мозоли.

е. То же — она.

ж. Он так вышколен дисциплиной жизни, что закрывает глаза на все — только б дали спокойно существовать.

з. То же — она. (есть еще сотня вариантов допустимостей, но все это, конечно, ерунда: любовь и семейные отношения логике не подвластны).

3. Твоя ревность и твои бесконечные сцены всегда будут выглядеть гадко. Тебе больно это слышать? Мне также больно, чудовищно больно то, что ты не хочешь понять, как мне трудно. Вообще трудно. Я не знаю — что писать и как писать, поэтому я не могу сидеть на месте, мечусь, звоню, езжу, ищу для себя выход. Если бы ты любила меня, то есть если бы ты «настроилась» на меня, ты не могла бы не понять этого, ибо ты умная женщина. «Я» тебя во всей нашей структуре не интересую. Тебя интересует собственная персона — не оскорбили ли, сказав тебе что-то, посмотрев так-то, усмехнувшись на что-то. Тебе нужно, чтобы тебя все время «утверждали» со стороны: сама ты утверждаться — дисциплиной, разумом, ответственностью — не хочешь, ибо это трудно и утомительно, и, действительно, это заставляет человека все время быть в состоянии постоянного напряжения. Конечно же плыть по течению и уповать на случай, на других, на рок и судьбу — всегда легче. Легче, если бы не наши дети.

4. Это, в конечном счете, сейчас самое главное. Даже не дети, а дитя — Дунечка. Ольге я пока нужен, как особь, зарабатывающая на пропитание и обеспечивающая чистый воздух. Дунечке же я нужен как «фактор дисциплины», как гарант ее занятиям живописью, как человек, который должен ее вывести на какую-то дорогу в этом жестоком мире, который таланты умеет пережевывать и сплевывать. Однако она в период наших скандалов, которые никто из нас не считает нужным от нее скрывать, делается неуправляемой. Со мной — во всяком случае. Ее совет мне — «уезжай куда-нибудь» был бы легко выполним, если бы я не был самим собой, если бы я не думал постоянно — как у нее сложится дальнейшая жизнь, а это, видимо, определится в течение ближайших двух-трех лет.

Итак, как же быть, Катя? Я становлюсь совсем неуправляемым, когда меня подозревают или обвиняют в том, чего нет. Вообще-то, лучший способ толкнуть человека на путь преступный — это обвинить его в несуществующем преступлении. Ты другой стать не можешь — категория семейной дисциплины

тебе неведома, ты человек крайностей — или поцелуи, или ссора и ледяной дом.

Что же нам делать? Я не знаю. Мне очень плохо, Катя. Решай сама, как быть. Так, как есть, — дальше нельзя. Но я пишу и понимаю, что ничего не изменится, ибо я привык полагаться на себя, во всем — на себя. Что делать, Катя?

* * *

1974 год

Катя!

Наши отношения, по-моему, зашли в тупик. Было бы глупо и неразумно начинать ретроспективный анализ причин, породивших этот тупик: мы завязнем в этой нудной работе — я стану вспоминать Архипку, ты — Нонну, я — коктебельский мордобой, ты — Яну, я — «мне без тебя было спокойней» (это после Вьетнама), ты — письмо Анжелы и т. д. и т. д. Ты станешь говорить о моем хамстве, а я — о твоей постоянной ревности, ты — о моих товарищах, чересчур многочисленных и разномастных, я — о твоей нелюбви к людям, о твоем нежелании понять, что каждый человек создан по-своему: из добермана никогда не выйдет борзая.

Проблема «постели», которая претерпела в наших отношениях также известный генезис (от «без постели у нас все кончается» — беседа в машине во время пасторальной поездки по Бугровскому шоссе, до «мне это абсолютно не нужно» — во время последних разговоров, но теперь, как я понял, ты снова возвращаешься к прежней точке зрения), остается проблемой не только потому, что я за эти годы несколько устал. Дело заключается в том, что в подоплеке понятия «мужчина» лежит понятие «мужество». Я не очень трусливый человек и в общем-то ничего не боюсь, но я ужасно, трусливо боюсь поздороваться с Беллой Ахмадулиной на дорожке на Пахре, опасаясь, что из калитки это можешь увидеть ты. Я ужасно трусливо боюсь, что ты не ответишь Майке Кармен — жене моего друга. Я боюсь и в городе остановиться и поговорить с кем-то из знакомых женщин — то и дело оглядываюсь, как подпольщик, затравленный преследованием. Если ты постараешься быть объективной, то ты вспомнишь, что особенно нам было хорошо, когда я возвращался из поездок — особенно длительных: я забывал свой страх перед тобой. Следовательно — если зрить в корень «мужеству», мужчине страх вообще, а перед любимой женщиной тем более, —

невозможен. Любить — боясь, могут только дети, да и то не всегда. Я не силен в физиологии, но скандал из-за дерьма, или страх, или постоянная, глупая и беспочвенная ревность могут отвратить мужчину от женщины — навсегда. Это не предположение — я в это верю, я это чувствую на себе: после скандала я с огромным трудом вхожу в прежнюю колею, да и то — не совсем, говоря откровенно.

Незачем это мое верование анализировать: опять-таки мы придем к варианту Семушки и Лили — «а помнишь, в 1952 году я купила цветы тете Двойре на кладбище, а ты потерял зубную щетку…». Это глупо, потому как нецелесообразно.

Посему давай подумаем, как быть дальше. Сейчас есть только две возможности. Первая — развод. Вторая — сохранение статус-кво — я живу на даче, ты — в Москве. Реши ты, как это тебе больше подходит. Ты знаешь, что до тех пор, пока мне платят деньги, ты будешь обеспечена.

Пытаться нам еще разговаривать, выяснять отношения — неразумно. Ты — человек устойчивых концепций: кого не любишь — так не любишь (чтобы изменить твою ненависть к Ляльке Энгельгардт, которой ты запрещала приходить с Васей[61] к нам в дом, потребовалось года два, если мне не изменяет память). Я тоже довольно твердо — особенно если я принял решение — стою на своих позициях.

Просил бы не втягивать девочек в эту нашу кашу: я прошу тебя об этом, потому что моя мать воспитывала (вернее — старалась воспитывать) нелюбовь к отцу, а что из этого старания вышло, ты можешь наблюдать и сейчас.

Занятно, я пишу тебе эту записочку и тщательно обдумываю формулировки, потому что знаю, что ты будешь относиться к этому «сочинению» как к документу. И я прав, потому что к моим стишатам ты относишься лишь как к документу, связанному с моими отношениями либо с «венгерской художницей», либо с немками («ну пойдем скорей с тобою на роскошный белый зунд»). Кстати говоря, что касаемо Бунина, так его жена не умерла — она прожила вместе с ним более сорока лет — об этом есть в «Н. мире», можешь меня перепроверить; а «Жизнь Арсеньева» — это повесть Бунина, и в ней он волен распоряжаться чувствами и жизнями своих героев: этого у писателя не может отнять никто, никогда и нигде. Даже у такого писателишки, каковым я считаю себя.

Я не верю, что мы, поговорив сейчас в сотый раз, придем к какому-то действительному соглашению. Время — лекарь, да и потом, все познается в сравнении. Посмотри людей — не моих друзей, не меня; может быть, тебе действительно очень уж скучно

и неинтересно со мной.

Произошел парадокс: когда мы встретились, я был лаборантом по афганскому языку, я был говоруном, который весь был наружу. Писательство — даже мое предполагает уход в самого себя, и суетность окружающая нам бесконечно мешает. Я-то полагал, что для тебя интересно теперь то, что я тщусь писать, и ты за этим всем видишь меня. Беседа за вечерним чаем в кругу домашних интересна и возможна, лишь когда не обязательна, и ты знаешь, что не должен делиться с ближними по обязанности — это может быть только само собой разумеющимся.

Впрочем, я сам начинаю вдаваться в дебри объяснений, а это ни к чему. Пожалуйста, передай Тате, что из двух альтернатив кажется тебе более приемлемой на сегодня.

* * *

1975 год
Письмо дочке Дарье[62]

Дорогая старуха, салуд!

Отринутый по наущению астральных сил отец бьет тебе челом! Перед командировкой хотел бы с тобой поговорить кое о чем, и поскольку ты веришь лишь себе и мнение другого (или других) для тебя ничего не значит, пока ты сама не убедишься (я стал запоминать твои слова как Багаля — хм-хм!), я — не в порядке переубеждения, а лишь в плане с о р а з м ы ш л е н и я, — предлагаю тебе пораскинуть мозгами вместе со мной. Итак, мы начинаем.

1. Прежде чем слепо верить, следует узнать (не Сенека и не Платон. Семенов).

2. Юра Холодов[63] посвятил проблеме телепатии и парапсихологии многие годы жизни, и люди, одаренные непознанным даром ясновидения, футурологии или ретроспектологии (этим даром обладал Алексей Толстой, кстати говоря, и Юрий Тынянов), изучены им и с и с т е м а т и з и р о в а н ы достаточно серьезно и в с е о х в а т н о.

3. Тамары, ворожеи районного масштаба с навыками торгового работника, в его списках нет, ибо он — наука, не отдел борьбы с хищениями соц. собственности. Впрочем, и ОБХСС сейчас переходит к научным методам изобличения жульничества — во всех его проявлениях.

4. Результаты многомесячных тамариных «трудов» оказались фикцией, а лишиться маминого доверия — значит для нее

лишиться серьезного приработка, и вот в ход пускают тебя: ты отказываешься от встреч со мной.

5. Сие — от торгового расчета, но не от ясновидения. Сие от практического знания «предмета» — сиречь, меня. Ты для меня не просто дочь, не просто любимый человечек. Не просто талантливый живописец. Ты для меня — нечто большее. Ты становишься в руках Тамары (которая напоминает мне Распутина) «воротком», воровским ломиком, которым хотят открыть мою «дверь». Глупо это и подло, а тебе, дурачок мой маленький, не пешкой быть в руках одержимой нездоровыми инстинктами торговки, а Дунечкой, Дашей Семеновой, то есть человеком думающим, а не марионеткой в чужих торговых руках: что хорошо в театре Образцова, то дурно в жизни.

6. Как-то раз я сказал тебе, что порой чувствую тяжесть и за рулем ехать не могу — останавливаюсь, и сказал тебе про ворожбу Распутина женского рода. Ты мне сказала тогда, что это ерунда, глупость — словом, солгала мне, и я знал, что ты мне лжешь, это не было формой проверки твоей честности. Это было для меня «взвешиванием» весомости Тамары для тебя: я всегда старался относиться к тебе как к взрослому человеку. Как к другу моему, считая, что этот аванс в шестнадцать лет будет правильно тобою понят. Я ошибся.

В 16 лет надо, видимо, не бояться повторить человеку, что 2 х 2 = 4. Вот я и решил сделать это в письме.

7. Как ты понимаешь, никогда не поздно сделать так, чтобы тамариной ноги в вашем доме не было. Но я рассчитываю на твой здравый ум, я рассчитываю, что мое письмо поможет тебе сопоставить факты, сделать выводы и принять решение — кому верить, а кому — нет; понять — кто твой истинный друг, а кто твой жестокий недруг.

8. Детям не дано судить родителей. Я судил. Теперь каюсь. Вина здесь, однако, двуединая, двухнаправленная, но прошлое, видимо, неподсудно — о будущем думать надо. По-моему, тебе надо — как это говорят в международной политике — «сделать шаг в сторону». Ни мама, ни я не вправе искать в тебе судию своим поступкам. Ибо судейство предполагает право задавать любой вопрос, а дети-то разве могут? Дано ли им это с точки морали?

9. Недостойно повторять, что я — рядом с тобой, хоть и нет меня рядом. Я очень боюсь ранить тебя жалостью, поджидать у входа в училище и т. д. Звонки домой тоже нецелесообразны, ибо не всегда меня соединяют с тобой. Ты должна, Дуняша, быть мостом между мною и Олечкой: не моя вина (беда, быть может), что она так далека от меня. Она, как ты помнишь, хотела быть

рядом со мной, когда надо было вносить ее в болгарское Черное море, тогда она прижималась ко мне и требовала «еще и еще купача». Но чтобы она имела эту возможность «купача», мне надо было очень много работать, а работа моя — в общении с человецами, во вбирании впечатлений, в поездках постоянных, в постоянном раздумии, к а к написать: ты это делаешь ночью, и это не очень здорово, а ежели мне это делать ночью, то ни днем я Олечке времени б уделить не смог — разбитость она и есть разбитость, ни шататься по людям, редакциям, студиям, издательствам я бы тоже не смог, а как тогда ж и т ь? Квартира и мебели в нее стоили нам 4/5 гонорара за «17 мгновений весны» — сие правда. Роман «Альтернатива», напечатанный в «Дружбе народов», дал 5,5 тысячи рублей — другие пишут такие романы год-два, я издыхаю над машинкой месяц. Разговоры о моей «скупости» — недостойны, и я не стану говорить об этом, но постарайся вспомнить наше летнее путешествие: я планирую время, в которое предстоит жить и работать, и я — в отличие от мамы, знаю ему цену, его протяженность и меру его прочности.

10. Нет ничего разнузданнее и отвратительнее для меня, чем «теория опустирукавательства», говоря иначе: «ну и пусть будет что будет», а то и этого гаже: «чем хуже, тем лучше». Человек создан для того, чтобы оставлять о себе память: мыслью, добром, творчеством, злодейством (вариант Нерона и Калигулы нельзя сбрасывать со счетов), поиском истины. Иногда наступает кризис, и к этому кризису надо отнестись со спокойным разумением. Кризис этот, как правило, наступает либо в результате переутомления, когда многое достигнуто, а отсчет был начат с нуля, и осталась на колючей проволоке кожа, и сидят в сердце осколки и память кровоточит, либо — и это п л о х о, — когда человек начинает комплецировать, имея для этого д о с у г и возможность, а возможность — отсутствие необходимости думать о хлебе насущном для детей, отсутствие интереса вообще, творческого — особенно. Не проецируй это на маму — проецируй — как это ни жестоко я пишу — на себя. В том, что мама лишена интереса творческого, повинны многие, а я, видимо, больше остальных, ибо не смог н а с т о я т ь на выявлении маминой одаренности, — а она человек, бесспорно, одаренный. Сменяемость условий — вещь сложная. Мама убеждена, что если бы она воспитывалась в доме у Лелечки[64], где т р е б о в а л и, то она с м о г л а б ы.

11. Смешно пытаться сделать из себя авторитет. Признание того или иного человека авторитетом для себя — вещь во многом непознанная. Это подобно тем неразгаданным еще «генам лидерства», которые заложены в том или ином человеке: сие ныне

дискуссиям не подвержено. Обидно ли, когда авторитетом становится кассир, раскладывающий карты и ворожащий над чужими вещами? Да. Обидно. И — страшновато. Не за себя, естественно. За тебя.

12. Ты не пугаешься слова. Это хорошо. Но я помню, как ты испугалась, когда у нас с тобой, где-то в Провансе, километрах в ста от Марселя, на маленькой дороге отлетело колесо, и денег было в обрез, и жилья окрест не было. Тогда — я помню — ты помогала мне изо всех сил, как истый друг, как маленький товарищ. Эти минуты для меня были одними из самых дорогих за всю нашу поездку. Неужели, думаю я сейчас, когда ты перестала звонить мне, тебе понадобится допинг страха за ч т о-т о, чтобы ты снова стала видеть меня, и бывать со мной, и слушать мои сочинения?! Может быть, не ждать этого стимула к такого рода желанию, а самой создать образ этого импульса, который позволит тебе вновь бывать со мною?!

Письмо это — путаное, и ты не сердись на меня за него. Много я не написал и не смогу написать никогда. Но видеть тебя, слышать тебя — когда у тебя есть на это время, — рядом с тобой — моя мечта и боль. Но даже если сейчас ты продолжаешь думать, что тамарины ворожеские упражнения важны и что поэтому сейчас ты не должна со мной видаться, я убежден, что это — ненадолго. Это пройдет. Обидно, конечно, терять дни — время невосполнимо, но я тебя жду. Всегда.

Борода.

* * *

1975 год
Дочери Дарье

Дунечка!

Характеры у нас с тобой — при всей их разности — в одном лишь схожи: и ты, и я не любим переписывать — что написалось, то уж пусть и написалось. Однако это письмо я переписываю по нескольку раз и никак не решусь передать его тебе. Извини, что делаю это через Наташу[65]: я хочу быть убежден, что оно попадет к тебе, а в честности Наташи у меня повода сомневаться нет.

Не удивляйся, если я начну письмо с цитаты из графа Витте, ставшего после революции 1905 года премьером России.

«Другое лицо, которое имело громадное влияние на государя, был великий князь Николай Николаевич. Влияние это было связано с особыми мистическими недугами, которыми заразила

государя его августейшая супруга и которыми давно страдал великий князь. Он был одним из главных инициаторов того ненормального настроения православного язычества, искания чудесного, на котором, по-видимому, свихнулись в высших сферах. (История француза Филиппа, Сормовского, Распутина — все это фрукты одного и того же дерева.) Сказать, что он был умалишенный — нельзя, он был тронут, как вся порода людей, занимающаяся и верующая в столоверченье и тому подобное шарлатанство».

Филипп, булочник-торговец (правда, из Франции, а не с ВДНХ), сделался на основании своих предсказаний генералом при дворе и доктором медицинских наук, но потом был вынужден бежать, когда его ворожба оказалась липой. Впрочем, бежал он, весьма туго набив карманы деньгами доверчивых августейших особ.

Постарайся отдать себе отчет в том, что ты оказалась неким «воротком», что значит «отмычка», в руках человека нечестного, живущего шарлатанством: когда заклинания и ворожба не подействовали, в ход пустили чистой воды материализм — родительскую любовь: «Если Дуня откажется видеть отца, он этого не вынесет и вернется». Таков, как мне представляется, строй размышлений вашего Распутина женского рода. Целый год ворожбы (и не без платы за оную), и никакой пользы. Могут перестать верить. Можно потерять авторитет, а с ним и дармовой приработок. И тебя убеждают сказать мне, что встречаться со мной ты не будешь. И ждут результата. В общем-то, по-моему, сие — злодейство чистой воды, злодейство, а не шарлатанская ворожба.

Как-то я сказал тебе (зная об «экспериментах» Тамары), что мне порой тяжело ехать на машине, давит, гнетет. Я ждал, что тебя это как-то взволнует. Ты сказала, что «это вздор и пустяки». Верно сказала — гнетет меня и давит усталость, ибо работаю много; тревога постоянная за вас, ожидание новой книги — ты знаешь, что это за ощущение ожидания н а ч а л а; гнетет и давит раздумье о том, как будет для вас лучше — поврозь, но с нормальными человеческими отношениями или вместе — но со сварами, известными тебе прекрасно. Только это гнетет, ничего другого.

Известный тебе доктор Холодов Юрий Андреевич, теоретик магнитного поля и высшей нервной деятельности, в свое время изучал и наблюдал — в научных целях — людей, претендующих на «звание» ясновидцев, футурологов, ретроспектологов. Тамары — кассирши, работающей там-то и проживающей здесь-то, ни он, ни его коллега не знают.

(Телефон Юрия Андреевича Холодова 254.77.96.; телефон Александра Альфредовича Горбовского — 131.46.28.)

По поводу моей скупости.

Гонорар, полученный мною за «17 мгновений весны», составляет 23.000[66]. То, что было получено в 1969 году, то есть шесть лет назад, — прожито. Я зашел в сберкассу и посмотрел траты.

В 1973 году израсходовано 27 195 рублей[67].

В 1974 году ТОЛЬКО до моего отъезда в Карловы Вары было израсходовано еще 4000 рублей — за январь и февраль месяцы.

Тебе для справки: печатный лист, то есть 24 страницы на машинке, стоит 300 рублей. Роман «Альтернатива» — писал я его месяц плюс целый год — дал мне в журнальном его варианте 5500 рублей, то есть на тысячу рублей меньше той суммы, которую я плачу вам в год. Это к вопросу о моей скупости.

Кстати, зарплата заместителя министра СССР составляет 550 рублей в месяц, а за вычетом налогов и партвзносов — 500 рублей. При том, из этих денег надо купить сапоги дочке, пальто жене, сервиз зятю, кофту — тетке. Я понимаю, как невыгодна для меня (именно НЕВЫГОДНА) эта часть письма, но просто ты привыкла считать, что «папа сможет, папа сделает, папа напишет». Но ведь даже у стали есть предел прочности, Дунечка, а я работаю на износ похуже любой, самой закаленной стали.

Когда начинают оперировать другими, ЕДИНИЧНЫМИ примерами, кто и сколько и как тратит, то не надо забывать о званиях, премиях, должностях, которые дают ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ зарплату в размере 400 (как академик) или 500 (как секретарь Союза) плюс к гонорарам, и ежели иной секретарь Союза писателей выпускает две-три книги в год — точнее переиздает, то мне этого делать стараются не позволить, мешают всячески. На эту мышиную возню нервов и времени уходит порой поболее, чем на творчество.

Я схватил себя за руку: стоит ли мне выворачивать себя — ты сказала мне, что характер у тебя такой же, как и у мамы, то есть убедить вас невозможно до тех пор, пока вы не убедитесь сами. Эгоцентризм этот, примат своих чувствований, настроений, дарований, привязанностей над остальными — дрянное дело, и тебе — пока не поздно — надо ломать это в себе, жестоко ломать.

В авторитеты смешно навязываться, да и потом, авторитетом нельзя стать, ежели им не был. Это сложная социологическя штука, и наука пока еще объяснения понятию АВТОРИТЕТ не нашла. Бывает ведь: встретишь человека — и он сразу в глазах твоих авторитет. Часто это от актерских данных «объекта», порой от того стереотипа, образа, который заложен в твоих мечтаниях

или представлениях: вот она (он) — истинный авторитет, а тот (та) — никакой не авторитет, а так, пустомеля. Если помнишь, я всегда просил тебя не торопиться с окончательным суждением о человеке, ибо каждый человек — это мир, и всего в нем множество, и в этом множестве надо определить примат добра или зла, но и после этого не торопиться, ибо порой зло бывает нецеленаправленным, жалким, ущербным, и тогда долг твой — влиять на добро, заложенное в каждом, помогать росткам этого добра, чтобы оно в конце концов зло одолело.

Одно помогает мне жить и работать и ощущать в себе радость от творчества (и нынешнего и предстоящего): в ответ на то зло, которое слышу в свой адрес от близких мне, я желаю им добра, прошу о добре для них, верю, что добро одолеет зло.

Нет для меня ничего страшнее теории «ну и пусть» или «чем хуже тем лучше». Человеку жизнь дана не зря, не по прихоти, а в силу закона всемирной человеческой программы, и долг человека, если он не хочет предать самого себя, делать то, что угодно его внутреннему побуждению. В тебе оно очевидно — живопись. Сейчас на том этапе (он временный и очень короткий), когда я лишен возможности видеть тебя и Олечку, ты отвечаешь за Ольгу наравне с мамой и со мной, но в качестве особенном: ты должна осторожно «заражать» ее творчеством, не гнать от себя маленькую, не сражаться с ней, а предлагать кисть и позволять ей рисовать, стоя п о д л е т е б я. Ты не можешь представить себе, как важно это для Олечки. Нигде так не выявляется закономерность, как в цепной реакции, и ничто так не поддается расчету ЭВМ, как цепная реакция творчества. Зараза гриппом — не страшна, от нее, в крайнем случае, можно помереть. Зараза творчеством дает жизнь, освобождение от суеты и гнусности, она дает жизнь истинную, а не чуланную, серую, бескультурную.

Твое увлечение Тамарой — свидетельство факта в высшей мере любопытного. Ты, Дуняша, остановилась. Вот в чем весь фокус. Ты умна, ты много читаешь (рывок твой, когда ты после маминого чтения тебе, и было это совсем недавно, «дернула» к сукину сыну Лифшицу, поразителен), но нельзя останавливаться! Ни за что и никогда! Оккультизм, ясновидение, спиритуализм? Прекрасно! В «Ленинке» есть огромная литература по этому вопросу, собраны мнения «за» и «против». Холодов может помочь тебе познакомиться с этим. Познакомься. А потом погоняй Тамару: если экзамен сдавал Энштейн и Сергей Королев, то почему бы Тамаре не сдать тебе экзамен?

По поводу того, как ты моришь себя. Это — главное. Мы все храбримся, Дуня, когда идем к барьеру, но когда пистолет поднят, и черная дырка уперлась в грудь тебе, и пузо болит, и

газон-с отходит, как у несчастного Андрона, тогда начинается иная полоса: врачей, лекарств, бессилия, апатии, нежелания творить.

(По поводу того, что ты остановилась. Я не закончил. Если хочешь, я подготовлю тебе книги, новые книги, которые появились сейчас, — они поразительны по интересу и перспективе. Коли еще запрет Тамары на звонки ко мне и свидания имеет силу — скажи Тате, я ей для тебя привезу. Не отставай, старуха. Отстать можно от поезда — догонишь самолетом, нельзя отставать от современной мысли: потеряешь месяц, не догонишь за пять лет!)

По поводу друзей… Понятное в твоем возрасте желание иметь товарища и друга, с которым можно говорить обо всем и обо всех, предполагает знание людей — хоть минимальное. Досадная катавасия с Тамарой убедила меня в том, что со знанием людей у тебя дело обстоит туго: в том плане, что ты любишь (или не любишь), веришь (или не веришь), не потому что м о ж н о и н а д о любить и верить, но лишь оттого, что тебе так к а ж е т с я. «Не сотвори себе кумира» — это хоть и не библейское, но мудро это, весьма мудро.

Видимо, это письмо я переписывать не стану, отправлю. Я бы очень хотел поговорить с тобой — хоть по телефону. Я не смею ставить тебя в неловкое положение и унижать жалостью, подъезжая в училище, подстерегая у подъезда и т. д. Встречи со мной (пусть хоть и тайные, если явные огорчают маму) нужны не только мне, Дуняшка, они и тебе нужны.

Итак, пароль 139.70.80. или (по запасному каналу связи) 202.12.15.

Время: любое время суток. Отзыв: «Салуд, камарада, ком естас?»

Запасные явки: (помимо Холодова и Горбовского) Саня Беляев — 134.36.84 — дом 290.10.84 255.65.25

Кирсанов 214.65.25

Клебанов 256.46.46 или работа 181.22.72.

* * *

1975 год

Дорогая Тата[68]!

Получил твое милое, умное и доброе письмо из Парижа и решил ответить тебе сразу же, потому как разминемся мы с тобой, я навострил лыжи в Мадрид, на выборы, потом, глядишь,

закручусь, а надобно отдать в твою новую книгу, которая по внутренней своей структуре — суть продолжение «Кладовой памяти», и сие — прекрасно.

Я подметил одну горькую закономерность: литераторы, даже еще начала этого века, составляли два-три тома прекрасного эпистолярного наследства. Наш стремительный машинный век все гонит нас и гонит, и на письма времени не оставляет: в случае крайней надобности можно позвонить из Парижа в Москву по телефону, хоть и дорого, но за три минуты все новости узнаешь и просьбы передашь. Впрочем, новости нашего времени так же сугубо разнятся от новостей сорока- или пятидесятилетней давности — ничего не попишешь, пора «информационного взрыва». Если раньше надобно было подробно описать в письме, какого писателя ты встретил, с каким живописцем поговорил, какого доктора посетил, и каждого из них обрисовать и дать каждому характеристику, а это и есть э п и с т о л я р н о с т ь, то ныне кричим в телефон: «На пленуме СП выступил Н.Н», и собеседнику все ясно — о чем выступление, кого бранит попусту, а кого хвалит, оттого что так положено. Мы — дети телевизорной эпохи развития человечества, а вот Александр Александрович Вишневский был личностью, состоявшейся еще до начала этой проклятой и прекрасной эпохи (против марксова закона «единства противоположностей» не попрешь), и это конечно же во многом определяло его как невероятную (именно так) индивидуальность.

Тебя, Татуля, жизнь баловала встречами с такой ГАЛЕРЕЕЙ, что только диву можно даваться, и меня всегда восхищала твоя память и особость твоей памяти — ее доброжелательность. Не знаю поэтому, запомнилось ли тебе, как лет двадцать тому назад, у тебя, на Николиной Горе, на маленькой верандочке, увитой виноградом, собрались двое мужчин — А. А. Вишневский и А. А. Архангельский, два человека, управлявшие сердцами: один — человечьими, другой — авиационными. Сверкающая лысина Александра Александровича Вишневского и английская седоголовость Александра Александровича Архангельского — двух великолепных сердцеведов — зашли к тебе на самовар, и вы разговаривали, обиходно употребляя такие СЛОВА, как «Сергей Прокофьев», «Боречка Ливанов», «Константин Коровин», «Сергей Тимофеевич» (это твой крестный, Коненков), «Федор Иванович» (понятно — Шаляпин, других Федоров Ивановичей не существует) ну и, понятно, «Петр Петрович», «Дадочка», Кончаловский.

Вы говорили о них как о старших друзьях (исключая Б. И. Ливанова, о «Боречке» — как о своем, как о сверстнике), а я

сидел и смотрел на вас во все глаза и поражался тому, как много драгоценного знания исчезает, уходя в вечернее, сине-желтое никологорское июньское небо, хотя, быть может, все знание нашего мира, все наши слова и хранятся там, в небе, вокруг нашего плотского шарика, кто знает?

А потом пришел С. В. Михалков, он гулял по полю, которое тогда к неудовольствию никологорцев засадили капустой, сел за стол и задумчиво произнес:

Цветной капусты молодой качан
С простой капустой закрутил роман,
Роман, однако, был недурен,
Благословил его Мичурин.

И, по-детски обжигая губы, начал пить чай, задумчиво рассматривая лицо десятилетнего Никиты, на котором заметны были потеки слез: как всякий истинный российский интеллектуал, наш режиссер был с младенчества не в ладах с точными предметами, особенно деление с дробью — сущая пытка.

Помню, над дачей прозвенел маленький — по нынешним представлениям, Ли-2, Архангельский проводил его задумчивым взглядом и заметил:

— Малые скорости — утомляют, а я не могу вести машину, если есть ограничения, сто двадцать километров — минимальная скорость для автомобиля…

(Я вспомнил его, сразу, ударом, когда через два года после этого разговора полетел на Ту-104 с его, Архангельского, двигателями, было это двадцать лет назад. Господи, как неудержимо время, каким оно сделалось емким, как оно уменьшило наш шарик, как он сделался слаб и беззащитен, какой же крошечный он на самом-то деле, и нет на нем надежного одиночества, все включено в общую круговерть века скоростей, и спасти человека, спасти в нем поэтику может лишь память, а истинная память — всегда добра, она некая «антискорость», она обнимает воедино поколения, она делает землю общей…)

Я запомнил, как Вишневский глянул на Архангельского, когда тот сказал про «малые скорости». У Вишневского был поразительный взгляд — это был взгляд раненого сатира, понимающего свою обреченность: человек неуемный, чистый и устремленный (помнишь, у Пастернака: «он был, как выпад на рапире»), он, мне кажется, принял на себя ответственность за философское отстаивание медицины от скоростей нашего века, он отдавал себя, словно испрашивая прощения своему цеху, — талантливые люди не боятся корпоративности.

Я пошел проводить его к полям, там он строил дачу, и было уже сумеречно, и огромные кленовые листья впечатывались в небо, как реалистическая декорация.

(Дуня фыркнет, но нельзя нам подделываться друг под друга, мы славимся тем, что умеем выворачивать друг другу руки: «Ты не прав, это красиво, оттого что я так считаю». Демократия начинается там, где есть уважительное отношение к мнениям каждого. Я горжусь дружбой с Дунечкой именно потому, что мы с ней уважительны к мнениям каждого; не обязательно мнение собеседника принимать — важно понимать его)

Вишневский остановился, долго рассматривал эти листья, которые казались черными, обожженными, что ли, потом почесал кончик носа, вздохнул:

— С осени прошлого года у меня отвращение к этим красивым большим листьям — будь то клен или платан…

Он зашагал дальше и замолчал, и я не удержался:

— Отчего так, Александр Александрович?

— Прошлой осенью в Будапеште я пролежал, распластавшись на этих листьях, минут сорок, и не поднять головы, оттого что в меня стреляли с крыш. Генеральские погоны — вот они меня и расстреливали… Ощущение мерзкое, должен признаться. А я только-только придумал операцию, такую интересную… — Он прибавил три слова, не очень-то печатаемые в нашей литературе, снова хмыкнул, поправил очки. — Там я понял, что значит ползать по-пластунски…

Мундир испачкал, такой красивый мундир… Как это в стихах: «города солдаты оставляют, генералы города берут»… Обидно, знаете ли, что война, именно жестокая война — такое поле для хирурга, для становления его смелости — не на улице, когда в тебя бьют и листьями пахнет, а на операционном столе: нарежешь вволю, профессиональная удовлетворенность, новая метода…

Он вздохнул и повторил, — невероятная, непонятная несправедливость бытия…

Я расписался, Татуля, поэтому заключаю все это пожеланием одним лишь: пожалуйста, продолжай твое прекрасное, доброе дело, твори дар бесценный, сохраняй людям — людей.

Обязательно напишу тебе из Мадрида, там будет интересно: семь лет назад я пролез в фашистскую страну, а сейчас еду на демократические выборы. Семь лет всего лишь, а изменения в стране — кардинальное. «Часы летят, а грозный счет меж тем невидимо растет». Куда уж точнее-то, а?!

Целую тебя, твой Юлиан Семенов.

* * *

1976 год
из Абхазии, Пицунда

Дорогие девочки! Дорогая Катюша!

Все, конечно, отменно, и так же цикады трещат, и море пока еще теплое и Алябрик — душечка, и сосны шумят, когда заезжаю вечером в «Золотое руно», но только сердце щемит, ибо — пусто мне здесь без Дунечки и Ольгуси, все новое, лишенное нашего августовского смысла, оленькиных слез по поводу числа купаний и минут в воде, атиных[69] пароксизмов дрянного настроения, совместных наших застолий, споров о необходимости атиного загара, олиных зажмуриваний в воде…

Эрго — мне невероятно грустно без вас, так грустно, что хочется сесть за работу, а сил нет, да и машинки тоже, не говоря уже о мыслях: они подобны морзе — точка-тире-точка, сплошная рвань, уныние и тягомотие.

Сегодня весь день искал дом, ездил в Сухуми, в Совет министров (душечка Алниидзе звонил премьеру Абхазии). У Вовы — шумно, тьма машин. На горе — роскошно, место — чудо, вы там не были; цена — 45.000 (Аюшь-шь-шь, фью-и-и!). Сука дед-отставник в Пицунде, клялся в любви к Родине и взывал к чувству большевика, заломил 30 и на 22 не согласен. Правда, нашли сегодня с Алябриком дом за рыбозаводом в ущелье. Горы, до моря — 2 минуты. Торговля в разгаре. Обламывается на 15000. Добавить 3, — будет чудо!

Что еще? Есть несколько славных мужиков из Союза, Ким Селихов, новый секретарь Москвы, Володя — ребята славные.

Боровики ходят, скованные цепью. Генрих косит глазом, как конь в стойле.

А я иду ужинать — тефтели и вермишель.

Напишите мне.

Целую вас, мои золотые.

* * *

1977 год
Дочерям из Пицунды

Бумажек более нет — пишу на той, где рисовал Вове Гумбе замок для дома, который он почти уже сделал — дворец Борджиа, Карагач и Каштан.

Не скрою, был бы очень рад ваш Люс, найди вы — среди забот ваших — время позвонить сюда. Адрес не так уж труден:

Пицунда (по-еврейски Поцунда). Для литфонда, № 218, пригласить к разговору Аивара Садат («мой близкий родственник, человек с высшим образованием» — как сказали бы за местным столом, если вы помните). Отсюда я, видимо, полечу с Алябриком и Вовой Гумбой на охоту в Нальчик. Буду на Беговой к 22. Не позже. Звоните — просто так, с утречка или вечером, каждый день, начиная с 20-го.

Очень люблю вас и вами горжусь и без вас скучаю.

* * *

1979 год, ФРГ
Дочерям Дарье и Ольге

Дорогие мои кузовочки![70]

Сижу в деревне, тихо, — помните Твардовского, как он о Михаиле Исаковском сказал: «Вышел в поле — ни сукина сына!» — так же и у меня, один в пяти комнатах с внутренним садиком, соседи — как за бетонным занавесом, полная некоммуникабельность, только маленькие немчики смотрят с затаенным интересом, когда я сажусь в свою серебряную машину, новый район, выдвинутый в полуполе-полулес, вот куда отец залез!

Что было интересного? Много. Во-первых, вживание в здешнюю жизнь, это — любопытно, когда все надо самому. Во-вторых, сразу влез в любопытное дело: живет под Гамбургом в деревушке Штелле старик с рассеченной губой — Георг Штайн и ищет в течение 12 лет Янтарную комнату. Он — во время этих поисков — нашел сокровища Печерской лавры и безвозмездно нам их передал. А сейчас вышел на 350 картин, похищенных из харьковских и киевских музеев, причем там есть один Мурильо, подлинный, и все наше — начало XX века, быть может те самые авангардисты, которых мы с Дуняшей видели в Париже. Я включился в дело, оно связано с одним нацистом из штаба Розенберга. Описывать не стану — пока дело в раскруте, завтра иду в их МВД, говорить с министериальратом Гаснер-р-р-ром.

А там — посмотрим.

Сработал Мюнхен — вроде бы ничего. Было занятно, верно, тутошние ЦРУ с помощью Гладилина начнут меня хаять весьма громко. Ничего, привычен.

Накрутил уже четыре тысячи верст, ездить устаю, чувствую себя так сабэ. Погода здесь адовая: оказывается, в начале века сюда, в Бонн, привозили на месяц солдат — выдержат перепады

давления, — отправят в Южную Африку, нет — похоронят с почестями.

О некоторых встречах — с директором Круппа, со странными ребятами из американо-европейской партии, с профессором Мэнартом, отец которого был управляющим фабрики шоколада «Красный Октябрь», с моим шефом в мин. прессы графом Ламсдорфом, внучатым племянником последнего пристойного русского министра иностранных дел — расскажу дома, боюсь выговариваться, книга не получится тогда.

Пока никак не могу подобраться к сценарию о 1917 годе, который обещан Ленинграду. Мечтаю о днях, когда, закончив «янтарное дело», скроюсь в горы, где-нибудь в Швейцарии или Австрии, и в полнейшем одиночестве надиктую или нашарахаю на машинке 150 страниц.

Но — проклятие журналистики, запродал душу Мефистофелю, право. Хоть «Литгазета» и тактична, по мелочам не тревожит, но ведь самость свою не переделаешь… Будь проклята человеческая обязательность, право! А может — нет? Хорошо быть Костиковым, а? Но для этого требуется абсолютная уверенность в полнейшей национальной, общегосударственной надобности делаемого тобой в литературе. Сие — принадлежно, как правило, начинающим писателям. А я ужо старый. С перепадом давления.

Таперя о вас. Что с маленькой зоологиней? Как новеллы? Что с уроками труда? Олечка, ты пишешь прекрасные вещи, я горжусь тобой. Давай издадим твои новеллы в Бонне? (Это я шучу, конечно, важнее издаться дома.) Что с КЮБЗОМ? Ты уже действительный член или все готовишься, раздувая ноздряшки от напряжения?

Пожалуйста, пришли мне, во-первых, все твои новые произведения и, во-вторых, напиши большое подробное письмо про свои дела, про Кайфа[71], про хомяка, про псов. Жду.

Дунечка, красавец мой. Первое: как дела в мастерской? Только без мазохизма — правду. Отстраненную, как обратная сторона зеркала. Второе: что с личной жизнью? Отпиши — посоветую ведь. Как твои культуртрегерские дела? Отведи своих охломонов к Спесивцеву. Дай ему мой адрес и пусть напишет, чертенок.

Было бы славно, если бы ты могла приехать вместе с Ольгой — пораньше, а? Я очень боюсь брать сюда Багалю — действительно, давление страшное, не погубить бы старушку.

Позвони, Кузя, к Боре Григорьеву. Клебанову в этом верить трудно, старик субъективен — спроси Борьку, как дела с актерами на Петровке и Огарева. Позвони к Игорю Влад.

Шатрову, дай мой адрес, спроси про актеров. Пожалуйста. Пусть напишет. Боря Григорьев тоже.

Теперь по поводу дачи. По размышлении здравом, я думаю застопорить Татьяну Васильевну. Пожалуйста, вызови женщину, которая понравилась Олечке, — она живет у Белаш, нашей дачницы. Тат. Васильевна — я вспоминаю прошлое лето — будет заниматься собаками, а не мною и дачей. Потом ее постоянные страхи — не надо, право. Или уж погодите меня, во всяком случае. Осенью она снова уйдет к Роммам, а мне снова ищи женщину, — сие — невозможно.

Все время вспоминаю Лилипута[72] — чем дальше, тем больше вспоминаю, как он кричал врачам: «Сделайте же что-нибудь! Мне надо закончить картину!»

Думаю, наберу множество материалов к новому циклу — «Пресс-центр» и «Террорист». Влезаю винтом в проблематику.

Это ставит под сомнение окончание — на этом этапе — цикла о ФЭДе.

Ладно, это я снова о своем.

Дунчик, прошу тебя всячески поддерживать окочкины литературно-зоологические начинания, я очень в н и х в е р ю. Очень. Олечка должна понять, что уверенность в успехе — не есть самоуверенность вовсе. Передержка временем, желание довести до ультрасовершенства — хороша лишь отчасти, в вашем нынешнем положении, в любом ином — она, эта передержка, — может быть трагичной. В творчестве категория риска так же необходима, как и кровавое исхождение над темой. Но не автору решать, не автору!

Это относится и к тебе, старший кузовок, а от тебя это должно идти к Окочке. Когда Стейнбек приехал в Москву, он в «Юности» обратился к тогда еще молодым писателям: «Ну-ка, покажите ваши зубы, волчата!»

Художник о б я з а н состояться в 16–20 лет! Это — точно. Потом — двадцать лет с ы т н о г о, о б ж о р н о г о творчества, а потом, коли Бог даст, — новое переосмысление себя, всего тобою сделанного, и, если силы остались, — новый этап творчества. Бога ради только не вздумайте позволить кому бы то ни было трактовать с ы т н о с т ь творчества пошло, не по-моему. Сытность эта кровавая — и когда творишь, и когда заставляешь себя бесстрашно показывать свою работу другим. Вот к этому бесстрашию я и призываю Окочку. А ты, Дуняша, должна чувствовать ее локоть. Мама права: пусть Олечка утвердится в школе как первая литераторша-сочинительница, это верно, но только, пожалуйста, постоянная работа дома — для себя. Вернее — и для себя.

Ладно, записался я. Уже полночь, а завтра будет звонить «Литературка», а потом, после того как отдиктуюсь, надо ехать по поводу янтаря, а потом в библиотеку Бундестага.

Да, кстати, сегодня первый день пришла ко мне секретарь: девочка Эрика, 16 лет, ученица 9-го класса, нашел ее мне один славный немец.

Приехала как три года с родителями из Риги. Мечтает учиться на секретаря. Все-таки немцы — особая нация. Я объяснил девочке (очень, кстати, похожа на молодую Багалю), как и что надобно делать с газетами. Она приехала за полтора часа, просидела у меня с 9 до 13.30 и сделала вырезки из 70 газет, разложив все по «мапам» — слова уже путает, «папка» у нее «мапа». Смешно говорит: «немцы масла не едят, нур мандарины, берегут фигуру алле цайт». А сама — немка. Славная девочка. Умение организованно работать — врожденное у них. Порядок навела за день, какое там, за полдня — невероятный.

Это, видно, не наработаешь в себе, это — черта национального характера. Хотя Чернышевский утверждал: «Будет говорить об особенностях национального характера, уберите причину болезни сначала, а потом уж рассуждайте!» Хотя, кто знает, — я, вспоминая себя молодым, все же должен констатировать полнейшее разгильдяйство. Но — с другой стороны, я себя отдрессировал творчеством, ответственностью — за вас. А как объяснить эту н а б р а с ы в а е м о с т ь на работу у этой девочки?

Потом напишу еще об очень интересном — как немцы объясняют тебе дорогу в городе, когда ищешь улицу, это — фантастика, в этом — тоже нация.

Целую вас, мои золотые доченьки, кланяйтесь низко маме, позвоните Багале и всем моим режиссерам. Да, пусть Клебанов позвонит в Ригу, Кубланову, главному редактору Студии и даст мой телефон, а тот немедленно пущай отзвонит, как дела с «Испанским вариантом».

Старый Лыс[73] *— Юлиан Семенов.*

* * *

1979 год,
ФРГ
Письмо теще Н. П. Кончаловской

Дорогая Татуля!
Начал я поиски — по твоей просьбе — и натолкнулся на факт

смешной: один из здешних министров носит фамилию Вишневский. Даже без «фон». Ничего, а? Глядишь, покопавшись в родословных, ты установишь, что А.А.[74] имел немецкие корни. Или какие еще. Спаси Господь, об этом узнает Глазунов — осквернит память.

Наверняка знает и помнит А.А. здешний наш посол Владимир Семенович Семенов. Коли б ты черканула ему письмецо и подарила книгу, я б ему это передал и пораспрашивал его о А.А. подробно. Это может быть интересно, как-никак, первый политический комиссар Германии в 45 году. И человек колоритный, собирает русскую живопись начала века.

То же самое я сделаю с нашим военным атташе, генерал-фронтовик, он наверняка скажет добрые слова о Вишневском.

По поводу трансплантаций — начал работу, но нет сейчас тут советника по медицине. Дождемся. Немецкий мой пока еще худосочен и в терминологии я хром, как конь в шахте.

Теперь у меня к тебе просьба: я тут начал поиск Янтарной комнаты и — что реальнее — картинных галерей Киева и Харькова, украденных нацистами. Дело это сложное, чуть рисковое, но — необходимое. Я на днях перешлю Сырокомскому один материал — на немецком, правда, но он будет переведен — пожалуйста, попробуй быть моим экспертом, я б твои экспертизы включил в свою книгу, коли смогу ее написать. Надо бы позвонить П. Н. Демичеву, рассказать ему об этом, он включится, я убежден, и попросит украинцев подобрать мне русский (или украинский) каталог похищенных картин — их там более 300! Вот бы вернуть-то хоть часть, а?! Вроде бы много ушло в Швейцарию — я туда собираюсь, но пока еще рано, курсирую между Мюнхеном, Висбаденом, Шварцвальдом и своей деревней.

Пожалуйста, позови к себе Дуняшу и прочти ей это письмо и включи ее в это дело: времени у меня в обрез, оказия неожиданна, поэтому я не успеваю написать письмо девочкам.

Очень прошу тебя в с я ч е с к и поддерживать в Ольге т я г у к сочинительству. Поверь, я ее чувствую точно, и себя в ней вижу, и вижу часть Катюши; там борение идет, просто-таки по Пастернаку: «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой!» Помоги ей п о в е р и т ь в н е и з б е ж н о с т ь творчества, не бойся хвалить ее, поверь мне, пожалуйста.

Все, человек уезжает, заключаю письмецо поцелуем. Позвони сразу же девочкам.

Твой Юлиан Семенов.

* * *

1979 год,
ФРГ
Дочерям

Дорогие Кузьмины!

Вернулся замученный от СС обергруппенфюрера Вольфа (привет Лановому!), просидел за рулем полтысячи верст, сдыхаю от усталости, но еду провожать Александра Борисовича Чаковского.

Подробно писать ничего не стану — право, сил нет.

Рассказ Олечки — прекрасен, я его получил только что, с Чаковским. Право, в ней живет святое, чувствования ее невероятны, и — что важно — юмор у нее присутствует не только в строке, в каждом слове. Жми, маленькая моя Кузьма!

Конечно, старшая могла бы написать поболее, твои отписки, а вернее — о т р и с к и, свидетельствуют о небрежении к Старому Лысу, который, подобно любому ссыльному, жадно ловит каждое слово из дома.

Пробуду до 23 марта в Бонне. Потом уеду в Хайдельберг к рейх-министру Шпееру, а оттуда — в Швейцарию и Австрию. А потом — в Берлин и на 5 дней домой, на Пасху, полагаю.

Затею с собакой Нелькой полагаю авантюрной, но, тем не менее, ничего не попишешь. Только не подумали вы, что у Тигры тоже должны быть щенки. Правда, дома такого щеночка не удержишь, но глядите, чтобы Нельку не пожрали ревнивые псы. Могут.

Да, у меня на балконе в мастерской осталось мясо лося. Надобно его эвакуировать срочно, не то вороны поселятся на балконе, и начнется чистый Хичкок. Есть у него такое кино. Тоже, «Птицы».

Дуняша, позвони еще раз к Бобру[75] и скажи, что ко мне звонят в с е киногруппы, даже Рига. Неужели ему так трудно заказать разговор с вечера на 9 утра? Пусть закажет из дома, ему ж студия оплатит — по предъявлении бумажки с почты.

Позвони, доченька, в издательство «Советский писатель», спроси — готова ли верстка? Объясни — или попроси объяснить Вас. Романовичу Ситникову, что о п у б л и к о в а н н у ю рукопись в лице верстки м о ж н о послать мне сюда. Позвони в «Дружбу народов», Инне Соловьевой или Лене Теракопян (зам. гл. редактора), скажи, чтобы срочно отправили мне верстку «ТАССа» и скажи, что в апреле — если ничего не случится непредвиденного — буду дома. Пусть Саша Беляев позвонит в Воениздат, спросит, как дела там, запустили ли в набор?

Вот, вроде бы и все задания. Целую вас, мои любимые

человечки.

Да, Кузьма, тут продается книга, которую кое-как можно купить: «История мирового искусства». Надо? Тогда разорюсь. Кланяйся маме. Позвони Бабе.

Подарки — кои мерить не надо — привезу сам.

Юлиан Семенов.

* * *

1980 год,
ФРГ

Дорогие мои Кузьмины!

Поклон вам! Салям! Шолом! Хай дозо! Аллес гуте! Конечно, изнуряющая любовь к деду не позволяет вам сесть к столу и написать письмо — слезы мешают, строки расплываются. Ладно — ладно…

Верочка едет в Москву, я отстоялся в своем раздумье о портретах старшей Кузьмы и теперь могу высказаться исчерпывающе.

1. Твой поиск правилен. Вспоминаю свои венгерские стихи: «Ведь все так на свете похоже, о Боже! Спаси нас от сходства, избавь нас от скотства!» (цитирую по памяти. Бурные аплодисменты, переходящие в улюлюканье).

Так вот, то, что ты п р е ш ь в наработку руки в классическом сходстве, не исключая при этом себя, особенно во второй работе, где прекрасный фон решает всю вещь целиком, — правильно и умно. Это правильно по многим причинам, хотя для меня есть главное: чудо сходства есть форма бессмертия, что угодно смертным.

2. Умение передать п р а в д у (сходство есть одна из форм правды) — есть дар Божий, и прилежен он лишь тем, кто одарен и работоспособен. В тебе имеет место быть и то и другое. Браво.

3. Портрет твой (в первом вижу колор махуевый[76], хотя поза, лицо, настрой — прекрасны) при том, что несет правду об объекте исследования, хранит и т е б я, другой так не смог бы почувствовать модель и проинформировать зрителя столь впечатляюще. Правда.

При этом я понял, что, научившись абсолютной правде, ты сможешь не просто вернуться к «Инквизиции», ты, наконец, осуществишь свою мечту: пропорции и лик сжигаемого Пророка будут абсолютными, а фигура, исчезающая в синеве, станет еще более зримой, при том, что может быть и вовсе размытой.

Ты, Кузьма, больше, чем набиваешь руку — ты осваиваешь школу, и осваиваешь ее блистательно.

(Овации. Все встают. Возгласы: «Да здравствует Семенова, свергнувшая тиранию монархиста Глазунова!»)

Вот так. Бери побольше холста и краски с кистями. Здесь купим лишь уникальные. Возьми с собой и «Инквизицию» плюс «Люди, тише». Я тебя о ч е н ь прошу. Знаю — зачем.

Ока-синеока! Кюбз мой бесценный! Вступила? Член? Или все колеблешься? Полно, хватит! Как Нелька? Расчесали Антона? Он, хоть и дурак, но расчесывать его надо — Нелька-то в постоянном кайфе, а он работает сторожем за весьма небольшую плату. Что Баба-Яга[77]? Как Татьяна Васильевна? Забаррикадировалась? Или привела компаньонку? С Антошей и Тигрой будь понежнее, Окочка, потому как вспомни рассказ мамы про то, как она отдавала Дюка, когда я привез Томми. Пусть ты любишь Нельку[78] очень, но не забывай, как ты любила Антошку и Тигрочку, когда они белыми комочками бродили по участку…

Катюша, Вера Мнацаканова будет возвращаться сюда в конце июня. Я полагаю, что ты доверишь ей Ольгу — пусть она обживется до приезда Дуни. Ей неплохо будет похозяйствовать, побыть дамой дома, право. А Дуню мы встретим уже в самом начале июля с криками «ура».

Позвоните мне, надо все обсудить, ибо я в начале июня умотаю в Голландию на неделю, потом в Бельгию и Францию — на европейские выборы.

Если услышите по телефону немецкий металлический голос, дождитесь, пока он кончит объяснять, что он — мой автосекретарь, и, как только замолчал, говорите в течение 30 секунд.

Засим, сажусь продолжать новый материал, доченьки.

Как прошел «Гражданин ФРГ»[79]? Что говорят художники? Или они газет вообще не читают, чучмеки?

Позвоните Бабушке, скажите, что все хорошо. Узнайте у Таты — написала ли она письмо Абрасимову о Вишневском, я его упредил.

Целую вас, Кузьмины, которые не желают писать. И уж коли Дуньке простительно — пущай рисует, то ты, Ока, могла бы черкануть деду пару строк. Адрес ведь прежний: «Посольство СССР в ФРГ, Юлиану Семенову». И — баста.

Ауф видер зеен!

* * *

1980 год,
ФРГ

Дорогие мои Кузьмины!

Неожиданная оказия — едет жена нашего посланника Инга Квицинская за своими дочерями — в Первопрестольную. Возвратится в конце июня. Еще один шанс. Вчерашний разговор по телефону меня несколько огорчил, но, я думаю, все образуется. Пожалуйста, Дуняша, напиши мне письмо с точным распорядком твоих дел на май-июнь. Сделай это незамедлительно. Если есть какие-то трудности с оформлением — позвони Вячеславу Ивановичу — 224.64.03 — он включится[80]. Позвони Виталию Александровичу Сырокомскому — 200.14.05.

Посоветуйся с Татой, прислушайся к ней — думается, она меня поддержит, Олечку надо отправлять ко мне с Верой. Даже если я буду до 20-го в Вене, она поживет день у Верушки, та ее ни на шаг от себя не отпустит, зато потом мы будем с ней постоянно вместе — до приезда Дуни. Ответ по поводу колледжа при французском посольстве я должен дать до конца мая, потом — ваканс, месье директор вуаля авек Пари… Думаю, что сентябрь, который у Дуни тоже свободен, Ольга бы могла проучиться в коллеж ля Франс, в языке бы крепко поднатаскалась.

Времени нет, оказия — неожиданна, еду передавать письмо и жду от вас звонка до 21-го — потом начинаются мотания.

Дед Ю. С.

* * *

1980 год,
ФРГ

Дорогая Кузочка! (проклятая машинка! Пардон за орфографию, мон шери).

Вспомнив церемонию проводов, ахи Солодина по поводу твоего рисунка тушью мамы, я пришел к наитвердейшей убежденности: ты должна сделать цикл портретов по памяти — Семенов, Тата, Михалков, Никита (или по фото, но не цепляясь за него и не мучая себя и всех — богдановщина!), Оля, Рустем, Шепелев, Беляев, Высоцкий, Софронов. Помнишь, про Остапа Бендера: «он почувствовал талию» (имеется в виду талия в банке казино). Я почувствовал твою талию сегодня ночью, вспомнив восхищение моих мужиков. Значит, эти твои работы вызовут восхищение сотен им подобных, а это и есть общественное

мнение, это и есть молва. Понятно?! Я прав, Дуня, я прав, ибо в цвете ты опрокинешь академиков — убежден, но они не дадут тебе пока что опрокинуть общество в целом. А в портретах тушью ты у с к о л ь з а е м а! Помнишь, как Шурик восхищался морщинкой на шее у мамы? (имею в виду рисунок). Помнишь слова Солодина о том, что это — гениально? И они не льстили мне. О живописи они говорили мне наедине: «чертовски интересно, занятно, куда она пойдет дальше». А про рисунок — опрокинуты. Верь мне. Я их, чертяг, знаю.

По поводу маминого увлечения Сибирью. Дело это стоящее. Советовал бы тебе порекомендовать маме написать письмо Мелентьеву (зовут его Юрий Серафимович) в том смысле, что «пора воздать должное е д и н с т в е н н о м у р у с с к о м у художнику, рожденному в Русской Азии, в Сибири, недалеко от границы с Китаем».

В этой связи было бы разумно продумать вопрос о постоянном — пусть небольшом — филиале музея Сурикова в Москве, где туристы из СССР и зарубежья могли бы видеть с и б и р с к о г о Сурикова. Всякого рода «главвторсырье и заготтярпромы» занимают в Москве з о л о т ы е первые этажи, где при умных-то экономистах должны были бы быть блинные, пирожковые, пивные, — нет их, так хоть бы нашли три комнаты для экспозиции в честь Сурикова. А то рубахи на груди рвем: «зажимают русских», а как до дела — тут «ищи жида, он пробьет, без него туго». Пусть мама подчеркнет, что она готова работать безвозмездно, фонд зарплаты (105 руб. в месяц) пробивать через Госплан и СМ РСФСР не надо, пусть это будет филиалом Сибирского музея великого художника России и Европы и Азии!

Ежели мамин пыл не иссякнет и не начнется пора новых туров с черными силами магии, пришли мне черновик ее письма Мелентьеву, я готов внести свои коррективы, подсказать что-то, авось пойдет на пользу делу. Повторяю: о т п р а в н ы е п о л и т и ч е с к и е пункты, которыми можно пробить нашу бюрократию обломовского, столь маме милого типа: 1) Сибирь, родина гения. 2) Художник, принадлежащий миру, Европе, рожден в Азии! 3) Москва должна постоянно н а п о м и н а т ь своим гостям о том, что Сибирь — исконный п о с т а в щ и к русских талантов.

Пишу стремительно, ибо уезжаю сейчас с Ольгой в Утрехт, на Пагоушскую конференцию в какой-то замок Гамлета, где сидят 21 сов. академик и звонят в Бонн, требуя моего присутствия: пошла у серьезных людей мода на автора полицейских сочинений!

На связь выйду — может аж с Парижу.

Кузя, твое будущее будет с к а з о ч н ы м, коли сейчас 3 года отдашь себя творчеству (из них — 6 месяцев туши). Это я тебе

говорю ответственно, «официально заявляю» (Алябрик[81]).

Целую тебя, мой самый близкий, дорогой и интересный друг.

Твой Юлиан Семенов.

* * *

1982 год,
Коктебель. Дом творчества.
Телеграмма маме — Ноздриной Галине Николаевне.

Наверно люди уж слыхали Про все пробежки бабы Гали. Ходи спокойно, думай всласть, Не дай Господь тебе упасть. Внучки и Борода.

* * *

1982 год

Дуня и Оля!

Поскольку я уезжаю с плохим предчувствием, хочу сказать вам кое-что давно.

1. Мама — прекрасный человек, но мы были разными. Я должен был уйти давно. В этом — мое преступление перед вами. Ваше преступление перед вами же в том, что вы эгоистично хотели, чтобы я был — формально — рядом, но недисциплинированность мамы, ее очень импульсивный характер не могли просто-напросто позволить мне продолжать работу, помните это.

2. Вам станет когда-нибудь неловко за то отношение, которое я стал чувствовать последнее время. Особенно — последнее время, ибо отказ Дуни говорить со мной в 75-м, общий отказ — в прошлом году, когда был скандал из-за денег для маминой поездки с друзьями в Сибирь, — я еще относил к детству.

Более — не могу.

3. Советовал бы тебе, Дуня, помнить, кто был с тобою, когда ты плакала от исторички и рисовала почеркушки, кто шел против всех, скандалил, крепил в тебе веру в себя; кто просил тебя не ехать в Питер, кто потом спасал тебя, охраняя в больнице; вспомни, кто молил тебя против Рустема и вытащил тебя из этого э п и з о д а; вспомни, кто ходил с тобою к Хвалибову, кто унижался, чтобы вытащить тебя с собою, кроху еще — за границу, и кто бился за тебя все последующие годы. Не забывай. Бог иначе

отомстит плохим в творчестве.

4. Советовал бы тебе, Оля, порасспрашивать тех, кто знал меня, чем ты была и есть для меня. Сердце у меня мяло и рвало от любви к тебе и от страха за тебя.

5. Вы умели обе прощать маме многое. Я ни о какой своей личной жизни все эти годы, когда стал жить без постоянных скандалов, не думал. Не потому, что не позволял, просто я жил ожиданием той поры, когда мы будем вместе: на море ли, когда надо Оку научить плавать, на Эльбрусе ли, в Бакуриани. Вы не так относились ко мне последнее время. Я с горем в сердце улетаю. С горем.

6. Мой последний миг — где бы он ни был — будет вашим.

7. Ваш долг — по мере сил — сохранить мою память. Иначе уж вовсе вам станет стыдно.

Для этого вы обязаны сделать все, чтобы мое собрание сочинений, включенное в план издания «Современника» по решению Совета министров на 1984/85 год, — вышло. Если за это не биться, не писать писем, не обивать пороги — его похоронят из-за сугубой ко мне неприязни, базирующейся на зависти умению работать.

В этом вам будет помощник «Сов. пис.» РСФСР, Сережа, Володя Солодин из цензуры, Санечка Беляев, Саша Бовин из «Известий», Замятин из ЦК и Бор. Иван. Стукалин, пред. Госкомиздата. Как надо издавать сочинения по томам — оставил Сане Беляеву.

Очень долго ждал вашего звонка.

Не дождался.

Дай вам Господь, люди.

Глава пятая
ПИСЬМА ДРУЗЬЯМ, КОЛЛЕГАМ, ЧИТАТЕЛЯМ

Как, наверное, хорошо, когда нейтралитет. И для человека и для государства. Только пройдут годы, и вдруг станет ясно, что пока ты хранил нейтралитет, главное прошло мимо.

Юлиан Семенов. Семнадцать мгновений весны

В этой главе собраны письма Юлиана Семенова к читателям, коллегам, друзьям, руководителям страны, ответы на критические статьи. Они говорят о его неравнодушии, гражданской позиции, позитивном динамизме — ему нейтралитет был чужд. Он умел дружить, умел хвалить талантливых и «рапирно» отвечать необъективным критикам.

Я подметила интересную особенность писем отца — он одинаково уважительно обращался к адресату, независимо от того, был ли тот маститым писателем, начинающим автором или незнакомым ему читателем. В этом хорошо прослеживается замечательная черта его характера — неприятие высокомерного отношения к людям, — он таковое считал мальчишеством и никогда себе не позволял, как не позволял и дежурные «отписки» — уж если писал, то основательно, подробно.

В этой же главе приведены два письма к Ю. В. Андропову, дающие представление о теплых отношениях, установившихся между ними в конце 1960-х годов. Юрий Владимирович творчество отца ценил и любил.

За несколько лет «работы на перестройку» (его выражение) отец сделал немало хорошего. Гонорары за свою книгу «Ненаписанные романы», изданную в основанном им советско-французском издательстве ДЭМ, передал в фонд «афганцев», отправил внушительные суммы в Детский фонд, в Армению, пострадавшую после землетрясения, в 15-ю городскую московскую больницу, взяв в ней шефство над палатой для жертв сталинских репрессий и ветеранов Афганистана. Много хороших акций проводила и основанная им газета «Совершенно секретно».

О своем материальном благополучии Ю. Семенов не беспокоился — назначил символическую зарплату рубль в год. Работал, как это ясно видно из писем к Горбачеву, на страну, отложив личные интересы на потом, а ведь мог, как другие директора СП, получать астрономическую зарплату. Но, при всем уме, логике и деловой хватке, отец отличался романтизмом и ставил на первое место идею. Хотя, быть может, в этом и заключался его «хороший» прагматизм.

В делах он оказался не «однодневкой», стремившейся как можно быстрее урвать куш, а человеком, строившим планы на долгие годы, задумывавшим крупномасштабные издательские и кинопроекты. По мнению многих, опередивший свое время Семенов в те «лихие» годы умудрялся работать так, как только сейчас начинает в России работать замечательное поколение тридцатилетних — серьезно, честно и доброжелательно — одним словом, цивилизованно.

Отец искренне желал демократических изменений в стране и в письмах к М. С. Горбачеву высказывал интересные и разумные предложения. Надо отметить, что М. С. к этим письмам отнесся серьезно и разослал копии членам политбюро — событие для тех лет беспрецедентное. Как сказал мне недавно близкий папин друг и прототип полковника Славина в книге «ТАСС уполномочен заявить» генерал-майор разведки В. И. Кеворков: «Воплоти Михаил Сергеевич в жизнь идеи Юлика, мы сейчас жили бы в несколько другой ситуации».

* * *

Сентябрь 1954 года

(невесте друга — Дмитрия Федоровского — румынской девушке по имени Пуйка)

Bonna siera, draguza!

Или здравствуй, моя черноглазая сестренка.

Заголовок письма совсем в стиле Лопе де Вега. Пуйка, золото! Спасибо тебе за весточку. Я уже вернулся в Москву, попрощался с ласковым, зеленым Черным морем, поцеловал черное небо со многими звездами на прощанье, сел в поезд и приехал в осеннюю — и поэтому особенно усталую и сиреневую Москву. Приехал — и захворал. Потом поправился, естественно, и поехал на Николину Гору — к Дмитрию. Жил у него 2,5 дня — дышал воздухом, наслаждался вечерами, приятно проводил с Дмитрием время у Натальи Петровны и пилил его все свободное от этих

занятий время.

Ты знаешь, хорошая моя, моему брату и твоему нареченному (т. е. грядущему мужу) будет страшно плохо жить в дальнейшем. И ты и я ему говорили об этом — о его неумении вести себя с людьми, о его б е з о б р а з н о м отношении к людям.

Беда эта порождена тем, что он шел по жизни счастливчиком, — жил в 2-этажной квартире, ездил на дедушкиной машине, всегда кушал все то, что хотел, и самое лучшее. Ворчанье бабушки — не в счет, — сумей он себя с ней поставить — все было бы о ч е н ь хорошо. Ты бы жила не в общежитии, но на Брюсовском, и как было бы это здорово.

Родная моя, читал я нежное и хорошее письмо твое и думал — как же моя умница сестра пишет мне, что они — т. е. Митя и Пуйка — снимут комнату и будут жить одни. К сожалению, ваш брат Julian вносит элемент рационализма в каждое начинание — особенно Митькино. Сейчас придется мне внести этот элемент в твое — не по-твоему детское (т. е. Митькино) письмо.

Комната в Москве (снятая) стоит 400–500 руб. Жить вам вдвоем с 3-разовым питанием, с проездом в институт, с прачкой, с ужином (без бабушки) н е в о з м о ж н о. Ибо на все это нужно 2000–2500 рублей. Понял?

Дело заключается в том, что Дмитрий заражен этой идеей и вместо подготовки к переэкзаменовке бегает и ищет работу. Кстати, предлагают ему работу с окладом в 300–500 рублей

Это неправильный, абсолютно неправильный путь, хороший мой.

Правильный путь, как мне кажется, следующий:

1. Дмитрий сидит, сдает экзамен.

2. Ломает себя, налаживает отношения с людьми, и в первую очередь с бабушкой (я тебе объясню для чего). Бабушка очень хорошо к тебе относится, а то, что она язва — что ж, с этим ничего не поделаешь, видно. Но будь Митька «не мальчиком, но мужем», он бы лавировал дома, сумел бы стать (а ведь это необходимо) другом бабушке. А ведь получилось-то, что бабка во всем права абсолютно: 1) две двойки (из них одна по гос. экзамену), 2) угроза исключения из института, 3) несомненный разбор его дела на комсомольском собрании.

Видишь, сестренка, штука-то какая получается. Я понимаю, с другой стороны, и тебя и его, Пуйка; вам очень хочется жениться, стать мужем и женой. Но пока, в данной ситуации, мне кажется целесообразнее с официальным шагом повременить, — хотя бы до того, как он сдаст зимнюю экзаменационную сессию, а лучше до того времени, когда он станет человеком с дипломом.

Я понимаю, что тебе это больно будет читать, но как брат я

не могу не написать этого. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Если вы женитесь сейчас (а он это во сне видит), то будет очень, очень плохо для н е г о, а следовательно и для т е б я.

Ты понимаешь, моя хорошая, что я не играю роль отца из оперы Травиата. Если ты уйдешь от Митьки — все. Для него это означает finish. Слишком уж он любит тебя. Не любить-то тебя вообще нельзя, хороший Пуйка. Тот путь, который я предлагаю ему, — мне кажется наиболее рациональным, а поэтому логичным. То, что предлагает он и поддерживаешь ты, — красивая утопия в бальзаковском (но отнюдь не в хемингуэевском) стиле. То, что предлагаете он и ты, — невкусно, слезливо и обидно.

Подумай, поразмысли, Пуйкин, — и если ты решишь, что твой брат прав, — то напишешь Митьке письмо с заверениями в любви и в том, что ты несомненно будешь его женой. Но поставь ему условия — те или примерно те, о которых я тебе пишу. Он не может не послушать тебя и меня. Я ведь его очень люблю и хочу ему только добра. А он с открытыми глазами идет навстречу горестям и злу.

Нежно тебя целую, черноглазая моя сестра. Твой Julian.

P.S. Нежно целуй Белечила[82]. Скажи ему, что я его очень понимаю и люблю. А если она ушла от него — значит она дрянь. Я в Манон Леско с некоторых пор не верю.

Посоветуй ему уехать дней на пять в горы, пожить в маленьком деревянном домике со слезами смолы на стенах и с опавшими листьями на дорожках; пусть он гуляет один, все думает, вспоминает и переусваивает это в себе до конца. А потом точка. Скажи ему, что вот я тоже, когда меня обманывают, уезжаю за город и успокаиваюсь.

Папу, маму, хорошую маленькую сестренку — целуй.

Тебя нежно целует мать и папа. Он тебя понимает.

* * *

1962 год[83]

Г-жа Чемесова!

Так как многие на Западе, по-видимому, не знакомы с вашей статьей (если не ошибаюсь, «Посев» выходит только на русском языке), то мне придется вначале хотя бы в двух словах сказать о сюжете моей повести.

Это история молодого летчика Полярной авиации Павла

Богачева, отец которого был обвинен бериевцами в «шпионаже» и расстрелян без суда и следствия в трагичные дни 1937 года. Это также история старого летчика Струмилина, который был близким другом расстрелянного отца Богачева.

Г-жа Чемесова обвиняет меня в том, что я, честно написав о беззакониях, творимых в прошлые годы кучкой подлецов, почему-то радуюсь сегодняшнему дню моей страны и приветствую решения XX и XXII съездов партии, которые открыто и принципиально разоблачили преступления, совершенные Сталиным.

Итак, п р а в д а в моей повести — это описание тридцать седьмого года, трагичного для многих из нас, а ф а л ь ш ь — это описание сегодняшнего дня моей Родины.

Я заранее извиняюсь перед читателями за нескромность, но свой разговор мне придется начать с такой цитаты из Чемесовой: «Кому много дано, с того много и спросится. Юлиан Семенов, автор повести „При исполнении служебных обязанностей“, журнал „Юность“ №№ 1 и 2 за 1962 год, несомненно талантлив. Скажем больше, очень талантлив. Его герои — живые люди» и т. д. И еще: «Павел Богачев — смелый, бескомпромиссный человек. Ему неприемлема всякая ложь. Не потому ли автор так любит своего героя, что ему самому хотелось бы иметь его черты? Непримиримость ко лжи, смелость в правде».

Дело заключается в том, г-жа Чемесова, что в общем-то и Богачев и автор повести, то бишь я, — это где-то одно лицо. И несмотря на то, что Вы столь щедры в раздаче нам с Богачевым комплиментов, я, тем не менее, буду Вас здорово «сечь» — естественно в переносном смысле. Я столь быстро оговорился о переносности смысла, чтобы Вы в следующем номере «Посева» не обвинили меня в «коммунистическом вандализме» и в попытке ввести телесные наказания в литературной критике.

Повесть моя — глубоко автобиографична. Так что говорить я с Вами буду сейчас и от себя и от Богачева, которого, как Вы пишете, «могут и сейчас арестовать за смелые высказывания».

Вам нравится вопрос, заданный Струмилиным Богачеву: «Паша, а вы не обижены на советскую власть? За отца? И за детский дом?»

Вам не нравится ответ Богачева: «Мой отец — советская власть. А тот, кто подписал ордер на его арест и расстрелял потом, — я ненавижу их. Они были скрытыми врагами. А потому они еще страшнее. Они делали все, чтобы мы перестали верить отцам. А нет ничего страшнее, когда перестают верить отцам. Тогда — конец. Спорить с отцами нужно, но верить в них еще нужнее. Так что я не обижен на советскую власть, Павел

Иванович, потому что она — это мой отец, вы, Володя Пьянков, Аветисян, Брок…»

Вы пишете: «Какая поразительная нелогичность. Советская власть — именно те, кто подписывал „ордер“ на арест и расстрел Леваковского и миллионов с ним. Это именно у них была и остается власть, а не у расстрелянного Леваковского, не у Струмилина, который ничего не смог сделать, чтобы спасти Леваковского и, вероятно, ничего не сможет сделать и сегодня, когда арестуют Богачева за смелые высказывания. Пьянков, Аветисян, Брок и другие хорошие ребята, которыми окружен Богачев, власти еще не имеют. Это народ, пока еще безмолвствующий, хотя уже и набирающий силы, чтобы у „советской власти“ отнять эту власть и взять в свои народные руки».

Что касается Вашей бодрой сентенции о советской власти и что пора, мол, ее свергать, — это весьма старо, несерьезно и жалко. Темы для дискуссии здесь нет, это — в общем-то — цирковая реприза, а вот о «потрясающей нелогичности», о которой Вы пишете в начале приведенной цитаты, стоит поговорить.

Когда мой отец сидел в тюрьме вместе с человеком, широко известным эмиграции — с В. Шульгиным — тот по утрам пел «Властный, державный, Боже царя храни…» А мой отец пел «Интернационал», а когда в руки ему попадался обрывок газеты, он плакал от счастья, читая про обыкновенный трудовой день страны, и передавал этот обрывок другим коммунистам, безвинно брошенным в тюрьмы. Следовательно, и в тюрьме коммунисты оставались кристальными членами партии, и даже там, за решеткой, они жили интересами страны — ее счастьем и горем, ее надеждой и верой — и ни на секунду не разделяли себя с ней.

И во мне и в моих друзьях в те годы — в тяжелые ночи и в долгие дни ни на миг не была поколеблена вера в правду, вера в то дело, которому я призван служить и которому служить буду до конца дней моих.

Вы пишете: «Верить, хотеть, уверенно желать, чувствовать себя всемогущим хозяином планеты, знать и сделать… таково, в основных чертах, мировоззрение автора… опровергать это мировоззрение — не задача данной статьи… Неудивительно, что именно это мировоззрение и вызвало наибольшие нападки на автора повести со стороны советской критики. Потому что принявший это мирровоззрение человек становится духовно свободным и не склонен признавать общепринятые авторитеты и уж конечно не склонен мыслить пропагандными партийными трафаретами…»

Я не склонен верить, что Вам жаль меня и что Вы хотите защитить меня от нападок советской критики. Я не верю хотя бы потому, что Вы при написании рецензии весьма произвольно обращались с цитатами из повести, обрывали цитату там, где Вам выгодно, и акцентировали внимание только на одной линии, замолчав все остальные сюжетные линии. Но это, конечно, ерунда и мелочь. А что касается советской критики, то она была разной, и если «Литературной газете» и журналу «Октябрь» моя повесть не понравилась, то «Правде», «Комсомольской правде», «Литературе и жизни», радио, многим республиканским газетам повесть, наоборот, понравилась.

Я стою за свободу мнений, и мне было интересно читать рецензии — как «за», так и «против». Видите, здесь Вы тоже малость нечестны, так как Вы взяли только одну сторону вопроса, обойдя молчанием другую сторону.

Объективность — качество, необходимое в равной мере как писателю, так и критику. Когда я пишу, то объективен, во-первых, в силу того, что я, в данном случае, о себе пишу, а во-вторых, я живу там, где происходит действие. Вы же судите, как говорится, из-за угла. Вы ведь не знаете нашей сегодняшней жизни. Это не я живу по штампу и «трафарету», а Вы, г-жа Чемесова. Уже сорок пять лет крутится одна и та же пластинка. Она заезжена. Она скучна и неубедительна. Вы живете прошедшим днем, г-жа Чемесова, право же, и крутите заезженную злобную антисоветскую пластинку.

И еще есть одно качество, необходимое и писателю и критику. Я имею в виду доброжелательность. Вы пишете на русском языке, в вашей газете часто говорится «наша страна», «наш народ» и т. д. — да полно! Ваша газета злобствует по поводу всего, что бы ни произошло у нас. Какая там к черту «наша страна», когда Вы хихикаете и злобствуете по всякому поводу. Так что лучше бы Вам не прятаться за термины. И страна и народ — для вас термин, отвлеченное понятие, а не суть, не жизнь и не сердце.

И в заключение: поймите же вы наконец, что когда партия, общество, государство открыто говорит о том, что было, открыто выступает против недостатков, — это же свидетельство силы, а не слабости, г-жа Чемесова! Это же очевидно и понятно любому подготовишке от литературы!

На долю многих из нас выпало трудное испытание, это известно. Но испытание это оказалось проверкой на прочность. И его выдержали с честью и отцы и дети. И, пожалуй, никогда еще не были люди моей Родины так сильны — духовно — как сейчас. А духовная сила — это великий дар, и уж если он дан людям

нашим, то Ваши литературные упражнения, г-жа Чемесова, могут вызвать у меня, да и моих друзей только чувство жалости. Слепца всегда жалко. К сожалению, о Вас я не могу сказать мудрыми словами Библии: «Ищущий да обрящет». Вы не желаете искать, а может быть, боитесь. Чего Вы боитесь, — это уже другой вопрос, и не мне искать на него ответ.

* * *

15 марта 1963 года
Кашкаревой И. С.
Минск

Глубокоуважаемая Изабелла Сергеевна!

Большое Вам спасибо за Ваше доброе письмо, как-то даже и не думалось мне, что этот рассказ, который я, откровенно говоря, очень люблю, вызовет столько откликов. И никто из написавших, — пишут все люди, судя по письмам, интеллектуальные, очень точные и восприимчивые, — не бранит меня, а как-то вроде бы даже берут в рассказе именно то, что я и хотел сказать. Еще раз Вам спасибо за доброе слово.

Что касается моих планов на будущее, то они у меня, как и у всякого землянина, — а все земляне отличаются неуемностью, которая кажется наивной, если посмотреть сверху, прищурившись (это я к тому, что «человек предполагает, а Бог располагает»), очень обширные.

Я закончил две новые повести. Одна из них — «Петровка, 38» — о Московском уголовном розыске. Говорю Вам про это сразу, чтобы Вы, как говорится, определили свое отношение ко мне. Некоторые мои друзья, узнав, что я написал повесть в некотором роде — детективную, стали относиться ко мне словно к женщине, которой сменили паспорт на «желтый билет». Но я стоек. Писал повесть с большим удовольствием, и должна она появиться в журнале «Москва» в восьмом или девятом номере.

С другой повестью — «Господин Большевик» — труднее. Где она будет напечатана, еще не знаю, но все эти повести и новые рассказы войдут в новую книгу, которая будет издана в этом году «Молодой гвардией» (написал «будет издана» и — испугался, постучал об дерево. Поплевал через плечо и извиняюсь за ошибку — пишу «должна быть издана, если ничего не случится» и вообще — Господи спаси и помилуй!)

Примерно год я подбирал материалы к новому большому роману о 1922 годе в Приморье — о Блюхере, Уборевиче и

Постышеве. В ближайшие месяцы этот роман я начну писать и хочу написать его очень быстро.

Пойдет в июне в Москве премьера моей пьесы, которая называется «Иди и не бойся», в Театре юного зрителя — о ребятах, которые кончили школу. Определение «ребята, которые кончили школу» так затаскано, замусолено и заплевано в нашей литературе, что было сначала страшно писать на эту тему. Но я решил назло! Что получилось — черт его знает!

Ну вот, собственно, и все.

Опять-таки — если ничего не случится, дай Бог, сохрани и помилуй, то, может быть, осенью вы увидите фильм, снимаемый сейчас на студии им. Горького по моей полярной повести.

Буду рад получить от Вас письмо. Напишите, пожалуйста, чем Вы занимаетесь, что читали Вы и Ваши друзья, чего Вы не читаете, а прочесть бы хотелось.

Жму Вашу руку.

Семенов.

* * *

Начало 1960-х гг.

Открытое письмо Михайле Стельмаху.

Дорогой Михайло Афанасьевич!

Только что я кончил читать Вашу книгу «Правда и Кривда». Есть много мерил в оценке литературного произведения: и язык его, и конструкция, и проблемы, в нем затронутые.

По-видимому, я перечислил малую толику тех мерил, которые являются удельным достоянием критиков. Не в этом суть дела. Я буду писать о главном мериле — и в литературе и в жизни: о правде.

Сила искусства, причем искусства подлинного, а не декоративного — в том, насколько оно ассоциативно. Бывает так: прочитаешь книгу, зевнешь и отложишь ее в сторону.

Бывает, что следишь за фабулой с интересом, видишь героев, но нет-нет, да поймаешь себя на мысли: «Мелко, однолинейно все…»

Истинная литература, по-моему, та, которая будит мысль — и хлебопашца, и физика-атомщика, и токаря у станка. И книга-то может быть о предмете, казалось бы, пустяшном — к примеру о том, как рыбу ловить следует, или как должно выпасать в ночном лошадей. Я имею в виду аксаковский трактат и тургеневский «Бежин луг». Но, боже ты мой, сколько мыслей, сколько

ассоциаций и воспоминаний рождается у каждого, кто читает эту Литературу, которая Призвана Говорить Людям Добрую Правду.

Прочитав Ваш новый роман, я сразу же вспомнил егеря Анатолия Ивановича из рязанской Мещеры. О нем много знают в нашей стране по тонким рассказам Юрия Нагибина.

Анатолий Иванович — инвалид, он вернулся с войны без ноги, на костылях. Трудно на костылях в крестьянском труде. Вот и вышло, что два осенних месяца Анатолий Иванович возит на своей лодчонке московских охотников, а остальное время кустарничает, помогает по колхозному хозяйству, присматривается к жизни и много думает.

У Вас очень верно сказано: «Мы, крестьяне, все немного философы, потому что всю жизнь имеем дело с землей, хлебом, медом, солнцем…» Так вот, Анатолий Иванович — тоже немного философ. Его философия зиждется не на пустых химерах, а на фактах жизни. Грустная у него была философия, должен Вам сказать, когда его жинка за весь год принесла на трудодни восемьдесят рублей — старыми деньгами. Радостно ему было, когда приехал новый секретарь райкома и дал нахлобучку местным властям за то, что те не разрешали косить колхозникам траву в болоте, по берегам рек, в лесу и на полянах — словом там, где она так или иначе погибнет осенью. Не давали — и все тут! Чего больше было в этом запрете: высокомерного, злобствующего «комчванства», дурости или нелепой боязни того, что «разжиреет» колхозник, частник в нем проснется, — я определять не берусь.

Раз приехал на охоту один московский руководитель, причем не просто руководитель, а имеющий прямое отношение к сельскому хозяйству. Рассказал ему Анатолий Иванович про те беспорядки, про то нелепое скупердяйство, которое не копит государству копейку, а, наоборот, разоряет его; рассказал про то, как развращают душу колхозника, толкая его — нелепой жадностью — на рынок, поближе к барышнику, — так ведь не поверил Анатолию Ивановичу тот руководитель, посмеялся, сказал: «Перегибаешь, дорогой, частность, единичность пытаешься выдать за общение…»

Обиделся мой добрый мещерский знакомец, горько усмехнулся и замолчал.

— Кому она, моя правда и моя боль нужна? — спросил он меня как-то поздним вечером, когда заря отгорела, небо сделалось серым, а камыши — темными, тревожными. — Она только мне одному и нужна. О такой правде говорят, да и то негромко, а писать — так у нас все больше о кавалерах пишут, инвалидов вроде бы и нет совсем на Руси…

Был этот разговор в те трудные времена, когда Рязань, по одному росчерку ларионовского пера, успела «перегнать» Америку по молоку и маслу. Эту страшную кривду порушили слова суровой, мужественной и честной правды. Мы знаем, чьи это были слова, и благодарны за них. Значит, нужна боль и правда Анатолия Ивановича, значит, знают о ней и борются за нее, за правду трудового крестьянина, за колхозную правду.

И Ваш роман, Михайло Афанасьевич, тоже, по-моему твердому убеждению, звучит сегодня как боевой партийный документ, направленный против тех, которые «петухами»: «… пропел, — а там хоть и не рассветай!» Ваш роман — о событиях последнего военного года; но это — по первому прочтению. Вопросы, поднятые Вами, важны сегодня и, пожалуй, даже более важны, чем вчера.

Признаться, я радовался за Анатолия Ивановича, когда читал «Правду и Кривду». Разговоры ваших героев — не н а п и с а н ы, о н и — з а п и с а н ы. Публицистичность в романах хороша тогда, когда она лежит в ткани вещи, когда она рождена поведением, поступками и ОБЩЕЙ ПРАВДОЙ героев. Когда она звучит менторским авторским насилием — право же, тогда она стреляет вхолостую или же достигает результатов, обратных замыслу автора.

Я представляю себе, как много людей с болью, но и с радостью прочтут Ваши строки, которые мне хочется процитировать целиком: «…Что же остается делать мужику, когда после уборки он все свои трудодни выносит со склада в одном мешочке или в котомке? Либо пухнуть с голоду, либо как-нибудь выкручиваться и лукавить, теряя и достоинство и сердце. Вот и начинает он выкручиваться как может, как умеет: один что видит, то и тащит по ночам с колхозного поля и даже не считает это кражей; другой, согнувшись в три погибели, прет на базар овощи и становится рядом с барышницей или торговкой не гордым земледельцем, а сгорбившимся мешочником, а третий бросает землю, ищет более надежный хлеб, идет хоть в сторожа, будь оно неладно! Вот так и черствеет, озлобляется сердце земледельца и черствеет без его ласки земля.

Об этом мы стараемся меньше писать, но от всего этого мы в конце концов теряем больше хлеба, чем его надо на потребление, теряем человеческую веру в силу коллектива, отрываем земледельца от великой общей радости, и он выталкивается на узенькую дорожку — с широкого поля на свой приусадебный клочок. Арифметика — наука для всех, но с арифметикой колхозного трудодня мы не справились».

Эти слова выдумать нельзя. Эти слова — я повторяю еще раз,

записанные, они сегодня на устах у многих миллионов наших колхозников. Сейчас вопрос не стоит о длинном рубле, как, впрочем, он никогда и не стоял у наших колхозников. Вопрос вопросов — соблюдение принципа материальной заинтересованности. Без этого — колхозник будет придатком у самой совершенной сельскохозяйственной машины, какими бы чудодейственными способностями она ни обладала — все равно колхозник не будет творцом, все равно он будет думать о том, как ему со своим приусадебным участком управиться, а не с общим, колхозным полем.

Только барски-пренебрежительное отношение к колхознику, только его изгнание из жизни может породить «мысли» о том, «что может стать», если колхознику много платить! Очень это верно сказано у Вас в романе, Михайло Афанасьевич: «Вот перед войной началось у нас доброе дело с дополнительной оплатой. Но сразу же кое-кто испугался, что крестьянин салом обрастет, и завопил не своим голосом. Не перевелись еще крикуны, которые все припомнят: и рожь, и пшеницу, и коров, и свиней, и кроликов, и кур, а про земледельца и слова не скажут. А станем по-настоящему хозяйничать, и планы все выполним, и хлеб у нас будет, и радость в глазах, и счастье в груди!»

Не прожектерские планы, не розовенькое маниловское мечтательство живет в каждой строчке Вашего романа, а сама жизнь — сложная, насыщенная страстями, горестями и счастьем, наша жизнь, в которой Правда побеждает подленькую Кривду, в какие бы одежды поганая Кривда ни рядилась.

* * *

1963 год
Писателю Николаю Нечаеву

Дорогой Коля!

Не писал я тебе не из-за лености, не из-за трагедийности события[84], но из-за примитивного заболевания, которое именует себя тромбофлебитом. Думаю, что все это — ерунда и что-нибудь образуется.

Наверное, у тебя, как и у меня, есть такие эпизоды в жизни, которые выстраиваются в цепочку того самого светлого и самого дорогого, что человек вспомнит (а может быть, не вспомнит, человек — он есть человек, черт с ним разберется!) во время последнего часа своего. Вспоминаю я эти два дня у тебя с огромной радостью и с мучительной звонкой тоской. С радостью

— потому что очень здорово было, по-мужски, а с тоской — потому что все это кончается, потому что ты собираешься уезжать куда-то, и то, что есть у тебя вот здесь, в Оренбурге, того в другом месте не будет.

Говорю я сейчас как дурак-оракул. Но каждого человека воленс-неволенс тянет на проповедь. Поэтому в России юродивых много.

Огромнейший от меня привет маме, тете, жене.

Вспоминаю я ночные пельмени, наши деловые выходы в город, утреннее пиво и банку, которую мы мыли во время оттепели под колонкой во дворе дома, и как мы эту банку с пивом несли по улице по очереди — я, ты, Казачков. И как вместе, по очереди из этой банки с пивом пили, абы маленько опохмелиться, и как рычали, радуясь, что опохмелка удается. И как потом спали, и снова пили, и почти ни о чем не говорили, а вроде бы обо всем проговорили тысячу раз…

Скажи нашему дорогому китайскому оператору, что он — сукин сын, хоть он и не оператор, а режиссер. Я ждал его звонка в понедельник; как мы договорились, разговаривал и выяснял все на студии, но он мне так и не позвонил отчего-то. Передай ему, что существует дикий и нелепый закон, по которому нельзя брать на работу, даже на временную, в Москве человека без московской прописки. Но человека возьмут на работу в Арктике, в Амдерме с любой пропиской и будут ему платить 200 процентов с арктическими все то время, пока он будет работать на картине. К сожалению, ничего сделать, чтобы его взяли здесь в группу, я не могу. Разве что показать его режиссеру Гурину на предмет съемки в каком-нибудь эпизоде; тогда он себе окупит проезды.

Передай огромный привет, Коленька, инженеру и доктору. Славные они люди, он и она.

Леность — дело позорное. Думаю, что твое молчание есть следствие лености, а посему высказываю тебе свое решительное и гневное «фе».

Винюсь, что ничего не успел сделать с твоими рассказами. Но первое, что я буду делать, поднявшись с лежбища, это будет твоя рукопись.

Крепко тебя обнимаю, старик. Желаю тебе счастья!

Читательница, которая прочитала твой рассказ «Дайте имя» — моя жена, от него в восторге. Я его еще раз посмотрел. Рассказ действительно очень силен и очень хорош. Но я в данном случае выступаю как недоброй памяти Каганович. В свое время его пригласили смотреть в Филиал МХАТа пьесу Эрдмана «Самоубийца». Каганович всю пьесу гоготал, смеялся и аплодировал, а когда пьеса кончилась, встал и, аплодируя, сквозь

слезы смеха сказал: «Ну нет, нет — немедленно запретить!»

Вот так-то, старик.

Жму руку.

* * *

1963 год

Первому заместителю заведующего идеологическим отделом ЦК КПСС

тов. Романову А. В.

Многоуважаемый Алексей Владимирович!

Понимая Вашу занятость, тем не менее хочу обратиться к Вам за советом — крайне для меня важным. Около года назад я написал пьесу «Дети отцов». Мне хотелось еще раз сказать этой пьесой о несгибаемой воле отцов, попавших во времена культа личности в беду, о несгибаемой преданности их детей отцовым идеалам, о высокой принципиальности тех людей, которые, как это ни трудно, сражались за честного человека, когда они были убеждены в его невиновности. В пьесе почти нет вымысла, потому что писалась она о том, что было пережито.

Я понимаю, что пьеса не лишена недостатков. И язык героев, и некоторые образы требуют определенной доработки. Делать это должно и самому и вкупе с театром. Но с театрами выходит неувязка. Сначала пьесу принял ЦДСА, но потом отказался от нее в связи с запрещением пьесы Главлитом.

Месяц назад пьеса была принята театром Пушкина. Но сейчас и там от нее отказались в связи с тем, что в Министерстве культуры РСФСР наметилась тенденция — «никаких пьес о культе!». Эта тенденция представляется мне ошибочной. После блистательных выступлений на XXII съезде Никиты Сергеевича, А. И. Микояна, Ф. Р. Козлова, Л. Ф. Ильичева не писать о временах культа Сталина нельзя. Важно — как и что писать. Это главное.

Очень прошу Вас, Алексей Владимирович, познакомиться с моей пьесой и дать мне совет — стоит ли продолжать работать над ней, нужна ли она сейчас, не ошибаюсь ли, считая, что пьеса нужна.

С глубоким уважением.

* * *

1964 год
Французской писательнице Жаклин Беллон

Милая Жаклин Беллон!

Я был на охоте в астраханских плавнях, только что вернулся и был приятно обрадован Вашему письму. Я с готовностью отвечаю на Ваши вопросы, тем более, как явствует из Вашего письма, — Вы тоже писательница, то бишь моя коллега.

Я очень люблю Дебюсси, Равеля — для меня это импрессионисты в музыке. Причем музыка Дебюсси у меня всегда ассоциируется, не знаю отчего, но с самого начала — с полотнами Сислея. Мой большой приятель, пианист Малинин — лауреат многих конкурсов — прекрасно интерпретирует Дебюсси.

Я женат, моей жене тридцать три года, и я считаю ее очаровательнейшей из всех женщин. Моей дочери шесть с половиной лет, ее зовут Дашенька. Мои родители живы, дай им Бог долгих лет жизни.

Теперь настало мое время задавать вопросы Вам: что Вы пишете, что Вы издавали и где? Быть может, Вы пришлете мне Ваши книги, я дам их почитать моим приятелям, специалистам французской литературы.

Любопытство писателя сродни женскому любопытству, а потому и я хочу знать — давно ли Вы пишете, как много работаете каждый день, не мешает ли Вашей работе семья, если она есть, что личное, Ваше, входит в Вашу литературу и входит ли, каковы тиражи Ваших книг?

Сам я пишу и давно и недавно: с 1955 года, печатаюсь с 1958 года, первый роман издал в 1959 году, это был исторический роман, «Дипломатический агент». Потом мои книги выходили каждый год, выходили фильмы, пьесы.

Работаю я много, времени тогда для меня нет, если я сел за новую вещь, а гулянье мне тогда мешает, я отвлекаюсь, гуляя по городу, я обожаю гулять по Москве, когда я «заряжаюсь», перед началом работы. В процессе работы я вообще уезжаю из города: или в деревню, или к морю, или в наши писательские дома — у нас Союз писателей имеет прекрасные дома для работы, которые стоят и у моря, и в лесах средней полосы, и недалеко от Москвы.

Вот как я подробно ответил на Ваши вопросы.

Желаю Вам всех благ,
Ваш Юлиан Семенов.

* * *

1965 год

Уважаемый Майкл Скамед[85]!

Поздравляю Вас с Новым годом, дай Вам Бог здоровья, счастья и успехов в работе. Словом, всего Вам самого наилучшего.

Прошедший месяц я не был в Москве — работал в горах, заканчивая редактуру романа, а заодно славно охотился. Так что не сердитесь на меня за столь длительное молчание — меня просто не было дома.

Итак, о Вашей просьбе. Конечно же, ежели Вы заранее назовете мне книгу, которую захотите получить, я охотно помогу Вам. Только упредите меня заранее, потому что книги у нас не задерживаются, страсть к чтению поразительна, ей подвержена вся страна.

С удовольствием воспользуюсь Вашим предложением, и если мне понадобится что-либо из английской или американской периодики — я не премину воспользоваться Вашим предложением.

Жаль, что нельзя сохранить некоторые слова в тексте повести. Видимо, уже заслали в печать. Ну, ничего, главное, чтобы не было разночтений в тексте.

Русские передачи Би-Би-Си я, признаться, не слушаю. Поскольку Вы сами не знаете точного времени Ваших передач об английской литературе пришлите-ка мне лучше текст. Особенно меня будет интересовать Ваша статья о театре. Я люблю Осборна, он хорошо чувствует наш день, он талантлив, бесспорно, по гамбургскому счету. Ничего не могу заранее обещать, но если Ваша статья заинтересует меня, я, возможно, подумаю о ее публикации в советской прессе.

Помогите Вашей приятельнице из Би-Би-Си перевести мое письмо, я отправлю его вместе с Вашим.

Жму Вашу руку, желаю Вам радости в Новом году.

* * *

1965 год

Глубокоуважаемый Майкл Скамед!

Сейчас я вновь обрел человеческий облик, ибо роман мой начал печататься в журнале «Молодая гвардия» со второго номера. Вы, видимо, понимаете, как много сердца и ума отдаешь работе и в этот последний период. Выпустить роман в свет — это как родить ребенка, за него отвечаешь перед читателями всем

нутром своим — отныне, присно и во веки веков.

Теперь, как говорится, о «наших баранах». Международная книга прислала мне шесть экземпляров «Петровки, 38». Книга издана и оформлена отменно. Передайте мою признательность тем, кто ее оформлял и печатал. У вас она издана лучше, чем в Париже. Из остальных стран я еще не получил книг, а выходит «Петровка, 38» в Берлине, Праге, Варшаве, Токио и т. д. На этих днях, после того как отосплюсь, я сяду смотреть, как Вы расправились с текстом, хотя те куски, которые я просматривал без словаря, — мне понравились.

Пожалуйста, почитайте мой новый роман, черкните мне, каково Ваше впечатление. Видимо, второй, февральский номер «Молодой гвардии» поступит к Вам в самом недалеком будущем.

Напишите мне, пожалуйста, как примут «Петровку, 38», какой тираж — в выходных данных этого нет, видимо у вас не принято проставлять выходные данные. Как покупают книгу, не залеживается ли она на прилавках. У нас в стране книга разошлась меньше чем за день — это было весьма и весьма приятно.

Над чем Вы сейчас работаете? Отчего не прислали мне Вашу статью? Я сказал бы об этом у себя в редакционной коллегии нашего журнала «Москва», и к этой идее мои коллеги отнеслись очень благосклонно. Не переводите ничего нового из советской литературы? Словом, сейчас я устроил себе небольшой отдых перед тем, как засяду за новый роман, а посему буду рад получить от Вас весточку.

Желаю Вам всего самого хорошего, жму руку.

* * *

1965 год

Многоуважаемая Ирена Шабик!

Простите великодушно за столь долгое молчание: я был весь в моем новом романе «Пароль не нужен», который теперь с февральской книжки начал печататься во втором номере журнала «Молодая гвардия». Сейчас роман вышел, поэтому я могу думать и связно говорить о чем-то другом — раньше я этого делать не мог.

Итак, по вопросу об экранизации «Петровки, 38». Не думаю, чтобы Вам подошла пьеса, которая сейчас идет в Москве: театр — это театр, категория в некотором роде оппозиционная по отношению к телевидению. Театральный слепок на телевидении

будет выглядеть совсем иначе, нежели на подмостках. Так что лучше уж адаптируйте повесть таким образом, чтобы она лучше легла на телевизионный экран. Прошу Вас обязательно прислать мне текст телевизионного сценария «Петровки, 38» — возможно, у меня возникнут какие-либо соображения — тогда я допишу или перепишу те или иные куски.

Второе. Был бы Вам признателен, если бы Вы смогли прислать мне фотопробы актеров на главные роли. Я своих героев «вижу», мог бы поделиться с Вами своими соображениями о физиогномической правде актеров, которые будут играть в телефильме.

Было бы идеально, если бы Вы прислали мне магнитофонную пленку — пусть даже еще в репетиционном периоде. Это было бы опять-таки хорошо потому, что я бы, возможно, написал Вам свои суждения по поводу динамики действия, манеры говорить и т. д. и.т.п.

Пожалуйста, напишите мне, как обстоят дела с «Петровкой, 38», что Вы предприняли и что собираетесь предпринимать в дальнейшем.

С самыми лучшими пожеланиями.

* * *

1966 год
Письмо Генриху и Галине Боровик в США

Дорогие Боварички!

Я могу, конечно, предположить, что мои письма воруют по дороге наймиты ФБР, и это единственное предположение в определенной мере тушит мою обиду, которая разрослась уже до размеров глобальных. Чтобы не впадать в слезливый тон упреков и истерико-любвеобильных надрывностей («ну как вы там на чужбине?», «береги сердце и делай гимнастику», «не ешь на ночь много мучного») я сразу перейду к делу и стану вам рассказывать про то, что тут у нас.

1. К сожалению, я не был на Римкином[86], нар. арт. СССР, юбилее, так как был во Владивостоке, но все говорят, что такого еще не было в Москве ни разу: поздравления от Мэри Хемингуэй, Микояна, Кастро, Ибаррури — словом, был, говорят, рев, и я за Римку ужасно рад, потому что его 60 лет этого заслуживают.

2. Сегодня на Пахре мороз 24 градуса, и хотя снега в лесу почти нет, ходил на лыжах и было замечательно.

3. В 200 километрах от Владивостока, в таежной глуши, на

зимовье, где мы сидели два дня без толку, так как в урочище пришел тигр и охоты не было, потому что все звери разбежались, мы занимались тем, что пили спирт и спали, и готовили себе варево из козы, убитой накануне, а я читал всем вслух твою корреспонденцию, перепечатанную районной газетой, форматом что-то в районе 9х12, от силы 18х36, как твое фото Хема. Ты писал там о Женькином[87] триумфе в Штатах, и мне, говоря откровенно, было очень приятно, что даже здесь, в глуши, твоя корреспонденция была напечатана и подана с огромной шапкой.

4. Сашка Рекамчук со студии ушел. Вместо него, по-видимому, сядет Сытин. Если это будет так, то не страшно, и я готов выполнить твои поручения, если они, естественно, будут по поводу твоего сценария. Я очень хочу верить, что ты в перерывах между оперативно-журналистской работой находишь часа два-три в день, чтобы посидеть и над литературой и над кинодраматургией. Если нет — ты будешь подвергнут моему остракизму. Мне очень нравится все, что ты делаешь, но литература не терпит перерыва, тогда от нее отвыкаешь как от возлюбленной после тюрьмы. Эрго: прислал бы какой-нибудь грустный рассказ про Америку в журнал «Москву». Мы бы его немедленно напечатали.

5. Так как мне надо ехать к вахтанговцам, читать им новую абракадабру, то целую вас, всех и дай вам Бог счастья. А то я б еще пунктов 100 накатал.

Ваш Аттилла Моисеевич Так-тика-швили.

Биариц, вилла Боргезе, полуподвал.

* * *

1966 год (?)
В ГОСПОЛИТИЗДАТ

Творческая заявка

Вполне вероятно, что это мое предложение будет отвергнуто, но тем не менее, я решаюсь его выдвинуть на суд редакции. Более полугода я занимался материалами, связанными с жизнью Гарибальди, и пришел к выводу, что писать о нем книгу — но такую книгу, чтобы она была и интересной и познавательной, — нельзя, не прожив в Италии года, по крайней мере, и не зная итальянского языка.

Посему я предлагаю редакции иное: в течение последних

пяти лет я занимаюсь работой по сбору материалов о жизни маршала Блюхера. Этому был посвящен мой роман «Пароль не нужен», этому посвящен и фильм, который сейчас снимается на студии Горького.

Если бы редакция согласилась, я бы взялся за книгу о жизни и деятельности Василия Константиновича Блюхера — тема эта необъятная и в художественной литературе почти нетронутая (есть книга А. Гарри и моя).

Опять-таки, если я не опоздал с этим моим предложением и если на эту тему нет других, уже утвержденных претендентов, я бы с радостью выполнил эту работу.

В качестве расширенной заявки, где речь идет только о деятельности Блюхера на посту Главкома и Министра Вооруженных Сил Дальневосточной республики в 1921—22 гг., я бы приложил свой роман.

Естественно, главный упор в этой работе будет отдан следующим трем периодам: ДРВ, работа в Китае, когда Блюхер помогал как главный военный советник свалить японское иго; и, наконец, его поразительная работа на посту главкома легендарной ОКДВА — это и освоение Дальнего Востока, это и первые перелеты наших летчиков в тридцатых годах, это и строительство Комсомольска, это и операции по пресечению агрессии на озере Хасан.

Поскольку я не знаю — опоздал я или нет, считаю возможным этим коротким письмом в редакцию и ограничиться.

Как ни заманчива тема Гарибальди, как я ни старался найти для себя реальные чувствования этого героя и его эпохи, — путного у меня ничего не получалось, а идти по пути компиляций и домыслов нет смысла — это значит копать яму и памяти Гарибальди, и редакции, и самому себе.

С уважением
Юлиан Семенов.

* * *

1966 год (без даты)
В ЦК КПСС

Дорогие товарищи!

Зимой прошлого года я начал работать над романом «Майор Вихрь», который является второй книгой романа «Пароль не нужен». Для работы мне были необходимы некоторые материалы ГРУ Министерства обороны СССР.

По получении допуска в КГБ при СМ СССР начальник архива ГРУ тов. Кудрявцев В. П. любезно предоставил мне материалы, нужные для работы.

В октябре прошлого года, когда работа над романом была закончена, тов. Кудрявцев и его руководители дали добро на опубликование в газете «Труд» (5–8 октября 1965 года) отрывков из нового романа. Это сцена ареста гестаповцами майора Вихря и его побег с Краковского рынка.

Через пять месяцев тт. Кудрявцев и Понизовский опубликовали в «Комсомольской правде» документальную повесть «Город не должен умереть», написанную по тем же материалам, которые в прошлом году предлагались мне товарищем Кудрявцевым.

Ни журнал, ни издательство, ни киностудия, которые приняли мой роман в работу, не были смущены появлением документальной повести Кудрявцева и Понизовского.

Однако, как ни странно, теперь товарищи из ГРУ, и в частности тов. Кудрявцев, просят меня снять сцену побега с Краковского рынка и «устранить» совпадения с документальной повестью. Да и вообще, отношение к моему роману стало совершенно противоположным тому, каким оно было до опубликования документальной повести.

В этой связи, хотя мне это крайне неудобно говорить, но:

1. Газета «Труд» первой опубликовала главы из моего романа, которые по прошествии пяти месяцев почти без изменения вошли в документальную повесть тт. Кудрявцева и Понизовского.

2. Кто и когда утверждал, что архивные материалы являются материалами только к документальной литературе? Роман «Майор Вихрь» — не документальный роман, и относиться к нему, как к подбору фактов, имевших место, — несерьезно просто-напросто.

3. Тов. Кудрявцев сказал мне, что если бы не было повести «Город не должен умереть», то не было бы и никаких претензий к моему роману. Это уже попросту странное утверждение человека, знавшего, над чем я работаю и какими материалами в его архиве я пользуюсь.

С глубоким пониманием я отнесся к недавним выступлениям товарищей Гречко и Епишева на встрече с писателями. Военно-патриотическая тема в литературе — важнейшая тема в литературе, и я в меру моих способностей работал в этой области. («При исполнении служебных обязанностей», «Петровка, 38», «Пароль не нужен».)

Неужели из-за того, что в данном случае столкнулись интересы, далекие от принципиальных, стоит таким образом

затруднять работу писателя в той теме, которая ему дорога?

Мой роман уже второй месяц лежит на рецензировании в ГРУ. Убедительно прошу помочь убыстрению этого рецензирования на принципиальной основе.

С уважением

Юлиан Семенов.

* * *

30 июня 1966 года

Начальнику Главного Управления Генштаба Министерства Обороны СССР

вице-адмиралу Л. Бекреневу.

Уважаемый товарищ Бекренев!

Руководство журнала «Смена» ознакомило меня с Вашим заключением по роману «Майор Вихрь».

После беседы с тов. Чистяковым И. М. я исключил все упоминания о Кракове, взяв вымышленный польский город Старгард.

Соответственные изменения внесены мною в текст романа.

Все замечания, указанные в Вашем письме в журнал, мною приняты и в текст внесены поправки. Я имею в виду замечания конкретного плана, относящиеся к стр. 179, 209, 210, 248, 272–279, а также все, относящееся к употреблению в тексте соответствующих терминов специфического характера.

В связи с тем, что, таким образом, события в романе происходят теперь в вымышленном городе, прошу разрешить опубликование «Майора Вихря» на страницах журнала «Смена»[88].

С уважением.

* * *

1967 год

Отклик на статью в одной из свердловских газет

Уважаемый товарищ!

Я недавно вернулся с Северного полюса и среди многих газетных вырезок с рецензиями заметил статью критикессы Н. Зеновой, опубликованную 17.04. в вашей газете. Статья называется «А был ли слон?», и посвящена она разбору

кинокартины «Не самый удачный день», снятый по мотивам моей повести «Дунечка и Никита».

Критика, бесспорно, вещь архиполезная. Но критика т. Зеновой, по-моему, является образчиком того, какой критика не должна быть.

Я готов с благодарностью выслушать любую критику, но я не намерен читать фальсифицированные, бездоказательные статейки. Н. Зенова заставляет моих героев — и Степанова и Надю говорить то, чего они не говорили и говорить не могли: («я хочу ездить на охоту, а она не дает», или «пойдем вперед» или «пойдем назад»). Критик фальсифицирует текст, пишет его за меня, а после на него обрушивается. Пусть унтер-офицерская вдова и сечет, при чем здесь текст из фильма «Не самый удачный день»?

И потом: неужели т. Зеновой не совестно становиться в позу непререкаемого судьи? Неужели такой развязный тон может считаться неким критерием критического разбора? Либо критика должна объективно помогать творческому процессу — с одной стороны и зрительскому восприятию — с другой, либо надо ввести на вооружение критики дубины и на этом поставить точку.

Еще раз выражая свое несогласие с опусом т. Зеновой, я хочу сказать ей, что она напрасно старалась увидеть в фильме слона. Я очень рад, что она его не увидала: это фильм не о животных, но о людях, которые обязаны быть взаимоуважительными, доброжелательными и тактичными.

Если редакция считает возможным, я готов прилететь в Свердловск на обсуждение нашей кинокартины с участием зрителей, коллектива редакции и т. Зеновой.

Я надеюсь, что редакция поместит это мое письмо на своих страницах.

* * *

1967 год

А. Т. Шаповалову[89]

Дорогой Алексей Трофимович!

Вы себе даже и представить не можете, как мне было дорого Ваше письмо! Спасибо Вам за него большое! Среди многих моих недостатков одного все-таки нет: я не льстив, а посему примите мои слова как истинную правду: письмо Ваше свидетельствует о Вашей молодости — не в возрастном, но в духовном, моральном смысле, порядочности и гражданской принципиальности.

Поверьте, я бы не стал (так же, как и Вы) подробно разбирать коллизии, связанные с претензией т. Березняка на «майорство Вихря», не отдавай я себе отчета в том, что военно-патриотическое воспитание читателя, особенно молодого — задача обоюдоответственная: и для писателя и для непосредственного участника подвига.

Представьте себе только, Алексей Трофимович, каково было бы, начни М. Губельман кричать на каждом шагу: «Левинсон — это я! А Фадеев допустил ошибку в „Разгроме“ — наш отряд не разбили, а наоборот, мы одержали победу!» Или коли б какой-то генерал сейчас выступил в газете и сказал: «Товарищи, я — имярек — и есть Серпилин из „Живых и мертвых“, но Симонов оболгал меня, написав, что я курю „Беломор“, тогда как я — некурящий!» Смешно, не правда ли?

Тов. Березняк во всех своих многочисленных выступлениях в печати обвиняет меня в том, что я, во-первых, допустил ошибку, «погубив» Вихря, а он, то есть «я, Березняк» — жив; во-вторых, я вообще позволил себе много вымысла: и ограбления в кабаре не было (и не могло быть, ибо это не в манере советских разведчиков, — сказал однажды Березняк), и инженера крали не так (что же мне писать, как этот инженерный офицер хаживал по дамам?!), и что касаемо любви — там тоже все было не совсем так и т. д.

Мне казалось, что будет довольно жестоко, Алексей Трофимович, коли я выступлю в прессе еще раз и повторю, что т. Березняк — не есть прототип «Вихря» и что его претензии на судейство моей вещи выглядят по меньшей мере несолидно.

Я очень рад, что Вы пытались говорить об этом т. Березняку. У меня создается впечатление, что т. Березняк хочет приписать себе подвиги всех тех героев, которые помогали спасению Кракова. Нехорошо это и нескромно. Я преклоняюсь перед подвигами т. Березняка, Шаповалова, Церетели. Вероятно, и Вихрь, и Аня, и Коля были бы иными, не будь на свете тт. Березняка, Шаповалова, Церетели… Но, согласитесь, Алексей Трофимович, что достойнее нам всем, живым, строить память павшим, а не возводить себе прижизненный монумент.

Мне очень дорого то, что Вы отстаиваете правду — пусть только в беседах с т. Березняком. Правда — такая категория, которая вечна и неисчезаема. Согласитесь — то, что можно уничтожить правдой, — не существует…

Да, одним из «камней» в фундаменте образа Вихря была история побега т. Березняка с рынка, был его героизм в застенках гестапо, но зачем же т. Березняку ронять себя, «монополизируя» все права на Вихря, лишая права распространить подвиги Вихря и

на других наших разведчиков, действовавших в Кракове — живых и мертвых?! Скромно ли это? Достойна ли такая позиция?

Как поступить мне — не знаю. Выступить еще раз в печати? Каким должно быть это выступление? В связи с чем? Мне было бы очень важно узнать Вашу точку зрения, Алексей Трофимович.

Жду Вашего письма. Крепко жму Вашу руку. Всего Вам хорошего и еще раз спасибо за такое хорошее, честное и благородное письмо.

С глубоким уважением.

* * *

1967 год[90]
Прокурору Московской области
От
Семенова Ю.

Заявление

В ноябре 1962 года произошел несчастный случай на охоте, в результате которого погиб Н. Осипов. Стреляли в тот день два человека. Одним из стрелявших был я. На основании моих показаний против меня было возбуждено уголовное дело, и я был условно осужден в Мособлсуде.

Несмотря на то что я показывал, что я нарушил правила охоты, стрелял не со своего места и вдоль линии стрелков (или почти вдоль линии), ни на следствии, ни на суде виновным я себя не признал и по сей день не признаю.

Почему я не обжаловал тогда, пять лет назад решение Мособлсуда? Только потому, что я чувствовал: силы на исходе. В тридцать два года разыгралась гипертония, начали рваться сосуды на ногах. А мне надо было еще много написать из того, что задумывалось до 19 ноября 1962 года. И я написал с тех пор романы: «Петровка, 38», «Пароль не нужен», «Майор Вихрь», повесть «Дунечка и Никита», пьесы: «Петровка, 38», «Особо опасная», «Шоссе на Большую Медведицу», киносценарии: «При исполнении служебных обязанностей», «По тонкому льду», «Не самый удачный день», «Исход», «Пароль не нужен», «Майор Вихрь». Я работал все эти годы, не щадя себя, по десять-пятнадцать часов в сутки, но все время возвращался к тому трагическому случаю на охоте.

А ведь на судебном разбирательстве моя невиновность

открылась для меня с еще большей очевидностью после показаний второго стрелявшего в день охоты — С. Столярова.

Я не стану пересказывать всего этого объемного и эмоционального дела (подчеркивания отдельных фраз в тех или иных показаниях свидетельствуют об этом со всей очевидностью).

Я просил бы вытребовать это дело из архива Мособлсуда, прочитать его и сосредоточить внимание на трех основных документах:

1. Схема места происшествия — с моим к ней замечанием, зафиксированным прямо на схеме, и — обязательно — пересмотрев ее в связи с показаниями Столярова на суде, когда он утверждал, что стрелял он в лося СЗАДИ, когда тот отошел от него шагов на ДЕСЯТЬ.

2. Заключение баллистической экспертизы о том, что лось был убит выстрелом СПЕРЕДИ.

Если поверить этим двум документам (я не прошу верить моим показаниям), хотя я с самого начала следствия, еще до того, как пришла баллистическая экспертиза, утверждал, что я убил лося выстрелом спереди, справа — налево, т. е. так, как потом подтвердила экспертиза, то получится, что С. Столяров просто-напросто не мог убить со своего места лося.

Может возникнуть второй вопрос: если Столяров лося не мог убить и не убил, то тогда зачем он утверждал, что второй выстрел он произвел по второму лосю, в диаметрально противоположном направлении.

Я не хочу Вас просить о том, чтобы Вы ответили мне на этот вопрос. Я просил бы только об одном: вытребовать из Мособлсуда мое дело, ознакомиться с ним, вызвать меня для беседы (м. б. я все-таки ошибаюсь, тогда вокруг этого дела бушевали страсти, сейчас уже много лет прошло, можно объективнее все рассмотреть) и — если в Вас закрадется сомнение в правильности вынесенного против меня обвинительного вердикта — снять с меня эту тяжесть, которая ранит меня ежедневно и ежечасно, не потому что я ущемлен чем-то (судимости у меня нет, дело забылось и перестало быть притчей во языцех, вдова Н. Осипова может быть тоже вызвана Вами для беседы: в те годы она писала жалобы против меня во все инстанции, а сейчас, когда мы с ней видимся, она дает совсем иную оценку произошедшей трагедии), — не юридически меня что-то ущемляет, хочу повторить, но только морально.

Очень прошу верно понять мою просьбу. По одному и тому же делу, насколько мне известно, не могут судить дважды или двух. Я не прошу об этом. Я прошу снять с меня эту моральную, трагическую тяжесть — в том, конечно, случае, если Вы, товарищ

Прокурор, ознакомившись с делом, побеседовав со мной, найдете для себя бескомпромиссную возможность поддержать мою просьбу об отмене этого приговора об условном наказании и о прекращении этого дела.

* * *

15 декабря 1968
(к комсомольскому руководителю, фамилия отсутствует)

Уважаемый Евгений Михайлович!

Видимо, нет нужды теоретически обосновывать необходимость каждодневной, яростной, атакующей пропаганды Подвига. Следует, вероятно, приступить к практическому осуществлению этой задачи, к претворению ее в жизнь.

1. О театре «Подвиг». Во-первых, следовало бы сразу оговорить, что это будет Театр Цекамола. Во-вторых, следует отдать себе отчет в том, что сейчас театры — суть площадки для самовыражения таланта режиссера и актера на базе т о й или и н о й драматургии, в то время как наш театр должен быть театром т е м ы П о д в и г а, то есть таким театром, в котором драматурги будут главным «рычагом» репертуарной политики.

Несколько частных замечаний. В гостинице «Юность» есть зал, принадлежащий Комсомолу. Там и великолепно оборудованная сцена, и актерские комнаты, и замечательный зал на 600 мест. Следовательно, база, то есть то главное, без чего театр не может начаться, — есть.

Вопрос о труппе. Можно было бы предложить нескольким выпускным курсам московских театральных училищ сделать дипломы по тем пьесам, которые им будут рекомендованы. Это будет своеобразный конкурс: тот курс, который сделает наиболее интересный спектакль, и станет впоследствии главным костяком труппы.

О режиссерах. Наш театр не должен быть театром одного режиссера. Наоборот, следует приглашать разных режиссеров, с тем чтобы не было творческого диктата и застоя.

Я вел предварительные переговоры с Ю. Бондаревым, Р. Карменом, М. Жаровым, Ю. Егоровым, М. Шатровым, В. Туром, А. Адамовым, В. Липатовым — все эти и многие другие писатели и режиссеры готовы сотрудничать в новом театре.

Вопрос заключается лишь в том, чтобы Театр из мечты сделать явью, реальностью…

2. О телевизионной программе «Подвиг». Телевидение имеет

про граммы «Время», «Горизонт», «Кинопутешествия»… Нет только про граммы «Подвиг». Программа «Подвиг» не должна дублировать благородной работы С. С. Смирнова. Отнюдь. Он обращен в своем по иске лишь к героям Великой Отечественной войны. Программа «Подвиг» может и должна обращаться и к первым годам революции (неиспользованные богатства архивов Советской армии, Октябрьской революции, Центрального партийного архива) и — главное — к сегодняшнему дню.

Где черпать материалы? Если бы по согласованию с тов. Месяцевым была создана редакция «Подвиг», то можно было бы очень быстро наладить связи с МВД СССР, КГБ при СМ СССР, Прокуратурой СССР, Министерством обороны СССР, с Министерством морского флота, с Министерствами геологии, авиации, рыбной промышленности (рейсы в Атлантику и в Тихий океан), с Академией наук СССР.

Как строить программу? Здесь есть несколько «отмычек». И доверительный, писательский, журналистский рассказ о подвиге, и кадры хроники, и игровые куски.

3. «Комсомольская правда» согласна дать ежемесячную рубрику «Подвиг». Это должен быть разворот или полоса, целиком посвященная подвигу: чекиста, ракетчика, сыщика, геолога, пограничника, летчика полярной авиации, нашего современника, молодого человека, комсомольца.

4. Если мы смогли бы практически осуществить эту программу, следовало бы впоследствии обратиться в ЦК КПСС с просьбой передать ЦК ВЛКСМ Ялтинский филиал киностудии имени Горького, для того чтобы на базе этих неиспользованных возможностей — экономических (студия часто простаивает, особенно в зимние месяцы), климатических (я видел Голливуд, их климатические условия идентичны ялтинским и эксплуатируются разумно и жестко в отличии от ситуации в Ялте) и творческих (в Ялте нет своего сценарного отдела, Ялта сейчас — придаток Москвы, а это — неэкономно!) — создать кинообъединение ЦК ВЛКСМ «Подвиг», сделать киноцентр Страны для детей и — главное — юношества.

Для того чтобы приступить к реальному осуществлению этих мероприятий, если конечно же они представляются Вам целесообразными, следовало бы организовать при Бюро ЦК ВЛКСМ Штаб «Подвига» во главе с одним из секретарей ЦК; «Штаб» не должен быть многочисленным и «показушным» — он обязан быть локальным и работоспособным. Помимо Г. Бережного, К. Молодого, В. Ильшина и еще двух-трех общеизвестных в СССР Героев Труда должны войти представители заинтересованных министерств и ведомств, а также группа, опять-

таки не столь многочисленная — писателей, журналистов, режиссеров и актеров, например: А. Адамов, Э. Кеосоян, О. Горчаков, Н. Губенко, А. Михалков-Кончаловский, В. Липатов, А. Попов.

Начальник штаба «Подвиг» и два-три его заместителя могли бы в сжатый срок подготовить рабочие материалы для практического рассмотрения комплекса этих вопросов на Секретариате ЦК ВЛКСМ.

Вот вкратце те соображения, которыми мне, Евгений Михайлович, и хотелось с Вами поделиться.

С уважением Юлиан Семенов.

* * *

1969 год
Ленинград, «Ленфильм»

Творческая заявка на фильм[91]

В настоящее время я работаю над новым кинороманом под названием «Семнадцать мгновений апреля». Кинороман посвящен подвигу Максима Максимовича Исаева в последние дни войны, в апреле 1945 года.

С помощью полковника немецкой военной разведки Берга, завербованного нашими людьми в Кракове, в сорок четвертом году, Исаев входит в контакт с Фогеляйном — одной из наиболее загадочных фигур в гитлеровской иерархической системе. Тридцатичетырехлетний генерал СС, шурин Гитлера — он был расстрелян в бункере рейхсканцелярии за несколько дней до краха Третьего рейха. По утверждению генерала Р. фон Бамлера, проживающего ныне в Потстдаме и являющегося генералом в отставке Народной армии ГДР (в прошлом он был одним из заместителей Канариса, но, попав в плен, как командир дивизии вместе с Паулюсом он вошел в Комитет «Свободная Германия» и очень много сделал для борьбы с гитлеризмом), Фогеляйн оказал помощь нашей разведке и за это был казнен.

Подробности, рассказанные мне Бамлером, определенные материалы, подобранные в архивах кино ГДР, позволяют считать эту версию в определенной мере достоверной.

Исаев не только сумел похитить секретные архивы СД, касающиеся агентуры СД и СС, оставленной в наших тылах, но и открыл код «Вервольфа», подпольной гитлеровской организации,

призванной поднять «партизанское движение» против советских войск.

Исаев через Берга, вхожего к Фогеляйну (а сам Исаев известен в СД как полковник фон Штирлиц), выходит на сепаратные переговоры между Гиммлером и представителями шведского Красного Креста о заключении одностороннего договора с западными союзниками.

В этом кинороман будут показаны последние дни гитлеризма, агония партийного, военного и административного аппарата рейха.

Основным же стержнем новой вещи будет показ подвига советского разведчика — нелегала Исаева — фон Штирлица в неимоверно сложных условиях гитлеровского режима.

Кинороман будет закончен летом этого года.

* * *

1970 год
Демичеву П. Н.

Уважаемый Петр Нилович!

Работа над циклом романов «Пароль не нужен», «Майор Вихрь», «Семнадцать мгновений весны», «Похищение бриллиантов» (этот роман будет опубликован в журнале в начале следующего года)[92] все эти вещи объединены «сквозным» героем — привела меня к завершающей теме. Новый роман будет называться «Бомба для господина председателя».

Схематично сюжет, построенный на документальной основе, сводится к следующему: гитлеровский военный преступник, миллионер Флик, осужденный Нюрнбергским трибуналом, был «вытащен» из тюрьмы и приведен к новому могуществу американской банковской группой — в основном сионистской. То есть: сионисты привели к экономическому могуществу в ФРГ человека, известного своим звериным антисемитизмом во времена Гитлера. Сейчас Флик — основной финансист неонацистов фон Таддена.

Более того: представители Флика и связанные с ним преступники из «И. Г. Фарбениндустри», поставлявшие в свое время для Гиммлера газ «Циклон», сейчас ведут через Гонконг и Макао серьезную торговлю с режимом Мао.

Японские промышленники, с которыми мне приходилось беседовать, высказывают убеждение, что немцы поставляют Мао стратегические товары, приобретенные в США, необходимые для

ядерных испытаний.

Экстремистские круги ФРГ, выступающие против урегулирования отношений между СССР и Западной Германией, делают ставку на атомное оружие Бонна. Они нуждаются в атомном полигоне. В Европе такого полигона нет, в Сахару не пустят французы, а за атоллами Тихого океана ревностно наблюдают англо-американцы.

Следовательно, для реваншистов, типа Флика, остается один выход: идти на контакт с группой Мао и совместно работать на Тибетском атомном полигоне.

Все материалы, относящиеся к этой теме, которые есть в СССР, мною проштудированы и переведены. Работа над романом вступила в заключительную стадию, когда мне необходимы встречи с рядом людей в США, Испании, ФРГ и Гонконге. (Среди лиц, с которыми я имею возможность встретиться, — сорокалетний директор фликовского концерна фон Браухич, директор меллоновского банка в Нью-Йорке, Скорцени — в Мадриде и т. д.)

Я был убежден, что эти встречи позволят мне сделать роман более выверенным. Я был убежден также, что встречи эти дадут материал для выступления в периодической печати с циклом контрпропагандистских очерков.

(Именно в результате журналистских командировок во Вьетнам, к партизанам Лаоса, в Западный Берлин, Японию, Сингапур мною были напечатаны очерки в «Правде», «Комсомольской правде», «Литературной газете», «Труде», а также написаны книги «Семнадцать мгновений весны», «Он убил меня под Луанг-Прабангом», «Вьетнам — Лаос, 1968».)

«Труд» и «Литературная газета» вошли в инстанцию с просьбой командировать меня в США и Испанию, причем целесообразность поездки в Испанию была согласована в Международном отделе ЦК КПСС.

Однако, как мне стало известно, работники Агитпропа посчитали мою командировку ненужной и предложили редакции отозвать предоставления на поездку. Причина? Семенов слишком много ездит.

Может быть, это нескромно, Петр Нилович, но товарищам стоило бы сформулировать отказ иначе: Семенов слишком много пишет, ибо в последний раз я был в командировке в феврале 1969 года, то есть более года тому назад. (Туристические же поездки, как мне кажется, в графу командировок не входят.)

Никто не посчитал своим товарищеским долгом вызвать меня в отдел, побеседовать, справиться о творческих планах и т. д. и т. п. Товарищи, как я слышал, посчитали за бестактность также и

то, что в инстанцию вошли одновременно две газеты с предложением о командировке в две разные страны на почти в одно время.

Если бы меня вызвали в отдел, то я объяснил бы товарищам, что это обусловлено следующим обстоятельством: виза в Испанию получается с большим трудом, а в США я могу получить визу с помощью Мэри Хемингуэй, которая согласна быть моим «гарантом». Но это — технология, и я не смею отнимать у Вас, Петр Нилович, время на эти аспекты проблемы.

Возвращаясь из командировок, я писал записки: будь то беседа с принцем Суфанвонгом в Лаосе, будь то дискуссия с лидерами Внепарламентской оппозиции в Западном Берлине или встречи с идеологами партии Комейто в Японии — насколько мне известно, эти записки были направлены в свое время газетой «Правда» в ЦК КПСС. Я и в этом хотел быть солдатом, который может и должен приносить пользу Родине.

Понять отказ в разрешении на командировку я не могу, Петр Нилович.

Очень прошу Вас помочь мне.

С искренним уважением, Юлиан Семенов.

* * *

Начало 1970-х гг.
В киностудию имени Горького

Творческая заявка[93]

В течение долгого времени я подбирал документы, относящиеся к великолепному подвигу Н. Н. Миклухо-Маклая — гражданина, ученого, патриота, гуманиста.

Австралийские компании, убежден, с радостью пойдут на совместную с нами постановку картины о жизни Н. Н. Миклухо-Маклая, о его верном друге — жене, дочери австралийского аристократа, пошедшей на разрыв с домом из-за высокой своей любви к русскому ученому, о его путешествиях по островам Тихого океана — путешествиях, полных приключений, опасностей, германо-русских интриг.

Это последнее — русско-германские интриги, экспансия Бисмарка в бассейн Тихого океана, инертность русского царизма, его узкоумие позволяют в будущем сценарии дать не только увлекательный (я не боюсь сказать детективный по внешнему

ходу сюжет), но и показать все драматическое борение страстей в мире, которое проявлялось в двух отношениях к нашим «младшим» братьям — к туземцам далеких островов: отношение снисходительного барства и отношение Человека, исповедующего Братство и Равенство.

В случае, если студия заинтересуется этой совместной постановкой — в Крыму это, увы, снять нельзя, — тогда можно было бы в самое короткое время представить сценарий под условным названием «Спасите наши души!».

С уважением, Юлиан Семенов.

* * *

1975 год
В Пресс-группу КГБ при СМ СССР

Уважаемые товарищи!

Роман «30 июня», являющийся продолжением «Альтернативы», есть форма социального заказа: борьба против всех и всяческих проявлений буржуазного национализма, который суть — оружие третьей силы, иностранной державы, вражеской идеологии.

Роман написан на основании фактического материала, опубликованного на Украине Климом Дмитруком и В. Кардиным, авторами, много лет отдавшими борьбе с буржуазными националистами.

Никакими закрытыми материалами архивов я не пользовался.

Роман был принят к публикации в газетах «Вильна Украина» (Львов) и «Советская Украина» — орган ЦК КПУ. Однако, товарищам в редакции было сказано в местном Главлите, что, поскольку «Штирлиц работает в Центре», то необходимо разрешение Центра на опубликование романа, где действует Штирлиц. Товарищей интересовало, не несет ли в себе образ Штирлица каких-либо военных или государственных тайн, известных ему, как «работнику Центра».

Идеологическая целесообразность и нужность романа объяснена в предисловии Миколы Гнидюка к русскому изданию для «Огонька», где роман принят и должен быть полностью опубликован.

Просил бы санкционировать издание романа, ибо, как и все остальные мои работы, он построен на открытой, научной, советской историографии, а фигура Штирлица является тем

магнитом, который должен повести читателя, особенно молодого, через все дьявольские хитросплетенья гитлеровцев в их борьбе за мировое господство.

Приятно, конечно же, когда о твоем герое говорят и думают, как о герое реальном; обидно то, что это начинает мешать этому вымышленному герою скорее и целенаправленнее выходить на широкого читателя, особенно на украинского — в год тридцатилетия Победы.

Обе газеты ждут разрешения «Центра, где работает Штирлиц». Обе газеты ждут подтверждения тому, что никаких государственных и военных тайн в романе не открыто.

Очень прошу уважаемый Центр дать скорейший выход интернационалисту Владимирову-Исаеву-Штирлицу на открытый бой с националистами.

С уважением, Юлиан Семенов.

* * *

03. 05.1978 года
В Секретариат Правления СП РСФСР

Дорогие товарищи!

В 1981 году мне стукнет полсотни (надо бы конечно же дожить). Поскольку работа наших издательств планируется далеко вперед, просил бы поддержать мою просьбу об издании двухтомника «Избранное» в Гослитиздате.

За двадцать лет профессиональной литературной работы меня ни разу не издавали ни в Гослитиздате, ни в «Роман-газете», — ну да бог с ним, что о прошлом, о будущем думать надобно.

За двадцать лет работы написано немало, однако в гослитовский двухтомник я бы хотел включить лишь часть моей работы, отчитаться перед нашим читателем романами об Исаеве-Штирлице.

Был бы вам сугубо признателен, товарищи, если бы вы сочли возможным поддержать мою просьбу и обратились с письмом в Госкомиздат СССР о включении в план Гослитиздата на 1981 год двухтомника «Избранное».

С глубоким уважением, Юлиан Семенов.

* * *

1979 год

Письмо Ю. В. Андропову[94]

Дорогой Юрий Владимирович!

Простите, что снова тревожу Вас письмом: на сей раз оно — сугубо творческое. Дело в том, что сейчас, во время подготовки к съемкам многосерийного телевизионного фильма «ТАСС уполномочен заявить…», «коса» артистизма нашла на «камень» производства.

Дело обстоит следующим образом: сценарий состоит из девяти серий, в то время как по обычным нормативам Гостелерадио фильм обязан быть семисерийным — и все тут! Понятно, растяжки и затяжки мешают творчеству, но мы просто-таки не умещаемся в семь серий!

Чтобы не было упреков по «гонорарной части», мол, группа создателей фильма хочет «подзаработать», — мы внесли предложение: «разрешите нам снять семь серий, но увеличенного метража — вместо того чтобы серия по нормативам была уложена в один час пять минут, мы уложим ее в один час двадцать пять минут». И здесь — производственные трудности, ибо надо получать дополнительное финансирование на пленку, декорации, зарплату осветителям, шоферам, декораторам, в противном случае, будет страдать коллектив Киностудии имени Горького, принявший заказ от Гостелерадио.

Я не смею загружать Вас перечислением технологических деталей кинопроизводства, — увы, оно чрезмерно громоздко. Однако убежден: один Ваш звонок С. Г. Лапину сразу решит проблему: либо семисерийный фильм с дополнительным финансированием производства, либо девятисерийный, утвержденный уже и одобренный.

Не сердитесь за то, что отрываю Вас от Ваших дел.

Счастья Вам и добра,

Ваш Юлиан Семенов.

* * *

1979 год
ФРГ[95]

Уважаемый Николай Германович!
Итак, отвечаю на Ваши вопросы.

1. Позволю себе не согласиться с самой формулировкой. Мне кажется, что истинные писатели Запада вовсе не замыкаются в изображении «любви» героев либо в их самовыражении. Впрочем, термин «любовь» — всеобъемлющ и многопланов. Любовь Роберта Джордана в «По ком звонит колокол» Хемингуэя позволяет великому американцу подняться до громадной важности философских обобщений; весь «Фауст» Гете посвящен «любви», т. е. желанию остаться навечно… Или вспомните «Анну Каренину». А «Война и мир», любовная линия Наташи? Пьера? Князя Андрея? А Шолохов? А Паустовский? А Юрий Казаков? А Бабель? А Ремарк?

Философская социальная проблематика наличествует в книге истинного писателя; литература потребительства не интересует меня. Самовыражение интересно в том случае, коли есть что выражать. Агата Кристи, например, суть явление математического, а не литературного плана, она — конструирует свои книги, в то время как мастер французского детектива Жапризо (это — молодая волна), как и Сименон, как и Грэм Грин, «самовыражают» героев, которые интересны, ибо полны мыслями и истинными чувствованиями.

Коли говорить о моих персонажах (я, правда, не люблю этого делать, сие отдает саморекламой, ценить работу писателя — дело читателя, в худшем случае — критика), то повесть «Дунечка и Никита» посвящена любви, ее счастью и горю; «Он убил меня под Луанг-Прабангом», в которой я рассказываю о партизанах Лаоса, вместе с которыми я жил во время войны в 1967—68 годах, — это, если хотите, повесть о любви русского и американского журналистов, оказавшихся по разные стороны баррикады. Да и в тех же «17 мгновениях весны», в «Альтернативе», в «Бомбе для председателя» я пишу любовные отношения героев: миллиардер Дорнброк — любит японку Иисии; Штирлиц хранит в сердце любовь к той женщине, с которой он познакомился во Владивостоке в 1921 году; а в «Бриллиантах для диктатуры пролетариата» я пишу любовь врага, графа Воронцова, и делаю это с состраданием к человеческой трагедии.

Что касаемо самовыражения… Мысль героя, его слово — это и есть его самовыражение. Вопрос заключается в том, какова и н ф о р м а ц и я, заложенная в его мыслях и словах. Я полагаю, что полнее всех п р о и н ф о р м и р о в а л читателей мира о французской женщине Гюстав Флобер в его «Мадам Бовари», а не Франсуаза Саган, к которой, впрочем, я отношусь с уважением как к писателю.

Самовыражение, любовь, горе, счастье моих героев не отличаются от таких же чувств персонажей моих западных коллег, только, может, разнится м е т о д, ибо мои герои часто действуют в экстремальных ситуациях борьбы против гитлеризма или в годы революции; впрочем, и в этом мы не разнимся — вспомните книги Хемингуэя, Ремарка, Гюнтера Граса, Грэма Грина, Гарсиа Лорки.

2. Меня остро интересует проблема терроризма, начиная с Варфоломеевской ночи и по сегодняшний день; трагедия Альдо Море, Альенде… Обращение к истории моей страны и к истории других стран поможет мне выстроить концепцию и написать цикл романов на эту тему.

3. Вопрос в определенной степени деспотичен, ибо назвать только три имени, значит — на деле — отринуть еще, по крайней мере, три. Поэтому я скажу так: для меня высоким откровением и счастьем был Хемингуэй, Ремарк, Гарсиа Маркес («Сто лет одиночества»), а также Грэм Грин; Ян Парандовский, Пристли, Джером Сэлинджер («Над пропастью во ржи»), Кобо Абэ и многие другие. Что касается русских писателей, то начать я обязан с Пушкина, Салтыкова-Щедрина, Горького, а кончить Пастернаком, Паустовским, Леонидом Леоновым и Шолоховым.

* * *

1979 год
ФРГ
Письмо графу Ламздорфу[96]

Уважаемый господин Ламздорф,

передавая Вам эту анкету, я обращаюсь к Вам не только в качестве журналиста, но и как писатель, так как в будущем намерен написать книгу.

Я был бы Вам очень признателен, если Вы, при возможности, ответите на вопросы, которые покажутся Вам интересными.

Я надеюсь, что опубликование Ваших ответов (или ответ на один из Ваших вопросов) в «Литературной газете» сыграет роль в

дальнейшем улучшении взаимопонимания между нашими народами, так как литература и искусство по своей сути призваны приносить знание, а истинное знание позволяет достичь взаимопонимания и мира.

С глубочайшим уважением, Юлиан Семенов.

Президент международной комиссии Союза писателей Русской Социалистической Федеративной Советской Республики.

Редактор бюро «Литературная газета» в Бонне.

1. Вы читали Льва Толстого? Если да, то какой роман?
2. Какое произведение Л. Толстого Вам запомнилось и почему?
3. Считаете ли вы Достоевского исключительно писателем или создателем новой философской школы?
4. Почему, по вашему мнению, Александр Пушкин, известный в России как выдающийся поэт, историк и политический деятель, на Западе неизвестен?
5. Вы знакомы с русской «критической школой» (Белинский, Добролюбов, Чернышевский), которые познакомили русское общество с идеями Вольтера и Гегеля?
6. Вы знаете поэмы Маяковского, Пастернака, Твардовского, новеллы Бабеля и Айтматова, рассказы Фадеева и Василя Быкова?
7. Вы согласны с тем, что театральные школы Станиславского и Мейерхольда повлияли на развитие театра в Западной Европе?
8. Вы знаете русских композиторов: Чайковского, Глинку, Рахманинова, Стравинского, Хачатуряна, Шостаковича? Кому вы отдаете предпочтение?
9. Каких русских живописцев, начиная с создателей старой русской школы иконописи Рублева и Грека и заканчивая живописцами прошлого и начала этого века, вы знаете: Сурикова, Репина, Коровина, Кончаловского, Кандинского, Шагала, Петрова-Водкина?
10. По вашему мнению, насколько целесообразно издание в Федеративной Республике Германии альбомов русских и советских живописцев?
11. Каких советских режиссеров, считающихся создателями нашего кинематографа, вы знаете: Эйзенштейна («Броненосец „Потемкин“»), братьев Васильевых («Чапаев»), Пудовкина («Мать»), Дзигу Вертова (документалиста), Романа Кармена (военного корреспондента)?
12. По вашему мнению, насколько целесообразно демонстрировать старые классические советские фильмы в кино и по телевидению ФРГ, как это уже делается во Франции и Испании?

* * *

1980 год

В редакцию «Литературной газеты»[97]

Дорогие товарищи!

Я получил письмо директора издательства и главного бухгалтера, изучил его и принял к сведению. Я готов возместить перерасход. Но хочу при этом обратить ваше внимание на следующее:

1. На содержание автотранспорта и перемещения мне отпущено по смете 700 марок на квартал. Однако стоимость страховки автомашины в год составляет 3800 марок, то есть на 1000 марок больше, чем мне отпущено на перемещения. Перемещаться, следовательно, я не могу, не на что, но — я все-таки перемещаюсь, ибо иначе незачем быть корреспондентом на несколько стран Западной Европы. Видимо, следовало бы позволить мне — поставив об этом в известность Мин. фин. и добившись от него выделения особой сметы на страховку, — п е р е б р а с ы в а т ь из других статей, в которых я могу экономить, в статью «перемещения» и «командировки».

2. Что касается командировок. Мне отпущено на эту статью 750 марок в квартал. Поскольку интересы газеты распространяются на 4 страны, проведем подсчет:

а) Ночевка в отеле — особенно в Голландии и Швейцарии — составляет не менее 50 марок в сутки (это — простите — без туалета). Если р а з б р о с а т ь на квартал всего 10 (!) дней командировок, то я уже выхожу из графика, учитывая командировочные!

б) Поиск следов похитителей нашего культурного богатства предполагает мобильность — аукцион может состояться то в Швейцарии, то в Амстердаме, то в Нюрнберге; б ы в ш и е разбросаны по всей ФРГ, по телефону с ними не очень-то поговоришь, на письма не отвечают, боятся, следовательно, путь один — командировки, встречи, н е т о р о п л и в ы е беседы.

Поэтому очень прошу ходатайствовать перед Минфином о разрешении перебрасывать средства из других статей, не и с п р а ш и в а я средства на дополнительное финансирование корпункта, — в статью «командировки».

С уважением,

Юлиан Семенов.

* * *

1981 год
на киностудию им. Горького

Дорогие товарищи!

Впервые просмотрев материал[98], собранный воедино и осмысленный режиссером-постановщиком концепционно, я должен с грустью констатировать, что Борис Григорьев, видимо, не смог понять специфику многосерийного политического телефильма; материал говорит о том, что режиссер тянет группу к созданию кинофильмов, а отнюдь не телеполотна.

По пунктам:

1. В картине очень мало крупных планов; такие актеры, как Тихонов, Губенко, Ледогоров, Петренко, Глузский, лишены воздуха, они вынуждены торопиться, вместо того чтобы осмыслить, смотреть вокруг себя, в работающий телевизор, в окно.

2. Боязнь режиссера «кабинета» приводит к тому, что сцена беседы Тихонова и Глузского о з а г о в о р е против республики происходит почему-то в заросшем парке, внимание телезрителя расковано, нет пристальности, нет осмысления важности, глобальности стоящей перед ЧК проблемы.

3. Сцена на мосту также не решена: третий там — лишний совершенно: сцену надо снимать в кабинете, с макетом, с кадрами, на котором мост живет своей жизнью, с возможностью остановить кадр, продумать, где строить бензоколонку, куда подгонять кран и т. д. и т. п. — об этом многажды говорили консультанты, но к их словам не прислушался наш режиссер.

4. Почему в сцене больницы герои движутся?! Это ж мешает главному — узнаванию того, что Винтер не была отправлена на вскрытие. Все это трепыхание в кадре мешает телепроизведению, показывает неверие режиссера в с л о в а автора и г л а з а наших великолепных артистов, а успех телефильма — это именно слово и лицо, глаза артистов, особенно таких замечательных, как наши.

5. Отчего в сцене в тюрьме не подложен кадр знойного неба?! Отчего актеру не дана задача томиться от зноя? Отчего он выборочно потен, а не сплошь? Отчего он не оброс бородой, отчего рубаха не порвана, отчего под глазом нет фингала?! Почему под глазами не набрякли отеки?! Его же пытают в жаркой камере! Отчего нет ни одного крупного плана в этой тюремной сцене? Почему я не вижу глаз? Почему негритянский актер т а р а б а н и т слова? Дайте ему хоть послушать Губенко, коли он играть не может! Пусть слушает!

6. Почему сцена Дик-Славин-Глэбб снята с неверием в нее?! Зачем надо рвать эту сцену кадрами похорон?! Этот монтаж —

как теперь стало ясно на экране — категорически неприемлем в сложном телефильме.

Есть иные монтажные стыки: опять-таки, крупные планы, запись беседы с Лоренсом, наблюдение в бинокль за номером Славина во время этой их беседы.

Я не понимаю, отчего чуть ли не за год съемок ни разу не попробовать прием шифровок?! Почему бы не дать перед встречей Славина с Диком крупный план Тихонова и на нем текст: «Найдите возможность установить контакт с Глэббом. Попробуйте выяснить все, что можно о Кармен-Пилар Фернандес. Соблюдайте максимум осторожности. По нашим сведениям, Пол Дик не связан с ЦРУ и его отношения с Глэббом носят чисто приятельский характер. Центр».

Почему это не сделано?! Лень? Или нежелание понять ленту? Нежелание п р о б о в а т ь, искать? За последние месяцы режиссер вообще перестал звонить и консультироваться — полная глухота. Отчего? Все ему ясно? Не думаю. Не убежден.

7. Почему до сих пор актерам и съемочной группе не были показаны сцены хроники нашего акта № 3?! Ведь художник будет совершенно иначе себя ощущать, если он поймет, с чем он с о п р я ж е н! В какие события задействован!

Я бы хотел выслушать мнение Б. Григорьева — как он относится к моим соображениям.

Лишь это даст возможность внести ряд конкретных предложений по укрупнению смысла нашей телеленты.

Пока я просил бы администрацию нашей картины подобрать следующие подробные сюжеты:

а) агрессия ЦРУ в Гватемале, 1953 год; б) агрессия израильтян в Ливане в 1956 году; в) агрессия Израиля, Англии и Франции против Египта в 1956 году; г) убийство Лумумбы; д) война во Вьетнаме, переворот против Нго Динь Дьема; е) убийство Альенде; ж) убийство Омара Торрихоса; з) убийство Садата; и убийство агентами ЦРУ и израильской секретной службы, внедренными в ряды арабского освободительного движения, спортсменов Израиля в Мюнхене.

Эти кадры, — как и реакция на них в ООН, в столицах мира, персоналиями, — позволят Константинову с ю ж е т н о вести поиск связей Глэбба — Шанца, укрепляя таким образом позиции Славина.

В повести, легшей в основу сценария, доказательно и понятно расставлены все акценты — прошу простить меня за такое утверждение, я был бы рад сказать, что акценты более точны в отснятом материале, но этого сказать я не вправе.

Предложенный режиссером монтаж в нынешнем рваном виде

я не принимаю, прошу собрать сцены в сцены, а не в дивертисмент! Готов предложить свои услуги и собрать тот монтаж, который бы соответствовал политическому звучанию ленты; хочу надеяться, что Борис Григорьев примет мое предложение. В случае же его отказа — я намерен защищать свое авторское право, ибо ответственность на нас лежит слишком высокая, и мы не вправе подводить тех, кто нам поверил и кто нам доверил эту работу.

С уважением, Юлиан Семенов.

* * *

1982 год
Письмо Сержу Лифарю

Уважаемый Сергей Михайлович!

Сердце мое разрывалось от боли, когда я видел, как русская культура расходилась по миру в Лондоне.

Спасибо барону[99], он спас для России Коровина, Шервашидзе, Ларионова, да и самого Лифаря, купив Ваш портрет Кохно, — все это будет выставляться у Бахрушина и, понятно, в Третьяковке.

Теперь по поводу писем Пушкина и стихов Лермонтова.

Сергей Михайлович, Россия просто не сможет простить, если это уйдет в частные коллекции, Вы же знаете, как Пушкинский Дом ждет их.

Я обращаюсь к Вашему русскому сердцу, Сергей Михайлович! Жизнь человека — это память по нем.

Если Вы подарите Пушкина и Лермонтова России, память о Вашем благородстве будет вечной, а не преходящей, как в иных странах и весях: пока на виду — все говорят, а стоит отойти от дел — полнейшее забвение.

Я убежден, что Пушкинский Дом устроит п о с т о я н н у ю экспозицию дара Сергея Лифаря Родине. Разве это не жизнь в памяти народа?!

Жду Вашего письма. Возможно, у Вас есть какие-то предложения или условия. Изложите их мне.

Все-таки Дягилева издали в Москве, а не здесь, на Западе, Сергей Михайлович…

Ваш Юлиан Семенов.

P. S. Очень, очень жду Вашего ответа, каким бы он ни был[100].

* * *

Начало 1980-х гг.
Ю. В. Андропову.

Уважаемый Юрий Владимирович!

Понимая Вашу занятость, я буду предельно краток, и вопросы, волнующие меня, постараюсь изложить в сугубо конспективном плане.

1. Так называемый «жанр детективной литературы», иначе говоря жанр остросюжетного утверждения подвига, сильного характера, героики, находчивости, бдительности и высокой интеллигентности, — увы, находится и в театре, и в кино, и в литературе на положении некоего коммерчески выгодного, но — тем не менее — изгоя. К сожалению, никто не хочет по-настоящему задуматься над тем, отчего именно этот жанр у наших идейных противников является отнюдь не статьей дохода, но средством в идейной борьбе.

Видимо, не стоит отнимать Ваше время на анализ вопроса: отчего так произошло в нашей литературной и театральной критике?

Видимо, более целесообразно вынести на Ваш суд некоторые организационные предложения:

а) следовало бы продумать вопрос об организации в Москве театра «Подвиг». В том случае, если Исполком Моссовета выделит нам цокольный этаж в одном из новостроящихся зданий либо, наконец, передаст один из новостроящихся кинотеатров, то большой отряд драматургов, режиссеров и актеров с радостью примут участие в создании спектаклей о наших сыщиках и военных разведчиках — с первых дней революции и до сегодняшнего дня. Убежден, что в самое короткое время такой театр завоюет широкую популярность — особенно среди молодого зрителя;

б) следовало бы продумать вопрос об организации на базе Киностудии имени Горького, которая имеет филиал в Ялте, творческого объединения «Подвиг». Здесь, так же как и вокруг театра, могли бы сплотиться кадры писателей — Михаил Шатров, Афанасий Салынский, Юрий Бондарев, Виль Липатов, Петр и Валерий Тур (с некоторыми из них я имею предварительную договоренность); режиссеры — заслуженные деятели искусств Юрий Егоров, Станислав Ростоцкий, Евгений Ташков, Борис Григорьев, Анатолий Бобровский;

в) следовало бы продумать вопрос о создании (либо на базе СП СССР, либо на базе издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая

гвардия») литературно-художественного ежемесячника «Подвиг».

В том случае, если бы эти вопросы были бы решены положительно, мы не на словах, но на деле сможем доказать важность темы утверждения подвига в произведениях приключенческого жанра (я по привычке опасаюсь назвать этот жанр детективным).

2. О контрпропаганде. Представляется возможным считать, что наши журналы и газеты еще недостаточно боевито и ярко показывают язвы капиталистического Запада и Востока. А стоило бы вспомнить Джека Лондона, историю его превращения в оборванца, историю его жизни в рабочем районе английской столицы. Стоило бы вспомнить картину Якобьеты «Собачья жизнь», в которой он одну кинематографическую часть (десять минут киновремени) отдает показу Гамбурга, крупнейшего порта в стране «экономического чуда». Он показывает нищих оборванцев, голодных старух, юношей, валяющихся на тротуарах. Не пора ли перестать отдавать на откуп западным писателям, режиссерам и журналистам показ страшных язв у наших идейных противников?

3. Заранее оговариваюсь, что этот пункт, вероятно, может и должен быть подвергнут дискуссии. Вероятно, здесь я «залезаю» не в свою область. Суть вопроса заключается в том, что наши писатели и кинематографисты вынуждены при показе героического подвига солдат незримого фронта занимать оборону — вместе со своими героями. Не скрою: довольно обидно, когда болгарский писатель Гуляшки показывает своих героев в наступлении, в преследовании врага; чешский писатель Иржи Прохаска имеет такую же возможность, в то время как мы практически этой возможности лишены. А разве мы не могли бы показать борьбу наших разведчиков с фашистскими недобитками в шпионских школах на Западе? Разве мы не могли бы показать историю поисков фашистских преступников, лютовавших на нашей земле и обитающих ныне на Западе[101]? Словом — не пора ли в литературе подвига перейти от активной обороны к прямому наступлению?

Вот, сугубо конспективно, тот круг вопросов, которые бы мне хотелось, Юрий Владимирович, вынести на Ваше рассмотрение.

В том случае, если эти предложения (особенно организационного плана, т. е. пункты «а», «б», «в») покажутся Вам целесообразными, то можно было бы в самый короткий срок разработать все конкретные предложения.

С глубоким уважением, Юлиан Семенов.

* * *

24.06.1984 года
В редакцию газеты «Советская Россия»

Я прочел в вашей газете рецензию Т. Ивановой, посвященную, в частности, моему роману «Пресс-центр».

Нет смысла писать письмо с жалобой на то, что рецензент удосужилась ни словом не обмолвиться про то, что роман посвящен трагической судьбе центральноамериканского государства, ставшего очередной жертвой американской военщины; так называемой свободе слова в странах «неограниченных возможностей самовыражения»; исследованию структур финансового капитала, на службе которого находится и ЦРУ и Пентагон, да и сам нынешний президент США. В конце концов можно допустить, что рецензенту вообще чужда подобного рода тематика — о вкусах не спорят.

Можно допустить также и то, что рецензент человек пристрастный, г р у п п о в о й, — увы, сие бывает в литературном мире, ситуация стародавняя, не в этом веке родившаяся. Однако же пристрастия в какой-то мере объяснимы, когда они появляются в чисто литературном издании, каковым газета «Советская Россия» не является, что конечно же в корне меняет дело.

Впрочем, даже пристрастием нельзя объяснить оскорбительный пассаж рецензента, в котором она смеет сравнивать советского героя Степанова с иностранным туристом: я привык к тому, что в программах радио «Свобода» на Степанова злобно нападают всякого рода перевертыши, обвиняя его в семи смертных грехах, но обвинение такого рода, которое выдвинуто на страницах советской прессы, я читаю впервые.

Тем не менее не это побудило меня написать открытое письмо в редакцию. Покоробило и насторожило меня то, что т. Иванова упрекает меня и Проханова (обоим досталось) в обильном употреблении нерусских имен, в которых-де наш читатель «путается», перестает из-за этого понимать смысл происходящего.

Если бы Пушкин написал только «Дон Хуана», «Скупого рыцаря» или «Моцарта и Сальери» (заметим, все имена — иностранные), он бы и с этими работами вошел в мировую историю. Почему бы не поставить, — следуя логике Т. Ивановой, — в упрек Лермонтову, что свою героиню он назвал «Мэри», а не «Маша»? Впрочем, сие — история, а в рецензии, напечатанной в «Советской России», речь идет о наших днях, о политических романах, и это предполагает особо пристальное ее прочтение.

Нельзя не согласиться с тем, что писателю, работающему в жанре политического романа, описывая наших идейных противников, действующих в Вашингтоне ли, в Латинской Америке или Африке, довольно трудно оперировать одними русскими именами: не назовешь ведь американского миллиардера, планирующего агрессию, «Коля Васильев» — сие для сатир А. Райкина. Но это — в порядке шутки, хотя факт появления опуса Т. Ивановой дело отнюдь не шуточное, ибо следуя ее логике, вполне можно предположить, что наш читатель «путается» и в именах героев эстонских, дагестанских, туркменских, грузинских книг, которые, понятно, от русских отличимы сугубо.

Наш читатель — интернационалист — объективный и доброжелательный — никогда не «путался» в именах героев Юхана Смуула и Нодара Думбадзе, Олжаса Сулейменова и Вилиса Лациса, Юрия Рытхэу и Берды Кербабаева, утверждать обратное — значит клеветать на советского читателя; «путайся» он в иностранных именах, не был бы Советский Союз самой читающей страной в мире, не были бы мы истинной родиной (родина литератора есть хранилище памяти о его книгах) Хемингуэя, Лу Синя, Роллана, Драйзера.

Из высказанного возникает целый ряд вопросов. Я намерен задать не все, но лишь три, имеющих не личное, но общественное значение.

1. Является ли статья Т. Ивановой выражением коллективного мнения редколлегии газеты «Советская Россия»?

2. Чем вызван крайне озлобленный, неуважительный тон Т. Ивановой, чуждый духу советской журналистики?

3. Как объяснить вкусовой, барственный, бездоказательный удар против политических романов (при их возможных прегрешениях, о чем можно и должно говорить компетентно и доказательно), посвященных событиям в самых горячих точках планеты?

Прошу напечатать это мое открытое письмо на страницах газеты «Советская Россия».

Юлиан Семенов.

* * *

13.06.1985 года
Генеральному директору Крымского Интуриста
тов. Михно В. В.

Гарантийное письмо

Настоящим гарантирую оплату экскурсионных поездок по Крыму барона Эдуарда фон Фальц-Фейна, который был гостем Госкоминтуриста в Москве и Ленинграде, а здесь, в Ялте, является моим гостем.

Его благородная работа по возвращению культурных ценностей, принадлежащих нашей Родине, его финансирование исследовательских работ по изысканию мест укрытия наших ценностей легли в основу моей книги «Лицом к лицу». На добро надо отвечать добром: именно поэтому я и беру на себя его содержание в Крыму.

С глубоким уважением, Юлиан Семенов.

* * *

24.07.1985 года

Письмо из Крыма Марку Михайлову[102].

Дорогой Маркел!

Наша почта работает отменно, по-радищевски: коней вывели, так самолеты стали везти корреспонденцию по десять дней из Москвы в Ялту. Я добегу скорее, право!

Как ты там, старина? Сердце? Работа над книгой? Дом? Дюймовочка[103]? Отпиши подробно.

Прошу тебя прочесть «Знамя» — 7-й номер, там пошел новый роман. Как обычно принимаю любую критику, ты, к счастью, не Сартаков, а я тем более не Марков, захвальность не нужна, правда потребна.

Теперь вот что: до меня сюда дошли слухи, что над головой Васи Ситникова снова сгущаются тучи, председатель вроде бы норовит его схарчить. После того как ушел ты и Борис, он там последнее светлое пятно, свет в окошке.

Ты же в прошлом году начал драку, отчего не ведешь ее дальше? Или вложил меч в ножны? Ай-ай-ай! Не гоже нам с тобой давать в обиду честных людей великолепной позиции, которые столь добро и честно работают с творческой интеллигенцией и во имя творческой интеллигенции.

Напиши, что ты предпринял (предпринял ли?).

Никто ведь кроме тебя не знает этого дела изнутри, ты был создателем предприятия. Борис и ты начинали, тебе и карты в руки!

Сижу над новым романом.

Пишу с упоением по 17 часов в день. На море был два раза начиная с 10 мая, но вижу его каждодневно и ежеминутно из окна, и этого хватает.

Приеду аж 20 сентября — и на самолет, в Кабул. Вернусь 7 октября. Сразу же должны повидаться. Может, ты меня туда проводишь? Было бы славно. Нарушать постановления не будем, ограничимся чаем, тоже годится.

Сердечно тебя обнимаю, дорогой мой дружок.

Твой Юлиан Семенов.

P.S. Сходи в пресс-центр фестиваля, погляди картину Дуни «Ливан, 85», она умыла профессора Глазунова, как несмышленыша!

* * *

1985 год

Письмо М. С. Горбачеву

Михаил Сергеевич!

Пишу Вам оттого, что не написать — не могу, ибо испокон века принято благодарить человека за добро и доставленную радость.

Владимир Даль в своем «Толковом словаре русского языка» трактует понятие «радость» следующим образом: «услада, наслажденье, у т е х а», в противоположность «скорбь, грусть, печаль».

Я испытывал истинную радость, когда смотрел по телевидению передачи о Вашем посещении Питера. Ш к а л а доброжелательности, компетентности, принципиальности, открытости, с какой проходили встречи с рабочими, студентами, инженерами, оказалась для меня (литератор все через себя пропускает) тем зарядом радости, который заставил сесть к столу, за новый роман: «радение», то есть «с т а р а н и е», тоже происходит от корня «радость».

Я пишу Вам из Крыма, из Мухалатки, здесь мой летний дом, — как же счастливы были в маленькой нашей деревеньке, когда смотрели теленовости, как они чувствовали н а с т р о й ленинградцев, встречавшихся с Вами, как горды они были за Родину, за всех нас!

Деловитость, достоинство, проистекающие из высокого чувства ленинской скромности, ищущая заинтересованность, — все это вызвало во мне и моих соседях (ветераны войны, шоферы,

садоводы, строители) такой отклик, что очевидно сделалось: нас ждет множество р а д о с т н ы х свершений, как бы сложен и многотруден ни был путь к ним. Одолеем!

1. Чрезвычайно важное положение о садовых участках можно несколько дополнить, — исходя из ситуации, сложившейся в целом ряде районов (особенно Центральной России, Нечерноземья). Дело в том, что, например, в лесах вокруг Осташкова — места воистине дивной красоты стоит множество пустующих деревень; дома рушатся, приходят в негодность. А почему бы не передать эти пустые деревни крупным заводам и фабрикам для в о с с т а н о в л е н и я под базы отдыха рабочих? Почему бы не восстановить существующее уже, а вокруг отладить и сады и овощные наделы.

2. Видимо, при нынешней системе строительных управлений вопрос сразу же упрется в штаты, фонды, сроки, — и айда гулять волокита, замечательное начало п р о з а с е д а ю т, будут видеть бумажку, а не живое дело.

Поэтому: не пришла ли пора подумать о к о о п е р а т и в н ы х организациях? Конечно, коли повязать их по рукам и ногам директивами и «отчетностью» (не делом — бумажкой, опять же), начинание помрет на корню. Россия знает, как ставить деревянные дома, пожалуй, получше финнов. Ну отчего же тогда не дать строительным кооперативам делянки в лесу под строительство? Наделы в поле — под с о л о м у для крыш? Иные шведские буржуи считают высшим шиком иметь сельский дом под соломенной, ладно сделанной крышей, чем мы хуже буржуя?

А ведь коли есть стены, пол, потолок (все — дерево), крыша (солома), то вопрос — в основном, конечно, будет решен.

3. Если уж тянуть к о о п е р а т и в н у ю тему, то отчего бы не продумать вопрос о кооперативном строительстве больниц и поликлиник?

4. Коли уж тянуть эту же тему, то не стоит ли продумать вопрос о санкционировании — многажды повторенном по ТВ и в печати, у нас ведь горазды на запреты — создании кооперативных стройбригад и в городах, при ЖЭКах, коим ныне даны 3 % на сооружение спортивных площадок для молодежи. Иначе — станут от этих заказов ЖЭКов отпихиваться наши СМУ, невыгодно им это, объем не тот, хлопотно!

5. Спортсооружения, конечно, важны, но сие — день. А что делать молодому человеку вечером? В Москве сотни тысяч пустующих подвалов, вот бы и переоборудовать их под танцзалы, комнаты игр, а первые этажи, отданные тысячам бюрократических контор и конторок, отдать под д о м а ш н и е кафе, чайные, блинные? И — смею добавить — п и в н ы е, где

продажа водки должна караться беспощадными штрафами и привлечением к суду. Немец — не дурак, он пиво не зря варит, пиво — это 4–7 градусов алкоголя, с трех кружек не «закосеешь», а побеседовать, провести время в с в о е й компании — можно вполне весело и по-дружески, без пьяного угара.

6. Ах, коли б можно было решить вопрос о заинтересованности в с е х звеньев районного и городского аппарата в выполнении планов!

Декретом бюрократии не одолеешь (Ленин про это многажды писал), а вот реальным интересом каждого работника аппарата можно! Он тогда бумажку не станет по неделям с места на место перекладывать, он тогда будет с нею, голубою, вертеться, как с дитем родным, а как же иначе: чем скорее решил все у в я з к и (сколько у нас их, Господи?!), тем явственнее возможность получения премии, и не пустяшной, на «две бутылки», но ощутимой для семейного бюджета.

7. Каспий, Азовское море — жемчужины, но ведь не эксплуатируем мы их как надо, — особенно в летние месяцы, когда миллионы людей д у ш а т с я, чтобы прорваться в Крым или на Кавказ. А напечатай в газетах объявление: «Рабочие и инженеры (врачи, учителя, военнослужащие, рабочие совхозов), желающие вступить в «кооперативы отдыха» для строительства садово-огородных домиков на берегах Каспия, Азовского моря, Камы, Волги, Чусовой, могут обратиться туда-то и туда-то». Логичен вопрос — куда? И здесь рождается новый узел: законность — как фактор экономии самого бесценного т о в а р а общества, то есть в р е м е н и. Кто может помочь его экономить? Законники, то есть юристы. Мы имеем адвокатские конторы, а ю р и д и ч е с к и х п о с р е д н е ч е с к и х бюро у нас практически нет. А почему? Можно ведь создать такого рода бюро, которые возьмут на себя борьбу с бюрократической волокитой, оперируя не чем-нибудь, но именно советским законодательством. Ни одна мало-мальски серьезная сделка не происходит на Западе без юристов, а мы их — в сторонку, «не путайтесь под ногами, юрисконсульты, знайте справки пишите!».

8. Теперь по поводу всенародной борьбы с пьянкой. Спасибо Вам за это, Михаил Сергеевич. Давно наболело, сердце рвет! Однако же если мы будем вести одну антиалкогольную пропаганду, дело пойдет туго. Надо помочь процессу д е л о м.

Что я подразумеваю под этим?

Давайте поинтересуемся, что показывают людям вечером, — с пяти и до одиннадцати (почему, кстати, до одиннадцати? А что с рабочими, которые приходят со второй смены, в десять?) Необходима р а з в л е к а т е л ь н а я программа ТВ и радио,

необходимы и н т е р е с н ы е фильмы, встречи с бывалыми людьми, ветеранами, разведчиками, пилотами, первопроходцами.

Уже шарахнулись в крайность (ох, как же мы это умеем!): «Не моги, режиссер, показать в кадре бутылку шампанского, это вызовет рост пьянства!» Так договорятся и до того, что у Пушкина купируют строки «Налейте бокалы полнее». Так это ж бокалы, а не «из горла»! Так это ж дружеское застолье р а д о с т и, а не распитие «на троих» бутылки в подъезде, — некуда более податься, кроме как в подъезд!

А если начиная с пяти вечера пойдут захватывающие фильмы?

Сколько лет я бился с идеей создания Объединения по производству кино- и телефильмов под названием «МиГ», то есть «Мужество и Геройство»?! Сколько лет — ан, воз и ныне там! А ведь у нас есть Ялтинская киностудия, которая могла бы стать центром по производству фильмом по Жюль Верну и Мельникову-Печерскому, Фенимору Куперу и Алексею Толстому («Гиперболоид инженера Гарина» можно снять на пятнадцать серий — уровень пьянки в эти дни упадет до минимума, убежден!) А где журнал с таким же наименованием для юношества? «МиГ»! Нет его.

Не взыщите за то, что письмо сумбурно, Михаил Сергеевич, но оно вызвано той радостью, которую Вы дали народу, то бишь и мне, как его частице, съездив в город Ленина, к народу нашему.

Спасибо Вам сердечное.

Ваш Юлиан Семенов.

Телефон в Ялте — 78.10.10.

Телефон в Москве — 233.56.10 (мои «полпреды» Дуня и Ольга, дочери).

* * *

1985 год

Уважаемый Михаил Сергеевич!

Наша делегация, посетившая Китай в октябре этого года, была первой официальной делегацией Союза писателей, встретившейся с руководством Союза писателей Китая и главой ЦК КПК Ван Мунгом. Прием, оказанный нам в Пекине, Шанхае, Нанкине и Кантоне после первого тщательного дня присматривания со стороны китайцев, сделался демонстрацией уважения к русской и советской литературе.

Действительно, за период с 1979 года в Китае издано 270

книг советских писателей, в стране издается несколько журналов, занимающихся публикацией исключительно советской литературы!

Многие писатели, вернувшиеся из заключения, где находилось подавляющее большинство творческой интеллигенции во время «культурной революции», рассказывали, что и в разгар террора они продолжали переводить произведения русской и советской классики, — тайком, в бараках, по ночам.

Встречи и беседы, проведенные нами в Китае, позволяют сделать ряд выводов, с которыми нам бы хотелось поделиться с Вами.

1. Отношение к нашей стране со стороны писателей, профессуры гуманитарных факультетов, особенно филологических, работников кино и театра открыто доброжелательное и сердечное.

2. Контакты с Союзом писателей Китая необходимо продолжать и развивать, обращая особое внимание на формирование делегаций из тех литераторов, которые не только хорошо известны в Китае, но и контактны, широко эрудированы и раскованы не только в диалогах с коллегами, но и в публичных выступлениях перед университетскими аудиториями.

3. В связи с тем, что 17 ноября с.г. в СССР приезжает первая делегация Секретариата СП Китая во главе с двумя секретарями Союза писателей (каждый из них провел в лагерях-коммунах по 20 лет), считали бы целесообразным организовать для китайских коллег не только интересную и престижную программу встреч, но и широко осветить их пребывание в СССР на ТВ и в газетах, что делалось средствами массовой информации Китая во время нашего визита. Это, бесспорно, не может не вызвать известной нервозности в США и среди тех кругов в Китае, которые ориентируются на дальнейшее расширение связей с США и Западной Европой. Считали бы целесообразным дать телерепортаж об их приезде в СССР накануне 19 ноября, — перед Вашей встречей в Женеве.

4. Считал бы целесообразным просить ТВ СССР подготовить ряд передач о Китае в «Клубе путешественников». Если в принципе Вы поддержите такого рода идею, то мы готовы оказать ТВ посильную помощь в такого рода передачах, посвященных культуре, природе и музеям КНР.

5. Китайская сторона выразила нам свое недоумение тем, что в ответ на их просьбу прислать в Китай делегацию деятелей советского киноискусства, Госкино запросило визы на четырех чиновников аппарата Госкино.

С уважением, Юлиан Семенов.

* * *

31.03.1986 года
В секретариат Правления Союза писателей СССР

Уважаемые товарищи!

В интересах нашего общего дела считаю необходимым высказать следующее:

1. В писательских кругах муссируется мнение о целесообразности перевода т. Кузнецова Ф. Ф.[104] с поста Первого секретаря Московской писательской организации на должность рабочего секретаря правления Союза писателей СССР, — да еще, как утверждают, — по связям с социалистическими странами.

2. Считаю такого рода возможность принципиально недопустимой, ибо т. Кузнецов Ф. Ф. скомпрометировал себя беспринципным отношением к ряду писателей, занимающихся в первую очередь разработкой интернациональной темы, что вызвало негативную реакцию не только у нас, но и в братских социалистических странах.

3. Прошу переслать копию этого письма тт. Яковлеву А. Н. (ЦК КПСС) и Ельцину Б. Н. (МГК КПСС).

* * *

31 августа 1986 года[105]

Милый Гриша!

Я обязан написать тебе это коротенькое письмо, чтобы не было каких-либо досадных недомолвок.

1. Глава, которая была купирована, посвящена обсуждению в Совете Безопасности франкизма, — декабрь 46-го. Поскольку в объеме я был ограничен, то мне ничего не оставалось, как согласиться с тем, чтобы вынуть ее, — иначе ломался сюжет вещи. Сейчас эта глава важна, — с политической точки зрения. Однако, как мне передали, ты поставил условием, чтобы я завизировал ее у А. А. Громыко.

Делать я этого не буду, главу он читал, да и рецензент из ЦК, читавший вещь, не требовал особой визы, как и не требовали от меня визы на первую главу, связанную с Громыко и его деятельностью, опубликованную в № 8.

Прислать главу — пришлю, а там уж на твое усмотрение.

2. Как я понял из твоего интервью «ЛГ», в журнале много

новых планов, новых авторов. Я ни в коем случае не буду в претензии, если ты скажешь мне, что «Экспансия-3», анонсированная до тебя еще, не входит в новый портфель журнала.

Поскольку я должен планировать публикацию вещи, просил бы тебя черкнуть (или же поручить коллегам из отдела прозы), какие виды на мою вещь; она, как и другие мои вещи, не договорная, поэтому я бы хотел получить ответ вполне конкретный.

С уважением, Юлиан Семенов.

* * *

1986 год

Уважаемый Михаил Сергеевич!

Ситуация на «литературном фронте» сейчас такова, что приходится ждать новых вещей, исполненных горького критического звучания. Что ж, все разумно, вне и без критики общество загнивает.

Однако возникает вопрос: как быть с молодежью, которая еще не прошла армии, не прокалилась на заводе, не обветрилась на полях, не зажглась пламенем науки в институтских лабораториях? Как быть с теми молодыми людьми, которые еще не научились отделять злаки от плевел? Как быть с юношами и девушками, не понявшими еще, что критика, пусть даже самая суровая, не есть отрицание пройденного пути, но, наоборот, прокладка нового курса вперед?

Какой то л с т ы й журнал будет заниматься патриотическим воспитанием молодежи, военно-патриотическим, основанным на положительном примере? Думаю, что на нынешнем этапе развития литературного процесса мало кто из толстых журналов отдаст свои страницы таким жанрам, как приключенческая проза, детектив, политический роман, научная фантастика, а ведь именно эта литература наиболее читаема молодежью, именно ч е р е з нее можно проводить активную воспитательную работу. Хоть мы и сражаемся за мир, но ведь никто не сказал, что в молодежи не надо воспитывать бойцовские, солдатские качества!

В свое время, несколько лет назад, я вносил предложение создать толстый литературный журнал «МиГ», то есть «Мужество и Геройство».

Думаю, подписка на этот журнал соответствующим образом повлияет и на другие литературные журналы: читатель голосует

за ту прозу, которая его интересует, рублем; если «МиГ» станет одним из самых читаемых журналов, то редакторам других изданий будет просто-напросто невозможно не внести в свою работу должные коррективы, ситуация заставит, именно читательское мнение, а не приказ сверху.

Я просмотрел каталог газет и журналов на 1987 год.

Начинается он с цифры 50012 (странно, почему не с «1»?!), а кончается 78279. То есть, мы издаем, если я не ошибся в подсчетах, 28267 изданий, астрономическая цифра!

И неужели мы не можем изыскать бумагу, полиграфическую базу и десять — пятнадцать штатных единиц для того, чтобы сделать журнал, в котором наша молодежь (да и не только молодежь!) встретилась бы с космонавтами и сыщиками МУРа, адвокатами и разведчиками, летчиками полярной авиации и дипломатами, офицерами и вулканологами, с героями русской истории, с такими поразительными людьми, как Котовский и Пархоменко, Жуков и Конев, Зорге и Шандор Радо, Ким Филби и Николай Кузнецов, Пугачев и Петрашевский?!

Нет ничего лучше соревнования жанров, — пусть победит достойный.

Посмотрим, сколько семей захотят иметь такой журнал у себя в библиотеке.

Если мы опоздали с выпуском такого журнала на следующий год, все планы сверстаны (а жаль, будем праздновать семидесятилетие революции!), можно предусмотреть его создание на 1988 год. Не беда, что «МиГ» не присутствует в каталогах: будет команда Центральному телевидению и радио, разрешат три-четыре передачи о новом журнале, о его планах, портфеле, авторах, — подписчики появятся.

Очень бы просил Вас поддержать эту идею, кроме добра, полагаю, такого рода патриотический журнал ничего не даст.

Убежден, что он сыграет свою роль в развитии дружеских связей со странами социализма, — писатели этих стран с радостью передадут нам свои повести, рассказы и романы о своих героях.

С глубоким уважением, Юлиан Семенов.

* * *

1986 год[106]
Генеральному секретарю ЦК КПСС
тов. Горбачеву М. С.

Михаил Сергеевич!

7 июня в Гаване на встрече писателей мира, работающих в жанре политического романа и детектива, было провозглашено создание Международной ассоциации детективного и политического романа.

По предложению писательских делегаций Мексики, Кубы, Уругвая, Чехословакии и Болгарии президентом этой Международной ассоциации сроком на четыре года был избран я.

В связи с этим хочу отчитаться о проделанной работе и рассказать о наших планах на будущее.

1. Поскольку детективная литература и кинематограф стали ныне наиболее популярными жанрами (по данным ЮНЕСКО, каждая четвертая книга, издаваемая в США, является детективом), использование нашей Международной ассоциации в контрпропагандистской борьбе, в деле борьбы за мир может стать приметным явлением в идеологическом противостоянии двух систем.

2. На встрече в Гаване было предусмотрено провести в ближайшие годы следующие конгрессы:

а) Политический роман и детективная литература в борьбе против международного терроризма.

б) Политический и детективный роман в борьбе против торговли наркотиками.

в) Детективный и политический роман в борьбе с преступностью среди несовершеннолетних.

Ясно, что проведение такого рода конгресссов в разных регионах мира не может не привлечь внимания общественности, ибо вопросы, которые мы намерены обсудить, представляют интерес практически для каждого человека в мире.

3. В Гаване начал выходить печатный орган нашей Международной ассоциации «Энигма».

4. На встрече в Гаване среди руководства Ассоциации были распределены обязанности по подбору и комплектации вакантных мест в Секретариате Ассоциации.

В ноябре, на предстоящей встрече в Мексике, предстоит утвердить полный состав Секретариата и Правление. Там же будут вручены премии Александра Дюма, Эдгара По, Алексея Толстого, Карела Чапека и Джилберта Честертона наиболее талантливым книгам этого жанра.

5. Поскольку появилась возможность использовать Международную ассоциацию как рычаг в нашей борьбе против войны, пустить это дело на самотек — значит упустить реальную возможность оказывать определенное влияние на широчайшую читательскую и зрительскую аудиторию мира.

В связи с этим просил бы Вас, Михаил Сергеевич, поддержать мою просьбу и выделить Агентству печати «Новости» три штатные единицы для приглашения квалифицированных журналистов, которые станут осуществлять координационную работу Международной ассоциации по связям с писателями мира.

В случае, если нам удастся осуществить выпуск «Библиотеки политического и детективного романа», наладить связи с ведущими теле- и кинокомпаниями мира, можно полагать, что эти три «единицы» будут вполне рентабельны.

Был бы глубоко признателен, если бы Вы поддержали это начинание. Оно весьма перспективно, право.

С искренним уважением, Юлиан Семенов.

* * *

1987 год
В редакцию «Литературной газеты»

Когда мою литературную работу анализируют такие советские писатели, как И. Шевцов, Э. Кардин, Ф. Кузнецов, я, понятно, делаю соответствующие выводы. Когда меня предают анафеме на радио «Свобода» А. Гладилин и иже с ним, я понимаю, чем это вызвано.

Когда же В. Каверин на страницах «ЛГ» публикует пассаж типа «размах перешел в разряд дешевой литературы: Ю. Семенов пишет с размахом», — я не мог не задать вопроса уважаемому писателю, чем его так прогневали мои книги.

К чести Каверина он ответил однозначно:

— Я ваших книг не читал. Такое мнение у меня сложилось после просмотра «Семнадцати мгновений весны». Но я ведь не писал «дешевая литература», я писал — «развлекательная».

— Вы писали статью сами, Вениамин Александрович? — спросил я. — Или вам дали подписать чей-то текст?

— Нет, писал я сам, но сейчас я должен сказать, что в статье была дана неправильная оценка, я хотел сказать о вашей работе, как о развлекательной.

Итак, не читая книг своего коллеги, В. Каверин причисляет их к разряду «дешевой литературы».

Поскольку эта дешевая литература довольно дорого стоит на черном рынке, а приобрести ее не у спекулянта можно только за границей или в «Березке», то, вероятно, критерий читательского интереса должен быть серьезно исследован социологами: отчего советский читатель столь падок на «дешевку»? Чтобы помочь

этому общественному процессу, я приглашаю В. Каверина на читательские конференции, диспуты на любой завод, академический институт, в библиотеку совхоза и воинской части.

Полагаю, к этому времени он будет вынужден прочесть мои книги.

Демократия и гласность не есть всепозволенность.

Социальная справедливость чужда сведению групповых счетов.

И, наконец, последнее: раздача ярлыков, типа «безродный», «дешевый», «безыдейный», не нова, увы: ярлыков хватало и в тридцать седьмом, и в последующие годы.

Негоже возвращаться к этой рискованной практике в наше новое время.

Прошу опубликовать эту реплику на страницах «ЛГ». В случае, если этого не будет сделано, я оставляю за собой право предпринимать такие шаги, которые сочту необходимыми.

Юлиан Семенов.

* * *

1987 год
Министру культуры Союза ССР
Тов. Захарову В. Г.

Уважаемый Василий Георгиевич!

В наши дни, когда противостояние двух идеологий, то есть идеологии мира и войны, сделалось обнаженно глобальным, вопрос патриотического воспитания советского зрителя, особенно молодого, приобретает главенствующее значение.

Именно поэтому мы и решили создать Театр «Детектива и Политики» — ТДП.

Почему «Детектива»? Потому что в наше динамичное время требуется динамизм форм, а настоящий детектив (особенно политический) всегда привлекал и привлекает огромный интерес молодежи, да и не только молодежи. Будем помнить, что «to detect» переводится как исследовать. Да, в нашем театре мы намерены исследовать самые злободневные политические структуры и социальную проблематику как в нашей стране, так и за рубежом. Кто стоит за СОИ? Почему президент Рейган не может отказаться от реализации этого проекта? Кто и почему поддерживает никарагуанских контрас? Что есть мафия? Неонацизм? Торговля наркотиками?

В свою очередь советская общественность требует ответа:

почему в нашей стране появились трегубовы? Что произошло в Узбекистане? Мы намерены дать ответы на эти вопросы языком искусства, с помощью наших консультантов (вопрос уже согласован) из КГБ СССР, МВД, Прокуратуры, Верховного суда.

Понятно, что при столь острой политической направленности театра мы намерены играть классику детективного жанра, — К. Дойла, Э. По, А. Толстого, К. Чапека, Ж. Сименона, А. Кристи. Помещение для нашего театра найдено. Это известная в свое время всей театральной Москве «Секретаревка» (Кисловский, 6) — театральное здание со зрительным залом на триста мест и служебными помещениями (ныне это нежилое здание, часть которого арендуют районные конторы «Утильсырья» и «Спортлото»).

Центральный совет Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры, целиком и полностью поддерживая нашу инициативу возрождения для Москвы театра, берется оказать помощь в реставрации уникального помещения, в любительских спектаклях посетителями и актерами которого в разные годы были М. С. Щепкин, Рощин-Инсаров, М. Писарев, И. Музиль, А. Артем, К. Станиславский, Е. Вахтангов, М. Горький.

Театр ТДП не будет иметь постоянной труппы; рассчитываем на привлечение лучших актеров Советского Союза, стран социализма и прогрессивных мастеров западной сцены. Таким образом, наконец-то сбудется давняя мечта ведущих советских актеров встретиться с партнерами из разных театров на одной сцене.

Теперь об организационной структуре нашего театра: коллектив предусматривает сорок штатных единиц, — административная группа, художники-оформители, музыканты, технический и рабочий персонал; театр возглавляют три сопредседателя Художественного совета (В. Ливанов, Ю. Семенов, В. Соломин), решающие вопросы репертуара, режиссуры, приглашения исполнителей и, таким образом, несущие ответственность за творческую и организаторскую деятельность театра. По нашим расчетам, финансирование театра будет необходимо лишь в первое полугодие; затем мы переходим на полные самоокупаемость и самофинансирование.

Художественный совет ТДП составлен из представителей театральной и писательской общественности завода им. С. Орджоникидзе, советского Фонда культуры, Министерства обороны СССР, журналов «Человек и закон» и «Огонек».

ТДП откроет сезон (как только будет закончен ремонт и реставрация здания) тремя пьесами: К. Дойл «Этюд в багровых тонах» и двумя современными — А. Николаи «Черный, как

канарейка» и Ю. Семенов «Краткие выводы»[107].

В связи с вышесказанным, мы просим Вас, уважаемый Василий Георгиевич, поддержать идею создания нового театра организационно, то есть издать приказ, разрешающий нашу работу, и поручить соответствующим подразделениям Министерства культуры проработать вместе с нами вопросы финансирования ТДП, штатное расписание, а также оказать содействие в получении здания и организации ремонта.

Василий Ливанов
Юлиан Семенов
Виталий Соломин

* * *

1987 год
Фалину В. М.

Уважаемый Валентин Михайлович!

Художник Михаил Шемякин широко известен на Западе. В последние месяцы он выступил с несколькими заявлениями против злобствующей части эмиграции, в поддержку процессов, происходящих ныне на Родине.

Сын полковника Советской армии, кавалера семи орденов Красного Знамени, Шемякин ныне стоит в стороне от «политической возни», создал Фонд Владимира Высоцкого, всячески тянется к нам.

Диалог с ним — единственным из всех, кто с о с т о я л с я на Западе, был признан такими мастерами, как Мур, Мальро, Стравинский, — в фавору нам; это поможет в противостоянии с теми, кто представляет «Свободу», «Континент» и прочие органы-содержанки.

Прилагаю письма, переданные мне Шемякиным в Париже, просил бы Вас рассмотреть возможность организации распродажи работ Шемякина в Пресс-центре, — для начала среди иностранных журналистов и дипкорпуса.

Думаю, что и другие его предложения заслуживают поддержки; пропагандистский эффект может получиться весьма значительный.

С уважением, Юлиан Семенов.

* * *

1987 год
Председателю Правления АПН
Тов. Фалину В. М.

Уважаемый Валентин Михайлович!

Во время командировки в США я был принят — наравне с Айзеком Азимовым и Рэем Бредбери — в действительные члены самой крупной писательской ассоциации США «Мистери райтерз оф Америка» (более 800 членов).

Это помогло мне в переговорах с крупнейшими издательствами США — «Сан-Мартин пресс» и «Дэвис паблишерз».

Прилагаю письма этих корпораций.

Поскольку «Дэвис паблишерз», выпускающий два самых распространенных журнала детективного жанра (250000 экземпляров каждый) — «Элери куин» и «Хичкок», предложили выпустить и распространить в США «советский вариант» журнала, составленный из лучших детективных и приключенческих рассказов СССР, просил бы Вас разрешить Бюро переводов АПН сделать перевод этих рассказов (и, возможно, отрывков из повестей), которые будут представлены мною как редактором этого издания.

С уважением, Юлиан Семенов.

* * *

11 января 1988 года
Заместителю Председателя Совета министров СССР
Тов. Каменцеву В. М.

Уважаемый Владимир Михайлович!

Можно бороться с водкой, однако это занятие бесперспективное.

Нужно бороться с пьянством и наркоманией средствами литературы, кино и телевидения.

Что отвлекает молодежь от грязи, бездуховности, дерганья?

Увлекательные, остросюжетные, политические, детективные, приключенческие кино и ТВ-сериалы.

До сих пор не сняты фильмы и сериалы по Ф. Куперу, А. Толстому, К. Чапеку, Майн Риду, И. Ефремову, братьям Стругацким, Ж. Сименону, Г. Грину. А ведь это сотни часов, когда молодежь прилипнет к экранам ТВ и кинотеатров.

В Ялте собираются сносить старую кинофабрику под

строительство гостиницы на 300 мест.

Неразумно это и неэкономно.

Мы готовы пригласить партнеров из-за рубежа и вместе с ними создать смешанное предприятие, — киномастерскую детективного, политического и приключенческого фильма под названием «МиГ» (Мужество и Геройство).

Наша киномастерская будет построена на основе хозрасчета, соамоокупаемости и самофинансирования. Никаких валютных затрат не требуется. Речь может пойти только о кредите в соврублях в Госбанке СССР.

Будем рады, если Вы поддержите нашу идею. Тогда мы сможем в ближайшее время начать выпуск советской кино-, ТВ- и видеопродукции, рассчитанной, помимо советского, и на широкий международный рынок. Распространение продукции за рубежом возьмет на себя киномастерская МиГ.

С искренним уважением, Юлиан Семенов.

* * *

1988 год (январь)
В политбюро ЦК КПСС[108]

Уважаемые товарищи!

Не в порядке напоминания…

У всех на памяти те капканы, которые мы сами себе расставляли, шельмуя кибернетику, бионику, генетику как «буржуазные лженауки», «шаманство», «идеализм» и того паче. А сколько схожих «перлов» было разбросано применительно к музыке, живописи, литературе?!

Обратимся к Большой советской энциклопедии (т.14, с.128, год издания 1952). Как там определялась «детективная литература»? Это — «борьба с коммунистическими и национальными движениями»; это — «одно из главных проявлений загнивания буржуазной культуры, оказывающее губительное влияние на подрастающее поколение». В то время, как Британская энциклопедия определяет детектив как жанр литературы с исследовательским, интригующе-приключенческим и познавательным содержанием.

Когда советское телевидение показывает по-настоящему интересные, остросюжетные фильмы, преступность и пьянство падают на 60 %, это — официальная статистика. Трудящиеся смотрят такого рода фильмы, потому что они нескучны; в эти

часы никто не ищет иных «развлечений».

Кстати, не зря именно в этом жанре работали и работают такие выдающиеся мастера литературы, как Сомерсет Моэм, Грэм Грин, Жорж Сименон, Рой Брэдбери, Ле Карре и многие другие коллеги.

К истории вопроса

1. 06.06.1986 года ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ ПИСАТЕЛЕЙ Кубы, Уругвая, Чехословакии, Польши, Мексики, Никарагуа, Аргентины, Болгарии, Венгрии и Советского Союза в Гаване была учреждена Международная ассоциация детективного и политического романа (МАДПР).

На торжественной церемонии провозглашения присутствовали член политбюро Компартии Кубы А. Харт и член руководства Сандинистского фронта Томас Борхе.

Сообщение об этом событии обошло все газеты Кубы, Латинской Америки, Испании, Чехословакии, Португалии; появилась информация и в СССР.

2. В феврале — марте 1987 года в Мексике прошел конгресс МАДПР, в котором приняли участие представители писательских организаций Аргентины, Болгарии, ГДР, Мексики, СССР, США, Кубы, Испании, Франции и ряда других стран.

Главные задачи новой неправительственной международной организации были закреплены в Уставе: борьба против войны, расизма, преступности, мафии, наркомании, помощь в создании климата нового политического мышления, — используя особую популярность жанра в кино и на телевидении.

Президентом конгресса МАДПР сроком на 4 года был избран я. Вице-президентами — Р. Саймон (США), Пако Игнасио Тайбо Секунда (Мексика), М. Монтальбан (Испания); генеральным секретарем МАДПР был избран Р. Валеро (Куба).

Работу конгресса МАДПР освещало более 30 представителей прессы, радио и телевидения Мексики, Франции, Аргентины, Колумбии.

Кубинские писатели представили международной прессе орган МАДПР «Энигма», начавший с Мексики широкое шествие по странам Латинской Америки и Испании.

Была принята резолюция, осуждающая помощь Белого дома «контрас», приветствовалась перестройка в СССР и мирные инициативы Кремля.

Работу конгресса горячо приветствовал Жорж Сименон.

04.08.1986 г. состоялось решение инстанции, которое поручило АПН оказывать практическое содействие МАДПР, а также изучить возможности издания и распространения журнала

на русском, английском и французском языках.

3. В развитие решения инстанции от 04.08.1986 г. и резолюции конгресса МАДПР в Ялте в июне 1987 года состоялось расширенное заседание исполкома МАДПР, в котором приняли участие, — помимо прежних писательских организаций, — делегации Японии, Англии, Канады, Италии. Во время встреч писатели детективного и политического романа поделились планами о предстоящей работе национальных ассоциаций МАДПР против угрозы войны, за разоружение, против организованной преступности, за развитие дружеских контактов между народами мира.

Было принято решение — в знак уважения к СССР — открыть штаб-квартиру МАДПР в Москве, ибо до этого наши штаб-квартиры были учреждены лишь в Гаване, Нью-Йорке, Мехико и Барселоне. Мне как президенту было поручено начать издание органа МАДПР на русском языке.

4. Сейчас стало известно, что 24.12.1987 г. инстанция отказала не только в издании журнала (хотя Госплан СССР, Минфин СССР, Госкомиздат и Союз писателей поддержали наши предложения по всем позициям), но и не санкционировала конституирование Московской штаб-квартиры неправительственной международной организации МАДПР.

Разве нам не нужна поддержка ведущих зарубежных мастеров детективного и политического романа в нашей борьбе против адептов войны, расизма, колониализма и преступности?

Разве можно не учитывать тот факт, что каждая четвертая книга, издающаяся на Западе и в Японии, является детективным или политическим романом?

Разве мы не заинтересованы в популяризации на Западе средствами литературы нашей перестройки и гласности?

Разве наш жанр литературы не отвлекает массового читателя от пьянства и наркомании?

4. Я бы не тревожил политбюро этим письмом, если бы принцип: «что не запрещено, то разрешено» стал реальностью. Увы, — тяжкий груз доперестроечных представлений, положений и мнений мешает активизации общественной, не приказной, но гражданской деятельности.

Где выход?

После решения инстанции от 24.12.1987 г., практически отменяющей решение инстанции от 04.08.1986 г., ситуация с МАДПР получилась достаточно сложная и даже двусмысленная.

В чем предмет сложности?

а) Я обязан доложить исполкому, который состоится в июне с.г. в Хихоне (Испания), как осуществляется единогласно принятое им решение о создании Московской штаб-квартиры и издании советской версии журнала.

б) Допустимо ли сообщать мировому писательскому сообществу, что МАДПР не смогла легализоваться в СССР и издавать журнал (наподобие кубинской «Энигмы») ввиду возражений со стороны властей?

в) Можно любить или не любить жанр детективного или политического романа, — это вопрос вкуса. Можно по-разному относиться к нашей Международной ассоциации, но ее нельзя ни запретить, ни закрыть, она существует в мире; перефразируя Салтыкова-Щедрина, «закрыть Америку» — не получится, не дадут. Вопрос ныне стоит в иной плоскости: будет ли МАДПР существовать с нами и работать на нас или же без нас и против нас?

г) Поскольку ныне не возникает проблем ни с иностранной валютой, ни с советскими рублями, ни с бумагой и полиграфическими мощностями, ни с выделением каких-то материальных благ, типа машин, персональных окладов и лечебного питания, необходимо скорректировать создавшуюся ситуацию, которая — я убежден — сложилась по невниманию или из-за предвзятости.

Для справки: о деятельности МАДПР уже было опубликовано более 200 статей в крупнейших газетах и журналах СССР, США, Латинской Америки, Японии и Западной Европы.

д) Согласитесь, будет несколько странно, если мне придется руководить работой МАДПР, преследующей благородные цели мира, из нашей мексиканской, гаванской или нью-йоркской штаб-квартиры. Лучше это делать из Москвы. Или же просить исполком освободить меня от функции президента.

Для практического решения вопроса необходимо:

1. Разрешить Мосгорисполкому передать Московской штаб-квартире МАДПР у ж е п о д о б р а н н о е помещение.

2. Разрешить Госбанку и Внешторгу СССР открыть счета Московской штаб-квартиры МАДПР.

3. Разрешить Минсвязи СССР и АПН установку телекса и телефонной связи в помещении Московской штаб-квартиры МАДПР.

4. Разрешить распространение в СССР журнала МАДПР. Может показаться странным, что я прошу санкции политбюро на такие «пустяки», но в том-то и дело, что без такого рода санкции решить эти, как и многие другие «пустяки», до сих пор не

представляется возможным.

Юлиан Семенов.

* * *

28.01.1988 года

В секретариат Правления Союза писателей СССР

Можно соглашаться или не соглашаться с тов. Ильиной в тех или иных позициях (я, например, писавший о прозе Бондарева, никак не принимаю оценку творчества писателя, создавшего, кстати, «Тишину»), однако предложения о мерах против редактора «Огонька» не должны выходить за рамки демократии, перестройки и гласности.

Дискуссия — да. Критика критики — да. Отстаивание противной точки зрения — бесспорно.

Давайте научимся выслушивать (и прочитывать) самые неприятные для нас пассажи критики. Главное заключается в том, чтобы каждый из нас имел право на печатный ответ оппоненту.

Давайте научимся не обвинять редакторов наших газет и журналов за то, что они печатают дискуссионную статью.

Гласность подразумевает право каждого публично изложить свою точку зрения.

Гласность гарантирует право каждого возразить против всего того, с чем каждый из нас не согласен.

Демократия и перестройка без и вне гласности существовать не могут.

С уважением, Юлиан Семенов

* * *

1988 год

Обозревателю «Известий» по вопросам искусства, литературы, кино и телевидения Б. Надеину[109].

1. Не без интереса прочитал Вашу статью, в которой Вы так искренне радовались убийству паршивого еврея Шора шприцем.

2. Как мне стало известно, Вы оформляетесь корр. «Известий» для поездки на Филиппины — не надо заигрывать с ЦРУ, тов. Надеин, — ЦРУ Вас обязано опекать на Филиппинах в такой же мере, как КГБ опекает иностранных журналистов в Москве. Дружить так дружить.

3. Фильм «Большая игра» действительно неудачен. Коль скоро ЦТ не сняло, несмотря на мою телеграмму, мою фамилию — на чем я настаивал, я несу ответственность вместе с С. Арановичем.

4. Я совершенно согласен с Вашей оценкой работы артиста Гостюхина. На художественном совете телеобъединения «Экран» я просил не утверждать Гостюхина на главную роль, но, увы, ко мне не прислушались.

5. Поскольку Вы вскользь бросили фразу о том, что телефильм «Семнадцать мгновений весны» был отмечен всеми премиями и наградами лишь потому, что он нравился Л. И. Брежневу, вынужден Вас огорчить:

а) Выдвинутый на соискание Государственной премиии СССР фильм «Семнадцать мгновений весны» не был утвержден председателем комитета по Ленинским и Государственным премиям, видным советским писателем, мастером сюжета и фразы дважды Героем соц. труда Г. Марковым.

б) Большой ценитель кинематографа, Марков (что-то я не читал Ваших разборов его теле- и кинопроизведений, тов. Надеин) дал премию не «Семнадцати мгновениям весны», а гениальному фильму «Чудак из 5 „Б“». Вы согласны, что это поистине гениальный фильм, не правда ли?

в) Действительно, выдающийся деятель международного коммунистического движения, великий писатель, член СП СССР, лауреат Государственной премии за литературу, Л. И. Брежнев незадолго до своей смерти приказал наградить создателей фильма «Семнадцать мгновений весны» звездами и орденами — среди всех награжденных не было одного человека — автора сценария, романа, автора Штирлица — меня, тов. Надеин.

г) Меня меньше всего интересуют «цацки». То, что Л. И. Брежнев обошел меня своей монаршей милостью, было для меня высшей наградой.

Все это я пишу для того, чтобы заметить Вам: спекулируйте на Филиппинах, куда Вы собираетесь. Не надо спекулировать в Советском Союзе.

Нравился Брежневу фильм «Семнадцать мгновений весны» или не нравился, он нравился и будет нравиться советскому народу.

Я хотел бы закончить мое письмо вопросом к читателям «Известий»: «Кто из читателей „Известий“ считает, что „Семнадцать мгновений весны“ стали любимы народом только потому, что Брежнев раздал звезды и ордена (повторяю, всем, кроме автора Штирлица), или, может быть, советские телезрители имеют свое отношение к этому телефильму?»

Вам жаль бабушку, т. Надеин. Мне жаль «Известия», которые предоставили достаточно большое место для публикации дешевого материала о действительно плохом фильме.

И дело здесь не в валюте, потраченной на съемки, которая Вас столь раздражает, т. Надеин, сколько в Вашей завистливо-мелочной профессиональной непригодности в жанре кинокритики. Я бы раздраконил «Большую игру» точнее, сильнее и профессиональнее.

Без уважения, Юлиан Семенов.

* * *

1988 год
В политбюро ЦК КПСС

Уважаемые товарищи!

Я бы не стал тревожить Вас этой запиской, не включись в деловую активность перестройки — в качестве президента совместного советско-французского предприятия ДЭМ и руководителя Московской штаб-квартиры Международной ассоциации «Детектив и Политика».

Я бы не стал тревожить Вас этой запиской, не привези я только что из Афин миллиардные предложения крупнейшей греческой (и западноевропейской) финансовой группы «КГ», реализация которых может дать Родине ощутимые результаты в самое ближайшее время (копия протоколов прилагается).

Однако осуществлять эти проекты будет трудно (если не невозможно) после опубликования некорректных статей в «Известиях» и «ЛГ», ибо советский чиновник, подписывающий бумаги по бизнесу, — существо пугливое, приученное к осторожности и п р и с л у ш и в а н и ю: «Если Семенов неугоден — надо быть подальше и от него и от его дел».

Поводом для статей оказался телефильм «Большая игра», снятый по мотивам моего романа «Пресс-центр». Фильм неудачный, первый сказал об этом не критик, а я, запретив выпускать его на экраны без необходимых переделок. Увы, ТВ решило по-своему.

Я с удивлением прочитал фельетон в «Известиях» — он несколько неприличен по тону, да и ложен по самому факту: журналист Надеин, готовящийся к длительной загранкомандировке, решил позаигрывать с ЦРУ, которое «обижает» Семенов, а посему провозгласил, что «Семнадцать мгновений весны» хвалили только потому, что эта вещь

нравилась Брежневу. Неужели только ему одному? И — совсем уж неприличная передержка журналиста, подписанная редактором в полосу, — мол, ни один фильм так не осыпался наградами, как «Семнадцать мгновений весны»… Для справки: Государственной премии СССР наш фильм так и не был удостоен, — вместо нас премии удостоили истинный шедевр, фильм «Чудак из 5 „Б“». Верно, Брежнев наградил актеров нашего фильма, режиссера тоже, только вот Семенов, написавший Штирлица, награжден не был.

Я достаточно спокойно относился к тому, что помощник Гришина, ставший первым. зам. главного редактора «ЛГ» (Ю. Изюмов), за восемь лет не пожелал напечатать ни единой рецензии (пусть даже критической) на восемь моих романов, написанных за это время, — полное замалчивание всего того, что я делал в литературе.

Однако же когда «ЛГ» стала призывать Госкомиздат и Гостелерадио: «Блокируйте Семенова, остановите его, сколько можно его печатать и показывать?!» — то это перешло рамки, которые позволяли мне ранее молчать, делая вид, что ничего не происходит. Увы, происходит. Идет травля, организованная кем-то, травля, которая мешает мне работать на перестройку, реализовывая те проекты, которые необходимы нашей экономике.

Каков выход из сложившейся ситуации?

Их несколько, понятно. Вот некоторые:

1. Трехминутное выступление в программе «Время» на тему о культуре критики и дискуссии — в форме отклика на речь М. С. Горбачева.

2. Возможно, — если мой труд, которому я отдал 35 лет жизни (ни от одной строки в моих книгах и фильмах я не отрекусь), в настоящее время оценивается особенно злостно и бестактно, — пришла пора «поработать Эренбургом», — в тридцатые годы тот был корреспондентом «Известий» в Париже. Я готов поехать корреспондентом в Афины или ФРГ (там мои основные партнеры по широкомасштабным экономическим проектам) и реально помогать перестройке оттуда, не раздражая попусту своим присутствием тех, кому не по нутру моя активность.

3. Если же зависть определенных литературных кругов и недоброжелателей из иных групп зашла так далеко, что первыми двумя предложениями дела не поправишь, я, видимо, должен сложить с себя все полномочия и вернуться к чисто литературной и кинодеятельности, подписав контракты с книгоиздательскими и киноконцернами, — и в этом качестве можно быть нужным перестройке.

Хотел бы получить ответ на это письмо, прежде чем буду вынужден предпринять такие шаги, которые посчитаю необходимыми для защиты моей чести и достоинства.

С уважением, Юлиан Семенов.

* * *

1988 год

В редакцию газеты «Советская культура»

Уважаемые товарищи!

1. Благодарю авторов статьи «О спешке и ловле блох» за обнаруженную ими неточность в моих «Ненаписанных романах». Действительно, лермонтовский герой «Печорин» неправильно назван мною «Печериным».

2. Что ж касается других замечаний, не могу принять их по следующим причинам:

а) Произвольно вынимая из текста фразу, соединяющую первую с третьей, купируя совершенно необходимые для понимания смысла описываемого слова, наши «блохоловы» навязывают читателю порочные, антиисторические выводы. Поэтому я обязан привести весь текст — без купюр, чтобы читателю стало ясно, о чем вообще идет речь (а речь идет о том, как писали сценарий «суда» над товарищами Каменевым и Зиновьевым).

Итак: «нельзя было вспомнить и „Замогильные записки“ Печерина, изданные также с помощью Каменева… Как поставишь ему в вину книгу профессора Петербургского университета, сбежавшего на запад в 1837 году», — далее авторы купируют следующий текст «Ненаписанных романов», — «если придется зачитывать отрывки из нее?! Каково генеральному прокурору Вышинскому процитировать: «я был уверен, что если б я остался в России, то попал бы в Сибирь ни за что, ни про что… Я бежал не оглядываясь, чтобы сохранить в себе человеческое достоинство».

Как видно, «блоховцы» большие мастера на купюры, что позволяет им в следующем абзаце рассеянно утверждать, что профессор Печерин у е х а л (!) из России.

В 1836 или в 1837 году (до сих пор существуют две версии) бежал доведенный до отчаянья русский интеллектуал. Не надо брать под защиту жандармскую эпоху России, когда Пушкин был «поднадзорным», Лермонтов — «невыездным», а Чаадаев — «психом».

Итак, первая фальсификация: Печерин говорит — «я бежал»,

«блоховцы» утверждают — «уехал».

Есть разница в смысловых нагрузках? Или нет?

Ловить меня на том, что первым беглецом из России был Курбский, а не Печерин — неисторично. Впрочем, быть может, «блоховцам» не понятна разница в переходе к противникам России (Курбский) с бегством — в никуда, только б из рабства (Печерин)? Может быть, им безразличны мотивы, двигавшие поступками князя Курбского и инакомыслящего интеллектуала Печерина?

б) Весьма поучающе «блоховцы» замечают: «Автор запамятовал, что НКВД возник после реорганизации ОГПУ лишь в 1934 году…»

Во-первых, НКВД возник 25 октября 1917 года, первым наркомом был утвержден Алексей Иванович Рыков. В задачу НКВД — вплоть до 1934 года — входила борьба с бандитами, жуликами, фармазонами, проститутками (Угрозыск), пожарная охрана, нынешнее ГАИ. Во-вторых, неплохо бы «блохоловам» пользоваться Сов. энциклопедическим словарем не только в случае с профессором Печериным, но и по вопросам НКВД и ОГПУ. Отсылаю их к стр. 924: «ОГПУ, орган по охране гос. Безопасности в 1923—34 гг. В к л ю ч е н о в НКВД…»

Скорее всего, я не стал бы писать эту реплику и настаивать на ее публикации, не прочитай недавно сообщение «Комсомолки» о том, как парочка подобных «блохоловов» оболгала социолога Кагарлицкого. Я был горд за мужественное, самокритичное решение нашей «Комсомолки», отказавшейся впредь печатать лжецов.

Я бы не стал писать эту реплику, если бы «блохоловы», опубликовавшиеся на страницах столь уважаемой газеты, как «Советская культура» не признались в том, что они читали отрывки из «Неопубликованных романов» в февральских номерах «Московского комсомольца», где было черным по белому написано: «полностью будет опубликовано в „Неве“».

Начиная с февраля я получаю множество писем от читателей: и с угрозами, и с благодарностью, и с указанием на неточности. Что успел — исправил, спасибо внимательному и доброжелательному читателю. А наши «блохоловы», затаившись, ждали выхода «Невы».

Совместимо ли это с этикой журналистики и с нормами доброжелательства? Да и журналисты ли они, эти Е. Перемышляев и С. Дмитренко?

Кем бы они ни были, работать надо компетентно, — даже когда ловишь «блох».

Юлиан Семенов.

* * *

21 января 1989 года

Уважаемый Михаил Сергеевич!

Свой вклад в дело перестройки я сейчас вижу не только в литературной работе, но и в бизнесе: на смену словесной поножовщине должно прийти Дело, гарантированное Законом.

У совместного советско-французского предприятия ДЭМ и Московской штаб-квартиры Международной ассоциации «Детектив и Политика», руководителем которых я избран, отлаживаются перспективные деловые контакты с западными фирмами и банками. Прорабатываются проекты, связанные со строительством отелей, дорог, бензозаправочных станций в русском Нечерноземье, Крыму, Сибири, Риге, Ленинграде, очисткой от топляков северных рек (они на 30 % погубили экологию этих водных бассейнов), созданием «Банка идей» и так далее, — я прилагаю лишь один протокол, подписанный мною с крупнейшей финансовой группой Капелюзоса из Греции. Если мы сможем раскрутить этот бизнес, то советские люди смогут получить быструю отдачу текстилем, одеждой, товарами повседневного спроса взамен на г н и ю щ и й в реках топляк и гибнущий на севере лес-сушняк.

В стадии обсуждения с западными партнерами находится моя идея о строительстве автомагистрали Париж — Москва — Сан-Франциско; идея эта не кажется им утопической, это не БАМ, а кругосветное путешествие за рулем автомашины.

Однако при нашей ведомственной раздробленности, притом, что в стране до сих пор действуют более 350 000 нормативных актов, смысл которых в том, чтобы запретить или ограничить свободу деятельности Гражданина, реализовать любой проект — мучительно, изматывающе трудно.

Может быть, подумать о создании союзного и республиканских Координационных Центров бизнеса, построенных на принципах хозрасчета и самофинансирования? Чем скорее и грамотнее чиновник «проведет» все бумаги сквозь рогатки ведомств, тем больший процент от прибыли он получит. Это — в развитие Ленина, который в письме Каменеву о Наркомвнешторге предлагал платить чиновнику 10 процентов от удачно проведенной сделки. Пусть бы один процент платили — как бы дело сдвинулось с мертвой точки. А мы все подсчитываем: кто и сколько получил. Идет это от общины, от неуважения к Личности, увы… Не вовлекая бюрократию в бизнес, мы саботаж перестройки не сломаем — сие — факт.

Говорят, в стране нет валюты. Есть она. Лежит под ногами. Не хотим поднять. Иностранный туризм — не организованный, а личный — может дать нам десять миллионов гостей в год, как минимум. Венгрия принимает двенадцать миллионов, а мы?! Пусть разрешат советским людям принимать у себя иностранных гостей: вот мосты доверия и дружества! Так ведь нельзя! Советский гражданин не имеет права получить на руки доллары, не имеет права открыть свой счет в банке, не имеет права, не имеет права, не имеет права… А венгр, китаец и болгарин имеет такое право, — не говорю уж о других…

Простите за это стенание, но, право, сердце разрывается, когда на каждом шагу сталкиваешься с запретами, — явными или закамуфлированными.

В стране нет бумаги, — мне сказали, что Госкомиздат получает только 42 процента, остальная уходит по ведомствам, на «бумажки» и «анкеты». Книги тем не менее необходимы. Мы пошли по пути создания концерна: лесники — бумажники — транспортники — издатели. Но ведь я жду каждый день, когда кто-то шваркнет кулаком по столу: «кто разрешил, где инструкция!».

Может возникнуть вопрос: отчего это Московская штаб-квартира Международной ассоциации Детектива и Политики имеет столько контактов с людьми крупного бизнеса? Да оттого, что каждая пятая книга, выходящая в мире, — это детектив или политический роман. Комиссару Мегрэ стоят памятники в Бельгии и Франции, Шерлоку Холмсу — в Англии; стараниями же советской коррумпированной критики, гораздой на создание «литературных гениев», на поверку являющихся голыми королями, этот жанр литературы и кино третируется. А нас издают во всем мире, читают и смотрят, и говорят не как с безликими чиновниками, но как с литераторами, творчество которых знают. Это — выгодная позиция, грех ее не использовать в наших интересах.

Но без помощи определенного работника ЦК, которого бы нам прикрепили в качестве постоянного координатора, чтобы ощущать локоть в нашей повседневной работе с Госснабом, МВЭС, Минфином, МГА, Морфлотом и т. д., — все те проекты, которые рождаются, так и останутся проектами.

Невозможно проламывать крупномасштабные, завязанные в единый т е м а т и ч е с к и й узел проекты и без помощи Гостелерадио. Если бы смогли получить ежемесячную программу под названием «СП» — «Совместные предприятия», в которой рассказывали бы о том, что происходит в этом новом деле, что это приносит людям, — общественность поняла бы смысл этой

ленинской идеи, загубленной сталинистами и возвращенной к жизни Вами. Но ведь Гостелерадио не даст моим коллегам и мне такой программы без соответствующего указания, Михаил Сергеевич! А ведь наши консерваторы, рядящиеся в тогу «народной совести», все более громко — как и во времена Петра Великого — вещают: «продаем Русь иностранцам!»

…Как-то Константин Симонов сказал мне: «служить не отказываюсь, но служить не навязываюсь».

Страшусь, что кто-то может подумать, будто я навязываюсь служить. Сплетен обо мне ходит предостаточно, могут запустить и эту…

Все проще: сердце разрывается за перестройку, — воистине, это наш последний шанс, другого не будет, — и у которого, как стало ясно, множество могучих и затаенных противников.

Сердечно Ваш Юлиан Семенов.

* * *

1989 год

Многоуважаемый Михаил Сергеевич!

Не стал бы тревожить Вас, если бы не сделалось мне ясным: без н е м е д л е н н о г о насыщения рынка товарами первого спроса положение в стране может стать угрожающим.

Можно ли насытить рынок? Да, можно. Каким образом? Кредиты? Нет. Туризм. Я наблюдал туристский бум в Испании в 71–76 годах, я видел, как туризм п о д н я л страну из отсталости.

Мы все грешны плачами и стонами, — нет, однако, реальных экономических проектов.

Выношу на Ваш суд мой проект:

1. В настоящее время мы принимаем только «организованных» туристов, — купивших ваучер, заполнивших заранее анкеты, и т. д.

А что если пойти по болгарскому или венгерскому пути, то есть давать визу прямо на границе? В страну перестройки приедут миллионы. На границе или в любом обменном пункте страны (организовать их множество, как во время Олимпиады) п р о д а в а т ь въезд за 500 долларов, разрешив при этом снимать комнаты у советских граждан, спать в палатках или в автодомиках.

В Ялте живет 145 000 жителей. Из них в пристойных квартирах — 20 000. То есть, за шесть месяцев — с мая по октябрь — одна Ялта может принять (из расчета два интуриста на квартиру) 240 000 гостей, т. е., коли помножим это на 500

долларов, получим 120 миллионов долларов лишь с одного города. Москва, Ленинград, Киев могут принимать в пять раз больше. А Байкал? Сочи? А берега Енисея, Оби, Иртыша? Я не предлагаю сейчас рассматривать целесообразность туризма на Кавказе, надо подождать, но я поднимаю вопрос в принципе: либо мы о т к р о е м страну и получим миллиарды долларов немедленно, положив притом конец всякого рода «трактовкам» изменений 7 и 17 статей Конституции, либо мы будем отговариваться тем, что у нас не хватает отелей и нет сервиса. Я как-то писал, что «советский сервис ненавязчив»; сие, увы, правда, но люди наши гостеприимны, а это — важнее сервиса.

2. Обмен 500 долларов на границе должен производиться на льготной основе для тех, кто въезжает в СССР по этой системе.

3. Выезд из страны возможен с обязательным штампом в паспорте или справкой Внешкомбанка об обмене 500 долларов.

4. Необходимо изучить возможность аренды комнат в тех деревнях и поселках, где нет обменных пунктов. Видимо, целесообразно разрешить согражданам менять полученную от интуристов валюту по такому же льготному курсу в городах СССР.

Предвижу возражения: «мы не прокормим такую массу народа».

Ответ: во-первых, иностранцы едят значительно меньше нас, ибо они экономят на еде, чтобы купить дом, новый автомобиль, з е м л ю. Во-вторых, колхозные рынки снабдят тем н е о б х о д и м ы м, что надобно туристу, да и кооператорам откроется реальное поле деятельности.

Второе возможное возражение: «приедут не только друзья, не только туристы, но и враги».

Ответ: на то и существуют правоохранительные органы, чтобы врагов разоблачать.

И — ленинское, постоянно им повторявшееся: «главное — ввязаться в драку, а там посмотрим…»

Мы грешим тем, что долго строим умозрительные системы, полагая, что п р и д у м а н н о е может стать абсолютным. Вне и без жизненных корректив, вне проверки практикой любая схема — мертворожденна.

Последнее: рост туризма принесет не только валюту, но и огромное количество денег в обращение. Первый шаг в инфляцию?

Да, если не решимся на то, чтобы п р о д а в а т ь землю.

Нет, если пойдем за Лениным: «земля — народу». А если так, то это положение должно быть оформлено конституционным правом на приобретение земли, ибо «наше — это ничье».

Сердечно Ваш Юлиан Семенов.

* * *

1990 год

Уважаемый Михаил Сергеевич!

1. Наше государственное скопидомство, увы, сыграло злую шутку с державой: мы не покупали и не покупаем собственность за границей, а лишь арендовали (и арендуем) особняки и квартиры, — для ТАСС, АПН, посольств и т. д. Из-за этого потеряны сотни миллионов (если не миллиардов) долларов. Земли и дома растут в цене не по годам — по месяцам. (В семидесятых я предложил МИДу — через моего испанского друга миллионера Антонио Гарригеса — купить для советского посольства замок с двумя гектарами земли в центре Мадрида за 4–6 миллионов долларов; отказали. Сейчас эта земля продана за 50 миллионов долларов. Несть числа таким примерам, увы.)

Сейчас у нашего «Совершенно секретно» и «Детектива и Политики» появилась уникальная возможность — как у международной внеправительственной организации, — возглавляемой к тому же писателями, широко издаваемыми за границей, — покупать недвижимость. Например, есть ряд предложений во Франции, Испании, Италии, на Корсике, ФРГ, ГДР приобрести дома и землю.

Во Франции можно купить дома за 35 тысяч долларов в радиусе ста километров от Парижа. Можно — пока еще — купить дома на Корсике. В Испании можно найти дом с землей за 25–30 тысяч долларов, — пока еще. Эти вложения беспроигрышны, стратегичны и прибыльны. При не очень больших затратах мы можем получать реальные, вечные доходы.

Если бы Вы сочли такое предложение разумным, я был бы готов с товарищем от П. Е. Кручины заняться этим делом в самое ближайшее время.

2. Поскольку совместные предприятия у нас функционируют в условиях крайне тяжких (считают зарплаты работников, а не прибыль СП), считал бы целесообразным переместить центр тяжести на создание СП за рубежом, чтобы у нас действовали филиалы, принимающие доллары, а отправляющие на Запад погибающий в реках лес, торф, сушняк, изделия кустарных промыслов и т. д. и т. п.

4. У меня предстоят переговоры с газетно-телевизионной группой австралийского миллиардера Мэрдока; его штаб

утверждает, что у Вас с ним намечены беседы в Вашингтоне во время встречи с Бушем.

Был бы очень признателен, если бы Вы поддержали совместный проект «Совершенно секретно» — Мэрдок. Дело стоящее, за ним — миллиарды.

Юлиан Семенов[110].

Глава шестая
ДНЕВНИКИ, ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Искусству или умению изучать русскую прозу следует помогать компьютерами, хотя, думается, даже компьютер не сможет подсчитать все трагические компоненты отчаянья, надежды, мольбы, страха, любви, что рвали сердца тех литераторов, кому Господь дал ум — от него у нас горе, от чего же еще?!

Юлиан Семенов

Дневники отец вел не постоянно — если в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов записывал практически все, то начиная с 1964-го года регулярные записи делал лишь во время командировок в качестве корреспондента российских газет. Говорил, что нельзя доверять памяти, и записывал впечатления «на живую»: любопытные факты, литературные портреты людей, шутки, размышления. Там, где сложно было писать — во Вьетнаме — под бомбами, в Никарагуа, во франкистской Испании, — наговаривал «дневник» на маленький диктофончик и распечатывал по возвращении. Некоторые из записей легли в основу книги «На „козле“ за волком».

Дневник Ю. Семенова неоднороден — одни записи носят эпизодический характер, другие по отточенности языка и выразительности образов больше похожи на законченные литературные произведения, но все они объединены уважительным интересом к описываемым людям, внимательным взглядом на окружающее и точным анализом.

* * *

1962 год

Критики требуют: «Объясните, как, в какое время сложился новый характер молодого человека?» (имея в виду Богачева)[111]. А как это объяснишь, а главное покажешь?

Перестали сажать, перестали бояться и в каждом видеть сексота — отсюда и другие характеры, которые не понятны другому поколению.

Тут не объяснишь — это объяснение было бы унизительным для общества. Тут надо все самому понимать.

…Внутри каждого общества рождается новое, антагонистичное родившему его.

* * *

8 февраля 1963 года

Вчера зашел ко мне Юра Холодов — старый, еще школьный друг, с которым я сидел на одной парте с 7-го по 10-й класс. Жил он тогда в покосившемся бараке, с матерью и сестрой Валей, отец погиб на фронте.

Помню его всегда в коричневом джемпере. Руки здоровые, мужские, крестьянские, из джемпера торчат, как у пугала. Из брюк всегда вырастал. Ходил косолапо, потому что в ботинках поджимал ноги, а ботинки все равно рвались, причем рвались у мысков. Еще помню — с 8-го класса, когда мы ездили на Фили купаться, он без 10–15 лягушек домой не возвращался. Делал с ними опыты — опыты для 8-го класса необычайно интересные. Я ничего не понимал, но млел от восторга.

Сейчас Юра — кандидат биологических наук, работает в Институте высшей нервной деятельности. Занимается какими-то хитрыми проблемами магнитного поля у рыб, что очень тесно, как выяснилось, взаимосвязано с проблемами телепатии и парапсихологии. Парапсихология изучает следующие проблемы: ясновидение, провидение, ретраспектровидение и, наконец, левитация. Десять лет тому назад все эти — теперь уже науки казались шарлатанством, а особенно последняя, пятая — левитация. Что такое левитация? Это — вознесение живьем на небо, Илья-пророк, йоги, ну и Христос конечно же…

Слушая Юрку, я смеялся поначалу как молоденькая девушка, за которой начинает ухаживать этакий Жан Маре. В конце-то я ошалел, потому что Юра предложил мне поставить ряд экспериментов. Мы нарезали бумажки — 16 бумажек и нанесли на них четыре изображения: звездочка, кружок, квадрат и параллельные линии. Он передавал мне, а я, настроившись на его волну, принимал его передачу. Из 16-ти я 7 или 8 принял. Когда я ему пытался передавать — он принял только 3, и, как ученый, привыкший к точности формулировок, он утверждал, что мое

писательское «я» больше приспособлено к восприятию, нежели к передаче. По-моему, это разумно и здорово.

Потом мы попробовали подключить к этому делу Катюшку, и Юра стал передавать нам обоим. Получилась любопытная картина: я, сидевший к нему ближе, чем Катюша, мешал эксперименту, т. к. Катюшка приняла все мои сигналы, а не Юрины. Я был своеобразной «помехой» на пути движения его воли к ней, принимал их на себя и уже свое, местами ошибочное, восприятие передиктовывал Кате.

Говорили мы очень много и интересно. В основном, конечно, эта интересность шла от Юры. Материал, подобный этому — физика Штейнгауза я читал дня три тому назад, — прислали из журнала на рецензию.

Это — большой материал о новой науке — бионике. Эта наука должна учиться у животных, у рыб, у птиц. Для этого необходимо разгадать, что лежит в подоплеке миграции рыб, как может птица — причем не в стае, а одна — делать свой ежегодный перелет с севера на юг и с юга на север. То есть, в мире техники, в общем-то уже все известно — круг есть, турбина есть, атом расщеплен; теперь наступает пора разгадать, а разгадав, поставить на службу человечеству все то неизвестное, что окружает нас в животном мире. То есть, если мы поймем принцип и технику перелетов птиц, то стоимость самолета упадет раз в двадцать, потому что вместо десятков тысяч радиоэлектронных приборов самолету потребуется один маленький приборчик, который сейчас, как мы знаем, грубо говоря, умещается в голове птицы…

Когда думаешь об этом, с одной стороны, поражаешься неистовству человеческого знания, дерзости и какой-то, если хотите, самоуничиженности (ползти на коленях к птице и рыбе за помощью); и еще — странно делается.

Если человечество поймет технику парапсихологии, телепатии, бионики, то тогда человек перестанет быть человеком; ни о чем нельзя будет думать, потому что твою мысль в любом научно-вычислительном центре могут записать от «а» до «я», и уж тут-то ошибки никакой не будет! Скажут: «Думал по этому вопросу?» — «Думал». «Ругал то?» — «Ругал». Машина — она, брат, — машина…

На этой почве много появилось маленько трехнутых. К Юрке Холодову пришел один сумасшедший и говорит:

— Знаете, меня окружают не наши люди. Сначала-то я думал — бериевцы, а теперь решил: нет, — американцы! У меня из головы все гениальные идеи они своими машинами вытягивают. Только я что-то придумаю, а они с помощью магнитных полей

своих все это к себе, к себе!

Юра ему говорит:

— Но вы ведь инженер, вы должны знать технику экранирования. Предохраните себя каким-нибудь методическим кругом над головой во время ваших научных изысканий.

Тот горько усмехается:

— Да что вы! Я уже делал такой круг, но ведь как только его с головы снимешь, они тут как тут и начинают! Я ведь уже больше того — я себе вокруг кровати металлический склепчик устроил, а жена с сыном — люди несознательные — говорят: «Ты что — сумасшедший?!»

В прошлую субботу читал в Пушкинском театре пьесу «Дети отцов». Была вся труппа, за исключением разве что Чиркова, который болен. Пьесу приняли, говоря откровенно, очень здорово — аплодисменты и т. д. Все выступавшие говорили, что пьесу надо не то что брать — пьесу надо немедленно ставить.

Только одна хорошенькая актриса — Марина Кузнецова, которая в общем-то тоже двумя руками за пьесу, говорила: «Ну все-таки хочется побольше оптимизма». Ее прерывали. Она обижалась. Ей кричали: «Оптимизма и так много!», и кричал в первую очередь артист Бубнов — секретарь парткома театра, актер, запомнившийся мне по фильму «Ночной патруль», где он великолепно сыграл роль бандита — уголовника Бугра.

Одна красивая актриса сказала режиссеру Жене Евдокимову после читки: «Мне достанется роль Киры». Это смешно, потому что Кира у меня в пьесе вообще не появляется.

Слушая Кузнецову, о чем я думал? Думал я о том, сколь сильны в нас, в каждом, последствия сталинского культа. Особенно ясно убедился я в этом на примере истории с Центральным театром Советской армии, где сначала пьесу приняли на ура и со слезами, а потом, после запрещения цензуры, также быстренько сбагрили, говоря: «Сами знаете, время сейчас какое…» И поднимают при этом глаза наверх: мол-де сверху все это. А ведь это неверно. Наоборот. Ильичев и Хрущев хвалили Солженицына и говорили о необходимости продолжать тенденцию в литературе, разоблачающую преступления во времена культа Сталина. А тут у самих, внизу, проявляется проклятое «Чего изволите?» Хотят быть правовернее Христа, хотят «правильно понять тенденцию». А потом, когда сами ж себе все винтики закрутят, будут разводить руками, ахать, охать и говорить: «Ведь вы ж понимаете — разве мы виноваты?» А кто ж еще виноват, кроме них самих?! — Никто!

Начальник Управления культуры Моссовета Ушаков третьего

дня, выступая перед завлитами московских театров, говорил, что мы будем выступать против косяка пьес антикультовских. Он говорил, что сейчас уже анекдот пошел, что в одном театре (он имел в виду «Современник») собираются ставить антикультовскую пьесу таким образом, что вместо билетеров будут стоять переодетые энкавэдисты и вместо билетов они будут требовать пропуска; а все происходящее на сцене будет идти за колючей проволокой, и когда в антракте люди будут подходить к сцене, охранники на вышках будут кричать: «Отойди от зоны, иначе стреляю без предупреждения!» Его сотрудник Бахтин, отвечающий за Пушкинский театр, тем не менее высказался за мою пьесу.

Приятно и то, что пьесу активно поддерживает ЦК. Правда, тов. Чернов не высказался активно за пьесу. Он оказал, что постольку, поскольку остальные товарищи, прочитавшие пьесу, за нее, то его мнение остается его мнением, и если коллектив считает нужным пьесу ставить, то нужно ставить ее обязательно.

Главлит по-прежнему против и требует, чтобы театр перечислил фамилии тех сотрудников ЦК, которые пьесу читали и одобряют. Когда я разговаривал с нашим завлитом, я ей сказал, что делать этого не надо, потому что это унизительно для работников Центрального Комитета.

Сегодня должен ко мне приехать Леонов с «Мосфильма», чтобы вместе с ним сидеть над сценарием. Сегодня же приезжает Миринго — с ним будем сидеть над пьесой ТЮЗа, а потом — режиссер из Театра Ленинского комсомола.

Со сценарием получилось любопытно. Писать его мне смертельно не хотелось. «Попробовав» театр, в кино не тянет. Если что — рядом с тобой нет Гурина с его оперативностью, точностью и четкостью в работе. С таким режиссером одно наслаждение работать. Он твердо знает, чего он хочет, не мечется, не суетится и живет по принципу: «Слушать всех надо, а слушаться надо одного себя».

Так вот — когда директор театра Пушкина Михаил Петрович позвонил директору 2-го творческого объединения «Мосфильма» Шевкуненко, чтобы «выцыганить» у него разрешение на постановку «Петровки, 38», Шевкуненко сказал: «Да что ж делать?! — Пожалуйста! Семенов ведь теперь года на три исчез!» И было очень смешно, когда я взял трубку, чтобы поговорить с ним. Он тут же стал требовать, чтобы я сдал сценарий немедленно…

Любопытное событие, происшедшее на совещании молодых

интеллигентов у Ильичева.

Выступал там Володька Фирсов. Выступал плохо; с тех позиций, которые я не приемлю. Это — дубинка, где-то твердолобость и та самая кондовость, которая всем нам порядком надоела. Но его выступление было, по-моему, значительно более принципиальным и честным, нежели выступления многих моих друзей — так называемых, ультралевых. Почему? — Потому что искусство, как и политика, не терпит двух стульев — либо, либо. А они — эти мои товарищи — выходили на трибуну, били себя кулаком в грудь, благодарили партию за правильную своевременную критику, а потом спускались вниз и в перерыве спрашивали:

— Ребята, правда я выступал как сука?

И ему отвечали:

— Правда!

По-моему, это недостойно художника. Художник должен отстаивать свою точку зрения, если он не согласен с критикой, или же принимать критику, если он считает ее верной, но уже не говорить, что он выступает как сука.

То же самое, к сожалению, я должен сказать и о дискуссии в «Известиях» Ермилов — Эренбург. Конечно, Ермилов — фигура одиозная и глубоко антипатичная. Конечно, известинцы совершили тактический просчет, пригласив для подобного рода дискуссии со столь умным и острым человеком, как Эренбург, такого крабообразного хамелеона, как Ермилов.

Им бы надо было пригласить писателей вроде Чаковского, Кожевникова, Чуковского и поговорить всерьез. Увы, Илья Григорьевич выглядел в своем ответе «Известиям» весьма неубедительно и жалко по-моему. Опять-таки это проистекает от желания сидеть на двух стульях. И у меня возникает серьезный вопрос к гражданской честности Эренбурга. Если он знал, что Сталин был негодяем и врагом, то как же он мог каждую свою книгу — будь то «Девятый вал» или «Буря» — заканчивать словословием в честь «самого доброго», и «мудрого», и «родного товарища Сталина»?! Мог ли он этого не делать? Да, мог. Этого не делали ни Паустовский, ни Пастернак, ни Пришвин, ни Бианки, ни Чуковский, ни Гроссман. Так что в данном случае ссылаться на эпоху — неприлично…

Еще об одном любопытном факте. Недельки полторы тому назад в «Литературке» я прочитал статью Александра Борисовича Чаковского, посвященную открытию выставки французского абстракциониста Фернана Леже. Эта статья произвела на меня впечатление, суммарно выраженное Ильфом и Петровым устами

бухгалтера Берлаги: «Я это сделал не в интересах правды, а в интересах истины».

Вспоминая сейчас дневники писателя Достоевского, при всем их юдофобском орнаменте, при всей их внутренней реакционности, — я все же не могу не принять их как платформу человека мучительно честного в своей платформе и так же мучительно честно свою платформу излагающего.

Нам, к сожалению, сейчас вот этой высокой принципиальности своей платформы сплошь и рядом недостает. Сплошь и рядом мы делаем реверансики, ахаем и охаем, вспоминаем, ссылаемся, уповаем, думаем, а вот что касается утверждения своего гражданского «я», своей платформы и позиции, то тут, к сожалению, часто встречается вариант «непрохонже», что, по-моему, есть вариация пословицы «Моя хата с краю».

Кстати о временах культа личности. Совершенно изумительно то, что сказала стенографистка: во времена культа личности было удивительно легко стенографировать выступления из-за мизерного запаса слов и из-за того, что трафаретность выступления была заранее дана, и ничего неожиданного быть не могло. Вплоть до того, что некоторые говорили: «Выступление я продиктовал, а конец… конец вы сами допишите — как полагается, вы знаете»…

Валя Тур рассказывал мне про человека, который выступал на похоронах Пастернака. Это был молодой мужчина с длинными сальными, поповского вида волосами, который начал свое выступление над гробом таким образом:

— Мы — люди, верующие в Христа…

Все думали, что это кто-то из священников, приехавших на похороны вместе с патриархом всея Руси. Но оказалось, что этот человек есть не кто иной, как один из ведущих физиков-атомщиков.

Любопытно: один мой знакомый рассказал, что ему говорил ведущий советский физик:

— Вас интересует: есть ли Бог с точки зрения науки? Отвечаю вам научно: да, есть!

Когда я сейчас был в Красноярске пролетом из Абакана, ночь просидели у меня друзья еще с 1958 года, когда я жил в тайге на строительстве Абакан — Тайшет, когда мы только-только затаскивали палатки в тайгу — на то место, где сейчас разросся великолепный город Кашурниково. Вообще-то это — фантастика: в тайжище за какие-то пять лет — там, где были глухие медвежьи тропы, — молодые мальчишки-комсомольцы построили

блистательнейший город.

Так вот — с Лазарем я подружился еще с тех дней. Приехал к нему и он мне говорит, что сейчас учится на заочном философском факультете. Я удивился: зачем сорокалетнему человеку, начальнику геологической партии, фронтовику-орденоносцу, сейчас учиться на философском факультете?! Он мне отвечал совершенно логично:

— Развитие наук так неимоверно рванулось вперед за последнее двадцатилетие, что сейчас необходимо новое философское обоснование этому рывку вперед. Это философское обоснование необходимо даже с точки зрения утилитарной: если сейчас изучить в школе даже основы всех новых наук и знаний, которые появились, то в первый класс надо поступать семилетним ребенком, а аттестат зрелости получать шестидесятилетним дедушкой. Возникает вопрос: нужно ли сейчас мучить детей таблицей умножения, азами физики и химии? Ведь уже это все — и таблица умножения, и азы физики и химии — «пещерный век науки». Может быть, правильнее подключать в школу маленькие счетные машины и сразу перепрыгивать из первого класса — ну, хотя бы в четвертый или пятый? Может быть, правильнее в первом-втором классах прививать детям навыки пользования счетно-вычислительными машинами, а не мучиться с отработанными принципами познания азов математики, физики, химии?

Все это очень интересно, тревожно и ново. Над всеми этими вопросами нужно думать. Если над этим начнет думать писатель, — по-моему, он погибнет как писатель. По-моему, писатель должен ставить вопрос. Решение вопроса — это уже следующая фаза, не подлежащая его компетенции…

* * *

12 февраля 1963 года

В воскресенье, с трудом поднявшись после субботнего вечера у Сербина по поводу выхода его книги «Оптимистическая Африка», решили ехать в Бугры. Приехали в Обнинск. Город этот, в котором я не был никогда, в чем-то меня потряс. Я не говорю уже о том, что десять лет тому назад здесь был лес. Я не говорю о том, что такие лесные города у нас возникают довольно часто в стране за последние годы. Я не говорю и об архитектуре, которая в общем-то вполне современна, хотя и достойна критики.

Этим летом я видел подобного рода лесные городки в

Финляндии — они сделаны с большим уважением к рельефу местности, с большей дерзостью и той холодной выдумкой, которая оборачивается очень сильным, если можно так сказать, импрессионистским восприятием этого городка среди скал и лесов. Любопытно — на улицах Обнинска почти одна молодежь, стариков нет, старухи необычны. Те, которых я видел, произвели на меня впечатление кликуш и монахинь. Забавно — кликуши и монахини в городе физики, в городе самой современной и точной теоретической мысли, которая может равно обосновать и неизбежность гибели всего живого на Земле, и неизбежность цветения на нашей планете.

Мы шли с Катериной по городу, увы, не для того чтобы познакомиться с ним, а чтобы попасть в обувной магазин. По обыкновению, Катюшка опоздала, я шел и все время брюзжал…

Забавно — есть люди, которые в юности тверды, железобетонны, в чем-то жестоки, а чем ближе к старости, тем мягче они становятся. Бывает наоборот. Плохо, если это наоборот распространяется на меня.

Читая дневник Толстого, его переписку с Репиным, меня потрясло одно место. После того как Софья Андреевна запретила печатать литографским способом рисунок Репина «Толстой на пашне», Толстой писал Репину: «Вы правы. Вы нас извините. Я понял, что мы неправильно поступили. Уж Вы, пожалуйста, извините. Я очень долго анализировал свой поступок и понял, как я неправ». По-моему, это изумительный образчик той самой «порочной» толстовской школы, которую у нас, — по-видимому, где-то по недомыслию пытаются представить пустым либеральничанием и кокетничанием. А по-моему, это идет от большого мужества, внутренней доброты и мучительной честности…

Пришли в Бугры. Было уже четыре часа. Солнце среди сосен как расплавленный пятак. Прищуришь один глаз, посмотришь из-за дерева — оно разбито надвое. Потом другой глаз откроешь и тут же жмуришься: прямо как бьет в лицо солнечный свет!

Дом стоит большой, мудрый и в чем-то мрачноватый. Встретила нас Анна Епифановна быстрым своим приговором — как-то по-стариковски, я бы сказал — по-толстовски радостно. Дверь дома была открыта, и оттуда тихонько доносились звуки рояля. Это ее деверя дочка попросилась на рояле поиграть.

Большая холодная комната с желтыми деревянными стенами, «Беккер», деревенская девочка с замерзшими пальцами — где-то кино в этом есть. А сделаешь в кино, скажут: нежизненно, выдумано все, наивный перенос чеховской интонации в

сегодняшний день…

Стали топить печи — они большие, холодные. Дрова гудят, ломает их окаянным белым пламенем, а печка — холодная. Не топили их долго. Нетопленая печь — вроде человека, которого обижали и обманывали. К нему с открытой душой, а он не верит, все скрытый смысл ищет, никак его «растопить», растормошить нельзя — заставить поверить нельзя. И уже когда мы, отчаявшись и выпив холодной водки, решили уезжать, печи стали понемножку теплеть. Так, наверное, и с человеком…

И когда мы уехали, в поезде я почему-то почувствовал и очень поверил в то, что печи сейчас в доме горячие, и идет от них тепло, и пахнет тем несказанным деревянным домом, который всегда символизируется со спокойствием, разумом и добром. Так, наверное, и человек. Уж когда ушел от него, когда увидел, что он не верит тебе, — уже, наверное, потом, когда он остался один, — схватится, завоет, застонет, а поздно — снова он один, снова наедине со своими думами. А думы — они как диктатор. Дума — это одна точка зрения; двух точек зрения — двух дум равнозначных и равноценных — быть не может. Обязательно одна какая-то победит и подчинит все остальные…

Катюшка к Буграм относится, с одной стороны, с любовью — все-таки там прожиты многие годы жизни, а, с другой стороны, — с суеверным страхом. Перед несчастьем с Петром Петровичем[112] ей снился сон, что в мастерской висело на стене чудище — вроде бы вывороченный наизнанку медведь — оскаленный, с высунутым бело-синим языком. Все прибежали в мастерскую и кто-то сказал: «Да вы не бойтесь, он бросится на самого сильного». И тут же стоял П.П. в белой рубашке — большой, сильный, хоть и старый. Назавтра его увезли в больницу. Через неделю он умер…

Когда было мое несчастье[113], Катька тоже видела Бугры, стадо черных быков. Она спускается в погреб, а там снова черные быки, а она спускается еще ниже и видит иконы — много икон и все перечеркнуты мелом крест-накрест…

Так мы и не дождались тепла в доме и в девять часов двинулись через лес — дремучий, страшный — к Обнинску. Прошли лес — средневековый, гулкий, весь наполненный какими-то таинственными шорохами, — и вышли в цивилизацию — в город физиков, сели на поезд и поехали домой.

Напротив нас в вагоне сидел молодой паренек — длинноносый, в очках, взъерошенный. Был он похож на тип того прекрасного российского интеллигента, для которого и во имя которого хочется писать. Когда я вижу таких людей, я тогда вспоминаю записку в дневнике Пушкина. Смысл сводится к тому, что «я шел по Фонтанке, мимо театра, где давали представление

пьесы Кукольника. Спектакль кончился, и несколько гвардейских офицеров выносили из парадного подъезда Кукольника на руках своих, дамы восторженно аплодировали и что-то кричали. А я стоял под фонарем, и снег сыпался на меня, и была вокруг меня тишина, и никто меня не знал и не видел. И тогда подумал я: а ведь пишем-то мы, в сущности, для двадцати семи пар глаз». Это очень верно и здорово.

И вот для такого парня — интеллигента и хочется писать. Разговор у нас с ним получился как-то сразу. Мы ему предложили почитать журналы, он нам дал свою книжку об архитектуре. Я в этой книжке вычитал любопытную деталь, что постольку-поскольку Коран — религия иконоборческая, то она выступает против изображения живого лица. Это верно. Я видел мечети Кабула, Багдада, Каира, Бейрута, и меня всегда потрясала совершенно поразительная орнаментовка. Казалось, что художник, стиснутый жестоким указом, запрещавшим ему видеть своим внутренним зрением лик святого, был вынужден этим жестоким предписанием к совершенно поразительному пониманию орнамента. Если вглядеться и заставить себя — как в технике — сделать допуск, то в рисунках орнамента можно увидеть сюжетные полотна. Мне кажется, что в орнаменте мусульманских мечетей, в кривых и прямых линиях, в замысловатых звездах и кружках стиснуто то самое неуемное движение мысли, которое может заменить ряд зрительных образов. Надо только позволить себе видеть в орнаменте мысль живых людей, фабулу — и ты увидишь.

То есть подтверждается и правильность библейского завета — ищущий да обрящет…

Парень в очках, который оказался по специальности радиофизиком, разговорился с нами. Пошло все от того, что он своему приятелю, который проходил по вагону, сказал: «Сегодня еле-еле смог купить книгу Ревалда «От Матисса до Ван Гога». Парень стоял в очереди с пяти часов утра, чтобы купить книгу о далеких импрессионистах. Он же рассказывал о том, как он ходил по выставке «30 лет МОСХа» и экскурсовод, подводя их к картинам Кончаловского, говорил примерно так: «Хороший художник, только подражательный, своего ничего не принес, все от Матисса и Ренуара. Классовой борьбы-то нет». Поразительное, вопиющее невежество! С такой вульгарной социологией мы ведь обязаны отвергнуть Левитана, Шишкина, Рублева, Тициана, Снайдерса. Любят у нас шарахаться. Вот и шарахнулись сейчас в тот самый Пролеткульт, который отвергал Пушкина и Рембрандта. Подавай им, видите ли, в портрете классовую борьбу! А разве портреты Мейерхольда, Хачатуряна, Дуловой,

написанные Кончаловским, не служат тому делу, которое мы все исповедуем?! Разве портрет современника не лежит в русле классовой борьбы?! Разве среднерусский пейзаж не есть воспитательная работа, воспитывающая в зрителе любовь к своей Родине?! Формализм — страшен только тогда, когда он обрамлен догмами пропаганды…

Я спросил нашего спутника:

— Скажите: а многие у вас интересуются импрессионизмом, древней живописью, архитектурой?

Он ответил:

— Да в общем-то не очень.

И тут он рассказал очень занятный эпизод.

У них есть один товарищ — ему уже тридцать семь, он фронтовик, прошедший огонь, и воду, и медные трубы. Он раньше говорил: «Что — импрессионизм? Да они все сволочи!» Ребята показали ему картины импрессионистов — Матисса, Ренуара, Ван Гога, он смотрел на картины и говорил: «Это здорово! Это очень здорово! Это очень здорово!» Ему сказали: «Так, миленький, ведь это же импрессионизм!»…

По-видимому, одно из ярчайших последствий культа Сталина в нашей стране есть инертность мышления. Эту инертность следует разбивать, как в первом классе школы при изучении азбуки — наглядностью. На доске надо писать прописные истины и букву А следует иллюстрировать красивым кубиком, чтобы с одной стороны была красивая Анна, с другой — красивая Анапа, с третьей — еще какое-нибудь красивое А. Только наглядно человек сможет понять и поверить, а так — говори ему, не говори — усмехнется и останется при своем…

Мечтает этот парень — наш собеседник — летом уйти в туристский поход. Нет для него большего счастья, как нагрузиться рюкзаком, сколотить плот и по какой-нибудь таежной речушке прокатиться дней двадцать.

Я ему говорю:

— Ну, может быть, без рюкзака все-таки лучше?

А он отвечает:

— Ну что… Самая радость в том, как рюкзак постепенно все легче и легче делается…

Здесь же прочитал в газете о военном перевороте в Багдаде и о расстреле Абделя Керима Касема и председателя Народного суда Махдауи. Этих людей я знал. С Махдауи даже выпивал. Абделя Керима Касема очень много снимал и, стоя напротив него во время открытия советской выставки в Багдаде, пытался как-то понять этого человека, возглавившего революцию 1958 года. Он

был одет в солдатский мундир, на зеленых погонах была зеленая незаметная звезда бригадного генерала, на боку — большой маузер, в левой руке зажат ослепительно-белый, крахмаленый, полотняный платок.

Минут пять ему не давали говорить. Толпа ревела:

— Абдель Керим, ваше заим! (Да здравствует Абдель!).

Он комкал в левой руке белый платок — как боксер, который сжимает тренировочный мячик, чтобы развить мышцы руки, и на лице его была улыбка, которую человек может видеть только в зеркале, причем в зеркале не совсем правильном — у него улыбалась только правая половина рта, правый глаз и правая бровь; левая половина его лица была непроницаемой, строгой и, я бы сказал, высокомужественной.

Когда народ смолк — он начал говорить. Говорил он неистово. Начав тихо, откашливаясь, голос его был хрипловат и низок. Постепенно, словно заводя себя, он говорил все громче и громче. И чем громче он говорил, тем тише становилось вокруг, и только было слышно, как осатанело кричали воробьи в желтом багдадском небе. Когда он замолкал, — как бы обрывая себя, — раздавался рев народа. Иногда он поднимал левую руку с зажатым в ней белым платком, потрясал ею над головой, и снова раздавался неудержимый рев народа. Видел я его всего два раза, но мне необыкновенно трудно представить, как этого человека, после четырехчасового суда, убили в подвале Министерства обороны…

Сообщения газет путаные. Ничего себе толком я пока объяснить не могу, но, по-видимому, падение Касема было следствием не совсем последовательной политики. Он, как мне кажется, хотел быть одновременно и правоверным мусульманином и есть свинину. Он хотел быть хорошим и со Штатами, и с нами. Независимость — вещь абсолютно понятная; еще важно — куда и как эта независимость ориентируется и что ставит себе в пример. Думаю, что эта его вибрирующая ориентация и дала Насеру возможность подготовить заговор. Думаю, что это идет от Насера, потому что уже тогда, в 1960 году, многие иракские друзья говорили мне, что Касем, отвернувшись от коммунистов, подставил свой бок под выстрел Насера. По-видимому, в ближайшее время все станет ясно. Думаю, что я не ошибаюсь в своем прогнозе…

* * *

13 февраля 1963 года

Вчера, когда шел выступать в Политехническом, встретил парнишку. Фамилию его забыл. Помню только, что учился вместе с ним в Институте востоковедения и был он там у нас комсомольским вожаком афганского отделения.

Недавно он вернулся из Багдада и рассказал мне кое-какие подробности падения Касема. Я, в общем-то, не ошибся в оценке происшедшего — все это идет от Насера, от крайнего национализма и антикоммунизма.

Касем отстреливался до последнего патрона. Здание Министерства обороны бомбили самолеты, обстреливали танки, бронемашины.

Когда у Касема не осталось ни одного патрона — он сдался.

Через два часа начался суд над ним. Ему зачитали список расстрелянных фашиствующих молодчиков во время контрреволюционного мятежа в Мосуле, спросили — он ли подписывал приказ о расстреле, и, когда он ответил утвердительно, даже не выслушав объяснения, его повернули лицом к стене, поставили на колени и пустили пулю в затылок.

Началась резня коммунистов, которых в правительственных указах называют «саботажниками» и «анархистами». Создана народная милиция — явно фашистского толка. Всем остальным жителям страны приказано сдать оружие под угрозой смертной казни. Таким образом, защищаться коммунисты не могут. Единственное место, где еще, может быть, части коммунистов удастся спастись, уйдя в эмиграцию, это — Басра. Там коммунисты захватили тюрьму и сейчас идут кровавые бои.

Кончится это, по-видимому, поражением, потому что фашистская партия БААС насквозь пронизала всю армию.

Касем узнал об этом заговоре в четверг (суббота по-мусульмански). В четверг были арестованы крупнейшие руководители заговора, а в пятницу (мусульманское воскресенье) младшие офицеры начали мятеж.

Я спросил у моего приятеля — прав ли я в оценке происходящего в Багдаде, прав ли я, оценивая гибель Касема как суммарный результат его политической непоследовательности. Он мне ответил, что я прав.

…На глаза мне попалась газета с любопытной статьей «Зрение в кончиках пальцев». Сначала я думал, что это какой-то очередной развлекательно-публицистический материал, в котором будут бичевать ворюгу с пальцами, которые видят, в какой карман государства надо запустить руку, или о чем-нибудь еще в этом роде, но был приятно удивлен, когда прочитал всю

статью до конца и понял, что речь идет действительно о зрении в кончиках пальцев.

Девушка из Тагила — фамилию я забыл — обладает просто-напросто зрением в кончиках пальцев. Ученые сейчас экспериментируют с ней, пытаются разгадать смысл этого явления. Предполагается даже, что на ее примере можно и должно будет проследить генезис развития зрения в живом организме. Ее называют чудом.

Но вот что любопытно. Дня три тому назад, после беседы с Холодовым, я сидел в театре Пушкина, и заместитель директора Авенир Воронов совершенно точно определял цвет и форму фигур на телепатических картах, спрятав руки за спиной. Я попробовал — может быть, он чувствует на ощупь. Нет, он чувствовать не мог, потому что карандаши все были очень мягкие, а бумага — плотная, поглощавшая грифель. Девять из одиннадцати! Что это — чудо? Причем, как он мне потом говорил, он сначала чувствовал, какую бумажку, с какой фигурой и с каким цветом он вытащит, а потом он уже ее вытаскивал.

Все это ужасно любопытно. Но когда я рассказываю про все эти телепатические и парапсихологические штуки моим товарищам — надо мной подтрунивают, считая это очередной чудаковатостью. А мне кажется — в этой науке — будущее человеческих знаний…

Когда ехали мы из Бугров и за окном был черно-белый снег, и бело-черные деревья, и черное небо с рыжими звездами, я почему-то вспомнил прошлый год, этот же февральский месяц, и вспомнил, как мы с Юрой Казаковым и Юрием Осносом ехали из Польши в Чехословакию. Такие же были ослепительные снега, и такое же гулкое высокое небо, и такая же тишина вокруг, сонная тишина, но не в поезде, а в маленьком автобусе, в котором мы ехали от границы.

Приехали мы ночью в Татранский заповедник. Высоко в горах фешенебельный отель. Где-то далеко-далеко под нами светятся крохотные огоньки городка. Воздух как хвойная ванна — весь пронизан запахом леса, снега и тишины. Мы поставили чемоданы и решили пойти перекусить. Было что-то около двенадцати.

В этом отеле отдыхали разные люди. Тут была финка с дочкой, несколько англичан, много немцев, организованных как батальон, и вот — мы.

Англичане сидели в большом холле, рядом с рестораном, стайкой; женщины вязали и разговаривали, не глядя на вязанье, мужчины сидели вытянув длинные ноги, и смотрели себе на колени. Странный ракурс — я пробовал смотреть себе на колени;

по-моему, это удивительно скучно.

Финка — необыкновенно женственная, белая, спортивного толка — была здесь вместе с дочкой, у которой подозрение на туберкулез. В ней был какой-то совершенно точный сколок ремарковской героини.

Мы сели за низенький столик втроем. Настроение у нас с Казаковым было какое-то звонкое, электрическое. В Польше нам уплатили очень много денег. Мы красиво — по-шляхетски — пили, сидели с писателями и редакторами до утра в ночных ресторанах, вознося и драконя и мировую, и современную литературу. И вся эта наша поездка шла некоей музыкальной фразой: тихо, громко, еще громче, совсем громко, невозможно громко.

Денег у нас в Чехословакии, на границе, было очень мало. А у Юры Осноса — ему пятьдесят лет — у него все время подергиваются веки и сводит лицо тиком. Причем чем дольше мы ехали, тем больше его сводило тиком. Мы с Казаковым понимали, что смеяться над этим нельзя, но мы смеялись, смеялись до хрипоты, и он сам помогал нам в этом.

У Осноса — идефикс. Перед отъездом жена ему написала на двух страницах, что ему надо купить (жена его — совсем молоденькая женщина, вдвое моложе его). Ему там денег нигде не уплатили, и поэтому ничего из поименованного в списке Оснос купить не смог — на жизнь не хватало ему. Тогда он, старый теннисист, загорелся одной идеей, он был маникален в этой идее: он мечтал купить скарпетки, то есть шерстяные носки, необходимые при игре в теннис. Мне кажется, что даже в ювелирных магазинах, не говоря уже о продуктовых и аптеках, он всюду задавал свой сакраментальный вопрос: «Прошу, пане, — не имеете ли вы скарпеток?». У Казакова начинались судороги, когда он слышал слово «скарпетки». И вот здесь, в Татрах, Оснос, желая сэкономить свои скудные валютные сбережения, но стараясь сохранить при этом ту долю львино-светской элегантности, которая вообще-то его определяет, попросил подошедшего официанта:

— Попрошу вас два очень крепкого чая.

— Какой изволите? Может быть, египетский?

— Египетский, — согласился он.

— С вареньем розовым?

— С вареньем розовым, — согласился Оснос. А мы с Казаковым попросили:

— Дайте-ка нам двести граммов водочки и пару бутылок пива.

Когда мы пили водку и запивали ее пивом, Оснос,

прихлебывая черный чай, смотрел на нас с животной завистью. А когда принесли счет, мы с Казаковым начали кататься по креслам от хохота: оказывается, египетский чай считается здесь деликатесом и необыкновенно дорог. Так что двойной заварки чай вышел Осносу в два раза дороже, чем наша водка с пивом.

Когда мы поднялись наверх, к себе в номера, Оснос устроил нам с Казаковым истерику. Он кричал нам:

— Все равно вы обязаны купить мне шерстяную рубашку!

Почему мы обязаны, почему именно шерстяную, — понять никто не мог, но в Праге мы ему купили две шерстяные рубашки.

Когда мы вышли с поезда уже в Москве, после недели бурной и веселой пражской жизни, серый, заросший Оснос раскачивался, и тик стал постоянным состоянием его лица, а нормальное состояние его лица, спокойное — казалось тиком.

Недавно я говорил с одним моим другом — журналистом по целому ряду вопросов, связанных с положением дел в сегодняшнем искусстве. Говорили мы и о новых фильмах, и о молодой литературе, словом — по всем тем комплексам вопросов, которые не могут не вызывать пристального интереса к себе. И мой товарищ, когда беседа уже подходила в общем-то к концу, — комментируя «ножницы» поведения некоторой группы молодых художников и кинематографистов на трибуне общественной, в личной жизни и в своем творчестве, сказал, что он многое может простить им за талантливость.

По-моему, это глубоко неверно. Талант — он как папское звание в Ватикане, как звание героя у нас, как выборная должность консула во времена Французской революции. Талант это, с одной стороны, необыкновенно почетная обязанность, а с другой стороны — это святое следование законам чести. По-моему, не только можно простить талантливому человеку шатание и лавирование, а, наоборот, ему вдвойне этого прощать нельзя. Я лавирование могу определить проще, шире и грубее — я могу определить лавирование словом подлость.

По-моему, грубо социологичным и совершенно неправильным можно считать утверждение, по которому гениальный Андрей Рублев был чуть ли не воинствующим атеистом, членом клуба безбожников. Это глупо и гнусно. По моему глубочайшему убеждению, Андрей Рублев был высоковерующим человеком, и только веруя, он мог создавать свои гениальные иконы. Если бы он на секунду изверился в своей вере, то — я совершенно убежден в этом — это сразу бы стало заметно в его картинах, сразу стала бы заметна на них фальшь…

Подлость съедает талант, как мартовское солнце пожирает

снег: только три дня тому назад белел огромнейший сугроб — чистый, мощный, с ледяной оболочкой, а прошло три-четыре дня и вместо сугроба — желтая искалеченная трава…

Я беру, к примеру, искусство фашистской Германии, вернее я не вправе называть то, что было в фашистской Германии, искусством.

Но тот суррогат, который фашисты превозносили в качестве эталона искусства, — как он создавался? Он создался и сорганизовался из подлости. Художник проявил махонькую непоследовательность и — он уже обязан курить фимиам звериному нацизму, антисемитизму, бредовой идее о расовом превосходстве немцев. Те мужественные писатели, композиторы, художники, актеры, которые были последовательны, — они либо эмигрировали из страны, либо молчали, что уже было подвигом, либо томились в концлагерях, но и там оставались верны своей вере — будь то христианство, будь то коммунизм.

Следовательно, поэтому, как только мы начинаем говорить о том, что талантливому человеку можно многое простить, так — да простится мне столь страшное сопоставление! — я вижу тот самый суррогат, который в фашистской Германии именовался искусством.

Нельзя проводить никаких аналогий, нельзя сравнивать непоследовательные и трусливые выступления кого-то из моих знакомых с тем, что было в тридцатые годы в Германии, но надо же честно сказать самому себе, что либо, либо: либо нужно до конца отстаивать нашу правду; либо, если хоть в чем-то дать уступки, то это будет уже предательством той самой правды, в которую ты свято веришь.

Однажды я себя поймал на мысли, что, может быть, все-таки самым правым был Толстой, когда он утверждал и просил, повторяя Библию: «Не суди и не судим будешь». Так легче. Только правильнее ли?

Наверное, ребенок, у которого с самого детства всегда очень много игрушек, бывает лишен той непосредственной радости, которую всякий другой ребенок испытывает, получая игрушку время от времени: летом — одну, зимой — другую, осенью — третью.

Как это ни странно, я оказался в положении ребенка, у которого было мало игрушек, и сейчас для меня открывается страшно много радости, если только игрушкой можно назвать прозу Достоевского.

В прошлом году я перечитал «Братьев Карамазовых» и понял, что писатель этот — самая главная, наравне с Пушкиным, глыбина прошлого века, «Карамазовы» — страшная книга. Она

страшна так, как бывает страшна истинная правда, но не абстрактная правда, а правда того или иного кровавого события. Сейчас я начал читать «Бесы». Господи! До чего же мудр был этот писатель! И до чего же все-таки гениален был Кювье, утверждавший развитие общества по спирали!

(Замечу, кстати, любопытный факт: если сравнить прошлый век России с веком нынешним в хронологических таблицах, то можно обнаружить целый ряд небезынтересных совпадений. У нас Ленин умер в 1924 году, а в 1825 году Николай вешал декабристов. В 1853–1855 гг. закончилось земное царствование Николая — в 1956 году был у нас XX съезд. Может быть, это уже пошла ерундистика и та аналогичность, против которой я всегда выступаю, но тем не менее для меня в этом есть что-то занятное.)

Так вот о «Бесах». Первые пять страничек романа. И как же похожа наша околоЦДЛовская публика на тех окололитературных башибузуков, которых выводит Достоевский! У Достоевского есть одна гениальная фраза. Он пишет, что когда в салоне появлялись литературные знаменитости, они как бы заигрывали с развязными, волосатыми молодчиками, которые низвергали все и вся только потому, что им так хотелось.

Мне кажется, что Достоевский, как гениальный провидец века, отсидевший страшные годы в кандалах в Сибири, лучше, чем молодчики нигилистского типа.

(Базарова я терпеть не могу, считаю его наглецом, не джентльменом, а так называемого отрицательного типа «Отцов и детей» — дядю Аркадия я глубоко уважаю, и мне он по-настоящему глубоко симпатичен. Такие люди, если им приходилось погибать в какой-то определенный сложный момент истории, погибали достойно, не кричали о пощаде и не страдали медвежьей болезнью. А достойно умереть это так же трудно, как достойно жить)

Так вот, Достоевский, по-моему, продолжал пушкинскую мысль, обрисовывая этих самых молодчиков: «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим и своя шейка копейка, и чужая головушка полушка» («Капитанская дочка» 1. Дополнение. — Из книги «Мысли Пушкина», СПб., 1911)

Читаю я Достоевского по страницам. Возвращаюсь к фразе один, два и три раза, потому что его литература где-то сродни иллюстрированному толкованию Библии.

Забавный факт. Где-то я читал, что премьер-министр Великобритании Дизраэли, лорд Биконсфилд — еврей по национальности — писал Достоевскому в прошлом веке: «Вот Вы

ругаете нас, евреев, глумитесь над нами, а поверьте мне, господин Достоевский, в следующем веке самыми главными первыми истолкователями Вашего гения будут евреи».

Я нигде никогда не записывал историю одной забавной встречи, которая произошла у меня этим летом в Хельсинки. Был у нас такой дискуссионный клуб «Спутник». В самом центре города, в одном из парков, построили серебряный павильон, разложили там газеты и журналы на четырех европейских языках, развесили стенды с фотоматериалами, повесили экран, на котором гнали бесплатные фильмы (а бесплатный фильм в Финляндии — это штука поразительная, потому что билет в кинематограф стоит 250 марок — столько же, сколько стоят хорошие нейлоновые носки).

Народ валил в наш клуб валом, конечно, не столько из-за того, что фильмы были бесплатные, но в основном потому, что сидели в этом дискуссионном клубе наши интересные ребята из «Комсомолки», из журнала «Молодой коммунист» — ребята зубастые, умные и веселые. К ним было очень приятно прийти вечером, когда уже работа заканчивалась, посидеть в маленькой комнатенке, выпить чая с пирожным и покурить советскую сигарету.

В первый день фестиваля ребятам было очень туго, потому что фашиствующие молодчики рвались к клубу, чтобы поджечь его, и наши ребята просто грудью защитили павильон, можно сказать, защитили его, рискуя жизнью.

Так вот там, в один из дней, когда фестиваль уже вошел в свое нормальное русло, я разговаривал с группой молодых американцев, причем разговаривал я с ними и по-английски, и по-русски. Среди молодых людей, с которыми я говорил, была одна девушка, как выяснилось, — русская, Маша Воробьева, преподавательница одного из американских колледжей. По-русски она говорила со смешанным вологодско-американским произношением: у нее типично вологодские, окающие «о» и «а» и архитипичное американское «р».

Говорили мы долго, беседа у нас была очень доброжелательная, потому что большинство моих собеседников были членами социалистической организации американской молодежи «Эдванс». Все время нашей беседы чуть в сторонке стоял мужчина в серовато-зеленом костюме, седой, с голубыми глазами, с шрамом на носу — как будто кто кусал его. Он внимательно слушал наш разговор, улыбался там, где улыбались все, одобрительно кивал там, где все одобрительно кивали головой, и, судя по его костюму, я бы сказал, ортодоксальному:

мешковатый пиджак и широкие брюки — я, грешным делом, подумал, что это кто-нибудь из нашего посольства, и до конца убедился в этом, когда, окончив беседу с американцами, остался один.

Мужчина подошел ко мне и сказал:

— Здравствуйте, товарищ Семенов. С большим интересом я вас слушал — очень вы правильно и верно обо всем говорили.

— Спасибо, — ответил я. — Очень приятно встретить своего здесь, в Хельсинки. Вы что — из посольства?

— Нет.

— Из торгпредства?

— Нет. Я из Западной Германии…

Так я познакомился с Виктором Михайловичем Попом. Он — перемещенное лицо. Говорит, что его отец погиб в тридцать седьмом году, что он был студентом Ростовского университета, кандидатом в члены партии, попал в плен, мучился в лагерях в районе Орши и т. д. и т. п. Через полчаса, когда мы разговаривали то ли о русской кулинарии, то ли о русской водке, он сказал мне:

— Я на всю жизнь возненавидел белорусскую самогонку. Я ее в сорок третьем году, ох, сколько перепил!

Тогда я подумал: чтоб военнопленный, да в лагере, да в сорок третьем году, да в оккупированной Белоруссии пил самогонку — свежо преданьице, да верится с трудом. Я познакомил Виктора Михайловича с моим приятелем — заместителем главного редактора журнала «Техника — молодежи» Витей Пекелисом, а сам ушел куда-то — куда не помню. Мне вечером Пекелис рассказывает, что Виктор Михайлович предлагал ему:

— У меня тут машина, жена с детьми живет в маленьком особнячке на берегу моря — я здесь провожу отпуск. Хотите — съездим.

Пекелис счел за благо отказаться.

Виктор Михайлович с самого начала проявлял поразительное знание самых тонких тонкостей в нашей литературной жизни. В частности, когда только я кончил беседовать с американцами и только-только с ним познакомился, он мне сказал:

— Вы знаете, товарищ Семенов, я категорически не согласен с критикой вашей последней повести в «Литературной газете». В наших газетах есть очень много критических статей о вашей повести, но со статьей Борисовой в «Литературке» мы категорически несогласны.

В общем, в конце уже первого дня мне стало ясно, что этот, так называемый преподаватель Кильского университета кафедры русского языка — обыкновенный НТСовец, антисоветчик, который

приехал на фестиваль ничуть не для отдыха, а для самой что ни на есть работы.

Кстати говоря, уже через три месяца в Москву он прислал мне письмецо и мою с ним фотографию. Значит, кто-то был с ним второй, который снимал нас, когда мы сидели на скамеечке. Он потом показывал мне крохотный фотоаппаратик, величиной со спичечный коробок, но это уже было в конце, после того как я и Пекелис поняли, что никакой он не военнопленный, а сражался против Красной Армии в рядах Власова. Получилось это так.

Американцы попросили меня подарить им мою книжку. Я пообещал им это сделать. Но их делегация жила за городом — в городе-спутнике километрах в двадцати пяти от Хельсинки. С машинами у нас было трудно, а постольку-поскольку я там представлял газету «Известия», брать машину Юры Голошубова, собкора газеты «Скандинавия», было неудобно, потому что ему и Кривошееву, приехавшему вместе со мной, надо было все время быть около нашего штаба, чтобы знать все происходящее на всех аренах фестиваля: и в дискуссионных клубах, и на стадионах, и в других городах.

Так вот, как-то раз приехал Виктор Михайлович, который, кстати говоря, тоже умолял меня подарить ему книжку. Книжку я ему подарил и в придачу дал еще поллитра и написал на поллитровой этикетке: «Пей российскую русскую водку и не чихай, Виктор Михайлович!», или что-то в этом роде, точно я уже не помню.

Я попросил Виктора Михайловича отвезти меня к американцам, чтобы я успел им подарить книжку (это было накануне моего отъезда). Виктор Михайлович как-то засуетился, стал смотреть на часы. Я его пристыдил:

— Что, Виктор Михайлович, боитесь, что свистну вас?

Он засмеялся и ответил:

— Я чекистов за версту чувствую. Они прислали мне в ФРГ сообщение и приглашение в страну от моего двоюродного брата, но я воробей стреляный, меня на мякине не проведешь.

— Пасуете?

Виктор Михайлович покраснел и сказал:

— Ну ладно. Вы выходите к входу, а я сейчас подгоню машину.

Он подогнал голубой «фольксваген», и мы с Витей Пекелисом поехали к американцам. И вот тут у нас пошел разговор более или менее откровенный.

Витя Пекелис сказал, что он служил во власовской армии, вывел из окружения роту, расстреляв перед строем предателя — командира, за что был награжден орденом Красного Знамени и

произведен из сержантов сразу в старшие лейтенанты.

Виктор Михайлович аж взвился и стал спрашивать: «А кого вы знаете из власовцев?» Мы с Пекелисом переглянулись, и в общем-то все нам стало ясно. Пекелис перечислил фамилии генералов и командиров, которые ушли с Власовым к фашистам. Виктор Михайлович качал головой, что мол знает их, и говорил: «Этот в Париже… Этот в Мюнхене… Этот во Франкфурте-на-Майне».

Мне тогда — в Хельсинки — казалось, что Маша Воробьева и Виктор Михайлович знают друг друга. Даже Маша как-то мне сказала:

— Знаете, мне кажется, что Виктор Михайлович из прибалтийских немцев.

Я ее спросил:

— Почему вы так думаете, Машенька?

Она мне ответила:

— Я — филолог. Мне это кажется по произношению… Но убеждение это у меня было совершенно точным.

У Васи Захарченко, в его дискуссионном клубе, который помещался в одном из фешенебельных районов Хельсинки, в фешенебельном трехэтажном здании, отделанном мореным деревом, — там был свой постоянный разведчик — Ли Ренс. Он ходил в рваном пиджаке и заштопанных джинсах, подчеркивая этим свой демократизм. Одному из наших он сказал:

— Меня сейчас приглашают работать в радиостанцию «Голос Америки». Как вы думаете — стоит мне туда идти?

Сказал он это с наивным видом, стараясь позондировать почву и вызвать людей на дискуссию о передачах «Голоса Америки», но на дискуссию с ним никто не пошел, а так посмеялись, и разговор на этом закончился.

Так вот — Ли Ренс Машу знал очень хорошо, а Маша знала Виктора Михайловича. А Виктор Михайлович в беседах со мной смертным матом ругал американцев и все время кричал: «Мы — русские люди, мы любим свою родину. Американцы негодяи!»

Кстати сказать, он мне говорил, что он сейчас ищет верного человека в Париже, чтобы открыть там переводческое бюро. Так как он — перемещенное лицо и у него нет паспорта, то ему обязательно нужно верное подставное лицо. В машине, когда мы подъехали к американской резиденции и я подарил ребятам-коммунистам свои книжки, мы потом долго сидели, пили шотландское виски и спорили с Виктором Михайловичем. Он говорил:

— Ни одна нация в истории человечества не знала такой массовой эмиграции, как это познала русская нация, если, правда,

не считать жидов.

Он сказал не жидов, а ж*и*дов.

Я ему говорю:

— Виктор Михайлович, вот теперь вы начинаете говорить откровенно, своим лексиконом — евреев называете жидами.

Виктор Михайлович заторопился, засмущался и сказал:

— Да нет же, я не звериный антисемит.

Я ему сказал:

— Обыкновенный антисемитизм ничуть не лучше звериного.

Виктор Михайлович сразу же стал уходить от этого разговора. Вообще я убедился, что они — живущие в эмиграции и активно выступающие против нас — ничегошеньки не знают и не понимают, не могут понять происходящего сейчас у нас на Родине.

Споря с нами, Виктор Михайлович очень волновался. Мне даже кажется, что мы зародили в нем семя сомнения в правильности его деяний. А в общем — черт его знает! Может быть, это — мимикрия.

Я его, кстати, спросил:

— А как же с самогонкой, Виктор Михайлович? Наши пленные ржавую воду пили, а что касается самогонки, так этого в литературе не было.

Виктор Михайлович засмеялся и сказал словами песни:

— Бабы кормили меня,
Парни снабжали махоркой…

Была у меня еще одна занятная встреча. На второй день фестиваля к пирсу Хельсинкского порта пришвартовалась шхуна «Матильда» — полупарусник, полутрубный корабль — Международного альянса студентов.

Мы туда с Генрихом Гурковым приехали поздно ночью.

На рейде светились огоньки. Рядом с «Матильдой» — весь в джазовых песенках корабль «Гдыня» польской делегации.

Мы оставили свою машину и пошли на шхуну «Матильда».

Рослый парень стоял в дверях и никого не пропускал. Мы показали свои корреспондентские карточки, сказали, что мы из Советского Союза, на нас посмотрели со смешанным чувством страха и удивления и… пропустили.

По вертикальной лестнице мы спустились вниз и попали в трюм. Полуосвещенный зал. Ревет джаз. За столиками пьют пиво и оранжад очаровательные девицы и зверообразные молодые люди в толстых джемперах. Прислуживают студенты-негры, которых здесь рекламно обнимают, рекламно хлопают по плечу и

рекламно подчиняются всем их просьбам: пересесть от этого столика за другой, взять этот бокал и поставить тот, отнести пепельницу и выбросить окурки в мусорный ящик.

Мы стали разговаривать с одним негром. В это время сверху нас стали снимать. Лица того, кто нас снимал, не было видно — просто объектив и несколько вспышек блица.

Спрашиваем негра:

— Кто дал шхуну?

Негр мнется — не знает, что отвечать. Его оттирает плечом здоровенный парень — белоглазый, беловолосый, белолицый — и по-русски спокойно нам отвечает:

— Шхуна арендована, средства собраны. Хотите взять литературу — вот, пожалуйста.

Он нас отводит в следующий отсек трюма. Там лежит в основном религиозная литература на русском языке. Сделана она пропагандистски очень точно и тонко. Здесь хвалят достижения коммунистов, ругают капиталистов, но при этом протаскивают то, что им протащить надо; прямолинейности никакой.

К примеру, на обложке журнала «Свет и жизнь» на фоне прекрасно выполненной цветной фотографии химической лаборатории — ультрасовременной, а посему страшной — маленькая врезочка: «Малое знание удаляет от Бога, большое знание приближает к нему» и подпись: Луи Пастер.

Беседовали мы на «Матильде» довольно долго, но, говоря откровенно, когда я смотрел на окружавшие нас белые морды — злобные, холодные, мне было страшно, просто по-настоящему, по-человечески страшно.

Конечно, никто это судно не арендовал. Ничего себе — студенты могут арендовать огромнейшее морское судно! Кто разрешил им пришвартоваться к порту, когда все места в порту были забронированы для участников фестиваля?!

Рассказывают (я уже этого не видел), что поляки, ребята мудрые и смелые, сделали любопытную вещь: они с вечера занимали все места, все столики на «Матильде» и таким образом этот фашистский корабль превратили в коммунистический, потому что та шваль, на которую этот корабль ориентировали, не могла получить ни одного места за столиками: там сидели поляки, пили пиво, пели песни, танцевали.

Замученные негры носились с пивом, парочка белолицых организаторов растерянно хлопала глазами и ничегошеньки не могла поделать. По-моему, это — великолепный образчик той пропагандистской, правильнее сказать — контрпропагандистской работы, которую и надлежит вести.

Помню скандальную историю с пресс-конференцией негра

Ононкво, который был выдворен из СССР и выгнан из института за то, что он на танцах избил девушку. Вот этот самый негр, выступая в американском клубе — в крупнейшем антифестивальном центре, обрушился на СССР и на фестиваль с довольно старыми и затасканными штампами антисоветской пропаганды. Мы там сидели вместе с Генрихом Гурковым и Сашкой Кривопаловым из «Комсомолки» и, разозлившись, сорвали к чертовой матери всю конференцию, а сорвать ее можно было легко, потому что Ононкво говорил примерно так:

— Один студент в СССР говорил мне, что он ненавидит коммунистический режим. Один студент говорил мне, что в стране царствует разнузданный антисемитизм. Один студент говорил мне, что он мечтает эмигрировать из СССР.

Тогда я спросил Ононкво: знает ли он, что такое телеграфное агентство ОГГ — «одна гражданка говорила»? Он сказал мне:

— Товарищ, я побеседую с вами с глазу на глаз.

Но почему-то потом беседовать со мной с глазу на глаз он отказался. В общем, была довольно топорная инсценировка, никак не отличавшаяся той изысканностью, которая может ложь сделать на какое-то время правдой.

* * *

7 марта 1963 года

Когда я был у Коли Нечаева в Оренбурге (Коля Нечаев — парень необыкновенно славный, добрый, талантливый, только малость не по-русски истеричный), он меня познакомил с поэтом Робертом Казачковым. Вернее — в ресторане Казачков подошел сам и по бороде признал. Человек он занятный. Забавно то, что фамилия у него не псевдоним, а настоящая — Казачков, но он — еврей на все 103 процента и даже говорит с небольшим акцентом. Так вот, он откусил ухо дружиннику в вытрезвителе. Когда он рассказывал эту историю, я сразу я с необыкновенной нежностью вспомнил рассказ Куприна «Гамбринус».

Дело у Казачкова было так. К нему придрались ребята на улице, что он якобы пьян. А он просто шел, как поэт, чересчур валко, чересчур демократично, бесшапочно и читал какому-то приятелю стихи, в которых отнюдь не было матерной брани, но область седалища в этих стихах называлась не «попка», а более категорично.

Бедного Казачкова привели в вытрезвитель и, когда он сказал, что он — поэт и что он трезв, как профсоюзная директива,

его стали вертеть и ломать, дружинники у нас очень любят показать свою властность. И, когда на невиновного трезвого человека в вытрезвителе пятеро сильных парней набросились и ни за что ни про что, повалив, стали избивать, он увидел прямо перед своими глазами потное маленькое хрусткое ухо. И — завопив, он это ухо откусил.

Раздался нечеловеческий вой. От Казачкова все отпрянули. Он выплюнул ухо изо рта и, будучи по образованию биологом, сказал:

— Только не надо шуметь. Если есть холодильник, спрячьте ухо в холодильник — его можно будет потом пришить.

Дружинник тихо плакал, сидя на деревянной скамейке, причем плакал он не от боли, а от самого факта.

На утро Казачков освидетельствовал в больнице все свои ушибы и раны и сейчас, замирая и таясь, ждет суда.

Сидя с приятелем в ресторане «София», встретил Леву Петрова, ныне работающего в АПН во французской редакции. Мы с ним вместе учились в Институте востоковедения. И смешно — он мне рассказал, как я в 1950 г., когда мы ехали эшелоном на военные сборы в Колодища (под Минском), ходил в Смоленске, где мы стояли около суток, по вагонам проходивших пассажирских поездов и, закатив, как слепой, глаза, пел песню: «Подайте, подайте, граждане!»

Самое смешное: когда я, как утверждает Петров, собрал 77 рублей, мы купили четыре бутылки водки и пили ее в нашей теплушке, закусывая вареной картошкой, украденной на рынке, и солеными грибами, купленными в станционном буфете. И помню, как мы изумительно возвращались из этих Колодищ. Витька Борисенко был там и, кажется, Храмео. Ехали мы без билетов и весь путь от Минска до Москвы хрипло пели солдатские песни на мотив «буги-вуги» и вальса-бостона.

А вообще надо сесть и написать повесть про то лето, когда мы организовали в Архиповке дачную ассоциацию «Потуга» в составе: Витьки Борисенко, Герки Сметанкина, Миши Великовского, Витьки Суходрева, Юрки Виноградова, Владки Панюшкина и Володьки Цветова. И еще я забыл Тарковского, который был у нас «министром внутренних дел», и отколовшегося «начальника АХО министерства кинематографии» Митьку Федоровского.

Все то лето, когда мы разыгрывали свою дачную ассоциацию, народ в стране пел песенку:

В саду созрела алыча
Не для Лаврентий Палыча,

А для Клемент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча.

Странное это было лето — лето 1953 года. Я помню, как приехал кто-то из Москвы, а мы сидели со своими ребятами на пляже, и кто-то из приехавших сказал:

— Полностью реабилитирован Рюмин. Его видели в коридорах МВД в полной генеральской форме. Он был жертвой Берия.

Когда я услыхал, стало мне страшновато и диковато. Но зато как я напился, когда прочитал в газетах о расстреле этого мерзавца!

Слухи, слухи 1953 года! Каждый человек немножко премьер-министр: он сам слухи сочиняет, сам их распускает, сам распределяет портфели в кабинетах — наивное племя люди!

Сейчас очень внимательно занимаюсь Евангелием и Библией. Хочу написать маленькую повесть антиклерикальную, гуманистическую, которая будет называться «Последний день Иисуса». А в том, что он был, в этом я ни секунды не сомневаюсь теперь, и то, что он исцелял, в этом я тоже сейчас все меньше и меньше сомневаюсь.

* * *

7 марта 1963 года

СТРАНИЧКА ОБ ОЛЕШЕ

Незадолго перед смертью у него начался очередной приступ белой горячки. Но даже в состоянии этой тяжелой, изнуряющей болезни он оставался самим собой — выдумщиком, чуточку манерным и бесконечно талантливым.

Он встретил Тура и сказал ему:

— Вы знаете, Петя, я шел по улице Горького к Большому залу Чайковского и никак не мог угнаться за огромной черной собакой. Когда она поворачивала ко мне голову и смотрела на меня, я был поражен ее зелеными смарагдовыми глазами.

Значит, у человека и в «потустороннем» состоянии мысль работала какими-то своими, особыми зигзагами, отмеченными блистательной печатью таланта — не просто черная собака, не просто с зелеными глазами, но обязательно — с глазами смарагдовыми. Слово здесь приобретает поразительное самодовлеющее значение. Это — литература.

В тот же последний период своей жизни он после возлияния в «Национале» вышел на улицу и около дверей ресторана увидел высокого мужчину в золоте и с позументами. Олеша сказал:

— Швейцар, вызовите такси.

«Швейцар» возмущенно отозвался:

— Какой я вам швейцар! Я — адмирал.

Олеша моментально ответил:

— Если адмирал, тогда вызовите катер!

Последняя хохма Ю. К. Олеши. Он подарил ее поэту Н. Шатрову.

— Вы еще молоды и возможно невинны, поэтому я дарю вам свой последний анекдот. Так вот — один старый еврей по случаю купил дешевого тигра…

Шатров ждал, что дальше, Олеша впился в него глазами, потом досадливо:

— Вот, собственно, и все…

Генрих Боровик принес прелестную историю. За такой историей где-то огромнейшая опять-таки литература. А история простая.

Сидит старик еврей-часовщик и копается отверточкой в часах.

К нему приходит другой старик еврей и говорит ему:

— Слушайте, Хайм, вы слыхали — Рабинович умер.

Старик Хайм, продолжая копаться в часах, отвечает:

— Умер шмумер. Важно, чтобы был здоров.

Когда услышал эту историю, в голове сразу замелькал Шолом-Алейхем, начало «Мальчика Мотла»: «Мне хорошо. Я — сирота».

Читал сегодняшнюю «Комсомолку» — корреспонденцию Зюзюкина из Хабаровска про некую Олю М. и очень сердился. Весь тон и пафос этой статьи можно расширенно сравнить с такой картинкой. Стоит тысяча гробов, в гробах лежат молодые сильные красивые люди-мертвецы, а пришел некий, отвечающий за этих молодых людей, которые должны были быть живыми, и устраивает разнос: «Почему гробы не той формы, не той расцветки? Маловато кисточек. У покойников руки по закону на груди не сложены».

Автор этой статьи ханжески рассказывает историю проститутки, при этом он обязательно лягает мальчиков в «черных рубашках, узких брючках и красных носках, которые говорят о спорте, Ремарке и чарльстоне; о черствых девушках из общежития, которые не помогли вовремя остановиться подруге, — словом, говорит он о том наборе штампов, который всем до невозможности набил оскомину. А говорить-то надо бы о другом…

На днях я смотрел телевизор. Занятие это утомительное, но в дни болезни ничего другого делать не остается. Передавали беседу комсомольских работников и учителей о воспитании молодого поколения. Выступал с заранее отрепетированной жестикуляцией упитанный молодой человек, который, как оказалось, является секретарем Сахалинского обкома комсомола.

Пафос его выступления был накальным. Он рассказывал о том, как комсомольская организация Сахалинской области воспитывает молодого человека со школьной скамьи, делая из него стопроцентного гражданина, хозяина своей Родины.

Как это ни чудовищно, но из его выступления я понял, что достаточно школьников выводить на сборку металлолома, и они станут сразу же хозяевами своей страны, прекрасными, добрыми, мужественными людьми, готовыми на подвиг.

Большего безответственного ханжества я не слыхал. Нет, вообще-то, конечно, слыхал и большее и безответственнейшее ханжество, но в этом вопросе такого рецепторного ханжества я не слыхал. Ведь когда такой молодой человек, отвечающий за

создание — подчеркиваю, за создание человека завтрашних лет, считает, что сбор металлолома — главное в воспитании и формировании мировоззрения, так это либо вопиющая глупость, либо форма идеологической диверсии.

Я настаиваю вот на этих двух возможных решениях вопроса. Почему? Да потому что никогда сбором металлолома не воспитаешь в молодом человеке хозяина своей судьбы, судьбы своих друзей, судьбы своей Родины. Если мы и впредь будем воспитывать на металлоломе, то мы проиграем тем, которые воспитывают детей своих на Библии и на Евангелии, на бессмертных основах извечного — добра и зла. Какой к чертовой матери металлолом для детей от восьми до пятнадцати лет! Надо именно в эти годы разбудить в молодом человеке любовь в первую голову — к родному краю. Любовь к родному краю можно разбудить, только активно уводя ребят в походы по руслам маленьких речушек в серединной России, по Валдаю, под Ленинградом. Ничто так не сближает людей, ничто так не очищает их, ничто так не обязывает их друг перед другом, как совместная ночевка в лесу у костра, как не затверженная по радио, а самими во время похода сложенная песня, не купленный консерв в магазине, а — да простит меня ОБХСС — пара украденных кочанов с колхозного поля.

Надо помимо вот таких выходов в родной край (спаси Бог, если они будут дежурными или для галочки, — это породит целое поколение человеконенавистников) — вот помимо этого, по-моему, как мне кажется, надо ребят заражать идеей. Я беру в данном случае не городскую школу, а сельскую или городскую школу, которая близко от реки, или от моря — от черта, от дьявола, но чтобы ребята могли у шефов получить автомобиль, отремонтировать его, поехать на нем на побережье, в Москву, в Вильнюс; чтобы они могли с помощью шефов построить пару баркасов; чтобы могли летом с помощью тех же шефов выехать куда-нибудь в предгорья, в заповедник и там построить два-три дома для юннатского кружка.

Мы хихикаем над бойскаутами. Мы говорим, что бойскаут — идеологическое оружие. Это же неверно! — В смысле хихикать — неверно, а идеологическое оружие — это точно.

Бойскауты металлолом не собирают, а летние игры делают, на лодках в поход уходят, на машинах в поход уезжают, в горы с преподавателем альпинизма забираются. Затраты тут грошовые — родители первые войдут в общую кассу, а блага общего, общегосударственного мы получим неизмеримые миллионы.

Когда мы ехали в Тарусу в воскресенье смотреть там себе

домик — к Шеметову и Штейнбергу, в вагоне сидела семья: отец, мать и трое детей мал-мала меньше.

В этот день по стране проходили выборы; народ выборы отмечал чаркой.

Отец семейства с гармоникой через плечо был остронос и белоглаз. Кашне аккуратненькой тоненькой строчкой выглядывало из-под лацканов пальто.

Она — сочная, очень обыкновенная, на трагическом возрастном изломе.

И детишки — все в черных валеночках и калошках.

Сначала он пел в тамбуре, а потом, когда народа стало поменьше, пришел и сел на скамейку — рядом с женой, напротив детишек.

Пел он те же самые песни, которые передают по радио, и когда эти песни начинают по радио передавать — я радио выключаю. А здесь, когда он пел с женой — она подхватывала удивительно высоким, однотонным, а потому истеричным голосом, он мотал головой, жмурился, отворачивался от нее, — меня аж слезой прошибло.

А когда он стал играть и петь на два голоса с младшим, четырехлетним, и потом сам замолчал и пел только один малыш — тоненьким голосом в притихшем вагоне, пронизанном солнцем, — то было в этом что-то изумительное и чистое, до слез чистое…

И я подумал (не тогда, а потом, потому что тогда думать не мог, а испытывал какую-то сентиментальную, слезливую, но очень искреннюю радость) — потом подумал, как же мы испохабили термин — самодеятельность. Примерно получилось то же самое, как если бы собрать всех соловьев — или не всех, а часть из них, которых удалось бы поймать, — и объединить их в соловьиный оркестр песни и пляски. Может быть, какой-нибудь хормейстер выдрессировал бы этих соловьев так, что Имма Сумак позавидовала бы. Только я на концерт таких соловьев не пойду, а если и пойду, то ужасно он мне не понравится. А вот какой-нибудь захудаленький соловьишко весной в кустах запоет, так тут — и счастье и тоска. И ветер пусть шумит, и где-то в деревне пусть собака на луну воет, и где-то за лесом солдаты пьяные поют, а слышишь ты соловья так, как хочешь слышать, и лишь только потому ты его так слышишь, что он поет так, как не петь не может.

Вчера я снова приобщался к Достоевскому, перечитывая «Идиота». Не знаю, быть может, я становлюсь подобен Эренбургу, который утверждал в 1922 г., что «я меняю свои убеждения как

галстук — каждое утро», но, перечитывая «Идиота», сопоставив его с «Бесами» и «Карамазовыми» и сравнив всего Достоевского со всем Пушкиным, в моей голове заметалось немало вопросительных знаков. После долгих раздумий я пришел к выводу, что в гениальности они — одинаковые люди, но индивидуальности — тут абсолютно разное. Что получается? Пушкин в каждой своей вещи (в самой трагичной — в «Годунове») необыкновенно добр и необидно снисходителен к людям. Необидно — люди не видят, как он к ним снисходителен, как он потрафляет их людским слабостям, но не из угодливости к оным, а из большой любви к сынам человеческим. А ведь Христос-то был Сыном Человеческим, и ничто человеческое ему не было чуждо. Ведь он с фарисеями возлежал, и ел, и пил, и блудница ему миром поливала голову.

А гениальный Достоевский суть несостоявшийся политик, а скорее всего — диктатор. Как всякий диктатор, он исповедовал изначала доброту. Но, как всякая фанатичная исповедь — даже самого чистого и светлого чувства — становится, в силу фанатичности исповеди, обратной стороной доброты, делается деспотической, трижды проклятой; и о всякой доброте забывается, и конечная цель уходит в песок, а остается только достижение конечной цели — достижение, но не цель.

Вот так же и с Достоевским — так мне кажется. Человек гениальный, одержимый, тяжелый…

Говорят: человек копает вглубь. Я люблю сравнения и верю им, но растолкуйте мне, что значит «копать вглубь». Сначала будет перегной, потом кости кладбищ — ведь под всей землей на расстоянии двух метров от асфальта, по которому мы ходим, великое кладбище живших перед нами. Вся земля ограничена твердью и под этой твердью — кости мертвецов. Ну, докопается он за этими костями еще глубже и дальше, и потом будет и земля, и земля, и земля. И уже где-то это опять движение во имя цели…

Мне кажется, «легкий» Пушкин все это гениально понял и советовал: коль нахлынут на тебя тяжкие думы, ты либо открой бутылку шампанского, либо перечитай «Женитьбу Фигаро» Бомарше. Чернее черного не начернишь, белее белого не увидишь — Пушкин все это понимал. Достоевский хотел это отвергнуть, и вот тут по-моему, он совершил серьезную ошибку. Потому что, подтверждая свою идею, он рисовал в каждой своей вещи одну и ту же схему. В каждой вещи! Блаженненький и не от мира сего — положительное начало; энергичный и решительный — либо негодяй и социалист, вроде Верховинского, либо дурак-князь. Непонятный, в чем-то благородный, в чем-то омерзительный Ставрогин — личность загадочная в некотором роде. И две

антиподно истеричные женщины…

Когда жизненность Христа, доподлинную историчность этой фигуры подтверждают Матфей, Марк, Лука своими писаниями, то это — индивидуальные однотолкования одного исторического факта. Достоевский же замахивается посильнее Марка и Матфея: он хочет утвердить свою идею разноподтверждениями одного факта. И если Марку, Луке, Матфею веришь, то Достоевскому на третьей его книге верить перестаешь. Бог триедин, человек одноедин. Если бы Достоевский написал только две вещи — «Бесы» и «Карамазовы» — он мог бы быть причислен к лику святых. Но он написал еще двенадцать томов произведений — однотипных по структуре и по характерам людей.

А вообще чикаться нечего — гений он и все!

Не помню, записывал я на обрывках своих или не записывал историю, которую незадолго до смерти рассказывал Пастернак. Пастернак ее рассказывал с мучительной, стыдливой улыбкой, краснея. Он рассказывал историю о том, как однажды он оказался предателем.

Это было в 1937 году. К нему позвонил Сталин. А, как известно, Сталин очень хорошо относился к Пастернаку. Он позвонил ему часа в три, поднял его с кровати и спросил:

— Послушайте, Пастернак, что вы мне можете сказать о Мандельштаме?

Что он мог сказать ему о Мандельштаме?! Целыми ночами в Москве хлопали двери — шли аресты. А днем дети отказывались от отцов, мужья от жен, отцы от сыновей. Что он мог ему сказать?! — Он ничего не мог ему сказать. И поэтому он стал говорить:

— Да видите ли, Иосиф Виссарионович, как бы это точнее… Что же мне вам бы сказать… Вот значит так…

Сталин хмыкнул в трубку и своим глухим хрипловатым голосом сказал:

— Мы так о своих друзьях не говорим. До свидания, Пастернак. — И повесил трубку.

Через два дня Пастернак узнал, что в эту ночь Мандельштам был арестован…

Один международник рассказывал мне любопытную деталь.

Как известно, Тухачевский, Якир, Уборевич и другие товарищи были арестованы и уничтожены по фальшивке гестапо, которая была через Бенеша подброшена нам.

Сейчас выясняется иная концепция, правильнее сказать, не выясняется, а уже выяснилась, но она — эта концепция —

конечно, в течение ближайших двадцати лет у нас высказана не будет. А концепция эта такова, что в 1936 г. по указанию Сталина (это достоверно неизвестно — лично ли по его указанию, или же это делал Ягода, или же Ежов) были через Францию переброшены компрометирующие данные так, чтобы они могли попасть в гестапо. В гестапо на эти компрометирующие данные не обратили внимания в силу их очевидной сфабрикованности, и только случайно познакомившись с этими документами, Гейдрих понял, что они кладезь, и организовал всю эту операцию по уничтожению высших военачальников Советского Союза через Бенеша.

* * *

Март, 1963 год

ТЮЗ. Шел худсовет по поводу молодых.

Выскочил из кабинета секретарь комитета ВЛКСМ, зарыдал: «Не выйдет у них, уж теперь ничего не выйдет! Сволочи! Сами отцов и детей выдумывают — выдумают на свою голову!»

* * *

1963 год

О ПРОХОДЯЩЕМ ПЛЕНУМЕ ПИСАТЕЛЕЙ

…Слушал Агнию Барто на вчерашнем пленуме, где она подвергала едкой критике статью о детской литературе, где было сказано, что написать для детей может лишь тот, кто сам в душе — ребенок. Она стала говорить: «Ну хорошо. Значит, мы уже не имеем права писать для детей?!» Глупая женщина! Зачем же так лобово оспаривать очевидное?!

Корней Чуковский или Самуил Маршак — они ведь в душе сохранили чистоту ребенка. А иной тридцатилетний, пишущий вроде бы и для детей, — для детей не пишет, потому что он — старик в душе, и не нужна его литература детям, не нужно такую литературу подпускать к детям, потому что никто так точно не определяет фальшь и никто так точно не отбирает себе любимых писателей, даже не зная им имен, а зная только героев их сказок или стихов, как дети.

…Женя Евтушенко, то и дело крича в сторону Корнейчука,

который пытался делать замечания, «Не перебивайте меня!», выступил с речью, в которой утверждал, что он — советский поэт, служащий идеалам коммунизма всю жизнь, и говорил, что его «Автобиография», напечатанная в «Экспрессе», — следствие его мальчишества и непродуманного легкомыслия.

Выступление свое он построил довольно лихо, среди выступления читал свои стихи. Сказал одну кошмарную фразу, когда в зале все заревели. Он сказал, «что если я и благодарен войне, то только за то, что она научила меня ценить мир и любить Родину», Корнейчук крикнул: «А миллионы погибших! О какой благодарности вы говорите?!»

Наиболее, конечно, неприятное в этой «Автобиографии» Евтушенко — и в этом сказалось его мальчишеское отношение к людям, я бы сказал, в общем-то высокомерное отношение к людям — это история с Косолаповым, с бывшим главным редактором «Литературки».

В своей «Автобиографии» Евтушенко написал, что «когда я прочитал «Бабий Яр» Косолапову, Косолапов сказал: «Женя, я — коммунист. Понимаете, как мне трудно. Я должен посоветоваться с женой». Косолапов, как пишет Евтушенко, уехал к себе в Переделкино, вернулся оттуда через три часа и сказал: «Женя, стихи идут в номер. Моя жена — за вас». И Евтушенко сказал, что «хоть я — человек не трусливый, но я не знаю, как я могу посмотреть в глаза товарищу Косолапову», на что Косолапов закричал из зала: «Вы подумайте лучше о том, как вы будете смотреть в глаза народу!»

За день перед выступлением я встретил Женьку внизу и говорю ему: «Ты бы ответил, Женя», он потихонечку сказал мне: «Пусть поговорят».

К сожалению, конечно, Женька вел себя как мальчишка, и, к еще большему сожалению, это его мальчишество может быть перенесено догматиками и недоброжелателями на всех нас.

В конце Женя уже тихим голосом, без надрыва и аффектации и скорей трагическими полутонами сказал: «И вот в результате своего мальчишества я совершил непоправимую ошибку».

Тут он, конечно, очень тонко рассчитал реплику, потому как с самого начала было сказано, что нужно не отсекать ошибавшихся писателей, а работать с ними, чтобы они понимали и исправляли свои ошибки. И — точно: Корнейчук поднялся и сказал: «Неисправимых ошибок нет, товарищ Евтушенко. Надо понимать свои ошибки и работать во имя народа и с народом». По-видимому, Женя и хотел дождаться такого резюме — он его очень тонко и дождался.

Во время перерыва к Роберту Рождественскому, который

стоял в очереди за кофе, подошел Грибачев, протянул ему руку и сказал: «Ну, не стоит нам дуться друг на друга». Рождественский молча пожал ему руку…

В первый день пленума я сидел вместе с Грибачевым, и наши «якобинцы» смотрели на меня глазами, исполненными неодобрительного удивления. Грибачев довольно объективно прокомментировал речь Прокофьева, сказал, что Саша зажигается по поводу и без повода и остановить его уже совершенно невозможно. Он же сказал, что зря Саша так забирается в литературоведческие дебри, — какой рифмой пишет Евтушенко, какой рифмой Вознесенский, — «это не суть принципиально».

Потом мы сидели с Грибачевым и Цигулевым, с Солоухиным, Кривицким и Яшиным и пили водку. Яшин потом отодвинул стул и по-хамски ушел из-за стола. Шибко он бравирует своей «антисоветской» повестью «Вологодская свадьба»; раз пять он повторял это слово и хвастливо добавил: «А сколько я благодарных писем из Вологды получил!», потом он говорил — это уже в разговоре с Даней Граниным, он подошел к нам, когда мы сидели с Даней Граниным вдвоем, и сказал: «Вот мне пятьдесят лет. Хоть бы какая сволочь приветствие прислала! Анонимные телеграммы шлют» и потом: «Мне при Сталине жилось лучше. У меня семеро детей — имел глупость наплодить, — а сейчас жрать нечего. Да, — повторил он, — при Сталине мне было лучше».

А я помню, как он, Яшин, когда мы ехали в вагоне «Литературной газеты» во Владивосток и ели с ним подаренного нам огромного краба, — он говорил мне: «Ненавижу Сталина. Я знаю, как в ночь перед демонстрациями 1 мая и 7 ноября проводились репетиции и из ворот Кремля выбегали солдаты чтобы в случае чего, если кто будет покушаться на Сталина, стрелять по демонстрантам». Я ему не верил. Но он говорил мне: «Ничего вы все не знаете!»

Когда я ему сейчас сказал: «Как же вы говорите, что вам при Сталине лучше жилось, раньше вы мне говорили другое». Он начал хамить и тут же встал и ушел из-за стола.

Грибачев мне говорил: «Поймите, Юлиан, ведь обидно, что нас разъединяют здесь бездельники и трепачи. Они нас, творческих людей, ссорят. Тут на каждого творческого пять бездельников». Я ему ответил: «Десять!» — мы посмеялись.

Потом он стал жаловаться на Щипачева, а его вовсю подзуживал Егор Исаев. Я сказал: «Нечего старое белье-то ворошить, Егор».

Крепко напившийся Шура Кривицкий прогнал из-за стола

Володю Чивилихина. Чивилихин тоже обиделся и ушел.

Соболев объяснял нам с Даней Граниным, покупая апельсины для «своих детей», что значит слово «консолидация». Оказывается, говорил он, консолидация — это не столько объединение сил, сколько — во втором значении — умение вывернуться от просроченных банковских платежей.

Я ему сказал: «Леонид Сергеевич, вы только про это с трибуны не говорите».

В общем, страсти накалились.

Выступил Рюриков. Утверждал, что повесть Павленко не культовая, что там только одна глава культовая; говорил он, что сын Павленко — переводчик, работающий в Индонезии, — спросил его: «Правда ли, что вещь отца культовая?».

Говорил Рюриков о том, что в 1937 году, когда они с Кудреватых и Чкаловым гуляли по Горькому, Чкалов уже тогда выражал мечту «облететь вокруг шарика».

Рюриков говорил, что в 1937 году зарождался интернационализм, зарождались основы победы над фашизмом и т. д. и т. д. Сказал он, кстати, что несмотря на то, что в Сталине было многое плохим, но народ шел за ЦК, которое шло правильным курсом. Ну хотя бы он не говорил про ЦК! Ведь в ЦК главными руководящими, направляющими, помимо Сталина, были Берия, Молотов, Маленков, Каганович в те годы. Это всем известно. Не надо так умалять огромную работу, проделанную Хрущевым после двадцатого и двадцать второго съездов, а то выходит, что в общем-то Хрущеву и исправлять было нечего, что все было при Сталине прекрасно. Не надо так.

Сидящий рядом со мной Георгий Владимов, когда Рюриков говорил о том, что ЦК делало прекрасную работу в тридцать седьмом, как раз и перечислил эти четыре фамилии — Молотов, Маленков и т. д. Так что, по-видимому, не только я об этом подумал.

Алим Кешоков в своем выступлении рассказал притчу про то, как одна бедная девушка рассказывала богатой: «Папа с мамой так мне обрадовались, так много угощений приготовили — тыква жареная, и тыква пареная, и тыква с соусом, и тыква без соуса и т. д.». А богатая, слушая ее, вздохнула и сказала: «Да. Завидую тебе. А мои родители ничем меня не угощали. Только взяли и в мою честь бычка зарезали». Так вот, продолжает Кешоков, бычок — это и есть наш социалистический реализм, а тыква во всех видах — это буржуазный абстракционизм, формализм и т. д. Сидевший рядом со мной литовский писатель улыбнулся и спросил своего товарища: «Так что выходит — социалистический

реализм нужно зарезать!?»

* * *

12 марта 1963 года

Может показаться, что я только тем и занимаюсь, что вспоминаю сны и заношу их в свой дневник. Я не буду сейчас говорить о проблеме сна вообще — проблема эта сказочно интересна, — и если бы человек не писал, что он днем вспоминает свои сны, а просто записывал бы сны, как самостоятельные новеллы что-нибудь в течение года, то через 365 дней получилась бы дьявольски интересная книга. Написал — и самому захотелось поэкспериментировать и в течение года диктовать одни лишь сны. Конечно, в течение года не получится, но один любопытный сон следует записать.

Дня четыре тому назад проснулся — одновременно и счастливый и чуть не в слезах. Сразу вроде бы ничего и не помню, только перед глазами Хемингуэй стоит — до осязаемости живой: седая борода, один глаз чуть прищурен, кожа желтоватая с загаром, вдоль по кромке волос белая, пергаментная — видно, что старик, и вроде бы там, где белые кусочки кожи вдоль волос, — рыжие родинки.

И встретился я с ним не где-нибудь, а в Таджикистане (два года тому назад, когда ходили разговоры о том, что Хем, возможно, приедет в Россию, я договорился с Союзом, что буду сопровождать его и отвезу в настоящие охотничьи места Средней Азии).

И вот я у него в доме, беседую с его секретарем, ужасно волнуюсь, спрашиваю: «Ну а дом-то как — ничего?» Секретарь отвечает: «Дом хороший. В нем раньше Толя Никонов, главный редактор „Смены“, жил».

Помню, что я достаю из блокнота заготовленные вопросники. А потом вдруг какая-то кино-перебивка, и я слышу, как Хемингуэй звонит ко мне и говорит: «Ну что ж ты не радуешься, старик? Как-то уж больно самостоятельно ты себя ведешь!»

Слыша его голос, я чумею от радости, не знаю, что сказать, а он смеется и говорит: «Ну приезжай, приезжай, я жду тебя».

И вот мы с ним разговариваем о чем-то — самое смешное, я не помню о чем. Я вижу его до чудовищного реально и точно. А потом меня вновь вытаскивает его секретарь, и потом я слышу какие-то голоса и смех, и секретарь говорит: «К папе[114] пришли Рима Кармен и Генрих Боровик с переводчиком».

Я ужасно радуюсь, что приехали Генрих и Рима.

Секретарь меня никак не пускает к Хемингуэю, что-то рассказывает о нем, необыкновенно увлекательное и важное, я его слушаю, но в глубине души досадую на себя, потому что понимаю, что как ни интересен помощник Хемингуэя — его секретарь, как ни здорово он говорит, — молчаливый Хемингуэй (я видел его молчаливым, хмыкающим, говорящим как-то междометиеобразно, вроде бы ничего не значащую чепуху — «да», «нет», «молодец», «садись!», «ну да», «нет-нет», «конечно»)…

Я перебиваю секретаря и говорю ему: «А где же папа?». Секретарь отвечает: «А он увез Генриха и Риму в чайхану — там готовят прекрасный арабский кебаб на сковородочках».

Я чувствую жгучую обиду, что Генрих и Рима бросили меня, и Хемингуэй забыл меня и уехал с ними, а я остался с прекраснодушным, интеллектуальным, всезнающим секретарем его, который говорит такие интересные вещи, а мне и слушать — то его не хочется — мне хочется побыть рядом с Хемингуэем, пускай он и молчит, пускай говорит междометиями, только бы посмотреть на него, запомнить его.

И вот со жгучей, ощутимо — тяжелой мечтой я просыпаюсь.

Вчера звонит ко мне Аркаша Нагайцев, зам. главного «Московского комсомольца» — парень, работавший слесарем, потом председателем колхоза, а потом забранный через парторганы горкомом в газету. Ему 27 лет, лысоват, франтоват, по-мужски добр и по-доброму умен.

Звонит по телефону и кричит:

— Юлиан, выручай!

Я ему говорю:

— Старик, с задранной ногой лежу.

Он отвечает:

— Нога не мозг. Нужны отклики на речь Хрущева. Получили задание ЦК откликнуться широко и точно. «Комсомолка», наверное, будет к «черной сотне» обращаться, а это — компрометировать дело. Надо умно прокомментировать.

Я ему:

— Спасибо, старик. От твоих комплиментов у меня нога перестает болеть!

— Да нет, ты ведь ни правый, ни левый. Ты идешь в фарватере со своей темой, со своими героями. Выступи!

Я написал маленький отклик на четыре странички. Завтра он пойдет в «Московском комсомольце», как подписная передовица, где я писал о том, что я верую в Бога, но для меня Бог воплощен в двухсотмиллионном лике моих сограждан. В общем, получилось

так, как я и задумал, — без елея, без размахивания кадилом, без воплей «ура! ура!».

Потом я «Московский комсомолец» подложу в Дневник — это стоит.

Только я продиктовал отклик в «Московский комсомолец», звонит Нелли Моисеенко из «Комсомольской правды» и говорит:

— Юлиан, умоляю — выручи! Дай отклик!

Я ей отвечаю:

— Что же — я только откликаться и буду? Не солидно вроде будет.

Она говорит:

— Да ничего! Пожар у нас!

Я ей говорю:

— Вы — ЦК, начальство. Звоните в «Московский комсомолец», заберите у них материал. Вам все можно. Второй раз откликаться не солидно.

Вздохнула Нелли глубоким вздохом и положила трубку.

Сейчас я очень боюсь, что в нашем искусстве, в литературе, — а меня волнует в первую голову литература, — в ущерб нашему большому общему делу, театры и издательства захлестнет волна штамповок, которыми мы обжирались до 1953 г., штамповок, в которых главными героями будут розово-сопливенькие ударнички и ударницы, прекраснодумные профорги, величественно простодушные, эпизодические секретари райкомов и т. д.

Если это произойдет, то мы очень серьезно — архисерьезно — потеряем в глазах читающей и думающей молодежи. Сопливыми штамповочными схемами, которые имели наглость в былые годы называться литературой, сейчас в молодом поколении можно вызвать не жажду подражательства, а жгучую, презрительную нелюбовь к этим затасканным, засаленным, нереальным, высиженным в колбах фигуркам.

Стоит ли с таким шумом и с такой помпой подвергать критике повесть Васи Аксенова «Апельсины из Марокко», когда в редакцию «Юности» и так идут десятки и сотни писем с серьезными замечаниями умных читателей по поводу литературной слабости этой вещи?! Стоит ли раздувать из этой неудачи писателя какую-то сенсационную кампанию?! Это идет, по-моему, от не совсем точной продуманности. Во всяком случае, я глубоко убежден, что результаты такой кампании всегда будут, в силу даже, во все века одинаковой, противоречивости школьной и институтской молодежи, противоречивости ради противоречивости. Это вызовет обратный результат. А так — ну

было, ну напечатали, ну и прошло. Обязательно у нас хотят венок надеть — венок, который через месяц становится одиозным мученическим венком. Нужно ли это? Глубоко убежден: нет, не нужно!

Ровенских Борис Иванович сразу, вернувшись с совещания, сказал, что в коллективе театра имени Пушкина мою пьесу «Дети отцов» ставить не будут. Не будут, так как это сейчас не нужно. Тема культа личности сейчас перестала волновать народ, как пытался говорить Ровенских.

По-моему, вот это хамелеонство — не просто в человеке, а в художнике — и есть самый что ни на есть страшный реквизит времен сталинского культа личности, когда из человека пытались сделать лакея «чего изволите-с?», причем лакея не из-за оплаты, а лакея просто так — из-за лакейства.

А как я узнал, в ЦК партии и сейчас отношение к моей пьесе у всех в высшей мере положительное, но часть товарищей считают, что она еще в чем-то недотянута языково. Абсолютно правильно! Я писал ее как незаказанный социальный заказ, когда еще никто об этом не писал, в полемике с Львом Романовичем Шейниным, с его пьесой «Игра без правил», где уже в 1945 г. были всепонимающие чекисты, глубоко ненавидевшие культ личности Сталина и преступника Берия. Очень мне это тогда показалось неверным и нечестным. Поэтому написал свою пьесу, свою историю — историю 1952–1953 гг.

Сказал про свою историю и сразу споткнулся, потому что вспомнил 1953 год и вспомнил, как меня вызвали в КГБ после того, как Прокуратура опротестовала решение Особого совещания по делу отца.

Помню свою беседу со следователем — полковником Мельниковым. Помню, как после долгой беседы, когда я принес ему бумажку, в которой было сказано, что отец награжден автомобилем не Николаем Ивановичем Бухариным, а Серго Орджоникидзе в 1934 году, — Мельников очень этому обрадовался, потому что «бухаринская машина» была одним из главных пунктов обвинения.

Потом, когда мы с ним кончили говорить, я передал ему яблоки для отца. Мельников заволновался: «Да мне-то ведь нельзя, нельзя яблоки брать — не положено по инструкции». (Как выяснилось, человек он в органах новый, пришел недавно, раньше был партийным работником.) Но потом — о, сила инерции! — он огляделся по сторонам (скажем честно — опасливо огляделся), сунул в карман несколько яблок, которые я принес: «Ладно, передам».

Помню я, как месяца четыре перед этим, дней через десять после опубликования сообщения МВД о реабилитации «врачей-убийц» — а в день реабилитации врачей я послал письмо Лаврентию Павловичу — меня, в который раз уже, вызвали, но вызвали не в приемную, как вызывали раньше, а вызвали прямо в тюрьму, в Пугачевскую башню в Бутырках.

Я был твердо убежден, что это привезли из Владимирского изолятора отца.

У меня отобрали паспорт, отобрали два человека — один в старшинской форме, другой в штатском. А рядом стояла мать и, когда она увидела это, сделалась не то что бледной, а желтой и руки к груди поднесла. Тогда я ее впервые увидел старухой, а ей тогда было сорок пять лет…

Повели меня через двое ворот, ввели в дворик, где — я как сейчас помню — ошалело и весело кричали воробьи на мелких кустарниках, а по асфальтовым дорожкам ходили высокие парни в серых комбинезонах с наганами; как сейчас помню — не ТТ, а именно наганы в кобурах. Это были шоферы «черных воронов».

Я шел вдоль этих кустарничков мимо двух- или трехэтажного здания — сейчас точно не помню — Пугачевской башни. Шедшие со мной двое людей с трудом, навалясь на дверь, на которой висел отомкнутый пудовый замок — знай тюрьму сразу! — отворили скрипучую дверь. И сразу стало холодно…

Меня потряс ослепительный кафельный пол и молоденькие лейтенантики, которые ходили вдоль камер и заглядывали в глазки. А потом меня свели налево. Там кафель кончился и начался паркет. Меня привели к кабинету, открыли дверь и подтолкнули туда.

Я остановился на пороге и увидел в полутьме — шторы были задернуты — за столом седого полковника с колючей щеточкой усов, и, кажется, он был в пенсне а ля Берия. Рядом с ним был большой приемник, и я, как сейчас, помню большой зеленый глаз его, как будто кошачий, остановившийся.

Я долго стоял, и полковник не обращал на меня внимания. Потом я кашлянул. Он сказал:

— Подойдите к столу.

Я подошел к столу. Тогда он поднял глаза и сказал мне:

— Ну вот что. И это ваше заявление мы рассмотрели. Ваш отец — враг. Запомните это раз и навсегда и перестаньте отрывать наших людей вашими клеветническими письмами. Иначе… — он постучал пальцем по стеклу.

И стало мне вдруг так все ясно, так отчужденно безразлично ясно, что я вроде даже засмеялся. Спросил:

— Можно идти?

Полковник повертел мой пропуск, долго не отвечал, а потом сказал:

— Так зарубите это себе на носу. Идите пока что…

И я ушел.

Кстати, не надо было бы Никите Сергеевичу говорить в своем докладе на встрече с писателями о том, что Берия и Маленков были за ликвидацию ГДР. Два эти негодяя сразу же будут окружены ореолом фашиствующей антисемитской мразью в ФРГ. Это точно.

Как неумные люди, направленные на работу в Министерство культуры, могут мешать нашему общему делу, свидетельствует один пример.

Несколько дней тому назад в Министерстве культуры федерации то ли заместитель начальника, то ли начальник отдела театров Елисеев или Евсеев, выступая где-то на встрече с писателями-драматургами — с узким кругом писателей-драматургов, так правильнее, — сказал:

— Ну вот что. К чертовой матери вашу демократию — репертком вводим!

За такие высказывания, по-моему, надо отстранять от работы и выгонять из партии. Это же надругательство над Лениным, который писал, что любая самая демократичная буржуазная демократия в миллион раз менее демократична нашей пролетарской диктатуры. Это ведь абсолютная правда! Так как же смеет чиновник, плохо знающий Ленина, посылать к черту нашу демократию!

При случае я об этом наверняка буду говорить, и говорить очень серьезно. Получается сейчас довольно любопытная и неприятная картина. Покритиковали ряд писателей и художников. Покритиковали того же Васю Аксенова — но это не мешает ЦК отправлять его сейчас в Аргентину. А мышата — среднее звено, чиновники около литературы, около кино, около театра уже начинают перестраховку, начинаются запреты на фильмы, связанные с культом личности, начинаются гонения на спектакли, в какой-то мере связанные с культом личности.

Если бы шло гонение против плохой литературы — я за это двумя руками, но гонение идет против тем, а не против качества. И гонение это никем не санкционировано. Наоборот, хотят бежать как псы — впереди прогресса. Хотят выслуживаться. А ведь сами же потом, в беседе за рюмкой водки, будут говорить нам, писателям: «Вот, ничего нельзя поделать — такая установка, момент не тот. Давай, старик, подождем, — и будут при этом скорбно вздыхать и указывать глазами на потолок: мол, указание сверху». А не было такого указания! Страшное это явление!

Подлое и страшное!

Кстати, такой вот человечек, который рядится в тогу панибратствующего товарища писателя, может быть прекрасной темой для трагикомедии. Прекрасная зловещая тема — об этом стоит подумать…

* * *

15 марта 1963 года

Лето 1962 года. Живу в Коктебеле. Вкалываю с утра до ночи свои «…При исполнении служебных обязанностей». Пишется радостно и здорово. По вечерам встречаемся с «капеллой» — Женя Малинин, Игорь Безродный и Валька Тур. Забавное явление — Туренок. Это не просто человечек, не просто поэт; это очень большое и серьезное явление в советской литературе.

Познакомился я с ним забавно. Месяца за два перед Коктебелем и за день до моего вылета на Северный полюс я был по делам своей пьесы — первой пьесы — «Правда за девять рублей поштучно», которую я написал просто-таки по приказанию Васи Ливанова, — так вот, когда я был у Тура, Петр Львович мне говорил о своем сыне Вальке. Я уже слыхал о нем и от других людей, что это — талантливый мальчуган. В моем представлении он рисовался эдаким вундеркиндом — Аидом — худым, с впалой грудью и чтобы обязательно с очками.

Так вот в Коктебеле, кажется на третий или на четвертый день после моего приезда, когда я плыл рано утром (а я там купался только рано утром, потом завтракал и работал до обеда и после обеда), рядом со мной я увидел лодку, а в лодке я увидал блистательно сложенного атлета с белобрысым лицом арийского убийцы и с вздернутым носом а ля Павел I. Атлет внимательно смотрел на меня, вернее — даже не на меня, а на мою бороду, а потом сказал: «Так вы — Юлиан Семенов!» Так мы познакомились с Туренком, которого я и обожаю и высоко ценю.

Кстати о бороде. Мороки она мне доставляла в жизни много. Недавно вообще был очень забавный случай.

Мы с Катей возвращались из Тарусы. В вагон электрички вошел пьяный лейтенант. Он был красив гусарской усталой красотой, с голубыми, навыкате, бараньими глазами, с точной строчечкой усов. Он с трудом влез в вагон со своими удочками. На реплику одного из сидевших рядом ночных пассажиров, что, мол, слава богу, вагон свободный, иначе бы не влезли, — лейтенант сказал хрипловатым голосом, блудливо улыбаясь:

— Свобода — это осознанная необходимость.

Я засмеялся. Он посмотрел на меня внимательно и сказал:

— У, гадюка, тоже под Юлиана Семенова работаешь!

Тут засмеялась Катя. Лейтенант оскорбился и спросил:

— Что — не слыхали про такого, что ли?

Катя ответила:

— Нет, не слыхали.

И лейтенант долго объяснял нам, что сделал Семенов в литературе и как он к нему относится. Постольку-поскольку он к Семенову относился положительно, то скажу без лишней скромности, не таясь, — мне было приятно его слушать. В конце он все-таки посоветовал мне бороду побрить…

Так вот о Туренке. Сначала он мне показался слишком уж заэлегантченным, слишком уж спортивно развитым, эдаким современным модным молодым человеком. Но после двух дней, правильнее сказать — вечеров (вечера мы проводили с восьми до часу в разговорах, а я разговаривать чем дальше, тем меньше умею, просто как-то лучше у меня ложится мысль, если ее пишешь рукой — обдумываешь предварительно) — после этих двух вечеров разговоров я обалдел от того, сколь умен и поразительно талантлив этот двадцатилетний парень. Талант у него пастернаковский — очень русский, очень высокоинтеллигентный, очень прозорливый. В его таланте нет ничего от желания угодить, вопрошая «чего изволите-с?», но также в его таланте нет ни капли леваческого дешевенького российского якобинства.

В один из дней, когда Туренок ушел в горы — он уходил в горы на полдня и возвращался к обеду, с носом, похожим на перезрелый помидор, — в один из дней ко мне пришел Гиршл Полянкер — писатель из Киева — и сказал:

— Старик, пойдемте, я вас познакомлю с Самуилом Яковлевичем Маршаком.

Боже мой, какой же это чистый и чудесный человек — Маршак! Как же мы не умеем правильно понимать термин «интеллигент»! Как же залапали этот термин у нас! Зацеловали его пьяными губами, залапали грязными ручищами. А вот если снять на киноленту два часа с Маршаком и прокрутить эту ленту перед учителями обществоведения, то и они, я думаю, сколь ни были бы малоподготовленными, все равно сумеют донести до своих питомцев правильное звучание этого термина, то есть правильное объяснение понятию «интеллигент».

Самуил Яковлевич спросил: «А бывают ли здесь экскурсии, если бывают, то куда?» Я предложил ему съездить на моей машине по Грибоедовской дороге в Атузы, которые сейчас,

конечно, называются не Атузами, а колхозом имени Второй пятилетки.

И вот поехали — Самуил Яковлевич, Гиршл Полянкер, Пузиков, главный редактор Гослитиздата и Лева Кондарев.

Самуил Яковлевич очень обрадовался, когда узнал, что я — востоковед. Я читал ему стихи Касем-хана и Рахман-баба. Стихи ему нравились. Потом мы заговорили об английских поэтах, о Волсворде, об его трудной речевой особенности.

Маршак рассказал смешную историю о том, как несколько лет тому назад он с сыном приехал в Великобританию, в Лондон. Их пригласили в гости к какому-то фермеру, который ужасно долго объяснял свой адрес, как добраться до его дома, но так до конца точно объяснить отчего-то не смог — скорее всего в силу своей явно не английской велеречивости. Но Маршак очень хотел к нему попасть, потому что жил он в глубинке, в лесу, один, а всегда очень интересно побывать у человека, который живет один, у такого и речь особая и манера поведения своя.

Так вот Маршак ужасно долго не мог найти тропиночку, которая вела к дому этого старого отшельника. А это путешествие он предпринял на второй день после своего приезда в Лондон, где он раньше никогда не был, а переводил Бернса, только опираясь на свой багаж английского языка, приобретенный им у нас, в России.

И вот навстречу ему попался какой-то англичанин, кажется почтальон. Маршак спросил его: «Уот из зе тайм?», что в переводе на русский язык, вместо того чтобы означать «Сколько времени?», означало — в силу того, что в английском языке самая крохотная мелочь меняет смысловое значение фразы — «Каково время?», правильнее сказать — «Что за время?», на что почтальон скептически ответил, не интересуясь, кто этот вопрос задает, откуда этот странный человек с лицом еврейского ангела, в круглых очках, с маленькими руками: «Зет из вери философикл квешен», что значит: «О, это слишком философский вопрос!»

— Так, — говорит мне Маршак, — я по-настоящему столкнулся с английским юмором и убедился в том, что это — прекрасно.

Я рассказал ему анекдот про то, как мужчина решил провести свой отпуск в Шотландии в пеших прогулках. И мужчина шел из одного селения в другое и в каждой деревне видел десяток детей просто на одно лицо, и в каждой деревне он спрашивал: «Чьи эти дети — такие похожие один на другого?». Ему отвечали: «Это дети почтальона».

Чем больше он таких детей видел, чем дальше он шел, тем больше в нем возникало желание увидеть самого почтальона,

который народил десяток одинаковых мальчиков и девочек.

Он зашел в почту и спросил: «Скажите, а где тот почтальон, у которого так много детей?» Ему сказали: «А вон он сидит в углу». Человек увидел махонького, худенького, щупленького мужчину.

— Он?!

— Да.

— Ну как же он стольких мог наплодить?! Он такой же слабый!

— Ну и что же? — Он же ездит на велосипеде.

Маршак очень смеялся и говорил, что это точно, что это английский юмор. Кстати об юморе и анекдотах. Вчера Митя Федоровский принес мне анекдот, который я хочу записать, чтобы он не ушел у меня из памяти. А анекдот такой:

По лесу стремглав бежит муравей. Навстречу муравью — заяц.

— Куда ты бежишь, муравей?

— Там в чаще слониху изнасиловали, а сейчас всех подозрительных хватают!

Это, может быть, юмор и не английский, а наш, но, по-моему, это — великолепно.

Мы приехали в Атузы, сели на берегу моря. Море в этот час — а было что-то между шестью и семью часами — казалось белым и только вдали лежало ослепительной бритвенной линией. Маршак посмотрел на гору. Я все время забываю, как она называется, но рельеф ее — точная копия профиля Максимилиана Волошина. Маршак смотрел на гору внимательно, а потом улыбнулся очень застенчиво и сказал:

— Максимилиан Волошин — такая умница, такой талант… — Он помолчал и добавил еще тише и застенчивее: — Он был ужасным жуиром.

Поэт Леня Кондарев засмеялся своим громовым смехом и сказал:

— Самуил Яковлевич, а вы слыхали пародию на Михалкова?

Маршак ответил:

— Пародий на него я слыхал много, не знаю — какую вы имеете в виду, но вот вы сказали про Михалкова, и я вспомнил одну его очень смешную шутку: «Гимн написать легко — гимн у нас утвердить трудно».

— Нет, наверно, эту пародию вы не слыхали, — не унимался Кондарев, — я вам прочту.

И он прочел кошмарную пародию, всю составленную из мата. Начиналась она так: «А у брата тети Нади две жены» и далее следовали такие звенящие непотребства, что даже мне — а я мат очень люблю, считаю его звучным и нужным в речи — эта

пародия показалась чудовищной.

Гиршл Полянкер отвернулся. Пузиков стал громко кашлять и говорить о том, что Волошина Гослитиздат готовит к изданию (что-то очень долго он готовит — уже два года готовит, а книги все нет). А Маршак был как ребенок — растерян, обижен и поставлен в дикое положение. И потом, мне кажется, он не все понял из того, что читал Кондарев. Мне кажется, что ему знаком только школьный мат, который он волей-неволей слыхал в гимназии, а настоящий — писательский, «высокоинтеллигентный» — ему был, то ли к счастью, то ли к несчастью — определять я не решаюсь, — недоступен.

Потом к нам подошел здоровый мужчина — косая сажень в плечах, в тигровой пижаме; с ним две женщины и старик. Мужчина посмотрел на меня и сказал сакраментальную фразу:

— Ну, ну, молодой, а бороду отпустил!

Психология наших людей кажется мне чудовищной. Вот если ты старик, то вот и носи бороду — «нечего суваться»; а если ты молодой — то бросай. Какое-то неуважительное отношение к старости и потребительское — к молодости — «пока можешь — хватай».

Гиршл Полянкер посмотрел на этого гражданина с глубоким презрением. Пузиков вздохнул. Кондарев собирался что-то сказать, дабы сгладить ситуацию, но его опередил Маршак. Он посмотрел, сожалеюще качая головой, на мужчину и сказал ему:

— Как же вам не стыдно — ведь это наш гость из Кубы, Педро Санга Пансарилья.

Лицо мужчины сделалось от растерянности глупым, как дерево. А потом он сказал: «Фидель, Хрущев», — стал пожимать своей правой рукой левую руку.

— Что ему перевести? — спросил Маршак. — Может быть, вы что-нибудь хотите сказать нашему кубинскому другу?

— Да чего уж там говорить, — сказал мужчина. Он на секунду задумался, а потом — и черт его знает, откуда это прет, — его понесло:

— Братский кубинский народ, воодушевленный решениями… — и так на пять минут. И бумаги нет, и слушателей немного, и море рядом! Ну что бы ему просто поговорить, так он — нет, с лозунгами, чтобы все было как положено. Он долго не мог выпутаться из своего приветствия, не зная, как бы его поэлегантнее закончить.

Я багровел от сдерживаемого смеха. Маршак посмотрел на меня с укором и сказал:

— Ай лайк фальсифайкейшн (я люблю фальсификации), — а потом мне шепнул на ухо: — сейчас мы зашли уже слишком

далеко, сейчас его нельзя обижать, а если он узнает, что вы — русский, он ужасно обидится.

Мужчина продолжал свое «краткое» выступление. Потом Маршак его перебил и очень галантно, осторожно спросил:

— Вы знаете, вот товарищ кубинец — он тоже журналист и писатель. И мы все — писатели. Мне интересно узнать, что сейчас читают ваши дети, если они у вас есть.

Это получилось точно и здорово, как у Чехова однажды. Чехов записывал в своем дневнике, а может быть, не он это записывал в своем дневнике, а Горький в своих воспоминаниях о нем — точно я сейчас не помню, как однажды к Чехову пришли дамы и стали щебетать о том, как они возмущены позицией турок по отношению к братской Болгарии. Чехов очень долго их слушал — этих щебечущих дам, а потом спросил: «А скажите, какой вы любите мармелад — фруктовый или молочный?» И вот тут-то дамы и стали теми очаровательными и прелестными людьми, какими они были на самом деле. Они стали щебетать про мармелад, про то, как варить варенье, про то, какую зелень класть в бульон. Чехов слушал их, качал головой и смотрел на них с любовью.

Так же вышло и тут. Мужчина начал говорить о Чуковском, о Маршаке, о Михалкове, о Гайдаре. Начал жаловаться, что сейчас мало стали для детишек писать, раньше больше писали. Стал спрашивать:

— Вот вы, небось, писатели? Так скажите там Чуковскому, Маршаку, пускай больше пишут — заленились!

Есть у нас — это воспитано давно, это стали воспитывать после Ленина — этакое барски-пренебрежительное отношение к труду писателя. Каждый, видите ли, считает себя вправе давать не просто советы, а указания в тоне подтрунивания. Маяковский находил в себе юмор и злость ответить фининспектору: «Так вот вам мое стило, пожалуйста, пишите сами». Во мне и юмора меньше, и злого, по-видимому, тоже, но мне в ответ на такие замечания: «Пускай там не ленится Маршак, пускай пишет больше» — все-таки хочется сказать: «Болван ты, братец!»

Маршак посмотрел на своего собеседника и спросил его:

— А вы, простите, кто по специальности? Мне это очень интересно бы узнать.

Мужчина ответил:

— Да я замдиректора базы.

Мы с Маршаком переглянулись, и все стало на свои места. И подумал я, что, будь на его месте рабочий человек, то он бы ни в коем случае не посмел (не потому, что он разговаривает с писателями, а потому что он сам — творец, потому, что он сам

производит материальные ценности) разговаривать в таком тоне: «пусть не ленится, пусть пишет».

Вообще надо сказать совершенно точно, что этот барски-пренебрежительный тон в разговоре с писателями, с актерами, с художниками усвоили себе обыватели. А рабочий все-таки он никогда не обыватель хотя бы потому, что он производит материальные ценности, а не регистрирует производство.

Потом мы поехали через перевал в Судак. В горах уже лежали черные и быстрые тени. Пузиков показал скалу «Лошадь», которая действительно была похожа на мчащегося во весь опор коня. Мы проехали через шумный, веселый, очень мне милый Судак, мимо Генуэзской крепости — к ее скорбным и молчаливым развалинам.

Маршак вышел из машины. Он остановился на дороге — маленький старый человек, — опираясь на палку, и долго смотрел на зубчатые вершины, и Лева Кондарев даже не стал читать своих новых пародий. А потом Маршак сказал:

— Вы знаете, я где-то недавно вычитал, что голоса людей не исчезают, что людские голоса уходят вверх, к оболочке вокруг Земли и конденсируются там навечно, как наскальная живопись. И представьте себе, если вдруг ученые изобретут аппарат, который сможет улавливать эти дорогие голоса. Как тогда многое новое узнается! Как тогда мы станем богаче и мудрее! Я бы очень хотел услышать голоса генуэзцев.

…Потом мы возвращались в Коктебель, и уже были сумерки, и только когда мы спускались в долины и неслись мимо виноградников, желтые блики солнечных лучей пронизывали воздух и машину, и полынный горький воздух был вокруг нас и он наполнял машину.

И вдруг Маршак, опершись подбородком на палку, стал читать Пушкина: «Чертог блистал…»

Читал он воодушевляясь, но все тем же тихим голосом, чуть хрипловатым, иногда дополняя слова очень сдержанным, как бы стыдливым движением руки. Читал он, закрыв глаза, и в профиль был очень похож на пародии на себя. Читал он совершенно изумительно — так, как не прочесть Пушкина никакому мастеру художественного слова. Вдруг замолчав, он открыл глаза, посмотрел на меня, и я увидел в его старческих глазах слезы.

— Так писать никому больше не дано, — сказал Маршак, — даже и непонятно, как можно так писать…

Так мы ездили часа четыре с половиной кряду. Маршак оживился. Чесучовый пиджак — длинный, чуть не до колен — на нем топорщился. Он часто смеялся, почти неслышно, внутренне как-то. И было в нем так много доброты, разума и спокойствия, что не полюбить его было нельзя.

Когда мы проводили его домой, Гиршл сказал мне:

— Вы знаете, ведь у него — рак…

В 1942 году зимой, вернувшись из Подмосковья, с передовой, Евгений Петров захворал чем-то очень тяжелым, и его, чтобы легче было за ним ухаживать, из дома отправили в Кремлевку. И вот тогда-то и осуществилась мечта Бориса Ласкина познакомиться с ним; иначе то он был на фронте, то сидел в редакции, то уезжал за границу.

Ласкина привели к Петрову. Он лежал, заваленный со всех сторон гранками. На столике стоял немецкий трофейный коньяк, и лежали немецкие трофейные сигареты. Петрова познакомили с Ласкиным, и Петров сказал Ласкину:

— Пожалуйста, курите трофейные сигареты.

— Спасибо, — ответил Ласкин, — я не курю.

— Тогда выпейте немножечко трофейного коньяка. Он вкусный.

— Спасибо, — ответил Ласкин, по-прежнему влюбленно разглядывая Петрова, — но я не пью.

Петров внимательно посмотрел на него и спросил:

— Скажите-ка, а вы женаты?

— Нет.

Тогда Евгений Петров подтянулся на локтях и сказал:

— Товарищи, встаньте! Среди нас — живой ангел.

Помню, как в 1957 году меня привел к Федору Ивановичу Панферову Михалков.

Помню, что там в это время сидел П. Г. Москатов, который тогда являлся председателем Ревизионной комиссии ЦК партии.

Мне эта встреча была очень интересной, потому что Москатов работал начальником у моей матери в двадцатых годах, когда она была комсомолкой, депутатом Моссовета. И мать ходила к нему в 1952 г. по поводу арестованного отца.

Москатов выслушал ее и сказал, что он во всем разберется. Он вызывал, действительно, отцовского следователя (а, может быть, не вызывал, а звонил ему по телефону) и сказал матери, что он, Москатов, убедился в том, что отец мой виновен.

Так вот, сейчас этот Москатов сидел против меня, а я, уже три года обуреваемый жаждой писательства и исписавший огромное количество ненапечатанных повестей и рассказов — очень слабых, ученических, — пришел к Панферову со своей первой серьезной вещью — с циклом рассказов «Будни и праздники» о железной дороге Абакан — Тайшет. Писал я эти рассказы под явным всецелым влиянием Бабеля и Хемингуэя и

думал показать Федору Ивановичу. Он тогда уже был очень болен, с желтым лицом, иссеченным глубокими, видимыми, осязаемыми черными морщинами. Волосы пегие курчавые, хранившие в себе какой то задор двадцатых комсомольских годов — так, во всяком случае, мне тогда казалось.

Когда мы пришли, С.В. продолжал разговор с Москатовым и Панферовым. Я сидел в сторонке, наблюдая их.

Москатов говорил много и страстно о XX съезде, говорил как король из сказки Шварца, — грубовато, по-мужицки просто, с лубочным мужицким юмором. Потом он стал говорить о том, каким должен быть молодой человек, каким он помнит себя всю жизнь.

Панферов слушал его, закуривая одну папиросу следом за другой, опустив глаза, тяжело посапывая. А Михалков, не удержавшись, спросил:

— Петр Григорьевич, а у тебя спина не чешется?

Тот удивился: «Почему?»

— Ну, судя по всему, у тебя крылышки должны прорезаться, как у ангелочка.

Панферов на секунду перестал сопеть, быстро взглянул на Москатова. Москатов побагровел — и засмеялся. И Панферов засмеялся, и Михалков засмеялся и — по Ильфу и Петрову — все засмеялись.

Так вот — крылышек у Москатова, конечно, не было, потому что через три года после описываемых событий, он был исключен из партии за жульничество и махинаторство — трагичный и позорный конец председателя Ревизионной комиссии ЦК!

Когда Москатов ушел, Панферов достал из шкафа водку, вино, коньяк и предложил выпить. Сам он, уже истощенный болезнью, не пил, хотя за два-три года перед этим страдал от жесточайших запоев, когда от него убегала Коптяева, и мог к нему входить только один шофер, чтобы принести хлеба с колбасой или вытереть пол и столы, загаженные сверх меры.

Говорил Панферов мучительно точно, словно в нем в самом, сидело два Панферовых, каждый из которых успевал быстренько поспорить и обсудить ту фразу, которую один — большой — Панферов должен был сказать.

Память — дрянная штука. Я сейчас вряд ли вспомню то, о чем говорилось. Я помню, как говорилось. Помню я и пьесу, которую Панферов дал Михалкову, пьесу, в которой уже тогда, в 1957 году, была целая картина посвящена беседе секретаря Н-ского обкома с безымянным секретарем ЦК. Шел там разговор о нефти и — попутно — о людских судьбах. Пьеса была, очевидно, слабая, слабее «прозаического» Панферова.

Хорошо Панферов рассказывал. Не было выпячивания, когда он рассказывал что-то о себе. Он умел о себе говорить с юмором. Я помню, как он рассказывал о себе, мальчишке, в Вольске в 1917 или 1920 году — точно год не помню. Он тогда смешно сказал, что у него были пружинистые волосы — такие они были густые и шевелюрные.

На меня он не смотрел. На С.В. смотрел тоже нечасто. Чаще всего он поглядывал на руки, на свои колени, в окно.

Когда я ему оставил рассказы, он взял листы бумаги в руки, профессиональным жестом редактора посмотрел на последнюю страницу и сказал:

— Хорошо, завтра-послезавтра прочитаю.

Больше я с Панферовым не виделся. Рассказы мне вернули, Панферову они в общем понравились, но, как мне рассказывал Андрон, который был потом у него с отцом, Панферов, морща лицо, сказал:

— Талантлив, талантлив, но фокусы, а я не люблю, когда фокусы.

Правда, после этого из «Октября», как только там собирали молодых писателей, ко мне звонили и требовали, чтобы я там был, лично от Федора Ивановича, хотя я тогда еще не печатал ни одной вещи. А эти свои «Будни и праздники» я, получив от ворот поворот у Панферова, забросил. Потом, как-то случайно, памятуя старое знакомство с Борисом Сучковым, знакомство трагичное — их арестовали вместе с отцом, одного за другим, сначала Сучкова, потом отца — решил отнести рассказы в «Знамя». И там Вадим Кожевников сказал мне:

— Такие рассказы я готов печатать через номер — только несите.

Когда Панферов заболел приступом раковой болезни в последний раз, он долго лежал в Кремлевке, и в общем-то все считали, что не выцарапается он. Организм у него был мужицкий, архикрепчайший.

И вот сейчас, вернувшись к нему, я сразу вспомнил историю, которую он рассказывал:

Ехали они с Коптяевой по Волге на пароходе, и в его люксовой каюте обслуживала его женщина — повар из ресторана пароходного. Она часто приносила сама, а не официантка, и манную кашу, и рисовую молочную кашу для Федора Ивановича. И как-то раз она задержалась в каюте. Панферов начал обедать. Она остановилась у двери и спросила Коптяеву:

— А что у Федора Ивановича болит-то?

Коптяева ответила:

— Да вот видите, как он худеет. Желудок у него болен,

желудок…

— И не пьет?

— Да нет, куда уж!

Повариха подперла щеку кулаком, — рассказывает Панферов, — и мечтательно сказала:

— Эх, моему бы супостату такую болезнь! А то ведь спасу нет — жрет водку с утра до ночи.

Три приступа раковой болезни Панферов, наперекор всем предсказаниям врачей, перемог, сломал — и выжил, а последний приступ, самый тяжелый, длился чуть ли не два месяца. Был он без сознания. В Москве говорили, что вот-вот все кончится.

И вдруг вечером в нескольких домах его друзей — писателей раздался телефонный звонок, и Панферов говорил каждому:

— Заломал я ее, проклятую! И на этот раз выцарапался. Чувствую себя прекрасно. Дня через три выпишусь, пойду в журнал — начну работать снова.

Говоря так, он шумно смеялся, говорил людям какие-то приятные, хорошие слова, а через два часа ночью умер.

Валя Тур был у меня на днях с очень талантливым молодым писателем и сценаристом — Пашей Фином. Фин читал нам свой рассказ, — весь построенный по принципу новой литературы, которая берет свой исток в кинематографии: сначала писатель прокручивает перед глазами сценарий, а потом снимает фильм и уже потом пишет по этому фильму рассказ.

Потом у нас был долгий разговор с Туренком о молодой литературе и молодой поэзии. Он высказал совершенно правильную, точную мысль — о среднем уровне интеллектуальной прозы, то есть средний уровень — это в общем талантливо, это — все на своих местах; это — и раздумья, и точно отмеренная доза нервозности, и телеграфность стиля, и недомолвки, и недоговоренности. Но постольку-поскольку это уже стало средним уровнем, постольку-поскольку за последние пять-шесть лет молодое поколение, поколение тех людей, которые близки к творчеству, могло впитать очень многое и через кинематографию новую и через литературу и старую и новую, но ранее неизвестную в нашей стране, то есть напитались они много, восприимчивости у них много, как вообще институт восприимчивости в наши годы, когда все висит где-то на волоске, — но, восприняв, напитавшись новым, вся эта плеяда молодых людей искусства взошла на новую ступеньку, но взошла вся, в массе своей, и получилась талантливая, но средненькая одинаковость, а если одинаковость, то уже — не талантливая.

В этом я с Туренком согласен. Нельзя быть пророком в наши

дни вообще, а в сфере искусств особенно.

Вчера я возвращался по глубокому снегу, с трудом продираясь сквозь чащу, из 17-го квадрата охотхозяйства к шоссе. И мы шли, растянувшись цепочкой, один за другим, и ноги у нас были мокрые.

А лес был гениален, лес был могуч, молчалив, сине-бел, и на сине-белом снегу были большие следы лосей, маленькие треугольнички заячьих следов, ямки, куда зарывались тетерева.

А над всем этим было солнце, разрезанное черным облаком. И от солнца в землю упирался желто-розовый столб.

И мой товарищ — подполковник Саша Беляев, обернувшись на всю эту извечную и первозданную красоту, замер и долго стоял, не двигаясь. А потом, подмигнув мне осторожно левым глазом, сказал:

— Старина, а ведь это против абстракционистов…

* * *

4 апреля 1963 года

Много снега, как в январе. Прилетели воробьи, елозят по снегу — жрать им нечего. Бедняжки — сбились в кучу, как люди — носятся с дерева на дерево или тонут в снегу. Ужас, как больно смотреть на это.

Что-то грядет — погода уж больно затянулась холодная. Все недовольны, все ждут тепла, лета…

…Когда Горький в 1928 году приехал на Соловки, его зэки спрашивали:

— А.М. на сколько? На 8 или на 10?

…Был с Юрием Нагибиным в Переславле. Ловили плотву. Очень там хотелось мне написать о том, как по Плещееву озеру несло лед, как его ломало и он звенел — особенным, весенним звоном, как неслись по реке льдины и терли лодку, как мы протаскивали лодку через лед, а рядом с нами было два старика, которые все время ругались.

Старики ругали мальчика — толстого, рыженького за то, что он ловил не по правилам, но удачливее их в 1000 раз.

Этот рассказ напишу и посвящу Нагибину. Я его спросил, и он ответил, что очень мне благодарен.

* * *

9 апреля 1963 года

Дней двадцать тому назад я вез из Тарусы переводчицу Голышеву и ее мужа Оттена. Говорили о том, кто что делает, и я рассказал смысл своего будущего романа о 1922 годе.

Оттен спросил меня, знаю ли я что-либо о Вячеславе Иванове: а может быть, он сказал — Всеволод, я сейчас точно не помню. Я решил, что он спрашивает меня о нашем старике Иванове из Союза.

— Нет, — сказал Оттен, — я имею в виду Иванова, который писал за границей детективные романы, в которых описывались чекистские лазутчики за границей и борьба с ними.

Этот самый Иванов эмигрировал из России в 1922 г. — из Владивостока в Харбин и Шанхай. Там он организовал антисоветское общество журналистов и писателей, которые, захлебываясь от злости, штамповали густопсовую злобствующую антисоветчину.

Иванов был, как говорится, идейным вождем этого издания, имя его было широко известно среди эмигрантов не только на Востоке, но и на Западе.

В 1945 г. он, так же как и атаман Семенов, остался в Харбине, но только, когда вошли части Красной армии, атамана Семенова тут же расстреляли, а Иванова посадили на самолет, привезли в Москву, наградили орденом Ленина и назначили заместителем главного редактора газеты, кажется, — говорил Оттен, — «Тихоокеанская звезда».

Он и по сей день работает на Дальнем Востоке, и, конечно, мне к нему надо будет обязательно съездить перед тем, как вплотную садиться за роман.

Оттен и Голышева — люди очень милые, своеобразные, остромыслящие.

Не помню, кто рассказывал мне историю. Вымысел это или правда, можно будет установить только в музее Ленина. История эта такова.

В 1918 году в газете «Северная коммуна» были напечатаны четыре литературных портрета о вождях Октябрьской революции — Ленине, Троцком, Каменеве и Зиновьеве.

Кажется, в ту же годовщину город Гатчина был переименован в город Троцк. И вот статья о Троцком начиналась так: «Когда мы говорим — Октябрь, мы думаем — Троцкий. Когда мы говорим — Троцкий, мы подразумеваем — Октябрь».

Можно было подумать, что это начало написано кем-нибудь из околотроцкистской своры. Однако, как рассказывали мне,

статья эта принадлежала перу Сталина. Говорят, что во времена культа за хранение этой газеты следовал не просто арест.

Мне хочется записать несколько строчек о человеке, которого я очень искренне люблю, по-настоящему уважаю, — о Борисе Полевом. Первый раз с Борисом Николаевичем я увиделся в 1956 г. в «Огоньке», в международном отделе, в день, когда оформлял последние документы перед вылетом в Афганистан. Я тогда невообразимо торопился, нервничал и, по-видимому, светился радостью по поводу предстоящей загранкомандировки — первой в жизни.

Полевой сидел в уголке на стуле, нога за ногу, как всегда, улыбчиво поглядывал на людей и совсем уж улыбчиво, причем смешанно: доброта с иронической ухмылочкой. И когда тогдашний зам. редактора международного отдела Лев Николаевич Чернявский спросил: «Ну а сколько же мне писать — сколько ты зарабатываешь? Ты же ничего не зарабатываешь постоянно», я засмущался и не знал, что ответить.

Полевой сказал: «Ну да, господи! Напишите, что получает 2400». Мне захотелось подпрыгнуть и щелкнуть в воздухе пятками от счастья, но я этого не сделал, а сказал Чернявскому: «По-моему, это — прекрасная сумма».

Потом я встретился с Полевым на аэродроме — куда-то улетали он и я. Я с ним поздоровался, он быстро кивнул, побежал дальше.

Но что самое любопытное — сейчас я вспоминаю первое знакомство, а первое знакомство состоялось в 1947 или 1948 году в библиотеке имени Сталина на читательской конференции, посвященной «Повести о настоящем человеке».

На эту конференцию приехал Борис Николаевич. Причем я помню: отец дал машину — маленький вишневый БМВ, и мы поехали за Полевым в «Правду». И я — молодой барчук — сидя в машине рядом с шофером, хвастал Полевому о том, как я жил в Германии в 1945 г.

Он тогда, как я сейчас припоминаю, очень весело, с каким-то забавным недоумением, смотрел на меня, кивал головой и улыбался. Вот ведь любопытно — всегда этот человек ассоциируется у меня с улыбкой.

А потом, в зале, я взял слово и стал выступать, причем выступал, как я сейчас вспоминаю, неприлично, скучно и ему знакомо. Правда, наши матроны ахали и восхищались мною, но я-то почти слово в слово повторял критическую статью о Полевом, которая была напечатана то ли в «Знамени», то ли в «Новом мире», то ли еще в каком-то толстом журнале. Наивная, святая

простота! Я тогда не предполагал (я тогда мечтал быть или внешнеторговым купцом или киноактером), что буду сам грешить литературой, а когда грешат литературой — особенно вначале еще — очень внимательно приглядываются к прессе.

Значит, Полевой чувствовал, что выступает не читатель, а выступает тот самый выступатель, которого как жеребца готовят перед пробежкой, — учитель литературы, комкающий в уголке платочек от нервного возбуждения, и библиотекарша с холодными от волнения руками.

Помню, я тогда сказал Полевому: «Вот, Борис Николаевич, у Вас в „Повести“ серьезная ошибка. Там написано, что Мересьев полз по зимнему лесу и слушал, как куковала кукушка, а на самом деле кукушка зимой не кукует». Это я, конечно, вычитал в критической статье. Мои слушатели захлопали, а Полевой все с той же доброй, спокойной улыбкой смотрел на меня и кивал головой…

Потом — его прекрасное выступление в печати против лактионовского замазывания в живописи, против ларионовской картины, когда в новую комнату вселяется советская семья и первой входит девочка, неся в руках портрет Сталина. Он очень честно выступал в это время, без визга и крика, а по-настоящему партийно, продуманно.

И когда я перед началом XXII съезда принес в «Юность» свою повесть «…При исполнении служебных обязанностей», а ее только перед этим отвергли в «Знамени» (Софья Дмитриевна Разумовская — обаятельная женщина по прозвищу «Тотоша», она жена Даниила Данина — говорила мне, что «в Вашей повести меня больше всего отвратила Женя, которая то и дело шампунем моет волосы как баронесса Делямур». Почему она только это увидела в повести или, вернее, не увидела, а захотела увидеть — я понять так и не могу) — и не только в «Знамени»; на эту повесть расторгли договор в студии «Мосфильм» как раз перед открытием XXII съезда, потому что в Москве носились обывательские разговорчики о том, что съезд будет «объединительным» и что в ЦК снова войдут Молотов, Каганович и Маленков.

И вот в «Юности» повесть всем очень понравилась, пошла от Мери Озеровой к Сергею Преображенскому. Преображенский высказался «за», Розов — «за», Прилежаев — «за», Носов почему-то «против». Словом, повесть загнали в набор.

Номинально редактором тогда числился Катаев, хотя он уже — после эпизода со «Звездным билетом» — в редакции не появлялся. Дискутировались кандидатуры нового редактора. Дискутировались кандидатуры Михалкова, как это ни странно — Баруздина и Полевого.

В «Юности» шумели, если придет Сережа, то наверняка Алексин станет заместителем главного редактора. Алексин — это михалковский лунник.

Назначили Полевого, и Полевой тут же попросил дать ему гранки первого и второго номеров, то есть тех номеров, где начиналась моя повесть.

Через три дня ко мне позвонила Мери и попросила приехать к Борису Николаевичу.

Когда я вошел, Борис Николаевич, улыбчивый и нежный, поднялся, обнял меня и расцеловал. И было это до того приятно, добро, человечно, до того по-настоящему наше, что меня чуть в слезу не потянуло. Человек он тонкий, он это почувствовал, и у него глаза заблестели. Говорил он тогда очень хорошие и добрые слова, очень спокойно. Сделал великолепные замечания.

У меня там было, что Струмилин перед вылетом и посадкой одевал лайковые перчатки. Полевой смеется: «Мне раз пришлось одевать лайковые перчатки, когда я шел на прием к английской королеве, но они такие тонкие, что их практически только раз и можно одевать, а потом россиянин с его грубой рукой наверняка разорвет. Так что, что касается лайковых перчаток, тут ты, борода, загнул».

То же самое он сказал очень точное замечание человека, который много времени провел с летчиками, о том, что летуны не говорят слово «кашне», а говорят «шарф» в зимний период, потому что кашне — это беленькая шелковая полосочка, которая подкладывается под летнюю форму, под летнее пальто реглан. Такая точность в мелочи дает достоверность в большом. За это я был ему глубоко благодарен.

Когда выбросили в цензуре три страницы, связанные с «Синей тетрадью» Казакевича и с разговором о Ленине в 1918 г. и о Зиновьеве в том же году, — Борис Николаевич заботливо, вот уж точнее не скажешь — как отец, вписывал заново, сидя рядом со мной, строчки, которые бы прошли точно. Сказал он тогда мне очень хорошую фразу: «Зачем Вам нужно, чтобы визжали всякого рода фрондеры и с той и с другой стороны?!»

Когда он меня попросил зайти, чтобы поговорить о моей следующей вещи, я ему рассказал задумку про «Петровку, 38». Он меня очень тактично, без всякого нажима отговаривал. Он мне говорил: «Не нужно это Вам, борода! Давайте что-нибудь погенеральнее». Тогда мне очень хотелось сделать МУРовскую тему, и он меня не уговорил. Но опять-таки — товарищество и мудрое добро этого человека: когда он понял, что он меня не уговорил, он сказал: «Ну что же. Ну, в общем-то, если хочется, надо решить. Давайте, давайте. Будем печатать, если получится».

«Петровку, 38» они не напечатали, потому что, как мне объяснила Мери, у них был моральный долг перед Аркадием Адамовым: они за год перед этим напечатали его плохой детектив «Последний бизнес», и сейчас они хотели реабилитировать и себя и его и начали вместо моей повести печатать его повесть «Таможенный досмотр».

В мои трудные дни, зимой, Борис Николаевич позвонил и попросил меня прийти к нему, и я бежал к нему в перерыве между разговорами с Русланом Бадаевым. И там — это было дня через три после первой встречи на Ленинских горах — он сказал мне: «Плюньте на все и давайте-ка выполняйте мой социальный заказ. Мне нужны хорошие рассказы про рабочих парней. Сколько тебе нужно сроку?» — спросил он. «Неделя», — ответил я. «Ну, так уж неделя, — сказал он, — даю две недели».

Давно я не писал с такой радостью! Сел и сдал цикл рассказов «Товарищи по палатке». Тогда же, в свои тяжелые дни, я написал дней за пять пьесу «Иди и не бойся».

Рассказы Полевому очень понравились. Они идут в пятом номере «Юности». Вернее сейчас сказать — должны идти, поплевать через плечо и постучать о дерево. И после этого Борис Николаевич сказал: «Ни о чем не думайте, летите от нас в командировку в Абакан — Тайшет и не торопитесь».

Дали мне денег, много денег из своего скудного финансового пайка. Причем когда заведующий редакцией Суслов сказал Борису Николаевичу, что Юлиан забирает у нас много денег — 2800, Полевой ему ответил: «Миленький, писатель как женщина — ему за удовольствие платить надо. Вам рассказы удовольствие?». Суслов вздохнул и ответил: «Удовольствие». — «Ну вот и платите!».

И вот сейчас, на пленуме РСФСР, было единственное выступление, которое содержало в себе запал партийности и честности, и единственным человеком, который сошел о трибуны без аплодисментов, в гробовой тишине зала, был Борис Николаевич.

Его выступление резко разнилось от всего тона пленума. Он говорил спокойно и честно. Он говорил, что ошибки Аксенова искусственно раздуваются и что не он виноват в этой скандальной известности, а критика, которая визжит по поводу каждой его самой маленькой ошибки. Он говорил, что критика не замечает того хорошего, что печатает «Юность», а набрасывается только на брусничку. Это пришлось явно не ко двору. Но Полевой сделал по-настоящему доброе и честное дело. За это ему честь и хвала, и уважение!

Второй мой главный редактор, с которым я в общем-то начинал печататься в большой литературе, это — Вадим Кожевников.

Летом 1958 г., правильнее сказать — в сентябре, я передал Сучкову цикл рассказов о геологе Рябинине. Рассказы всем понравились и ждали мнения Кожевникова.

Числа 5 сентября я помню, гуляя, шел с Николиной Горы в Успенское. И было пронзительно чисто в небе, и деревья стали желтеть, и Москва-река, обмелев, ощерилась бурыми песчаными отмелями, и тишина была вокруг — осенняя, остатняя тишина.

Пришел я в Успенское, заказал телефонный разговор с Москвой и услышал голос Уварова. Он сказал мне: «Плохо дело, Юлиан, — главный редактор забодал рассказы». Тогда я относился к этому просто, потому что больше жил в журналистике, нежели в литературе, и отнесся к этому сообщению спокойно, сказав: «Ну, я так и думал». Уваров засмеялся своим громобойным смехом и сказал: «Давайте приезжайте. Редактор — „за“».

Кожевников меня поразил лицом американского боксера, громкоголосостью и неумением слушать собеседника. Причем я это говорю не в упрек ему, я Кожевникова очень люблю, считаю его очень талантливым человеком, очень и по-настоящему. Просто он, как истинный писатель, причем писатель характерный, где герои — сильные люди своего стержня, — он слушает себя и в себе героев своих, как мать слышит удар ногой ребенка под сердцем. Он — Вадим — и говорит поэтому о себе и для себя.

Когда Кожевников меня увидел, он тряхнул руку сильно и быстро и сказал: «Такие рассказы я готов печатать, если будете приносить, через номер». И он говорил правду, потому что «Знамя» начиная с 1958 г. печатало меня по два — по три раза в году, если не больше, а для толстого журнала это весьма дерзко.

Вадим сказал мне тоже очень точную фразу. Он мне тогда сказал, что, мол, «когда у Вас шофер Гостев проваливается в прорубь и если тридцатиградусный мороз, то он, ежели на ветру потом простоит 15 минут, так или иначе „сыграет в ящик“, и что если одежда на нем успеет замерзнуть, так она не трещать будет, как у Вас написано, а при каждом шаге ломаться будет, как хрупкий ледок».

Он же — Кожевников — помог мне с командировкой на рыбацкие суда в Исландию и Гренландию. С ним, с Борисом Слуцким, Николаем Чуковским и Виктором Борисовичем Шкловским (Шкловский к нам приехал только в один город — в Минск) ездили выступать по телевидению в Гомель, в Минск и в

Ригу.

Помню, мы как-то ходили с Вадимом по маленьким улочкам, и он мне рассказывал, как он был здесь, в Риге, чуть ли не в 1927 или в 1926 году с командой боксеров — первое впечатление меня не обмануло: я сам, как бывший боксер, увидел в нем тоже боксера, только более высокой квалификации.

Рассказывал он, как их возили в автобусе, никуда не отпуская. Рассказывал он мне потом прекрасную историю и о том, как он был в Турции, и о том, как он был в Константинополе, и о том, как он потом, в 1945 г., был в Италии, выполняя роль не только журналиста, но и крупного военного разведчика. Рассказывал о том, как ему было трудно и интересно работать в Китае, где он занимал ответственнейший пост заместителя политического представителя в Китае.

Сталин Кожевникова очень любил и прислал ему, после того как Вадим напечатал свою повесть «Март — апрель», в конверте десять тысяч рублей. Это считалось, как у Николая I Пушкину, — перстнем.

Тогда в мае, в 1960 г., еще за два года перед XX11 съездом, в ресторане в Риге под джаз разыгрался крупный спор о Сталине. Мне понравилась равно принципиальность и Слуцкого и Кожевникова. Мы с Чуковским были «болотом», так сказать, «третьей силой».

Забегая вперед, могу сказать, что никогда не забуду ликующего, восторженного и чисто фанатичного лица Бориса Слуцкого, которого я встретил после XXII съезда в ЦДЛ, когда он мне говорил: «Ну, Юлиан, видите, кто был прав, а кто неправ!»

Спор был о том, в чем виноват Сталин и виноват ли он вообще. Спор был о том, какую роль сыграл Сталин в войне и сыграл ли он ее.

На последнем пленуме Кожевников участия не принимал, потому что очень быстро улетел в Каир вместе с Борей Ивановым из «Огонька».

Вообще, если внимательно приглядеться к двум последним пленумам, а особенно к пленуму РСФСР, то здесь будет видно, кто в нем участия не принимал, — ни Паустовский, ни Симонов, ни Чуковский, ни Маршак, ни Бакланов, ни Бондарев, ни Каверин, ни Берггольц, ни Гранин, ни Панова, ни Смеляков, ни Винокуров, никто из молодых.

Если взять перечень выступавших из газеты, то я, хоть и живу уже в литературной среде вплотную четыре года, — за исключением двух-трех, никого не знаю. Что это за люди, какое они имеют право говорить от имени литературы, какое они имеют право давать советы, указания и рекомендации!? Не

выступал и Михаил Александрович Шолохов, не выступал и Твардовский, не выступал Овечкин, не выступал Арбузов, Розов, Володин, Алешин…

Я не знаю, прошло ли это замеченным или незамеченным, но если сейчас товарищ Криушенко из Главлита будет продолжать тянуть свою политику, то — боюсь — многое станет очень ощутимым.

Сейчас советского человека нельзя кормить схемами.

Если сейчас появятся произведения, состоящие из схем, из идеальных героев, из конфликтов хорошего с отличным, то как же читатель будет относиться к «Одному дню Ивана Денисовича», к «Живым и мертвым», к «Большой руде», то есть к произведениям серьезным, проникающим в душу человеческую!?

Замалчивать эти произведения уже нельзя, объяснять, что это — частные ошибки, смехотворно. Боюсь, что если сейчас победить пустословие в литературе, то некого будет винить в нигилизме некоторой части молодежи. Нас прижмут — кого же тогда винить в веяниях нигилизма, а он будет, потому что самая главная и самая неприятная ошибка заключается в замалчивании

Нельзя быть страусом, а тем более нельзя быть страусом с друзьями, с которыми должно говорить открыто: они тогда все лучше поймут, нежели, глядя в глаза человеку, лгать ему, будучи уверенным, что лжешь для его же пользы. Это значит не уважать собеседника и — где-то — самого себя…

Вспоминаю Вилю Смирнова, который был заместителем секретаря партийной организации у московских писателей.

Человек с огромной близорукостью, в толстых очках, с именем, составленным из трех прекрасных букв ВИЛ (Владимир Ильич Ленин), окончивший Международный институт, работавший ТАССовским корреспондентом в Албании. Он пришел к нам после того, как был инструктором Фрунзенского райкома, по назначению из МГК. Сходился он с людьми легко и хорошо, но дальше больше — я замечал в нем одну страшную черточку нетворческих людей, которые живут среди людей творческих.

Ему очень хотелось — так же как Юрке Казакову, когда он приезжает из Тарусы в Москву, — сидеть часа четыре или пять в ресторане, пить кофе и водку, говорить громким голосом о том, о чем считаешь должным говорить. Ему хотелось сидеть в нашем большом холле и, как Тольке Гладилину, рассказывать что-то скабрезное и слушать такое же.

Словом, ему хотелось того видного в творческом работнике, что кажется со стороны очень заманчивым. А ведь это видно — это как видная часть айсберга: ослепительно красиво и мощно,

но, по сути дела, является крохотной частичкой подводной громадины: сидел-то ведь айсберг своей невидной частью.

Так же и в нашем деле. Можно два дня смеяться и трепаться и сидеть в ЦДЛ, а потом два месяца, не разгибая спины, по десять — двенадцать часов проводить за столом.

И вот когда я смотрел на Виля, — а я с ним в общем-то был в добрых отношениях, — я тревожно ощущал, что он на пороге какой-то беды. Какая, откуда она может грянуть, — я понятия не имел. Но, тем не менее, это чувство было во мне точным, как ощущение ужаса во сне.

И я оказался прав. Дней за шесть перед событиями, о которых сейчас я буду писать, он завел меня к себе в кабинет и, глядя на меня из-под очков жалкими глазами, спросил, не смогу ли я одолжить ему денег, потому что он прожег себе плащ и сейчас ему приходится ходить в демисезонном пальто.

Я ему дал 50 рублей, а еще 50 рублей попросил подождать дней пять. Но он мне стал звонить через два дня, жаловался, что он зашился с ремонтом квартиры и т. д. и т. д

Я ему привез еще 40 рублей (с деньгами у меня у самого было туго), а через три дня узнал, что Вил снят с должности заместителя, потому что приехала партийная комиссия райкома и выяснила, что он систематически растрачивал партийную кассу, он брал у людей партийный взнос с тысячи рублей, а в ведомость записывал, что брал не с тысячи, а со ста.

Когда я узнал это, мне стало страшно, как вообще-то бывает страшно узнать о подлости близкого человека. Но я сразу вспомнил его лицо, когда он просил у меня 50 рублей, небритое, отечное, зеленоватого оттенка, оно все плясало, и глаза его были жалкими, и руки с черными ногтями, и обшарпанные брюки, и давно не глаженный пиджак, и синяя рубашка — давно нестиранная и с дурным запахом.

А еще я вспомнил, глядя на него, его слепую — почти на 80 процентов — жену, которая, как мне рассказывали, хорошо дралась на фронте, особа эмансипированная, изящная, очень чистенькая, которая совершенно не походила на жену вот этого — тогда уже почти совсем опустившегося человека. Вил говорил, что она сама не может переходить дорогу и что он переводит ее через дорогу, когда она уезжает на работу, и что он сам готовит еду и сам стирает белье.

А вообще-то про это не нужно рассказывать мужчине, про это мужчине нужно скрывать, помня Горького, что не каждая правда нужна человеку, есть правда, которая унижает.

Мне рассказывали, что когда дочь Марины Цветаевой,

которая после самоубийства матери в 1942 г. была арестована по ложному доносу, увидала книжку «Записки коменданта Московского Кремля» Малькова с литературной записью А. Я. Свердлова, она очень удивилась, потому что А. Я. Свердлов был ее следователем. Ее спросили — каким он был следователем: плохим или хорошим? Она ответила: «Он был демократом, он никогда не вызывал людей, чтобы меня били, он всегда меня бил сам».

Говорят — не надо вспоминать это, не надо трогать старые раны. Тогда нужно вообще забыть термины «старые раны», «сердечная боль». Как же не вспоминать про это, когда это — в сердце у каждого?!

Коля Асанов рассказывал мне (он — автор последней повести в «Юности» — «Янтарное море»), как в 1931 г., когда его арестовали в первый раз, его привели на допрос в 4 часа утра к начальнику секретно-политического отдела ГПУ Марианне Герасимовой, родной сестре критика Валерия Герасимова и двоюродной сестре Сергея Аполлинариевича Герасимова — режиссера, и как эта красивейшая женщина в бальном платье с декольте, стаскивая бальные перчатки до локтя с рук, открыла окно, а за окном была прекрасная рассветающая Москва, и голуби ворковали под окном, и солнца еще не было, но оно чувствовалось, как она спросила у Асанова, почему он молчит, а он сказал, что ему нечего говорить, потому что он ни в чем не виноват, он — верный сын Родины, и как она, пройдясь по кабинету, мило улыбаясь, закурила «Казбек», а потом стукнула кулаком по столу и сказала: «Ну, вот что, Асанов, ты кончай нитки мотать…» — и дальше она произнесла грязное мужицкое ругательство. И — как рассказывал мне Асанов, — он тогда впервые в жизни упал в обморок.

Когда я спрашивал, какой была Марианна Герасимова в жизни, мне говорили, что она была обаятельной, нежной и милой. Она была первой женой Либединского, готовила домашнее варенье и, когда рассказывали хоть в какой-то мере фривольный анекдот, очень сердилась и выходила из комнаты. В 1936 г. она повесилась в своем кабинете…

Когда я сейчас хожу по улицам, меня не оставляет ощущение такое, какое бывает в мае месяце в Коктебеле, если входишь в море: солнце теплое, а море холодное, и как-то реально ощущаешь, как солнце пытается пробить толщу холодной воды и сделать море прекрасным и теплым.

И вот нечто аналогичное я ощущаю сейчас с воздухом. Когда

идешь и, если даже нет ветра, все равно рассекаешь воздух, — он осязаем и он холоден. А если остановишься, поднимешь лицо к солнцу, так оно станет быстро теплым и даже может согреть. Ощущается какое-то тяжелое единоборство жаркого апрельского солнца с промерзшим чистым воздухом, который не по-апрельски холоден, а холоден по-февральски. И поскольку весна так затянулась, уже лето голубых, серых, несказанно прекрасных ночей, когда можно ходить без пальто, когда цветут деревья и когда по ночам во дворе, в открытую балконную дверь, слышны тихие песни и гитара, — все это кажется возможным чудом, а не той круговоротной закономерностью, которая математична в своей неотвратимости.

Каждое утро подскакиваешь к окну, смотришь на градусник и ждешь чуда…

В этом году ни один человек из нашего писательско-актерско-режиссерско-музыкантского мира не разыгрывал друг друга с первоапрельской шуткой — умы были заняты другим.

Правда, один розыгрыш все-таки был. Кто-то разыграл заместителя Караганова в издательстве «Искусство» — некоего Буриана. Позвонили к нему, сказали, что это из Министерства культуры: «Понимаете, издали во Владивостоке тиражом в 100 тысяч экземпляров книгу Турбина „Товарищ время и товарищ искусство“ и сослались, что это с матриц вашего издательства».

Говорят с Бурианом чуть обморок не случился. И это еще в нашей сегодняшней ситуации.

Возмущает меня организация, которая тактично называется Главлит.

Как было дело с пьесой «Дети отцов»? Они, запретив пьесу, все свалили на Главпур. Так и с пьесой «Иди и не бойся»: они, запретив ее, врут Александру Петровичу Левинскому, начальнику Управления театров, что они ее не запрещают, а дают поправки. А когда сейчас в «Юности», в четвертом номере, у меня шла ссылка на то, что в Театре юного зрителя репетируют «Иди и не бойся», Главлит упоминание об этой пьесе снял, потому что пьеса эта запрещена.

Поразительно вот что: почему цензору Криушенко доверяют больше, чем писателю Семенову, директору театра Мариенгофу, главному режиссеру театра Голубовскому и тридцати восьми актерам, среди которых двенадцать коммунистов, а два — старики коммунисты?! Ведь писатель — он не просто писатель, он — член Союза советских писателей! Это больно даже спрашивать самого себя, не говоря уже о том, как больно на это отвечать.

Словом, поживем, посмотрим…

* * *

20 апреля 1963 года

Молодежная суббота в ТЮЗЕ. Симонов читал стихи. Убежал после выступления — в Политехнический. Вернулся уже после окончания.

— Ну как? — спрашиваю.

— Был 15 минут, а все равно успели воткнуть вопрос о Евтушенко.

Потом мы обсуждали субботу. Говорили, что жаль, что С. был всего час.

(Мих. Мих. просил его выступить на 50 мин. Ровно — минута в минуту он и выступил.)

— Я мог бы занять площадку на 3 часа. А все-таки хорошо я ввернул про то, что теперешняя молодежь — так же как и мы — пойдет драться… Зря мы нападали на нее. Мы ведь в свое время тоже были хорошие гуси.

На этой фразе, в кожаной тужурке, с английской трубкой, веселый, он ушел.

* * *

22 мая 1963 года

Вчера, 21 мая, мы были в гостях у Юли и Льва Петровых в Барвихе.

К ним пришел в гости маршал Тимошенко. Красив, статен, румян. Много пьет. Рассказывал о Сталине. «Тот называл меня мужиком. Я был единственным, кто умел говорить тосты без политики, а про природу, дружбу, любовь». (Кстати, первый тост, который он произнес сейчас, был тост за Н.С.)

Во время просмотров кинофильмов, когда бывали приглашаемы иностранцы, Власик сажал Тимошенко сзади Сталина, чтобы тот прикрывал его спину своим громадным торсом.

Тимошенко: «Очень Сталин Гитлера боялся, прямо как огня боялся. Когда Жуков однажды вместе со мной был у него на докладе и говорил о необходимости перенести границу вперед, сделать укрепления по новой границе, выдвинуть агентуру, Сталин на Жукова накричал, и тот, заплакав, выбежал из

кабинета.

Агент из немецкого посольства, заручившись согласием на политубежище через начальника ГРУ Голикова, за некоторое время перед началом войны рассказывал точно, когда все начнется.

Я доложил об этом Сталину. Тот сказал — пусть Берия разберется. А мы не могли отдавать Берия своего агента, они бы его уничтожили, потому что министр ГБ Меркулов всегда давал ложные сведения Сталину, успокаивал его, т. к. чувствовал, что Сталин хочет успокоения.

Три дня перед началом войны мы не спали и сидели в НКО. Первым ко мне позвонил Севастополь — началось.

Я поехал к Сталину.

Он сидел с Молотовым в бомбоубежище под Кремлем. От страха, когда я ему доложил, он обделался. И стоял ужасный запах в бомбоубежище.

У него был начальник кадров армии Щаденко — сволочь и дурак. А он на него опирался.

Я был против ареста Блюхера.

В Свердловском зале он нас собрал — военачальников, и Штерн, бывший ворошиловский помощник, впоследствии тоже расстрелянный, а тогда — палач, потребовал от нас санкции на арест Блюхера, Федько и др.

Я выступил — единственный, против. И вышел из зала. Мне потом тайком руки пожимали».

* * *

26 мая 1963 года

Ездил на Святое озеро, в Шатуру с Гуркиным — за карасем. Ни хрена не поймали. Там был парень, агроном, он рассказывал: «Когда я первый раз рыбу выдернул, так меня аж вроде бабушка заново холодной водой умыла. С тех пор — я рыбак».

Зуев и Сериков привезли с собой на Святое озеро работника института марксизма (специалиста по Марксу) Борю Крылова. Талантливый интеллигент, с сединой, которая выступает пятнами, в очках, в синей шелковой рубахе, без запонки. Алкаш. Выпив, начинает тут же говорить о музыке. Он театрал — летает на все премьеры в Ленинград, Таллин, Киев, слушает «Летучего голландца».

«Завтра Майка Плисецкая в Дон-Кихоте танцует. Мы будем следить, что она во 2-м действии в третьем па-де-де ножкой

сделает? Это — гвоздь сегодня».

Агроном слушает его со смехом и недоуменной любовью.

Познакомился с Эдлисом. Славный парень, талантливый драматург.

В. Фирсов умудрился оббить все пороги у Щипачева, чтобы не пойти в армию.

Щипачев помог ему, и министр Малиновский написал: «Не знаю как поэт, а солдат мне такой не нужен».

А. Арбузов предлагает провести совещание драматургов по третьему акту. Первые два у нас писать не умеют, а последний, где надо ловко соврать, — никто не может. Топорно лгут, за версту видно. Вся неправда первых двух, ловко замаскированная, прет наружу в третьем.

Фамилия Крестовоздвиженберг.

…Один верблюд, идущий по Сахаре, второму:

— Что бы о нас ни говорили, а пить все-таки хочется.

При крутом повороте каравана хромой верблюд всегда становится первым.

Зубы, как культ личности: сейчас не болят, но каждую минуту могут…

Государственный сентиментализм — это советская лирическая песня.

Талант, как и государство, суверенны и сами назначают себе цену.

Первый признак шизофрении — бестактность.

Счастье — это желаемое минус достигнутое. Вы замечали — счастливых не любят?

Светлов ездил по Белоруссии вместе с Абалкиным, все время легкая пикировка на лит. вечерах.

Однажды Абалкин переперчил и, чтобы сгладить неловкость, попросил:

— М.А., смените гнев на милость.

— Мальчик мой, я только тем и занимаюсь, что с утра до вечера меняю гнев на милость — этим и кормлюсь.

Он — М. Соболю:

— Вы производите впечатление человека, который все время старается догнать свои зубы.

Светлов о Коктейль-холле — утопающий хватается за соломинку.

— Я стал пить в 37-м, от страха.

В «Арагви» после премьеры «Трех апельсинов» Светлов написал мне, в конце апреля, в книжку стихов, которые он сочинял, шевеля губами и загадочно-бесовски скривив губы, улыбаясь. Вот эти стихи:

Наступает весенний рассвет,
Умирает несчастный бюджет,
Два рубля у меня на такси,
Две копейки еще б попросить.

Мне судьбу не заполнить сполна,
Двум прохожим — копейка счета,
Пустота, пустота, пустота,
Неоплаченные счета.

Даже если в гробу я лежал,
Все равно я земле задолжал,
Я все мысли мои соберу,
Сколько раз я сидел на пиру…

* * *

6 июня 1963 года

…Сегодня, 6 июня, сидел во МХАТе — у Кедрова Мих. Ник. и директора.

Кедров — мешковат, доброжелателен, глаза, как у узбека — черно-коричневые, с отливом. Говорил о том, что он все сегодняшнее в искусстве воспринимает как серьезный курс.

«Сегодняшняя современность — это сегодня, плюс двадцать лет вперед. Надо уметь это видеть. Если Чехов совершил

революцию в театре, позволив своим героям мечтать, то Горький утвердил недостаточность мечтаний и обязательность действий.

Сейчас в нашем театре должна произойти очередная революция и сделать ее должны писатели, увидев нового человека. Что — Астров? Рощицу посадил, о лесах мечтал — и то вошел как революционер, как герой. А сейчас-то похлеще дела происходят! Помните, у одного поэта: «Веласкес, Веласкес, о как ты умел о великом поведать так просто!?»

Ведь вы приносите в театр кожицу. Слова — это кожица. А актер обязан увидеть под ней мясо и кости.

Когда говорит Отелло — что думает и как ведет себя в это время Дездемона? Это же надо точно понять и точно выразить! Конфликт? О, конфликт повсюду.

В любовном объяснении Ромео и Джульетты — сильнейший конфликт — каждый их них убеждает другого, что любит больше.

В вашей пьесе, понравившейся мне, надо понять героику труда на целине (для него — Абакан — Тайшет — явная целина, тут он маленько не силен, да и пусть — не в этом суть). Тогда бюрократы — ужасно смешные, я очень смеялся, когда их сцены читал, — будут еще более отвратительны зрителю. Дружите с нами… Очень были рады…»

П. Тур сказал мне — «Не давайте МХАТу. Будут два года марьяжить, потом еще испортят. Много вы видели у них интересных постановок последнее время? Вон, Зорина два года мутужили, а вышел пшик».

Вернулся вечером домой: письмо из Прокуратуры, от Волкова.

Бессонная ночь: куда направили дело: в Рузу или область? Днем — жизнь, ночью — раздумья. Так уже восьмой месяц. Чувствую, что сдаю.

В ЦДЖ дня два назад сидел с Юрой Казаковым и Валькой Туром. Рядом, за стеной, шумно ликовал Глазунов в окружении Михалкова, С. С. Смирнова, В. Захарченко и И. Долгополова.

* * *

13 июня 1963 года

Сидел вместе с А. Ю. Кривицким, Сашей Сербиным, М. Лукониным, Ю. Трифоновым и Ю. Иващенко в ВТО. Кривицкий был здорово на газах. Блеск остроумия. «Можно мне сказать тост?» Поднялся. Заикаясь, торжественно, как Левитан, начал

говорить:

— Я прошу вас всех выпить вместе со мной за прекрасного человека, умницу и прозорливца, которому я обязан всем, что у меня есть на земле. Я прошу вас выпить за Александра Кривицкого.

Выпили. Спорили о кино. Иващенко рассказывал, что Романов, новый шеф кино, предложил брать газетам мнение специального отдела печати Главкино на новые фильмы, чтобы не было разнобоя в оценках. Аджубей, кажется, с этим не согласился.

«Нельзя же доводить до абсурда», — сказал Иващенко, выпивая.

— Можно, — ответил Кривицкий. — До абсурда можно, но не до катастрофы, желательно.

Рассказывал, как его защищал Трифонов от какого-то мужика, который лез без очереди в такси.

— Он бросился на меня с кулаками, огромными, как «Слово о полку Игореве»! Юра защитил меня. Он — гений.

Потом он ссорился с каким-то молодым пижоном из-за зажигалки.

— Зачем вам зажигалка? Что, вы живете в какой-нибудь безлесой стране, как Бельгия? У нас много леса, надо чиркать спички, это патриотично в конце концов!

Рассказывал о том, как в 46-м году Сталин вызвал Фадеева и Симонова.

Главная задача в идеологии на ближайшие двадцать пять лет — это заставить нашу интеллигенцию отказаться от мысли про собственную второсортность. Петр заигрывал с Западом. Он не был Великим. Великим был Грозный, кстати говоря.

Юра Зуев рассказывал, как он переводил переговоры нашей охраны Хрущева с их Сюрте[115]. Это было перед визитом Н.С. во Францию. Наши вытащили списочек:

— Вот здесь будет проезжать Н.С., через эту деревню, так в ней живет такой-то. Он — сволочь.

— Как же, как же, отвечали французские охранники, — мы это знаем.

— Надо бы его забрать.

— Заберем. Мы имеем право забрать на сорок восемь часов. Как только Н.С. будет подъезжать к этому пункту — сразу заберем.

Обстановка не переговорах была в высшей мере дружеская. Деловые люди, хорошо понимали друг друга.

…Трагикомедия получилась с великим, гениальным, лучше всех понимавшим все Щедриным (прозорливость, по-моему, это хорошее знание того, что было, и точное понимание происходящего. Это и есть два главных компонента прозорливости).

Работу о нем много лет готовил Л. Каменев. После расстрела в 37 году рукописями Л.Б. завладел с помощью Н. И. Ежова Я. Эльсберг, провокатор и одновременно лит. секретарь Каменева. Он и издал монографию о Щедрине, написанную Каменевым, получил за нее звание доктора филологических наук, титул российского литератора и, кажется, премию Сталина.

Такой оборот событий вряд ли мог предвидеть М. Щедрин. А коли мог бы — видимо, весело б посмеялся. Он все понимал, послужив в ссылке чиновником для особых поручений и вице-губернатором. А все поняв, жил один, ориентировался на себя, играл в карты и писал пророческие вещи, особенно ответ рецензенту по поводу истории города Глупова.

…Один мой приятель рассказывал, что он попал случайно, выходя из ГУМа, на Красную площадь в день похорон Дыгая.

Чтобы не было давки, площадь оцепили солдаты. И он попал совершенно случайно в колонну одного из предприятий, которые пришли проститься с Дыгаем. Но так как он долго не был дома, он подошел к солдату и сказал: «Товарищ, мне нужно выйти по ряду соображений». Солдат ответил: «Нельзя». Они долго препирались. Солдат был неумолим. Тогда мой приятель — дирижер Свердловской филармонии — спросил его: «Ну хорошо, а если тебя припрет, тогда что?!» Солдат подумал и ответил: «Хоть в голенище, а ни с места!»

Вот это я понимаю — солдат!

* * *

22 октября 1963 года

Каждый раз, когда начинаешь работать в архивах, поражаешься двум вещам.

Во-первых, несметному богатству образов, языковых характеристик, ситуаций, с одной стороны, и с другой — поведению архивариусов.

К сожалению, это люди удивительно скучные. Они сидят на материале, годами готовят маленькую публикацию, которая носит в общем-то служебный характер. Эти люди не только не

помогают тем, которые приходят к ним в архив, но — наоборот даже ставят палки в колеса.

Хотя мне нужно здесь оговориться, что пишу эти злые строки лишь после знакомства с Хабаровским государственным архивом. Пожалуй, даже неправильно я написал перед этим обо всех работниках архивных. Но бывает так, что один негодяй в полку вызывает отношение к целому полку.

Дама, командующая Хабаровским государственным архивом, раньше много лет работала в НКВД. Поэтому всякий человек, приходящий к ней, рассматривается ею как потенциальный агент никарагуанской разведки. Каким унизительным расспросам подвергала меня эта дама! Как она от меня требовала точного ответа: какой аспект вопросов может меня интересовать, какие люди меня интересуют из времен партизанской войны 1921–1922 гг.? И все мои жалкие потуги объяснить ей, что литература это — не кандидатская диссертация, не пользовались никаким успехом.

Когда я попросил ее дать из закрытого хранения целый ряд материалов 43-летней давности, она отказалась это сделать, ссылаясь на их секретность, а секретны там были, как выяснилось, фамилии белогвардейцев, лидеров антисоветского движения в Приморье.

Когда я пошел с письмом «Огонька» в Хабаровский КГБ и попросил их о помощи, они сразу же отправили к ней сотрудника. Сотрудник попросил начальницу архива разрешить мне ознакомиться с материалами.

Скрипя, исполненная недоброжелательности, она дала мне эти архивы.

Я листал их, ничего нового там, в общем-то, не находил, а после того как кончил работать над ними и выписывать их в тетрадочку, у меня отобрали тетрадочку и сказали, что пришлют ее после тщательного изучения ко мне в «Огонек», а — до сего времени не прислали…

Это так унизительно и неприятно, это так воскрешает времена любимого друга пожарников, что потом приходишь в себя не день, не два, а неделю. Это лишнее подтверждение тому, что чем мельче дело у человека, тем больше пузырится его честолюбие.

Как великолепно мне помогали в партийных архивах и Хабаровска, и Владивостока. Давали материалы «сверхсекретные», прекрасно понимая, что это необходимо для работы.

Это я веду к тому, что в архивах, которые являются мозгом прошлых эпох, должны сидеть высокоинтеллектуальные люди,

которые бы относились к тем документам, которые собрали в архивах, не как к клочкам бумаги, а как к великим достояниям интеллектуального мышления нашей эпохи.

Всеволод Никанорович Иванов — один из лидеров антисоветского движения на Дальнем Востоке с 1920 по 1930 г. — рассказывал мне в Хабаровске, что четыре крупнейших американских университета прислали во Владивосток в 1931 году, когда там совершился белый переворот, своих представителей с неограниченным счетом. А надо сказать, что там, во Владивостоке, тогда жили лучшие семьи русской интеллигенции: Жуковские, Вяземские, Карамзины и т. д., и у этих людей за бесценок скупались письма, архивы, альбомы, портреты, партитуры, рукописи, то есть скупались бесценнейшие вещи.

Иванов мне с горечью огромной рассказывал о том, как те же американцы увидят в университете или в институте где-нибудь мало-мальски талантливого аспиранта или студента старших курсов, не говоря уже о профессуре, и платили огромные деньги, чтобы только такого человека увезти, перекинуть к себе, ибо нет и никогда не будет правильной оценки стоимости человеческого мозга. Попробуйте оцените мозг Эйнштейна или Хачатуряна, или Циолковского! И когда наше крохоборство видишь воочию, просто иногда сердцу больно. Это понимали люди — передовые умы революции уже в первые годы Гражданской войны, хотя это их понимание считалось разложением и — в некотором роде — утерей классового чутья.

Я находил материалы, в которых видно, как Постышев изыскивал самые махонькие крохи, чтобы подкормить учительство, медицинских работников. Он находил эту возможность, работая в прифронтовом городе Хабаровске, что вызывало крайнюю степень раздражительности в столице ДВР — Чите.

Вообще в архивах сталкиваешься со страшными вещами и в то же время грандиозными по своей значимости.

К примеру, во Владивостокском архиве я читал воспоминания бывшего премьер-министра Дальневосточной республики, старого большевика Никифорова. Этот человек писал в 1952 г.: «Когда я приехал в Хабаровск и увидел наши разбитые части, когда я увидел отступающие войска, я еще не мог знать тогда, что все это организовано врагом народа Постышевым».

А в Хабаровском госархиве лежит фото. На фото — три человека. Среди них — бывший начальник Госполитохраны Дальнего Востока Иванов. Иванов перечеркнут крестиком чернильным и на оборотной стороне фото сделана надпись рукой

Губельмана, тоже старого большевика, брата Емельяна Ярославского, который был членом Дальбюро ЦК: «Тов. Иванов — враг народа. Необходимо его с фото убрать».

Вот — капля, в которой отражается мир.

Губельман писал это в 1938 году. Он работал 20 лет с Ивановым, он знал его как честного человека и он пишет: «товарищ Иванов — враг народа»!

И сейчас у этих старых большевиков, руководивших дальневосточными событиями, полнейший маразм, кроме, конечно, чистого и светлого Ф. Н. Петрова.

А когда с Никифоровым говоришь о Губельмане, он удивляется: «Да вы разве не знаете, что он делает мацу, замешивая на крови русских детей! Это же сатрап, бериевец и палач!»

А Губельман о Никифорове примерно так сказал: «Ну, это же старый японский шпион, грабитель: убил в почте кассира и похитил деньги. Всем известный негодяй и преступник!»

И просто диву даешься, как же могут люди так ронять себя. Я о них писать — не смогу. И писать я буду о людях, которые погибли в 37 году, потому что о живущих сейчас дальневосточниках писать невозможно. Они все в такой страшной склоке, они так льют друг на друга гадости, что кажется, будто они задались целью — все вместе — скомпрометировать то дело, которому они служили.

Писать я буду о погибших в 37 году Пшеницыне, Сяинкине, Никитенко. Это чистые люди, не замазанные склокой.

А вот как прекрасна народная речь. В Хабаровском архиве я нашел воспоминания старых партизан. И один из старых партизан коряво, неграмотно, на желтой бумаге, царапая пером, писал: «Убегали мы через сопки от белых. Лупили нас сильно. Был я пораненный, и тащил меня мой товарищ на себе. А грязь была на сопках такая мягкая, что ляжешь в нее как в перину. А ночью, если встать не сможешь, — схватит грязь морозом, и глаза от холода у тебя полопаются. И так мне было тяжело, что в себя вдых делать мог, а выдоха из себя делать у меня никак не получалося. И плакал я, потому что смерти в глаза глядел. А мой товарищ, который тащил меня на себе, чтобы успокоить, говорил: „Слышишь, собаки лают“. А в тайге, если собаку услыхал, значится жилье рядом. А я никаких собак не слыхал, кроме звонов в собственных ушах. Вот так мы тогда и жили»…

По-моему, никто так точно не мог передать физического ощущения раненого человека, затерянного в сопках, как через образ: «В себя вдых делать мог, а из себя — сил не хватало».

Несколько дней назад меня вызывали Фурцева и ее заместитель по театрам Владыкин Григорий Иванович. Шел разговор о том, как я готовлюсь к 50-летию советской власти, и говорили о том, что Министерство культуры объявит конкурс на лучшее драматическое произведение, посвященное 50-летию советской власти. И было видно, и Григорий Иванович Владыкин и сотрудники Управления театра, которые присутствовали на беседе, всячески звали к тому, чтобы произведения писались о молодом герое, о сегодняшнем герое.

Это, конечно, верно, но нельзя быть Иваном, не помнящим родства. По-моему, нам следует ставить фильмы и пьесы и писать романы о мировой революционности, начиная с Христа, через Бруно, Галилея, Кромвеля, Робеспьера, Халтурина, Кибальчича, буров, сербов, турок и болгар, через Кемаля Ататюрка к нашим революционерам времен Гражданской войны.

И если бы сейчас, накануне 50-летия, по-настоящему покопаться в архиве! Есть в каждом областном архиве поразительные по своей трагичности и в то же время оптимистичности фонды ВИКов, где записаны прошения крестьянских ходоков, жалобы и дарственные Красной гвардии. Покопавшись в архивах революции и первых лет советской власти, можно было бы сделать поразительные произведения, которые бы вошли в золотой фонд мировой литературы.

Мы не имеем права давать на откуп Западу революцию. Мы не можем, не имеем права давать на откуп старым писателям Гражданскую войну. Аспект видения сегодняшнего человека совершенно иной, и я бы не сказал, что он менее интересный, чем аспект видения 70-летнего человека, который воочию видел что-то. Память — коварная старуха. На одной памяти и на одном том, что когда-то это видел, — не уедешь. Алексей Толстой не видел Петра I, но он умел работать в архивах и любил в них работать.

Этой осенью, когда я сидел и работал в Гаграх, как-то раз мы пошли со Степой Ситоряном, Женей и Катюшей в открытый театр послушать концерт московского эстрадного коллектива «Юность». Это было ужасное, утомительное и унизительное зрелище. Вел концерт развязный конферансье по фамилии Саратовский.

Мы сидели во втором ряду, а перед нами, в первом ряду, в великолепнейшем модном костюме с разрезами сидел гладко выбритый, ухоженный, красивый маршал Жуков. Сидел он со своей женой и маленькой девочкой — то ли дочкой, то ли внучкой. Сидел он в окружении людей, удивительно напоминавших мне нэпманов (хоть я их воочию не видел, но по архивам представляю себе довольно ясно). Все они были одеты как истые европейцы, но только все дело портило, когда они

улыбались: у всех у них было по 32 вставных золотых зуба. По-видимому, это считается наиболее верным помещением капитала в наши дни.

И старик еврей, который сидел рядом с женой Жукова, спросил ее: «Скажите, а генерал-полковник Кайзер — еврей?»

Жена повернулась к Жукову, который в это время, замерев, смотрел сценку из армейской жизни — лицо его было радостное, глаза под очками добрые, и спросила его: «Скажи, пожалуйста, Гриша, ты знаешь Кайзера?». — «Да». «Кто он?» — «Командующий Дальневосточным военным округом». «А он — еврей?» — спросила женщина. Маршал ответил ей коротко и резко: «Ну!»

В это время сценка из армейской жизни кончилась, и Жуков с азартом мальчишки стал аплодировать.

По всему летнему театру шел шорох, и все старались на него как-нибудь поближе посмотреть. А старый нэпман в белом джемпере сказал, ни к кому не обращаясь, но желая, чтобы его услышали мы, сидевшие сзади и обменивавшиеся всякого рода соображениями: «Пэр Англии. У него там есть поместье и место в парламенте».

Потом мы это выяснили, и это действительно так. Жуков в 1945 году был награжден орденом Бани — высшим королевским орденом Англии, а человек, награжденный этим орденом, автоматически становится членом палаты лордов; там есть его место, которое всегда пустует, ему выделили участок земли, который называется «Графство Жуков».

Очень забавную вещь рассказывали мне о Булганине. Он живет сейчас в двухкомнатной квартире на Пироговке, часто «соображает на двоих» в магазине и покупает абсолютно все газеты, которые выходят в Москве. На этих газетах он подчеркивает целые абзацы красным и синим карандашом и ставит свои замечания: «Удивлен!», «Немедленно разобраться», «Принять меры», «Какое безобразие!» и т. д., то есть старикашка очень хочет поиграть во власть. Забавное это дело.

То же самое мне рассказывали про Кагановича. Когда он был выведен из президиума, его направили в какой-то строительный трест. Он приехал туда, собрал партийный актив и выступил с огромной речью, в которой призывал наладить производство, взять темпы и покончить с антипартийной группой Молотова, Кагановича и Маленкова.

Очень часто я вспоминаю Хельсинки. Кажется, не записана еще история моего знакомства с карикатуристом Бидструпом и бородатым профессором, итальянцем Петручио, который выводил детей в колбе.

Потом мне хотелось бы записать о Всеволоде Никаноровиче Иванове подробнее, о встрече с Федором Николаевичем Петровым и кое-какие кусочки по Блюхеру и Постышеву.

* * *

1963 год

…Твардовский рассказывал, что до зрелости уже, особенно летом, ему неудобно ходить в теплый сортир. Это с деревни.

«Отец в город переехал, приказчиком. Привезли и поселили нас в доме, не свободном от постоя, — там в нашей комнате еще четверо солдат жило. Им ведро горохового супа принесли, они на ночь его махнули, и очень запах был.

А я мучался, не знал куда сходить, — в деревне-то до седьмого венца бегали, за плетень, а тут кругом народ. Мужики, столяры во дворе работали, спросили меня, когда я застенчиво рыскал по двору, — мол, по нужде? А я смущался очень, сказал, что нет, убежал домой. А потом на лавочке сидел — сидел и обделался.

Отец у меня умным был человеком, между прочим с вечера всегда после праздника оставлял себе на донышке поправиться. Поправился — и больше ничего в рот не брал, работал, графа Фортенбрасса читал, но деревня есть деревня.

У нас, если кто поедет по селу, так вся деревня в окна: Кто поехал? К кому? Зачем? А-а, у него тетка хворает? Болотами ли поехал или в объезд — на целый день событие.

Поэтому и отца вдруг прорвет, и он начинает рассказывать, веря в это, — как его вызвали ночью пристяжную подковать, он начал подковывать, а это не пристяжная, а утопшая с пьяни поповна. А извозчик мне после в фартук насыпал горсть (поначалу-то, когда попадью увидал в обличье лошади, у меня все внутри ЗАНЫЛО, но работу начал) монет. Уехал, я глянь в фартук-то, а там — конские кругляшки».

Много рассказывал про Коласа и Купалу. Якуб Колос — католик, погиб, упав с 8-го этажа гостиницы «Москва» в конце войны. Полез пощекотать официантку, она его подносом, он через перила-то и ахнул.

Я выдвинул предположение, что это его не официантка, а Л.П.[116] махнул — националиста и католика. Твардовский сказал: «Меня от этого предположения мурашки пробрали».

Жил Колас на госдаче под Минском. Посеял ржицы. К столу, на котором было все, ставил тем не менее свои ржаные

лепешечки.

Рассказывал о поэтах: Маршак был временами невозможен. Требовал, чтобы печатали так: «Маршак. Из поэзии Бернса». Писал свою автобиографию. «Родился в бедной семье». Я его долго упрашивал, чтобы он написал «в бедной еврейской семье». Написал, что на экзамене в 4-м классе так прочел Пушкина, что директор гимназии его на колени посадил. «Напишите, что были маленького роста». — «Зачем? Я же потом подрос». «Но тогда-то маленький вы были, а меня в четвертом классе поди на колени-то усади»…

Тоже не хотел писать. Попробуй ему скажи, что стихи не подходят. Это было невозможно. В этом смысле Антокольский был великолепный человек. С полуслова все понимает и стихи забирает — весело так, с улыбкой, совсем не обижается.

Межиров пишет стихи из любви к поэзии, к стиху.

Приходил ко мне поэт Кондырев. Представился — Лев Николаевич. Попросил подписать петицию в «Известия» против фельетона, в котором продернули его чудовищные стихи. Я не подписал, газетку ему процитировал. «Не могу, — говорю, — Лев Николаевич».

…Книжка матери Василия Аксенова ужасна тем, что там смакуется, как было хорошо до того, как взяли. Звонит муж (казанский воевода), и в Москве лучшие места бронируются. Значит, когда нам было хорошо, Россия — черт с ней?

* * *

1963 год

…Пил в кафе с Гороховым. Он долго рассказывал о своих замыслах, о ссорах с Симоновым и Твардовским, которые ругали якобы его книгу о Робсоне. Глубоко несчастный человек. Говорил о том, что, когда его отца через пять месяцев после ареста в 36-м году отпустили, он собрал у себя людей — среди которых был отец М. Плисецкой.

А с ним из тюрьмы вышел какой-то тип из Минска, и в НКВД Горохова попросили приютить его у себя. Он положил его спать в кабинете, а сам сказал друзьям: «Все, конец. Теперь с нами расправятся, т. к. нужны не ленинские, а сталинские кадры».

Плисецкий распахнул дверь, и тот тип вывалился в столовую

в нижнем белье. После этого всех тех, кто был у Горохова, забрали — постепенно, по одному.

* * *

1963 год

…XX век — век греха. Люди полны внутреннего страха. Это — общее — поэтому врачи выпускают триосазин — средство для «снятия внутреннего страха». Часов на шесть снимает, а потом с новой силой душит. Так за XX веков нагрешили предки, что мы — вроде бы по всему — вынуждены будем в конце концов исполнить роль жертвы, расплатиться за все, что было, за то, что Бога не слушали и грешили, грешили — дошли до ручки. Боимся. Все время и очень!

Символ бессмертия — людская память. Чем больше художник, тем больше он думает о смерти и боится ее. Желает стать бессмертным — пишет человека изнутри, вне политики и кукуруз, а как существо, первый крик которого после рождения можно расценивать как плач перед смертью.

Смерть разумна и является процессом обычного жизнеобмена. Действительно: о покойнике плачут (отцы о детях, дети об отцах) — всего в сто раз больше, чем об ушибленной ноге. После этого продолжительного (неделя) плача покойный начинает переходить в сладкую память, вспоминают со смехом его шутки, с умилением — добрые дела.

Культ личности у нас начинается тогда, когда первый секретарь отрывается от текста написанного для него доклада и начинает шутить…

Если сегодня соврешь ты мне,
То я завтра солгу тебе,
А послезавтра солжет нам он,
И после него солгут они,
И станет тогда ложь — для всех.

* * *

1963 год

К ТЕМЕ «КОКТЕБЕЛЬ»

Каждый раз, когда я часов в семь приходил на пляж выкупаться перед тем, как снова сесть работать, там обязательно сидел седой мужчина, беззубый, с удивительными, какими-то даже болезненно добрыми глазами. Глаза у него были черные, такие черные, что иногда казались подернутыми желтизной.

Это был детский поэт Овсей Дриз. По-русски он говорил плохо. Изумительно читал по-еврейски свои стихи. А когда однажды на литературном вечере его переводчица прочла его стихи по-русски, причем стихи очень хорошо переведенные, Овсей Дриз покраснел, на глазах выступили слезы, разволновался ужасно и стал от этого еще более трогательным и милым мне.

Как-то раз, когда мы сидели с ним на берегу, он мне сказал: «Нас было много детей у мамы. И я помню, как мама нам говорила: „Надо пойти к Абрамсону, — а это был в нашем селе богатей — и попросить у него наперсток муки“. Она все мерила на наперсток. А я вот сижу и думаю: на что же я меряю? Море — на наперсток или море — на море?»

Он вздохнул, посмотрел в сверкающую, казавшуюся холодной даль моря, грустно улыбнулся и сказал: «Как это странно: мама жила очень плохо, я живу хорошо, хотя я знал много ужасов в жизни, а сын-то мой будет жить отлично. Может быть, отсюда в людях идет зависть: в отце — к сыну, в дедушке — к внуку…»

Было ему необыкновенно приятно, когда пришла «Литературная газета», в которой старый детский писатель, автор «Книги о себе» Л. Пантелеев очень нежно отозвался о Дризе как о мастере своеобычном и — что обязательно необходимо для детской литературы — очень чистом человеке.

Оказалось, что Дриз — сексот, грабил людей. У меня, кстати, одолжил 10 рублей, не вернул и выпил всю водку, все заблевал, а рядом в комнате лежала тяжелобольная Дуня и шло следствие.

* * *

18 апреля 1964 года

В ВТО мечется Женя Евтушенко. Читает стихи с рефреном: «Паноптикум, паноптикум!» Ужасно суетился, когда пришли актеры молодежного театра. Он встал со своего места и ходил посреди зала, чтобы его заметили.

* * *

1964 год

У Молотова на ужине — мы с ним были вдвоем, а за стеной в одной из комнат грохотал американский джаз.

Были 4 кусочка курицы, сыр, соленые огурцы, варенье, у него булочка для диабетиков, а у меня — 4 куска хлеба на тарелке.

Он пил из чашки в подстаканнике — подарок Светланы.

В кабинетике — очень маленьком — диван, 2 стула, — все в белых с заплатками чехлах, зеленый стол, на стене — барельеф Ленина коричневый из дерева. Стены — голубые с белым.

Он очень внимательно слушал, когда я ему рассказал, как в Китае на бортах машин, где нет его имени (завод им. Молотова) на ГАЗе надписи — «выведен ревизионистский дух», а там, где есть его имя, — нет никаких надписей. Дважды переспросил.

Рассказал, когда речь зашла о реакции на смерть Кеннеди, как консул в Нью-Йорке Киселев — «он, кажется, потом был у нас послом в Египте», говорил ему, что новость о смерти Рузвельта он услышал в поезде. Американцы прослушали последние известия и продолжали свой завтрак.

Обращается ко мне: «Товарищ Семенов».

Читал стихи Энцесбергера в Интерлите. Хвалит. Хваля Ромма, упрекает его в отсутствии показа классовой подоплеки фашизма.

— Эмоционально, конечно, хорошо.

— Это один путь, — говорю я, — эмоциональный, а публицисты и историки должны подтвердить наукой.

С этим Молотов согласился.

Говорил, что разведчики доносили о нервозности в немецком посольстве перед началом войны. «А как нам было выиграть хоть день, как не объявляя, что никаких приготовлений с германской стороны не ведется? Как иначе?».

* * *

13 октября 1964 года

…Ойстрах рассказывал Безродному, что он, как и Рихтер, часто на концертах «делает» рожи. В чем дело? Многие считают, что это — высшее выражение чувства, а Ойстрах дружески признался Игорю, что он гримасничает, когда ему становится скучно и хочется спать. Он гримасничаньем разгоняет тоску, скуку и сон.

В октябре на Николке небо среди сосен кажется свежеоцинкованными крышами деревенских изб.

Вчера, 12 октября, был у Евгения Симонова с Юлой и Левой. Там был старейший гитарист, цыган, друг Шаляпина, поступавший в Петербургскую консерваторию в 1904 году — Сергей Александрович Сорокин. Пел так, что мурашки ознобили. Потомок Фета — Шеншина — тот был женат на его бабке — цыганке. Рассказывал поразительные истории.

«Мы поедем в Самарканд» — история соперничества принца Ольденбургского и министра финансов Юхминцева, который ради цыганки Ольги устраивал гульбы: «По Неве шли четыре парома: в первом — цыгане, во втором — закуски, в третьем — сама Ольга, в четвертом — духовой оркестр. И проворовался на 500 000. Победоносцев еще нажал — и суд. Император написал: „Любишь кататься — люби и саночки возить — 20 лет каторги“.

Его друг поэт, проводив министра в каторгу, вернулся с вокзала в ресторан „Самарканд“ и сказал: „Чавелы, вот только что отправил в каторгу имярек“. Те — поражены, плакать… наивные люди, романтики, они ж про деньги ничего не понимают. И так спели в память — что слов нет!

Провожали Федора Ивановича. Ух дали! Он с собой увез скрипача — теперь мировая известность, Мирона Полякина. Мы с Поляким и Хейфицем вместе в консерваторию поступили, только у них родители евреи, они в люди вышли, а мой русский батюшка отодрал меня по заднице и дал в руки балалайку — благо, с Андреевым дружил.

Да, начали мы гулять, а потом ночью поехали к Горькому на Кронверкский. Там до утра наподдали.

Ф.И. и А.М. поспорили, сколько один их любимец-танцор протанцует русского. Ф.И. — 15 минут, а Горький — 12. Насыпали на стол соли, а танцор-то (Сорокин фамилию знает) вприсядку 21 минуту ухнул.

А.М. цыган любил, под песни так поддавал графинчиков — ой-ой. Ф.И. меня с собой звал, я не поехал, а он рукой с парохода машет и шепчет презрительно: „дурак, эх, дурачок!“ Он ведь не в эмиграцию уезжал, а на гастроли.

Зиновьев его допекал, раз даже заставил петь перед матросами под дождем с грузовика.

Пел я Рахманинову — тот сказал, что мои песни записать нельзя, нотная грамота не позволяет.

Танеев-то, композитор, все недоумевал, отчего Толстой цыган любит, кабатчина ведь, а Л.Н. взял его раз к цыганам, только тогда тот понял, отчего получился „Живой труп“.

А меня сейчас на костях записывают спекулянты, а мне десятку не у кого занять…»

…Ехали обратно, много милиции на мотоциклах. Юлка: «Наверное, вождь сегодня прилетает с юга».

А это было уже все. Шел президиум, на котором снимали Никиту.

Когда Никиту вызвали из Пицунды, он не хотел ехать на президиум. Вошел в кабинет, все в сборе. Спросил: «Ну что там у вас? Без меня не можете?» Встал Суслов и сказал: «Никита Сергеевич, мы единодушно решили снять тебя с твоих постов». Никита: «Это что же за кагановические штучки? Я сейчас к народу обращусь по радио». Брежнев: «Не обратишься, Никита Сергеевич, меры приняты». И тут он понял.

В. И. Лебедев говорил, что уже за полгода до того, как Хрущева сняли, было понятно, что снимут: по тому, как переглядывались на заседаниях, обменивались репликами, а он ничего не хотел видеть.

На XXII съезде Лебедев долго уговаривал Никиту Сергеевича произнести вписанную им фразу про то, чтоб меньше было криков «Н.С. Ура!» Никита долго не хотел этого говорить. Лебедев уговорил — воздастся сторицей. А мы-то брали это как чистую монету и радовались…

Рассказывают, что всю ночь после президиума Л. И. Брежнев ездил по городу в такси, а ночь провел у своего старого фронтового товарища. Р. Малиновский — выдвиженец и друг Н.С. — сказал: «Как партия, так и я» — и проголосовал против Н.С.

Раньше, когда Н.С. шел гулять — ни на кого не глядел и чуть не бегал по дорожкам. А после этого события стал говорить Юлке куда идет и когда будет. То и дело поднимается к себе на второй этаж и там сидит в одиночестве.

Про Аджубея. Он был в гостях у Трайкова, редактора болгарской газеты, сына их президента. Жена Трайкова вышла на кухню. Аджубей за ней, в коридоре зажал ее. Она заорала, Трайков его вышвырнул.

…Слесарь Васильев из Питера. Рационализатор. После блокады — три инфаркта. Живет по йогам. Когда еврей — начальник лаборатории кричит на него, начинает Васильев «представлять себе небо или травы, и начальник маленьким-маленьким делается. Откричит — я перестаю думать о небе, а его и нет. Не знаю только, как быть — я в кандидаты КПСС вступил, а йогу исповедую…». Учит французский язык — для этого

вмонтировал в подушку передатчик от магнитофона и включает урок французского, когда спит. Два раза в день делает музыкальную паузу. Ложится и слушает классику, думая при этом о небе, а потом снова — изобретает.

* * *

11 декабря 1964 года

Таксеры откликаются на события: Жили-были три бандита: Гитлер, Сталин и Никита, Гитлер вешал, Сталин бил, Никитка голодом морил. Я пытался его пристыдить, звал к объективности, а шеф смеялся и хитро мне подмигивал.

…Шофер Вас. Фед. Мельниченко рассказывал, как один «пиджак» сел в такси и попросил отвезти его на Ленинградский вокзал. А сел он у Ярославского. Такси новенькое, с откидным сиденьем, с телефоном. Таксер говорит: «За пятерку отвезу с космической скоростью. У меня новое такси, космическое. Привязывайся как следует ремнями». Снял трубку телефона, попросил позволения на вылет. «Пиджак» недоумевает. «Если не довезу с космической скоростью — бесплатно провезу». — «Ладно». Снова снял трубку, говорит: «Разрешите вылет». Разрешили, говорит. Как дал газу на первой скорости, «пиджак» упал от неожиданности на откидное сиденье и через мгновенье таксер уже затормозил. «Пиджак» пятерку уплатил.

Малиновский на параде здоровается с частями, все отвечают: «Здравь желаем!», а чекисты на его приветствие — «Здравствуйте, здравствуйте…»

В Москве пошли непонятные анекдоты. Непонятный анекдот к примеру такой. Мужчина идет по улице. Видит — в магазине очередь. Спрашивает: «Что дают?» Ему отвечают: «Кузли-музли». Он три часа стоит в очереди. Подходит к продавцу наконец и просит: «Дайте мне два кило кузли-музли». Продавец отвечает: «Кузли кончились, остались одни музли». Тогда он говорит: «Ну что ж, давайте два кило музлей». Он пришел домой счастливый и сказал жене: «Машенька, ты знаешь, я купил два кило музлей. Вот, посмотри». Она открыла сверток и увидела там два кило кузлей.

* * *

Осень 1964 года

В. Суходрев рассказывал мне, как в самолете, который шел между Нью-Йорком и Филадельфией с Ф. Р. Козловым и американскими журналистами, те попросили дать пресс-конференцию. Он дал. Гарри Шварц конечно сразу же вопрос об антисемитизме.

— У нас никакого антисемитизма, — ответил Козлов, — вот я недавно был в Киеве, гулял, побывал на пляжах — там всюду много евреев.

— А как вы их узнавали? — спросил Шварц. Тут даже Козлов споткнулся.

У. Черчилль о Хрущеве: «Его главная ошибка заключалась в том, что он хотел перепрыгнуть через пропасть в два приема».

Фурцеву задолбили музыканты американского оркестра опять-таки по поводу наших еврейцев. Та ответила: «Ну что вы, какие притеснения? Это глупости. У нас в оркестре Большого театра 49 и 56 сотых процента евреев. А вот интересно, сколько у вас в оркестре евреев?» — «Не знаем», — ответили те.

…Лучше всех погибал Кейтель. Когда его возвели на эшафот, им всем и ему тоже задавали последний вопрос: хочет ли он что-нибудь сказать? Кейтель сказал: «На полях сражений лежит 3 миллиона моих сыновей. Я иду к ним!»

Хуже всех вел себя Розенберг. Он был в полубессознательном состоянии, и его три раза спрашивали, прежде чем он смог ответить на вопрос: «Как ваше имя?». От последнего слова отказался, слабо махнув рукой.

Юлиус Штрейхер, «антисемит-1», кричал и ругался. Он крикнул: «Сегодня еврейский пурим! Все равно вас всех большевики вздернут! Адель, жена моя!»

Его три раза спрашивали, как его фамилия, и он три раза отказывался себя назвать, крича: «Вы знаете, как меня зовут!»

Летом у Юлки Тимошенко сказал трагичный тост:

— По моей вине много народу лежит в земле, но я пью за них, пусть они не винят меня, я был пешкой в чужих руках.

К. М. Симонов: «Сейчас много референты докладывают о литературе, а когда я к Сталину приходил, у него всегда слева на столе журналы лежали… — смееется. — Правда, их тогда было всего четыре на всю страну: „Знамя“, „Новый мир“, „Октябрь“ и „Звезда“».

* * *

2 января 1965 года

Единственно кардинально-важный порок диктатуры заключается в том, что диктатору (диктатуре) приходится отвечать, отдуваться, оправдывать и наказывать действия, глупые или порочные, многих десятков миллионов тех, кто ей служит. Диктатура — удел государств с высоким уровнем интеллектуализма (средним, конечно, уровнем) и прекрасно налаженным производством. В других случаях — диктатура будет пожирать самое себя в поисках форм правления и организации производств.

Президентом государства может быть человек счастливой судьбы, которому есть что терять и есть что вспоминать — радостное, а не горькое и который уверен, что, перестань он быть президентом, — он снова вернется к профессии инженера и она его прокормит с лихвой.

Это был ужас: в приемной МК пьяный психопат, которого обсчитали на работе, звонил в общий отдел МК и, посинев от ярости, орал:

— Фашисты, я все про вас в китайское посольство отнесу, все ваши бюрократические отписки!

Милиционер, наблюдавший эту сцену, демонстративно отвернулся в другую сторону. Наша беда и наша вина — мы не говорим нашим рабочим правду о положении дел в Китае, о том голоде, который царит среди их рабочих, а китайцы жонглируют терминами.

И еще — ужасно, конечно, когда вопросами обсчета рабочего на предприятии должен заниматься МК. Неужели не хватило десятков инстанций, чтобы разобраться в деле, если нарушение на работе действительно было.

Опять-таки, МК пришлось расхлебывать несовершенство всего аппарата.

…Диктатура пролетариата — не до конца точное название. Диктатор это управитель, который должен знать организацию производства, станкостроение, взаимосвязь сельского хозяйства и тяжелой промышленности, финансовую политику, внешнюю торговлю, дипломатию, банковские операции и т. д. и т. п.

Пролетарий, пусть даже самый талантливый, умел только одно: работать за своим, конкретным станком. Говорить, что научиться управлять ему, пролетарию, государством — это раз плюнуть, значит, скатываться на позиции шовинизма наоборот, значит, утверждать исключительность какой-то одной группы жителей государства над другой. А ведь люди рождены равными и свободными — против этого не попрешь никуда.

…В России не любят счастливых. Они раздражают большинство.

…Жизнь — это лестница, никто не знает, где она начинается, где кончается. Люди ждут на ступеньках…

* * *

1967 год

Почему молодая русская критика так набрасывается на литературу, которая проходит сквозь строй цензуры и редактуры? Почему она набрасывается на сильных и благополучных (по внешнему прочтению) героев? Оттого что за этим — писатель — не страдалец. А они мечтают об идоле, которому можно было бы поклоняться, они мечтают о распятии. А. Солженицын для них не то, т. к. сидел он давно, а после его Хрущев хвалил. Эренбург — лауреат, а у Паустовского — дача. А им, юным искателям русских идолов для нового поклонения, нужно рубище, запой и общественные истерики.

…(Об Андроне Михалкове). Ватный пророк с отвислой губой. Ездит с дачи на студию в персональном синем автобусе. Все знает. Превзошел Гегеля: всему свое место нашел. Не от познания, а от свойства характера…

О плохих книгах. Дилемма — запрещать или все же печатать?

Диоген хвалил плохого арфиста. «Великий, зачем Вы говорите неправду?» — «Затем, что, будучи таким плохим музыкантом, он все же не стал вором».

Об отношении к молодым. Требовательность. Но не сюсюканье. А требуют только с талантливых. Молодого Моцарта спросил музыкант:

— Как писать симфонию?

— Начните с баллады, вы же молоды.

— Но вам было девять лет, когда вы написали симфонию.

— Но ведь я не спрашивал, как это делать…

Чтобы отомстить своим врагам, древние египтяне рисовали мелом на подметках сандалий их лица и так ходили, попирая их постоянно. Нам такого рода литература не нужна.

Несем мы Берг
Который век
Опеку немцев
Не по силам,
Я слишком русский человек
Чтоб сделаться славянофилом.

* * *

1968 год

…Мой пастор придет и стукнет на того, кого к нему поселит Исаев. После этого Исаев затребует его как агента гестапо и отправит в Швейцарию для переговоров о мире и всучит ему шифровку для наших в последний момент[117].

…Английский астрофизик Джеймс Джинс назвал жизнь плесенью, образовавшейся на поверхности небесных тел.

* * *

Декабрь 1967 — февраль 1968 гг.
Вьетнам[118]

ПАРТИЗАНСКИЙ ДНЕВНИК

Когда теплоход «Иман» уходил из Владивостока, и палуба, и мостик, металлические канаты и леера — все было покрыто сахарным голубым льдом. Во Владивостоке стоял неожиданный по этому времени сухой мороз, дула колючая поземка. И

отправлялись мы в Хайфон из Владивостока сквозь игольчатое позванивание ледяной пурги о холодную сталь бортов.

Я много плавал на кораблях — и в северных морях, и в Атлантике, но никогда не видел, чтобы пограничники и таможенная служба провожали бы моряков с такой — иного определения и не подберешь — нежностью. Впрочем, это и понятно: как можно иначе провожать людей во Вьетнам?

Мы сидели с пограничниками в каюте у капитана, где-то пел Монтан (видимо, старпом крутил магнитофон), а из Москвы Левитан читал последние известия: по-прежнему бомбят и Ханой, и Хайфон, по-прежнему во Вьетнаме — повсюду фронт…

Выписка из судового журнала:

> «В 15 милях от нулевого берега, возле устья Красной реки, в нейтральных водах был встречен двумя кораблями военно-морских сил США — фрегатом «Кунц» и эсминцем «Роджерс ДД-876», которые пересекли курс «Имана». В это же время на траверзе находилась американская подводная лодка в позиционном положении, пикировали самолеты типа «Трекер» с двумя ракетами под крыльями, на высоте пятьдесятсто метров прошли два «Фантома-104» и, пролетая под носом «Имана», форсировали работу своих двигателей. С кораблей ВМС США взлетели два вертолета и барражировали в непосредственной близости от судна. На приказы и сигналы кораблей ВМС США не отвечал и следовал своим курсом».

И уже третий раз, очень низко, чуть не цепляясь своим белым акульим брюхом за мачты «Имана», нас облетает четырехмоторный «Орион ЛК-153446». Он как прицепился к нам возле острова Хайнань, так и преследовал. Улетит-прилетит, улетит-прилетит. И пока мы стояли у нулевого буя, на границе территориальных вод ДРВ — возле Хайфона, то и дело американские истребители-бомбардировщики пикировали на наш корабль, «форсируя работу своих двигателей» так, что казалось, все стекла в каютах вот-вот выскочат. Это уже фронт, совсем рядом — берега ДРВ.

…Ночью затарахтела моторочка, и к нам на корабль поднялись три вьетнамца: два улыбчивых пограничника и лоцман — старый моряк с «крабом» на капитанской кепи.

Лейтенант пограничной службы Нгуен Ань Лао пожал мне руку и сказал:

— Ты — большой-большой, я маленький-маленький. Давай

померяемся.

Мы с ним померялись руками. Он долго смеялся, а потом очень серьезно сказал:

— Это такой обычай: если два человека померяли свои руки и ноги, и плечи, значит, они стали настоящими друзьями.

— Здравствуй, друг, — сказал я.

— Тяо донг ти, — ответил Нгуен, — это то же самое, только по-вьетнамски.

Я смотрел на этого маленького, уставшего, улыбающегося славного человека в форме цвета хаки, и перед моими глазами вставали сотни фото: солдаты в такой же форме застыли у ракет, возле орудий. Это солдаты того фронта, который стал позором Америки.

Чем ближе к рейду, тем чаще летают американцы, грохочут зенитные батареи. Все ближе берег. Он словно просматривается сквозь тонкую папиросную бумагу — листья огромных пальм, красные паруса джонок, спрятанных возле берега, обгоревшие остовы маленьких коттеджей, безлюдье и тишина, особенно ощутимая после грохота батарей. Я жадно вглядывался в берег этой страны, ставшей символом мужества и героизма…

Ночной Хайфон был настороженным. На дощатых причалах сидели грузчики с пиалами и ели рис. Было время ночного перерыва.

Остро пахло рыбой, мазутом, мокрыми канатами, ворочались громадные краны. Быстро по дощатым причалкам катились кары, вывозя с кораблей станки, машины, мешки с мукой, цементом. Неподалеку от громадины советского торгового корабля «Октябрьская революция» стоял закамуфлированный газик. Из него вылез долговязый мужчина в очках, пошел ко мне навстречу, пожал руку, сказал:

— Здравствуйте, Васильев. Алексей Васильев — корреспондент «Правды» в ДРВ.

Мы ехали по городу, который был по внешнему своему ночному безлюдному облику необыкновенно мирным. Красивые двух-трех-этажные коттеджи, утопающие в зелени пальм, геометрически точно рассеченные улицы. Мирный свет уличных фонарей, в ночной тишине журчанье невидимой реки. Обычная картина ночного города. Но, присмотревшись, замечаешь странную вещь. Вдоль всех тротуаров чернеют отверстия. Создается впечатление, будто в городе ведутся гигантские работы подземных коммуникаций. На самом деле это индивидуальные бомбоубежища полтора-два метра глубиной. Когда начинается бомбежка, прыгаешь в этот бетонный колодец и закрываешься крышкой.

Если отъехать метров четыреста — пятьсот от центральных улиц Хайфона, то вас сразу обступят развалины. Иллюзия мира на центральных улицах сменилась картинами разрушительной войны.

Я позже привык к виду развалин во Вьетнаме: там почти не осталось целых домов, за исключением отдельных районов Ханоя и Хайфона. Но первое впечатление было сильным, острым, на всю жизнь: я увидел не развалины дотов или военных заводов. Стояли сожженные коттеджи — беззащитные красивые домики.

Кому они мешали?

От Хайфона до Ханоя всего сто с небольшим километров. Раньше сюда доезжали за полтора-два часа, а теперь — как повезет. Машины здесь такие, какие были и у нас на фронте: с узенькими подслеповатыми щелочками вместо ярких фар.

Вьетнамские шоферы делают светомаскировку из консервных банок. Они прорезают дырочки в консервной банке, и свет хорошо ложится вниз, на дорогу, и сверху почти не виден.

Мы обогнали вереницу грузовиков, проехали понтонный мост, попали в затор, но благодаря лихости нашего шофера чудом выбрались из потока машин и направились в Ханой по пустующему шоссе, изрытому воронками бомб.

…В три часа ночи мы подъезжали к Ханою. Все больше и больше людей попадалось навстречу. Девушки в красивых соломенных шляпах сидели на маленьких сиденьицах, укрепленных на багажниках велосипедов. Девушек везли юноши в пробковых зеленых шлемах, в военной форме.

Рассветало.

Мы пронеслись по очень красивым улицам этого большого старинного города и подъехали к зданию гостиницы «Воссоединение».

Леша Васильев сказал:

— В этой гостинице, в те годы она называлась «Метрополь», останавливался Чарли Чаплин по пути в Японию. В ней Грэм Грин писал своего «Тихого американца».

Дверь отворил сонный молодой портье. Он провел меня в номер и сказал:

— Вода — я имею в виду теплую воду — будет в пять часов утра. Спокойной ночи. Пожалуйста, в случае тревоги не заставляйте себя будить дважды. Вход в убежище обозначен стрелками. Убежище находится во дворе нашего отеля. Заранее поздравляю вас с приближением праздника Рождества…

Он приготовил кровать — огромную мирную кровать с ослепительными простынями. Устроил полог против москитов из белой очень мягкой марли и сказал:

— Спокойной ночи.

…Вместе с переводчиком советского посольства в ДРВ Валентином Свиридовым готовимся к поездке к партизанам Лаоса. Закупили консервов, взяли у доктора лекарства, перевязочные материалы и разбежались по домам упаковывать нехитрый багаж.

Я сел к столу и, памятуя обещание, написал коротенький репортаж. Оставил его вместе с дневниками в корпункте «Правды» (обидно, если в дороге разбомбят), потом в Москве передам ребятам.

Выехали из Ханоя ночью, в начале первого. В пять часов утра остановились на ночлег в маленькой деревушке. Километрах в пятидесяти от нее над нами «повис» ночной разведчик — винтовой «АД-6». Пришлось выпрыгнуть из машины и лезть в джунгли. Слава богу, все это было на горной дороге, а здесь бомбить глупо. Летчики это понимают: они подкарауливают машину, когда она выйдет из горных ущелий на равнину. Там и бомбят.

Мы долго слушали, как нудно висел над нами «АД-6»: видимо, заметил наши щелочки фар, а может быть, поймал на своем локаторе движущуюся цель. Когда он улетел, мы вернулись в машину.

Спали в маленьком домике на полу, на циновках. Утром проснулись от рева самолетов. Эту маленькую горную деревню бомбили недели две тому назад, а сейчас «фантомы» проносились из Таиланда через Лаос — бомбить Ханой.

Перед тем как проснуться от рева реактивных бомбардировщиков, я видел омерзительный сон: носатых серо-черных галок с чудовищными клювами, а рядом со мной ложилась змея — ощутимая, холодная.

Утром, когда мы поднялись, разбуженные ревом «фантомов», меня потряс горный пейзаж. Клочья тумана, сабельно-острые листья пальм, высокое, осторожно-голубое небо. А когда я вышел из ущелья на плотину, тумана не было, сиял солнечный день. Выходил я словно бы из пожара, из дыма, в прозрачный воздух, в огромное голубое небо.

Навстречу шли два пастуха с карабинами за плечами. Они гнали буйволов. Рядом с пастухами бежали дети. Пастухи отведут буйволов в горы, на выпасы, и вернутся обратно. А дети останутся пасти. Мне рассказывали, что огромный, страшный, рогатый буйвол испытывает какую-то особую нежность к детям.

Перед нами лежала маленькая деревушка Хой Цо Анг. Мы пошли со Свиридовым по дороге, пробалансировали по доскам,

брошенным через «быки» разбитого бомбами моста, и оказались на вершине горы у излучины медленной, словно бы заледеневшей реки.

Внизу раскинулся горный поселок; школа, госпиталь, магазин — все то, что было сложено из камня, — разбито. Разбиты два моста. Дорога идет среди двух гор, через каждые двадцать метров вырыты индивидуальные бомбоубежища.

Если здесь застает бомбежка, положение практически безвыходное: деться некуда, остается только залезть в индивидуальные убежища, в которых чувствуешь себя лишь в относительной безопасности. Бетонных крышек, прикрывающих голову, нет, а вокруг скалы; от сотрясения после бомбового взрыва летит много камней…

В общем, оказаться здесь под бомбежкой скверно. Дорогу на этом участке бомбили сорок два раза, тем не менее сообщение по ней не прерывалось ни на один день.

Мы спустились на берег реки, разделись, выкупались. Наш шофер товарищ Тхай позвал на обед. Как только стало смеркаться, заторопились на паром; он отсюда километрах в двадцати, его тоже бомбят немилосердно.

Паромщик переправил нас быстро, наша машина была единственной. По горной дороге, которая словно ввинчивалась в небо, двинулись к границе. Остановились возле одинокого газика: поломалось колесо. Спросили, не требуется ли помощь. Шофер отрицательно мотнул головой.

В машине две девушки в военной форме, с пистолетами на боку. Одна, простуженная, хриплоголосая, засмущалась, прикрыв лицо рукой. Вторая, высокая, статная, с очень певучим голосом, сказала нам, что здесь неподалеку, в джунглях, укрыт эвакуированный педагогический институт. Девушки ездили в Ханой за учебниками.

Двинулись дальше. К полуночи добрались до границы с Лаосом. Сорок минут простояли в джунглях, спрятав машину, пока шли обычные формальности. Здесь мы встретились с человеком, ставшим впоследствии нашим большим другом (Сисук, комиссар охраны), и с начальником канцелярии ЦК Нео Лао Хак Сат (Патриотический фронт Лаоса).

Примерно через час, как пересекли границу, скорость наша с шестидесяти, а то и семидесяти километров в час снизилась до десяти километров. Дороги практически не было. Мы с трудом пробирались среди огромных воронок от тонных бомб. Воронки все свежие. Шофер Тхай, который всегда улыбается и обстоятельно отвечает на любой заданный ему вопрос, здесь не мог оторваться от баранки. Ямы глубиной в двух-трехэтажный

дом, ехать архисложно.

Внезапно первая машина сопровождения, в которой ехал Сисук, остановилась, и три автоматчика пересели к нам. В эти районы забрасывают много диверсантов. Перестрелки здесь дело обычное

Ехали часов пять, почти всю ночь. Под утро, обогнув три огромные воронки, остановились возле отвесной скалы. В ее теле густо краснели два больших, странных в ночи пятна.

Когда мы подъехали еще ближе, то увидели, что это свет от ламп столь таинственно подсвечивает вход в пещеру. Лаосские пещеры!

Тот, кто бродил по горам Кавказа, может себе представить таинственный мрак холодных пещер, приглушенную гулкость голосов и вкрадчивый, монотонный перестук капель, сцеживающихся с темных потолков. В таких вот сырых пещерах (крысы и змеи их постоянные обитатели) живет уже несколько лет кряду примерно полтора миллиона лаосцев…

Встретил нас товарищ Понг Сурин Фуми, ставший руководителем нашей поездки. Он пригласил к столу, мы выпили лаосской, плохо очищенной рисовой водки и, совершенно измотанные чудовищной дорогой (несколько раз нам к тому же приходилось выскакивать из машины и прятаться в воронках, потому что летали винтовые, медленные, как зубная боль, «АД-6», швыряли бомбы), сразу повалились спать.

Здесь, в отличие от двадцатипятиградусной вьетнамской «зимы», довольно холодно: мы забрались на полторы тысячи метров вверх, в горы. Пальто, которые мы взяли, пригодились. Спать легли на доски. Здесь, так же как во Вьетнаме, не знают, что такое матрац. Надели пальто, укрылись сверху одеялом. Несколько раз я просыпался. В пещере горела прикрученная керосиновая лампа. У выхода попеременно дежурил с автоматом кто-нибудь из охраны. Изредка в горах слышались выстрелы, глухо жахали взрывы бомб.

Наутро сразу же пришлось столкнуться с практикой сегодняшней войны в Лаосе. Мы со Свиридовым вышли из нашей пещеры — умываться и чистить зубы. Вокруг лежала неописуемой красоты горная долина. Где-то отчаянно-весело кричал петух. Окрест не было видно ни одной живой души. Солнце осторожно вылезало из-за коричневых скал, поросших могучими деревьями, увитыми лианами, похожими на здешних женщин.

Валя Свиридов поливал мне воду из кружечки на руки. Я поднял голову и увидал бесшумно пронесшийся самолет. А потом, через мгновение, воздух разорвал рев турбин. Сисук выбил у меня из рук кружку и затолкал нас с Валей в пещеру.

Комиссар Сисук, стремительный человек (с великолепным прибором, в рваных кедах, с неизменным автоматом, из которого, как я позже убедился, стреляет он артистично), знал здесь все, что полагается знать комиссару охраны. Через несколько секунд после того, как он затолкал нас в пещеру, совсем неподалеку грохнули две тонные бомбы, — с потолка посыпались камни.

Сисук улыбнулся:

— Теперь можно продолжать чистить зубы.

Это было наше первое лаосское утро. Минут через десять пришел выдающийся поэт Лаоса, директор информационного агентства товарищ Сисан Сисана. Маленький, с внешностью итальянца (впрочем, как потом выяснилось, дед его корсиканец), поздоровавшись, он сказал:

— В нарушение всех правил я пробирался к вам утром. Ходить у нас разрешено только ночью. Для вас сделано исключение: сейчас позавтракаем и отправимся к нашим газетчикам.

Но весь этот день мы так никуда выйти и не смогли, потому что американцы бомбили нашу пятикилометровую долину. Из пещеры она была видна вся как на ладони, мы видели весь день, как в небо вздымались черные фонтаны каменистой земли. Каменный пол пещеры сотрясался, увесистые куски породы сыпались с потолка, пришлось надеть каски.

Они бомбили долину весь день, и наша первая беседа с Сисаной продолжалась, таким образом, двенадцать часов. Я записал этот разговор.

Не буду «организовывать» первый наш день в стройную журналистскую схему, а проведу таким, каким он был.

— Американцы здесь ведут специальную войну — говорил Сисан Сисана. — Они бомбят всеми видами самолетов, в том числе и стратегическими бомбардировщиками «Б-52». Они проводят также целый ряд диверсионных операций. Их цель — террор. Они расширяют психологическую войну: пять самолетов летят с бомбами, шестой прилетает с листовками. В листовках обращаются не только к населению, но и к кадровым работникам — пытаются переманить их. Они заигрывают с молодежью, которой приходится переживать много трудностей. Мы воюем с сорок пятого года, и человек двадцати трех лет от роду не знает, что такое мир. Они говорят молодежи: «Хватит войны, хватит бомбежек. Надо жить, чтобы жить». Они ведут работу и среди женщин. «Надо создавать семью, рожать детей». Они пытались обращаться к религии, бонзам. Несколько раз во Вьентьяне и Луанг-Прабанге собирали наиболее уважаемых бонз Лаоса и просили их проводить нужную им пропаганду. Они пытаются

использовать одну из догм буддизма, которая гласит: «Не надо братоубийства, люди — братья, людям не надо воевать, им нужно жить в мире, какой бы ценой мир ни давался».

Мы узнали об этом собрании бонз и попросили прогрессивных монахов выдвинуть контртезисы, если они существуют в догмах буддизма. Правым реакционерам был противопоставлен главный тезис буддизма: «Прежде всего поиск истины. Истину нельзя найти, не выяснив вопроса, кто человеку друг и кто ему враг. Лишь после того, как человек узнает, кто кому друг и кто ему враг, лишь после того, как он пожмет руку друзьям и отринет врагов, наступит мир».

Диверсионную работу «тихие американцы» строят довольно хитро. Диверсанты оперируют в основном в горных районах, где живут национальные меньшинства.

Я спрашиваю Сисан Сисана:

— Вероятно, с диверсантами следует вести работу не только здесь, но и непосредственно в их логове?

— Это трудно. Как правило, американцы забрасывают с парашютами несколько квалифицированных специалистов, которые затаиваются, сами почти не передвигаются, а лишь ищут недовольных. Поэтому адреса явок, конспиративных квартир и тайных диверсионных школ во Вьентьяне и Таиланде нам неизвестны. Нам попадались только те люди, которые были завербованы резидентами, скрывающимися в горах.

Американцы пытаются делать ставку на народность мэо. Хотя многие мэо примкнули к революции, но среди некоторой части сильны узконационалистические настроения, они еще не осознали себя как часть лаосской нации. Американцы всячески препятствуют национальному становлению мэо. Они выдвигают теорию особого «королевства мэо», «бога мэо», хотят создать «национальную гвардию мэо», особые «штурмовые отряды мэо».

— Чем отличаются мэо от лаосцев?

— Практически ничем. Они, правда, испытывали на себе китайские влияния, их история была в древности более связанной с китайской.

…В бомбежке наступила пауза. Мы вышли покурить. Стояли, грелись на осторожном зимнем десятиградусном солнце.

— Вот вы, — Сисана кивнул головой на Свиридова, — по-лаосски будете называться «Ай Туй». Это значит «толстый брат». А вы, — он обернулся ко мне, — будете называться «Ай Нуот» — «бородатый брат».

Всю эту поездку нам «везло»: только вернулись в пещеру — снова прилетели самолеты и начали бомбить нашу злосчастную долину.

Сисане приходилось кричать, чтобы я мог его слышать, — все вокруг грохотало.

Понг Сурин Фуми пригласил нас пообедать. С продуктами здесь трудно, подвоз практически невозможен — из-за бомбежек. В пещере костер не разведешь — дым съест глаза. Поэтому готовить приходилось на костре возле входа в пещеру; один солдат варит рис, а другой следит за небом: надо успеть, если пролетит «фантом», забежать в укрытие.

После обеда Сисана рассказывал о национальном вопросе. Он говорил, что в стране Лао шестьдесят восемь национальностей. Американцы пытаются играть на узкоплеменных интересах мэо. Они продают мэо товары по низкой цене, особенно тем, которые живут на севере Лаоса, на границе с Китаем. Используют суеверия. Через своих подставных людей американцы говорят мэо: «У вас родился свой бог. Этот бог сообщил нам, где он родился, и приглашает вас к себе в гости. Кончайте работу, забейте скот, забейте кур, пусть у вас будет праздник!»

Люди приходят туда, куда их приглашают американцы. Американские агенты наливают воду из водопада в большой чан и незаметно бросают туда сахарин, который моментально растворяется. Людям мэо дают попить сладкую воду и говорят: «Ну если бы бог мэо не родился, разве вода из водопада могла бы стать сладкой?» Неграмотные люди, естественно, верят в это. А потом прилетает американский вертолет и устраивает катание. Радость, счастье. А скот забит, урожай не собран. Здесь праздник бога отмечают не день и не два, а месяц… У мэо начинается голод. Американцы тут как тут. Продовольственная «помощь» — старикам, а молодежь вербуют в армию. Так были созданы «особые силы мэо» — пятнадцать тысяч неграмотных, фанатичных наемников.

— Мы идем к мэо с тетрадкой и книжкой. Мы создали для них письменность, стремимся повысить их жизненный уровень…

Мы проговорили с Сисаной весь день. Потом он прилег на полчаса отдохнуть: прошлой ночью было заседание ЦК, он очень устал, а я вышел из пещеры подышать «нормальным воздухом».

Литое солнце умирало. Раскаленная, желто-белая масса солнечного света превращалась возле входа в нашу пещеру в осторожную, розовую, зыбкую акварель и начинало постепенно, но очень настойчиво, с каждой минутой все настойчивее, побеждать сильный сине-голубой тон.

Выйдя из пещеры покурить, я увидел, что небо уже не голубое, а черное. И в этом черном небе мерцали загадочные звезды. По-прежнему, как утром, надрывно кричал петух. Он прятался от бомбежек вместе с людьми и выходил из пещеры

дышать ночным воздухом тоже вместе с людьми.

Товарищи надо мной подшучивали, но когда я несколько раз «предсказал» бомбежки по вою собак, подтрунивать перестали.

Собаки выли так, как двадцать шесть лет назад, когда я жил на Волге, и шла Сталинградская битва, и фашисты налетали на наш город по два-три раза в день. Я с тех пор запомнил, как жалостливо, по-бабьи голосисто мычали коровы, а им подвывали собаки. Глаза у собак были замершие, устремленные в небо, которое сулило им невидимую и непонятную, но неотвратимо идущую гибель.

Сурин Фуми посовещался с комиссаром охраны Сисуком. Принято решение: спать до полуночи и потом двинуться в неблизкий путь — через горы, пешочком — в типографию и редакцию газеты. Ночью идти безопаснее — летают только винтовые «АД-6», а их можно услышать загодя и спрятаться среди скал.

Мы шли, растянувшись цепочкой. Впереди вышагивал необыкновенно элегантный (даже в своих рваных кедах и местами прожженной хлопчатобумажной партизанской форме) комиссар охраны Сисук, потом шел наш переводчик Понг Сурин Фуми. Когда мы с Валентином Свиридовым только приехали, он сказал:

— Если вы забудете, как меня зовут, постарайтесь вспомнить игру пинг-понг, и если вы меня назовете Пинг, я не очень обижусь. Хотя в общем-то я Понг.

— Старина, — сказал я, — ни в коем случае не забуду ваше имя, потому что одна половина вашего имени равнозначна фамилии режиссера «Мосфильма» Сами Сурина. Пинг Понг Сурин Фуми. Очень просто.

Понг очень потешался по этому поводу.

(Я радовался, глядя на него. То время, что мы провели у партизан — и рядом с принцем Суфанувонгом, и в пещере вместе с Сисаной, и во время перестрелок с диверсантами, — всегда и всюду Понг поражал меня своей одинаково опрятной подтянутостью. Брюки бритвенно выглажены — он клал их каждую ночь, если спать приходилось не на земле возле костра, а в пещерах, на деревянных «матрацах», под циновки; ботинки модные, до глянца начищены, а на шее повязан платочек, подаренный ему какой-то никому неведомой Прекрасной Дамой.)

Замыкали нашу цепь три солдата охраны.

Шли мы, весело переговариваясь, но когда пришлось карабкаться по отвесной скале высоко наверх, Сисун обернулся и передал по цепи команду:

— Тихо, потушить фонари!

— Черт! — выругался Понг. — Сейчас в темноте измажу

брюки…

Быть таким опрятным здесь, где нет бань, а бамбуковые водопроводы разбиты бомбежками и даже простое умывание перерастает в проблему из-за внезапных налетов, — дело трудное и, я бы сказал, мужественное. Тем более мне был симпатичен Понг. Я люблю людей, считающих для себя долгом быть элегантными во всех случаях и при всех условиях. Элегантность отнюдь не предполагает обилие тряпок. Я видел девушек на строительстве Абакан — Тайшета в маленьких унтах и в ватниках — они были куда как элегантнее некоторых молодых людей, натягивающих шляпы на уши обеими руками…

— Вот черт! — снова выругался Понг. — Измазал колено!

— Разговоры! — коротко сказал Сисук.

— А в чем дело? — шепнул я.

— Вчера они где-то поблизости сбросили диверсантов, а на скале нас можно перестрелять, как глупых кур, поодиночке. Они стреляют по голосам или по свету фонариков.

После нескольких часов перехода Сисук позволил сделать привал. Мы сели на камни в кромешной темноте. Прижались друг к другу спинами.

Кто-то из солдат охраны достал флейту и заиграл песню «Лам вонг». Сисук начал тихонько подпевать.

«Лам вонг» — танец-песня. Ее поют, танцуя.

(Однажды мы попали под сильную бомбежку, и нас всех засыпало землей: бомбы угодили совсем неподалеку, и мы уцелели чудом. Солдат, которого не только завалило землей, но и стукнуло камнем, ощупал себя — цел ли, — достал флейту и заиграл «Лам вонг».

— Что это он? — спросил я Понга. — Контужен, что ли?

— Почему? Он с радости играет. Жив — значит, пой и танцуй!)

…Сисук долго слушал, как играет на флейте солдат, а потом сказал:

— Ну-ка, дай мне.

Солдат передал ему флейту, маленькую, самодельную, из бамбука, и Сисук заиграл протяжную песню. Черно-белое небо, подрезанное острыми ножами горных хребтов, опрокинулось над нами звездным безразличным спокойствием. Рядом журчал ручей. Где-то в скалах протяжно и скорбно кричала неведомая птица.

…Ранним утром мы добрались до нужного нам места в горных джунглях. Здесь, в отличие от нашей горной долины, был слышен детский смех — ребятишки вылезали из пещер и грелись на солнышке под надзором двух женщин, одна из них была с

карабином, другая — с биноклем. В отдалении солдаты чистили оружие; свободные от вахты нежились под солнцем: постарше — просто закрыв глаза и откинувшись на руки, словно на пляже, а те, кто помоложе, читали книжки.

Рядом с входом в пещеру работал ткацкий станок, если, правда, это кустарное сооружение можно называть станком. Девушка ткала себе свадебную юбку. Это — традиция Лаоса: каждая девушка обязана выткать для свадьбы красивую юбку.

Крохотное селение, скрытое в тропическом густом лесу, еще ни разу не подвергалось бомбардировке. Последняя воронка, которую я заметил, была в двух километрах отсюда. По лаосским понятиям это глубокий тыл.

Здесь расположена типография Нео Лао Хак Сат. Познакомился с директором Бун Поном. Ему тридцать шесть лет. Работать в типографии он начал восемнадцать лет назад — в день ее основания. Был подсобным рабочим. После налета на типографию полицейских Бун Пон бежал из Вьентьяна. Три месяца пробирался в районы Нео Лао Хак Сат, питался банановыми листьями, прятался от диких зверей на деревьях, привязывал ремнем к стволу и так спал. Здесь, в скалах, начали на пустом месте. Собрали кустарные печатные станки. А сейчас выпускают газету, книги, календари.

Он провел меня по типографии: это пять глубоких пещер, соединенных узкими, темными расщелинами — коридорами. Тусклый свет от слабенького движка выхватывает матовыми пятнами мокрые стены скал. Освещенные пятнами желтого зыбкого света, работают наборщики, печатники, брошюровщики. Много молодежи: юноши и девушки шестнадцати и семнадцати лет.

Отпечатанную газету передают из рук в руки, очень бережно; читают, несколько даже изумленно радуясь свершенному чуду, по несколько раз, от корки до корки.

Формат газеты вроде нашей заводской многотиражки.

Работать приходится в пальто. У людей землистый цвет лица, ледяные руки. По нескольку раз на день они выходят из пещеры погреться на солнце.

Познакомился с корректором Бун Ни. В прошлом он был монахом в пагоде. Ушел в партизаны вместе с настоятелем пагоды Маха Тяо.

— Какую догму буддизма вы почитаете более всего? — спросил я его.

— Люби ближнего, — ответил он тихо.

Я религиозно, можно сказать, отношусь к типографиям. Там совершается самое великое чудо: мысль делается вещественной,

материальной, принадлежащей не тебе одному, а всем людям. И было мне очень горько за далекую заокеанскую цивилизацию, которая загнала в сырые скалы чудо мира — книгу. И думалось мне, что так долго быть не может. Книга обязательно выйдет к солнцу.

Директор Бун Пон ходил по типографии с полуторагодовалым сыном-первенцем на руках. Мальчик надрывно кашлял во сне. Здесь почти все дети тяжко больны бронхитом. Много легочных заболеваний. Середина XX века — операции по пересадке сердца, конгрессы по кибернетике — и дети в пещерах, совсем неподалеку от главных очагов мировой культуры, если расстояние соотносить с сегодняшними сверхзвуковыми скоростями.

Я беседовал в маленькой бамбуковой беседочке возле входа в пещеру с членом редколлегии Тхонг Дамом, с переводчиком Донг Тяном, и в это время вдруг, откуда ни возьмись, низко-низко пронесся «фантом». Мы едва успели вскочить в пещеру, и пока мы там падали друг на друга, прогрохотали подряд два взрыва. Из воронок несло гарью, паленой шерстью. К счастью, никого не задело.

(Вечером сидел у транзисторного приемника, слушал новости. Вашингтон передавал последние данные опроса Института общественного мнения Гэллапа. Половина опрошенных американцев была не согласна с вьетнамской агрессией, и только тридцать процентов поддерживали официальный курс правительства Джонсона. Если демократия есть подчинение меньшинства большинству, то отчего Джонсон продолжает войну? Ведь большинство американцев против политики во Вьетнаме.)

Ночью двинулись дальше. В машине нас набилось восемь человек: Понг, комиссар Сисук, Валя, я и еще четыре человека охраны. Ехали по горному бездорожью очень медленно, километров восемь в час. Навстречу не попадалось ни единой души.

А во Вьетнаме ночью на дорогах можно увидеть людей. Там много бомбоубежищ, и предупреждение о приближающемся самолете доходит от девушки-регулировщицы за три-четыре минуты. На дорогах много регулировщиц с гонгами, с рельсами, к их будочкам подведены телефоны, и они загодя предупреждают людей на дорогах. Можно успеть спрятаться. Служба предупреждения во Вьетнаме поставлена прекрасно. Нет, конечно, правил без исключения, бывает, что и не успевают предупредить, но это на самых глухих участках пути…

Сначала все мы были в напряжении, потом попривыкли,

расслабились, стали шутить, рассказывать истории.

Так проехали километров тридцать. И тут перед нами вырос грузовик с распахнутыми дверцами и выключенными фарами.

Сисук сказал шоферу:

— Погоди.

Шофер долго гудел, потом Сисук сказал:

— Может, диверсанты их перебили?

Мы гудели, не выключая мотора, и вдруг где-то рядом прогрохотали пять или шесть выстрелов. Сисук по-кошачьи быстро выскочил из машины, приказал всем нам:

— Вылезай!

Шоферу рявкнул:

— Глуши мотор!

Мы выскочили из машины.

Я успел заметить, что Понг схватил керосиновый фонарь, который он всюду возил с собой, — свет здесь дефицит, сумку с продуктами, флягу с водой и кобуру с пистолетом. (Я позже замечал: летит самолет, надо выскакивать, а Понг бежит последним, успевая захватить все, что было у нас с собой из провианта. Если уж машину разобьет, так хоть поесть можно будет, пока станем добираться до другого места. И свет тоже: мало ли, зацепит кого, хоть перевяжем.) Впрочем, народ здесь бесконечно добрый. Поэтому голодным не останешься.

Когда мы вместе с солдатами входили в маленький горный поселок, наша охрана выливала из фляг всю воду. Если жители увидят, что к ним пришли со своей водой, — значит вы думаете, что здесь живут скряги, негостеприимные люди. Как же можно не напоить водой гостей?

Однажды Свиридову стало плохо, он потерял сознание, его положили в маленькой пещере. Когда он пришел в себя, то увидел вокруг малышей. Они сидели рядом и выдергивали ему волосы на груди и руках. Лаосцы гладенькие, волос на груди нет, на руках тоже. Наша волосатость кажется им дикой. Вот малыши и решили, что Вале стало плохо из-за того, что у него выросло много волос на груди и около шеи, и решили помочь ему — выдрать эти ужасные волосы, от которых — от чего же еще? — человеку стало дурно.

Все быстро выскочили из машины, и когда теперь после громких выстрелов настала тишина, мы услышали жужжание самолета «АД-6». Он спускался все ниже и ниже. Мы поняли, что сейчас он начнет бомбить. Он спускался прямо на нас, а дорога здесь, как потом выяснилось, шла между двух скал. Это место они, оказывается, давно пристреливали, с тем чтобы, сбросив несколько тонных бомб на скалы, завалить путь.

Ночь была безлунная, вокруг кромешная тьма. Мы бросились куда-то влево, потом свернули направо, падали, чертыхаясь. Фонарик включить нельзя: самолет все ниже и ниже, совсем рядом.

Вдруг Валя Свиридов заорал что-то. Мы подбежали к нему. Он стоял с вытянутыми руками, и мы сначала не могли понять, в чем дело. Оказывается, он, вытянув руки — все люди так ходят в темноте, — попал в натянутую маскировочную сеть. Мы с трудом вырвали «толстого брата» из сетки.

Из темноты крикнули:

— Берите правее!

Мы взяли правее и оказались в пещере, и в это время американец стал бомбить. Вовремя спрятались. А в пещере сидели люди, ели, спали, смеялись, играли в карты при свете фонарика. Свет был направлен так, чтобы освещать только карты, — с дороги не заметишь, а тем более с неба.

«АД-6», отбомбившись, улетел. Ночь по-прежнему безлунная, но на небе было много звезд, и поэтому близкое, незнакомое небо из-за серых облаков, протянувшихся по нему, казалось огромным рентгеновским снимком чьей-то грудной клетки. Можно было явно просмотреть огромные ребра и большущее сердце, смещенное книзу.

Машину не повредило, только немножко засыпало осколками камней. Скальный монолит здесь очень крепок, потому дорогу и на этот раз не закупорило. Вокруг остро пахло кремнем.

Я помню, как мальчишками мы высекали искры из камней.

Такой же точно был запах и сейчас, только очень конденсированный. В этом запахе «сухого огня» было очень много пространственного.

Впервые в жизни я вдруг почувствовал, что запах имеет еще и пространственное значение.

Приехали мы под утро в высокое горное урочище, зашли в пещеру. По хитрым бамбуковым лесенкам, которые вели из одной пещеры в другую, — одна более таинственна, чем другая, — забрались куда-то очень высоко вверх, на «пятый этаж».

Трещал сверчок, была тишина. На досках лежали бамбуковые циновки. Во всем этом прочитывалась таинственная умиротворенность приключенческих фильмов о XIX веке в джунглях.

Уснули, тесно прижавшись друг к другу, проснулись веселые, и комиссар Сисук долго не мог прийти в себя от хохота, когда изображал, как «толстый брат», «Ай Туй», запутался руками в маскировочной сетке.

«Прекрасная веселость войны, — подумал я. — Жаль, что мы

не умеем так же беззаботно веселиться в спокойные и суетливые дни мира».

Утром встретился с товарищем Петсавоном, председателем трибунала провинции Самнеа, заместителем председателя здешнего административного комитета провинции.

Бросив школу из-за голода, работал, нищенствовал, мечтал учиться.

Пришли японские войска, гнет стал невыносим, включился в революционную борьбу. Возглавлял партизанские отряды.

После победы над японцами вернулись французские колонизаторы. Часть революционеров эмигрировала, другие поднялись еще выше в горы, спрятались в джунглях, продолжая борьбу, а некоторые стали сотрудничать с французской администрацией.

И Петсавон оказался командиром роты, которая находилась на службе у французских властей. Более того — его рота в конце концов, как наиболее сильная, стала карательной ротой. Ему поручались карательные операции против партизан, против его прежних друзей по оружию. С ним нашли возможность вступить в секретную связь его прежние друзья.

Петсавон долго обманывал колонизаторов, а потом собрал двадцать шесть верных солдат и увел их в джунгли — к своим. С тех пор Петсавон один из активных участников партизанской борьбы.

— Скажите, — спрашиваю я Петсавона, — а каким образом вы рискнули наладить связь с патриотами?

— Как вам сказать, — ответил он. — Это вопрос и сложный и легкий. Никаких особо хитрых способов в общем-то не было. Мы, лаосцы, долго присматриваемся друг к другу. Мы не начинаем исподволь готовить человека к серьезному разговору. Мы просто смотрим на этого человека, наблюдаем за ним, как он ест, как он пьет, как он смеется, как он просыпается и как он засыпает. Это очень важно — знать, как засыпает человек. Люди с нечистой совестью долго не могут уснуть и даже храпят они как-то по-особому.

Я улыбнулся. Петсавон серьезно сказал:

— Я говорю вам правду. Во всяком случае, я в эту правду очень верю…

Петсавон предложил посетить госпиталь. Идти недалеко, но, впрочем, предстоит перебежать поле. Это очень рискованно: американцы в эти дни делали по двести самолетовылетов в день. Все поле изрыто воронками, Сисук бранился, он никак не хотел разрешить эту километровую пробежку.

— Игра со смертью, — ворчал он. — Зачем? Ночи, что ли,

нельзя подождать?

Свиридов сказал ему, что в прошлом он был чемпионом по бегу. Сисук долго смеялся, поглаживая Валю по животу, но все же смилостивился и разрешил эту перебежку. Сам он, как всегда, побежал первым.

Столкнувшись лицом к лицу с сегодняшней войной, я много думал над ее особенностью. Сейчас идет война скоростей. Человек сам создал сверхскорости, но ничего противоборствующего им создать еще не смог. Раньше вы могли слышать войну загодя, особенно когда прилетали самолеты. Сейчас вы этого лишены: самолет прилетает, опережая звук. Так, по воле хищников, гений человечества безнравственно обращен против него же самого…

Пробежали мы равнину без приключений. Поднялись в госпиталь — он тоже расположен в системе пещер и оставляет тяжелое впечатление. Это еще более трагично, чем типография. Здесь, во влажных, холодных пещерах, лежат безногие дети, старики с выжженными фосфором глазами, раненые женщины…

Оперируют при свете керосиновых ламп. Зашли в маленькую «пещерку» начальника госпиталя, двадцатитрехлетней Тай Пет. Она принимала нас весело и улыбчиво, и эта ее веселая улыбчивость была особенно трагичной.

За спиной, привязанный широким полотенцем, чтобы не вывалиться, сидит годовалый сын Тай Пет и испуганно глазеет на нас из-за ее плеча.

Перевязки она тоже делает, привязав сына к спине: мальчика не с кем оставить, а перевязывать раненых приходится очень часто.

Мы беседовали с ней, и вдруг рядом загрохотало, понесло гарью, плотной и удушливой. Выбежали из глубокой пещеры, поднялись наверх. Плач, крик душераздирающий, стоны: пролетел «фантом», сбросил бомбу, осколками ранило семнадцать больных. Возле входа в пещеру лежала убитая девушка-врач, две медсестры корчились на полу, и халаты их были багровыми от крови.

…Возвращались к себе молча, подавленные. Сисук не разрешил бежать через равнину, и Петсавон повел нас окружным путем, по скалам, чтобы можно было в любой момент спрятаться в пещеры.

Остановились у ручья — там купались юноша и девушка. Они были молодые, красивые, обнаженные. Они плавали в тугой ярко-зеленой воде как сказочные герои из цветного фильма. Девушка что-то напевала. Волосы ее были распущены. Она плавала среди

диковинных белых цветов и смеялась.

Мы прошли мимо них «на цыпочках» — так неожиданны и прекрасны были эти Адам и Ева среди ужаса и боли войны.

…Обедом нас угощала «матушка Ван Ни Хайкам Питхун».

Боже ты мой, какая же это милая и нежная женщина!

Вообще ее хорошо знают во всем Лаосе. Она мастер по вышиванию ковров и юбок. Юбки она делает поразительные: шитые золотом и серебром, парчовые, рисунок замысловат и фантастичен.

Ковры матушки Ван Ни особенно интересны, о них стоит рассказать. Вытканы, например, две громадные жар-птицы. Одна красно-золотая, другая сине-серебряная, и все это на темном фоне.

— Почему такая контрастность цветов? — спросил я.

— Потому что ожидание утра всегда контрастно в цвете, — сказала она. — Это только кажется, что ранним утром цвета зыбки. На самом деле они самые точные и различимые. На красной птице золотые лунные отблески, а синяя уже во власти голубого с серебром рассвета…

Узоры и рисунки на коврах разнообразны. Эскизов она не делает и даже не знает, что это такое. Я ей объяснил, что такое эскиз. Она пренебрежительно усмехнулась:

— Если мечту надо сначала рисовать на бумажке, так что ж это за мечта? Мечту надо видеть все время, во сне тоже.

Понг, внимательно слушавший наш разговор, сказал:

— Жаль, что с нею может исчезнуть это народное искусство.

— А разве нельзя открыть маленькую мастерскую — училище, где бы она собрала талантливых учениц?

— В пещере? — вздохнул Понг. — Они ослепнут через полгода. Она делала все это до бомбежек. Наши девушки во Вьентьяне совсем забыли это искусство. Жаль, очень жаль. Парчовая юбка, как любовь, должна быть рождена долгим временем — и то и другое сродни творчеству.

— А может быть, девушке целесообразнее пойти в магазин, истратив на это десять минут, и купить ткань на юбку? Фабричную ткань?

— Нет, — подумав, ответил Понг, — наши девушки должны потратить хоть десять дней в году на самую красивую свою юбку.

— Вы женаты?

— Нет, — ответил Понг.

— А возлюбленная есть?

— Во время войны не может быть любви.

— А может быть, любовь существует вне зависимости от

войны, и в этом нет ничего порочного?

— Нет, — ответил Понг, — любовь может быть только после войны…

С утра бомбили. Бомбежка очень сильная. Высунуть носа из пещеры невозможно. Когда американцы улетели, мы узнали, что бомба накрыла соседнюю пещеру.

Пошли туда — это в двухстах метрах от нас. Ранено двое детей. У одного осколком разбита голова.

Вынесли второго ребенка, ему два года. Левая рука висит на сухожилии, отец держит его на окровавленных руках, беззвучно плачет, пришептывает что-то.

Мальчика еще и сильно контузило, поэтому он страшно косит глазами и беспрерывно икает. В левом уголке рта то и дело набегает кровавая пузырчатая слюна.

Мать лежит на полу; ее ранило в ногу, но сознание она потеряла не от боли. Когда увидела сына, свалилась без сознания и до сих пор не приходит в себя.

— Сфотографируйте, — сказал Петсавон, — покажите в Европе, что здесь делают цивилизованные янки.

Я не смог сфотографировать этого младенца — сердце не позволило.

…Раньше, на заре цивилизации, войско воевало с войском. Теперь, когда цивилизация вошла в быт, война в первую голову обрушивается на детей и женщин.

Все утро слушал последние новости. Ехать или идти невозможно — по-прежнему бомбят. Слушал по транзисторному приемнику последние известия: Голдуотер, апологет холодной войны, заявил о бомбежках в Азии: «На войне как на войне!»

Прослушав это заявление, Сисана заметил:

— Удел подобных политиков — профессионализм, направленный на выполнение задач, выдвинутых перед ними их классом. Наши убитые дети их не интересуют. Такой профессионализм, — повторил он, — это холод души.

(Я вспомнил, как в Хельсинки один «веселый» западный журналист серьезно уверял меня, что если бы он увидел, как во время циркового представления в клетку к львам попал ребенок, он бы сначала сделал снимки, а уже потом ринулся спасать бедное дитя.

— Врете вы себе, — сказал я, — и мне врете.

— Нет, — ответил он, — видимо, все-таки не вру. Профессионализм в конце концов побеждает человека, и глупо за это человека судить.

— Профессионализм надо славить, — ответил я тогда, — но нельзя оправдывать профессиональную безнравственность. Или, если хотите, безнравственную профессиональность.)

Подниматься к буддийским бонзам (их сорок человек, они живут высоко в скалах) трудно. Целая система тонких бамбуковых лестниц, словно на мачту корабля взбираешься. А подниматься надо быстро: лестницы это самое опасное, если прилетит самолет, — и вниз спуститься не успеешь и до верха не долезешь, а падать от взрывной волны пятьдесят или сто метров в пропасть — занятие не из приятных.

Беседу с бонзами я записал подробно, она, с моей точки зрения, представляет серьезный интерес.

Сначала беседовал я с двумя бонзами. Первый — Конг Си, второй — Ки Кэо. Они — руководители ассоциации буддистов провинции Самнеа.

А особенно большое впечатление на меня произвел третий бонза — Кху Пха Тхой, подошедший чуть позже — до этого он молился со своими учениками в другой пещере.

Он член Лаосской ассоциации буддистов, глава буддистов нескольких провинций: Самнеа, Фонгсали, Намтха…

Это очень высокий человек в желтой одежде с открытой грудью, открытыми руками (мы были в пальто), с бритой головой. Огромные глаза его светятся добротой. Он не идет, а выступает, не говорит, а вещает. Вещает слова, которые, как он считает, нельзя не воспринять, ибо это истина.

— Главное, чему мы сейчас посвящаем свою деятельность, — сказал бонза, — это соединение воедино догм буддизма с политической борьбой против агрессии и утверждением национального лаосского духа.

— В какой мере остальные буддийские бонзы Лаоса разделяют вашу концепцию?

— Большинство с нами. Но у нас есть враг, его знают все. Это Маха Падит. Он является ревизором по монашескому образованию буддистов Лаоса и советником по вопросам религии в правительстве Вьентьяна. В его пагоде Ват Тян — главное средоточие сил, выступающих против патриотического движения Нео Лао Хак Сат. Вместе с ним мало людей, которые бы искренне разделяли его позицию. По-моему, он в высшей мере одинок. Остальные высшие буддийские бонзы Лаоса с нами — если не делом и словом, то мыслью, во всяком случае.

Суть нашего движения можно свести к четырем формам.

Первая форма борьбы — против самого себя, против того дурного, что заложено в тебе самом, за то хорошее, что в тебе есть.

Вторая — борьба против суеверий. Что такое суеверие? Это слепая вера в идолов, провидцев, гадателей, предсказателей. Мы против этого. Буддизм против преклонения перед теми, кто присваивает себе титул провидящего. Мы не верим в провидцев. Мы верим в моральное совершенствование каждого человека. Мы против исключительности. Провидец — это исключительное. Если все станут провидцами (а все могут стать провидцами, ведь каждый же может стать Буддой), тогда все будет прекрасно. До тех же пор, пока люди не могут сказать, что все они уже стали провидцами, каждый утверждающий себя таковым выступает против людей, ибо он возносит себя над ними.

Третья форма — борьба с теми, кто ведет неправильную жизнь.

И, наконец, четвертая — за то, чтобы человек боролся с природой — за природу…

Те бонзы, которые попали под влияние американцев, неверно толкуют Будду. Они зовут верующих к тому, чтобы стремиться совершенствовать самого себя лишь путем молитвы. Говоря, например, о добре и о любви, они не различают, кому делать добро и кого любить. Просто любить нельзя. Человек всегда любит или не любит целенаправленно…

Они проповедуют терпение. Просто терпение. Это неверно. Я считаю безнравственной абстрактную проповедь: «Не делай зла». В чем сконцентрировано зло? В чем и в ком? Ответ очевиден! «В тех, кто бомбит пагоды». Следовательно, сначала нужно звать верующих к тому, чтобы избавиться от зла. От тех причин, которые его порождают. И уже после делать добро.

…Когда поздно ночью мы уходили от бонз к машине, спустившись по дьявольским лестницам, — фонарики нельзя было включать из-за бомбежки, — мы пробирались по тропе вдоль каких-то непонятных для меня мерцающих точек. Опустившись на колени возле одной из этих точек, я увидел, что это прогоревшие угольки.

Кто-то из монахов, перед тем как мы собрались уходить, взял ведро с угольками и, пробежав весь путь от пещеры до машины, оставленной нами в укрытии, разбросал эти красно-черные угольки.

Мы шли, как в сказке, по волшебной черно-красной тропе, шли, как по сказочной стране, в сказочной тишине, которая каждую минуту могла смениться реальным грохотом и смертью.

Когда поехали дальше, Сисук сказал, что американцы сбрасывают на скалы многотонные бомбы. Получается микроземлетрясение, в скалах людей засыпает камнями, люди

оказываются заживо похороненными…

Сегодня все окружающие радостны. Сисана весь светится. Пришло сообщение о победе войска Патет Лао под Намбаком. Весть эта передается из пещеры в пещеру. Лаосцы распевают новую песню: ее сегодня ночью сочинил Сисана и сразу же положил на музыку. Я прошу его прокомментировать это событие.

— Намбак — очень важный, плодородный район, — говорил Сисана, — в шестидесяти километрах от королевской столицы Луанг-Прабанга. Он всегда находился под контролем Нео Лао Хак Сат и нейтралистов. В 1966 году был захвачен парашютистами правых, и вот четырнадцатого января наши войска одержали победу. Там находилось двенадцать батальонов правых, несколько «групп-мобиль» — специальных мобильных групп, там были и третий и четвертый батальоны, и девяносто девятый батальон парашютистов. Вся эта группировка войск правых разгромлена.

Говорим мы с Сисаной в его пещере — это и квартира, и резиденция радио. Пришли два корреспондента, прибывшие из Вьетнама. Началась импровизированная пресс-конференция. Вопросы сыпались один за другим. Сисана был весел и остроумен, отвечал быстро и четко.

Я бывал на многих пресс-конференциях — и в Кабуле, и в Берлине, и в Хельсинки, и в Багдаде, и в Пекине, — но такой пресс-конференции я не видел ни разу. Член парламента, член ЦК, руководитель Информационного агентства Лаоса, поэт, которого здесь знают все, порой отвлекался, чтобы взять на одну руку дочку, а на вторую руку посадить сына. Жена у него, прозрачная, худенькая женщина, лежит на нарах и оттуда, из темноты, зачарованно смотрит на мужа. Глаза у нее огромные, антрацитно мерцают в полутьме.

Мы со Свиридовым, зная, что она месяц назад родила ребенка, принесли в подарок то, что у нас было с собой прихвачено, — малиновое варенье на случай простуды и виноградный сок. Я видел, с каким наслаждением уплетали ребятишки пещер варенье, запивали соком и распевали песни отца.

Когда пресс-конференция, сопровождавшаяся песнями детишек, кончилась, Сисан сказал мне:

— Завтра вас примет принц Суфанувонг.

Мы отошли к выходу из пещеры, присели на доску. Сисана стал рассказывать мне историю побега из тюрьмы принца и остальных членов ЦК Нео Лао Хак Сат.

История этого побега из тюрьмы могла бы стать сюжетом для

захватывающего фильма. Я записал эту историю. Вот она:

«Сисан Сисану правые арестовали первым. Его бросили в тюрьму, и он сидел в камере без права прогулок. Он не знал, успели остальные уйти или нет. Как-то один из его стражников сказал:

— Жаль, больше я не почитаю вашу газету. Хорошая была газета.

Сисана начал приглядываться к своему стражнику и однажды ночью уговорил его разрешить прогулку.

Проходя по тюремному коридору, Сисана заглядывал в глазки камер и в одной из них обнаружил принца Суфанувонга, секретаря ЦК Нухака, членов ЦК Камадана и Буфу.

Все было ясно: правые обезглавили патриотическое движение, помощи ждать неоткуда.

Когда тюремное начальство увидело, что узники ведут себя довольно спокойно, им разрешили выходить во двор, на огородик. Там они стали сажать лук, салат, папай.

Первая ласточка свободы была неожиданной.

Один из членов ЦК решил, что называется, играть ва-банк. Он попросил своего стражника отнести домой письмо. Стражник согласился. После он же принес передачу из дома. В ней был записочка.

Члены ЦК начали беседовать с охранниками о жизни, семье, книгах. Затем — о политике. Завязались у членов ЦК интересные взаимоотношения и со следователями. Многие члены ЦК видели, что следователи, допрашивая их, выполняют свои обязанности, но по-человечески сочувствуют заключенным.

И однажды один из членов ЦК попросил своего следователя рассказать о новостях, которые происходят в мире.

Следователь долго молчал, потом написал на листочке бумаги: «Сегодня в четыре часа слушайте внимательно».

Специальная тюрьма для членов ЦК Нео Лао Хак Сат в четыре часа пополудни замерла. И в одном из соседних домов (а тюрьма помещалась в военном городке) было на полную громкость включено радио. Кто-то вертел шкалу приемника. Сначала передавались последние известия из Вьентьяна, а потом эта же добрая рука настроила приемник на Ханой.

Однажды один из следователей в конце длинного, сложного допроса тихо сказал:

— В ближайшее время вас разобьют на группы и отправят по разным тюрьмам.

Ночью в тюрьме было собрано экстренное заседание ЦК. Принято решение бежать.

Старшему охраннику Удону и двум его подчиненным — Тхам Ону и Бун Тави — предложили бежать вместе с членами ЦК.

Удон и его друзья приняли это предложение. Они попросили разрешения взять и своих младших братьев.

— Кто они? — спросил Нухак.

— Молодые монахи, — ответил Удон. — Они хотят служить революции.

На следующий день Нухак попросил членов ЦК в то время, когда они будут копаться на огородике, обратить внимание на видневшееся за пределами военного городка, неподалеку от джунглей, большое белое дерево. Около него и был назначен сбор беглецов. Туда же должны были прийти и молодые монахи.

— Подготовили продукты, — вспоминает Сисана. — Наступила ночь. Охранники заступили на дежурство. Удон связался с двумя проводниками из нашего центра. Мы переоделись в солдатские мундиры полицейской охраны. Забор, окружавший тюрьму, был цинковый, гофрированный. Он так раскалялся днем, что к нему нельзя было подойти. Мы думали прорезать в заборе дыру и бежать через нее. Но солдаты в двух бронетранспортерах, которые круглые сутки стояли у тюремных ворот, никак не ложились спать.

Удон сказал: «Срочно нужны деньги». Мы собрали деньги, он купил водки и пошел к солдатам бронетранспортеров.

Пили они долго, примерно час.

Удон вернулся бледный, но не пьяный. От его одежды, рук шел острый запах рисового самогона.

Думали выключить прожектор, чтобы разрезать забор в темноте. Но Удон сказал: «Выключать прожектор опасно, в военном городке, наверное, есть еще один наблюдательный пункт. Выключи прожектор — будет тревога. Лучше уходить через ворота…»

…Чтобы изменить внешность, принц Суфанувонг сбрил бороду и усы.

— Сколько есть шансов на то, что убежим? — спросил он.

Секретарь ЦК Нухак сказал:

— Процентов на семьдесят, я думаю, удача гарантирована.

Принц ответил:

— Даже если б было пятьдесят процентов, нужно бежать.

Мы разделились на три группы. В первой был принц. Я шел в последней группе.

Первая группа вышла из ворот, пошла по освещенной улице, мимо спящих казарм и домов для офицеров, по направлению к белому дереву.

Минут через десять вышла вторая группа.

Мы напряженно прислушивались. Было очень тихо, даже цикады не трещали, и мы, — вспоминает Сисана, — страшно сердились, что они не трещали. Громкий треск цикад нам показался бы тогда спасительным.

А потом пошла третья группа. И вдруг солдат, который дремал, сидя на бронетранспортере с автоматом в руках, вскинул голову и посмотрел на нас, выходящих из ворот. Долго он смотрел на нас, а мы, замерев, шли мимо него. Потом снова уронил голову на грудь, и, — вспоминает Сисан Сисана, — я до сих пор не могу понять: то ли он понимал, что происходит, но был за нас, то ли был мертвецки пьян?

Мы шли быстрым шагом в кромешной мгле по направлению к белому дереву. Но сколько я ни приглядывался, никак не мог определить в темноте это белое деревцо. Вдруг впереди вспыхнул острый луч света. Мы сначала даже не поняли, что это не просто свет, а свет, сопровождавшийся треском. Мы были вооружены. Удон и солдаты охраны имели автоматы. Решили отстреливаться.

Я сошел с дороги, а Удон, поняв, что навстречу нам несется мотоцикл, кинулся к нему наперерез. Мотоциклист мог свернуть к тюрьме, и тогда бы он разбудил тех, кто находился в бронетранспортере, а они наверняка решили бы зайти в тюрьму, посмотреть, как там дела. А тюрьма была пустая, там не осталось ни одного человека, ни единой живой души, мы и охрана — все убежали.

Удон бросился наперерез к мотоциклисту, замахал руками, направил автомат и закричал: «По третьей дороге нельзя, поезжай направо!»

Третья дорога вела к тюрьме.

Мотоциклист послушно откозырял и поехал направо.

Пошли дальше. А в это время навстречу нам, печатая шаг, шли два человека.

«Кто идет?» — спросил Удон. «Я», — ответили из темноты. «Кто — я?» — рассвирепел Удон, подымая автомат. «Да я, я».

Это был принц. Он шел с солдатом. Они сбились с дороги. Мы объединились все вместе и стали пробираться к белому дереву.

Мне повезло, я сумел сориентироваться и вывел товарищей к условленному месту, где-то рядом бормотал ручей.

Это был первый звук свободы, который мы явственно услыхали. Ветер шелестел в листве пальм, и это был второй звук свободы, который пришел к нам. Но уходить в джунгли было нельзя, потому что те два связных, что пришли из центра, и охранник пошли искать нас и принца. А когда они вернулись, оказалось, что нет еще молодых бонз, братьев нашей стражи.

В час ночи наконец все собрались».

— Должен вам сказать, — смеется Сисан Сисана, — что только в кинофильмах побеги проходят организованно и слаженно. В жизни всегда бывает масса какой-то суетливой недодуманности. Да это и понятно: человек, который выходит из темницы на свободу, суетлив в движениях, в своих помыслах, и его психика (это смогут обосновать научно врачи-экспериментаторы) резко отличается от той, когда он пребывал в тюрьме.

В час ночи, слава Будде, мы тронулись.

Мы шли до четырех часов утра.

Это произошло в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое мая.

Вокруг нас была изумительная красота. Кричали птицы, пробуждались джунгли. Мы шли, подавленные этим пышным музыкальным сопровождением свободы. Все время вокруг слышалась музыка. Она была вокруг нас и в каждом из нас.

В условленном месте из-за пальмы кто-то крикнул: «Нэн», что значит «один». Я ответил словами отзыва. Навстречу вышли люди из второго батальона, батальона Патет Лао, которые отвечали за нашу безопасность.

Светало. Мы забрались в самую чашу джунглей и там просидели весь день, заняв на всякий случай круговую оборону. То, что мы заняли круговую оборону, как выяснилось, было правильным.

Утром, в семь часов, в тюрьму привезли завтрак. Стали барабанить в ворота, но никто не открывал. Начался переполох. Наконец открыли ворота, а в камерах было пусто. Вдогонку бросили войска. Не полицию, а регулярные воинские части.

Несколько поисковых групп шли по нашему следу. Шли по той же дороге, которой пробирались и мы. Они остановились перекусить примерно в двух километрах от того места, где мы притаились в джунглях. Но логика подсказала солдатам: бежали важные люди, бежал весь Центральный комитет Нео Лао Хак Сат. Значит, их встречал батальон, никак не меньше. «Нас пятьдесят человек, — думали они. — Если вступим в стычку, преследуя беглецов, все погибнем. Так пусть живут те, и мы тоже останемся живы».

В деревне солдаты погони попросили себе водки. Наши люди приготовили им вкусный обед, упоили их как следует. Поисковая группа вернулась обратно, доложив, что следов беглецов обнаружить не удалось.

Правда, мы придумали хитрость. В направлении, прямо

противоположном тому, по которому мы убегали, в одной деревне к уездному начальнику пришли «крестьяне» и сказали, что они видели в ста метрах от селения двадцать человек, которые перебегали из одного леска в другой. Туда были брошены все преследовавшие нас войска. Эта дезинформация, я считаю, спасла нам жизнь.

…Мы двинулись дальше. И вот тогда чуть не случилось несчастье. Кто-то донес уездному начальству о том, что прошли люди, которых ищут. Но донесли об этом уездному начальнику, который являлся нашим агентом. Он поблагодарил доносчика, уплатил ему вознаграждение, а сам несколько раз пропустил телегу по тому месту, где мы прошли. Следы исчезли.

Таким образом, мы получили еще резерв безопасного времени и на следующий день были у своих. Мы пробирались, словно Тарзаны, и ту тропу, по которой шли, окрестили «обезьяньей тропой».

Потом наша группа разделилась. Часть членов ЦК во главе с принцем продолжала путь в Самнеа. Вместе с остальными я вернулся во Вьентьян…»

…Пришел в пещеру и написал для «Правды» корреспонденцию.

…Поэт Сисан Сисана договорился с председателем ЦК Нео Лао Хак Сат принцем Суфанувонгом о встрече. На машине отъехать к тому месту, где сейчас в пещерах живет принц, невозможно, — по данным товарищей из Информационного агентства, американские самолеты делают до четырехсот самолетовылетов на освобожденные районы Лаоса ежедневно, и лощина, что ведет сквозь джунгли к пещере Суфанувонга, вся перепахана бомбами.

Добрались за два часа пешком в полной темноте. Маленькая площадка перед отвесной скалой, куда ведет узкая бамбуковая лесенка, чернеет свежими воронками: здесь живет принц.

Это человек поразительной судьбы. Воспитанный в королевском дворце, он после побега из тюрьмы, куда был брошен правой группировкой, вот уже одиннадцать лет живет в пещерах, делит вместе со всеми тяготы войны, развязанной агрессорами США.

Суфанувонг — видный лаосский инженер. Его мосты знают во всей Юго-Восточной Азии. В странах Индокитайского полуострова принца по праву считают самым выдающимся интеллигентом-просветителем. Он, получивший блистательное образование в Париже, говорит на тринадцати языках, в том числе на старофранцузском, английском, русском, японском.

Этот человек стал первым министром обороны в первом правительстве независимого Лаоса в 1945 году. Профессию инженера он сменил тогда на мундир солдата, для того чтобы скорее пришел мир, который ассоциируется с дорогим для каждого строителя словом — созидание. Но вот уже двадцать четвертый год на земле Лаоса полыхает война.

Солдаты, которым двадцать, врачи, которым двадцать пять, не знали ни одного дня мира. Война для них стала бытом, — политики Вашингтона, уповая на близкую победу, то и дело сбрасывают со счетов именно этот моральный фактор.

Принц коренаст, очень крепок, у него сильная рука и пронзительно-улыбчивые глаза. Улыбка его ослепительна и к «протоколу» никакого отношения не имеет. Но когда принц отвечает на вопрос, лицо его замирает, делается скульптурно четким — таким же, как и литые тезисы его ответов.

— Нынешний момент? — переспрашивает он. — Объяснение нынешнего момента в Лаосе следует искать в политике американского империализма. Его цель — превратить весь Лаос в неоколониальную военную базу. Способ — война. Однако за последние тринадцать лет агрессии США терпят неудачи, в то время как народ Лаоса под руководством Нео Лао Хак Сат добивается одной победы за другой. Наши успехи особенно значительны в последние два-три года, когда мы стали рассматривать свою деятельность с точки зрения не только военно-политической. Мы поставили задачу — превратить районы, контролируемые Нео Лао Хак Сат, в базу будущего независимого, мирного, нейтрального и процветающего Лаоса. Следовательно, проблемы экономики, культуры, науки нас теперь должны волновать столь же серьезно, как вопросы военно-политические.

Я спрашиваю принца о перспективах, о том, как он себе мыслит возможное развитие дальнейших событий.

— В этом году наши противники провели ряд претенциозных миролюбивых маневров, с одной стороны, и при этом наращивали воздушное варварство — с другой. Мы — миролюбивый народ. Нам навязывают войну. Мы будем сражаться за свою свободу. Сейчас раздаются голоса о необходимости продления «забора Макнамары» из Южного Вьетнама в Лаос. Мы знаем об этом и готовы к тому, чтобы отразить империалистическую агрессию. Я думаю, наша последняя победа под Намбаком заставит призадуматься правых.

— Возможны ли сейчас переговоры с Вьентьяном?

— Я говорил Вьентьяну: лао может говорить только с лао. Только лаосцы должны решать будущее своей страны.

— Следовательно, ваше высочество, переговоры с Вьентьяном возможны при условии прекращения вмешательства США?

— Да. Именно так. Они обязаны прекратить вмешательство, и, главное, они должны прекратить свою «особую войну» против нас.

В пещере стало темно. Принесли фонарь, чайник, маленькие чашки. Принц разлил пахучий зеленый чай, подвинул мне чашку, сказал по-русски:

— Пожалуйста…

— Где вы учили русский язык, ваше высочество?

— По радио. Я слушал московское радио. Ваши дикторы — мои профессора.

— Скажите, пожалуйста, какие произведения — ученых, литераторов, философов, политиков, музыкантов — помогли в процессе вашего формирования как патриота?

— Колониализм, все то, что он несет с собой и моему народу, да и всему Индокитаю, я видел воочию. Ненависть к колониализму — естественное чувство у всякого, кто сталкивается с ним. Несколько лет назад в Лаосе не было литературы. Страна оставалась неграмотной, не имела своей письменности. У нас нет железных дорог. Даже в колониях есть железные дороги… У нас был всегда крайне сложен национальный вопрос — несколько десятков народностей, сотни племен, живших родовым строем. И это все сохранилось и консервировалось колониализмом в средине двадцатого века, уже после того, как была создана теория относительности и запущены первые искусственные спутники Земли. Следовательно, национальный патриотизм, ненависть к колониализму — вот что привело меня к революции. Мы проделали большой путь, и иностранцам порой довольно трудно понять нас. Ни одна страна в мире не переходила от коалиционного мира к беспощадной войне так резко и столь часто, как мы. Многое надо обобщить, над многим надо поразмыслить. Но трудно заниматься теорией, когда сражаешься с оружием в руках против беспрецедентной агрессии.

Потом принц говорит о французской литературе, великолепно трактует Рабле и посвященные ему работы Анатоля Франса. Сейчас принц говорит как филолог, он цитирует Рабле в подлиннике, он сравнивает итальянский, испанский, французский языки и латынь. Обороты его речи парадоксальны и изящны. Я понимаю, сидя с принцем, почему даже враги относятся к нему с почтительным уважением: воистину один из самых просвещенных интеллигентов Юго-Восточной Азии, руководитель народа, сражающегося за свободу и мир…

На обратном пути, когда мы пробирались по горной тропе в свою пещеру, снова прилетели американские самолеты. Продолжалась агрессия. Продолжалась борьба народа против агрессии.

Имя художественного руководителя и главного режиссера Лаосского ансамбля песни и танца Сисанона известно во многих столицах мира. Он приезжал со своим партизанским ансамблем и в Москву. Здесь его великолепно принимали, потому что искусство лаосцев своеобычно и восхитительно.

С Сисаноном я просидел три часа, завороженно слушая его рассказ. Я глубоко уважаю людей, которые отдали свою жизнь, и ежечасно отдают ее, и будут до конца своего отдавать сохранению искусства народа. Когда Сисанон рассказывает о песнях и танцах Лаоса, он весь преображается. Он внешне не похож на артиста. Он похож на воина, на партизана. Зеленая партизанская фуражка с лаковым козырьком, форменная одежда цвета хаки.

Он не привлекает вас внешней эмоциональностью изложения, он заражает внутренним пониманием предмета. Он не заботится о каком-то особом строении фразы, а говорит просто и четко. Когда он рассказывает об искусстве Лао, глаза его делаются добрыми и нежными, как у смеющегося младенца.

(Слушая его, я вспоминаю: мальчишкой, в 1945 году, вернувшись из Германии, я предпочитал всей остальной музыке веселые джазы. Я и сейчас люблю искусство Гершвина, Рэя Конифа, Армстронга. Но у меня тогда, как и у некоторых современных молодых людей, было до странного равнодушное отношение к народной песне. Для нас, детей города, песня порой становилась радиобытом, а не откровением. Ребенок, воспитанный в деревне, на просторе, просыпался с пересвистом птиц, а засыпал с протяжной песней, которую ведут крестьяне, возвращаясь с поля, он без этой песни не может жить. Это его плоть и кровь.

И вот в деревне Титьково, на родине Михаила Ивановича Калинина, я вместе с другом моего отца стоял на озерной вечерней тяге. И вдруг мы услышали протяжную песню: «Летят утки и два гуся». Вели песню одни только женские голоса. Они были очень далекими, эти протяжно-заунывные, прекрасные голоса.

Занималась изумительная серо-розовая заря. За озером, поросшим камышом, виднелись разбитые купола церквушек. Иногда ветер уносил женские голоса. И тогда наступала тишина и слышен был только стремительный присвист пролетавших уток.

А когда женские голоса приблизились и стали явственными,

я вдруг, впервые в жизни слушая песню, заплакал.)

Сисанон рассказывал:

— У нас в Лао каждая провинция имеет свои песни. Я люблю странствующих людей. Это призвание — быть странником. Они несут с собой песню с юга на север, а с севера на запад…

Самые распространенные на нашем юге песни «лам сип ан дон». Лам — песня, сип — четыре, ан — тысяча, дон — остров. На юге течет Меконг, там огромное количество маленьких островов. Поэтому весь юг Лаоса поет «песни четырех тысяч островов».

У нас есть много песен: и «кхап нгын» (песня реки Нгын), и «кхап сараван» (песни провинции Сараван). Или «лам кон саван» (песня Саваннакета).

Если вы, допустим, пришли на базар во Вьентьяне, или Пак Се, или в Самнеа, или в Саваннакете и слышите, какую кто поет песню, то сразу определите, откуда этот человек и кто он.

Я вспомнил, как во Вьетнаме мне говорили, что по тому, как разговаривают люди друг с другом, можно определить степень их родства, дружбы или знакомства. А здесь человека «читают» по песне.

Песни Лао похожи на итальянские, их музыка близка к европейской. И поют их в своеобразной, близкой к джазовой манере. Занести сюда этого не могли, это было здесь тысячелетиями.

Особенно блистательна песня «лам той». Это дуэт-частушка, песенное соревнование мужчины и женщины — кто победит красотой слов, изяществом мотива. Песня эта идет из поколения в поколение, каждый певец привносит в нее свое. Каждый певец Лаоса одновременно и поэт.

Я спросил Сисанона:

— Вы записываете на ноты эти народные песни?

— Практически это невозможно. Слова-то можно было бы записать — есть много вариантов. Но каждый певец творит мелодию. Поэтому если мы запишем песню, мы ее канонизируем и помешаем развитию народного творчества. Мы боимся связать наших певцов по рукам и ногам канонами.

Чтобы сохранить народное искусство, ЦК Нео Лао Хак Сат создал ансамбль «Силапа кон» (в переводе на русский язык «Искусство артиста»).

Танцы Лаоса несут в себе значительные элементы ритуальности. Ритуальный танец «лао фен», например, очень медлителен.

Сейчас раздаются голоса против медлительности лаосских танцев, считают, что необходимо революционизировать танец, внести в него более стремительное новое содержание. Я —

против.

…Зашел певец ансамбля Буа Бай. Буа — значит лотос, бай — трогать. В переводе на русский язык его имя означает «Трогающий лотос».

У «Трогающего лотос» великолепный голос. Он спел несколько песен.

Вот, например, песня провинции Сараван: «Когда дождь идет и нет грома, мне грустно и пусто в этом мире. Но я думаю о своей невесте, и мне уже не очень грустно, хотя и нет грома в этом высоком небе».

А потом вместе с певицей Тян Самай (тян — луна, самай — новая) Буа Бай пел песню «Кхаптум». Начал песню Буа:

— Как прекрасны ваши глаза, ах, как прекрасны ваши глаза! Бог создал их такими прекрасными… И никто не может не любить вас, лишь только раз взглянув на вас!

Девушка ему отвечает:

— Ах, как красивы вы, мой друг, как красивы вы, мой друг! У вас такое красивое круглое лицо. Хотите взять меня к себе в дом? Если нам повезет, я стану жить подле вас, в вашем доме.

Они поют, набегая мелодией друг на друга, уважительно дожидаясь окончания словесной фразы, и в песне этой чувствуется томительная любовная игра.

Церемония исполнения песен в Лаосе имеет свою строгую, закономерную последовательность. Если люди собрались на праздник, то сначала нужно петь «Ламвой». Это протяжная, неторопливая мелодия. Соперники и в то же время неразделимые союзники в песне — мужчина и женщина присматриваются друг к другу. Еще нет прямого приглашения к любви, еще идут осторожные, даже еще и не любовные, а традиционные сравнения девушки с цветком, юноши с оленем.

Потом, когда они осторожно «прощупали» друг друга, ритм меняется и протяжная мелодия переходит в джазовую. Мелодия развивается на ходу, и слова придумываются на ходу.

Только после «Ламвой» можно спеть «Лам лонг», а в заключение исполняется «Лам вонг». Мужчина и женщина славят любовь, которая — что бы ни было в мире — не может не состояться.

Потом Буа Бай спел мне еще одну великолепную песню. В этой старинной песне, которую он знает от деда, много таких слов, которые сам Буа Бай не мог толком обяснить. Каждому слову он давал пять-шесть толкований. Песня называется «Пошел за медом»:

— Пошел за медом. На скале прилепился улей. Ах, как

трудно к нему подобраться! А я иду, иду к улью, забираюсь, боюсь пчел. А ветер дует. Ветви деревьев качаются. Я хотел взять мед пчел. Вместо дела вышло слово. Всем говорил: «Иду за пчелами, иду за пчелами, иду за медом». Ну ладно же, пчелы, ну ладно же, скалы, ну ладно же, дерево, коварное и хитрое, которое не позволяет мне подобраться к улью! Я срублю тебя. Ну-ка, давай с тобой подеремся, кто кого! Я тебя срублю, и ты упадешь, и тогда я проберусь к пчелам и возьму мед. И это будет уже не слово, это будет дело, а это вкусный, сладкий мед.

…Самую известную певицу зовут Тян Сук. Она часто выступает по радио. Ее знают и во Ветнаме, и в Лаосе, и в Таиланде. Красота смуглой Тян Сук изумительно гармонирует с ее удивительной застенчивостью. Она спела песню «Лам лонг»:

— Свинья кричит, свинья кричит, прощается. Ей нужно прощаться, хотя наступил «год свиньи». Новый год богатой свиньи. Собирается народ, собирается народ, праздновать Новый год, чтобы встретить удачу. Все счастливы, сверкают глаза. Мужчины красиво одеты. Ах, как это прекрасно, когда мужчины красиво одеты! Но позвольте мне полить вас водой. Я оболью вас водой, красивые мужчины. Это будет очень хорошо для вас, потому что жарко. Ведь Новый год всегда празднуется в жару.

(Когда в Лаосе празднуется Новый год, люди обливают друг друга водой, и достается всем — и простолюдину, и принцу.)

Утро было туманным. Когда я выглянул из пещеры, показалось, что все вокруг опущено в огромный резервуар с проявителем: с каждой минутой все четче и яснее проступали контуры окружающих гор; вдруг двуедино обозначались странной формы деревья: реальное дерево и его тень в тумане подсвечены невидимым земле солнцем. Все окрест было очень зыбко, минорно и тихо. Американцы не летали, потому что туман был высок и плотен.

Валя Свиридов, умываясь, хмыкнул:

— Хитрость — это слабость. Умному хитрость не нужна. Умный — он уже умный.

— Ты это к чему? — спросил я.

— Хочу пробиться в Ларошфуко, — ответил он, — в переводчиках жить скучно.

…Пользуясь туманом, пробрались на машине на маленькую ткацкую фабрику, расположенную в скалах. Рядом, тоже в пещерах, — автомастерская: здесь ремонтируют и легковые машины, и бронетранспортеры. Делают это лаосцы, которые

раньше с недоуменным презрением смотрели как на отвертку, так и на болт.

В этих скалах, вдали от электростанций, вдали от дорог, кинотеатров и музеев, рождается рабочий класс нового Лаоса. Во Вьентьяне ни фабрик, ни подобных автомастерских, как говорит Сисана, нет.

Весь день мы бродили вместе с Сисаной, смотрели, как ткут ткань и ремонтируют машины, а после в одной из пещер я снова атаковал его вопросами о культуре Лаоса. Песню, сказку, прозу, поэзию — нужно пропускать через сердце, и здесь мы с ним чувствуем себя полными единомышленниками: он видит, с каким интересом я его слушаю, и от этого еще больше загорается, подробно, с деталями, рассказывая мне то, о чем не написано пока еще ни в одной книге.

— Очень колоритны праздники Лаоса, — рассказывал Сисана. — Например, «Кхао Пхан Са». Это праздник «Вход возраста». Отмечается он в каждом селении, когда бонза уходит на три месяца в пагоду. Празднуется также его выход из пагоды. А вскоре после этого начинается праздник, который длится неделю, если не больше, — «Кхао Падаодин», то есть «Украшение земли».

Праздник «Украшение земли» предшествует уборке урожая. В каждом доме готовят специально «кхао мао» и «кхао ханг» (недозрелый рис, смешанный с соком кокосов). Этим очень красивым и вкусным кушаньем «угощают» землю, разбрасывая на полях, чтобы сытая земля была добра к людям.

В это же время на Меконге устраиваются гонки на пирогах. Церемония гонок очень интересна. По течению идут четыре длиннющих пироги, в каждой по двадцать — тридцать человек. Победителем считается не та, которая обошла три другие пироги на корпус или полкорпуса, а та, которая вырвалась вперед и отрезала путь всем остальным, остановившись поперек реки.

Есть гонки «против течения». Смысл их заключается в том, чтобы как можно больше дурачиться во время соревнований. Люди на лодке пляшут, кривляются, шутят со зрителями. Но при этом важно не опрокинуться. Быть все время на грани того, чтобы перевернуться, упасть, вызывать у зрителей хохот, но тем не менее прийти следует первым. При этом, подгоняя лодку, гребцы громко поют: «Лодка наша маленькая, лодка наша душечка, поскорее спустись по течению». Загребной исполняет работу поэта: он сочиняет стихи, подсказывая слова другим гребцам.

«Праздник воды» — это когда на Новый год друг друга обливают водой. Празднуется это две недели, как минимум. Начинается гулянье с того, что в пагодах и домах происходит омовение Будды. В первой половине дня собираются люди в

пагодах и все вместе обливают водой большого, самого главного Будду. После этого начинают омывать главного бонзу. А уже затем следует всеобщее обливание водой. Во второй половине дня молодежь идет в лес за цветами. Лаосцы очень любят цветы. (Даже сейчас в пещерах на столах всегда цветы.)

Юноши и девушки возвращаются с цветами в пагоды и украшают цветами Будду. По закону водой обливаться можно только днем. Тогда градусов тридцать, и это не страшно. А вечером двадцать градусов тепла (это очень холодно), люди могут замерзнуть и простудиться. Так отмечают конец «сухого сезона».

В последнюю ночь праздника юноши и девушки сооружают маленькие пагоды из мокрого песка. Это тоже своего рода соревнование. Здесь, в Лаосе, все — и песня, и танец, и цветы — формы соревнования, томительного любовного соревнования. Тот, кто построил самую изящную песочную пагоду, делается избранником самой красивой девушки.

Интересен и «Праздник ракет». Он связан с легендой о короле, который по требованию Брамы отдал ему двух своих детей. Поэтому воздается хвала доброму человеку, могущему отдать самое дорогое богу.

Во время праздника много говорится о Будде, в проповедях рассказывается о жертвенности. Но это для старшего поколения.

Юношей и девушек не загонишь слушать проповеди о жертвенности, о Будде, о том, как старики должны жертвовать детьми. В это время дети позволяют себе — не без водки — повеселиться возле пагоды.

Вообще, в отличие от непьющих вьетнамцев, лаосцы не прочь пропустить стаканчик. Но ни одного дерущегося лаосца — как бы пьян он ни был — вы никогда не увидите. Это самая миролюбивая и самая добрая в отношениях друг к другу нация.

Как делаются ракеты? Берется бамбук, изнутри чистится ствол, украшается ленточками, фольгой, и начинается соревнование, чья ракета полетит дальше и выше.

Есть целая система петард, системы пороховых зарядов в бамбуковых ракетах.

Ракеты перелетают через Меконг, который разливается от полукилометра до километра. Зрелище это фантастическое.

Есть праздник, посвященный жабам: и в Лаосе, и во Вьетнаме, как и у нас, впрочем, считается, что, когда жаба вылезает на дорогу из воды, это к дождю. Поэтому в селениях Лаоса делают из коры деревьев символическую книгу и отправляются по дорогам рассказывать специально сочиненную для жаб интересную сказку, рассчитывая, что те вылезут из болота послушать ее (как же можно отказать себе в таком удовольствии!).

А уж если жабы вылезут на дорогу послушать посвященную им сказку, то обязательно будет дождь.

Если же дождя тем не менее нет, тогда устраивается особый праздник. Люди специально «сердят» бога: молодежь ходит по улицам, изображая пьяных. Юноши падают, ругаются, кричат, вздымая кулаки к небу. Ребята наряжаются в гулящих женщин, изображают любовные сцены, ходят с неприличными, очень эротическими рисунками по улицам в надежде, что бог разгневается и обрушит с неба много воды, чтобы разогнать «хулиганов» по домам.

(Когда я ехал в Лаос, меня предупредили, что ни в коем случае нельзя гладить детей по голове: погладив ребенка по голове, вы таким образом спугнете его Будду, который всегда сидит на голове.)

Все в Лаосе знают церемонию «Ба Си». Когда вы входите в селение, руки вам обвязывают ниточками.

В чем дело? Сисана объяснил мне этот обычай.

Допустим, ребенок упал и сильно ушибся. В Лаосе считается, что при сильном ударе «душа» может «выскочить» из человека. Так вот, чтобы «душе» не дать совсем улететь из человека, обвязывают ниточкой руку, чтобы «душа» была с ним все время и активно сражалась с болезнью.

Заболел ваш друг. Ему давали снадобья, пичкали лекарствами, но сколько его ни лечили, ничто не помогало, ему становилось все хуже и хуже. Тогда вы, как друг, обвязываете руку больного своей ниточкой. Это значит — вы ему отдали свою «душу», чтобы она помогала бороться с болезнью (своего рода духовное донорство).

— А почему мне, пришельцу, тоже повязывают ниточку? — спросил я Сисан Сисану.

Он ответил:

— Если вы открыто, с улыбкой, пришли в поселок, значит, вы друг. Враг не придет так, как вы. И вам повязывают ниточку, чтобы вы навсегда остались здесь. И еще — чтобы «душа» старейшин этого селения всегда была с вами, в вашей трудной дороге.

Большинство праздников лао лумов порождено буддизмом.

— Но есть праздники, — рассказывал Сисана, — которые рождены вне буддизма. Они строятся на догме «предотвращения зла». Вообще-то буддизм не обещает наказания за грех. Это вопрос совести. А суеверие обещает наказание. Суеверия распространены больше всего среди национальных меньшинств. Так, у некоторых национальных меньшинств до сих пор сохраняется много табу. Например, нельзя трогать какое-то

определенное дерево в джунглях, нельзя ходить к какому-то месту — к водопаду, к болоту, — покарает бог. Будет беда.

…Есть очень занятные суеверия. В Лаосе роль черной кошки «исполняет» олень (оленя в джунглях чаще увидишь, чем черную кошку). Если тебе дорогу перебежал олень, знай, что тебе не будет пути. Лучше вернись. Если же олень вошел в деревню, то это точный знак того, что деревня сгорит. А вот если ты увидел змею, то, говорят, это к счастью.

Я спросил Сисану:

— Значит, если олень зашел в деревню, спасения нет?

— Это ужасно, просто ужасно. Хотя и в этом случае есть ряд выходов, — ответил Сисана. В глазах у него были смешинки. — Если убить оленя в деревне, то стопроцентной гарантии, конечно, нет, но появляется много шансов, что она не сгорит. Если же вы оленя в деревне не убили, необходимо немедленно принять меры предосторожности. Нужно устроить торжественную церемонию во имя «доброго духа селения».

У наших национальных меньшинств, помимо пагоды, в каждом селении есть свой добрый дух. Жители выбирают старейшего и поручают ему сделать духу специальное приношение. Принести в дар можно курицу или свинью. Это приношение называется «кэ кхо». «Кэ» — судьба, рок, «кхо» — нейтрализация. «Кэ кхо» означает: «нейтрализовать судьбу». Приношением курицы или свиньи можно в определенной мере нейтрализовать судьбу, задобрив духа селения.

У буддистов тоже есть некое подобие «кэ кхо». Например, человека в каком-то определенном году — году «свиньи», «козы» или «обезьяны» — преследуют неудачи. Естественно, все эти несчастья зависят от духа того или иного года. Значит, нужно из зеленой коры бананового дерева вырезать фигурку символа того года, который несет с собой несчастья. Потом кладут фигурку козы или обезьяны на поднос, а рядом с ней кусок одежды невезучего человека. Просят бродячего кудесника произнести магическое заклинание. После этого тряпочку нужно спрятать в карман, а поднос с фигуркой осторожно положить на воду и пустить по течению, чтобы «ты» (тряпочка) остался с самим собой, ибо «ты» — это твое счастье (а ведь человек рожден быть счастливым, не так ли?), а несчастливый год, как нечто пришедшее извне, непонятное и неодолимое, должен уплыть по Меконгу и исчезнуть в океане.

У некоторых народностей Лаоса сохранились серьезные суеверия, нарушать которые дело опасное. Например, в каждом доме две лестницы. Одна, парадная, ведет в гостевые комнаты, вторая — на кухню, к очагу.

Так вот, сырое мясо, даже если ты его принес в подарок хозяину дома, нельзя вносить через парадный вход, его можно внести только через черный вход, к очагу.

Почему? Потому что сырое мясо — это невкусно, неэстетично, некрасиво, и дух дома, который, естественно, живет здесь и «входит» в дом через главный вход, разгневается; наверняка после этого будут несчастья с членами семьи.

На гостя дух не имеет права рассердиться. Но его гнев зато наверняка обрушится на тех хозяев, которые позволили гостю внести сырое мясо через главный вход.

Добрый дух должен всегда присутствовать во время угощения. Да и угостить его не грех, поставив тарелку с мясом в красный угол.

Есть маленькая деревенька — она сейчас разбомблена. Там до сегодняшнего дня было тридцать два табу. Например, табу для гостя — лечь спать поперек дома. Нужно спать всегда вдоль дома, головой к тому месту, где живет дух, а дух в каждом лаосском доме живет там же, где у православных висят иконы, — в красном углу. Если же гость лег спать поперек, это ужасно, тем более если он трезв. Нужно срочно делать жертвоприношение: забить курицу и положить ее на то место, где гость спал, — задобрить духа. А еще лучше забить свинью.

Между прочим, в лаосских и вьетнамских деревнях очень много свиней — черных, похожих на диких кабанов. И живность эту разводят, особенно в глухих деревнях, отнюдь не для того, чтобы забивать ее для себя, а чтобы задобрить доброго духа. В основном жители едят оленину и рыбу, а не свинину и курицу — этим либо угощают особо почетных гостей, либо задабривают духа.

Куриные яйца взрослые не едят. Это дорогой деликатес, их дают только маленьким детям.

Самое большое выражение любви к гостю — поднести яйца в плетеной сумке. Это значит, что гостя любят, как своего ребенка.

Чем больше яиц будет в плетеной сумке, тем больше тебя любят. Чем больше тебя уважают, тем больше тебе положат в тарелку курятины или свинины.

А если гостя угощают оленем или рыбой, значит, к нему равнодушны, потому что хозяева это едят сами.

Еще о суевериях, не известных никому из европейцев.

В Нижнем Лаосе человека, например, нельзя трогать за руку. Почему? Мы с Сисаной так и не докопались. Во всяком случае, тот, кого тронули за руку, должен сразу принести жертвоприношение.

В других местах, например, категорически запрещено мыть

посуду, ее можно только выскабливать.

Или — ни в коем случае нельзя подметать двор. Это табу.

Месяц в году запрещено вообще что-либо делать. Особенно это относится к женщинам.

Отношения мужчины и женщины в Лаосе сугубо сложны. В каждом районе, например, ухаживания, предсвадебная пора проходят по-разному.

В определенных районах влюбленным разрешено встречаться не в домах, а только в лесу. Там они могут веселиться как хотят (это выражение Сисаны), но не переходить «последней грани». Если же все-таки они «пали», то должны немедленно принести в жертву свинью.

Скрыть «грех» невозможно, девушка не пойдет на это. Я спросил Сисану о «тайном грехе». Он даже не понял меня. Отношение детей к родителям здесь исключает возможность скрыть что-либо от старших.

(У Сисаны был друг, кадровый партийный работник, он жил на юге Лаоса, в доме женщины, которую любил. Но он кадровик, подпольщик, должен быть мобильным, и ему ЦК посоветовал подождать с женитьбой. И он не перешел «черты запрета».)

Если возлюбленные нарушили закон и начали любить друг друга еще до свадьбы, свинья, принесенная в жертву, спасет их от позора. Но если девушка забеременела — это крах. Ее прогонят из деревни.

— А если она уйдет в другую?

— Нет, — ответил Сисана, — в другой деревне ее убьют, потому что она чужая. Если же ее, паче чаяния, приютят, тогда деревня, из которой ее выгнали, пойдет войной на ту деревню, где она нашла себе приют. Будет межплеменная война.

У народности лао тхыонг есть иной обычай: там влюбленные имеют право жить друг с другом до свадьбы, но они обязаны об этом сказать всем жителям. Для них на берегах озер строят маленькие «домики любви». Там располагаются несколько парочек. Любовь обязательно чередуется с купанием в ночном озере.

В некоторых районах у лао лумов женщина с ребенком ценится больше, чем девушка. Молодые люди сражаются за такую женщину, потому что стремятся увеличить потомство.

Женитьба — в глухих местах и по сей день — это попросту покупка жены. Жена всегда уходит жить к мужу, и он платит за нее выкуп, потому что в доме отца теряют две рабочие руки. Бывает и так, что младший брат наследует жену старшего. До недавнего времени было распространено многоженство. Разрешалось иметь до десяти жен.

Разводов в принципе не существует. Если муж не может жить с женой, он ее прогоняет. Жена, естественно, мужа прогнать не может — она куплена.

— А если измена?

— Измена? — переспросил Сисана. — Что такое измена? Мужчина может жить с кем он хочет, это было у нас раньше в порядке вещей.

— А женщина?

Сисана улыбнулся.

— В Лаосе такого не бывает.

…Суеверия, конечно, прелестны, когда несут в себе заряд необычности и веселости. Но сохранились кое-где и по сей день страшные суеверия.

Маленькое племя у лао суонгов — ко. Если у них в деревне рождается двойня, детей убивают. До сих пор там пугают маленьких девочек: «Если будешь лениться, то когда выйдешь замуж, родишь двойню».

Есть категория пословиц и поговорок — «Син Сай». Эти пословицы пришли из популярной сказки «Син Сай» — самой распространенной сказки Лаоса, которую рассказывают в стихах.

«У короля была любимая сестра, но эту сестру похитило чудовище и взяло себе в жены. Король ужасно расстроился. А у него было пятнадцать детей. Из них от первой жены три любимых его отпрыска: первый сын Человек — Син Сай, второй сын Лев — Син Хо, а третий Улитка — Сант Хонг.

Собрал король всех своих детей и сказал им: «Я очень расстроен. Кто из вас может придумать что-нибудь для спасения моей любимой сестры?».

И все пятнадцать сыновей отправились искать свою тетю, прелестную сестру короля.

Попали они в лес. Лес густой, дорог нет. Куда идти? Заблудились дети короля, аукаются, кричат друг другу в тоске.

Син Сай их собрал, привел в деревню и сказал: «Сидите здесь и ждите нас». А сам вместе со Львом и Улиткой пошел дальше.

Пришли они во владения чудовища и узнали, что оно уже справило свадьбу.

Тогда решили они сражаться до победы и спасти сестру отца.

Син Сай пробрался в дом чудовища. Чудище спало.

Син Сай разбудил свою красавицу тетю.

«Отец зовет тебя обратно», — сказал он.

«Обратно так обратно», — согласилась сестра короля, но, как заметил Син Сай, без особого энтузиазма.

«Собирайся быстро», — сказал Син Сай и вышел.

Сестра короля собралась, вышла к Син Саю, и они пошли к

воротам замка.

«Ах, забыла гребень», — сказала сестра короля.

Син Сай долго ждал ее, но она не возвращалась.

Тогда он пошел за ней.

Сестра короля сидела у зеркала в раздумье.

Син Сай взял ее за руку и вывел из замка.

Пришли они ко Льву, который ждал их в засаде, а потом к ним присоединился третий сын — Улитка.

А чудище, которого звали Ня Кум Пхан, проснулся и увидел, что нет жены.

Собрал он армию и бросился вдогонку. По тому, как тряслась земля, Син Сай понял, что за ними погоня.

«Бегите с сестрой отца в наш замок, — сказал Син Сай своим братьям Льву и Улитке, — а я буду здесь сражаться.

И разгромил чудище.

На обратном пути Син Сай забрал двенадцать братьев, которые ждали его в деревне, и вернулся к отцу.

Король был счастлив. Но совсем счастливым он сделался, когда чудовище пришло к нему и коленопреклоненно — «по протоколу» — стало просить руки королевской сестры.

Мораль: «Если хочешь чего-то добиться, поступай по правилам».

Сисана смеется:

— Неплохая, между прочим, мораль.

…Снова прилетели «АД-6», началась бомбежка, и — самое противное — появился вертолет.

Залаяла маленькая зенитная пушечка патриотов, но вертолет стремительно летал между скалами и был недосягаем.

Мы думали: «Не к десанту ли это? Парашютистов они кидать умеют».

Прибежала запыхавшаяся, бледная дочь покойного министра иностранных дел Фолсены — Кем Фет:

— Я думала, наступил мой последний час. Шла по тропинке, а они прилетели. А я в красных носках. Ведь красный цвет, говорят, сверху очень хорошо виден.

— Душенька — красный цвет, думаю, хорошо виден! Среди буйного разноцветья тропических трав пойди заметь сверху ее красные носки.

— Продолжим работу. Они, верно, прилетели на целый день, — сказал Сисан Сисана. — Итак, о сказках. У нас есть очень красивые сказки. Есть распространенная сказка «Акала кет», есть сказка о любви — «Кхун Кхынг», это наши Ромео и Джульетта.

Кхун Кхынг любил Нанг Уа. Родители запретили им

жениться, потому что Кхынг был беден. Уа выдали замуж за богача, но она сбежала от своего нелюбимого мужа с возлюбленным. Они могли бы и дальше жить вместе, но не стали этого делать, а решили уйти из жизни, чтобы не обижать родителей. Лучшим выходом для них стала смерть. Они вместе кончили жизнь самоубийством.

Есть и озорные сказки. Наиболее известен цикл сказок «Сьенг Мьенг». Вот одна веселая история про Сьенг Мьенга.

«Гостил этот маленький бонза как-то во дворце короля. Однажды туда приплыл на лодке иностранный принц. Причалил он к берегу и сказал королю: „Я привез лысого борца. Я хочу, чтобы ты выставил своего лысого борца и чтобы они бились лбами до тех пор, пока один из них не победит“.

Король испугался. Во-первых, у него в государстве не было лысых (в Юго-Восточной Азии, по-видимому, действительно нет лысых, — во всяком случае, я ни одного не видел). А во-вторых, думал король, если его лысый проиграет, сраму не оберешься, прощай королевский престиж.

Он пришел к себе во дворец и заплакал от тоски. Сьенг Мьенг успокоил его: „Не плачь. Я тебе помогу“.

Он пошел на базар, собрал подданных короля и сказал им: „Берите-ка тонкие бумажки и сплетите из них толстый канат“.

Они сплели из бумажек длинный канат. После этого Сьенг Мьенг собрал друзей и сказал: „Ходите по владениям короля и кричите, что сегодня наш король поведет купаться лысого богатыря, поэтому прячьтесь, люди, лысый может вырваться и вас всех поубивать“.

Вечером Сьенг Мьенг побрился, опоясался громадным бумажным канатом, дал один конец каната в руки королю. И процессия двинулась к реке.

Мьенга сдерживал не только один король, а еще пятьдесят стражников.

Иностранный принц, конечно, наблюдал за всем происходящим.

Сьенг Мьенг вошел в реку, пятьдесят человек его еле сдерживали.

Вдруг люди закричали: „Сейчас лысый сорвется, надо бежать!“

Действительно, Сьенг Мьенг оборвал бумажный канат и ринулся на иностранного принца.

Тот испугался и убежал».

Сисана, усмехнувшись, сказал, что это «антиправительственная» сказка. Я возразил:

— Почему? Мьенг боролся не против своего короля, а против

иностранного принца.

Сисана ответил:

— Нет. Вы неправы. Мьенг косвенно опозорил и своего короля, показав его глупость народу.

Еще одна история Сьенг Мьенга: «Король потерял аппетит.

— У тебя есть лекарство против этого недуга? — спросил король Сьенг Мьенга.

— Есть, — ответил Сьенг Мьенг. — Только идти за ним далеко.

— Принеси, — приказал король.

— Нет, — ответил Сьенг Мьенг, — оно будет недействительным, если его принесу я. Важно, чтобы ты, великий король, сам его вырыл из земли и тут же съел.

Собрались, пошли.

Сьенг Мьенг взял с собой корзину крестьянского рису и самый простой рыбный соус. И больше ничего.

Солнце поднимается все выше и выше, печет нещадно. С короля пот льется.

— Скоро? — спрашивает он.

— Нет еще, — отвечает Сьенг Мьенг. А день уж к вечеру клонится.

— Скоро? — взмолился монарх.

— Тут рядом, — сказал Сьенг Мьенг. — Вот за теми горами, еще часа три. Только мне перекусить надо. Я с собой взял крестьянский рис и простой соус.

— Ну-ка, дай мне, — сказал король и немедленно съел весь крестьянский рис с простым крестьянским соусом.

— Вкусно? — спросил Сьенг Мьенг.

— Очень! Никогда такой вкусной пищи не ел.

— Ну вот, — сказал Сьенг Мьенг, — ты и съел мое лекарство. Теперь можно возвращаться домой…»

Вечером, когда все уснули и бомбежка кончилась, писал корреспонденцию для «Правды». Завтра отъезд. Надо подвести итоги, записать впечатления.

…Сейчас в Лаосе идет 2510 год буддистской эры. В апреле, в пятнадцатый день Полной Луны, люди станут приветствовать Новый год — 2511-й…

Если попробовать стать писателем-фантастом и допустить на мгновение, что, попав в Лаос, в районы, контролируемые Нео Лао Хак Сат, вы, таким образом, перенеслись в следующее тысячелетие, то каждому, кто знает сегодняшний день этой далекой горной страны, станет страшно.

2510 год отмечен горестным безлюдьем земли: ни одного человека вы не увидите на дорогах днем. Собственно, дорог как таковых нет — земля изрыта воронками от тонных бомб. Да и что такое лаосские дороги? В стране нет ни одного километра асфальта. Машины идут по узким долинам, стиснутым среди серо-голубых громадин скал. Потому бомбят все долины; это не преувеличение — американская авиация изменила тактику и вместо бомбежек конкретной машины, появившейся на дороге, или конкретной группы школьников, возвращавшихся из школы, теперь бомбит просто-напросто квадрат карты, перепахивает землю. А ее здесь очень мало — земли в горах. Эта земля кормит людей, а сейчас ей не позволяют кормить людей: рисовые поля, немыслимые без сложной лестничной системы ирригации, тоже изрыты бомбами.

Самолеты ВВС США бросают тонные бомбы на скалы — туда, где, по агентурным данным диверсионных групп, заброшенных с американских самолетов, расположены госпитали, школы, общежития. Сейчас в этих районах Лаоса ни один человек не может жить в своем доме — все сожжено и разрушено, и людям приходится ютиться в холодных пещерах. Здесь изучают математику, здесь стирают белье, здесь рожают детей, здесь пишут книги и дают концерты.

В пещере у Сисан Сисаны, выдающегося лаосского поэта, стоит стол, на нем пишущая машинка и магнитофон: Сисана — руководитель Информационного агентства Нео Лао Хак Сат. Здесь, в пещере, — нары. Это и есть квартира. На этих нарах живут пять сыновей Сисаны и трехлетняя дочка. А подле бледной, прозрачной его жены, которую зовут «Цветок лотоса», лежит маленький человек одного месяца от роду. Сисан Сисана назвал сына, родившегося в пещерах, — «Солнце».

Если во Вьетнаме американские бомбардировщики чувствуют себя теперь отнюдь не так вольготно, как в первые дни агрессии (недаром в Таиланде в барах на военных базах вошел в моду «смертельный коктейль» под названием «МИГ-21» — шампанское с водкой!), то здесь, в Лаосе, где нет того шквала заградительной противовоздушной обороны, который так пугает американских летчиков во Вьетнаме, ВВС США упражняются в бессмысленной жестокости.

Я прожил две недели в пещерах Лаоса и пришел к выводу, что действия американской авиации здесь нельзя расценить иначе, как продуманную подготовку лаосцев к рабству.

Днем ревут реактивные смертоносцы, ночью надсадно, как бормашина у стоматолога, нудит в черном звездном небе «АД-6». Этот подолгу вертится на одном месте, прежде чем сбросить свой

груз бомб, этот, в отличие от «Ф-105» и «тендерчифов», тщателен в выборе объекта бомбометания.

Однажды ночью мы пробирались по узенькой лощине в скалы, где сейчас расположена школа. В кромешной тьме ночи плавали зеленые светлячки и надрывно трещали цикады. Если бы не комиссар охраны Сисук, вышагивавший впереди с автоматом на груди, то и светлячки эти, и цикады, и громадное, тихое, звездное небо — все это походило бы на Кавказ. И кажется: вот-вот повернешь за скалу — и замелькают впереди огоньки селения, и веселый горец скажет: «Гамарджоба, генацвале, ругу рахар» и поведет тебя на освещенную террасу дома, и нальет стакан синего вина, приглашая к неторопливой беседе.

Мы действительно свернули за выступ скалы и увидели высоко в горах красный огонь костра, — видимо, жарили оленя, чтобы не разводить костер утром: дым в голубом небе заметен издалека, особенно сверху.

Одновременно с этим багровым светом высоко в скале мы услыхали поначалу далекий, но все время приближающийся звук «АД-6».

Комиссар охраны Сисук обернулся и крикнул по цепи:

— Фонари!

И мой товарищ Понг Сурин Фуми и Ви Лай выключили фонарики, а Сисук вдруг неожиданно громко закричал, сложив ладони рупором:

— Эй, в пещере, костер тушите!

Его там, видимо, не слышали: сидят себе люди у костра, смотрят завороженно, как выстреливают острые красные искры в ночную тьму, как жар ломает хворост и как обжаривается, запекаясь розоватой корочкой, оленья нога.

Самолет теперь ныл уже где-то совсем рядом. Сисук стащил с груди автомат и выпустил очередь метров на сорок выше костра, полыхавшего в пещере сине-багрово, дымно и жарко.

Я увидел, как вокруг костра заметались зыбкие, расплывчатые тени людей. Пламя на мгновение сделалось очень ярким, а после в том месте вырисовался жутко-зеленый провал темноты, — так бывает, если долго тереть закрытые глаза, после их резко открыть, — и в это же время в мир пришел новый звук, знакомый мне с августа сорок первого.

Сисук что-то крикнул, — видимо, велел ложиться, мы, попадав, успели чуть отползти от тропы к скале, и в это время земля дернулась, словно от острой боли, громыхнуло сразу в нескольких местах, — сработало эхо, стало на мгновение мертвенно, сине-светло, будто бы сверкнули сотни магниевых фотовспышек.

Я запоздало закрыл глаза и открыл рот: в горных лощинах, где кидают тяжелые бомбы, были случаи, когда от взрывной волны выскакивали глазные яблоки и рвались барабанные перепонки, — но Сисук уже поднялся, проворчал что-то вслед улетавшему самолету и сказал:

— Можно идти, он улетает…

Так что, как я убедился, у ночных «АД-6» точность бомбометания исключительная: где есть огонь, там, значит, еще живут люди — это и бомби!

Самыми первыми жертвами «АД-6» во время их ночных налетов стали буддистские храмы: люди приходили туда ночью, весь Лаос сейчас живет ночью, а «точные» американские летчики кидали свои тонные бомбы на эти огоньки света в храмах.

Бонза Ки Кэо, глава ассоциации буддистов в провинции Самнеа, рассказал мне о том, как авиация США воюет с религией.

В пагоде Бан Бан в Самнеа шла служба. В это время налетели «АД-6». Они сначала сбросили осветительные ракеты. Стало светло и холодно.

Бонза Ин Тхонг и пять молодых монахов начали уводить верующих в убежище. Они в общем-то не очень верили, что будут бомбить: хотя американские летчики и христиане, но все равно они верующие люди — нельзя бомбить храм бога, даже если он имеет иной цвет кожи, нежели чем у Христа.

Но когда стало особенно светло, самолеты сбросили тяжелые бомбы.

Бонза Ин Тхонг и пять монахов были убиты, десять молившихся, не успевших спрятаться, тяжело ранены.

В провинции Самнеа за последнее время разрушено 26 пагод, разбито 1660 будд — каждый из них принадлежит не только Лаосу, эти произведения народного искусства, имеющие двухтысячелетнюю историю, принадлежат мировой культуре.

Во время бомбежек только в провинции Самнеа было сожжено более 9 тысяч бесценных буддистских рукописных текстов: по истории восточной медицины, философские трактаты, ботанические наблюдения, собиравшиеся столетиями.

В провинции Луанг-Прабанг разбиты 2 старинные пагоды, памятники мировой культуры, — это Ват Там Нханг и Мыонг Гноу; в провинции Луанг Нам Тха разбито 8 пагод.

…Девочку зовут Тонг Лыонг. Ей тринадцать лет, она учится в третьем классе. Тонг Лыонг говорит чуть хрипловатым голосом:

— Мы кончили заниматься, и учительница нам сказала, чтобы мы поиграли возле пещеры. Стали играть в то, как чистят рис. Играли, а в это время они прилетели. Мы успели забежать в

пещеру, а девочка На Ли И очень испугалась и не успела, она упала на землю, когда засвистела бомба, и заплакала. Бомбы взорвались, и На Ли И очень закричала, потому что ее ранило в ногу осколком. Я побежала к ней и стала ее поднимать, а она не может. Но она маленькая, и я ее взвалила на спину…

— Они больше не бомбили? — спрашиваю я.

Девочка с ужасом бросает взгляд своих громадных глаз на низкий потолок пещеры и отвечает:

— Бомбили. Они после сбросили фосфорные бомбы около входа в пещеры…

Дым от фосфорных бомб медленно вползает в пещеру. Это тяжелый, удушающий дым, и страшен он в первую голову детям: они слепнут и теряют сознание. Погибало по десять человек в классах, в пещере. Учительница не может найти детей — тяжелый белый газ, как вата, стелется по полу.

— Мы сначала выбежали, а после я услыхала, как там кричит Буи. Он ослеп. Он очень маленького роста и сразу ослеп и упал. Я его вытащила из пещеры, а здесь они снова начали кидать фугасы…

— Какой был самолет?

— Их было два. «Эй Ди».

Маленькая девочка волновалась, терзая свои руки, хрустели суставы пальцев (это не только нервное, — из-за того, что американцы загнали людей в мокрые пещеры, детишки стали болеть острым ревматизмом).

…Да, они хотят подготовить людей к рабству, иного вывода я не мог для себя сделать. Но есть хорошая пословица: «Кто посеет ветер, пожнет бурю», она имеет прямое отношение к варварской практике американского империализма в небе и на земле нейтрального Лаоса. Они уже пожинают бурю.

В середине января войска Патет Лао нанесли сокрушительный удар по Намбаку (неподалеку от Луанг-Прабанга), по плацдарму для нападения на районы, контролируемые Нео Лао Хак Сат.

Войска, вооруженные, обученные, экипированные американцами, — их более шести тысяч во Вьентьяне, этих непрошеных военных советников из Пентагона, — откатились под натиском вооруженных сил Патет Лао, теряя американскую артиллерию, американские автомашины, американские автоматы.

Они уже пожинают бурю: в пещерах учится столько народу, сколько никогда раньше не училось. Грамотный человек, приобщенный к мировой культуре, никогда не пойдет на то, чтобы быть рабом. Сюда, в пещеры, возвращаются студенты, обучавшиеся в дружественных странах, — люди, которые будут

сражаться против рабства.

Они уже пожинают бурю: Америка — страна, давшая миру Линкольна и Вашингтона, — стиснута кольцом негодования. Нужно ли это Америке? Может быть, ей стоит прислушаться к голосам тех миллионов честных американцев, которые требуют прекратить грязную войну, которые хотят миру только одного — мира? Может быть, пора?

Сегодня ночью возвращаемся во Вьетнам. Хлопочет наш дорогой Пинг Понг. Ему помогает Кем Фет. Сисан Сисана сидит вместе с нами, тоже задумчивый, грустный. Достает из нагрудного кармана металлическую пачку сигарет «Золотое руно». Долго разворачивает тряпку, в которую была аккуратно завернута металлическая коробочка, и говорит:

— Это мне подарили на XXIII съезде вашей партии. У вас еще такие сигареты, говорят, не курят.

У нас такие сигареты курят, но я, чтобы сделать приятное моему лаосскому другу, говорю:

— Да, эти сигареты у нас крайне редки, и курят их только самые хорошие люди и самые близкие друзья.

Он протянул по сигарете Свиридову и мне. Мы жадно затянулись. Я заметил, что у Сисана осталось шесть сигарет. Как же долго он хранит этот подарок, привезенный из Москвы!

Потом мы сидели за столом — Сисан Сисана, Валя Свиридов и я. Изредка к нам подсаживался Понг Сурин Фуми — он все хлопотал перед нашим отъездом, готовил еду, проверял вещи, бензин в канистрах, оружие.

Сисана сказал:

— Жаль, что я принимал вас с ребенком на руках, в нарушение «протокола». Люди Востока всегда очень щепетильны по отношению к «протоколу». Но вы простите меня за то, что я не соблюдал его в наших пещерах.

Я сказал:

— Самый лучший «протокол» — это когда иностранца принимают с ребенком на руках.

И этот мужественный человек вдруг не смог сдержать слез.

— Дети тоже хотят солнца. Дети тоже хотят жить под небом. Когда же они увидят наше лаосское солнце?

Я уезжал из Лаоса со странным, в определенной мере парадоксальным чувством.

Я проезжал мимо пещер, где сейчас шли занятия медицинских курсов; мимо горных урочищ, которые при свете фонариков обмеряли молодые специалисты по гидроэнергетике; мимо рисовых полей, которые возделывали крестьяне, тоже при

свете фонарей. Возле одной, особенно большой, пещеры мы остановились — там шел концерт. Люди восторженно хлопали любимым артистам и пели вместе с ними великолепную мелодичную «Чампу».

Я проезжал сквозь четко и ритмично пульсирующую жизнь страны, которая борется за единство, нейтралитет, мир и процветание. Этот четкий ритм жизни рождал во мне уверенность в скором и безусловном торжестве того дела, за которое сражаются эти люди.

Мы ехали ночью по дороге, среди огромных воронок, по таинственному, мрачному, обгоревшему, черному лесу. Наткнулись на завал. Сисук выскочил из машины, крикнул нам, чтобы мы падали на землю, а сам ринулся на завал. Засады не было. Он вытер со лба пот, присел на дерево, сваленное бомбой. Мы разобрали завал, двинулись дальше.

На границе распили последнюю бутылку коньяку и запели популярную здесь песню «Чампу». И было нам сладко и горько — так бывает всегда, когда расстаешься с друзьями, оставляя в душе крупицу веры, что предстоят нам еще встречи, и не такие горькие, какие были.

Небо было громадным, черным, звездным. Мы пересекли границу, и еще какое-то мгновение до нас доносились слова веселой «Чампы». А потом стало тихо и вокруг нас сомкнулась ночь…

* * *

1968 год

Отец лежал в клинике Академии наук, напротив Дворца пионеров на Воробьевых горах. После операции он стал совсем желтым, пергаментным и как никогда красивым. Вышел сигнальный экземпляр книги об Орджоникидзе — там были и его воспоминания о работе с наркомом. Отец держал в своих больших руках тоненькую синюю книжку нежно, словно она была хрупкой и от прикосновения могла рассыпаться. Он надписал мне этот первый экземпляр: «Сыну и другу в дни моего возвращения к жизни».

Я приезжал к нему каждый день — утром и вечером. В кресле около окна обычно сидел Илья. Старик и дядька вспоминали детство.

— Сенька бедовый был, — медленно говорит Илья, часто отворачиваясь к окну. — Я в тифу лежал. В сарае, на чердаке, в сене… А меня белые разыскивали (Илья был командиром эскадрона. Его ранили неподалеку от деревни Боровино, где родился отец, — это его и спасло: нашли соседи и ночью перенесли в сарай). А у нас постоем поляки стояли. Они запрещали корову доить — все молоко себе забирали. Специального сторожа в сарае поселили — он даже спал там. Я наверху — в бреду… Сенька ночью дождется, пока Старик солдат заснет, пролезет в сарай и тихонько корову выдаивает. Струйки молока о стенки ведра — «дзинь-дзинь», я даже замирал наверху, ночью-то бред у меня проходил — все не как у людей… надоит литра три и ко мне лезет, отпаивает.

Я смотрю на моего седоволосого красивого Старика и никак не могу представить его крестьянским мальчишечкой возле коровы. Я, помню, заслушивался рассказами отца о конях, но я думал, что это в нем от службы в кавалерии.

Он, как никто другой, умел чувствовать природу: мальчишкой он вывозил меня ранней весной в лес, садился на пенек и, замерев, подолгу слушал пение птиц, рассказывая мне удивительные истории о синицах и малиновках. Мне всегда казалось, что эта обостренная любовь к природе рождена в нем городом — я-то с рождения помнил его горожанином…

А на самом деле в нем, видимо, жило изначальное, крестьянское, обостренно-нежное тяготение к природе и особое, «тщательное», я бы сказал, ее понимание.

Последние годы отец все чаще и чаще говорил о своей мечте

— поехать в родную деревню. Он знал, что знакомых там не осталось, а родственников тем более: эта белорусско-литовско-еврейская деревушка была стерта с лица земли гитлеровцами, жители угнаны в рабство или расстреляны, но он все равно мечтал посмотреть родину, ибо в этом огромном мире у каждого человека есть своя маленькая, единственная родина.

В США я должен был улетать двадцать пятого мая, в день рождения Старика. Год назад мы отмечали его шестидесятилетие в мраморном зале ресторана «Москва». Старика наградили орденом, пришли издатели, литераторы, военные — все его друзья. Он был по-настоящему счастливым человеком — у него всегда было много друзей.

— Я отказался от полета в Штаты, — сказал я Старику.

— Почему? — спросил он.

Как же мне было ответить ему? Я-то знал, что дни его сочтены, я-то знал, что врачи отпустили ему месяц, от силы два месяца жизни. Я-то знал, что операция длилась полчаса: разрезали и зашили…

— Летит группа, Старик, целая группа писателей и кинематографистов… Я не умею путешествовать с группой.

— Это глупо… Организуешь для себя программу, будешь смотреть то, что интересно тебе и встречаться с тем, с кем тебе важно встретиться. Разве это трудно отладить на месте? Не глупи и отправляйся — тебе после Вьетнама и Лаоса надо побывать в Штатах, цепь обязана быть замкнутой.

Он пытливо смотрит мне в лицо — логика его доводов абсолютна. Это ужасно, когда надо играть с отцом.

— Хорошо, — говорю я, — ты прав. Полечу.

Я знаю, что я не полечу. Скажу, что опоздал на самолет, в конце концов.

Но тогда он заставит меня вылететь следующим рейсом. Ничего. Придумаю отговорку. Только не здесь, не под его взглядом. Я не могу ему врать. Я должен буду приготовить себя к тому, что вру смерти, а не моему Старику.

Посмотрел на часы: надо встретить Валеру и Мишу. Они обещали приехать к двум часам. Ждал их в садике клиники.

Минут через десять ко мне подошел доктор. Закурил. Долго молчал, разглядывая свои ботинки.

— Ваш отец просил меня «случайно» встретиться с вами и уговорить лететь в Америку.

— Я не полечу.

— Он пока держится на наркотиках. Но они перестанут действовать… Не сразу, но через какое-то время. А в Нью-Йорке

сейчас появился препарат, который отличается «психогенным» фактором: человек чувствует боль, но не реагирует на нее. Если вы привезете этот препарат, отец будет жить дольше. И потом…

— Что?

— Да в общем-то…

— Договаривайте.

— По-моему, ваш отец знает, что у него рак.

…Подъехал Миша с Валеркой. Я подружился с Валерой Куплевахским в Ханое. Это он сейчас стал литератором, печатается в «Знамени», «Неделе», «Огоньке», а в Ханое он был нашим военным специалистом, самым молодым из всех. Там он начал сочинять свои песни — их потом пела вся колония — геологи, дипломаты, летчики, моряки.

Я попросил Валеру взять с собой гитару.

Мы поднялись к Старику. Мишаня откупорил бутылку коньяка: в канун дня рождения можно выпить по рюмке. Валерка тихонько запел:

По джунглям мы идем,
Тропинка узкая, тропинка узкая,
С дороги не свернем
Мы парни русские, мы парни русские.
Мимо разбитых монастырей,
Мимо сожженных домов и полей
На перекрестке далеких дорог —
Спаси нас Россия и Бог!

Старик смотрел на Валеру сияющими глазами.

— Тише, ребятки, чуть тише — здесь же вокруг больные, мы им можем мешать. Вчера два соседа умерло. Я-то выздоравливаю, а другим плохо.

Неужели он играет? Неужели можно так играть? Глаза его светятся нежностью, и нет в нем тревоги и ожидания. Не может быть. Врач врет. Старик верит, что выздоравливает.

— Семен Александрович, — говорит Валерка, — я вам спою самую тихую песню, я ее Бороде посвятил. Мы еще и знакомы не были. Прочитал «При исполнении служебных обязанностей» — и сочинил песню.

Он прилаживается к гитаре и чуть слышно поет:

Полярный самолет уходит завтра в рейс,
Уходит навсегда, совсем, совсем, совсем.
А боль моя со мной, а боль моя при мне,

Полярный самолет приснился в красном сне.

…Поздно вечером, когда мы уходили, Старик сказал:

— Задержись на минутку. — И ребятам, просительно: — он сейчас вас догонит…

Старик показал рукой на кровать. Я сел рядом с ним.

— Юлька…

Он зачем-то долго кашляет, массирует лицо, потом излишне долго закуривает, чуть отвернувшись к стене.

— Юлька, — продолжает он, — мы с тобой бывали в разных переделках… Не привыкать. Если ты не полетишь завтра — значит, мое дело каюк. Значит, ты остался ждать самой последней хреновины. Ты — не надо… Ты — слушай меня… Я очень хочу за город… мураша вблизи посмотреть. Послушать, как птицы поют. Соловьи — ну их к черту, не люблю я их, больно рисуются. Я к твоему возвращению, я постараюсь быть молодцом. И ты отвезешь меня в деревню. Захомутай себя, скажи себе твое любимое — «надо». И лети. Мне будет спокойней. Я правду тебе говорю. Ведь ожидание — это тоже лекарство… Лети, бородушка, очень тебя прошу — лети…

…Огромный «Боинг-707», свалившись на левое крыло, ухнул вниз, навстречу белому, высвеченному луной морю перистых, плотных облаков.

Пассажиры, деланно засмеявшись, впились побелевшими пальцами в поручни своих удобных поролоновых сидений.

Ах, до чего же красив ночной аэропорт Лос-Анджелеса! Стеклянный, легкий, нереальный, разноязыкий и шумный. Дневная жара угадывалась по ночной прохладе, по мягкости асфальта на стоянке такси и по сероватым потекам пота на белых куртках носильщиков.

Я вышел на улицу. Толпа оглушила меня: мужчины в кружевных женских кофточках с медальонами на груди и женщины в грубых мужских брюках; длинноволосые юноши в казацких поддевках, подвязанных куском рыбацкого каната, и девушки, стриженные под бокс, — болезненная экстравагантность окружающего была тревожной, хотя внешне — беззаботно веселой.

Спать в первую голливудскую ночь было — при всей моей усталости после многочасового перелета — никак невозможно. Этим же воздухом дышали деды мирового кино, здесь жили Чаплин и Дисней, здесь трудятся Крамер, Фонда, Пек, Тэйлор, Бэт Девис, здесь покоряли своим искусством Спенсер Трэйси и Джим

Кегни.

И я пошел по ночному Лос-Анджелесу просто так, без всякой цели. Тротуары, выложенные розовыми гранитными звездами, на которых выбиты имена кинозвезд, операторов и режиссеров, ведут вас к центру, к морю огней и света, а вам не хочется шагать по именам живших искусством кино.

И вы сворачиваете на тихую улицу и сразу вспоминаете Ильфа и Петрова, ибо вы попадаете в одноэтажную Америку.

Запутавшись в одинаково красивых улицах и одинаково уютных особнячках актеров, продюсеров, монтажеров и операторов, я все-таки выбрался к центру города.

Возле маленького открытого кафе «Горячие цыплята первых пионеров Запада», высвеченного мертвенно-голубоватым светом неона, стояла открытая машина, и седой человек в серой майке уплетал «горячую собаку», а вокруг него толпились повара в желтых курточках и с галстуками скаутов.

Лицо этого человека было разительно знакомо — эдакий штампованный герой вестерна: тяжелые морщины на бронзовом лице, сильные руки, ослепительная фарфорозубая улыбка.

Он кивнул на меня и сказал поварам:

— Кормите этого хиппи. Они, хотя и «добровольные отверженные», все же ужасно прожорливы.

— Я не хиппи, — ответил я (о, проклятие бороды!).

— О кей, — сказал он, — а кто вы тогда?

— Я из Советского Союза.

— Ю ар уэлком, — сказал он и распахнул дверь машины, — садитесь, я покажу вам наш Голливуд ночью.

Я не ошибся: Эд действительно снимался в сотнях ковбойских фильмов. Нет, он не звезда, его имя не выбито на мемориальных тротуарах. Он обыкновенный актер, каких здесь сотни.

— Пиф-паф, прыжок с крыши, я это временами делаю в «Юниверсал Сити» для тех, кто приезжает на фабрики кино с экскурсией. И, конечно, лошади, погони и «скупая мужская слеза» крупным планом в хеппи-энде. В современных картинах? Вы хотите спросить про Вьетнам? Это грязное дело, мы не хотим в нем участвовать.

На вьетнамскую авантюру вашингтонских «бешеных» за все годы войны Голливуд откликнулся грязной безвкусной картиной «Зеленые береты». Фильм шел при пустом зале.

«Юниверсал Сити» — громадный комбинат кино и телепроизводства, где стоят построенные навечно декорации: римские катакомбы, улочки Парижа, уголки Пекина, развалины поверженного Берлина. Но там нет декораций, связанных с вьетнамской войной Вашингтона. Я разговаривал с актерами и

продюсерами: в портфеле Голливуда нет сценариев в защиту преступлений, творимых «бешеными» в джунглях маленькой азиатской страны.

Значит, — думал я, — дух прогрессивного Голливуда жив и сейчас. Того Голливуда, который был первым посажен на скамью подсудимых в страшные годы реакции, когда безумствовал Джозеф Маккарти со своей комиссией по расследованию. Значит, серьезные художники Голливуда чувствуют свою ответственность перед человечеством за то, что творит официальный Вашингтон в небе Ханоя и на земле Лаоса. Честного художника можно заставить покинуть родину, как это сделали с Чарли Чаплином в пятидесятых, художника можно довести до самоубийства, одного нельзя сделать с художником, исповедующим правду, — заставить его творить против совести.

С Эдом мы распрощались уже под утро. Ночи так и не было: летние сумерки сменились голубым рассветом. Вырисовывались контуры желтых гор, окружающих Лос-Анджелес. Громадные пальмы уходили в седое, низкое небо. Красивый город, построенный за столетие руками американских художников и фантазией талантливых инженеров, наконец тревожно уснул.

…Разговорился с тремя ребятами, которые бросили университет — они изучали политическую экономию и социологию, — и стали хиппи, «добровольными отверженными Америки». Они бродят по стране, собираются посетить Индию, изучить там древнюю музыку и танцы и отдать себя служению миру. На груди у них начертано: «Люби, а не воюй».

— Страна отринула нас, — говорили мне хиппи. — Общество перестало быть искренним, повсюду царствует фальшь. Родители лгут друг другу, требуя от детей «говорить всю правду». С младенчества мы приобщаемся к коварству — родители говорят при нас гадости о тех людях, с которыми томно целуются при встречах, — какова искренность, а?! Нас заранее готовят к «нужным» гостям. Этому улыбнись, а тому спой песенку… И все это освящено благостью домашнего очага: цветной телевизор, рефрижератор, автоматизированная кухня с дистанционным управлением, портреты предков в гостиной… А государство — это союз «взрослых», которые подчиняются своей удобной морали лжи.

…С хиппи здесь борются по-разному. Рональд Рейган, плохой актер и далеко не блестящий губернатор Калифорнии, сейчас обуздал университет. Он держит его в руках при помощи угрозы радикального сокращения средств.

…На улицах можно заметить, как благопристойные

«взрослые» люди с тяжелой злобой смотрят на оборванных, длинноволосых, босоногих хиппи.

Я подумал, что вызывающая неопрятность хиппи — это не что иное, как вызов показному чистоплюйству, сопутствующему порой такой ужасающей моральной грязи, что и слов-то не найдешь описать. Хиппи — реакция молодого поколения не только на сегодняшний день Америки. Это страх перед будущим.

— До тех пор, пока наш завтрашний день планируют те, кто сидит в «Ренд Корпорейшен», — мне страшно жить, — сказал Стив, молоденький хиппи из Чикаго, босой, с нежными, до плеч, белокурыми, вьющимися, совсем еще детскими кудрями…

Какие еще идеи родятся завтра? Кто думает над идеями будущего? Что программируют творцы этих идей: разум или безумие, любовь или ненависть, добро или зло? Где гарантия, что любовь не обернется ненавистью? И кто определит критерий добра?

…Пьер Селинджер невысокого роста, крепкий, веселый мужчина, с модными длинными бакенбардами и лицом эпикурейца выглядит утомленным. Ворот рубашки расстегнут, рукава засучены, как у персонажа ковбойских фильмов. Он пригласил присесть. В шумном избирательном центре стучат десятки пишущих машинок, звонят сотни телефонов, днем и ночью работает телетайп.

Пьер Селинджер был помощником Джона Кеннеди и проводил его предвыборную кампанию. Сейчас он — глава «мозгового центра» Бобби Кеннеди. Через два дня сенатор прилетит сюда и остановится на Беверли-Хиллз, в отеле «Амбассадор». Здесь будут последние «праймериз», которые определят кандидата на пост президента США от демократической партии.

Пьер подарил мне пластмассовую шляпу, на которой нарисован портрет улыбающегося Бобби и надпись: «Кеннеди победит».

— Как я оцениваю ситуацию? — переспросил Пьер. — Стучу по дереву… «ноквуд» — мы победим.

(Это типично американское — постучать указательным пальцем по дереву, чтобы сбылось задуманное…)

— Что, слаб соперник?

— Нет, Юджин Маккартни весьма силен. Но мы сильнее.

Селинджер рассказывает мне о трудностях, с которыми сейчас сталкивается Америка, и остановился на отправных моментах, на которые делает упор Роберт Кеннеди во время своей предвыборной кампании.

— Главное — это Вьетнам. Роберт и вчера, и сегодня говорил, и завтра, после выборов, повторит еще раз, что его первым политическим актом будет полет в Ханой и заключение с Хо Ши Мином договора о мире, без каких-либо предварительных условий.

Пьер Селинджер ушел к телетайпу — его вызывал штаб Кеннеди. Разговорился с одним из журналистов, прибывших в Голливуд заранее. Он долго жил в Азии.

— Заявление Бобби о его непреклонном желании закончить войну во Вьетнаме — нож острый в сердце Пекина. Это просто-таки катастрофа для их доктрины: новый президент США, «вождь бумажных тигров», прилетает в Ханой и открыто признает неправоту своей страны. А Мао хочет заставить поверить Азию, Африку и Латинскую Америку, что «большой город» всегда будет врагом номер один. Не знаю, как будет реагировать Мао, но наши «ястребы» этой программы Кеннеди не простят… Впрочем, сейчас уже начала проявляться занятная тенденция «кооперации» наших «ястребов» с Пекином…

…В Нью-Йорке моросил дождь. Из моего окна, с шестнадцатого этажа «Пен гарден хотеля» виден кусок 34-й улицы. Это неподалеку от Бродвея, поэтому шум главной артерии города таков, что кажется, будто ты поселился в кабинете стоматолога, который к тому же работает под бомбежкой.

Позвонил Генрих Боровик. Он только что разговаривал с Москвой. Старик держится молодцом. Слава Богу. Лекарство я уже достал. Через три дня домой. Только бы успеть.

Провел весь день в «Нью-Йорк Таймс». Гаррисон Солсбери был моим гидом. Помещается редакция на втором этаже сумрачного дома в центре Нью-Йорка — здесь никогда не бывает солнца: дома расположены таким образом, что светило никак не может втиснуться в каменный, глубокий колодец. Даже голоса здесь звучат гулко…

Политические обозреватели, репортеры — все в одном большом зале. Четыре стола образуют отдел — никаких кабинетов. Работать довольно трудно — шум, говор, стрекот пишущих машинок…

Стеклянной, звуконепроницаемой стеной от веселого гомона репортеров отделены обозреватели — финансисты и два обозревателя по проблемам образования и по военным делам.

Американцы считают, что в течение ближайших десятилетий, под воздействием техники, электроники, в результате внедрения систем вычисления и прогнозирования, люди будут свидетелями колоссальных сдвигов, равных по значимости переходу

человечества от кремня к газовой плите. Изменится человеческая психология, ибо программированное управление и прогнозирование будут обращены не только на промышленность и сельское хозяйство. Мозг человека станет качественно иным, ибо электронно-вычислительная техника научится поставлять ответы на заданные ей вопросы в течение долей секунды, тогда как раньше на это тратились десятилетия — целыми коллективами ученых.

…Программа, составленная нашими американскими хозяевами, — продумана, гостеприимна, широка. Рокфеллеровский центр, здание Организации Объединенных Наций, Лонг-Айленд. Все это интересно, но я привык в поездках присматриваться к городу исподволь. Я не верю в «анкетное» знакомство с человеком, с городом — тем более.

На крыше стоэтажного «Импайр Стейт билдинга» меня потрясли не виды города, а то, какие сувениры продают туристам. Среди пепельниц, браслетов, запонок я увидел занятную игру. Она называется «антигерой». Несколько портретов государственных деятелей — Чемберлен, Муссолини, Пилсудский… несколько маленьких копий, сделанных на индийский манер. Укрепляете портрет на стене и целитесь в него копьем. Глаз — десять очков, нос — пять, рот — три. Гуманно, не так ли?

Я спустился в зашарпанное (хуже парижского) метро, сел на линию «БНД» и доехал до остановки «Канал». Вышел — и оказался совершенно в другом городе: грязном, двухэтажном, дома с обвалившейся штукатуркой, на улицах — мусор, во дворах — на веревках сушится драное белье.

«Джуиш маркет» — «Еврейский рынок», иначе называемый «Яшкинстрит» (антисемитизм в Америке имеет свой стиль — он добродушен, смешлив, но при этом непреклонен). Когда я пришел на Орчард-стрит, где помещается этот громадный рынок, — он зажат между домами, если посмотреть сверху — море человеческих голов, — сразу же вспомнил нашу «Тишинку» первых послевоенных лет. Такая же толчея, шум, крики. Только здесь обманывают «умелее», чем на той нашей «барахолке». Обмануть — профессия здешнего рынка.

— Что?! Ты из Советского Союза? Моня, Ицка, Рувим, Санька, скорей сюда! — кричит старик, продающий открытки с видами Нью-Йорка. — У меня земляк!

Прибегают Моня, Ицка, Рувим, Санька, Лиза, Маша и Руфь.

— Вы не знаете Климовичей из Белостока? Жаль, они настоящие скорняки! А Гришу Розенфельда из Минска? Не может

быть! Все знают Гришу Розенфельда из Минска. Как «кто такой»? Он всю жизнь покупал утиль — такой маленький с огромным шнобелем.

— Зайдите ко мне в лавку, — предлагает Моня, — я продам вам с девяностопроцентной скидкой триста метров клеенки — говорят, это у вас дефицит. Как, уже не дефицит? А что тогда дефицит?

— Не слушай его с его клеенкой, — говорит старая Маша, — нужна человеку твоя клеенка! Что он — новорожденный? Или писается по ночам! Клеенка! Нашел, что предлагать земляку! Он пойдет в нашу лавку и купит десять пар ботинок с пятидесятипроцентной скидкой. Он полетит в Варшаву и продаст там ботинки — я знаю, что советовать хорошему человеку. Что? А какая вам разница, как лететь?! Разве нельзя полететь в Москву через Варшаву?!

— Жизнь? Какая это жизнь? — вздыхает Рувим. — Как говорится, «стрижем и бреемся». Мы тут все играем в жизнь и, чтобы не было очень уж страшно, стараемся все время шутить…

Днем эту улицу «оккупируют» торговцы. Ночью здесь появляются истинные хозяева — пуэрториканцы: Орчард-стрит — район нищеты, здесь часто бывал Бернстайн, когда писал «Вестсайдскую историю». Таких обшарпанных домов, таких грязных окон и замусоренных подъездов я давно нигде не видел.

Я далек от того, чтобы замечать в Нью-Йорке только негативные стороны. Архитектура центра, Манхэттена — поразительна! Нью-Йорк очень красив. Он построен с громадным вкусом, и в нем чувствуется торжествующая мощь ГОРОДА.

…Сегодня получил приглашение от Дэйвида Кронкайта, политического обозревателя телевизионной компании КБС. Кронкайт — один из наиболее популярных «телемеждународников» в США. Вечером он будет комментировать «Праймериз» в Лос-Анджелесе. Вспомнил Пьера Селинджера: «победит Бобби».

«Бригада» Кронкайта работала интересно. В небольшом телеателье (значительно меньшем, чем у нас в старом здании на Шаболовке) большой стол с телефонами и небольшим телеэкраном — это прямая связь с Вашингтоном, Сан-Франциско, Чикаго, Лос-Анджелесом, Детройтом.

Возле стены, за низкой стеклянной перегородкой (американцы не любят глухих стен на предприятиях: шеф должен все время видеть, чем занимаются служащие. Молодцы, американцы!) установлены компьютеры: «бригада» Кронкайта будет обсчитывать данные, поступающие из Лос-Анджелеса

непосредственно здесь же, в ателье; шум в данном случае не мешает, он создает атмосферу «доверия» у зрителей. Надо, чтобы все было «взаправдашним» — и телефонные звонки, и работа ЭВМ.

Кинематографисты назвали бы этот павильон Кронкайта «декорацией на сливочном масле». Было довольно странно наблюдать, как гример работал с лицом Кронкайта: его гримировали, как перед съемкой, подводили брови, красили губы, накладывали тон. Ассистенты проверяли, как завязан галстук и насколько точно торчит платочек из кармана.

— Что вы хотите, — усмехнулся Дэйвид, — американцы любят красивых мужчин на экранах ТВ. Я в рубрику красивых не подхожу, поэтому так усердствуют гримеры…

— Кто победит, Дэйвид? — спросил я.

— Бобби. Он соберет не менее сорока восьми процентов голосов.

Передача шла четыре часа — без перерыва… Это было захватывающее шоу, но главными действующими лицами оказались не певцы и балерины, а те, кто определяет политику страны.

Кронкайт оказался прав. Потный и осунувшийся — четыре часа напряженной работы под юпитерами, — он снял очки, небрежно сунул их в карман пиджака, помяв обязательный уголок платочка, и сказал:

— Итак, впереди Роберт Кеннеди — сорок восемь и шесть десятых процента!

Поехал в Гринвидж Вилледж. По пути завернул на Уолл-стрит. Неподалеку высилась громадина рокфеллеровского банка. На восьмом, пятнадцатом и двадцать первом этажах светились все окна.

— Это их разведка, мозговой трест и госдепартамент, — сказал мой спутник, — у них, после победы Бобби, будет над чем подумать до завтрашнего утра.

Было около двенадцати, и я отправился в Гринвидж Вилледж, это царство хиппи, студентов, художников, туристов и бродяг.

Снова совершенно иной Нью-Йорк: маленький, то залитый неживым светом неона, то погруженный во тьму — с барами, ночлежками, открытыми для обозрения ателье художников. Рваненькие девочки — хиппи просят денег, полиция разнимает дерущихся и бросает их штабелями в грузовичок типа «я тебя вижу, ты меня — нет». Во всем здесь царит нервозность, обнаженная нервозность…

В темном садике возле Триумфальной арки сидел одинокий

негр и слушал магнитофонную запись «спиричуэлс». Рядом — устроились возле фонарей — играли в шахматы, ну точно, как у нас на Никитском бульваре.

То тут то там вспыхивали споры: яростно спорили белые и негры, студенты и старики, приезжающие сюда, словно на экскурсию в другую страну.

В маленьком, но очень популярном арабско-еврейском кабачке музыканты пели песни Теодоракиса и «Подмосковные вечера».

Моим соседом по столику оказался странный парень: его отец родом из Жмеринки, а мать — эскимоска. Вот вам не анекдот, а правда: «морозоустойчивый еврей».

— Я здесь какой-то потерянный, — признался паренек, — хочу домой, на Аляску. Боже, как хочу на Аляску…

Я приехал поздно ночью к Генриху Боровику. Мы поужинали, легли спать.

В три часа ночи нас поднял тревожный телефонный звонок. Из Лос-Анджелеса звонил композитор Дмитрий Темкин:

— Включайте телевизор! Только что стреляли в Кеннеди!

…Я прилетел в Москву с лекарствами, которые отделяют «боль от сознания». Я понесся с этими лекарствами в клинику к моему Старику, который так мечтал увидеть мураша.

Он умер через несколько минут после того, как приземлился самолет.

Он спросил Илью:

— Где Юлька?

— Он уже едет к тебе, — ответил Илья.

…Так же умирал мой дед. Он спросил перед смертью — у него тоже был рак поджелудочной железы: «Где Илья?». А Илья тогда был очень далеко[119]. И отец тоже, как дядька сейчас, сказал ему: «Илья уже едет». И дед тоже чуть улыбнулся и умер спокойным.

Илья сказал мне потом:

— За два дня перед смертью Старик шепнул мне на ухо, когда уже начинал терять сознание: «Это хорошо, что я заставил Юльку уехать. Ты ему объясни. Не надо ему было видеть, как я буду помирать… Пусть он запомнит меня живым…»

* * *

1969 год

ЯПОНСКИЙ ДНЕВНИК[120]

К деду Александру Павловичу меня обычно привозили под вечер. Старик вышел на пенсию, но без дела жить не мог и поэтому устроился в какую-то махонькую артель, которая выпускала слоников, странных австралийских кенгуру, медведей и зайцев, из того матово-блестящего материала, который дети называют золотом.

Дед откладывал в сторону своих зайчиков и слоников, скрупулезно пересчитывал их и раскладывал по коробочкам. Потом бабка наливала нам чаю. Дед доставал из кармана квадратные карманные часы и начинал мне рассказывать свои истории. Он знал, о чем я больше всего люблю слушать. Он рассказывал мне про Японию. Дед в 1904 году попал в плен и два года прожил в Токио.

Мы все начинаем корить себя за то, что не записывали, не запоминали. Только по прошествии лет, когда уже, собственно, этот укор нематериален — так, сожаления, да и все. Собственно, в данном случае я от себя этот укор отвожу, потому что в те годы писать я еще не умел и о литературе, естественно, не думал, мечтая только об одном: вырасти и стать летчиком.

И стало быть, мне рассказывает дед о Японии. Я запомнил главное: я запомнил его влюбленность в японцев. Мне это тогда казалось странным. Во дворе во время игр мы все время воевали против самураев, которые вместе с Гитлером готовили войну против нас. Я тогда не мог понять, почему дед с такой нежностью говорит об этой далекой стране.

Еще я запомнил, как дед говорил мне про японскую чистоплотность, про то, как поразительны японские бани, про то, как нужно уметь по-японски держать слово. Бери пример с японца, — говорил мне дед. — Если японец сказал «да», это будет «да». А уж если японец сказал «нет», то это будет «нет», и ничего ты с этим не попишешь.

И еще я запомнил дедовы часы — со странным циферблатом и с загадочным рисунком на оборотной стороне: то ли профиль Александра Македонского, то ли просто какого-то греческого воина. Часы эти дед купил в Японии.

Я тогда спросил его:

— Неужели японцы умеют делать такие красивые часы?

Он засмеялся:

— Что ты! Япония часов делать не умеет. Эти часы привезли

туда из Швейцарии.

И вот наш громадный самолет, прорвав ватное одеяло облаков, вынырнул над коричневым, грязным морем. А впереди вырос город. Серые дома, чистые улицы, громадины геометрически ровных заводов. Огромное количество машин. Это Токио. В дорогу я взял с собой книгу Клода Фарера, изданную в Петрограде в начале двадцатых годов.

«Мне не думается, что над Тихим океаном в будущем неизменно будет сиять ясное солнце, — писал Фарер. — Тем хуже для тех, кто вывел Японию из ее векового покоя, она бы добровольно его не нарушила. Если суждено, чтобы Тихий океан стал ареной мировых событий, то в этой международной драме самую победоносную роль, я уверен, сыграет Страна восходящего солнца. Пройдет несколько лет, и Япония не удовольствуется больше третьим местом».

Это писал человек, о книге которого в предисловии к русскому изданию сказано: «Увлекательная и изящная салонная болтовня. Не рекомендую знакомиться с бытом, государственным устройством и историей далеких азиатских стран исключительно по очеркам Фарера. С таким же успехом можно было требовать обстоятельных сведений по ботанике от мотылька, перепархивающего с цветка на цветок».

«Мотылек» дал интересную перспективу будущего, «угадав» его на пятьдесят лет вперед.

В Токио облачно, холодно, с моря дует ветер, температура нулевая. А пальто свое я оставил в Шереметьево — всезнающие стюардессы уверяли, что я буду изнывать от жары!

Чиновник таможни минут десять бегал по залу, пытаясь найти коллегу, говорящего по-английски. Нашел. Однако коллега не говорил, а бормотал по-английски. Понять его было невозможно, и мы перешли на язык жестов. Чиновник ткнул пальцем в блок сигарет и категорически покачал головой.

— Why? — спросил я. — Почему?

— Yes, — решительно ответил чиновник и добавил. — No…

После чего сигареты мои он отобрал.

Аэропорт Ханеда не производит такого оглушающего впечатления, как аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, или маленький, с потушенными фонарями, настороженный, дважды горевший аэропорт Ханоя, или аэропалатка на станции «Северный полюс-8», или отстраненно-гордый своими великолепными пропорциями Орли, или одноэтажный уютный домик в центре Памира, в Хороге…

Но когда я въехал на громадный хайвей, словно бы отринув

аэродром — границу, — вот тогда я был потрясен средоточием трех- и двухэтажных дорог, мощными развязками, взлетами и падениями бетонных плит, по которым с гигантской скоростью неслись стада машин. Они были похожи на диких коней в прериях: такая же слепая, неосознанная, а потому мощная устремленность. Здесь нет преград и светофоров.

Движение утверждает себя не столько в быте, сколько в человеческой психологии. Лучшие трассы Японии готовят людей к веку сверхскоростей.

По дороге в центр можно съехать с хайвея и неожиданно попасть в прошлый век, в старую, деревянную Японию махоньких двухэтажных домиков. Но потом тебя снова неминуемо засосет в какой-нибудь тоннель, ты вырвешься наверх и окажешься на другом хайвее, и тебя понесет дальше, и покажешься ты себе песчинкой, попавшей в водоворот. И все время будешь ждать — когда же начнется водопад и тебя закрутит, сомнет и швырнет на погибель — вниз…

Два дня ушли на телефонные звонки, короткие «подготовительные встречи», беседы с коллегами, «обязательные визиты».

— Глаза, желудок и ноги, — сказал Канеко-сан, ответственный секретарь Комитета содействия переводам и изданиям советских книг в Японии, — это те главные силы, которые помогут вам навсегда запомнить первые токийские вечера.

Мы взяли такси и поехали в Гинзу.

…Было дьявольски красиво: моросил дождь, огромные рекламы опрокидывались в мокрый, полированный асфальт, высвечивались в стеклах и капотах машин, в темных окнах громадных домов и в антрацитовых глазах японцев.

— Думать о будущем надо в прошлом, — улыбнулся Канеко, остановив такси. — Мы же сейчас обязаны жить настоящим. Я хочу, чтобы первым «фактором настоящего» для вас были «суси».

…Только после пятой рюмки саке Канеко, прочитав строки из Омото Табито: «Суемудрых не люблю, пользы нет от них ничуть, лучше с пьяницей побудь, он хотя бы во хмелю может искренне всплакнуть», — спросил, какую бы я хотел организовать программу в Японии.

Я начал рассказывать мои наметки. Он записывал иероглифами, очень легкими и быстрыми. Я подумал, что японец во всем должен идти от начертания. От символа — к мысли.

Произношение не имеет того значения, какое оно имеет для европейца, который вкладывает в произношение множество нюансов. Поэтому и театр наш так разнится от театра Востока. Когда мы пишем, говорим, мы изображаем звуки. Голос помогает нам выразить чувства. А когда писал Канеко-сан, мне показалось, что он как бы срисовывал свою мысль с натуры.

…Японское метро — черно-белое. Это впечатление создают мужчины. Вся Япония носит зимой черные костюмы, черные пальто, черные шляпы, черные кепи. И все черноволосые.

«Черт, — подумал я, — хоть бы один рыжий…»

Женщины тоже в основном носят черное. И только вдруг на какой-то станции войдут две девушки в традиционных средневековых кимоно. И сразу же изменятся глаза пожилых японок и японцев, появится в них нежность, и зависть, и грусть по ушедшим годам, и жалость: раньше кимоно было повсюду, сейчас оно — словно живое лицо на стремительном маскараде масок.

Рано утром начались звонки. Это «бумеранги» двух первых дней в Токио. Да и Канеко-сан оказался человеком обязательным. Вчера связался по телефону с моими давнишними знакомцами — журналистами; нас вместе гоняли в бомбоубежище в Ханое. Ребята тоже предлагают интересную программу.

Фоторепортер из «Асахи» вместо обязательного приветствия продекламировал:

— «И поля и горы — снег тихонько все укрыл… сразу стало пусто!». Но я приду вечером, и тебе не будет пусто, и мы обговорим план встреч на эту неделю…

Вскоре был принят послом О. А. Трояновским. Просил его помочь в организации встреч с руководителями газет, телевидения, радио.

Встретился с профессором экономики университета Васеда. Разговор был интересным. Смысл сводился к тому, что «обреченному на тотальную политизацию западному миру» японцы противопоставляют «акционерное общество» ста миллионов трудолюбивых производителей, управляемых дюжиной экономических воротил — старцев в скромных куртках, которые диктуют вполголоса свои распоряжения. Политическая власть в Японии заключена в скобки. Она является приводным ремнем между хозяевами фирм и массой избирателей.

Из университета возвращался в отель пешком поздно ночью. Поражает размах строительства. Огромное количество рабочих в касках, с маленькими микрофончиками в руках. Криков: «Давай,

давай!» — нет. Работы радиофицированы. Указания по радио идут от инженера к мастеру, от мастера к рабочим.

Когда смотришь на работающий ночной Токио, на мощный ритм города (в ночи это особенно заметно), убеждаешься лишний раз в неодолимости безликого всевластного молоха — индустриального прогресса… Кибернетика и электроника все более и более неуправляемы, «самоорганизованны», они выходят из-под контроля.

Революция в науке требует своего философского обоснования, — иначе она подомнет людей и начнет корежить их, приспосабливая «для себя». Приложимы ли новые формулы науки к общественным взаимоотношениям в странах капитала? Абсурдно ли понятие — кибернетическая и электронная неуправляемость? Чем дальше, тем важнее будут вопросы: что главенствует — человек или машина? Высокая национальная гордость — или слепой, чванливый национализм?

Казалось бы, фантастическое развитие бытовой техники должно нивелировать личность. На самом деле это развитие пока что стимулирует развитие личности, соприкасающейся с техникой непосредственно, с последующим, уже осмысленным подчинением или неподчинением этой личности идее дальнейшего прогресса. И потом — прогрессу уже тесно на земле, он ушел в космос. Почему? Земля мала? Отнюдь. Разность талантов. Среди нас появились люди, живущие в следующем веке. Эти люди смотрят те же фильмы, что и мы, едят тот же хлеб, что и мы, носят костюмы того же покроя. Но живут они иными категориями. И в этом, возможно, вольтова дуга будущих потрясений, которые придут в мир с дальнейшим развитием научного прогресса.

С утра повалил снег. Вот тебе и токийская весна! Японцы удивлены. Тепла сейчас никто не ждал, но и снега тоже.

Жду телефонных звонков. Спасибо Роману Кармену — дал свою портативную машинку. Работает она, правда, с грехом пополам, но все же работает. Самодисциплина — это когда каждый день хотя бы две страницы. Если пишешь от руки, возможны накладки: не чувствуешь, много ли написал, а считать количество знаков мы не приучены. И хотя эта традиция идет от Джека Лондона, через Хемингуэя, мы как-то боимся цифири в изящной словесности.

Первую половину дня метался по визовым делам. Нужно было разыскать посольства Австралии, Сингапура, Малайзии, Филиппин, а в этом гигантском городе найти посольство — даже по справочнику — дело сугубо трудное. (Поскольку отсюда я

должен лететь по всей Юго-Восточной Азии, целесообразно запросить визы заранее.)

Конечно же забыл в Москве фотографии, — это обнаружилось в Филиппинском посольстве. Поехал в универмаг, где есть «моментальное фото». Я не обольщаюсь по поводу своей внешности, но «моментальное фото» изобразило меня старым, оплывшим и обросшим пропойцем — гангстером. Человеку с такой физиономией давать визу рискованно. Я бы лично не дал.

Зашел в банк — получить деньги по чекам, которые мне выдали в Москве. Потрясли меня открытые сейфы: увидел воочию, что такое «бронированный сейф» (мой спутник смешно сказал: «перенабуханный банк»).

Возвращаясь из банка в отель, заблудился. Паренек-студент (его звали Никамура) полчаса ходил вместе со мной в поисках отеля «Токио-грандо». Он заботливо держал зонтик над моей головой и шлепал по лужам только потому, что незнакомый человек обратился к нему с вопросом. Как я потом убедился, это типично для Японии.

…Поехал в клуб иностранных журналистов. Если и не аккредитоваться — это дорого, то хотя бы договориться о пользовании библиотекой. Здесь удобно встречаться с людьми, можно довольно дешево пообедать. Здесь бывают интересные беседы журналистов с политиками, бизнесменами, с военными, дипломатами; здесь выступали У Тан, Неру, Сато, премьеры Австралии, Филиппин, Пакистана.

(В центре, около полицейского участка, тревожно светится электрическое табло: «Сегодня на улицах погибло 3 и ранено 270 человек». Табло пугает людей. Мы часто «щадим» нервы пешеходов, а зря. Лучше напугать, чем потом носить передачи в Институт Склифосовского.)

Журналист из «Асахи», с которым я разговорился в библиотеке, подбирая материалы к теме «Промышленный прогресс», заметил:

— Мы не хотим изобретать. Ломоносова у нас в ближайшее время не предвидится. До нас изобретено слишком много, нам следует научиться делать так, как не умеет делать никто в мире. Наша главная задача — доводить изобретенное другими до суперкондиции. Стать «руками» мира тоже не так уж плохо.

Познакомился (здесь, в клубе, знакомства завязываются быстро) с седым громкоголосым стариком, американским журналистом Дэйвом Конде. Он — корреспондент гонконгского «Фар истерн экономик ревью» и нескольких канадских газет. Много пишет для японской прессы. Костит «ястребов» за

жестокость по отношению к инакомыслящим и за войну во Вьетнаме. Одни американцы считают его патриотом, другие говорят, что он псих, третьи утверждают, что он красный. Более всего Конде интересуется целенаправленностью политики Вашингтона и Пекина по отношению к Токио.

…В досье клуба мне предложили огромное количество литературы по Токио. Справочники здесь составлены блестяще. Описаны районы города, указаны наиболее интересные дни в году, когда проходят фестивали. Среди национальных торжеств меня заинтересовал «праздник возраста», 15 января, — праздник молодых людей, «которые вошли в возраст», то есть которым исполнилось двадцать.

Специальные ритуалы подчеркивают уважение к новому поколению в Японии и к его роли в национальной, культурной и экономической жизни.

15 сентября празднуют день «почтения к возрасту». Это — в честь стариков из родни.

Японские праздники отмечаются семьями. Не государством, не правительством, не муниципалитетами, но именно семьями. Япония — страна, составленная из семейных ячеек. Японская культура, японская трудоспособность, японская воспитанность, японская грациозность — все это идет от семьи, от традиции.

…Лондонский журналист, заметив, как я тщательно сортирую материалы по «партиям» Японии, хмыкнув, достал из кармана трубку, набил ее пахучим табаком, пустил к потолку густую струйку голубого дыма и сказал:

— У нас партия, борющаяся за власть, отличается от той, которая стоит у власти, лишь тем, что у нее нет власти. Получив ее — в эпоху расщепленного атома и ракет, оппозиционная партия, если руководит ею не безумец, ничего кардинального внести не сможет — ни в политику, ни в экономику. Лучшая политика в век технотроники — это политика «статус-кво»…

Сегодня был в парламенте, потом в министерстве иностранных дел, разговаривал о текущем моменте. Наша тяга к созерцательной, философской неторопливости здесь не проходит. Конкретность вопроса предполагает такую же конкретность ответа. Если вы ставите вопрос неконкретно, вам так же неконкретно ответят. Стоит вам поставить вопрос жестко, так же жестко и отвечают. Мы не всегда к этому американскому стилю разговора готовы, у нас, у русских, иная традиция.

Из МИДа поехал в министерство образования, а оттуда — в школу и университет. В школе удивился тому, что доски в

классах вогнутые. Спросил об этом педагога. Тот, в свою очередь, удивился моему вопросу.

— Чтобы солнце не отсвечивало, — ответил он, — чтобы все написанное на доске было видно детям отовсюду, с любой парты.

Мои собеседники — в университете и в школах — отмечали, что японские учащиеся и студенты всегда хотят быть первыми: «Честолюбие и усердие в учебе помогли Японии совершить экономическое чудо».

Подарили мне небольшую брошюрку о проблемах образования в Японии. Некоторые ее положения очень интересны. Там, в частности, говорится, что в Японии девятилетнюю обязательную школу посещает громадный процент детей школьного возраста. Учителя снижают требования, чтобы слабые ученики также могли успевать. Никто не остается на второй год. Таким образом класс, как единая группа, существует все девять лет, вплоть до первого процесса отбора — приемных экзаменов в полную среднюю школу.

Руководящая прослойка в политике, экономике и администрации набрана прежде всего из выпускников лучших государственных университетов (бывших императорских). Большинство членов правительства и примерно треть членов парламента окончили Токийский университет.

В Японии к проблеме обучения относятся очень серьезно. Есть свои находки. Кое-что в методике мне очень понравилось. Например, учеников четвертого, пятого и шестого классов, когда проходят ботанику, учителя уводят из школ в парки — особенно во время цветения сакуры. Занятия предметны. Но запоминаются не только пестики с тычинками, но и красота родины.

Когда проходят предметы, связанные с морем, — это и география, и ботаника, и зоология, — учеников вывозят на побережье. Учитывается фактор ребячьего интереса. И при этом: кто и когда забудет урок о цветении сакуры, проведенный в парке со смехом и весельем? И старшего, учителя, всю жизнь будешь помнить с нежностью, и никогда не забудешь цветение сакуры — единственное в мире.

…Пришел Накамото-сан. Он переводил несколько моих повестей. Хорошо знал Романа Кима, внимательно следит за рассказами Нагибина, любит прозу Быкова, Симонова, Бондарева, Шукшина. Он — редактор журнала «Изучение русского языка и советского театра» и преподаватель Института театрального искусства. Накамото пригласил мня в театр «Модерн арт» (по-японски это звучит: «Дзикан се гекидзе»).

Показывали занятную инсценировку повести Спигла. Пьеса

называется «Свинцовые отношения». Героиня — наивная девушка, старающаяся выполнить все желания людей. Около нее два человека: одному она хочет помочь скорее умереть, а второму — научиться писать хорошие стихи. Ее убивают в конце концов за доброту и наивность. Доброта и наш мир — понятия несовместимые, таков главный смысл пьесы.

У входа в театр — ни афиш, ни реклам. Театр относится к числу так называемых «подпольных». Несколько ступенек ведут в подвал. Кассы нет, билеты продает один из членов труппы. Ни гардероба, ни буфета. В зале пятьдесят мест. Сидело там человек шестьдесят, потому что десять молодых ребят купили билеты без мест — это в два раза дешевле.

Крохотная сценка, — только японцы с их умением обживаться на микропространствах могут разыгрывать действие на такой площадке…

Заглянули в харчевню «Отако» (своеобразный ресторан ВТО японской столицы). Здесь очень дешево, шумно, демократично. Язык здесь намеренно грубый, рожденный жаргоном «подпольного» кинематографа, для которого нет запретов. Приходят сюда разные люди — и полицейские, и миллионеры, и проститутки; очень много ультралевых, некоторые из мальчиков сидели с громадными значками Мао Цзэдуна на груди. Накамото перекинулся двумя словами с официантом, попросил его:

— Пожалуйста, каракатицу и хорошего чая.

Официант неожиданно по-солдатски щелкнул каблуками и сделал идиотское лицо.

— Исполню по системе Станиславского!

Я недоуменно посмотрел на Накамото.

— Это мой ученик по театральному институту, — рассмеялся тот. — Утром учится, а вечером здесь. Он приезжий, родители бедны, стипендии нет, поэтому устроился сюда на работу. Хозяин здесь меценат, он дает ему и койку.

Подошли два режиссера из новой волны — Кобо и Эйнасике. Их бога зовут Фрейд: «Миром движут лишь две силы — потенция и импотенция».

— Ведь в истории мира не было ни одного старого революционера, — говорит Кобо. — Только молодые.

— Ваше кредо в искусстве?

— Я хочу препарировать социальное положение нашего общества, рассматривая его через призму сексуальной ущербности народа, — от стариков до детей, от нищих до мультимиллионеров. Наш, азиатский, Фрейд страшнее, чем ваш, европейский, потому что если европейский фрейдизм сейчас вырождается в гимн бессилию, слабости и опустошенности, то

наша японская вариация на тему должна устрашить мир своей силой, мускулами и прищуром яростных от гнева глаз.

…Завтракал с Альбертом Каффом, руководителем «Юнайтед пресс интернейшнл» по Азии. Разговор шел о боях во Вьетнаме, о ситуации в Пекине, о студенческих волнениях в Токио.

Несмотря на то что мы с Каффом на разных позициях, он как президент ассоциации иностранных журналистов, аккредитованных в Японии, старался помочь мне — созвонился с филиппинским послом и ходатайствовал о визе для «писателя Юлиана Семенова».

— Почему не «корреспондента «Правды»? — спросил я.

Кафф усмехнулся.

— Тогда уж наверняка не дадут.

Через Кавасаки и Иокогаму поехал на остров Эоносима.

Побывал в океанарии. Смотрел получасовое шоу, которое показывают дельфины. Фантастично и страшновато.

Когда дельфины, похожие на ракеты, выскакивают из воды, издавая странные, поющие звуки, захватывают ртом шар и осторожно надкусывают его, и шарик этот разрывается, и оттуда вылетают разноцветные голуби, а потом дельфины толкают резиновую лодочку, в которой сидит собака, а потом танцуют твист, — в те мгновения, когда, выскочив из воды, извиваются в воздухе, становится страшновато. Нежные дельфины, наши водные братья, может быть, они отличаются от нас лишь формой тела?

…Приехал в маленький городок Камакуру. Впрочем, за последние четыре-пять лет он разросся. Типичная Япония: никаких небоскребов, двух-трехэтажные домики. Крыши — словно тысячи сложенных рук, ладонь к ладони, как при молитве. Архитектура — застывшая музыка? Или — молитва?

Позвонили из Ти-Би-Эс. Это крупнейшая в Японии частная радиотелевизионная компания. Я давно хотел встретиться с работниками японского ТВ. Побеседовать с людьми, готовящими программу ТВ, весьма полезно, ибо они в значительной мере определяют «политику и практику» голубого экрана Японии.

Шеф международного отдела Ти-би-Эс господин Такаси любезно пригласил посетить компанию. Послезавтра беседа с господином Окамото в Эн Эйч Кэй — государственном ТВ Японии. Разница между этими компаниями в том, что государственное телевидение не принимает к прокату рекламы, в то время как Ти-Би-Эс — в общем-то ведущая японская программа

— живет на рекламе и ей служит.

Однажды я освободился около одиннадцати часов и, уставший, лежал в номере — смотрел ТВ.

Передавали прелестный итальянский фильм. Сорокалетний чиновник случайно попал в компанию юных хиппи; он хочет быть наравне с ними, влюбляется там в одну занятную девочку, страдает, когда она флиртует с другим, не может приноровиться к их ритму, и ему вдруг, как в детстве (все мы прошли через это), грезится то как она гибнет, а он ее спасает, то он вдруг видит себя в кругу семьи, то он ведет душеспасительные беседы с этой маленькой девчушкой, стараясь заставить ее жить по своим законам. За ним глубина чувства, а за ней и ее друзьями — отчаянность, вызов, пренебрежение к скоростям и расстояниям.

Как, видимо, отдавали себя — свои сердца, мечты и горести — и сценарист, и режиссер, и актер этому сорокалетнему герою, своему второму «я». Но через каждые двадцать минут этот фильм — грустный, пронзительно нежный — резала реклама: то на телевизионном экране проявляется чистая сорочка, возникающая из мыльной пены, то из взбитого крема рождается яблочный кекс. А потом снова кадры прелестного фильма.

Запомнился контрапункт фильма. После разнузданного «ча-ча-ча» возникает мелодия старой баркаролы, и вдруг танцующие ребята и девушки, и этот сорокалетний чиновник — все кажутся совсем иными. Они становятся белыми, чистыми, освобожденными от всего земного. А потом авторы фильма, словно испугавшись этой чистоты, полагая, видимо, что это мешает в нашем диком мире, начинают издеваться над самими собою, над всем вокруг, над своими героями.

Чиновник, мимолетно добившись нечаянной любви, поутру теряет девушку. Он уснул на пляже, а она уехала со своими молодыми друзьями. Для него это была высокая трагедия, горькое счастье; он уже представлял себе их совместную жизнь и жмурился от того, что видел лицо жены, когда она будет устраивать ему мордобой.

А для девушки эта ночь была одной из сотен шальных ночей — на шальной дороге шальной жизни.

Чиновник гнал по шоссе, но не мог приноровиться к скоростям молодых. И ехал он все тише, тише, тише, словно поняв для себя что-то важное. И когда крупным планом появилось лицо актера (это был Альберто Сорди), вдруг снова возникает реклама: красивая японочка раскладывает перед аккуратным, шоколадно-приторным, невозможно красивым мужем галстуки; возникает здание универмага, где продаются вот эти самые лучшие, самые модные сейчас в Японии галстуки, и диктор ТВ

выкрикивает: «Покупайте галстуки „модерн“!»

Когда после этого вас снова возвращают на крупный план рыдающего Альберто Сорди, смотреть картину невозможно — ее убили. Искусство для рекламы — это чудовищно.

Весь день провел у господина Такаси — руководителя международного отдела крупнейшей частной телевизионной компании Ти-Би-Эс. Беседовал с политическим комментатором г-ном Сонода. Он ехал в Токийский университет вести прямой репортаж: там идет забастовка левых студентов. Пригласил поехать вместе с ним.

Поездка была интересной.

Около университета собрались демонстранты, человек двести. Пока мы стояли около телевизионных камер, толпа студентов возросла до пятисот.

Эту, как и остальные молодежные ультралевые демонстрации, отличает крайний истеризм.

Маленький паренек в красной каске выкрикивает лозунги громким, тоненьким, пронзительным голоском. Остальные сидят на асфальте, подложив под себя листки бумаги, и внимательно слушают лидера.

Ребята готовятся идти к министру образования со своими требованиями, в главном — разумными.

Если бы не крикуны, спекулирующие на студенческой проблеме, то наверняка большинство здравомыслящих японцев стали бы на сторону молодежи. Однако ультралеваки, прилепившиеся к движению, толкают ребят к требованию «немедленной социальной революции, немедленного уничтожения всей буржуазной культуры, немедленного изгнания всех старых профессоров». Ультралевых отличает такая же тенденция к железной организации, как и ультраправых.

Стоило руководителю демонстрации посвистать в свой пронзительный свисток и крикнуть что-то в мегафон, как немедленно к нему подскакивали девушки и ребята и, зная заранее, кому, куда, в какой ряд, в какую шеренгу становиться, по-солдатски выстраивались в спаянную колонну.

Сонода быстро надел каску, дал такую же мне и попросил опустить на лицо прозрачную пуленепробиваемую маску.

— Сейчас может начаться драка, — сказал он. — Бьют весьма больно.

Промышленность по выпуску «противоударных касок» здорово греет руки: в месяц они выпускают триста тысяч касок для демонстрантов в одном лишь Токио. Стоит такая каска четыреста иен, а особенно прочная, красного цвета, — тысячу.

Японские журналисты говорили мне, что, быть может, хозяева этой «индустрии» связаны с главарями ультралевых студентов, потому что барыши у «каскопроизводителей» совершенно фантастические.

Чем больше я наблюдал за студентами, тем больше они казались мне членами военной организации. Впереди — наиболее рослые ребята в касках, за ними девушки и парни без касок, это, вероятно, «интеллектуалы» движения — худенькие, слабенькие, но очень голосистые, они все время выкрикивают лозунги. Колонну замыкает арьергард — там тоже здоровенные ребята в касках, с дубинками и металлическими прутьями в руках.

Ребята начали бегом кружить по улице, скандируя свои лозунги; они «разогревались», словно спортсмены перед стартом. Когда их крики стали особенно яростными, подъехали дополнительные наряды полиции. Полицейские выскочили из своих машин и, пристроившись на бегу к демонстрантам, окружили их со всех сторон и «повели» колонну к министру образования.

…В Ти-Би-Эс работают не только телетайпы информационных агентств Франции, Великобритании и Америки. Там, впервые в Азии, работают телетайпы на иероглифах. Казалось бы, иероглифический телетайп должен работать медленнее, чем телетайп латинского шрифта. «Нет, — с гордостью сказали мне японцы, — наш телетайп работает значительно быстрее европейского». Это чудо, действительно чудо: японцы смогли рассчитать на ЭВМ принцип иероглифического письма и отладили телетайп, который первым, — в сравнении с остальными, — сообщает о новостях со всего света.

Если бы национальная тенденция выражалась в том, как «свое» делать более быстрым, красивым, удобным, более приятным для человека, то — да здравствует такой «национализм»! Да здравствует «национализм» скорости, удобства, радости! Долой национализм ущемления «других»! Впрочем, истинный национализм начинается с ущемления «своих».

Познакомился с Токато-сан — прелестным тридцатилетним художником, одним из известнейших живописцев Японии. Сели в его «тойоту». Поехали к скульптору Ивано-сан — я его назвал «Иван Иванычем», и скульптор зашелся от смеха. Еще до того, как японцам переведут смысл каламбура или шутки, они по интонации понимают, что ты говоришь.

Вообще здесь обостренный, я бы сказал жадный, интерес к

русскому языку. Как это ни парадоксально, японцы чувствуют наш язык, особенно это заметно в песне. Мне показалось, что в Японии наши песни поют отнюдь не хуже, чем мы, порой даже с большим чувством.

Ивано-сан, лауреат Национальной премии Такеси Хаяси, работает в маленькой мастерской. Его скульптуры в чем-то похожи на работы Николая Никогосяна — так же экспрессивны. Только в них экспрессия сдержанности, «кричание» статистики.

Движение души, порыв, плач, счастье, крик японцы умеют передавать через сцепленные пальцы рук, а на лице — если это поясной портрет — будет полное спокойствие.

Я заметил, что «национальность» новой работы Ивано «Девушка, снимающая платье» я мог бы определить, даже не видя ее лица: по движениям рук, повороту торса, наклону головы.

Ивано-сан преподает в Институте новых форм, приглашает съездить туда.

…Рано утром приехал Ивано-сан на своем маленьком «брюберде». По-английски «блубед» означает «синяя птица». Японцы не произносят букву «л», они говорят «брюберд». Даже когда они хотят сказать по-английски: «Ай лав ю», — они произносят: «Ай рав ю». Сигареты «Лаки страйк» они называют «Раки страйк». «Выходира на берег Катюша… Выходира, песню заводира…»

Ивано-сан пригласил меня за город. Он придумал интересный маршрут: по «деревянной Японии», в Институт новых форм — к художникам, а потом в театр «Синсейсакудза», руководимый Маяма-сан, одной из наиболее известных актрис и режиссеров Японии.

В Институте новых форм Ивано-сан завел меня в «комнату для изучения чайной церемонии». Это бесконечно интересно.

Чай вы должны выпить в три присеста. После каждого глотка вы обязаны говорить хозяину комплименты. Хозяин должен любезно и заинтересованно отвечать вам. Чашку следует держать «лицом», то есть рисунком, к хозяину. Непристойно пить чай, повернув «задом» к хозяину.

(Ивано-сан очень потешался, объясняя мне, что значит «лицо», что значит «зад» чашки.)

Чаем угощают главного гостя. Он должен сидеть справа от хозяина. Только главный гость имеет право говорить о вкусе чая, ибо это угощение сделано в его честь. Лишь после второй заварки право высказываться о вкусе чая перейдет к соседу главного гостя.

Вот вам японское застолье, которое разнится от грузинского, пожалуй, только тем, что вместо вина здесь пьют душистый,

великолепный чай. Впрочем, есть еще одно отличие: здесь не говорят ничего о хозяине; говорят лишь о том, как он приготовил чай, — разбирают «работу», а не «личность», ибо даже «злодей, умеющий делать нечто, заслуживает снисхождения».

А вообще чайная церемония, ее философская сущность заключается в том, чтобы уметь найти прекрасное в обыденном.

…Бывает так, что идешь по дороге и начинаешь привыкать к окружающей тебя диковинной красоте. Но вдруг подымешься на пригорок, откроется тебе новая даль, ты поразишься ее плавной голубизне, обернешься назад и заново увидишь многое из того, мимо чего прошел, привыкнув.

(Вспомнил Александра Трифоновича Твардовского. Однажды рано утром он, гуляя по дорожкам нашего поселка, зашел ко мне. Пронзительные голубые глаза его — диковинные глаза, изумительной детскости, открытости — были как-то по-особому светлы и прозрачны, будто бы «умыты» росой. Он тогда сказал одну из своих замечательных фраз, — он их разбрасывал, свои замечательные фразы, другому-то на это дни нужны: «С утречка посидел за столом, строчку нашел и словно бы на холм поднялся — дорогу далеко-далеко увидал, петляет, а — прямая…»)

Таким же «холмиком», взгорьем, с которого видно вперед и без которого трудно понять пройденное, для меня оказалась встреча с Маямой-сан. «Иван Иванович» думал показать мне ее интереснейший театр, его поразительную архитектуру, а вышло так, что я провел у нее много дней, радуясь и удивляясь этой великой актрисе, режиссеру и драматургу Японии.

…Ивано-сан подъехал к старинному городку Хатиодзи — это неподалеку от Иокогамы, свернул с хайвея на маленькое шоссе, миновал двухэтажные улочки центра, дорогу, точь-в-точь как у нас в Красноярском крае (первая, кстати говоря, проселочная дорога в Японии, которую я увидел), проехал мимо домиков крестьян и остановил свой «брюберд» посреди горного урочища.

— Вот мы и приехали в театр Маямы-сан, — сказал он.

Я ошалело огляделся. Синее высокое небо. Ржа коричневых кустарников на склоне крутых гор. Желтая земля. В углу урочища, образованного двумя скалами, — большая серая бетонная сцена.

Ивано-сан, внимательно следивший за моим взглядом, отрицательно покачал головой.

— Это лишь одна из сценических площадок, — сказал он, — зал на тысячу мест выбит в самой скале…

Когда в прошлом году Маяма поставила спектакль о Вьетнаме, то главной сценической площадкой были склоны гор.

Прожекторы высвечивали актеров, одетых в форму партизан, склоны гор были радиофицированы, поэтому создавалось впечатление соприсутствия с людьми, затаившимися в джунглях. Это было фантастическое зрелище. Тут собралось несколько тысяч человек, овация длилась чуть не полчаса.

И вот навстречу идет женщина, маленькая до невероятия, красота ее традиционна — такими рисовали японок на фарфоре. Она в кимоно и в деревянных крошечных гета.

(Звук Японии — это когда по ночному городу слышен перестук деревянных гета.)

Она здоровается так, как, верно, здоровались в Японии в прошлом веке: приветствие — целый каскад поклонов, улыбок, вопросов, приглашений, разъяснений, шутливых недоумений; глаза ее — громадные, антрацитовые — светятся таким открытым, нежным и мудрым доброжелательством (у Твардовского они голубые и поменьше, а так — одинаковые), что становится сразу легко и просто, словно ты приехал к давнишнему другу, и только одно странно: почему друг говорит по-японски, с каких пор? (Мне хочется допустить мысль, что и Маяма тогда подумала: «С чего это Юлиано-сан заговорил по-русски?»)

Эту женщину в Японии знают многие. Ее книга «Вся Япония — моя сцена» издана несколькими тиражами, переведена во многих странах мира. Она показывает рукой, чтобы я следовал за ней. Жест сдержан, он плавный, лебединый, полный грациозности.

И мы идем осматривать театр, первый в мире театр-коммуну, у которого в стране миллионы поклонников и друзей. В скалу вбиты дома для актеров — великолепные квартиры. Детский сад для малышей. Библиотека. Бассейн. Зал, врубленный в скалу, обрушивается рядами кресел на сцену. Ощущение, что ты находишься в театре будущего. Акустика такая, что на сценической площадке слышен даже шепот.

Театр начинал с «нуля», после крушения милитаризма в Японии. На книжных рынках появились новые имена, для Японии были по-настоящему открыты «По ком звонит колокол» и «Гроздья гнева», «Разгром» и «Теркин», Арагон, Брехт и Лем. Новая литература рвалась на сцену, но ставить ее не могли: до сорок пятого года театр в Японии был сугубо традиционный, женщины на сцене не играли. Варьировалась «самурайская классика».

— Я засела за Станиславского, — вспоминает Маяма-сан, — изучала опыт Мейерхольда. Я убеждена, что вне национального искусство погибает, лишь национальное дает выход к массам и на

международную арену. Но тяга к национальному — явление двузначное: в какой-то момент эта тяга может стать националистической, то есть, как я считаю, фашистской…

Когда мы начинали, у нас было всего двадцать человек. Жили у меня дома. Я потихоньку продавала платья, шубы, книги, чтобы кормить товарищей. Сейчас у нас в труппе восемьдесят действительных членов и сорок кандидатов. Мы гастролируем по всей Японии. Деньги от спектаклей идут на покрытие наших расходов, на транспорт, заработную плату актерам, а остальные деньги — мы зарабатываем много — идут сельской интеллигенции: врачам, учителям, фельдшерам, ансамблям художественной самодеятельности…

Маяма-сан пришла в театр из семьи известного японского писателя. Когда она вспоминает о детстве, глаза ее меняются, — в них уже нет улыбки, они замирают и кажутся густо-синими, фиолетовыми.

— Отец мой часто пил, — негромко рассказывает она, чуть виновато улыбаясь. В окнах ее дома, стоящего на самой вершине горы, — звезды. Тишина. Раскрыт огромный концертный рояль, музыка — ее вторая жизнь. — Характер этого самого прекрасного человека, — продолжает она (Маяма говорит несколько фраз и надолго замолкает, уходит в себя), — был ожесточен окружающей ложью. Он был очень честным и чистым человеком, а ему не давали писать ту правду, которая окружала нас. Это как живописец, которого заставляют вместо раннего утра писать ночь. Писать так, как этого требовали власти, он не умел.

…Когда девочке исполнилось пять лет, в доме начались ссоры, денег не было, семья голодала. Маяма взяла иголку и всю себя исколола, чтобы болью «уравновесить» ужас, который охватывал девочку во время страшных скандалов. Ее увезли в больницу, месяц она пролежала в палате без движения — форма детского паралича.

— Я очень, очень любила его, — продолжает Маяма. — Возвращаясь из школы, я часами простаивала возле дверей его кабинета, чтобы услышать, как он встанет из-за стола, войти тогда и сказать так, как принято в семье самураев: «Вот я пришел!» Так было всегда у самураев, — поясняет она. — Утром, перед школой, надо сказать: «Вот я ушел!» Раньше самурай, уходя, рисковал никогда впредь не вернуться. Возвращение в дом — это счастье, и все должны сразу же знать об этом… Он тогда обнимал меня, мой отец, сажал на колени и рассказывал смешные истории, но мне совсем не хотелось смеяться… Когда он умер, в доме осталось десять тысяч иен — этого с трудом хватило на дощатый гроб. Цветы на его могилу принесли два деревенских

паренька.

Потом, когда его перехоронили в Токио, — вспоминает Маяма, — и было много цветов, торжественных речей и важных господ в смокингах и фраках, я думала, что те, деревенские похороны, в последний год войны и цветы деревенских мальчиков, которые робко стояли у гроба, были честней и выше духом, чем показная печаль степенных буржуа…

Десять лет Маяма играла в театре. Ее занимали в главных ролях, слава ее росла…

— Между прочим я была у вас на представлении «Чио-Чио-сан». Я обожаю ваше искусство, но тут я была огорчена: много неточностей в показе японского быта. Например, я замирала, когда ваша актриса начинала обмахиваться веером. — Лицо Маямы становится страдальческим. — Юлиано-сан, веер — это ракетно-ядерное оружие женщины. Оно так же сильно. Поэтому обращаться с ним надо ответственно и строго. Разве мужчина сможет быть спокойным, если увидит в руках у женщины веер? Любой мужчина потеряет голову. Ваша Чио-Чио-сан встречала мужчину, прохаживаясь по кабинету. А по японским обычаям мужчину надо встречать с поклоном с колен, Юлиано-сан. Это высшая гордость для женщины, когда в ее дом входит мужчина! А как ваша Чио умирала? По-нашему, уж если женщина решила умереть от любви и ее смерть не принесет горя мужчине, который уехал, бросив ее, она должна тщательно продумать ритуал самоубийства. Высшая эстетика в честь женщины сокрыта в фазе смерти. Во-первых, надо завязать колени тугим жгутом. Во-вторых, следует обернуть кинжал бумагой. Зачем связывать колени? Представьте себе, что у Чио-Чио-сан будут видны оголенные ноги! Зачем бумага на кинжале? Чтобы она впитала кровь. Вид лужи крови на земле может вызвать отрицательные эмоции у тех, кто придет в комнату и обнаружит труп. Вы не сердитесь на меня? Быть может, вам нравится постановка «Чио-Чио-сан» — тогда, пожалуйста, простите меня. Но мне кажется, что вы согласны со мной, — улыбается Маяма.

…Поздно ночью Маяма пригласила меня на свой спектакль, посвященный Варшавскому восстанию 1944 года. Кинокадры разрушенной Варшавы. Расстрелы патриотов. Панорама по лицам солдат Красной армии и Войска польского, которые готовятся к штурму. Звучит Шопен. Мощное ощущение гнева и гордости. В зале были только Маяма-сан и я. Но я ощущал высокое волнение, словно был затерян среди тысячи других зрителей, и поэтому не было зазорным, когда в глазах закипали слезы и горло перехватывало спазмой.

А потом на сцену вышли актеры — без грима, и они играли

граждан сегодняшней Польши, и я забыл, что это японцы, и я только поражался тому, как художник, только художник, может отдать свое сердце любви к другому народу.

…Иида-сан переводит в Японии мои книги. Поехали с ним в издательство «Хаякава». Они издали «Петровку, 38». Познакомился с папой Хаякава (Хаякав в Японии, как у нас Петровых), президентом издательства, с сыном Хаякавой, вице-президентом, и с главным редактором Токива. Они показали мне свой план — скоро выпустят братьев Стругацких. Готовят переиздание Ле Карре, Флеминга, Агаты Кристи.

(Великолепную книгу Ле Карре «В одном маленьком немецком городке» здесь, как и повсюду на Западе, замалчивают из-за ее открытой тенденции: «Внимание, люди, в ФРГ неонацисты поднимают голову!», переводят лишь те романы Ле Карре, в которых он наскакивал на ГДР.)

Хироси Хаякава — вице-президент компании «Хаякава паблишинг хауз» — рассказал об организации издательского дела в стране.

— Книгоиздательство, — говорил он, — это азартная игра. Я не связан непосредственно ни с читателем, ни с писателем, ни с книготорговлей. Все решает посредник. Он в первую очередь формирует читательское общественное мнение. Я, издатель, фактически не имею никакой гарантии, и я не знаю, пройдет книга на рынке или нет. Для того чтобы как-то подстраховать себя, приходится выпускать серию Джеймса Бонда. Я понимаю, что это дурная литература, пошлятина, но что делать. Я жалею молодых писателей. Они сердитые, им тяжело. Если ко мне придет гений, но гений непризнанный, у которого нет паблисити, он и уйдет непризнанным гением, я его не издам, я не могу рисковать. Если только приходит посредник и я знаю, что это серьезный человек, и что у него отлажены контакты с книгопродавцами, и что он имеет свои ходы в журналы и в газеты, только тогда я иду на риск. Потому что значительную долю ответственности за неуспех он принимает на себя.

Говорит он об этом деловито, а в глазах затаенная боль.

— Где же выход? Его у нас нет. Невозможно поломать сложившуюся систему отношений: писатель — посредник — издатель — продавец. Кроме писателя, все заинтересованы в сохранении этой системы. Я понимаю, что это ужасно, что это мешает появлению новых имен в литературе. Я пытаюсь успокаивать себя лишь одним: истинный талант — одержим, он должен пробить стену, если ему есть что сказать людям.

…Забыл получить деньги в банке. Ночевать негде. Позвонил друзьям. Сказал, что нашел маленький «традиционный отель», где комната стоит три доллара, а не десять, как всюду. Оставил на всякий случай номер телефона: если понадоблюсь — ищите.

Когда я приехал в «традиционный отель», портье протянул мне бумажку: номер с обслуживанием стоит тридцать долларов! Я похолодел. В кармане у меня оставалось всего девять долларов, рассчитанных до цента: три — за номер, три — позавтракать и поужинать (обед — излишество, если можно устроить поздний завтрак), доллар — метро, два доллара — музеи и кинотеатры в воскресный день.

— Но мне сказали, что номер стоит три доллара!

Портье достал японо-английский разговорник, долго листал его, наконец ткнул пальцем в какую-то фразу и протянул мне книжечку.

— «Никто так не обслужит мужчину, как женщина».

Портье томно закрыл глаза, изображая девицу, и поцеловал себя в ладонь, изображая страстного мужчину.

— А без «обслуживания» можно?

Портье долго переговаривался со старухой в кимоно и гета, потом вздохнул и сказал:

— Нежелательно, но можно. Пять долларов.

— Два! — сказал я и для верности показал на пальцах.

— Три, — сказал портье миролюбиво, — и не центом меньше.

Комнатку он мне дал крохотную — четыре квадратных метра.

Кровати нет, стола нет, в углу матрац, свернутый, как солдатский ранец, — ночью он заменяет кровать. За тоненькой бамбуковой стенкой веселились американцы с японочками из «обслуживания».

Пошел бродить по городу. Просто так, без всякой цели. Увидел вывеску: «Русский бар „Кошка“». Это в районе Синдзюку, в тупичке около железной дороги. Это район нищих «баров», сколоченных из неструганых досок. Стойка и четыре высоких скрипучих стула.

В баре сидели трое молодых японцев с кинжалами на широких ремнях.

Старуха в парике, увидев меня, схватила балалайку и запела: «Выпьем за Танюшу, Танюшу дорогую, а пока не выпьем, не нальем другую».

— Откуда? — спросила она меня по-японски. — Американец?

— Нет, — ответил я, — русский.

Старуха вдруг, без всякого перехода, заплакала:

— Господи, русский, вот счастье-то! Из каких? Австралийский русский или немецкий?

— Советский…

Старуха — опять-таки сразу же, без подготовки, — плакать перестала и решительно вытерла нос платочком.

— Не может быть, — сказала она, — не верю.

— Почему?

— Вам запрещено ходить по-одному, а посещать бары — того более.

— Значит, я отступник…

— В России за отступничество головы рубят.

— У меня шея крепкая.

— На продажу ничего нет?

— Не понимаю…

— Золотишко, камней? Устрою, есть связи…

— Не надо…

Старуха плеснула в рюмку «смирновской» водки, — мне она налила двадцать граммов и десять, не больше, плеснула себе.

— Пей до дна, пей до дна, пей до дна! — пропела она. — Пей, большевичок недорезанный. Эх, господи, и зачем вы сюда пришли, только сердце растревожили. Я пятьдесят лет никого оттуда не видала. Из Петрограда — в Читу, потом — в Дайрен, оттуда — в Шанхай, а после сюда. Графиня, — крикнула она, открыв окошко, ведшее на кухню, — идите сюда, у нас в гостях красный…

«Графиня», женщина лет сорока пяти, густо накрашенная, в нелепой черной мини-юбке, вышла из кухни. Один из парней вскочил, подошел к ней, взял за руку, привлек к себе, что-то шепнул на ухо. Женщина отрицательно покачала головой, глядя на меня.

— Действительно вы из России? — спросила она.

— Действительно.

Она прикоснулась к моей руке.

— Во плоти, — усмехнулась она. — Бред какой-то. Где ночуете? — спросила «графиня».

— В отеле.

— Далеко отсюда?

— Нет…

— Откуда сами?

— Из Москвы.

Старуха снова заплакала.

— Если будет желание переночевать в русской семье — прошу, — сказала «графиня», вымученно улыбнувшись. — Две комнаты, семь квадратных метров. По здешним условиям это прекрасно. Нянька, — она кивнула головой на старуху, — переночует здесь, на полу…

Я улыбнулся, посмотрев на старуху.

— Она уже сказала вам, что княжеского рода? Она такая же княжна, как я графиня. Она — старая б…, я — помоложе…

…В понедельник встретился с директором одной из фирм «Мицубиси». Важный, чопорный господин читал мои книги, попросил подписать их, учтиво интересовался, в каком отеле я живу. Настойчиво рекомендовал «Тоси сентер».

— Там великолепные номера, это недорого, всего двадцать долларов.

Знать бы ему, где я ночевал.

…Беседовал с работниками Общества содействия переводам русской литературы. Им трудно. Книг они получают мало. Только сейчас услыхали о Юрии Бондареве, Василе Быкове, Юхане Смууле. Они ничего не знают о Василии Шукшине, Борисе Васильеве. В университете Васеда, где изучают русский язык, получают только два наших толстых журнала.

Вечером, когда я возвращался в отель, ко мне подошла женщина. В руке у нее подрагивал маленький фонарик.

— Предсказание судьбы стоит всего триста иен, — сказала она на плохом английском, — я гадаю только правду.

…Взяв мою руку, она замерла, низко приблизив свое застывшее лицо к моей ладони.

— У вас прекрасные дети, — сказала она после долгого молчания, — две девочки. У них глаза разного цвета…

Гадалка то включала фонарик, то резко выключала его, и делалось тревожно темно вокруг. Несколько раз она осветила мое лицо, близко заглядывая в глаза.

— У вас в жизни дважды был перелом, трагический перелом. Вы недавно потеряли любимого человека. Отец? Мать? Младшая дочь похожа на вас, а старшая дочь — на жену.

(Откуда она могла знать все это? Она говорила правду.)

— Будьте активны. Вы устали от своей работы, но не бойтесь этой усталости, без нее вы погибнете.

Она говорила это не так, как обычно говорят японцы, — улыбчиво, оставляя возможность не согласиться с их словами. Она настаивала на своих утверждениях.

— Вы не должны быть жестче, чем вы есть. Зачем? Доброта должна быть сильной без маски.

* * *

17 мая 1969 года

Москва

Разговаривал с К. Симоновым о повести[121]. «Мне вещь что-то не очень. Не обижаетесь? Зачем там Степанов? Почему знает язык? Может, интересно бы дать, что он в прошлом востоковед и поэтому лучше понимает саванакетскую цветистость, чем современный язык Ситонга. Кемлонг — как противовес той линии. Может, как раз интересно бы дать линию Степанов без женщин — все ждут этого, а этого и нет. Символика конца: русские и американцы погибают, а китайцы выигрывают? Черт его знает…

Есть много интересного. Выход разговора с монахом. Отношение Ситонга к Степанову — он отвечает за его жизнь. Но как пузыри то и дело возникают вопросы, остающиеся без объяснений.

У нас, у поэтов, так бывает: придумаешь последнюю строчку и прешь напропалую, не обращая внимания на строфы. Вы, видимо, написали вещь смаху.

Я сидел в карантине 15 дней после Индии. Написал там повесть: история из жизни летчика (фамилию я забыл). Роман с заезжей актрисулей. Летчикам читал — они с нами сидели в карантине. Споры были: жениться ему или нет. Увлечен я был этой вещью… А до сих пор лежит: отлежалась, увидел много дыр.

Вы не сердитесь, что я вам все это говорю? Врать как-то не хочется.

Достоверность важна: я верю радиостанции в пещерах, это хорошо. Много в вещь заложено, она плотная, но в то же время: как это ваш американец просто так уедет из армии с женой? Трибунал за дезертирство. Может быть, интереснее: хочет уехать с ней, а не может, так как влез в кашу. Армия есть армия. Расстреляют за дезертирство.

Вы говорите, что они в Таиланде стоят как советники. А почему не в Лаосе? Отказываются, говорят, что не бомбят? Так объясните про это. Больше объясняйте. Зачем едет Степанов? Он кто? Какого-то звена в Стюарте не хватает — в его истории. Хороша история с фестивалем, выход на китайцев. Но рок, заданность — это уже по принципу, разойдись рука, что моя левая нога хочет. Стоит ли Стюарту охотиться именно за этой машиной? Здесь насилие автора».

Говорили о Чечекты — станции на Памире. Говорят, что в связи с годом неспокойного солнца сердечникам надо в этом году жить под землей — чтобы не умирать.

«Почему? Пусть умирают, если так надо и положено. На секс тоже этот год влияет. Вот черт… И сердце беречь, а тут на секс

влияет. Нет, надо рискнуть».

О правдинских секретаршах: «Глупо держать хорошеньких. Надо держать старух, я всегда держал старух».

* * *

Ноябрь 1972 — январь 1973 года
Франция, Испания

20 ноября посол Абрасимов пригласил меня на встречу советских граждан, живущих во Франции, то есть тех, кто принял советское гражданство после войны. Большинство — люди пожилые, седоглавые. Это была первая эмиграция, которая ушла с Врангелем, и сюжет, который родился у меня в голове, когда я слушал доклад нашего поверенного в делах, Валентина Ивановича Оберенко, был таким:

Вот сидит старик с розеткой Почетного легиона в петлице. Идет доклад. В общем, в определенной мере казенный доклад, такой, какой мы, к сожалению, произносим, как правило, на праздничных датах, а там есть цифры. Против цифр, как говорится, не попрешь — цифры роста.

Вот старик слушает этот доклад, и взять ретроспективу: революция, он в Белой гвардии.

Вот он слушает доклад, и описать его радость во время коллективизации, когда казалось, что вот-вот все зашатается у нас.

Вот он слушает этот доклад — немецкое вторжение. И он отходит в сторону от тех оголтелых, которые пошли в услужение к немцам.

Вот он слушает доклад, а когда он увидел немецкие зверства, когда он услыхал по подпольному радио о героизме Сталинграда, он уходит в маки.

Вообще, этот человек был чем-то поразительный, потому что никогда я не видел такой трепетной заинтересованной аудитории в каждом слове, которое неслось со сцены. Никогда я не видел такой, я бы сказал, обнаженно-доверчиво-патриотической аудитории, как та, которая прожила в эмиграции добрые пятьдесят лет.

Назавтра утром посол пригласил меня на завтрак, который он проводит раз в месяц, когда собираются послы всех социалистических стран. Запоздали послы Польши и Югославии, потому что бастовали студенты, перекрыли улицу, нельзя было проехать. Вместе с нами на завтраке был Андрей Андреевич

Смирнов, заместитель Громыко.

Послами высказывались разные точки зрения по поводу предстоявших тогда выборов в бундестаг. И была очень интересная точка зрения, что Брандт проводит политику, которую боялся, но очень хотел проводить Аденауэр.

Смирнов рассказывал, как он беседовал в свое время — это было году в пятьдесят шестом, пятьдесят седьмом с немецким крестьянином. Он спросил его: «Почему Вы голосуете против социал-демократов?» А крестьянин ответил: «Хватит, они привели к власти Гитлера».

То есть социал-демократы скомпрометировали себя половинчатостью, и именно строго определенная политика Брандта послужила одной из наиболее весомых гарантий для его победы на выборах.

Для дипломатов чем хуже положение, тем лучше, ибо есть себя на чем проявить. Усталость, благополучие — враг дипломатической карьеры.

Во время холодной войны значительно легче выдвигались кадры, особенно молодые. А мир делает одна личность, как правило, которая круто поворачивает тенденцию планеты. И все остальные этой личности служат. Здесь нельзя себя проявить, ибо в данном случае излишняя торопливость в хорошем может вызвать обратные результаты. Во времена холодной войны чем хуже каждый себя проявит (я имею в виду агрессивность самопроявления), тем лучше.

Когда возвращался из посольства, Петр Андреевич предложил мне машину, но я решил поехать на метро — всегдашняя моя манера за границей ездить на метро, ибо это социологический срез общества.

На Пляс де ля Конкорд сел молодой американец. Перень, наверное, давно не ел, прислонился к стене, устроил себе перерыв, достал бутерброд. Я разговорился с ним: почему он здесь? зачем?

— Я устал биться с режимом равнодушия, — ответил парень. — Я пробовал себя в кино, в театре, на телевидении, это невозможно практически, нужны либо меценаты, либо деньги, либо уже хоть в чем-то и хоть как-то проявивший себя талант. Я, во-первых, не знаю, есть ли у меня талант, а если и есть, то он никак не проявлен. Я приехал в Европу, был в Англии, потом перебрался сюда. Здесь, в общем, такой же режим равнодушия, но мне помогает жить и не броситься под колеса поезда то, что здесь, в Париже, жил Старик.

— Хемингуэй? — спросил я его.

— А разве есть еще один Старик? — ответил парень.

Его зовут Джекобс. Он из Нью-Джерси, двадцать три года. Ушел с четвертого курса Вашингтонского университета.

Назавтра встреча с главным редактором «Юманите» Анри Вюрмсером. Беседовали по поводу присуждения ему премии буржуазной критики за исследование творчества Стендаля, Толстого и Бальзака.

Вюрмсер сидел в маленькой комнатке, весь в табачном дыму. «Я каждый день пишу по статье для „Юма“, — сказал он, — и восемь лет не брал отпуска. Ни разу».

Беседовал с членом политбюро ЦК французской компартии Гастоном Плисонье.

— До войны, — рассказывает он, — я не был активным членом партии. Жил в деревне, а там политическая жизнь проста. Кто за, кто против — очевидно сразу.

Когда началась испанская война и Мюнхен, мы были очень активны, издавали листовки. Потом партия перевела меня в Лион.

14 июля 1941 года мы подготовили листовку «Франция будет свободной», вели пропаганду на заводах. Самая маленькая победа на вашем фронте была для нас счастьем.

Когда вы отбили Ростов, мы собрали по сантиму для того, чтобы купить несколько бутылок вина и выпить — отметить это счастье.

А потом меня перевели в район Тулузы. Именно там мы создали издательство, которое работало до конца войны. Выпустили 10 тысяч листовок.

Надо было найти типографа-коммуниста. Мы знали, что он жил в Сант-Этьене. Я его отыскал и сказал: «Купи дом вдалеке от дорог. Я не хочу знать, где будет твой дом и твоя типография».

Я верил, что в случае провала выдержу, но… лучше знать меньше.

Бумагу нам давал хозяин бумажного завода из Сен-Жерон-де-Арьеж — передавал ее в чемоданах.

Помню занятный случай: выезжаю из Тулузы в Лион с документами для южной зоны и с информацией для товарищей в Алжире, так как у нас шла связь. А на станции — обыск. Я шел по перрону, и вдруг всех пассажиров окружило 30 полицейских.

Они повели нас в комнату для проверки документов. Подумал: «Все. Пропал». А с тем, что я вез, меня расстреляли бы немедленно.

Я проглотил бумагу, где были написаны имена подпольщиков в Лионе, — хоть их спасу. А информация у меня в чемодане, который надо было отдать в камеру хранения.

Документы у меня были надежные: представитель торговой фирмы Жорж Дюшен.

— Я хотел бы предупредить моего друга, местного жителя, чтобы меня не ждали, — сказал я полицейскому. — Позвольте мне выйти.

— Вы собираетесь уезжать?

— Нет, я сейчас вернусь.

Я вышел к моему другу, сунул документы и мгновение раздумывал: возвращаться или нет? Решил: если раз повезло, значит повезет и во второй. Вернулся. Проверили, обыскали и… отпустили.

Мы сидим у него в зале, в высоком новом здании возле метро «Полковник Фабиан». Из окна виден собор Парижской Богоматери. Глаза у него очень добры, спокойны и веселы. И относится он к тому, что было, с каким-то солдатским, добрым юмором. И не видит ничего героического в том, что рассказывает. Улыбчив, спокоен и добр, этот славный Гастон Плисонье.

…Сегодня воскресенье, и совершенно поразительно: под окнами тихо, а время уже тридцать пять минут девятого. А в субботу, и в пятницу, и в четверг с восьми часов грохотали машины, стучали быстрые каблучки, слышался смех школьников, быстрые крики торговцев, которые разгружали машины с товарами.

Елисейские поля очень интересно смотрятся после тринадцати: начинается некий парад, взаимное зрелище. Сидят за окнами кафе состоятельные, видимо, люди и смотрят на толпу, которая течет по одной из самых красивых улиц мира. А люди из толпы так же внимательно разглядывают тех, кто сидит за толстыми стеклами старых прелестных елисейских кафе.

Вчера смотрели «Механический мандарин» Стенли Кубрика. Фильм сделан, конечно, поразительно интересно и в высшей мере талантливо. Но я не могу не согласиться с Андроном: эта вещь — порождение чудовищной и больной фантазии.

Где-то режиссер с самого начала решил раздразнить себя. Он довел себя показом в самом начале зверств, творимых мальчиком Алексом и его тремя братьями. Он, действительно, уподобляется индейскому колдуну (я видел таких в районе Куско), который, прежде чем начать врачевать флюс, триппер, зубную боль или понос, вводит себя в состояние полной истерики. Так и здесь. Зверства, которые творят эти мальчики, они в чем-то идентичны, а в чем-то и страшнее зверств, которые творила гитлеровская машина. Почему? Потому что персональное зверство — это либо проявление глубокой шизофрении, либо оно неизмеримо

страшнее зверства, так сказать, коллективного.

В подоплеке коллективного зверства — дисциплина; в подоплеке коллективного зверства — уважение авторитета, уважение догмы, которую вдалбливали в головы из поколения в поколение.

В фильме масса великолепных находок. Папы и мамы — законченные обыватели, с целлулоидной ромашкой на столе, одетые всегда так, чтобы все было «так, как у людей». Но из-за того, что твои родители обыватели, нельзя до полусмерти избивать нищего, нельзя насиловать и убивать женщину на глазах у ее мужа-писателя.

В этой картине есть много чего «нельзя» — не по соображениям цензуры, не по соображениям здравого смысла, а просто по соображениям божеским. Многое в этой картине «нельзя».

Я сейчас говорю это и вдруг ловлю себя на мысли: намеренно ли Стенли Кубрик подобрал на главную роль этого актера? Даже в те минуты, когда, по указу режиссера, актер пытается быть хорошим, когда, с помощью музыки Бетховена и некоего медицинского шока и показа кадров нацистских зверств — причем там зверств не было в общем — показали, какой Гитлер и как маршируют нацисты, и как солдаты стучатся в двери — я подобрал для «Семнадцати мгновений» значительно более (прошу меня простить за нескромность) поразительный материал, так вот, даже когда он исправляется, все равно лицо его столь неприятно и в добре и в зле, и нет в нем чего-то такого, что должно быть в человеческом лице. Ведь раскаявшийся злодей — Раскольников Достоевского прекрасен в минуты своего раскаяния, а злодей, которому вдруг в тюремной библиотеке представляется Иисус Христос, который идет на Голгофу, а он его хлещет нагайкой, и после этого он просит тюремного пастора помочь ему вылечиться… — вот тут есть неправда.

Тут есть неправда такая же, как если бы Гитлер обратился за помощью к Чемберлену вылечить его от антисемитизма, прочитав книгу. Вот здесь есть какая-то изначальная ложь. Конечно, картина с чудовищно страшными импульсами к размышлению. Смотришь эту картину и начинаешь думать: а может быть эвтаназия, это хорошо? То есть картина, направленная против фашизма, сделана, я бы сказал, фашистскими методами.

…Рафаэль купил себе квартиру на набережной Монтебелло. Этот дом выходит еще на одну маленькую улочку рядом с набережной. Это дом XVII века.

Когда вы входите внутрь, там все совершенно

переоборудовано. Вместо маленьких скрипучих лестниц, прелестных, таинственных, которые могли бы помнить Д'Артаньяна и Арамиса, сейчас сделаны бесшумные лифты, и древность сохранена только в одном: по потолку пропущены балки, причем видно, что дерево это не поддельное, а действительно очень старое, изъеденное временем.

…Чудовищность эмиграции. Идти и мучительно хрустеть в кармане франками — хватит или не хватит расплатиться, чтобы пригласить земляка, вырвавшегося из-под тирании…

Прекрасная тема: человек мучительно подсчитывает, лазая незаметно по карману, говорит о свободе, о литературе, об искусстве, а у самого одна мучительная мысль в голове: у них командировочных мало, а у меня еще меньше, и все разложено на месяц вперед.

Горькое может быть сочинение. Жестокое.

…Интересное объяснение молодого парнишки — англичанина Филиппа, который живет здесь на восемьсот франков. Четыреста франков у него в месяц на еду и четыреста франков на комнату в гостинице без всех удобств.

Выясняю, почему он влюблен в Париж.

Он говорит: «Первые полгода я Париж ненавидел, потому что он мне казался таким же буржуазным, как Лондон. А теперь я в Париж влюблен и не могу себе представить, как жить без него».

Объяснение. В Лондоне ты ходишь в какой-то определенный ресторанчик, кафе, бар, и там у тебя есть свой круг знакомых. И ты не можешь вырваться из этого круга знакомых, если ты вырвешься, в любом другом месте ты будешь чужаком и на тебя будут смотреть с доброжелательным или с недоброжелательным, с приветливым или не приветливым, но каждый раз с удивлением. Какая здесь может быть литература, какой может быть столик со страницей бумаги и с отточенным карандашом, когда на тебя глазеют, если тебе задают вопросы, если тебя спрашивают, джентльмен ли ты, откуда ты и кто твоя мать и, как шутят здесь англичане: «Если она проститутка, то мы это переживем, а вот протестантка — этого мы не простим».

То же с американцами. Американцы, особенно двадцатых годов, лишенные той великой культуры Америки, которой она стала в тридцатых и сороковых годах, эти американцы находили в Париже какой-то отрыв, что ли, от механического, индустриального общества, которое подчиняет себе человека, нивелирует его и конформирует.

Здесь, в Париже, каждый живет собой, каждый живет своей

жизнью.

Промышленные предприятия вынесены за Большое кольцо, а центр отдан искусству, политике, финансам, бизнесу. Поэтому центр не являет собой такого довлеющего индустриального пресса, каким является Нью-Йорк и Лондон.

Еще очень важно. Я подумал, что, видимо, Париж стал подстраиваться под огромную ораву иностранцев, осевших здесь после Первой мировой войны, — огромное количество русских, американцев из экспедиционного корпуса, итальянцев и испанцев.

Когда я говорю — американцы, которые стали потом культурой Америки, — я имею в виду Хемингуэя, Скотта Фицджеральда, которые именно состоялись в Париже и потом перенесли свою культуру в Америку и отдали себя Америке, и, в общем, по их телам американцы шагнули в равенство с европейской культурой, по их книгам. А книга писателя, это как его тело, это его свет.

…Сегодня был вместе с нашим советником на концерте во Дворце спорта. Прекрасно принимали наших актеров — Красноярский ансамбль, грузин, все пятнадцать республик. Было это замечательно. Овациями встречали людей.

Потом был с послом в международной технологической академии. Было там послов человек двадцать, были те люди, с которыми я подружился на приеме у Петра Андреевича.

Болгарский посол обещал подарить мне свою книгу. Сейчас он сделал книгу о Кирилле. О его европейском влиянии, учитывая то, что Кирилл жил в Ватикане. В книге — очень интересный эпизод. В Ватикане считалось, что с Богом можно разговаривать только на латыни. Он пропел молитву по-славянски, и многие кардиналы заплакали. И тогда он обратился к ним и спросил: «Ну что, Бог услышит мой язык? Поймет его?» И ему ответили овацией.

…Умное общество, хитрое, устоявшееся подбросило коммерческую мысль, что только бунтующая литература ныне представляет какой-то мало-мальский интерес. Любая другая была в XIX веке у Бальзака, Бодлера, Достоевского, Гюго значительно более интересной. То есть многоликая, многотысячная орава не состоявшихся в творческом плане интеллектуалов, подвизающихся в критике, в газетах, на телевидении, в книгоиздательствах, не понимая того, что они выполняют социальный заказ, ищут литературу протеста, литературу, перекликающуюся с Филиппом Дебре, и с Дучке, и с

идеями ультралевых, в которой есть новенькое, которая может заинтересовать читателя. Всякая новая, серьезная попытка серьезного исторического анализа, если это не связано со скандалом, — это никого не интересует.

То есть скандал поставлен во главу угла оценки того или иного произведения искусства.

К сожалению, здесь никто не знает Василия Быкова, скандалы с ним были нашими внутренними, не очень слышными. Никто не знает Александра Бела, Олжаса Сулейменова, а каждый из этих людей пришел со своим словом в литературу. Там их узнают через пять, десять, двадцать лет. Скорее всего через тридцать лет, потому что вещи Быкова о войне — это лучшее в мировой литературе, о нашей войне, естественно.

…Мальчишка в парижском метро ночью: американец с девушкой, которая собирала с прохожих по франку, ударяя в бубен, а он сидел, подложив под себя ноги, и пел песни. Потом, когда я пригласил их пойти выпить кофе, мы с ними долго говорили, и ребята сказали мне очень интересную вещь: «У вас свои проблемы, у нас — свои. Только нам обидно, что вы своих артистов возите и устраиваете им рекламу на каждом углу, а я играю на гитаре, ей-богу, не хуже ваших, а вот бью себе в бубен и голошу в метро. Плохо, наверное, когда слишком опекают, но совсем плохо, когда не опекают вовсе»

Поездка в Марсель. Жил в нашем генеральном консульстве у Саши Куприновa, ездил в Монте-Карло, в Монако через Канны. Представился в Бюро прессы, дал свою визитную карточку писателя, попросил подобрать мне документы. Все документы по Монте-Карло мне были подобраны, с ними еще предстоит разбираться.

Потом съездил на легендарный остров Иф на маленьком катерочке, съел в старом порту буябес — лучший рыбный суп Франции, побродил по алжирскому кварталу, отталкивая локтями проституток, которые хватают за руки, пришептывая: «я делаю любовь, месье, так, как ее не делают в Париже», и отправился, позвонив предварительно в Мадрид, в поезде второго класса, через Портбу, в Испанию.

В Барселоне меня встретили два шпика, было это довольно нагло, бесцеремонно, водили меня весь день по городу. Бедные люди, запуганный мир. Запуганный и малоинформативный, сказал бы я, потому что если бы они повнимательней ознакомились с моими книгами, то они наверное более спокойно относились бы к моему приезду в Испанию. Ну ладно, Бог с ними.

А Барселона за последние два года изменилась, как изменилась и вся Испания, и изменение это характерно уже в том, что неподалеку от порта, наискосок от корабля Христофора Колумба, поставленного навечно, в Барселоне появилась мемориальная доска на доме: «Здесь жил великий Пабло Пикассо, здесь он начинал работу. Установлена в связи с девяностолетием со дня рождения гениального испанского художника».

Именно здесь, в Барселоне, вспомнил и записал, что даже в Монте-Карло, в маленьком Монте-Карло главная площадь называется «Плас дез арм» — «Площадь оружия», и подумал: им-то пора уже переименовать.

Зашел на Релайо, 28 в известную газету «Авангарди», а на станции купил себе билет на поезд, который уходит в шесть часов вечера в Мадрид.

…Нет ничего ужаснее рекламы костылей для улыбающегося безногого мальчика.

Два шпика вели меня, как дети, играющие в шпиков, от вагона по всему городу, наивно прячась от моих взглядов. Фу-фу.

На Рамба де лос эстудиос, которая идет от площади Каталонии к морю, к Пуэорта де лас пас, все занято продавцами птиц. Голуби жрут еду попугаев, засовывая головы в клетки. А после этой аллеи птиц начинается аллея цветов. А после аллеи цветов начинается аллея книг.

Прошла группка американских хиппи, за ней следовали тридцать молчаливых молодых испанцев с затаенными, но почтительными улыбками на губах.

На Рамбла де капусинос — Гранд театро дель Лисео, 3 декабря давали «Тоску». Тоску пела Флориана Сантуниони. Цены на билеты от 3300 песет до 290. Для справки: заработная плата испанского рабочего — 8000 песет.

Оглядываясь на своих шпиков, я то и дело вспоминаю великолепную французскую картину «Покушение» с Трентиньяном, известным нам по «Мужчине и женщине» в главной роли. Он пытался открыть правду о мафии, и он открыл правду о мафии, которая похитила марокканского патриота Бен Барку, своему магнитофону.

Магнитофон для него был в новинку — эдакая игрушка.

С самого начала была обреченность, магнитофон должен был попасть в руки мафии. Так он и попал в руки мафии. Кому достанется моя записная книжка, если что? Им же? Только мафии здешней.

Дом Пикассо находится на Кайе де ла Плата. Возле привокзальной площади находится фантастический сад с

водопадом. Ощущение полной изолированности. Пальмы. Лебеди берут фрукты из рук. Люди ходят с пластиковыми мешками, в которых лежат куски хлеба и ссохшиеся торты. Вдоль аллей летают жирные селезни — мечта доктора Кирсанова.

Около музея современного искусства молодые художники ищут свет. И огромное количество котов, особенно черных. Какой-то пожилой синьор, в строгом сером костюме, вел на поводке старого, обшарпанного пуделя, а за пуделем, словно солдаты по ранжиру, шло штук двадцать кошек. Все они пронзительно мяукали. И чайки кричат, расхаживая по траве. Видно, к непогоде.

Мои шпики отстали около трех, когда я, находившись по городу, уснул в этом прекрасном парке прямо на скамейке. А может быть шпики меня передали другим или что-то готовят в дороге, потому что длинный шпик, когда я покупал билет, вслед за мной, оттолкнув всех локтями, подошел к кассиру и спросил, на какой поезд я взял себе билет.

В Барселонетта — это район Барселоны возле пляжа, на перекрестке Кайя дель Альмиранте и Кайе де Грас и Торас до сих пор стоят разбитые бомбовыми осколками дома.

А в центре города установили гигантскую елку. Она в лесах: рабочие украшают ее и скрепляют металлическими проволочками порванные сучья. Заодно они ее иллюминируют. Стоят сотни испанцев и смотрят на эту елку, любуясь тем, как рабочие разбрасывают ватный снег — снег, который они никогда не видели.

Вечером, когда я уже возвращался из города на вокзал, возле кафедрала, сразу после вечерней мессы, вышел духовой оркестр, и толпа окружила его, и дирижер пританцовывал, радуясь, руководил синими, надутыми музыкантами, которые исполняли арии из оперетт.

А рыбный ряд на рынке на Кайя де Коломинес весь во льду, хотя уже вечер. Лед на дню меняют много раз, но и вечером он такой же прозрачный, такой же глыбистый, синий. Рыба должна продаваться в Барселоне бесперебойно. И здесь на рынке, и возле кафедрала, и по улицам девочки ходят с мамами, мальчики табунчиками, или с родителями, с отцами своими. И за всем этим я угадываю нашу девчоночью и мальчишечью разобщенность сорок шестого года, когда были школы для мальчиком и школы для девочек.

На вокзале, куда я пришел, бородатый тип в очках, худой как глист, в военной американской форме без погон, с ленточкой на груди «люби армию» и с такой же ленточкой на рукаве, пил пиво,

а пьяный портье в драных ботинках ходил от столика к столику, получал себе глоток вина и кричал: «хайле, каудильо».

…Истощенные красотой лица испанок.

В испанском поезде мужчины ходят в туалет с видом решительной необходимости, женщины — со смущенной улыбкой.

…Когда я подъезжал сегодня рано утром к Мадриду (боже, как давно это было, уже шесть часов прошло!), моросил дождь. В горах этой ночью было прохладно. Рассвет был осторожным. И только когда мы остановились в Гвадалахаре, солнце разогнало тучи, и я увидел снег на горах. В прошлый мой приезд снега не было.

Та же красная земля Испании, то же голубое небо! Два однозначных цвета, но какое громадное количество оттенков в этих двух диаметрально противоположных цветах, которые рождают одно понятие: Испания.

В Мадриде сразу встретился с Хуаном Гарригесом и его женой Кармен. Красивые, очень милые, респектабельные люди. Взяли меня с собой в клуб «Сипиэйч». Потом приехали домой, там пять малышей — мал-мала меньше. Маленький мальчик пятимесячный спит в кроватке, полуторагодовалый ребятеночек женского пола расхаживает, а остальные трое играют вовсю.

Потом поехал к Сереже Богомолову и Лене. Ужинали, просидели, проговорили чуть ли не до часу ночи, а потом позвонил Хуан Мануэль, и я отправился с ним смотреть ночной Мадрид, взяв с собой Борю Голубовского.

Были в клубе «Боккаччио», потом в клубе «Девятнадцать». Все это надо видеть, чтобы потом где-то, когда-то и как-то отлилось, и говорить нужно с самыми разными людьми, и все уровни надо стараться понять, потому что литература — это такой компьютер, которому чем больше вопросов ставишь, тем где-то однозначнее ответ получится: книга. Но при этом надо постучать по дереву, а дерева здесь нет, кругом металл и стекло.

…Всякое проявление истинного человеческого желания тревожно. Всякое желание рождает творчество, преступление, любовь. В конечном счете творчество и деторождение однозначны.

Суметь проанализировать исток человеческого желания — задача современной науки в век техники. Когда человеческие желания подтверждены не только мускульной силой, но и всей

мощью средств промышленности, всей мощью разума XX века, который находится в распоряжении человека…

Встречался с сестрой Антонио — Делией и ее мужем, Цезарем, с Хуаном Мануэлем. Он рассказал мне, как сейчас испанцев — писателей мучают в кинематографе.

«Это все хорошо, что вы сняли социально, но это нужно не здесь, а в Америке или в России. А нам нужны бабы, но не голые, потому что этого не пропустит церковная цензура».

Сейчас издали «Дон Кихота» с иллюстрациями Доре, но эти черно-белые иллюстрации раскрасили, иначе книгу не покупают.

Иностранцы вовсю нелегально действуют в Испании. Они заключают подложные договоры на создание фирм. Формально испанцы имеют 60 процентов акций, а фактически — они фиктивные фигуры, пешки в экономической игре иностранных монополистов и получают после сделки 5—10 % акций. Сейчас в Мадриде создан профсоюз бизнесменов. Он требует 5 миллионов песет как предварительный взнос, чтобы вступить в профсоюз и стать официальным буржуем. То есть началась конкуренция среди деньгиимущих.

Хуан Мануэль купил балет «Спящая красавица», а его продюсер, владелец кинотеатров, спросил: «Вы сдублировали этот балет?». То есть ничего не понимают в искусстве и тем не менее на нем зарабатывают деньги.

О детском кинематографе говорят так: «Конечно, это все прекрасно и важно, но пусть этим занимается правительство, мне нужны деньги, а дети ходят в кинематограф только один раз в неделю».

Ночью сидел у Фламенко в центре Мадрида, в том подвале, куда ходил Хемингуэй в перерывах между бомбежками, и записал для себя: «Фламенко, это когда много, но можно еще больше. Пот заливает лицо, рубашка взмокла, но человек танцует, танцует, продолжает танцевать. Много, но можно еще больше».

Назавтра был в Союзе художников, напротив музея Прадо. Наиболее интересными работами здесь, в клубе — в общем-то нищей организации, ничем они своим членам не помогают, только способствуют продаже полотен, — я выудил Паэддо и Сантадеро — феерия ночных улиц, сплав геометричной точности домов, тротуаров и фонарей с необузданностью цвета. Великолепный замок Таруэль, черно-белый. Эта картина стоит 300 долларов. Это в общем-то много, поэтому и не покупают.

Интересен Дитр Бега, он где-то следует за Матиссом — красный крестьянин в разных ракурсах. Андреас Эскартен «Продажа жареных каштанов» — особенно потрясла меня эта

картина. Он весь из Гойи. Социальность он показывает в контрасте цветов, в отсутствии лиц, в выразительности фигур, в столкновении спецовок и фраков.

Есть картина его вдруг в совершенно другой манере, близкой к нашему «Бубновому валету». Совсем как «Портрет Якулова», сделанный Кончаловским, с куском газеты, прикрепленным к холсту.

Интересна работа Юлиана Борха «Андалузская жара» — точно передано ощущение лета: белые дома, серая жара, бесцветное солнце и красные апельсины в зелени рощ.

И вдруг, когда я выходил из Союза художников, на выходе, за стеклом, среди ряда книг — М. Воронов «Искусство, рожденное огнем». Откуда?

Неподалеку на улице слепцы продают лотерею счастья. Эти слепцы особенно многочисленны на авенида Хосе Антонио примо де Ривера. Тема: слепцы, продающие лотерею счастья.

Вторая тема: буржуа, который воспитывался у нас. Здесь он благополучен, с машиной и с коттеджем. Но все равно ему неспокойно, ибо закваска на всю жизнь осталась нашей, и где-то ему хочется вернуться — так мне один сказал: «Дали б мне квартиру трехкомнатную, дали б возможность работать, если б не мои, уже испанские дети, я бы вернулся, хочется обратно».

Долгий разговор в кафе «Леон» с Марселем Суаресом, одним из известных писателей и драматургов Испании.

Назавтра поехал с Цезарем и Делией из Мадрида в Месон Техас Верайес аль Кобенадас. Это прекрасное галисийское местечко и галисийский кабачок там. Самые популярные кувшины оттуда — белые с голубым.

Ночью во время проливного дождя сидел в ресторанчике, ел меро ин адобо — рыбу, жаренную в оливковом масле, типичную для Кадиса, пил вино и спорил с тремя испанцами — Мильчором, Рамоном и Цезарем — по поводу тенденции развития современной литературы.

Назавтра был в маленьком городке, там находятся бадегитерри. Они выпускают самые известные в мире вина. Дворик в бадегах выложен камнями, их называют китайцами, потому что, когда корабли шли из Китая, продав там вино, с балластом им идти не хотелось, и они нагружали корабль красивыми булыжниками. И вот дворик, который по-испански называется патио, весь выложен «китайцами».

…Марчо — это последний пират Средиземного моря. Разбогател он на том, что в тридцатых годах привез партию обуви, запрещенной к продаже в Испании. Целый пароход, но на

одну левую ногу. Привез как утиль. Это реквизировали, через полгода выбросили на аукцион, и он скупил за бесценок. А через полгода он привез партию обуви на правую ногу, провел такую же операцию и заработал несколько миллионов песет.

Еврей, которого считают гениальным финансистом Европы, финансировал Франко, взяв с него согласие, что тот никогда не устроит ни одного еврейского погрома во время борьбы с республиканцами.

Андалусия — это белые дома (белое — это спасение от солнца) и красные крыши, и равнины кругом, и апельсины в зелени. И постоянная тяга вверх.

Кастилия то же, только вдали горы, и дома растут вширь, очень длинные заборы и множество оливковых деревьев.

Узкие улицы Кадикса объясняются тем, что так здесь спасались от солнца: чем уже улица, тем прохладнее.

Уехал в гости к главному охотнику Испании, фамилия которого Эспаньо. Он выпускает журнал «Охота и рыболовство». Это деревня Раскафрио около горы Моркуэро и Кавесса де эрро в долине реки Лосойя. Эспаньо пригласил меня в маленький крестьянский домик, где для него приготовили обед в нашу честь. Пили касайя — это крестьянская водка.

…«У него не было дедушки», — так говорят в Испании про тех, кто себя слишком хвалит, потому что дедушки в Испании всегда очень расхваливают своих внуков.

Вечером был в Мадриде у Карлоса Веласкеса — скульптора и художника. Он посвятил себя сбору материалов о Толстом. У него махонькая, метров восемь, мастерская, вся заставленная материалами, связанными с Толстым и вообще с русско-испанскими отношениями.

Он разыскал материал о двух испанских полках, которые перешли к нам со знаменами в 1812 году, 8 сентября, до битвы. Они вышли на переговоры к русским: «Хотим сдаться». Русские спросили: «Кто вы?». «Мы — испанцы». Русские сказали: «Мы — союзники, вам сдаваться не надо, будем сражаться вместе». Испанцев было шесть тысяч, а русских мало, так что поначалу русские испугались, думали, может быть это какая-то хитрость французов. Тем не менее потом точка зрения третьего жандармского корпуса возобладала, и испанские полки стояли около Невы, в бой их не пускали, но они были окружены почетом.

А все-таки национальное — это то, что мы выхолащиваем сплошь и рядом из системы своих рассуждений.

Когда я был в Алканде, на строительстве завода сборных

панелей, которое мы ведем в Испании, там два наших парня — Иван и Виталий. Говорил с Рамоном, воспитывавшимся у нас инженером.

Я спросил его: на сколько рублей вдвоем ты можешь жить с женой, тратя на питание?

Он мне ответил сразу:

— Семьдесят пять рублей.

— Когда ты уехал из СССР?

— В прошлом году. Но я тебе могу скалькулировать, как мы можем жить на семьдесят пять рублей. В день нужно тратить два рубля. Мясо есть раз в три дня, рыбу — раз в два дня. В смысле не есть, а покупать. Вот ты покупаешь курицу. Ее должно хватить на три дня — бульон, засыпанный рисом, кусочки ножки. Утром нужно пить кофе с вафлей, обедать нужно бульоном, отварными макаронами с сыром, ужинать нужно кусочком мяса. И вот, — продолжает Рамон, — я зарабатывал двести рублей, с женой развелся, сыну алименты платил, у меня всегда оставалось пятьдесят рублей в месяц на сберкнижке.

Наш так не может. Никак не может. А француз может. И испанец, живущий в СССР тоже может, хотя он понимает, что ему долго придется копить эти самые пятьдесят рублей, пока он наберет себе на свою мечту — машину…

Так что, видимо, национальное определяется размером державы, ее пространствами, и вот этого сбрасывать со счетов никак нельзя, а мы сбрасываем. Я про это в «Бриллиантах» писал, про то, что размеры во многом определяют русский характер: не хочу сеять — пойду в тайгу пчел разводить. Надоело пчел разводить — пойду зверей стрелять. Надоело зверей стрелять — пойду еще дальше, невод в речку закину, рыбу возьму, на базар отвезу. Нет рядом базара — засолю, всю зиму есть буду, в потолок плевать. Топить? А чего топить? Пойду вон, три деревины срублю, вот мне и растопки на всю зиму хватит.

…Был на площади Санта Каталина де лос Донадос у Серхио Оцепа — генерала жандармерии в отставке. Он брат нашего Петра Оцепа — известного фотографа Ленина. Друг генералиссимуса Франко, Луиса Брандеса, начальника генштаба Аллегрия. Обожает Россию, меня все время к себе приглашал. Я сидел с ним долгие вечера, попивали водочку.

Живет старик бедно, пенсии нет, каждый день ходит на работу в свое маленькое адвокатское бюро, ему 86 лет. Сейчас он собрал фантастическую коллекцию икон и слонов. У него около десяти тысяч слонов.

Оцеп рассказал мне прекрасную новеллу про то, как он начал

собирать иконы.

Это было в 1913 году во время маневров. Жили они в избе. 20 марта праздновал свой день рождения. Когда под утро выстроилась шеренга «мерзавчиков», он обратился к хозяину с просьбой продать икону, которая была в красном углу. Вернее, он обратился к хозяину с этой просьбой раньше, но хозяин ему отказал, а под утро, когда они поднапились: «А ты мне друг?» — «А ты у меня в сердце», — сказал хозяин: «Выбирай любую икону. Пять рублей». А пять рублей тогда были огромные деньги. У Серхио было два рубля, набрал он еще три у друзей и купил Иверскую Божию Матерь, которая была покровительницей Москвы и была у Иверских ворот в Кремле, и с тех пор он с ней не расстается. У него громадное количество поразительных икон начиная с XII века.

Беседовал с генералом Карлосом де Молина Бернардо. Он был последним военным атташе Франко при Гитлере. Он мне рассказал о том, как в начале апреля сорок пятого года Власов пригласил его на прием, на завтрак. Власов был одет в советский генеральский мундир, без орденов. Говорил, что Гитлер забыл Бисмарка, что коммунизм можно победить политическим путем, а никак не военным.

Рассказал, что после встречи Гитлера и Франко на границе в сорок третьем году, когда Франко опоздал, взбешенный Гитлер сказал: «Если бы он служил в германской армии, он был бы сержантом». Узнав об этом, Франко заметил: «Я не служил в германской армии. А он служил и дослужился до ефрейтора, следовательно, я им должен командовать».

— В маленьком городке в Гибралтаре, — продолжал Карлос, — стоит на площади Альто постамент для статуи. Испанцы шутят: это место для первого испанца, который не будет заниматься в Гибралтаре контрабандой.

Говорили с ним о Бормане.

— Ну и что? Даже если Борман жив, — сказал Карлос. — Какое это имеет значение?

В Тулузе возле вокзала, как всегда, плохо освещенные улицы, и бары и рестораны «Амбассадоры» и «Европы» и огромная надпись (это меня потрясло): «Не платите чаевых».

В кафе «Ночные слоны» в Тулузе подумалось мне, что все трактуют Христа однозначно, не вникая в Его человеческую суть. А Ему, может быть, любви хотелось. И все было бы иначе. Ребеночка бы Он родил, и все изменилось бы в этом мире.

В Марсель приехал рано утром, спустился с вокзала по

лестнице, очень похожей на одесскую, прошел к старому порту. Двери храма открыты. Было еще половина восьмого, темно. Исповедовалась женщина лет сорока. То ли она согрешила, то ли начинающая проститутка.

Я сел на скамейку, было сумрачно, тихо, холодно и пусто, немножечко уснул.

В консульство было ехать еще рано, там всех перебудишь. Пересчитал оставшиеся деньги и подумал: не грешно ли это — о деньгах в храме? Я подумал, что в конечном-то счете считаю эти деньги, чтобы отложить какие-то сто франков и купить подарочки, сувениры Дуне и Ольге, и подумал, считая деньги, что, несмотря на волю Божью, они, увы, суть единственное мерило зримой любви: «что привез папа?»

…В замке Иф, куда я съездил еще раз, сделал несколько записей.

Важно уметь пройти сквозь тьму. Лестницы, ведущие к замку Иф. Один пролет — кромешная тьма. И многие люди отступают и не идут сквозь эту тьму, из экскурсантов. Но ведь это, наверное, не только в экскурсии, но и в борьбе тоже.

Интересно, что тюрьмой пользовались и революционеры и контрреволюционеры. Служит она универсально. Но никто не оценит, когда она служит добру, а когда злу, ибо каждая правда — правда, каждый человек — человек.

* * *

1975 год

Японский дневник

По прошествии шести лет — снова прилет в Японию. О чем хочется подумать?

Первое: совершенно невероятное строительство города в районе Синхгу: новый отель.

Новое здание телецентра — я не узнал.

Второе: если шесть лет назад я встречал девушек в красивых кимоно, то сейчас, сколько я ни езжу в метро, эта женская одежда практически совсем ушла.

Третье: в первый мой приезд было очень мало европейских дублирующих названий баров, магазинов. Сейчас в центре практически все дублировано на английский.

…Сегодня в метро, когда один мужчина лет пятидесяти показывал мне дорогу, обратился к контролеру, мальчишке лет двадцати. Тот говорил, не поднимая головы, лениво, а мужчина, элегантно одетый, скромно, но очень дорого, обращался к этому мальчишке вежливо, с полупоклоном, с просительной интонацией. Тот отвечал хмуро. Это как-то горестно, хотя присуще, вероятно, не только Японии.

Занятно, что сегодня выступал фашист Акао Бин около машины совершенно перед пустотой. Его никто не слушал, были девочки и мальчики, но не его слушатели, а просто гулявшая японская молодежь.

…Что в голову ни придет, когда не спишь? Погода будет меняться, уши ломит… Вот мои исторические отступления от положительного героя «а спустя столько-то лет, такого-то числа» это может быть как прием…

Все покоится на фундаменте физического влечения, физической мощи или физической немощи, физической антипатии и необъяснимого (Данте или Блок «Прекрасная Дама») идеала. Чем ближе к нему приближаешься, тем стремительнее он исчезает, а уж если ты с ним знакомишься, тогда он сожжет и ты сам разрушишься. Но это — цепная реакция, и ее нельзя передать другим, потому что тогда человечество кончится, ведь оно всегда жило сохранением традиций идеала.

…Когда я шел от метро, думал о взаимоотношениях между Японией и Китаем. Количество и качество. Качество — это Япония, это ее инженерный гений, это страна, пришедшая к рубежам самого высокого знания. И основная масса Китая.

Какая может быть диффузия, кто на кого делает ставку? Это очень серьезная тема для размышлений. Примат чего: количества или качества? Что утверждает? Если рассуждать об основных философских элементах, которые можно рассчитать с помощью электронно-вычислительных машин, то думаешь о законе… большого Мао.

Маленькие женщины очень часто, как правило, вертят здоровыми мужчинами, а маленькая группа людей управляет, как правило, человеческими массами. Маленькое в своей выраженной яви желание повелителя приводит в движение гигантские массы людей. В общем, что-то малое, дурное, сказал бы я, подспудное, довлеет над большим, т. е. добром. Я бы хотел ошибаться.

Вообще по поводу того, что кто-то может влиять на кого-то. Большой внутренне никогда не влияет на малое. Большой есть

большой. Большой пароход прет — и все, его мелочи не интересуют, а вот если малое, если человек где-то мал внутри, то на него очень легко влиять. Невероятная вероятность. И вообще в малых величинах влияние очень заметно. А уж малые величины, если они стали у управления, например съемочной группой или заводом, страной, там начинаются страшные дела. Николай II и Распутин, Николай II и Александра Федоровна…

Есть люди, которые мечтают слушать симфоническую музыку через наушники. Это — один характер. Меня же наушники не интересуют, поскольку тогда эта музыка принадлежит лишь мне. Все-таки люди, которые пришли ко мне в гости, тоже захотят слушать эту музыку.

Представьте себе, если вы даже купите десять наушников и предложите их гостям, то не получится эффекта общения, хотя, казалось бы, вы слушали одну и ту же музыку. Нечто такое отделяющее друг от друга, нечто искусственное, хотя и со знаком «плюс». Наушники раскалывают человеческую общность…

Готов ли Китай для того, чтобы воспринять это вторжение японской техники сегодняшнего дня и, если он готов к этому, куда повернется развитие огромного китайского народа — в сторону организации (а организация всегда при доктрине Мао предполагает выход на агрессию) или в сторону либерализации общества, т. е. расширения границ информации.

…В Японии очень туго с хоккеем и футболом. Здесь сейчас находится наш тренер Старшинов. Японцы талантливейшие спортсмены, выдержанные, сильные, однако ничего у них с хоккеем не получается. Почему? Потому что они готовы к стопроцентной игре наигранной комбинации. Как только отклонение от наигранности, они не могут сорганизоваться. В то время как японская гимнастика занимает первое место в мире — гимнаст готовился к выступлению два года, программа абсолютно заданная от начала до конца, его никто не перебивает.

Например, если ты, начав разговаривать с японцем, его перебьешь, он тогда все начнет сызнова, потому что он решит, что что-то неправильно сказал, неправильно объяснил. Нужно дать японцу договорить то, что он хочет договорить, а потом только дать ему возможность спрашивать его и отвечать ему. Тогда получится контакт. В ином случае ты прервешь идею того, что он хотел сказать.

…Сапожник ремонтировал мне ботинок. У него приготовлено несколько пар тапочек и, когда человек останавливается на

улице, сапожник, одетый в традиционный японский костюм (штанишки, тапочки с отделенным большим пальцем), дает тебе газету, и ты стоишь, читаешь газету, а он работает с невероятной быстротой и тщательностью. У нас в иной мастерской по ремонту обуви сделали бы за два дня. Мастер же сделал это на моих глазах за 10–15 минут, причем я видел, с какой тщательностью он это делал. Он не может обмануть клиента, даже не клиента, он не может унизить себя плохой работой, не может унизить традицию, заложенную в нем столетиями, т. е. добропорядочность в отношении к тому делу, которым он занимается.

…В нашем роскошном отеле в центре Токио, в половине шестого начинает надрываться петух, который скрыт в одном из махоньких домиков, прилепившихся к громадинам новых черно-стеклянных и белокаменных зданий. Это какая-то тайна и жалостливость, словно ребеночек в концлагере, которого прячут.

…И снова меня потрясает то, что вся Япония моется. Стоит парень, умывает совершенно чистую машину с мылом. Ходит дворник с метелочкой и подметает каждый опавший лист. Таким образом, осени никто не ощущает — нет опавшей листвы на асфальте.

С одной стороны, это человечество оберегает от грусти, потому что опавшие листья — очень грустны, а с другой — вся эта опрятность нивелирует переход из лета в осень.

Невозможно понять, что же сейчас здесь, — только немножко похолодало за последние два дня, а так лето и лето, только какой-то желтый лист, не видимый тебе на дереве, упадет, и его тут же маленькой метелочкой в маленький совочек — и увезут.

Стерильно чистая и опрятная Япония изменяет себе только в одном месте — на пляжах. Пляж загажен до невероятия резинками, старыми галстуками, закрывалками от кока-колы и пива, пустыми консервными банками. Видимо, все-таки французское выражение «Наше — значит ничье» распространяется и на здешний пляж. Пляж наш — значит ничей.

…В Западном Берлине 1968–1969 гг. комната всякого интеллигента, левого, естественно, была увешана огромными портретами Че Гевары, Мао, Троцкого, Лин-Бяо, а сейчас «генеральная опиумная война», как говорил Чжоу, принесла обратный результат — белая комната без единого портрета, огромный гамак и музыка, причем музыка не современная, а в основном древнеиндийская, погружающая тебя в нирвану. И марихуана.

Иногда, на серьезных поворотах истории, когда задумывается метод, способный овладеть страной, ничего не получается, потому что страна поднимается на одну ступень выше и смотрит сверху, с позиций нирваны. Вот тоже тема для размышления и для проведения исторических параллелей, когда атакующая мысль, идея, не до конца продуманная, потому что математически не планировалась, может сыграть злую шутку с теми, кто ее задумывал.

Всегда и во всем сейчас, в наш сложный век, нужно, вероятно, соотносить себя с электронно-вычислительной машиной, с системой и помнить все время, что, когда американцы провели первый атомный взрыв и когда стал разрастаться огромный белый гриб, один ученый закричал в панике: «Боже мой, она стала неуправляемой! Мир погибнет!»

…Погадал в храме, а это делается так: берешь длинный металлический ящик, трясешь его, из него вытягиваешь бамбуковую палочку, на ней — иероглифы. Японец мне показал, какой нужно открыть ящик, в этом ящике лежит листочек бумаги, и там указано твое будущее. Это стоит 30 иен. Ты берешь листочек и читаешь его.

Хорошее у меня будущее, что, естественно, не могло меня не обрадовать. Правда, как это сочленится со сном, который меня обуревал: я выплевывал подряд 9 зубов. Понять не могу: к чьей-то смерти? Знакомых? Каких?

Так вот, за храмом стояли люди, собирали деньги, причем очень тактично, неназойливо.

Я опустил какую-то мелочишку, была открытая благодарность. Средства собирали в помощь лепрозориям в Индии. Но вот в чем парадокс. Вот храм, это добро, вера, это — религия людей. Перед храмом — торговля. Но об этом я уже писал, что Азии торговля не мешает. Она мешала христианам, что явствует из Библии: торгующих изгоните из храма.

Рядом — тоже проявление добра. Сделан крошечный Дисней. Там есть карусель и русские горки.

Когда мы ехали после хорошего дня на берегу океана, где нам устроили прием, все было очень мило, я рядом сидящей девушке из съемочной группы говорил, как она мила и прекрасна. Рядом сидящий парень, который помогал киногруппе, когда заговорили о самураях, сказал, что самурай никогда не может сказать девушке, которая ему нравится, таких слов. Он умеет выразить это только глазами. Ни одного слова о чувствах. Это интересно.

Японцы очень трогательно носят покупки. Люди старшего

поколения, сделав покупку (хотя она великолепно упакована очень красивыми бумажками и веревочками), сверху завязывают эти покупки в шелковую косыночку крест-накрест. Вероятно, это от старой Японии, и это, как ни странно, сходится со старой Россией, когда несли гостинец в таком кульке.

…Говорят, что, по легендам, сначала Японией правили женщины. Нет ли в этом проявлении исторической закономерности?

Японская женщина, при всем ее очаровании, красоте, только сейчас вырывается в эмансипацию, — идет подле мужчины чуть сзади, а когда ее знакомят с мужчиной, кланяется чуть ниже.

Нет ли в этом проявлении исторической закономерности — владычество, если оно неограниченно и если в подоплеке заложена где-то еще и чувственность, неминуемо погибнет. Владычество тогда логично, когда владычествует закон, отлитый в бронзе, спокойной, холодной и равнодушной.

* * *

Середина 1970-х

Чингисхан слыл знатоком людей. Пушкин тоже. Но что есть общего в их знании людей…

Миссия литературы — вдыхать душу в вымысел, делать его явью, объемным. Воображение основано на факте, функционирует в пределах логики и контролируется разумом (именно воображение открыло стороны света, полюса, электричество). Воображение поддается тренировке, но наедине с бумагой и пером — трагическое «Смогу ли?». «Выражу ли увиденное?»…

Суд читателя должен был бы по правде-то наказать Шекспира: он задает слишком много таких вопросов, на которые сам же не дает ответа.

Страшновато: мы ищем истину в творениях Сократа и Платона, которые жили за две тысячи лет до нас!

Спартанцы, чтобы бороться против пьянства, напаивали илотов до укачки и демонстрировали молодежи — что может быть омерзительнее пьяного человека?! Но илоты были рабами, а мы с рабством покончили. Как быть?

(Серая мышь Липатова — всесилие литературы!)…

* * *

Июнь 1976 года
Испания

Пусть мне объяснят этнографы: отчего именно в Испании возникла фиеста, коррида?

Испанцев можно понять лишь во время корриды, когда люди теряют контроль, не чувствуют, не видят и не слышат никого рядом с собой. Они кричат, одобряя матадора, они словно бы таким образом берут на себя часть опасности; они требуют убрать с поля быка, если он — по их мнению — плох. Их восторгает более всего близкое ощущение неотвратимого — поэтому так

ценят тех матадоров, которые пропускают рог быка под рукой, возле груди; поэтому так улюлюкают, когда бык падает, надломив передние ноги, — значит, матадор слишком низко держит мулету, совсем для себя неопасно, и нарушает правила зрелища: делается видной кровь, пущенная пикадором, бандерильи, воткнутые в загривок, вздувающиеся бока зверя — нет ощущения опасности, бык падает, бык устал, он не может теперь ни убить, ни — в крайнем случае — ранить матадора, разве это коррида?!

* * *

25 июня

Очень много материалов вечерние газеты посвящают проблемам секса: — правомочен ли лесбос, как быть с гомосексуалистами, и так далее. Конечно, сексологию надо т р о г а т ь, особенно в той стране, где она была под строжайшим секретом, но, быть может, в данном конкретном случае стоило бы соблюдать побольше такта?

По-прежнему в центре внимания прессы — муниципальные выборы.

ПСОЕ готовит свою программу для выступления в парламенте, видимо, ребята хотят дать пробный бой, а Суарес намерен провести муниципальную реформу еще до выборов, сразу же, как только будет сформировано правительство.

У испанцев чистка ботинок — священнодействие. Это занимает, как минимум, пятнадцать минут. Стремительность характеров смиряется перед необходимостью сверкать — ботинками тоже.

Интересно сегодня наблюдал в кафе неподалеку от Гран Виа (никто сейчас эту улицу не называет «Хосе Антонио», ни один человек), как мексиканец лениво спорил с испанкой, которая бранила его за то, что он сидит без дела и сосредоточенно наблюдает за тем, как чистят ботинки.

— Я работаю день в неделю, но по двадцать часов, и мне хватает на рюмку в день, синьора.

— Но у тебя опухшее лицо — от рюмки не опухают.

— Я реагирую на перемену погоды отечностью, синьора, это — вина моих родителей. Я — не жаден, мне чуждо скопидомство. Мне хватает на паэлью, на сэндвич и на рюмку коньяка — чего ж еще? Кому я мешаю? Я тих и скромен.

Синьора не знала, что ответить, — она была стремительной, а

ее сверхстремительная дочь, прямо-таки шарнирная девушка, не смогла дождаться конца разговора, обкусала все ногти (это — болезнь многих испанцев), вышла на улицу и там зашарнирилась, провожая взглядом всех, кто проходил мимо открытых дверей кафе, и на лице ее можно было прочитать отношение к каждому прохожему, и боже! — как же богаты ее чувствования, какая гамма о т н о ш е н и й менялась на ее лице каждоминутно!

Вечернее «Диарио» и «Пуэбло» полны подробностями о приеме в королевском дворце по случаю дня Святого Хуана. Приводятся слова, сказанные королем:

— Очень приятно, дон Сантьяго! (Муча густо!)

— Энорабуэна, Фелипе!

— Гонсалесу.

— Ке таль, профессор,

— Тьерно Гальвану.

Журналисты до сих пор негодуют, что не разрешили делать фотографий.

Впрочем, все, как один, с чисто испанским пиететом к одежде, отмечают, что Фрага, Руис Хименес и Антон Канельянс были в смокингах, а Фернандес Ордоньес, Камуньяс, Альварес Миранда, Карильо и Филипе — в пиджаках. Демократия — куда там…

Газеты утверждают, что до муниципальных перевыборов все муниципалитеты будут по-прежнему франкистскими.

Ждут проблемы многих из этих людей: уже сейчас началась паника в министерстве информации и туризма: «туризм» остается, «информацию», то есть государственную цензуру, разгоняют. Что им, бедолагам, делать? Знающие ведь люди, сорок лет у д е р ж и в а л и народ от знания, будучи — в то же время — наиболее знающими ситуацию людьми.

Кубок Испании. На улицах сплошное невероятие. Приехали тысячи жителей Бильбао — все в беретах, со знаменами басков; песни, гудки автомашин, крики. Фиеста — вроде выборов, что ли?

Когда Суарес говорит о дисциплине — он знает, что говорить. Однако возможно ли изменить национальный характер? Речь может, видимо, идти о некоторых коррективах з а к о н о м; приучить людей к мысли, что соблюдение закона — благо, трудно, весьма трудно, но это архиважно.

Выступление ультралевых — подобно фаланге, с теми же цифрами и нападками, видимо, понимают обреченность своих партий, решили сделать «шоу», рассчитывают на люмпен, критикуя всех и вся — а напрасно: у люмпена нет ТВ, а если бы и

был — не слушали бы.

* * *

26 июня, воскресенье

В 8.30 позвонила Дуня. Слава Богу! Пятерка. Училище кончила. А я вчера к ней названивал до трех ночи и не спал до четырех. Всякое в голову лезет.

Господи, как я по дочкам соскучился! Дети — это нечто совершенно особое, особенно — твои. Восторгаешься-то всеми детьми, ибо они — единственно чистые создания на свете, а сердце разрывается за своих. Помимо множества мировых «союзов» — создать бы всемирный союз детей, они бы навели порядок в этом дряхлеющем, амбициозном мире…

* * *

1978 год
Москва

Чем более человек талантлив, тем более широко охватывает общее. Инструмент такого рода понимания — язык, ибо лишь выражение правды и есть правда. Чувствование истины, сокрытое в разговорах людей, не есть национальное; видимо, высшее качество национального чувства сокрыто в умении говорить (писать) правду о правде, без сопливых умильностей.

…Глупые родители балуют дитя, закрывая глаза на недостатки; умные — то есть искренне любящие — говорят правду, пусть жестокую, пусть суровую. Бранят тех, кого любят; кто безразличен — тех не видят в упор.

Высшая форма национализма, т. е. тупости, это если б не Толстой, а Шекспир написал «Власть тьмы». Наша черная сотня б заулюлюкала: «Оболгал и надругался над народом, не понимая национального чувства!»

…Смотрел 13.09.78 «Я шагаю по Москве». Фильму 13 лет. Тогда он был событийным, т. е. человечным, не схематичным, населен не заданными характерами, а людьми (или приближением к ним). Чтобы протащить на экран живых людей,

Ташков был вынужден снимать Метрострой, т. е. давать «камертон труда», успокаивать Госкино.

Мы ругаем нынешние времена — пусть же сравнят свои нынешние картины — смелости в них в 1000 раз больше, но про «Я шагаю» шумят, а об этих молчат.

И еще: Боже, как ужасно были одеты люди 15 лет назад!

И — главное: по внутренней структуре «Я шагаю» ближе к «Чапаеву» (1935 г.), чем к Феллини. Нынешние фильмы ближе к Феллини (точнее говоря, к стереотипу Феллини, т. е. к общечеловечности — любовь, ревность, усталость, счастье). Последние 15 лет — годы сдвига куда как больше, чем сдвиг с 1953 по 1966.

При этом — выражение национального, особенно в литературе, — суть предтечи нового Достоевского. Судьба Астафьева будет похожа на судьбу Аксакова: три строчки в школьных учебниках. (Впрочем, при Сталине бедняге Ф. М. Достоевскому тоже не везло — пять строчек)…

…Уходящее большое и остающееся малое. Вопрос памяти — кто, что и как помнит. Малое помнит все.

…Взрослые отличаются от детей в главном — они научены терпеть — и в физическом и в моральном аспекте. У детей никогда не может царствовать тирания, ложь, глупость — они свергнут тирана, глупца, лжеца, и их никто не заставит поклоняться глупому мальчику или уродливой девочке.

Взрослые гордятся благоприобретенным терпением. Самое распространенное слово, которое родители говорят детям, — «потерпи». Терпение — это медлительность.

— Болит зуб!

— Потерпи!

Почему? Почему не дать лекарство, которое снимет боль? Все время себя оправдываем в глазах детей этим словом.

* * *

11 февраля 1980 года
ФРГ, Лисем.

«Шпигель» — по поводу предвыборной борьбы: «экзотический лозунг» Штрауса и рядом о Брандте. Документы американского архива о том, что якобы Брандт — антисемит, выступал против возвращения евреев в Германию после победы, так как «народ

винит их в начале войны». Однако шеф Отдела Нац. Архива США Милтон Густафсон определил один из документов как фальшивку.

Предполагается, что «Брандтом», на которого ссылаются в секретной телеграмме из Стокгольма от 11 апреля 44-го года, мог быть морской атташе Гватемалы, называвший себя Брандтом, а также один пронаци, мать которого жила в Германии, а он сам в Мичигане.

Лечил ли Морелл Гитлера перветином (наркотиком)? Профессор Леонар Хестон из Университета Миннесоты считает, что доктор Морелл лгал, когда писал, что колол фюреру «мультивитамин А». Этого препарата тогда не было в рейхе, был перветин или кокаин.

Плохая, подглядывательская и некомпетентная статья «о номенклатуре».

Копелев: «русский народ — это народ Сахарова». Говорит, что верит только в русский народ. А как быть с грузинами?

* * *

14 февраля

«Квик» опубликовал беседу своего редактора Брауна и корреспондентов Георга Шварца и Ханса Вагнера с Аппелем по поводу общности позиции Запада в связи с Афганистаном. Волна вопросов — пошлет ли бундесвер солдат в Персидский залив? Нет, ибо это против воли даже американцев, хотя проблема энергии затрагивает весь западный мир.

Репортаж из Афганистана, о повстанцах, хотя на фото их нет, обычные люди, так и под моим фото можно подписать — повстанец.

Броский репортаж: «Насколько силен наш бундесвер?» Вывод — ужасно силен.

Занятный материал о дрессировщике свиней в цирке «Саразини». Свиньи, как утверждает дрессировщик, «интеллигентнейшие бестии» и вообще зря о дурном человеке говорят «свинья». Свинью не любят другие народы, нехристи… А у свиньи желудок и сердце подобно человеческому.

Запарковал машину в Бонне около «Генераль Анцайгер», проехав под кирпич. «Как же Вы решились? Это же вообще н е л ь з я!» Так я на это и рассчитываю: полиция не может себе представить, как это допустимо: въехать под кирпич, под столь

видное «нельзя»! Вышел из кнайпы — три часа машина простояла и — никакого штрафа.

Криминальная серия «Деррик». Чудовищно. Отец видит, как его дочь целует в машине юноша, едет следом, начинает скандал и потом, в порыве — бьет его кирпичом по голове насмерть. Час передают чудовищную мутату — и ведь смотрят! Право, впору закричать: «Да здравствует цензура!»

Поездка на Казимира Малевича в Дюссельдорф. Там же — выставка узников гитлеровских лагерей.

Почти никто в городе не мог подсказать Хельге Энгельбрехт[122] и мне, как найти музей. Даже полицейские в машине пожали плечами. (Слава богу, что я взял в отеле адрес и карту, иначе бы не нашли). Брюхо болело дико, кстати, аж зеленел.

Выставка — ничего; сильнее куда как выставка узников лагерей. После нее Малевич — слишком сытый, тешится, изобретает…

Хельга: «Русский бум начался в 70-х, после провозглашения „ост-политик“. Но и тогда хорошо воспринимали экзотические рассказы о народе и плохо, как и сейчас, — острое. Были пики интереса к России: первый начался после того, как немцев накормили. Второй — с развитием туризма. Но туризм все же — в массе — не является средством для сближения народов, ибо в Италии немцы ищут немецкие рестораны и говорят: «А наше пиво лучше», не желая пробовать итальянскую кухню и вино. Национальная напыженность. Вообще же про Россию здесь ничего не знают. Я скучаю без России. Видимо, журналисты проработавшие много лет за рубежом, — опасные люди, ибо они разрублены надвое. Я скучаю без того, чтобы сидеть на кухне и обсуждать мировые проблемы…»

Да, провинция, но каждый хочет проявить себя, отсюда в Вупертале прекрасный балет, а в Бохуме — драматический театр…

…Каждый человек — особенно в старости — клад нереализованных возможностей. Ужас за несделанное, ощущение нехватки времени может задавить, замучить, изничтожить (самоубийство, алкоголь).

Жизнь что хоккей, только б дотянуть и не сдаться. С каждым годом все страшнее ощущаешь невозвратимость времени, понимаешь всем нутром, что программа на ТВ, самая пустяковая, была, прошла и канула, умерла, не вернется. Все…

…На прием 21-го не смог пойти — так был плох; руки и морда отекли, лицо оплыло, а туда приехали Штайны. Жаль.

Прилетел 20.02. в весну. А сегодня, выйдя погулять, — пытаюсь переломить свою хворобу, — поразился солнцу и голубизне неба. Сегодня же поражен — увидел в окне двух комаров! И это в феврале-то! Что с климатом?!

Ремонтировал «форд». Ездил по всему Бонну, пока наконец смог найти мастера, кто в пятницу согласен сменить фару, — узкие специализации. Мастер долго разбирался, как заменить стекло, потом понял: его окружили другие мастера, уже кончившие работу, и любовались его трудом и умелостью, а не торопились пить водку. Пиво будут пить позже. В кнайпе.

Дюссельдорф в субботу пуст. «Я ненавижу Нью-Йорк в воскресенье» — по Маяковскому, но там по-другому. Здесь сидят дома, пьют чай или вино и смотрят ТВ. Отдых стал формой работы — скучно.

* * *

Конец февраля, март

«Шпигель» печатает скучный материал эмигранта Висленского под броским названием «номенклатура». Фото много, смысла, з н а н и я — нет. Писал человек, не знающий номенклатуры. А номенклатура — это, как клуб в Англии. Он не понял главного: кто же составляет номенклатуру, какова тенденция ее новоформирований.

«Бунте» дает диету из картофеля: на обложке баба стоит на картофельном мешке: «с картофелем — один фунт ежедневно!» Все это ля-ля. Как заложен обмен веществ в индивиде — так и будет, хоть вообще ничего не ешь. Я, после того как бросил курить, пухну, а ем — минимум миниморум. С 20 февраля только 3 раза сорвался: в Вайнгартене и у Громаковых, а так — салат, кефир, огурец, гречка, свекла. И — все. Другой бы сдох, а я пухну.

Поездка в Вайнгартен, на загрузку 200-тонного пресса. Приехал Вадим Останкин, мы были с Эдиком и Верушей[123]. Сказочное баденское вино, таких я нигде не пил вообще, Германия — матерь лучших вин, особенно на границе со

Швейцарией, на Бодензее. Был от Отто Вольфа Амеронгена Хельмут Рейнольд, который заключал с нами сделку.

Потом Эдик уехал в Бонн, а я, после заезда на Бодензее, проехал мимо Дорнье — для моего поколения это слово страшное, бомбежки, а тут вполне мирный маленький заводик. Что значит корректура временем.

Отправился в Мюнхен, снова поселился в Метрополе, попросил окна во двор, уже год возле вокзала строят, спать нельзя, если окна на улицу.

С Фридрихом был в пивной — огромный зал сделан под бочку, там выступал Гитлер. Вместе с Дж. Олдриджем и американкой Сандрой Янг слушал выступление Гюнтера Грасса, Карла Эмери. Расцеловался с Озеровым и Слуцкисом, они были на обсуждении темы «писатель и границы» в Штадсмузеум…

Вообще, создается впечатление, что Штраус демонстрировал в с е м перед выборами: «Вот как я умею с интеллигенцией! Она меня поносит, а я ее не боюсь, даже деньги ей даю на съезд. Вот как надо с этими скандалистами работать».

Назавтра в Штадсмузеум, в самом центре, открылся съезд. Переизбран Энгельман. Коллег было жалко: лягнув нас за Афганистан, начинали по-настоящему иметь Бонн и Штрауса: и за ужас на ТВ, и за одурачивание нации в газетах Шпригера, и за то, что из людей делают бездумное общество с хорошими автомобилями.

Писатели — особенно Кошунке — выступали хорошо, цитировали законы о цензуре, жаловались, что писателей не пускают на ТВ, засилье американской массовой культуры. Волновались ужасно, для них это — огромное событие. А у нас базлают как хотят, никакого волнения, привыкли к а у д и т о р и и интересу общества.

Вылет Шмита в Белый дом к Картеру, пресса здесь недовольна: «никаких заявлений, понять пока ничего нельзя, слишком обтекаемы заявления канцлера». Фашисты из «Национал Цайтунг», зацикленные на евреях, которые захватили мир, и на измене Брандта, поносят нас на чем свет стоит.

25.12.79. Умер Руди Дучке! А я и не знал об этом. Помню, как яростно он кричал в зале канцлера, когда во время визита Хуа Беллине не дал ему спросить Хуа о чем-то. Умерла эпоха молодой Западной Германии, кстати говоря. Надо выяснить — что с ним случилось.

Вчера ужинал с Хельгой. Смешно: журнал для объявлений

называется в Бонне «Шнюсс», что значит «рыло». «Это „рейнское“, — сказала она, — типичное. А как оно звучит по-баварски?». «Откуда я знаю! По-берлински оно звучит „шмауце“!»

Посоветовала поглядеть фильмы в «серьезных», то есть не коммерческих, а крохотных студенческих кино в «Воки» напротив вокзала и «Рекси».

Купил «Эмму» — действительно, очень любопытный журнал. Где-то видна левая ориентация, близкая к Сантьяго.

Первое заседание СП на Бутермельчерштрассе, во дворе, в здании бывшего завода, где ныне маленькая картинная галерея. Из-за экономии электричества свет был лишь на сценке, где сидели два писателя — Мария из Португалии и Любомир Левчев, новый председатель СП Болгарии.

Народа было человек 40. Здесь это — немало! Олдридж сказал мне, что такое (!) в Англии сейчас немыслимо, люди абсолютно отброшены от культуры, компартия потеряла свой вес, став в европозиции, и поэтому перестала уделять внимание культуре, вся в теории.

Сандра Янг говорила, что в Африке она себя чувствует так же, как в американском гетто, только на мусульманский лад: «они живут религией, им нет дела до национального угнетения, мусульманство подчинило их себе, замкнуло в национально-религиозной оболочке»…

Вспомнил Испанию, 75-й, тоже проблема общества культурных связей Испания — СССР, тоже вопрос представительства и значимости.

В Бонне прошла громадная демонстрация полицейских — требуют повышения зарплаты. Едут в автобусах. В отличие от всех других, баварские полицейские приехали в столицу в штатском.

Сразу вспомнил, что редакторы «Полицейского» и «Криминалитита» мне на мои письма не ответили — боятся, бывшие наци, высокие офицеры гестапо. КСТАТИ, ТЕМА!

Занятный журнал «Эуропа хойте» — Европейского сообщества, с интересными выкладками и фактами. Надо бы подписаться.

Накануне 8 Марта женские журналы «Кураж», «Бригита» и «Эмма» шандарахнули «Женщины в СССР» — начата новая компания о нарушении прав в СССР, на этот раз — женских. Слишком уж, впрочем, приурочили. И газеты слишком уж не ко времени дали рецензии. За этим видна рука, значит, черта не

удивишь, его только валенком можно удивить, где работы не видно.

Ни хрена не ем, а брюхо не спадает. Сегодня 9 марта, воскресенье, солнечный мартовский день…

Сегодня, 10 марта, все газеты вышли с некрологом, умерла кинозвезда Ольга Чехова, жившая в Мюнхене.

Ей была посвящена передача именно в день ее смерти, где собрались все ее коллеги, старики актеры из УФА; с ней вместе выступала в лентах и Марика Рокк. ТВ, казалось, угадало день ее смерти.

Сегодня съездил за отложенной книгой, купил для Сыра[124] леску, звонил в Гамбург, торопил Льва, надо получить материалы Штайна, чтобы проверить их к 9 Мая. Потом отправил почту, звонил к Фридриху, просил написать его материал к 9 Мая о поколении 35-летних.

Наладился ездить пить чай к Танечке и Василию Сорокину и Лене в консульство — там постоянно чай и кофе с прекрасными сушками и печеньем.

Сенсация на ТВ: Брежнев прислал свой ответ Шмиту по поводу Афганистана. Предстоят выборы в ландтаг Бад-Вюртенберга, ТВ особенно выделяет Геншера: от того, как пройдет ФДП, зависит судьба коалиции; о «зеленых» — молчат, будто их нет, вот что значит ТВ — в руках правящих.

Сегодня Квиц звал в Дортмунд, на открытие мирового конкурса по фигурному катанью. Не смог, плохо чувствую себя.

Вчера было счастье — поговорил с Кузей[125]. Главное, чтобы работала вхруст, отдавая себе отчет в том, кто она есть. Очень боюсь, что этого не будет при ее самонеуверенности. А талантище могучий, гордость моя.

* * *

Май

Два дня Первомая. Сначала у В. Семенова. Потом — вечер с актерами; засим болгары в Кенигсвинтере, поездка к посольству.

30 апреля Биль ошеломил вопросом: ФДП в Бонне пойдет

вместе с ХДС?

По всей ФРГ заклеивают портреты Штоблера на Биденкопфа в Северном Рейне-Вестфалии. Он — профессор и не похож на Штрауса, интеллигентно-сдержан.

Розмари, переводчица из Мюнхена, на приеме после «Женитьбы»: «Помогите ж, чтоб ВААП дал мне права на Аксенова». Но ведь он уезжает и сам будет распоряжаться правами. «Надеюсь, но Вы же знаете, как здесь трудно с переводами русской литературы?» Уж я-то знаю.

* * *

8 мая

Приемы предвыборной борьбы: в Северном Рейне-Вест в воскресенье выборы, а в социал-демократическом Бриене была присяга и прием с Карсетенсом по поводу 25 лет участия ФРГ в НАТО.

Новые левые устроили потасовку, 250 полицейских ранено, один убит, была война на улицах, коктейли Молотова.

Сначала ТВ хотело прижать эту новость, но назавтра «Бильд» дала интервью со Шмитом: «Это была война». ТВ начало сообщать подробности. СДУ и Штраус оборачивают это дело на удар против соц. — дем. На выборах в Дюссельдорфе и Дуйсбурге, где драка идет между Рау и Биденкопфом.

Кто п о д т о л к н у л новых левых к бойне? Причина выступления молодежи — благородна, против солдатчины, ракет, НАТО, но форма исполнения типично маоистская, бунт, неподготовленная, безлозунговая анархия. Но явно видна режиссура. Правая режиссура. Но как до этого докопаться?

ТОЖЕ — ТЕМА ДЛЯ ОДНОГО ПОВОРОТА В РОМАНЕ.

Сообщается, что Лунс в беседе с Картером тронул вопрос о возможном выводе американских войск из Европы к Персидскому заливу. ЭТО ВЫЗВАЛО ПЛОХО СКРЫВАЕМУЮ ПАНИКУ ЗДЕСЬ. Вашингтон мстит за Олимпийские игры и отказ от бойкота Ирана и — косвенно — за освобождение в Англии спец. силами иранского посольства.

Передают по ТВ прямые похороны Тито: видно, как во время речи преемника смеются люди на трибунах гостей, съехавшихся не столько на похороны, сколько на дип. контакты и

зондирование.

Договорился с Рибек и Галом о встречах во Франкфурте по янтарю.

Надо найти Музи и договориться о беседе.

НАДО ПОЗВОНИТЬ В АНТИФАШИСТСКИЙ КОМИТЕТ ПО ПОВОДУ ФОЛЬПРИХАУЗЕНА.

Позвонил — после поездки к Фон Бок и Шнайдеру — к Фальц-Фейну: он заварил кашу, нашел «английского жида», тот будет его держать в курсе всех дел.

Книга Роде — не его, а переработка женщины, адрес имею.

* * *

17 июня

Особенно заметна разбитость нации, ее половинчатость. Ужас национального, подчиненность его классовому, сиречь по-настоящему идейному. Есть замах на п а м я т ь 53 года, но замах. Удара нет. И рыбку съесть и на хер сесть. Ни одного кадра хроники о событиях того года. Зато много Баха. Но и Бах не посвящен трагической памяти: там и рок Бах, и губная гармоника Бах, и весь он из Америки.

По ЦДФ репортаж «ГДР ищет себя». Сделан репортаж вместе со Штерном. В это же время по первой программе выступают перебежчики, жалуются. Один читает текст, укрытый на коленях, очень смешно.

Идейность не нуждается в шпаргалке. И нуждается ли ФРГ в беглецах, которые не могут говорить без подсказки?

Мнацаканов вернулся в мажоре и миноре: «Что происходит? Пидарасты на каблуках против Штрауса, мальчики с Лениным на пиджаках продают Сталина, краткий курс и Мао, при этом выступают в защиту боннской демократии, но одновременно жгут флаг ФРГ. Куда идут?» Я полагаю, что в е д у т очень умно: чем больше разность мнений, тем больше необходим арбитр власти.

Мучаюсь с пьесой. Обсыпан аллергией. Вижу про себя сны: то рыбу чищу, то голый хожу. Не окачуриться бы до отъезда.

Сегодня в бундестаге снова дебаты, несмотря на праздник. Диалог Шмит — Коль. Каждый боится подставиться. Преимущество оппозиции: всегда выступают вторыми.

Рок-опера «Видеомагик». Одна сцена: «Объяснение в память Элвису». Мальчик в кедах и джинсах сидит за секретером барокко и пишет письмо Элвису, причем поет предложения. Неожиданность музыки, разность декорации рождает интерес, а потому — внимание.

Вторая сцена: мим в противогазе и белых противоатомных перчатках играет состояние человека в темной камере — ощупывает все вокруг себя, ищет выход. А за ним проецируется жестокость США: гонки, машины, которые на него наезжают, перестрелки, катанья с трамплина.

Прием: мим снимает маску и перчатки. Живой юноша. Огромна ответственность артиста: он как бог, пообещавший работать у всех на виду. И вот он играет человека, который все же вылез по веревке из камеры и оказался в ночном городе, а аккомпанемент — пальцы музыканта, которые жмут клавиши, сделанные в форме телефонных номеров, на телефонной станции. Человек бежит по улицам, и ему страшно, он бежит все быстрее и наконец взлетает, и тут — его лицо, исполненное счастья.

* * *

Ноябрь

Начал записывать сюжеты криминальных фильмов. Особенно пишется после того, как старый мудак подставил задницу своей машины. Понял, отчего так опасно в Вене, — большинство шоферов старики, все время «шаде», инциденты. Завтра платить плюс к страховке. Ах!

Это было 18 ноября.

Именно в этот день в Мадриде было более 300 тысяч демонстрантов в поддержку Франко. На трибуне — члены его семьи.

А заложников Хомейни не отпускает. Цинизм мира — это перестало тревожить, так, «хохма».

Сегодня, накануне приезда Громыко, ЦДФ показывает «Бориса Годунова» из Москвы. Калькуляция, одно слово. И из Камбоджи — рассказ очевидца о палачестве Пол Пота…

* * *

КИТАЙ, 1985 год

Пять программ телевидения в Нанкине. В одной — пакистанский фильм. В другой — как вязать, в третьей зрители смотрят демонстрацию последних мод, причем сделан и национальный колорит, и вполне европейский. Перед программой последних известий во всю рекламируются товары, причем не только китайские, но и иностранные. Американский фильм дублированный, что тоже было невозможно во время «культурной революции».

Прошлись по нанкинским улицам. Они совершенно другого типа, нежели Пекин.

Магазины закрываются не в десять, как в Пекине, и не в двенадцать, как в Кантоне, а в девять. Есть товары, есть музыка китайская.

Представить себе, что все это происходит в Китае через десять лет после того, как закончилась «культурная революция» и через шесть лет после того, как провозглашен новый курс — просто невозможно. Сейчас на стенах китайских городов висят «ша гуан гао» — объявления. Появились «развалы» букинистических магазинов, как в Париже и в Испании.

…Маленький сказочный сад камней в комнате ожидания Нанкинского вокзала. Едем на поезде из Нанкина в Шанхай: все заборы, скрывающие старые домишки, расписаны прекрасными рекламами-иероглифами.

Да, наш шрифт — не иероглиф, он не есть произведение искусства, но есть огромное количество молодых художников, которые хотят реализовать себя и все существующие у нас в стране заборы, а их у нас больше, чем тут, вполне можно и необходимо, используя опыт чилийских ребят из бригад Пара или никарагуанский нынешний опыт, как-то поставить их на это дело.

Лев[126] отметил, что во всех китайских гостиницах, как и в вагоне поезда, двери постоянно открыты — все насквозь открыто. Откуда — политика открытых дверей. Этика человеческих взаимоотношений. Проблема тотальной закрытости. Вот тема для размышлений с обращением и к Сун, и к Мин, и к Тан.

…Сережа в поезде рассказывал новеллу про гимн. Писал и Симонов, и Тихонов, и Сурков. А музыку писали сотни композиторов, но отобрали Шостаковича, Хачатуряна и Александрова.

Сталин остановился на гимне, написанном Михалковым и Эль-Регистаном. И вот их вызвали на политбюро — их нашли в

гостинице «Москва», — они там сидели кайфовали. Слава Богу не были под булдой.

Вводят их в кабинет, и перед ними Сталин с бумагой и карандашом в руке. Сталин сказал: «Мы остановились на вашем гимне, но вот у вас тут три раза припев. Нельзя ли посмотреть разные варианты?».

У Сережи было написано: «республик благородных», Сталин написал на полях: «ваше благородие» и поставил вопросительный знак. У них было написано: «нас вырастил Ленин» и «Сталин — избранник народа». Сталин «избранника народа» вычеркнул и добавил: «Великий Ленин». Потом сказал: «Нужно добавить про захватчиков и про армию. Сколько вам на это надо времени?»

Михалков отвечает: «На это нужен день». На что Сталин ответил: «Нет, день — много. Не дам. Надо быстрее».

Все молчат, и только Берия на коробке папирос рисует какие-то фигурки, поглядывая на них.

«Ну сколько вам надо времени?» — снова спросил Сталин. — «Час». — «Вас Поскребышев накормит, садитесь в соседнюю комнату и работайте». — «А как же Вы, товарищ Сталин?» — «А вы о нас не беспокойтесь».

Они вышли в соседнюю комнату, Поскребышев принес им бутерброд с лососиной, сыр, чай сладкий. И они за пятнадцать минут сделали все нужные изменения.

Регистан говорит: «Пойдем». А Михалков, которому тогда было двадцать шесть лет, отвечает: «Молчи и сиди. Час будем ждать, а то решат, что халтура!»

Час высидели. Василевский с Рокоссовским их ждали.

Сталин посмотрел: «Вроде бы ничего. Когда мы можем это исполнить?» Михалков отвечает: «Хорошо бы на Новый год».

И Сталин согласился.

…Первая советская опера, поставленная в Китае, в Шанхае, после «культурной революции», — «Зайка-зазнайка».

Мы в издательстве, где изданы русские книги. Товарищ Цао Ин перевел «Анну Каренину», «Воскресение» и рассказы Льва Толстого. «Обломова» Гончарова издали тиражом более ста тысяч экземпляров. Книга стоит два юаня. Весь тираж отправляется в магазины. Библиотеки покупают книжки в магазинах. На следующий год будет издано более двадцати советских писателей.

* * *

НИКАРАГУА, 1985 год

Мы приехали в горы, в барак, он называется «Куадро де продуксион». Здесь собирают кофе. На стене лозунг: «Будем убирать больше и лучше» и данные, кто сколько кофе собрал.

Уборка кофе — это борьба за повышение зарплаты в Никарагуа. Надо будет статью об этом назвать «Сколько стоит чашка кофе?».

Сегодня 24 декабря — выходной день. Никто не работает. Отгорожено место пластиком, где люди умываются холодной водой, промывают маис. Дети рисуют, все рисунки посвящены Новому году. Сколько же стоит чашка кофе?

Дети окружили Дарью, смотрят.

Здесь все спят в гамаках, но, несмотря на это, есть маленькая комнатка для приезжих.

Ночью мы останавливались у коменданта Хосе Хуано в Каза де Протоколо около Матагальпы. Там мне рассказали про интересного немца, молодого парня, внука тех, кто жил здесь давно.

Самоса выгнал многих немцев, среди них были нацисты, но было и много хороших левых людей. И вернувшись в 1968 году, этот немец — Алан Брок — получил никарагуанский паспорт, организовал в Матагальпе театр, полусамодеятельный конечно, и первой пьесой, которую он поставил, была пьеса Брехта…

Дети рисуют гирлянды, готовятся к празднику, на маленьких листочках бумажки рисуют карты — не для того конечно, чтобы играть на деньги, а просто чтобы выиграть или проиграть и посмеяться по этому поводу.

И Рут — дочь миллионера, имевшая миллионы долларов, жена команданте Кабесаса, отдала все деньги на революцию. Ее сестра — заместитель председателя Госплана, а Рут работает здесь с утра и до вечера. Называют ее Гата, потому что у нее голубые глаза. А всех брюнеток с голубыми глазами, как, впрочем, и блондинок с голубыми глазами, в Никарагуа называют «Гато» или «Гата», т. е. «кошка».

Ее отец уехал в Соединенные Штаты, а она работает вместе с Омаром (Кабесасом) на революцию. Мать ее умерла, когда ей было три года, отец женился на другой и постоянно занимал «призы по престижу». Среди избранного круга буржуазии ежегодно проводились конкурсы, где оценивалась манера одеваться, — вот это и была буржуазная культура Самосы, так называемая культура верхней тысячи, а то и того не набралось бы, — человек пятьсот от силы.

По деревне с гордостью ездит наш трактор — на нем написано: «Сделано в СССР», а все остальное по-испански. Товарищи сейчас здесь в сельве, зимой, испытывают огромную потребность в резиновых сапогах, куртках типа болонья или плащах и в мачете.

Иногда такого рода поставка может оказаться важнее поставки целого ряда грандиозных станков. Крестьяне оказались не подготовленными к такому гигантскому урожаю. Опыта работы у них не было. Это — плантации латифундистов, раньше здесь работали наемные рабочие, работавшие под охраной, — рабы двадцатого века.

А ныне здесь люди работают для республики, для себя, поэтому и руководители, и рядовые члены Фронта — все здесь. Изабель Севилья из Центрального банка работает сейчас здесь со своим сыном — Луисом-Мануэлем. Ему десять лет. Взрослые на все четыре месяца берут сюда своих детей, и они работают вместе с ними. Но только сегодня они делают из маленьких бумажечек странные гирлянды, на которых написано: «С Новым годом, с новым счастьем», или просто каким-то таинственным образом режут бумагу, и она лежит на плохо обструганных досках самодельного стола, но если вдруг эту бумажку за какое-то неведомое место потянуть, то среди этой вечной тропической зелени вдруг возникнет маленькая беленькая елочка…

Для детей, которые работают здесь вместе с матерями, это огромное счастье — Новый год. Для них привезли карандаши, они упоенно рисуют на бумажках.

По счастью сегодня не льет дождь, поэтому даже в этих полевых условиях женщины, в своих резиновых сапогах, у кого они есть, а то в драных бутцах, одевают красивые кофточки и сразу возникает ощущение шарма — такого шарма, которого (никак не желаю обидеть наших французских контрагентов) Пьеру Кардену не достигнуть, потому что это особый шарм — красота после выполненной работы, помноженная на врожденную грацию и на ожидание сегодняшней ночи, когда бумажные гирлянды украсят барак, в котором живут сборщики кофе — профессора, студенты, работники банков, ответственные сотрудники министерств и жена команданте Омара Кабесаса, которая, как жены всех команданте здесь, работает в Министерстве культуры.

Агата приходит здесь на работу раньше всех, уходит позже всех. Престиж революции — прежде всего, престиж жены команданте — прежде всего.

…Материал можно назвать «Сколько стоит чашка кофе или

Светлое Рождество революционеров».

…Брата команданте Хосе Хуана звали Игорь. Он погиб вместо Омара, выполняя его задание, закрывая собой.

Его сестру зовут Ольга. И можно понять, почему у брата и сестры команданте русские имена.

«Каждую ночь, — говорит он мне, — когда не нужно выезжать в сельву, я перечитываю Чехова. Для меня Чехов — это Катехизис. Я перечитываю „Братьев Карамазовых“, „Как закалялась сталь“, „Тихий Дон“»…

По здешней горной дороге в районе 6 — в Хинотеге ходят только военные машины с народной милицией и машины под охраной автоматчиков, которые увозят кофе, собранное добровольцами. Других машин здесь из-за вылазок контрас сейчас практически нет.

Во время войны против Самосы в этом районе находился Северный фронт и Омар был одним из командующих этим фронтом. Омар ходил всегда одетый в резиновые сапоги, как крестьянин, в драненькую кофточку, шапочку и обязательно носил с собой Библию.

Он проходил по здешней дороге, мимо гвардейца, а в кармане у него была граната и пистолет. Гвардеец спросил: «Имеешь ли ты оружие?» «Конечно имею!» — ответил Омар. Гвардеец сразу направил на него автомат, а Омар протянул ему Библию, пояснив: «Оружие — словами Бога!» и стал задавать вопросы: «Почему у нас нет этого и того?», «Почему у нас так плохо?», и гвардеец сразу его прогнал.

«Чего стоит чашка кофе или стратегия контрреволюции».

Действительно, сейчас здесь, где растет лучший кофе Никарагуа, зона боевых действий. Большинство крестьян или на фронте, или убегают отсюда, потому что самосовцы зверствуют, чтобы экономически задушить республику.

Все очень точно просчитано. Пригнали пикапчик с рождественскими подарками. Детишки из окрестных маленьких домов крестьян прибегают полюбоваться заранее на какие-то игрушки — дешевые, бумажные, но какое это счастье для них!

Экономическая стратегия Белого дома, очень точно взвешенная, — это как злой отец, который пытается доказать своим подрастающим и получающим образование детям, что без него они ничего не смогут. Дети готовы на голод, на лишения — это я видел в Нью-Йорке в 1968 году, только бы сохранить чувство собственного достоинства. Мещанин смирится с этим, но ведь мир состоит не только из одних мещан, к счастью.

Глава седьмая
СЕМЕНОВ ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТОВ

Отец был столь яркой и заметной личностью, что неизменно привлекал внимание российских и иностранных журналистов, причем последние подчас не разделяли его убеждений и приходили в надежде на конфликтно-скандальный материал. Но он за несколько минут успевал настолько обаять и логически убедить интервьюирующего в своей правоте, что изначально скептически настроенный газетчик расставался с ним абсолютно очарованным и разражался объективной и высокопрофессиональной статьей.

Привожу несколько статей и интервью, которые содержат наиболее интересную информацию, а также текст статьи писателя Виля Липатова, давшего анализ романов об Исаеве-Штирлице.

* * *

1969 год
Австралия, газета «Сидней морнинг геральд»

«СЕМЕНОВ ГОВОРИТ, ЧТО ОН НЕ ШПИОН»

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ АТАКУЕТ БАРНСА

Ему по-прежнему запрещен въезд

Русский писатель Юлиан Семенов критиковал вчера министра внешних территорий мистера Ж. Барнса, запретившего ему въезд в Папуа-Новую Гвинею и сказал, что напишет о мистере Барнсе, когда вернется в Советский Союз.

«Постоянно говорят о том, что в Советском Союзе отсутствует свобода, но сейчас, когда был шанс доказать наличие свободы здесь — показать Папуа-Новую Гвинею советскому писателю, который даже не является членом Коммунистической партии, — он не был использован», — сказал мистер Семенов.

«Когда я вернусь в Москву, то напишу о понравившемся мне австралийском народе и о мистере Барнсе тоже».

Мистер Семенов возвращается в Россию на следующей неделе, но еще надеется посетить Порт-Морсби и, возможно, Маданг.

В Москве он обратится к австралийскому послу за разрешением поехать в Папуа-Новую Гвинею, где он хочет собрать материал для книги о русском ученом и путешественнике Николае Николаевиче Миклухо-Маклае.

Вчера вечером он рассказывал о своих попытках посетить территории радио- и телеведущему Полю Маклаю — внуку ученого, у него на квартире.

«Для меня невозможно написать книгу, не увидев место и народ», — сказал он. — «Я дал Департаменту карт-бланш в организации поездки».

«Пошлите со мной официальное лицо», — предложил я им. — «Я обещаю писать объективно. Все что меня интересует, — это личность Николая Николаевича Миклухо-Маклая, который, как и я, не был шпионом».

Миклухо-Маклай (1847–1888) родился под Киевом, на Украине, а учился в Хейдельберге, в Германии. В 1860-х годах он приплыл на борту русского судна «Витязь» в Маданг. Там, после того как русские моряки построили ему хижину, он и остался со своим шведским слугой — единственным, кроме него, белым человеком во всей округе, и в течение года изучал местный язык, антропологию и обряды. Приехав в Сидней, он женился на дочери Сира Джона Робертсона, пять раз избиравшегося на пост премьера, а позднее вернулся в Новую Гвинею.

«ОСКОРБЛЕНИЕ» — ЗАЯВЛЯЮТ ПОЛИТИКИ.

Порт-Морсби. Два политических деятеля Новой Гвинеи заявили вчера вечером австралийскому правительству, что запрет на въезд в Папуа-Новую Гвинею русскому писателю Юлиану Семенову расценивается ими, как оскорбление народу территорий.

Политики Новой Гвинеи мистер Оала-Оала и мистер П. Четертон считают, что подобные действия австралийской стороны вызовут непонимание со стороны Советского Союза.

* * *

1975 год

ВИЛЬ ЛИПАТОВ О РОМАНАХ ЮЛИАНА СЕМЕНОВА

(Текст выступления)

В арсенале «криминологов» Запада и Востока то и дело варьируется тезис об «однозначности» нашей литературы, о ее «конформизме» и некой «изначальной заданности». Наши оппоненты напоминают мне людей, страдающих особой формой идиосинкразии: они не просто не различают цвета, нет, они порой вообще не хотят замечать того или иного цвета, проходя, что называется, «сквозь и мимо».

В этих моих заметках я хочу остановиться на романах Юлиана Семенова не оттого лишь, что они пользуются огромным читательским спросом — всем известны примеры, когда спросом пользуется макулатура, идущая по «срезу» современности, претендующая на «смелость» в постановке общественных проблем; нет, мне интересны романы Семенова о Максиме Исаеве-Штирлице, во-первых по охвату материала, по «заряду информации», заложенной в них, во-вторых, по нравственной проблематике. И наконец, они интересны с чисто формальной точки зрения, ибо Семенов ищет новую форму для романа, чувствуя, как и многие из нас, что сейчас состоялся новый ритм жизни, а в новых ритмах невозможно писать по старым, великолепным, любимым нами романтическим рецептам — неминуемо «отстанешь от поезда».

Я сразу же хочу вывести романы Ю. Семенова о разведчике и политике Исаеве за скобки детектива, ибо классический детектив страдает определенного рода безнравственностью: много «хороших» гоняются за одним «плохим», и если о «хороших» мы знаем все, то «плохой» остается фигурой умолчания, неким символом, жертвой авторского произвола — немотивированным и неубедительным злодеем, необходимым в сконструированной авторской схеме.

Враги Исаева-Штирлица — это белогвардейцы в одном случае («Пароль не нужен», «Бриллианты для диктатуры пролетариата»), фашисты — в другом («Майор-Вихрь», «Семнадцать мгновений весны»), неонацисты — в третьем («Бомба для председателя»).

Ключ к пониманию авторской позиции в описании врагов дает нам один из героев Семенова — пастор Шлаг. Рассуждая о нацистах, он утверждает: «Мы же говорим с вами о природе человеческой. Разумеется, в каждом из этих негодяев можно найти следы падшего ангела. Но, к сожалению, вся их природа настолько подчинилась законам жестокости, необходимости, лжи, подлости, насилия, что практически там уже и не осталось ничего

человеческого. Но в принципе не верю, что человек, рождающийся на свет, обязательно несет в себе проклятие «обезьяньего происхождения».

Писатель лишь тогда остается писателем, а не делается сочинителем, когда он прослеживает эволюцию, когда он убедителен в анализе человеческого падения так же, как он достоверен в описании торжества добра.

Литература, как и жизнь, — это столкновение правды и лжи, добра и зла, если один из этих компонентов лишь обозначен, литературное произведение будет грешить односторонностью, а это — нарушение золотого правила архитектуры — пропорции, это отомстит писателю читательским недоверием, а нет ничего страшнее, чем недоверие.

…Романы Семенова пронизаны информацией. Его герой проходит сквозь события высокой гражданской и нравственной значимости.

Семенов информирует своего читателя (не только фактом, документом, сюжетом, но и чувством) о событиях важных, широких по охвату проблем, гражданственных.

Освобождение Дальнего Востока от интервентов и белогвардейцев, разоблачение расхитителей в Гохране, срывающих закупки продуктов питания для голодающей России; спасение от уничтожения Кракова, этой сокровищницы славянской культуры; срыв сепаратных переговоров между Даллесом и Гиммлером в последние месяцы войны — таковы факты романа Семенова, факты, в которых развивается сюжет, факты, рождающие характеры, рождающие правду столкновения характеров, то есть — рождающие большую и серьезную книгу.

Движущей пружиной романов Семенова является диалог. Его романы кинематографичны — каждый из них мог бы послужить сценарием для многосерийного телевизионного фильма.

В свое время много дискутировали по поводу «телеграфной» литературы. Видимо, дискуссия эта была несостоятельной. Лаконизм и краткость отнюдь не есть предвнесенное в литературу за последнее время. Спартаны, населявшие Лаконию, говорили кратко, емко, пружинисто. «Лаконизм», следовательно, пришел из антики. Платон первым вложил в уста Сократа — «лаконическая кратость». Так что упругость семеновского диалога, стремительность в построении сюжета отнюдь не есть дань модернистской или формалистической моде — видимо, в этом писатель чувствует свой ритм, и наивно упрекать его в этом, требуя следовать канонам: наша литература ищет, ищет она и новую форму, и это прекрасно.

…Международник и журналист по образованию, Юлиан Семенов знает предмет, в его романах нет приблизительности, он не боится обнажать существо конфликта, предлагая «высказаться» каждой из сторон: будь то шеф гестапо Мюллер, журналист Кроне или профессор Плейшнер. Писатель не помогает своим героям — он следует за ходом их рассуждений и никогда не позволяет себе вмешиваться в спор.

Я не знаю, будет ли продолжать Юлиан Семенов цикл своих романов о Максиме Штирлице, но уже то, что создано им, позволяет говорить о рождении самобытного жанра, совершенно нового в литературе, жанра, рожденного нашим временем, сплавом факта и чувства, сюжета и проблемы.

* * *

1979 год

ИНТЕРВЬЮ НИДЕРЛАНДСКОМУ ЖУРНАЛУ «СОЛИ»

Быть русским зарубежным политиком — это хобби русского писателя и журналиста Юлиана Семенова. Он дает интервью «Соли» в Нидерландах о Китае.

Китай не желает больше поддерживать дружеские отношения с Советским Союзом. И 11 апреля их сотрудничество заканчивается. Согласно сводке Пекина соглашение устарело. Считает ли Советский Союз, что соглашение не устарело? Как могут складываться взаимоотношения двух стран, постоянно находящихся в состоянии вражды?

Позволю себе заметить: я не являюсь министром иностранных дел. Я — Юлиан Семенов, в этом качестве и буду с Вами говорить. И, как Юлиан Семенов, заявляю, что Ваша постановка вопроса неправильна. Это не Китай сообщил Советскому Союзу, что соглашение будет разорвано, — об этом уведомили власти Пекина. Русский и китайский народы пребывают в дружеских отношениях и останутся друзьями, я уверен в этом. И у русских никакой вражды по отношению к Китаю нет. Тун Мао просил нас о ядерной бомбе — мы отказали им. Советский народ убежден, что не народ Китая разорвал отношения между нашими странами — это сделало правительство Пекина.

В западных кругах были убеждены в том, что Китай считал целесообразным вложение денег в сотрудничество с Советским Союзом, а не в связи с открытым рынком Лондона.

Этого я не знаю. Зато когда я бывал в Белоруссии, то собственными глазами видел, как люди задерживаются на работе, а часть их продукции бесплатно отправляется в Китай, тракторы например, в то время, когда они сами в них нуждаются.

5 мая Китай дал согласие на переговоры. Можно ли полагать, что они настроены серьезно?

Я считаю, что если переговоры начнутся, то ситуация нормализуется в течение нескольких месяцев, и то, что было достигнуто за долгие годы, мы сохраним. Но Пекин должен отказаться от своей агрессивной пропаганды по отношению к нам. Китайское радио транслирует передачи на территорию Советского Союза в течение 24 часов в сутки. Мы хотим иметь разносторонние взаимоотношения, народ Китая — это фантастически одаренные люди с богатой философской и культурной традицией. Но каждому сейчас надо принимать решение. Вы тоже должны решить: быть ли возле Ден Сяо Пина или оставаться китайским журналистом в Нидерландах.

Русская международная политика базируется на двух принципах: пролетарском интернационализме и мирном сосуществовании. Первый принцип сосуществования базируется на сотрудничестве с социалистическими странами и коммунистическими партиями, второй — со странами, не являющимися коммунистическими. По какому принципу в будущем будут развиваться отношения с Китаем?

Позвольте мне Вас спросить: считаете ли Вы власть в Китае пролетарской, интернациональной? Подумайте только об агрессивной войне против Вьетнама. Вот мой ответ.

Торговля между Китаем и Россией в 1978 году увеличилась почти на 30 % по сравнению с 1977 годом.

Не повторяйте ошибку американского сената — не надо смешивать политику и торговлю. Наши торговые отношения основываются на принципе открытых дверей. Мы не хотим торговать лишь с Чили, Парагваем и Родезией.

В Европе опасаются, что если отношения Китая и СССР нормализуются, то это приведет к дальнейшему наращиванию военной мощи на западных границах. В настоящее время у Советского Союза вдоль границы с Китаем дислоцировано 13 дивизий.

В июне 1945 года Гелен (который недавно скончался) уехал в Америку вместе с архивами Гитлера и России. Кто, собственно, должен теперь опасаться? США? Западная Европа? Или мы? Вы

уже знакомы с точкой зрения Хэйга, Роджерса, Лунса. Вы знакомы с прошлым Лунса. Опасения Запада — организованные опасения. Основа этих опасений зародилась после революции 1917 года. С тех пор мы считались агрессорами. Мы достаточно сильны, но агрессорами быть не хотим, потому что во Второй мировой войне потеряли двадцать миллионов человек. Американцы потеряли 200 000. Наша страна дважды была оккупирована и разрушена, и мы лучше, чем американцы, знаем, что такое война.

Союз между Китаем и Албанией закончился. Были всевозможные спекуляции по поводу возможности сближения Москвы и Тираны.

Меня зовут Юлиан Семенов, а не Кассандра.

В период с 1973 по 1977 год Россия поставила в Африку оружия на 12 миллиардов. Теперь поставщики оружия видят проблему в нестабильности мира?

В то время, пока мы помогали Мозамбику и Анголе, все внимание было уделено стабильности мирного урегулирования, а не действиям против ЮАР и Родезии.

А Эфиопия?

Там, по моему мнению, стабильная обстановка. Мы помогали Сомали до того момента, как она напала на Эфиопию и повела себя как агрессор.

А Эритрея?

По нашему мнению, в Эритрее существует внутренняя проблема, а мы больше во внутренние дела не вмешиваемся. Мое правительство придерживается той точки зрения, что Эфиопская революция представляет определенный шанс для ее народа. Поэтому мы их поддерживаем. Это также сугубо мое мнение.

Советский Союз известен как страна, не предоставляющая помощи без политической выгоды. Оказывал ли Советский Союз помощь странам, которые не являлись его союзниками?

Конечно да. Вы никогда не слышали об Асуане в Египте? Мы строили больницы в Индии и Иране, строили дороги в Индонезии.

Но ведь в то время, когда предоставлялась эта помощь, в этих странах не было теперешнего режима.

Хорошо, режим у них был другой, но мы сейчас говорим о политическом союзе. Велика разница между понятиями «союзники» и «друзья». Последние — это страны, которые не настроены по отношению к нам враждебно. И в то же время Индию при Ганди и Египет при режиме Насера вы едва можете назвать союзниками. Хотя этим странам мы сильно помогали.

* * *

1981 год

ВОСПИТЫВАТЬ ДОБРОТУ

Интервью к 50-летию со дня рождения Юлиана Семенова.

Найти в Москве Юлиана Семенова так же трудно, как и купить в магазине его книги. Постоянные разъезды, затворничества, «убегания» от телефонных звонков.

Мне удалось договориться с ним о встрече буквально за несколько часов до его отлета. Естественно, что я сразу же спросил, чем вызвана эта поездка — новыми творческими замыслами или продолжением начатой работы?

— Моя командировка связана с недавним моим романом «ТАСС уполномочен заявить». Хочу повстречаться со старыми друзьями и продумать вопрос о съемке многосерийного кинофильма.

— Уж коль мы сразу заговорили о кино, скажите, почему вам, писателю, как бы не хватает своего материала — слова и вы включаетесь в другие жанры искусства? С чем это связано?

— Чистой прозой и только прозой, конечно, приятно заниматься. Но почему так неотвратимо тянет к драматургии, к слову, которое хочешь передать другому человеку? Заметим, «Руслан и Людмила» — поэма, но написана-то как пьеса. «Мертвые души» — поэма, «Ревизор» — пьеса, а Булгаков сделал потрясающую инсценировку «Мертвых душ». Вспомним, как Горький шел в драматургию, как Блок, поэт милостью Божьей, искал себя как драматург в «Незнакомке», «Балаганчике», как Есенин пробовал себя в театре. А Шукшин? Хочется отдать свое слово режиссеру, актеру, человеку, который увидит и поймет его иначе, по-своему.

Да и к журналистике меня тянет постоянно, два года не поезжу как разъездной корреспондент — уже скучно. Это как спортсмен без тренинга.

— Наверное, это еще и потому, что вы, Юлиан Семенович, начинали как журналист.

— Не совсем так. Еще учась в Институте востоковедения, а затем работая преподавателем афганского языка и старшим лаборантом по науке на истфаке МГУ, я тянулся к творчеству, писал рассказы, посвященные любимой женщине.

Однажды, когда я сидел на кафедре, за спиной у меня раздалось покашливание. Это был голос моего шефа Игоря

Михайловича Рейснера, профессора, выдающегося востоковеда, брата Ларисы Рейснер.

Подсмотрев, чем я занимаюсь в служебное время, он заметил с усмешкой: «Ну, во-первых, вы злоупотребляете тире, а во-вторых, правильно говорят, можешь не писать — не пиши. Попробуйте все-таки не писать».

Совет был язвительным. А мне надо было решаться, к тому времени я уже сдал кандидатский минимум.

И что же? Я пошел, куда бы вы думали? В «Огонек»! Да, да, в журнал «Огонек», там посмотрели мои опусы и дали командировку, первую в моей жизни, в Таджикистан. Я должен был сделать очерк о текстильном комбинате.

Поселили меня в доме, за стенами которого, как оказалось, был зверо-центр. Я заинтересовался, пошел туда. И забыл о своей теме. Напросился взять меня в горы на отлов диких зверей.

В горах вместо пяти отпущенных на командировку дней я провел две недели и по прибытии в Москву написал сто страниц текста — то ли рассказ, то ли повесть. Из этих ста страниц редакция напечатала короткое сообщение в восемь строк: в горах Таджикистана трудятся прекрасные звероловы во главе с замечательным мастером Абдали. Потом, правда, весь этот материал я использовал в первой своей вещи — повести «Дипломатический агент».

И опять-таки с огоньковским мандатом я поехал в первый заграничный вояж в Афганистан. Было это в 1955 году. Вы знаете, Афганистан — это моя слабость. Я горжусь тем, что был редактором первого перевода афганских стихов и переводчиком афганских сказок.

— А теперь от вашего творческого начала в сегодня. Я знаю, что издательство «Современник» готовит пятитомник ваших произведений. Но написано вами значительно больше…

— Да, написано томов тридцать. Это, конечно, много. Но я рад, что мои вещи читаются, ставятся на сцене, экранизируются, я рад тому, что нужен читателю. Вы знаете, сколько писем я получил об одном только Штирлице. И все спрашивают: неужели все закончено?

— Кстати, действительно, что со Штирлицем? Вернетесь ли вы к любимому герою?

— В будущем романе я опишу поверженную столицу рейха. По сюжету мой Штирлиц уезжает сложными путями в Латинскую Америку. И вот там я буду его глазами наблюдать, как начиналась «холодная война» и как люди Даллеса станут искать контакты среди вчерашних нацистов.

— Юлиан Семенович, вас считают писателем детективного жанра. Как вы к этому относитесь?

— Называйте меня как хотите — не обижусь. В американской энциклопедии я назван создателем советского политического романа. Пусть будет так. А Сименон сказал мне, что я пишу исторические романы. Нам нужна любая литература, кроме скучной. Нашего читателя люблю и уважаю, это умный читатель.

— Какая из ваших встреч с незаурядными личностями самая интересная?

— Трудно сказать. Когда я пишу политические романы, я встречаюсь со многими крупными деятелями, политиками, дипломатами, экономистами. Ну разве забудешь встречи с Хо Ши Мином, Вальдхаймом, Корваланом, Суфановонгом, недавно погибшим генералом Торрихосом? Многое мне дали разговоры с маршалом Коневым.

Скажу честно, мне как писателю интересно узнавать о каких-то исторических тайнах. Человек всегда любил тайну. Вот почему так популярен у нас детектив: там все скрыто, зашифровано, там чего-то ждешь. Тайны истории должны раскрываться, и писатели помогают в этом читателю.

Меня иногда спрашивают о роли литературы в наше сложное время, так я считаю, что литература должна предотвращать несправедливость, обязана предотвращать забывчивость. Литература должна воспитывать доброту, гуманизм, то есть как раз то, что необходимо защищать в человеке, в человечестве.

* * *

1983 г.,
интервью «Фройденштадт-Шемберг»

«Я ЛЮБЛЮ ЭТУ СТРАНУ»

Русский писатель в гостях у профессора Мэнарта

Семенов — один из наиболее известных писателей Советского Союза. Его книги читаются миллионными тиражами.

Он такой, какими, собственно, и представляют себе русских: добродушный, дружелюбный, с глубоким убаюкивающим голосом. Кроме того, Юлиан Семенович Семенов — писатель, и, что сложно себе представить, пишет социально-критические

детективные романы.

10 000 писателей входят в настоящий момент в Союз писателей СССР; 24 наиболее известных из них выбрал писатель и русовед профессор Клаус Мэнарт, чтобы описать их жизнь и работу, а вместе с тем и литературу в России в своей новой книге «Что читают русские».

Один из этих 24 писателей, и, наверное, самый известный в России, — Юлиан Семенов. На прошлой неделе он был в гостях у Мэнарта в Шемберге.

Юлиан Семенов и профессор Мэнарт знакомы вот уже три года. Русский писатель приезжал в Бонн в качестве корреспондента одной русской культурной газеты и во время своего визита встретился с Клаусом Мэнартом в Шварцвальде. После этого визита завязалась их дружба.

В этот раз, чтобы снова навестить своего друга Мэнарта в Шемберге, Семенов воспользовался приглашением Рейнско-Вестфальского международного общества из Дортмунда, где он читал лекцию.

Особую радость доставил Мэнарт Семенову, показав ему такие важные для русского человека города как Баден-Баден и Баденвайлер.

В Баден-Бадене жили Гоголь, Тургенев и Достоевский, в Баденвайлере умер Чехов.

Со своим гостем Мэнарт говорил, конечно, о ситуации в русской литературе и среди писателей.

«Уже в три года я начал писать песни», — уточнил Семенов с немного лукавой улыбкой. Его первый рассказ был написан в 1956 г. Автор, которому сейчас 50 лет, пишет романы, рассказы, пьесы. Интересуется он прежде всего историей XX века и политикой, поэтому его романы сочетают в себе современную историю и остросюжетность. В них он описывает работу милиции и затрагивает другие темы, например, такие как бандитизм и наркобизнес в Москве, коррупция, кражи бриллиантов и спекуляция. Юлиан Семенов не пишет об этих, присущих также и России, проблемах в передовых статьях, а посвящает им свои романы. Поэтому его детективы полны социальной критики.

Семенов: «Мы вполне открыто рассказываем о своих проблемах».

Несмотря на то что на Западе советские детективы в целом не очень популярны, в Советском Союзе их читают миллионными тиражами.

Юлиан Семенов охотно пишет также путевые заметки, и его можно назвать искателем приключений — учитывая, что он побывал в Испании, Португалии, Чили, Японии, Китае и четыре

раза на Северном полюсе и написал о каждой поездке. Но еще известнее сделал его 12-серийный телефильм о Второй мировой войне, причем не имеющий никакого отношения к антинемецкой пропаганде.

Юлиан Семенов издал 20 книг общим тиражом 20 миллионов экземпляров. Здесь следует учитывать, что советские романы, перед тем как появиться на рынке в виде книг, печатаются в толстых литературных журналах, и уже эти журналы обеспечивают большой тираж. В Советском Союзе книжные новинки раскупаются очень быстро. Книги распродаются мгновенно, несмотря на огромные тиражи.

На вопрос, как Юлиану Семенову-писателю живется в России, он ответил, улыбаясь: «Я живу прекрасно». У него квартира в Москве, две машины, небольшая мастерская и загородный дом с сауной.

Он с огромным удовольствием ездит на охоту — у него немало ценного оружия, и, кроме того, он владелец большой интересной библиотеки русской, английской, испанской и немецкой литературы.

Бабушка его жены была немкой, поэтому Семенов также очень хорошо говорит по-немецки.

У писателя две дочери, Дуня и Ольга. Старшая, Дуня, в 23 года — самый младший член советского союза художников. Ольга, 15 лет, знает французский и уже опубликовала три рассказа.

Конечно, не все писатели живут, как он, говорит Семенов. Но в целом живут они неплохо. Многие, читая по лекции в день, а также благодаря выступлениям на радио и книжным рецензиям зарабатывают достаточно, чтобы прожить.

Юлиан Семенов: «Однако я придерживаюсь немецкой поговорки: «Порядок должен быть во всем». Поэтому работаю очень усердно, ведь я люблю свою работу». Нередко бывает, что писатель по десять дней подряд трудится, как одержимый, по 20 часов в сутки — с семи часов утра до трех ночи. «Для меня быть писателем означает много работать», — объяснил Семенов. Но, с другой стороны, умеет после выполненной работы и отдохнуть.

Как положительный момент отметил Семенов тот факт, что молодые журналисты или писатели имеют возможность отправиться на Украину, в Сибирь или на Кавказ работать в качестве корреспондентов газет. А там достаточно времени и вдохновения, чтобы упражняться в письме и нарабатывать свой писательский опыт.

На вопрос о том, как относятся к немцам в России, Юлиан Семенов ответил, что во всем мире по-прежнему много

противников немецкой нации. Считается, что немцы слишком организованны, не умеют по-настоящему развлекаться, только и делают, что работают, и все у них до невозможного упорядоченно.

Когда Семенов впервые приехал в Германию три года назад, у него было такое же мнение о немцах. В то время в нем были еще живы воспоминания о войне, а с ними и предубеждения. Однако вскоре он увидел, что, к примеру, развлекаться немцы умеют даже очень хорошо.

Юлиан Семенов: «Теперь я очень люблю эту страну и, как писатель, стараюсь рассказать своим соотечественникам о немцах. Не о политике, а о самих людях».

* * *

1984 год
Газета «R 2000», Аргентина

«ПИСАТЕЛЬ ЮЛИАН СЕМЕНОВ — РУССКИЙ АГЕНТ 007?»

Общительность, чувство юмора, сильный характер и объемная фигура… Писатель беседовал с нами во время прогулки по городу

В Буэнос-Айресе советский писатель Юлиан Семенов гулял по улицам нашего города и общался с разными людьми. По пути он изучал документы для своей следующей работы, которая будет называться «Экспансия».

Малоизвестный в нашей стране, советский писатель Семенов — автор романов, вызвавших большой резонанс в его стране и во всем мире. Только в СССР его книги были выпущены тиражом более 20 миллионов экземпляров.

Он называет себя поклонником Хемингуэя, Грина и Гарсия Маркеса. На Западе его окрестили советским Джеймсом Бондом. Возможно, потому что в его книгах много расследований и шпионажа, но более всего Юлиан Семенов похож на итальянского крестьянина с примесью ирландского авантюриста. Говорят, он самый популярный писатель в Советском Союзе.

Неисправимый путешественник, военный корреспондент, охотник за документами и персонажами, связанными с нацизмом, любитель охоты и водки, искатель ценностей, украденных во Вторую мировую войну… личность советского писателя Юлиана Семенова, завоевавшего всемирную славу благодаря

политическим романам в детективном стиле, позволяет беседе протекать в самых разных направлениях. Однако все эти «ручьи» впали в одну, главную реку — литературу.

Словно некий современный Хемингуэй, Семенов воплотил весь свой богатый запас опыта и исследований в нескольких новеллистических сагах, в одной из которых главным героем является разведчик Максим Исаев (Штирлиц), персонаж, которого сравнивали, хотя и не имея на то существенных оснований, с Джеймсом Бондом Яна Флеминга.

Разговорчивый, веселый, с живым темпераментом, этот человек крепкого телосложения, с бритой головой, без конца пьющий кофе и курящий крепкие сигареты, пробыл в Буэнос-Айресе около пятнадцати дней, в течение которых общался с различными людьми, посещал разные места и собирал данные о жизни нацистского пилота Скорцени, который жил в Аргентине и владел очень крупным предприятием, и высокопоставленного нацистского чиновника Адольфа Эйхманна.

Из Буэнос-Айреса Семенов отправился в Уругвай, а оттуда поедет в Перу, на Кубу и, возможно, в другие страны материка. Впечатления, собранные в этом путешествии, войдут в книгу, название которой будет «Экспансия».

Прежде всего я попросил его сравнить своего героя (Штирлица) со знаменитым Джеймсом Бондом.

«Это карикатура, к которой с целью увеличения продаж прибегают издательства некоторых стран, где была переведена моя книга, — говорит он. — То же самое получится, если я вам расскажу такой сюжет: женщина, замужем за высокопоставленным чиновником, влюбляется в молодого мужчину, живет с ним два или три года, и поскольку муж не дает ей развод, она кончает с собой; и скажу, что лишь в этом состоит „Анна Каренина“. Это абсолютное упрощение. Моя литература описывает реальные события, известные или малоизвестные читателям, но, для того, чтобы эти истории заинтересовали многих людей, я использую образ человека, который борется со всеми. Однако глазами Штирлица я показываю нацизм. Я верю в персонажей из плоти и крови. Джеймс Бонд — это персонаж, который, возможно, будет интересен школьнику семи или восьми лет. Это малоразвитая литература. Нужно пытаться понять героя, стараться узнать, что происходит в его голове, о чем он думает, что любит, что ненавидит; не упрощать его до уровня примитивной куклы. Мы живем в мире, который легко заставить эксплуатировать. И мне это не нравится. Это времена большой безответственности. И литература о Джеймсе Бонде безответственна от начала до конца — ведь сложнейшие

политические ситуации решаются в ней на кулаках или сексуальным обольщением. Мировые вопросы так не решают».

— Какова разница между писателем и журналистом, если учитывать, что зачастую они работают одновременно в обеих ипостасях?

Семенов ответил:

— Журналист — это человек, который располагает сведениями о событиях или людях и сообщает свои знания в краткой статье, которая должна быть похожа на выстрел из лука.

Писатель должен знать то же самое, но строить свой собственный, персональный мир, имеющий отношение к этим событиям и людям, но в то же время очень далекий от них.

Стендаль написал «Итальянские хроники». Там он описывает улицы, картины, дома этой страны, и в то же время более высокой литературы я не знаю.

Достоевский знал человека очень умного, очень способного, и написал книгу под названием «Идиот». Он изобрел собственный мир, имеющий много граней, как у Гарсия Маркеса.

Несмотря на его пресловутую любовь к водке, Семенов не выпил во время интервью с «R 2000» ни капли спиртного.

«Я восхищаюсь писателями, которые способны пить во время работы, — говорит он. — Гарсия Маркес рассказывает, что Грэм Грин выпивает в день больше бутылки виски, и это не влияет на его способность работать. Я восхищен этим достоинством Грина так же, как и его литературными способностями. Он удивительный рассказчик, владеющий изящным притягательным языком, и великолепный изобретатель характеров».

Автор «Семнадцати мгновений весны» и «Бомбы для председателя» рассказывает затем о своей симпатии к латиноамериканским писателям, таким как Борхес, Гарсия Маркес, Астуриас, Володя Тейтельбойм; симпатии, разделяемой русской публикой.

«Габриель Гарсия Маркес — бог в моей стране, — признается он, — у нас существует большая страсть к литературе этого континента. К примеру, я считаю, что мы знаем аргентинскую литературу намного лучше, чем вы — советскую. У Аргентины есть все возможности быть великой страной. У вас есть культура, материальные ценности, человеческий фактор. Но следует помнить следующее: чтобы быть великой страной, нужно лучше знать другие народы».

— То, что мы знаем о советской литературе, связано в основном со Второй мировой войной. Что происходит в современной литературе Вашей страны? Какие темы актуальны?

— Происходит вот что: на Западе наша литература неизвестна. А война для нас означает двадцать миллионов погибших, цифра практически сравнимая с общим населением Аргентины. Это непрерывная боль, которая навеки с нами. Но кроме этого, в моей стране пишут обо всем, и очень хорошо. К примеру, у нас есть Валентин Распутин, который становится своего рода советским Гарсия Маркесом. Он описывает всю крестьянскую жизнь. Или Виктор Астафьев, который пишет о современной советской жизни с абсолютной честностью. Есть много прекрасных писателей.

— А что происходит с новым поколением литераторов?

— Самые молодые посвящают себя поэзии. Ни один из них не достигает высоты поэтического полета Беллы Ахмадулиной или Евтушенко. Но есть молодые поэты, которые развиваются и вызывают интерес, однако не думаю, что сейчас есть имена, заслуживающие упоминания здесь. Дело в том, что до двадцати трех лет они учатся в университетах, находятся на попечении государства, не имея никаких забот. Сложно в таком возрасте, не пройдя жизненный путь, писать о проблемах, возникающих в жизни общества. Я, к примеру, пишу о том, что у нас не хватает кофе или что услуги, предоставляемые у нас, недостаточно высокого уровня, или что тюремная система оставляет желать лучшего.

— Вы упомянули Гарсия Маркеса, известного внедрением магии в литературу. На Западе говорят, что социалистический реализм сдерживает творческий полет писателей, ограничивает их в темах и даже в способе их освещения…

— Всему этому причиной то, что нашу литературу не знают. Тот же Распутин, которого я упоминал, обладает фантазией, магией, которая пропитывает все, что он пишет. Вам нужно намного ближе познакомиться с советской литературой.

— С чем у Вас ассоциируется имя Солженицына?

— Его первая книга, «Один день Ивана Денисовича», мне понравилась. Но потом Солженицын захотел стать политическим лидером. А он не готов к этой роли. И сейчас, живя на Западе, он обманывает всех, говоря: «Чертовы большевики, они разрушили все в этой стране!» Однако это не так. Мы прекрасно знаем о своих недостатках: двадцатый съезд был проведен не в Аргентине, а в Советском Союзе. Мы сами говорим о том, что произошло. И, заявляя, что «большевики разрушили Россию», он забывает, что до 1914 года в царской России организовывалась голодная смерть миллиона человек в Поволжье. Затем у нас были свои трудности, нам нужно было преобразоваться в

индустриализованную страну, ведь до 1917 года 85 % населения были земледельцы-скотоводы, и 15 % — трудовой класс. Процесс пролетаризации крестьян был очень болезненным. Ясно одно: Россия, выдержав семь лет Гражданской войны и пять Великой Отечественной, запустила в космос первый спутник. Не США, не Англия, а именно Советский Союз.

— Что Вы знаете об аргентинской литературе?

— Мне очень нравится Борхес. Многие говорят, что он консерватор, но Достоевский тоже не был членом коммунистической партии.

* * *

«TIEMPO Argentines
31 января 1984 г.

«ПИСАТЕЛЬ, ПРИШЕДШИЙ ИЗ ХОЛОДА»

На Западе он известен как «советский Джеймс Бонд». Его романы основаны на интервью с высокопоставленными нацистскими чиновниками и историческими личностями, такими как знаменитый маршал Жуков.

Опасная жизнь Юлиана Семенова

Он любит женщин, водку и икру. Его испанские издатели представляют его как «советского Джеймса Бонда», но он предпочитает определять свои работы как политические романы, а не шпионские книги. Ему нравится охота, иногда он путешествует с Мэри, вдовой североамериканского писателя Эрнеста Хемингуэя. Не чужды ему ни корриды в Памплоне, ни интервью с нацистскими верхами в разных странах мира.

Он больше, чем писатель. Юлиан Семенов — своего рода исследователь, шпион, детектив, окунувшийся в истории, которые в книгах издательства «Пласа и Ханес» носят названия «Бомба для председателя», «Семнадцать мгновений весны» — абсолютные бестселлеры, потребовавшие некоторых опасных встреч.

В Буэнос-Айресе, в здании на улице Суипача, мы встретились с мужчиной с ясными глазами, густой бородой, вначале склонным иронизировать, затем шутить, и всегда с богатым запасом историй из жизни.

— В каком возрасте Вы начали писать?

— В 10 лет.

— Вы начали писать личные дневники, как делают женщины?

— Почему Вы думаете, что личные дневники пишут только женщины?

— В таком возрасте именно для девочек наиболее характерно вести дневники, возможно потому, что они более чувствительны.

— Они более чувствительны, но менее правдивы. Женщина пишет то, что хочет чувствовать, а мужчина пишет правду. Если, к примеру, Вы почитаете дневники братьев Гонкур и дневники русских или французских писательниц, то увидите огромную разницу в чувствах, в правдивости написанного. Кроме чувств, есть еще и правда.

— У каких авторов, в каких книгах вы встретили правду?

— Много было книг, на которых я учился. Когда я прочел Библию, она произвела на меня глубокое впечатление, поскольку это очень хорошая, исключительная литература. Когда я читал Хемингуэя, я открыл для себя новый мир. Чтение Пушкина в школе было другим, ужасным. Открыл я его дома — с отцом. Когда вы изучаете в своих школах произведения Сервантеса, Борхеса или Гарсия Маркеса, с вами, наверное, происходит то же самое. Одно дело — учить в школе, а другое — читать.

— Что касается Вашей работы, Вы всегда писали шпионские романы или пробовали себя и в других жанрах?

— На Западе, чтобы продать книгу, у нее должна быть привлекательная обложка, и поэтому западные издатели, чтобы продать мои книги, написали на них «советский Джеймс Бонд». Однако я охарактеризовал бы свои книги как политические романы, в основу которых легли встречи с разными историческими персонажами. К примеру, когда я писал свою книгу «Семнадцать мгновений весны», я брал интервью у министра иностранных дел Гитлера, у Молотова, у маршала Жукова.

— Вы можете рассказать нам, как Вам удалось встретиться с некоторыми политическими персонажами?

— Одним из людей, у которого я брал интервью, был генерал СС Карл Вольф, начальник личного штаба Гитлера, с которым я познакомился в Западной Германии. Я нашел его номер в телефонном справочнике, позвонил, представился, и он мне ответил: «Вы должны заплатить за встречу, поскольку у меня очень маленькая пенсия». Я ответил: «Здесь, в Западной Германии, у меня нет больших денег, но есть водка и икра». Он спросил: «А сколько у Вас икры?», и мы договорились.

Встреча была назначена на полвторого дня в небольшом

итальянском кафе, куда я принес свой запас водки и икры. Уточню, что у этого человека была своя ставка в Италии в конце Второй мировой войны, откуда и его связи с итальянской мафией.

Когда я пришел, меня встретили два человека в хорошо выглаженных белых рубашках — без сомнения, мафия — и сказали: «Генерал ждет Вас». Подойдя, я увидел высокого и сильного старика. Я достал свой диктофон и спросил, могу ли записывать. Он потребовал сначала товар. Я поставил ему на стол водку и икру, и мы приступили к беседе.

— Каков был результат?

— В течение часа он лгал и, будучи человеком малообразованным и невоспитанным, считал, что то, что знает он, никто больше знать не может. Но ложь всегда подтверждает правду.

— Помимо обмана, было ли что-нибудь еще, что Вам не понравилось в этом человеке?

— Во время нашего разговора он сказал: «Я еду в Швейцарию — хочу покататься на лыжах». Я подумал тогда: «Ты, фашистский кретин, умеешь кататься на горных лыжах, а я нет?!» И с тех пор стал учиться кататься на горных лыжах.

— Но Вы получали от нацистов письма с угрозами.

— Да, и до сих пор получаю. Но пока я жив, я не думаю об этом.

— Сейчас в Аргентине Вы предполагаете описать жизнь Эйхмана?

— Не только его, но и Скорцени, который жил здесь и был владельцем очень крупного предприятия. У меня на руках есть документы, которые я получил в Перу в 1973 г. от одного очень интересного человека, который во время Второй мировой войны был помощником генерала Паттона. Сейчас я занимаюсь исследованием этого вопроса.

— Каковы Ваши увлечения, помимо написания книг?

— Люблю женщин, охочусь и пью водку с друзьями.

— Какие у Вас отношения с женщинами?

— Мои самые близкие друзья — две мои дочери, и я считаю женщин совершенно особенными существами. Мужчина, которому повезло быть любимым женщиной, — самый счастливый на Земле. В моем случае, а это литературная деятельность, женщинам места не остается. Но когда знаешь, что, несмотря на расстояние в тысячи километров, есть женщина, которая тебя любит, пишется лучше.

— Какова их роль в Вашей жизни?

— Человек, который пишет, рисует или сочиняет музыку, всегда немного сумасброден. И женщина должна соответственно с

ним обращаться, одновременно являясь для него дочерью, матерью и сестрой. Как никто проблему женщин понял Феллини в своем фильме «8 с половиной». Он снял Клаудиу Кардинале именно так — как сон, мечту.

— Какое качество Вы выше всего цените в женщинах?

— Их беззащитность.

— А в самом себе?

— В себе я не ценю ничего. Человек, который начинает ценить что-то внутри себя, как личность уже не существует.

* * *

1985 год
«Слава Севастополя»
Александр Круглов

«И ВЕЧНЫЙ БОЙ...»

в гостях у писателя Юлиана Семенова

На шарообразном матово-белом плафоне над крыльцом дома черной тушью по-немецки и по-русски написано: «Макс Штирлиц». По возрасту да и волею судьбы, что в романе «Приказано выжить» оставила Штирлица изрешеченным автоматными пулями, но живым, бесстрашный советский разведчик мог бы вполне, так сказать, пребывать в этом доме на заслуженном отдыхе.

А покуда с нынешней ранней весны большую часть календарного года живет и трудится здесь тот, кто его, Штирлица, породил, кто бросил его в самое вражье логово и с тех пор продолжает бросать во все новые и новые схватки с заклятым и жестоким врагом. Здесь творит Юлиан Семенович Семенов. Неуемно и плодотворно творит. И так же, по-моему, неугомонно и полно живет: с наезжающими вдруг отовсюду друзьями, которых не счесть, с собратьями по перу, со своей семьей.

Так случилось, что я не прибыл точно к часу, обговоренному по телефону. И Юлиан Семенович в шортах, босиком отмеривал уже свои каждодневные шесть километров по заброшенной южнобережной дороге.

С пробежки — сразу за завтрак. Он продуман и строг. Изготовлен и подан старшей дочерью Юлиана Семеновича художницей Дуней.

— Милости просим со мной.

За столом вроде бы вольный, незначащий разговор. Но реплики, взгляды и жесты хозяина дома, молчание, внезапные взрывы воспоминаний, шутки, вдруг короткое, емкое суждение о глобальном, волнующем всех и уже неизбежна и ваша реакция на это все…

У Юлиана Семеновича способность охватывать человека всего целиком, хотя и прикрыта добродушной свободной приветливостью, особенно заострена. Природа природой, дар даром, но и годы работы ученым-востоковедом, спецкором столичных газет, на дипломатическом поприще (где и кем только он не работал!) — словом, бесчисленное множество встреч на всевозможных уровнях, на всех широтах и долготах земли изощрили его проницательный ум. Отсюда и способность писателя так полно и точно влезать в шкуры и души тех — и своих, и врагов, — кого заставляет он действовать, думать, страдать на страницах своих многочисленных книг.

Создатель Штирлица поднимается из-за стола. Нет, нет, пожалуйста, вы можете и дальше трапезничать, хотите — смотрите видеофильм или читайте, усевшись где-нибудь рядышком. А он… Слышите, девять уже бьет. Все, время работать.

Раскланяться вежливо и окончательно, никого к себе не впускать, отгородиться от всех — проще простого. Отрубил — и конец: не мешает никто! Но и трудней. Да потому трудней, что это бы значило себя, и по природе, и по привычке общительного, восприимчивого и отзывчивого, пересиливать, ломать что-то в себе, изменять. И себя, и других обеднять! Не проще и не мудрее ли весь этот рвущийся в дом, в тебя самого, поминутно чем только можно досаждающий, но и кровный, необходимый окружающий мир слить воедино с работой, с собой? Не изгонять полностью, напрочь — нет, не изгонять! — а разумно, не прекращая работы, не упуская контроля над ней, над собой, все как-то принять.

И за стеной рядом чаевничают, смеются, телевизор звучит во всю мощь. Во дворе, под окном, атакуя кота, заливается молодая овчарка, строчит себе что-то в блокнотик под тентом, прорвавшийся во двор репортер местной газеты. И тут же, несмотря ни на что, внутри всего этого, никем не обузданного натиска жизни и, похоже, не вопреки ей, а, скорее, напротив — благодаря, сыплет автоматными очередями из открытого настежь окна, рождая новый роман, пишущая машинка Юлиана Семенова.

Ручек, перьев при его оперативно-гигантской работе Юлиан Семенов не признает. И «негров», как о том ходят легенды, даже из домочадцев своих, нет у него — со всем управляется сам.

«Версия», «Приказано выжить», «Пресс-центр», другие книги, почти завершенное исследование об О. Генри, статьи, сценарии, работа над первым собранием своих сочинений… И все это — только за начало 80-х годов!

Рабочий день Юлиана Семенова расписан точно и строго. Но и в работе, и в жизни случаются частые отступления от им же самим установленного твердого режима, по всякому поводу, из-за разных, большей частью не близких, своих (они-то умеют беречь его время), а чужих, посторонних людей — их просьб, забот и тревог. А нежность его к родным и друзьям? А неугомонный общительный нрав, неутомимая любознательность?

А сколько мне, охотнику, рассказали о Юлиане Семенове огромная, с клыками секачиная морда и шкура медведя на полу у камина, что он сам добыл, своим ружьем и ножом; утки, убитые им на Сивашских болотах и приготовленные и поданные нам к столу; быстрая, по-русски — какой русский не любит быстрой езды! — пусть не совсем как у Гоголя, не на тройке, а на «вольво», не с вожжами, а с «баранкой» в руках, езда по опасным горным крымским дорогам; его исполненные, наверное, не только спортивного азарта, но и какого-то самозабвенного упоения, риска заплывы в открытом море, когда ему удается вырваться в прибрежные камни Фороса! А все то, наконец, неизбывное, вечное — стремление к миру, к счастью, боевитое неприятие зла, о чем искренне, страстно, всей своей увлеченной душой во всех своих книгах он не говорит даже, а взывает ко всем, вопиет!

Все грани, все силы своих недюжинных плоти, души и ума он сумел собрать в единый точно нацеленный и вдохновенно разящий кулак, в упорное и преданное служение литературе, той литературе, какая в наши суровые, драматичные дни крайне необходима людям, народам не только как воздух, хлеб и вода, а еще и как прозрение, как оружие.

Реакция, махровая, оголтелая реакция и фашизм — самое страшное зло всегда и везде, во всех своих проявлениях. И нет нынче задачи важней, чем вскрывать их тайные замыслы и методы растления и отдельных душ, и народного духа в целом, противостоять этим гибельным силам, в том числе и пером. И писатель Юлиан Семенов препарирует это зло, выступая нередко как ученый, исследователь, историк, психолог, криминалист. Сами названия иных книг — «Альтернатива», «Противостояние», «Горение», «Версия» и другие — о том говорят. И торопится, торопится он: многое, очень важное, возможно, решающее надо сказать.

— Мне, конечно, хотелось бы, — признается со вздохом Юлиан Семенович, — ох, как хотелось бы довести все свои книги

до совершенства! Возможно, в этом смысле что-то в дальнейшем изменится. А пока я только мечтаю как о высшем писательском счастье, когда смогу не торопясь, кропотливо, до предела самотребовательно и самокритично живописать.

Как писатель, зажав себя порою в кулак, неудержимо рвется он вперед, как гражданин, как чуткий встревоженный сын своей планеты и века.

* * *

24 марта 1986 года
«Труд»
М. Степанова

ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ СОБЕСЕДНИКОМ

…Бонн, три часа утра. Легкая машина недорогой марки осторожно катит по улицам спящего города и вскоре выбирается на загородное шоссе. Тут водитель словно забывает об осторожности, автомобиль прибавляет скорость, немедленно раздается вой полицейских сирен, три длинноносые машины с маячками зажимают маленький автомобиль, вынуждают остановиться, водителя заставляют выйти на дорогу и грубо обыскивают.

— Тонко было сделано, — рассказывает мне Юлиан Семенович. — Когда ездишь в одной и той же машине — а у меня такая большая машина была, в которую в случае чего можно и картины, например, погрузить… — к ней привыкнешь, руки и ноги работают автоматически, в заданном, так сказать, режиме, об этом не думаешь. Теперь представьте себе следующую цепочку событий. Перед самым аукционом тебе устраивают автомобильную аварию. Повреждения самые небольшие — слегка помят багажник, разбиты фонари. Но ездить на такой машине нельзя, надо сдавать в ремонт. По условиям страховки на время ремонта мне полагается машина поменьше, полегче. Вот я в эту легкую машину-то сел, на педаль нажимаю так же, а несется автомобиль быстрее — чуть-чуть быстрее. Всего лишь на несколько километров в час. А в итоге меня лишают водительских прав. На ближайший аукцион я не попадаю. И вообще — теряю мобильность, возможность в течение очень короткого времени оказаться в любой точке Европы, где проходят важные аукционы…

Однако кому мог стать поперек горла человек, не занимающийся никакой недозволенной деятельностью? И при чем здесь «Сотби» — крупнейший организатор аукционов, на которых продаются скульптуры, древние ковры, картины, гобелены, старинное оружие?…

Есть за рубежом такая общественная организация — «Комитет за честное отношение к русскому искусству, которое

оказалось на Западе». В руководство комитета входят известные зарубежные деятели культуры — такие, например, как Джеймс Олдридж, Жорж Сименон…

Юлиан Семенов — один из самых активных его членов и руководителей.

— Я начал мотаться по странам Запада, — продолжает он. — То в Голландию, где Ментена судили, убийцу наших людей, который эшелонами вывозил картины из Советского Союза. То в Швейцарию, где неизвестные замучили вдову художника Василия Кандинского. Затем в Австрию, Испанию, Англию… И вот когда на Родину стали возвращаться то картина Коровина, то рисунок Репина, то книга, напечатанная самим Иваном Федоровым, то первое издание (подписное) Александра Сергеевича Пушкина, я ощутил активное противодействие. Причина тут одна. Я не хочу ничего упрощать, но купить произведение искусства на Западе означает прежде всего выгодно поместить капитал. Памятники культуры, достояние всего человечества постепенно оседают в частных коллекциях.

— Но как Вы можете помешать этому — хотя бы в отношении русских картин, книг, похищенных нацистами?

— Культурные ценности из нашей страны вывозились так называемым «штабом Розенберга». Самое ценное шло в личный музей фюрера в Линце. Из того, что оставалось, Геринг отбирал себе коллекцию. Если на картине, выставленной для продажи, я увижу номер штаба Розенберга, я заявлю, что продается украденная вещь. За владельцем потянутся нити к бывшим нацистам. Раскрутив клубок, можно будет доказать, что картина была похищена в нашей стране, и добиться ее возврата.

— Значит, Вы, автор политических детективов, ведете жизнь… детектива?

— А как иначе можно писать детективы? Да еще политические? У читателя неизбежно возникает вопрос о компетентности автора. Я не поклонник Агаты Кристи, не поклонник этакой геометрии ее детектива. И писать про шпиона, который обманывает, а потом его ловят, мне неинтересно. В таком детективе «нет автора», нет человеческой и гражданской позиции. А когда я рассказываю о своих поисках Янтарной комнаты в книге «Лицом к лицу» (на телевидении у Юрия Сенкевича готова передача об этих поисках), то это, с одной стороны, политический детектив, с другой — памфлет, с третьей — записки путешественника…

— Скоро выходит Ваш пятитомник. Неужели все, что Вы пишете, основано на личном опыте? К примеру, «ТАСС уполномочен заявить…»

— Я, конечно, не работал в КГБ. Грузчиком, например, был, стажером МУРа был, а чекистом не приходилось. Но, между прочим, «ТАСС…» начался с одного моего чисто журналистского материала «Кому на пользу?» Об американском шпионе, агенте ЦРУ, арестованном в Москве. И о том, что ЦРУ использовало в нашей стране яды. В роман этот случай вошел эпизодом. Но факт, сами понимаете, беспрецедентный. За этим конкретным фактом, за документами я увидел возможность создания нового мира. Ведь рождение книги — рождение нового мира. Я, кстати, люблю документы, часто использую, но и побаиваюсь их. Когда неукоснительно следуешь документу, перестаешь быть хозяином материала. А надо рождать мир.

— То есть делать обычную писательскую работу — придумывать…

— Одной выдумкой никого не увлечешь. Сейчас не то время. Инженер Зотов, Пол Дик — их, естественно, не было в той истории, о которой рассказал материал «Кому на пользу?». Этих людей я должен был придумать, но придумать с достоверностью натурного портрета. Для этого надо проинформировать читателя о них — точно и глубоко. А чтобы самому иметь такую информацию, необходимо ездить по миру. Выискивать следы картин, украденных у нас во время войны. Добиваться разрешения вывезти их на Родину. То есть нарабатывать личный опыт такого рода деятельности. Кстати говоря, совсем недавно удалось напасть на след одной коллекции русской живописи — совершенно уникальной. Где находится коллекция — пока секрет. Мы, естественно, делаем все, чтобы добром и миром, по тамошнему, разумеется, закону, вернуть в нашу страну эту коллекцию, где есть Сверчков, Куинджи, Шишкин, Левитан, Малявин, Айвазовский… Если об этом потом написать, получится политический детектив…

— Читатели ждут продолжение рассказа о полковнике Исаеве. Будет ли оно?

— В романе «Экспансия». У меня очень много материалов по ОСС — Отделу стратегических служб США, который был создан Рузвельтом для борьбы с гитлеризмом. Иногда мне приходится слышать: сначала был ОСС, потом ЦРУ. Так вот это ошибка: ЦРУ стало качественно новой организацией. То, что было при Рузвельте и после него, отличается принципиально. Когда пришел Трумэн, а с ним открытая антисоветчина, слепота, низкий уровень интеллекта, ОСС просто разогнали. Был невероятно интересный заговор братьев Даллесов против «дикого Билла», генерала Донована, директора ОСС…

— А что будет делать во всем этом полковник Исаев?

— Деятельность «полковника Исаева» как разведчика прекратилась девятого мая сорок пятого года… Его одиссея послевоенных лет — это путь на Родину… Он окажется в Испании и в Латинской Америке. Зачем?.. В сорок пятом — сорок шестом годах в Аргентине пытались создать атомную бомбу. «Атомную бомбу Перрона». Материал об этом мне помогли собрать местные ученые и журналисты. После войны в Аргентине было четыреста пятьдесят тысяч немцев из рейха. Восемьдесят пять тысяч — члены НСДАП. Там был Скорцени, там были, я считаю, Борман, Мюллер. Представляете себе, что бы произошло, окажись разработки успешными? Ведь Аргентина входит в десятку крупнейших стран мира. Атомная бомба на юге Латинской Америки!.. Но сюжет рассказывать не буду, а то неинтересно будет самому писать.

* * *

23 апреля 1987 года
«За автомобильно-дорожные кадры»

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

«В чем смысл жизни?» — пришла на сцену актового зала МАДИ записка. В зале засмеялись.

— Вы думаете, я знаю? — усмехнулся писатель Юлиан Семенов…

— Если честно, то у меня трясутся поджилки, — сказала я инженеру Саше Неретину, вместе с которым мы стояли у дверей в прихожей квартиры писателя.

— Раздевайтесь, проходите, — уже повторно пригласил нас человек, открывший дверь.

Мы перестали уважительно жаться к дверям, хотя чувство соприкосновения с другим миром и какого-то тайного благоговения перед обиталищем писателя, книги которого и фильмы знали с детства, нас не покидало. И тут он вышел — Юлиан Семенов, — хромающий и подкашливающий, в свитере и джинсах.

— Здравствуйте, — сказал он, протягивая теплую крепкую руку, которую мы по очереди осторожно пожали.

— Вы извините, ребята, я сегодня совсем больной. Сейчас я буду готов, проходите. В кожанке-то у вас можно появиться?

— Конечно, — сказали мы и прошли в комнату. Стены были увешаны картинами.

— Это дочь писателя, Даша, художница, — пояснил встретивший нас бородатый человек.

Даша вошла — приветливая, доброглазая — поздоровалась, как отец, за руку, и мы почувствовали себя совсем легко и спокойно…

— Буду читать вам Ленина, — сказал писатель в машине, — не то чтобы упрямо, а тоном, отметающим возможные вопросы. Впрочем, вопросов и не было.

С этого и начался разговор в зале.

Информация к размышлению: Юлиан Семенович Семенов.

Он родился в 1931 году и видел войну. Он убегал на фронт; вместе с отцом, полковником Красной армии, вошел в поверженный и освобожденный Берлин. Работал стажером-оперуполномоченным в МУРе. После окончания Института востоковедения в качестве журналиста побывал на стройках Сибири, у таежных геологов и дальневосточных рыбаков, на Северном полюсе. Специальным корреспондентом «Правды», «Литературной газеты» и «Огонька» он едет к партизанам Лаоса и в сражающийся Вьетнам, в Чили накануне переворота, франкистскую Испанию и освобожденную от режима Салазара Португалию. Антифашистская, антивоенная направленность становится главенствующей в его книгах. Он встречается с «бывшими»: Карлом Вольфом, Отто Скорцени, Альбертом Шпеером, разыскивает нацистских преступников Рауфа Вальтера и Федерико Швендта, — в поисках украденных гитлеровцами из советских музеев произведений искусства вместе с ним участвуют Эдуард фон Фальц-Фейн и Георг Штайн, ему помогают Жорж Сименон и Джеймс Олдридж, перуанский антифашист Сезар Угарте и ученый из ГДР Пауль Колер.

В последние годы «Правда», «Неделя», «Огонек» и «Собеседник» печатают его репортажи из борющегося Афганистана и Никарагуа.

Политическая информация неотъемлема от его романов, становящихся в силу этого учебниками истории, учебниками антифашизма и мужества.

«…Такова уж природа профессии, — пишет Юлиан Семенов в романе «Пресс-центр», — видимо, человек делается ее подданным, особенно если эта профессия стала счастьем, трагедией, судьбой».

МАДИ, актовый зал. 3 апреля 1987 года.

Первая записка была неприязненной: «Ваши произведения не вызывают глубоких, добрых мыслей, ничему не учат, не воспитывают молодежь».

Зал возмущенно зашумел.

— Отчего же, пусть у нас будет демократия… Только вот автор, к сожалению, не подписался.

Молодая женщина встала, громко подтвердила свое мнение. Студенты продолжали недовольно гудеть.

— Дайте же человеку высказаться, — сказал Семенов и вдруг предложил: — Ну хорошо, давайте проголосуем. Кто согласен с этим мнением, поднимите, пожалуйста, руки.

Зал затих.

— Ну а кто считает, что я все-таки что-то делаю?

Сотни рук поднялись высоко вверх.

— Спасибо. Вот на вас я и ориентируюсь.

— Мы грешим в своем изучении ленинского наследства, попросту скользим мимо некоторых вещей. И это особенно плохо сейчас, когда страна встала на путь новой экономической политики. Не надо бояться термина «НЭП», это ленинский термин. Еще тогда, в двадцать первом — двадцать втором годах, Ленин, как никто, чувствовал окостенение аппарата, бюрократию… От вас, студенчества, зависит очень многое. Вам предстоят огромные задачи, и вы должны быть подкованы. Я вспоминаю прекрасные слова Хрущева: «Вперед, к коммунизму — это значит назад, к Ленину».

Вопрос: «Ваше отношение к личности Сталина?»

— Оно очень сложное. Мы никогда не сможем простить тридцать седьмого года… Но нельзя быть Иванами, не помнящими родства, и забывать о сорок первом — сорок пятом. В атаки-то шли с его именем.

Вопрос: «Существуют ли для вас идеалы в литературе?»

— Мои идеалы — Библия, Ленин, Пушкин, Хемингуэй, Омар Кабесас. У нас переведена повесть последнего «Команданте». Чем дальше, тем больше я растворяюсь в Горьком…

Вопрос: «Кто вам нравится из современных писателей?»

— Я дружу со многими поэтами. Люблю Межелайтиса, Сулейменова, Беллу Ахмадулину, Андрея Вознесенского, Виталия Коротича, Драча, несмотря ни на что — Евтушенко. У нас очень хорошая поэзия. Что же касается писателей… Горький принял в СП 333 члена. А сейчас у нас 11 тысяч. Ни одна цивилизация не могла похвастаться таким количеством писателей. Это несерьезно, по-моему…

Я очень люблю Бориса Васильева, Константина Симонова. С

точки зрения литературы у нас много шлака, но есть хорошая литература, которой можно гордиться.

…Друг и литературный секретарь Юлиана Семеновича, журналист Андрей Александрович Черкизов помогал разбирать записки. Одну из них Семенов читал, хмурясь, потом сердито и жестко спародировал вслух: «Вы не ответили на вопрос о Сталине. Это нечестно и не является позицией писателя и гражданина. Расстрелять».

В зале раздался смех. Зал был добро настроен сегодня, он задавал вопросы, полные интереса, ведь многие из молодых на книгах Юлиана Семенова учились чувству патриотизма. Здесь было мало недоверчивых и очень мало неверящих. Но все же они были.

— Позвольте мне думать, как я думаю, и говорить так, как я думаю! Вся моя семья прошла через тридцать седьмой год. Но я был в ликующем Берлине сорок пятого, и ликование это связывалось с именем Сталина… Мы, к сожалению, разучились задавать вопросы с частицей «ли»: «Не считаете ли вы что…?» А это неуважение к собеседнику…

Вопрос: «Есть ли конкретная цель, к которой вы стремитесь? В чем она?»

Семенов помолчал несколько мгновений:

— Цель? Написать хорошую книгу. Какая же еще может быть цель?

* * *

Воскресенье, 13 сентября 1987 г.
«The Observer

«ШКОЛА ЛИТЕРАТУРЫ КГБ»

Майкл Дейви

Визит в Великобританию русского автора триллеров Юлиана Семенова имел свои странные и даже сюрреалистичные моменты, какие часто бывают в столкновениях между Западом и Востоком.

Г-н Семенов, находившийся в Лондоне с целью рекламы своей книги «ТАСС уполномочен заявить…», дебютировал в Каледониан Клаб.

Над винтовой лестницей этого роскошного клуба

возвышается, должно быть, самая большая когда-либо набитая голова оленя — самца с самыми длинными рогами. Пресс-конференция проводилась под взглядами еще более мертвых самцов. Семенов противостоял лакеям капиталистических средств массовой информации, стоя под скрещенными старинными палашами между молодым бородатым переводчиком и своим новым британским издателем Джоном Калдером. Ковер был из зеленой шотландки.

Семенова представляют, как ответ России Джону ле Карре и Фредерику Форсайту. Те, кто на прошлой неделе слышал, как он отвечал на пустячные вопросы в программе «Сегодня» на BBC, или видел его в утреннем ТВ-шоу, где он мудро давал ответы, не дожидаясь вопросов, могут удивляться, как он оказался в Великобритании, бодро рассуждая на все темы — иногда понятно, а иногда и нет — и гордясь своей дружбой с недавно умершим Андроповым, руководителем КГБ, и с Горбачевым.

Связано ли это с новой открытостью, или гласностью?

Возможно, но все это произошло случайно. Г-н Калдер, шотландец, что объясняет название клуба, со своим малочисленным штатом десятилетиями занимался героическим, но безнадежным делом — попыткой вызвать интерес британцев к иностранными писателям. Его самый преданный автор и друг — Сэмюэл Беккет.

Во время своего пребывания в Будапеште он впервые услышал о Семенове. Британское незнание русских писателей не могло быть проиллюстрировано лучше.

Семенову 55, он написал 35 романов, его книги лучше других продаются в России, телесериал по его книге «ТАСС…» опустошает улицы городов, где его показывают.

Но это было новое имя даже для г-на Калдера. Это было также и новой проблемой для Калдера. В Великобритании издаются многие русские писатели-диссиденты, но очень редко недиссидент может издать здесь свою книгу. Много было волокиты прежде, чем Колдер смог за 500 фунтов купить права через ВААП, организацию авторских прав России.

Он издал 10 000 экземпляров, что очень много: 3000 для Великобритании и 7000 для США, где он имеет еще одну небольшую компанию. Книга была издана в понедельник. К вечеру вторника она была распродана.

Хэтчардс, фешенебельный книжный магазин на Пиккадилли, установил витрину, купил 75 экземпляров и за 24 часа продал 60 из них благодаря замечательной суперобложке.

Обычно Колдер продает от 600 до 800 экземпляров иностранных романов. У него не было такого мгновенного успеха

со времени издания «Тропика Рака» в 1963 г.

Выбор времени оказался отличным, учитывая гласность. Другая причина успеха книги — это, несомненно, характер писателя, настоящего актера, которому, по всему видно, нравится активная реклама западных капиталистических средств массовой информации.

У него бочкообразная грудная клетка, он много говорит, в левой руке — сигарета, а на правой — два перстня, один из которых, большой, как он мне сказал, он сам себе подарил на пятидесятилетие. С собой он привез в качестве рекламной литературы ксерокопию рукописной книги с посвящением, гласящим: «Юлику Семенову с пожеланиями удачи от его друга Эрнеста Хемингуэя».

Как и многие писатели, Семенов становится особенно оживленным, когда речь заходит о деньгах.

Работы русских писателей защищены авторским правом на короткое время. Семенов хочет, чтобы этот период был продлен до 50 лет, как здесь. Но это его не единственное недовольство. «Когда меня издают за рубежом — это грабеж. Я должен платить 95 % налога Союзу писателей. Они просто воры! Мы все сейчас обсуждаем, как улучшить участь писателей».

С политической точки зрения, труднее всего понять отношения Семенова с Андроповым и Горбачевым.

Он рассказал на пресс-конференции и новостям 4-го канала ТВ, как он писал детектив при содействии «эквивалента вашего Скотленд-Ярда» и как затем его пригласил Андропов, в то время руководитель КГБ, чтобы сделать то же для КГБ.

Очевидно, Андропов дал ему идею для написания романа «ТАСС…», в котором КГБ благородно защищает маленькое африканское государство от ЦРУ, нацистских наемников, Пентагона и международного бизнеса.

Во время обеда в клубе он рассказал, как он посещал Андропова в его кабинете, особенно по субботам пополудни. Он был очень открытым человеком, — сказал Семенов, — с ним можно было говорить на любую тему.

* * *

Воскресенье, 20 сентября 1987 г.
«THE TORONTO STAR»

«КАК СОВЕТСКИЙ АВТОР КНИГ О РАЗВЕДЧИКАХ ПОЛУЧАЛ ИНФОРМАЦИЮ»

Юлиану Семенову, писателю-мультимиллионеру[127] в Советском Союзе, позволено свободно путешествовать на Западе; сюда он приезжал с целью раскрутки своего последнего сенсационного романа о разведчиках, «ТАСС уполномочен заявить».

Когда самый влиятельный человек в Советском Союзе встретился с самым богатым, разговор вышел, прямо скажем, необычный.

«Почему Вы никогда не основываете свои книги на фактах?», — спросил Юрий Андропов писателя Юлиана Семенова.

Затем последовал еще более поразительный вопрос: «Мы только что закончили дело по разоблачению шпиона ЦРУ в Москве. Вы не хотели бы ознакомиться с материалами?»

Семенов осмотрел большую комнату, которую Андропов, тогда член правящего в СССР политбюро, называл кабинетом, обратив внимание на портреты Ленина и Феликса Дзержинского, основателя сегодняшнего КГБ.

«Вообще-то да», — ответил Семенов, — намеренно отводя взгляд от документа со штампом «Государственная тайна».

«Но я не хочу видеть документы, которые дадут мне доступ к каким-либо тайнам. Я хочу по-прежнему иметь возможность путешествовать за границу».

Рассказывая об этом сегодня, он добавляет: «Я также хотел по-прежнему иметь возможность выпивать (не беспокоясь о том, что может развязаться язык), потому что выпить я люблю».

Это послужило началом необычному ряду событий, благодаря которым Семенов стал первым советским автором шпионских романов, книги которого издаются на Западе.

Он связался с двумя генералами КГБ, работавшими над этим делом. За время многих встреч в барах и ресторанах ему показывали фотографии основных героев настоящего детектива из реальной жизни. Ему рассказали, как испанка по имени Пилар заманила в ловушку советского чиновника в Боливии, как этот чиновник вернулся в Москву, был выслежен женщиной из посольства США и как их поймали за передачей информации на мосту. Люди из КГБ называли ему время, даты, давали копии перехваченных каблограмм ЦРУ. Они сообщали ему, что основные участники событий ели, пили, курили, даже водили его по местам действия.

«ТАСС…» моментально стал бестселлером на трех основных западных рынках: Великобритания, Соединенные Штаты и Канада.

Первый тираж был распродан за несколько дней, и сейчас идет речь о повторном тираже в 50 000 экземпляров в мягком переплете в одной только Канаде.

Семенов, невысокого роста, с проседью, улыбчивый, поклонник виски, на прошлой неделе нанес однодневный рекламный визит в Торонто, беспрерывно куря «Мальборо» (сейчас их производят и в Советском Союзе) и дразня тележурналистов, рассказывал им, что он генерал КГБ, «и здесь, в Канаде, у меня чрезвычайно мощная агентура».

«Я закончил книгу в пятницу и отправил экземпляр Андропову, с запиской о том, что собираюсь навестить друга в крымском поселке. В этом поселке было всего 16 телефонов, и у моего друга был номер 16.

В понедельник (накануне мы выпили) все утро звенел телефон. Отвечая на звонки, мы слышали на другом конце странный звук и вешали трубку».

Звонил, конечно, Юрий Андропов. Книга ему понравилась.

Михаил Горбачев, нынешний лидер Советского Союза, тоже любит его книги, которые за все время разошлись общим тиражом в 30 миллионов экземпляров. Любит их и жена Горбачева Раиса, входящая вместе с Семеновым в советский Фонд культуры СССР, состоящий из 80 членов.

(На слухи, что Раиса время от времени общается с ним по телефону, писатель отвечает «без комментариев», поскольку «это может вызвать ревность».)

С переполненной пепельницы тонкими кольцами поднимается дым, в то время как он рассказывает о своем статусе уникального свободного агента, имеющего возможность путешествовать по миру.

Он недавно был в Великобритании, где давал по 10 интервью в день в течение трех дней. Он рекламировал свою книгу в Соединенных Штатах, где не возражал против агрессии корреспондентов, но возмущался по поводу их незнания современных проблем.

Встреча с Рейганом

Он побывал в Западной Германии, Испании, Швейцарии (где Горбачев познакомил его с президентом Рональдом Рейганом во время Женевской конференции), Никарагуа.

Именно в Никарагуа он познакомился с молодым командиром сандинистов, которого он называет своим «приемным сыном».

По его словам, «приемный сын» написал несколько книг, за которые получил миллион долларов США, — и отдал всю сумму,

за исключением 10 000 долларов, в пользу Сандинистского движения. 10 000 он оставил «на сигареты, за которые нам надо платить твердую валюту».

В Советском Союзе у Семенова пятикомнатная квартира и студия в Москве, а также дача в Крыму с видом на море и горы.

«Если пахать как лошадь с шести часов утра до двух ночи, в моей стране можно добиться высокого уровня жизни», — говорит он.

Он построил дом для одной из своих дочерей, у него две машины — «Лада» и фургон «Вольво». На мизинце — кольцо с крупным бриллиантом — подарок, сделанный самому себе шесть лет назад к 50-летию.

Он может позволить себе все самое лучшее. У него даже есть счет в твердой валюте, заработанной за рубежом, хотя он и жалуется на 98-процентный налог, который ему придется заплатить на доход, полученный за издание последней книги на Западе.

Но на одежду он деньги не тратит. «Мне нравится чувствовать себя свободным», — говорит писатель, стряхивая пепел со своей плотной фланелевой рубашки и никарагуанских джинсов защитного цвета.

Семенов признает, что испытывает трудности со сбором материала для своих книг в Советском Союзе. Однажды он искал информацию об одном человеке, документальные следы существования которого были уничтожены в процессе сталинской чистки, но смог найти лишь написанные этим человеком заметки о лошадях в архивах одного полка Советской армии.

Писатель признает, что в Советском Союзе существуют ограничения; например, он говорил Андропову, что людям нужно разрешить владеть своими собственными кафе и такси.

«Я писал, что у людей должна быть своя собственная земля. Наша трагедия в том, что существуют бюрократы, которые только и делают, что сидят в своих креслах. — Затем, пожав плечами, он добавляет: — Очень сложно изучать демократию».

На вопрос, знакомо ли ему имя Игоря Гузенко, Семенов кивает головой. «Перебежчик», — говорит он. Откуда он знает? «Я слышал о нем по „Голосу Америки“».

Гузенко был шифровальщиком в советском посольстве в Оттаве и бежал в 1945 г.

Филби недоступен

Писателю определенно знакомо имя Кима Филби, профессионального шпиона, возглавлявшего британскую разведывательную службу М-16 и десятилетиями передававшего

секретную информацию в СССР.

«Я несколько раз пытался встретиться с ним, — говорит он. — В первый раз мне сказали, что его нет в городе. Потом — что он занят на встрече с советским журналистом, который пишет о нем книгу. Я не могу просить еще раз».

Читает ли он западных детективов, пишущих о шпионаже? «Разумеется». Его любимый писатель — Грэм Грин. «День шакала» Фредерика Форсайта показался ему «великолепным» (писатель добавил, что знает о «Досье „Одесса“» — другой книге Форсайта — больше, чем сам автор). Он также является поклонником Джона Ле Карре.

Продаются ли в Советском Союзе все эти книги? «Нет. У нас было бы очень трудно опубликовать „Шпиона, вернувшегося с холода“, потому что Восточная Германия — наш союзник».

Но любимейший его писатель — Эрнест Хемингуэй.

Семенов отправил Хемингуэю одну из своих ранних книг, а Хемингуэй прислал в благодарность свою, с автографом.

Теперь для Семенова это самая дорогая вещь.

* * *

1984 год
«ТРУД»
С. Абрамов

В свое время Роман Кармен писал: «Юлиан Семенов, высаживавшийся на изломанный лед Северного полюса, прошедший пылающие джунгли героического Вьетнама, сражавшийся бок о бок вместе с партизанами Лаоса, передававший мастерские репортажи из Чили и Сингапура, Лос-Анджелеса и Токио, из Перу и с Кюрасао, из Франции и с Борнео, знавший затаенные улицы ночного Мадрида, когда он шел по следам бывших гитлеровцев, спасавшихся от справедливого возмездия, живет по-настоящему идейной жизнью… Именно поэтому его герой Максим Максимович Исаев-Штирлиц стал любимым героем молодежи — писатель отдает герою частицу своего «я», и чем больше он отдает себя своему герою, тем ярче, жизненнее и объемнее он становится».

Редакция получает много писем, где задаются вопросы о судьбе Исаева-Штирлица. Выполняя пожелания читателей, публикуем беседу нашего корреспондента с Юлианом Семеновым.

— Юлиан Семенович, мы простились с Исаевым-

Штирлицем в Мадриде, вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Во всяком случае именно этим эпизодом заканчивается ваш роман «Приказано выжить». Будет ли что-нибудь еще написано о работе Максима Максимовича Исаева?

— Отвечу определенно: будет… Во время работы по выявлению и возвращению на Родину похищенных гитлеровцами культурных ценностей я постоянно консультируюсь с Жоржем Сименоном по этому вопросу. Как-то я спросил его, не было ли ему трудно прекратить работу над своим циклом романов о Мегрэ. Он ответил: «Сначала я не находил себе места, я сросся с ним, Мегрэ стал моим „вторым я“. Потребовались годы, прежде чем я вошел в свою новую работу, в написание дневников правды; внимательный исследователь сможет найти в них те эпизоды моей жизни, которые прямо-таки понуждали меня писать тот или иной роман о Мегрэ. Уверяю тебя, расставание со Штирлицем будет для тебя столь же трагичным». Боюсь, что Сименон прав.

— А коли так, то ваша недавняя поездка в страны Латинской Америки, видимо, тоже связана с продолжением работы над циклом романов о Штирлице?

— Увы, Гете был высоко прав, когда написал: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Мне бы очень хотелось написать через Штирлица то, что происходит ныне на границах героической Никарагуа, но ведь это невозможно, ибо я сам определил дату рождения моего героя — 1900 год, ровесник века. А писать надо, и я буду писать о заговоре ЦРУ против страны, отстаивающей одно лишь право — на независимость.

Я проехал — в марте этого года — на машине всю Никарагуа, от столицы до границы с Коста-Рикой.

В Сан-Хосе, столице Коста-Рики, мне довелось повстречаться с двумя парагвайцами; они, понятное дело, «коммерсанты», находятся в стране «по поводу бизнеса».

На самом же деле эти люди — военные инструкторы, наемники ЦРУ, и хотя родились они после войны в Аргентине, их родители занимали высшие должности в системе СС и СД, по тайным дорогам «Одессы» с ватиканскими паспортами ушли в Латинскую Америку.

Преемственность нацизма — вещь особая, не изученная еще. Фюрер «национал-социалистической рабочей партии» Гарри Лаук по паспорту является гражданином США, но его отец, крупный нацистский чиновник, скрылся в Нью-Йорке от справедливого возмездия; яблоко от яблони недалеко падает… Так что, видимо, сегодняшнюю ситуацию в Центральной Америке придется писать через другого героя, через журналиста и литератора Дмитрия

Степанова.

Вернувшись от партизан Лаоса, я с его «помощью», его глазами увидел то, что отлилось в повесть «Он убил меня под Луанг-Прабангом». После нескольких лет работы в Западной Европе я — через Степанова же — написал роман «Пресс-центр». Во время нынешней поездки в Латинскую Америку побывал в немецких колониях на границе с Парагваем. Там живут люди, убежавшие сюда в сорок пятом; немецкая речь здесь слышится чаще, чем испанская, живут закрыто, на каждого приезжего смотрят подозрительно… Прекрасно оборудованные аэродромы, самолеты, принадлежащие частным лицам, то и дело совершают полеты в Парагвай, где фашизм является государственной религией…

— Значит, можно считать, что сейчас Парагвай является главной опорной базой бывших гитлеровцев и их «последователей» неонацистов?

— Не только Парагвай. В Чили существует колония «Дигнидад», это на границе с Аргентиной: закрытая зона, вход по пропускам, нацистские приветствия.

В одной из стран Латинской Америки Павел Гордиенко, один из коллаборантов как Бандеры, так и Власова, создал после войны чисто фашистскую партию. Понятно, на кого опираются наемники ЦРУ, сбежавшие из Никарагуа…

Профашистская партия существовала и на Кубе в 30-х годах, называлась она «АБЦ», получала прямую поддержку из Берлина, от рейхсляйтера Боле, отвечавшего за все нацистские группы в мире…

А если это сопоставить с тем, что вся торговля немецкой литературой ныне в ряде стран Латинской Америки находится в руках фирмы «АБЦ», то здесь есть над чем подумать…

Во всяком случае в сороковых годах, когда США начали холодную войну, когда ЦРУ подобрало всех нацистских разведчиков, когда Рауф и Барбье вкупе со Скорцени сделались суперагентурой ЦРУ, когда Штирлиц, мой герой, был лишен связи с Родиной (с фалангистской Испанией Франко Советский Союз не считал возможным поддерживать дипломатические контакты, большинство стран Латинской Америки в ту пору — по наущению ЦРУ — спровоцировало разрыв отношений с нашей страной) ему было о чем подумать, да и видеть он мог больше других…

— А какова судьба Мюллера, шефа гестапо?

— На одном из маленьких западноберлинских кладбищ много лет назад стояла могилка группенфюрера; приносили цветочки. Однако когда прогрессивные западноберлинские журналисты настояли на вскрытии могилы Мюллера, погибшего,

по официальной версии, 1 мая 1945 года, то гроб оказался пустым.

Я как и многие западногерманские и американские журналисты, совершенно убежден в том, что Мюллер ушел. Косвенные свидетельства, собранные мной сейчас в Латинской Америке, свидетельствуют, что он появлялся там, в частности в Панаме (один из местных крупных политиков, связанный с ЦРУ, имел давние дружеские контакты с СС и СД); удобнее всего рекрутировать на службу ЦРУ такого человека, как Мюллер, было именно в Панаме, в находившейся под контролем США зоне Панамского канала; следы Мюллера мне удалось обнаружить в одном небольшом поселке на берегу Парамы — там он довольно часто гостил у врача — изувера Менгеле, лучшего друга диктатора Стресснера, «гуманиста, борца за гражданские права и демократию».

— Традиционный вопрос: над чем вы сейчас работаете?

— Заканчиваю роман «Экспансия». Работаю с режиссером С. Арановичем над многосерийным телефильмом «Противостояние» — это третья часть моего цикла, куда входят «Петровка, 38» и «Огарева, 6». На Киностудии им. Горького режиссером В. Фокиным закончены съемки десятисерийного фильма «ТАСС уполномочен заявить». Готовлю к публикации повести «Псевдоним» и «Версия-1».

Скажете: не слишком ли много сразу? Стремительный ритм жизни Родины предполагает и писательскую стремительность: работать надо без устали, каждый день, ибо пишем мы не для кого-нибудь, а для самого читающего в мире народа.

— И в заключение… Недавно вышла из печати ваша книга «Лицом к лицу» — о нелегкой, но благородной работе по возвращению на Родину культурных ценностей, вывезенных гитлеровцами, о работе, в которой участвуют многие друзья нашей страны. Будет ли она продолжаться?

— Конечно, будет! И продолжается! Совсем недавно я вернулся из Лондона, где встречался с одним из героев книги «Лицом к лицу» — бароном Эдуардом фон Фальц-Фейном, родители которого (Фальц-Фейн и Епанчина) являются выходцами из России. Строки из его письма, которое я привез с собой, — ответ на ваш вопрос: «Мне доставляет большое счастье передать в безвозмездный дар нашей Родине бесценные сокровища русской культуры: картину великого русского художника Константина Коровина, рисунки Михаила Ларионова, Александра Шервашидзе и Сержа Лифаря, спасенные мною во время распродажи в Лондоне… Хочу надеяться, что я и мои друзья будем получать помощь в нашем деле, ибо дело культуры

и мира нерасторжимо».

Итак, как видите, поиск продолжается…

* * *

12 января 1986 года
«Комсомольская правда», Вильнюс
Андрей Черкизов

Одновременно два «толстых» московских журнала — «Дружба народов» и «Знамя» напечатали романы Юлиана Семенова «Аукцион» и «Экспансия». Один не есть продолжение другого. В «Аукционе» писатель и журналист Дмитрий Степанов, альтер эго автора, участвует вместе со своими западноевропейскими единомышленниками в борьбе за приобретение оказавшейся на западе картины Врубеля, выставленной на торги крупнейшей фирмой «Сотби». Обычное, на первый взгляд, дело оказывается схлестом различных сил, в котором есть победители, проигравшие и даже жертвы… В общем, все обычно, вполне по-семеновски: «крутой сюжет», напряжение нарастает от первой до последней страницы… Детектив?

«Экспансия» начинается с того, чем заканчивается «Приказано выжить», — встречей Штирлица в Мадриде, на Авениде Хенералиссимо с человеком из ОСС (отдел стратегических служб, будущее ЦРУ) США. Встречей НЕ СЛУЧАЙНОЙ… Как странно, нетрадиционно для писателя, ведется повествование; медленная, долгая, внимательная экспозиция: интересы, расстановка сил, механизмы — тайные и явные; механика — во всем многообразном взаимодействии, сцеплении шестерен и шестеренок, движение которых и есть — ИСТОРИЯ. Непривычен и Штирлиц, скорее обороняющийся, нежели наступающий. В первых читательских откликах удивление. Антидетектив? Что ж… С этого и начнем, об этом и спросим у автора романа.

— А-на-лиз… — произносится по слогам, внятно, рассчитано на запоминание. Мне уже приходилось говорить об этом, однако повторяю: «детектив» происходит от английского «to detect» — исследовать. Можно исследовать уголовное дело, отнюдь небезынтересно исследовать и факты истории, п р о п у щ е н н ы е сквозь людские судьбы. Можно исследовать строку полицейской хроники: кто убил? Кто ограбил банк? Кто организовал диверсию? Это поиски исполнителя или исполнителей, прямых и косвенных, непосредственных и действующих чужими руками. А

можно исследовать причины, которые привели к совершению тех или иных действий.

— Не претендуя на какое бы то ни было сравнение, хочу задать вопрос: «Преступление и наказание» — детектив?

— В какой-то мере — да. Я бы сказал: психологический.

— Разве он по правилам сделан? Убийца известен почти с первых страниц. Не по правилам… Но все настоящее, талантливое — всегда не по правилам. Как доставалось Федору Михайловичу за нетрадиционное построение сюжета! А Модильяни, когда он принес свои работы Ренуару, просто-напросто был выгнан из ателье.

— Вот-вот. Должно быть, не случайно гениальный Достоевский ломал каноны. Ему не важно было «кто», а важно было «КТО» и «ПОЧЕМУ».

— Не понял?..

— Не в конкретном Родионе Раскольникове дело. А в появившемся новом по отношению к тому времени и к той России социальном типе: нищем интеллигенте — разночинце, метящем в «наполеоны». Дважды Достоевский, всякий раз, правда, под другим углом зрения, обращается к этому явлению — в «Бесах» и в «Преступлении…» Как это? Почему? Зачем раскололось общество на тех, кто взял на себя право убивать, и на тех, которых можно УБИВАТЬ?! Откуда это? Раскольников — не герой и не антигерой, не тип и не типаж, а а н а л и з ситуации. Стало быть: КТО? Второй вопрос: ПОЧЕМУ? Каковы глубинные механизмы, каким образом переплелись невидимые социальные, этические, бытовые нити, в п е р е с е ч е н и и которых и родилось преступление?

— Однако когда читаешь «Аукцион», напряжение почти детективное…

— Спасибо. Вот ты сказал: «крутой» сюжет. Но если под сюжетом понимать нечто хорошо придуманное и точно выстроенное, то ничего подобного там нет.

— То есть?

— Я был в Ялте и радостно писал «Экспансию». Однажды ночью раздался телефонный звонок, и мой хороший друг, барон Эдуард фон Фальц-Фейн (русский по происхождению, сын основателя «Аскания-Нова», один из руководителей «Комитета за честное отношение к произведениям русской культуры, оказавшимся на Западе». Кроме Э. фон Фальц-Фейна в него входят Ж. Сименон, Дж. Олдридж, до последних дней своей жизни принимал участие в его работе М. Шагал. Подробнее об этом можно прочитать в книге Ю. Семенова «Лицом к лицу». — А.Ч.) поведал, что «Сотби» готовит к распродаже коллекцию

Сержа Лифаря, доставшуюся ему от Дягилева. Когда я оказался в Лондоне и втянулся в д е л о, то испытал потрясение. Увидел, как мертвой, бульдожьей хваткой вцепляются в произведения русского искусства те, кому противна сама идея д и а л о г а.

— Почему? Какое отношение Врубель имеет к диалогу?

— Выходит, самое непосредственное. Начну по порядку. Отношение к русскому искусству на Западе двоякое. Одни видят в нем я в л е н и е, достойное созерцания, преклонения. Говорю так не только потому, что речь идет о культурном наследии моего Отечества, но и потому, что на Западе прекрасно понимают: без Петра Ильича Чайковского, Сергея Васильевича Рахманинова, Сергея Сергеевича Прокофьева, Игоря Федоровича Стравинского современной музыки быть не может. Как не может быть современной живописи без Врубеля или Кандинского, Шагала или Малевича. А театра — без Станиславского, Мейерхольда и Вахтангова, балета — без Фокина и Нижинского, Дягилева, Карсавиной. Так вот, одни в этом видят явление, а другие — в явлении видят деньги, которые туда можно вложить и получить п р и б ы л ь. Палец о палец не ударив. Это если рассечь по одной плоскости.

Есть и другое р а с с е ч е н и е. Первые считают, что произведения русской культуры суть национальное д о с т о я н и е и должно быть возвращено как и п а м я т ь; другие же полагают, что вправе лишить народ и достояния, и памяти. Авось, забудут, а ежели забудут, то за беспамятство ударим, еще раз докажем: нет пророка! Но вот беда — не забываем; чтим и бережем от забвения.

Срез третий. В борьбе за возвращение объединяются самые различные силы; диалог перерастает в сотрудничество; иным же сие неугодно: мешает попыткам изолировать мою страну, мешает отсекать честных и здравомыслящих людей Запада от разрядки.

Такие вот дела…

Возвратившись домой, я отложил в сторону «Экспансию» и з а п и с а л роман «Аукцион», практически дневниково изложив происходившее в Лондоне, попытался показать, кто, как и почему помогает или вредит. Так что — нет сюжета, есть правда. А читательское напряжение? Значит, удалось…

— Теперь поговорим об «Экспансии». Вас не огорчают сетования читателей, что в новом романе Штирлиц «какой-то не такой»?

— Но ведь и обстоятельства иные. Закончилась война, кардинально изменилась расстановка сил; начался раскол; англо-американским союзникам показалось выгодным обратить против нас свою политическую активность.

В августе 1945 года начался ядерный век; временная монополия на владение атомным оружием породила опасные иллюзии — будто бы стало возможным разговаривать с Советским Союзом языком силы, языком диктата. А Штирлиц так надеялся, что после победы возвратится на Родину… Но, увы, теперь уже мало кто помнит, что вернуться домой из франкистской Испании было нелегким делом, тем более что Штирлиц едва стоял на ногах после ранения…

Нам, отдаленным от тех событий д и с т а н ц и е й в сорок лет, известно главное: надежды военно-промышленного комплекса на ядерную монополию не оправдались, как не оправдались их намерения увидеть мою Родину ослабевшей, подчиняющейся…

Тогда, в сорок пятом, многое только начиналось… Исаев, однако, вовсе не супермен. Я никогда не стремился писать его эдаким сверхчеловеком, который «одним махом семерых убивахом». Писать так — значило бы идти п р о т и в правды. Сила его не только и не столько в мускулах, хотя и они важны. Сила его прежде всего в непоколебимой уверенности в правоте дела, за которое он борется, в правоте антифашизма, в правоте борьбы против новой войны — вот в чем сила!

— В романе «Экспансия» есть глава «Позиция», в которой рассказывается о самых первых шагах правительства СССР в этом направлении. Какова степень ее документальности?

— Абсолютная. Я глубоко благодарен Андрею Андреевичу Громыко за то, что он нашел возможным рассказать мне о том, как эта п о з и ц и я вырабатывалась, проводилась в жизнь, о том, что ощущал и как действовал в те годы Чрезвычайный и Полномочный посол СССР в США. История — далеко ведь не только хронология событий; творят историю люди, а потому она — и социология, и психология, и хроника п о с т у п к о в.

Мы не имели бомбы, но мы ее и не хотели. Мы боролись против бомбы. Нас не поддержали; в честности нашей борьбы усомнились: дескать, потому и возражаете, что не имеете.

Мы сделали свою бомбу. А борьбу не прекратили. Не мы начали, но мы предполагаем остановиться. Разве не то же самое происходит нынче? Нас втягивают в качественно новый этап гонки вооружений. Мы не заинтересованы в этом. Мы возражаем и снова предлагаем остановиться. История преподает свои уроки для того, чтобы их усваивали, для того, чтобы на них учились. Забывать их — недальновидно.

— Роман «Экспансия» заканчивается тем, что Штирлиц уезжает в Латинскую Америку…

— Роман «Экспансия» не заканчивается. Опубликована только

первая книга романа. Готовится к печати вторая. Будет и третья. «Экспансия» — новая серия романов о послевоенном мире. Поэтому ощущения, будто первая книга — долгая экспозиция, в общем-то верны. Вначале надо показать у з е л. Затем — как он распутается.

— Тем более что перед читателем узел-то совершенно новый, о котором мы раньше мало что знали.

— Именно так. Мое приближение к теме «послевоенной нацистской атомной бомбы» произошло в начале семидесятых, когда я делал «Бомбу для председателя», потом в Мадриде, когда встретился и несколько часов проговорил с Отто Скорцени. Кое о чем я смог написать сразу — в «Схватке», в «Лицом к лицу». Иное требовало времени, дальнейшего изучения.

Как вице-президент советского общества дружбы «СССР — Аргентина» я часто бываю в этой стране. Там у меня много друзей, единомышленников. Они-то и помогли разыскать материалы: книги, ксероксы статей и документов — о том, как в 1946–1951 гг. правительство Хуана Доминго Перона, пригревшее многих нацистов, санкционировало и финансировало работу по созданию атомной бомбы. Кстати, не только Перон, но Стресснер имел к этому отношение. Действие второй книги романа происходит в Аргентине и Парагвае…

— В Аргентине вы были, а в Парагвае?

— И там побывал. Полтора года назад, когда ездил по Латинской Америке специальным корреспондентом «Известий». О чем и рассказал в своих репортажах. Я убежден: обстоятельства писатель выдумывать может, характеры героев — должен, а вот обстановку, детали — ни в коем случае. Кто-то из великих сказал однажды: «Литература — это детали». Если литератор хочет, чтобы ему поверили — а иначе зачем писать? — то должен быть максимально точен. Для этого и езжу по миру. Пять месяцев езжу, семь — пишу, по двенадцать — четырнадцать часов в день.

— Каторга?

— Сладкая… Я, наверное, ничего другого не умею. Надо р а б о т а т ь. Литература — это работа. Писатель существует в книгах. А не в болтовне.

— Я застал вас на чемоданах. Снова в дорогу?

— В Афганистан. Затем — Китай, Никарагуа… Но вот что хочу сказать: нынче, уезжая, загибаю пальцы — когда возвращусь назад, домой. Такое время настало, время коренных изменений в Отечестве. Прекрасное время! Время работы. Время соединения всех усилий во имя Родины. Время, как точно сказал недавно на страницах «Правды» Андрей Вознесенский, «интенсификации совести»!

* * *

1 июля 1988 года
«Новая Испания»,
Хихон, Бланка Альварес.

«СЕМЕНОВ: СТАВКА НА ПРАВДУ»

Вчера, на открытии «Черной недели», Семенов говорил, что Хихон станет мировой столицей литературы, говорил по-испански, напирая на букву «р», как человек, влюбленный в Испанию.

«Я приехал в Испанию в 1971 году туристом. Никто в это не верил, все думали, что я собираюсь просить политического убежища, а я говорил: „Я патриот России, который приехал для того, чтобы познакомиться с вашей страной, как человек, в нее влюбленный“».

— Откуда такая страсть к Испании?

— Испания — это страсть моего поколения. Я родился в 1932-м. Мы переживали ваше поражение в гражданской войне как собственное поражение, мы приютили ваших детей… мы любим вашу культуру.

— Говорят, что Испания и Советский Союз имеют «параллельно трагические души»

— Я думаю, что это так. Есть множество вещей, которые нас сближают. Знаете что? В 1971 году я предсказал, что Эль Ниньо де ля Капеа будет самым великим тореадором, и не ошибся.

Он смеется, улыбается и сердится, когда не понимает вопроса. «Вы, испанцы, говорите так быстро».

— Как вам все это мероприятие, организованное городом в честь встречи с Вами?

— О, просто замечательно.

«Литература — это правда»

Он раскрывает объятия своей бескрайней человечности, пьет кофе, хотя в эти дни у него побаливает сердце.

— Что вы думаете о людях, которые помещают «черный жанр» ниже всей остальной литературы?

— Что они — снобы. Речь идет об очень плохо подготовленных критиках.

— В Советском Союзе, до весьма недавнего времени, жанр, в котором вы творили более тридцати лет, считался буржуазным.

— Трудно ответить, почему. Это была литература правды, в которой говорилось о преступлениях, злоупотреблениях, организованной преступности. Говорили, что это антикоммунистическая литература. Писать в жанре «черной» литературы стало возможным только двадцать лет назад.

«Защитник перестройки»

— Название «черная» кажется Вам подходящим?

— Да. Хотя у литературы нет цвета, есть качество.

— Она продолжает быть революционной?

— Да, безапелляционно.

— Сейчас Ваша страна «в моде» благодаря перестройке.

— Ситуация любопытная. Везде говорят о нас. Смотрят. Ждут, что произойдет.

— Вы — «за». Или, лучше сказать, кажется ли Вам, что это — решение?

— Да. Это важно. Не только для нас, но и для всего мира. Я против «казарменного» социализма.

— Речь идет об альтернативе западничеству?

— Нет. У нас больше возможностей. Речь идет о том, чтобы улучшить все то хорошее, что у нас есть.

— Вы верите в то, что может существовать некоррумпированная власть?

— Я — оптимист. Благодаря перестройке у нас больше возможностей, чтобы установить контроль честности наших политиков. Я не оптимист-идиот. Полностью коррупцию уничтожить невозможно. Но ее можно постараться свести на нет. С определенными гарантиями свободы это сделать проще.

— В течение долгого времени говорили, что политический компромисс писателей преуменьшал литературную ценность их произведений. Любая форма компромисса рассматривается как что-то «в плохом вкусе», если не сказать больше. Вы верите в писательский компромисс?

— Абсолютно. Я верю в политику «открытых рук», а не сжатых кулаков. Политика — это не всегда грязные игры. Иногда такой компромисс опасен для литературы и для общества. Какой вид компромисса я принимаю? Если он основан на правде, на истории. Для того, чтобы писать, нужно быть с ними в согласии.

* * *

1989 год

«Московский комсомолец»
Валерий Турсунов

«ВОЗМОЖНА ЛИ СОВМЕСТНАЯ БОРЬБА?»

По приглашению ряда американских корпораций почетный президент Международной ассоциации детективного и политического романа, главный редактор выпусков «Детектив и политика» и «Совершенно секретно» Юлиан Семенов недавно вернулся из поездки по США. Корреспондент «МК» обратился с несколькими вопросами к писателю.

— Каково главное впечатление от вашей поездки?

— Напряженное, в то же время высоко доброжелательная заинтересованность в том, как развивается наша перестройка. Я довольно часто бывал в Соединенных Штатах, работая с моими издателями, в Академии наук (Нью-Йорк), действительным членом которой я был избран, и от путешествия к путешествию в Новый Свет ощущал зримые изменения в отношении к нам — каждому в отдельности и, что самое главное, — к нашей стране. Если раньше, в 60-х, 70-х и начале 80-х годов, настороженность по отношению к советским была практически нескрываемой, то в последние два года ситуация разительно переменилась. Вот один пример — в течение одного дня я получил любезное разрешение американских властей на работу в архивах ФБР, федерального бюро расследований, — без заполнения каких-либо анкет и проставления двух, трех или пяти фотографий.

— Над чем вы работали в архивах ФБР?

— Читатели нашего выпуска «Совершенно секретно», видимо, знают, что еще в первом, июньском, номере нашего бюллетеня мы опубликовали открытое письмо Верховному Совету Союза ССР о необходимости исполнения долга памяти — присвоения выдающимся советским военным разведчикам, героям антинацистской борьбы, товарищам Леопольду Трепперу и товарищу Шандору Радо звания Героя Советского Союза.

Если историческая справедливость по отношению к Рихарду Зорге, безнравственно отданного Сталиным на заклание Токио, восторжествовала, то до сих пор подвиг этих людей, имена которых известны всему человечеству, — герои и создатели «Красной капеллы», — не удостоен той благодарственной памяти, которую они заслужили всей своей жизнью.

В следующем выпуске нашего бюллетеня мы ставили вопрос и о судьбе супругов Розенбергов — были ли они осуждены американским судом и казнены на электрическом стуле подобно

Сакко и Ванцетти, или же они действительно были связаны с советской разведкой.

Архив Федерального бюро расследований предоставил мне возможность ознакомиться с рядом документов по делу Этель и Юлиуса Розенбергов. Я намереваюсь продолжить эту работу.

Там же, в архиве ФБР, я занимался исследованием неизвестных документов, связанных с убийством Джона Кеннеди. Я опубликовал в Советском Союзе в 70-х еще годах мое личное расследование обстоятельств убийства президента. Эта книга называлась «Каприччиозо по-сицилийски». После работы в Далласе и Новом Орлеане, которую я провел в 75-м году с помощью американских друзей, позволила мне утверждать, что президент был убит не одиночкой Ли Харви Освальдом, а хорошо натренированной группой террористов. Даже то недолгое время, которое я провел за столом архивов ФБР, выбирая документы для публикации в Советском Союзе, позволило мне еще более утвердиться в своей позиции, хотя бывший секретарь ЦК КПСС Русаков довольно сурово критиковал мою книгу, напечатанную в том же 75-м году. Полагаю целесообразным продолжить это расследование.

— Скажите, пожалуйста, что ваше издание «Детектив и политика» и «Совершенно секретно» намерены публиковать в ближайшем будущем?

— У нас в портфеле очень много интересных и разнообразных материалов. Нам передали свои книги Джон Вестлейк и Лаура Гримальди, Андреу Мартин и Иржи Прохаска, Стивен Кинг и профессор Вальтер Лакер, Артем Боровик и Рафаэль Рамирес Эрредия, Александр Горбовский и протоиерей Александр Мень, Мартин Крус Смит. Могу добавить, что начиная со следующего года «Детектив и политика» будет выходить 6 раз в году.

— Планируете ли вы, как почетный президент международной неправительственной ассоциации «Детектив и политика» какие-либо встречи, симпозиумы, конференции?

— Да, в апреле этого года мы намерены провести в Ялте (в моем, как и Москва, родном городе, ибо я здесь последние 7 лет пишу все мои книги) международную конференцию на тему «Возможна ли и целесообразна ли совместная борьба против терроризма, мафии и наркотиков МВД, ФБР, КГБ, ЦРУ и таможенных служб двух супердержав». Согласие руководства соответствующих служб КГБ, МВД и советского Главного управления таможенной инспекции уже получено. Ждем ответа от американцев — от ЦРУ, ФБР и таможенной службы. Мы будем спонсорами этой конференции, примем наших гостей в Ялте,

намерены провести переговоры с американским телевидением для освещения этой конференции, ну, и естественно, место для корреспондента «Московского комсомольца» зарезервировано.

— Кто будет оплачивать расходы по конференции?

— Наши американские партнеры должны оплатить перелет из Вашингтона в Москву и обратно. Все остальные траты (на проживание в гостинице, проезд из Москвы в Ялту и т. д.) берут на себя редакции изданий Московской штаб-квартиры МАДПР.

— За счет каких поступлений формируется ваш бюджет?

— За счет продажи наших выпусков.

— Вы богатое издание?

— Не бедное.

— Сколько вы получаете как главный редактор?

— Один рубль в год.

— А на что вы живете?

— Я считаю, что литератор должен жить плодами своего труда.

— На что ваши издания тратят деньги?

— Мы прорабатываем в настоящее время вместе с правительством Карелии и иностранными партнерами проект строительства целлюлозно-бумажной фабрики. Создали предприятие «Ялта-Экспо» совместно с «Аэрофлотом», «зелеными», рядом итальянских, австралийских и, возможно, американских фирм.

Туризм — это не только приток валюты, это — мир, узнавание друг друга.

Значительные средства мы, следуя традициям русских промышленников конца XIX — начала XX века, перечисляем в благотворительные фонды.

Сейчас мы открыли палату в 15-й городской клинической больнице для воинов-интернационалистов и товарищей, ставших жертвами сталинских репрессий. Наше совместное советско-французское предприятие ДЭМ перечислило 100 000 рублей многострадальной Армении, 100 000 рублей в Детский фонд, 100 000 рублей обществу «Мемориал», 100 000 одному из трудовых коллективов, работающих вместе с нами.

— Это первая конференция такого рода в истории отношений между секретными службами Востока и Запада?

— Мне бы хотелось ответить утвердительно, но, к сожалению, я должен сказать «нет». Когда я был в октябре в Лос-Анджелесе, американские кинематографисты передали мне краткий текст, резюмирующий итоги встреч бывших руководителей секретных служб КГБ и ЦРУ, которые провела крупнейшая корпорация США «Рэнд Корпорейшен». Там встречались бывшие руководители двух

организаций, известных всему миру. Мы же намерены пригласить не только отставных руководителей служб, в частности генерала КГБ Щербака, но и — если того пожелает американская сторона — действующих разведчиков и контрразведчиков.

— Как генеральный президент совместного советско-французского издательства ДЭМ и главный редактор международных изданий, выходящих в Москве, «Детектив и политика» и «Совершенно секретно», вы проводили деловые переговоры в Соединенных Штатах об обмене изданиями, продаже вашей продукции в США?

— Да. Это были интересные переговоры. Должен сказать, что в Лос-Анджелесе наши издания разошлись целиком и за очень короткий срок. Были проведены переговоры в Нью-Йорке. В ближайшее время мы получим ответ из Нью-Йорка о том, как наши американские партнеры намерены распространять нашу продукцию. К нам обращаются многие посольства, иностранные органы массовой информации, аккредитованные в Советском Союзе, с просьбой подписаться на наши издания. К сожалению, объявить подписку мы не можем — проблема в бумаге, мы ее покупаем по оптовым ценам, но мы намерены организовать продажу наших изданий за валюту здесь, в Советском Союзе. Однако главная наша забота — насытить читательский рынок, ибо мы получаем тысячи писем с одним лишь вопросом: «Где можно купить ваши издания?»

— Эта ваша работа мешает литературному творчеству?

— «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан…» В наше сложное время каждый, кому дорога судьба Родины, должен помогать перестройке, той концепции, которую Горбачев предложил не только Советскому Союзу, но и всему человечеству. «Общеевропейский дом» — очень важен. Но теперь нет отдельно Европейского дома, Азиатского или Американского. Наш общий дом — маленькая планета Земля. Я убедился в этом, пролетев этим летом через Гренландию — Антарктиду, куда наш сверхмощный «Илюшин» доставил первую трансантарктическую экспедицию.

— Но все же у вас остается время для творческой работы?

— Да. Мои коллеги по работе в «Детективе и политике» и в «Совершенно секретно» делают все, чтобы помочь мне со временем, — именно благодаря их великолепному творческому труду мне удается писать.

Сейчас я заканчиваю очередную «Версию» об убийстве замечательной советской актрисы Зои Федоровой. Первые главы будут опубликованы в этом месяце и в декабре в «Совершенно секретно». Полностью мои коллеги намерены опубликовать эту

работу в «Детективе и политике» в следующем году.

Затем я намерен написать следующую «Версию» — трагическую историю о жизни великого русского драматурга и мыслителя Сухово-Кобылина. Над этой темой я работаю уже 12 лет. В процессе поисков я столкнулся с ситуацией поистине детективной: знакомясь с архивами III Отделения секретной жандармской службы России (не могу не поблагодарить за помощь в поисках работника архива З. Перегудову), обнаружилось, что «Дела» Сухово-Кобылина, которое было отмечено как существующее, в архивах охранки не оказалось. Почему? Жизнь Сухово-Кобылина даст ответ на этот вопрос.

* * *

1989 год
«Нью-Йорк таймс»
Дэвид Ремник

«РУССКИЙ, КОТОРОМУ НРАВЯТСЯ ТАЙНЫ»

Москва. Стриженный поююд ежик, с огромными ручищами, Юлиан Семенов скорее похож на сибирского крановщика, сидящего за столом с сушеной рыбой и сигаретой. Однако на самом деле он богатый человек, редактор новой газеты «Совершенно секретно»…

Многие писатели в этой стране и за границей полагают, что связь Семенова с КГБ не есть вымысел. Они спрашивают, почему из всех людей именно Семенов был с Горбачевым на саммите в Женеве.

«Просто скажите им, что я генерал-лейтенант КГБ. Это все, что я могу ответить на данный вопрос», — говорит Семенов и заливается смехом.

Однако доступ в мир КГБ не есть вымысел. Семенов, которому сейчас 58, говорит, что необычные отношения с КГБ были у него еще во времена Брежнева, когда тайную милицию возглавлял Юрий Андропов. Он рассказывал, как в первый раз услышал Андропова в 1968 году.

«Зазвонил телефон. Я снял трубку и сказал: „Семенов“. В ответ я услышал: „Андропов“. Я спросил: „Какой Андропов“? Голос в трубке ответил: „Андропов, глава Комитета государственной безопасности“.

Я не знаю, было ли это от того, что я был пьян или напуган,

но я сразу же встал со стула. Андропов сказал, что он прочел мой последний роман „Пароль не нужен“ и спросил, хотел бы я знать его мнение. Я ответил, что хотел бы. Он сказал мне в следующую субботу прийти утром на Лубянку, в штаб КГБ на площади Дзержинского.

В следующую субботу я пришел на Лубянку. У входа стояли два охранника. Они знали, кто я. Меня проводили в кабинет Андропова на третий или четвертый этаж. Его стол был завален книгами и журналами. Я осмотрелся и сказал: „Позвольте, пожалуйста, изучить ваши читательские пристрастия“. Он улыбнулся и прикрыл два или три документа на своем столе. Думаю, это была какая-то секретная информация. Я заметил, что Андропов читал Плеханова.

Андропов признался, что мой роман ему понравился. Это придало мне смелости и я попросил разрешения изучать архивы КГБ для следующего романа».

Сейчас Семенов планирует опубликовать стихи Андропова в «Совершенно секретно», шедевры, которые, по его словам, имеют огромную литературную ценность. «Это не „Да здравствует социализм“ и тому подобная чепуха, это — мужчина и женщина, отцы и дети, любовь и трагедия возраста».

«…В моих книгах я всегда старался говорить о необходимости избежать возврата к прошлому, — говорит он. — Если же это не по вкусу снобам, для них же хуже».

Одно из доказательств этому — на сенсационной первой полосе «Совершенно секретно» — ставшей московским ответом газете «Нью-Йорк Пост».

Уже в первых номерах газеты было напечатано интервью с лидером «Солидарности» Адамом Мичником, эссе Льва Троцкого, отрывок из романа Джона Ле Карре, краткий биографический очерк Льва Копелева и Ларисы Орловой об Андрее Сахарове.

На сегодняшний день лучшее — очерк об этнических волнениях в республике Узбекистан и репортаж Дмитрия Лиханова о КГБ и организованной преступности.

Недавно по Москве ходили слухи о личной жизни бывшего члена политбюро Бориса Ельцина и о том, будут ли вожди препятствовать ему.

«Я, конечно, знаю обо всем этом, но не могу вам рассказать, — говорит Семенов. — Как я могу это рассказать? Это совершенно секретно».

* * *

22 ноября 1989 года
«Московская правда»
Шот Муладжанов

«БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ СВОБОДЫ»

— Знаете, мне временами кажется, что мы жутко неблагодарные люди. Мечтали о демократизации, спорили о пути к свободе, и вот она пришла, ее принесла нам перестройка. Во многих отношениях мы сегодня свободнее, чем люди на Западе. Гласность, открытость у нас выходят на новый уровень. Обретение свободы — самого дорого, что есть у человека, — сопровождается таким противодействием сути и движению перестройки, что остается только диву даваться.

Да, Москва сегодня снабжается не так, как в брежневские времена. Но ведь мы прекрасно знаем, что тогда продукты стягивались в столицу из провинции именно для того, чтобы насытить центр, сгладить внешнее впечатление. А разве ж это справедливо?

Иные подходы вызывают не понимание — ярость. Она обрушивается на ленинскую идею кооперации, а не на тех, кто на ней паразитирует. Она обрушивается на дающиеся с кровью реформы. И, наконец, ее направляют нацеленно против Горбачева, против тех сил, что позвали нас к этой долгожданной свободе. Такое ощущение, что назревает желание снова получить диктатора, «сильную руку».

Неужели же надо вернуться к николаевской формуле «народу нужен кнут»? Дадим волю спрятавшейся в генах привычке делиться на рабов и хозяев?

Эмоциональное начало нашей беседы с Юлианом Семеновичем Семеновым не должно удивлять. Известный писатель, чей разведчик Исаев-Штирлиц стал одним из популярнейших литературных и телегероев, подвижник в деле сохранения и возвращения Отечеству реликвий культуры, в последнее время — еще и лидер в таком перспективнейшем бизнесе, как широкомасштабное тиражирование наиболее интересных и значительных произведений в жанре политического детектива.

Все это замешано на натуре страстной, неравнодушной. Хвороба, мучившая моего собеседника в день нашей встречи, не помешала ему рассуждать энергично и резко…

— Меня сегодня очень волнует, и отнюдь не только потому, что это не согласуется с моими собственными симпатиями и

оценками, тот факт, что слишком часто «артиллерия бьет по своим», что нападкам — даже со стороны вроде бы прогрессивных сил — подвергаются инициаторы, поистине подвижники перестройки. Уходит то ценное время, которое мы должны были бы истово тратить на дело, на реальное движение вперед. А мы, наоборот, словно бы задались целью иллюстрировать известную фразу о «стране Обломовых».

В этом смысле мне кажется очень характерной реакция на недавнюю научную конференцию экономистов, проведенную под руководством Л. И. Абалкина. Очевиднее прежнего проявилось сползание вправо тех, кто присвоил право представлять «общественное мнение».

Любая попытка продумать, совершить на солидной научной основе важные шаги в экономике, социальной сфере для этих крикливых, шумных и на редкость хорошо организованных сил — нож в горле. Они, я уверен, в меньшинстве. Сторонников перестройки куда больше. Однако мы зачастую разобщены, чрезмерно терпеливы и с публичным проявлением своей позиции тянем…

Считаю, что надо резче и увереннее защищать перестройку. Прежде всего конкретными действиями.

— Мысль очевидная. Ну а что вы считаете первоочередными делами, которые надо решать на нынешнем этапе? Ведь вот что получается: одни твердят о сознательности, которую надо срочно повысить для движения вперед в экономической, социальной и иных сферах. Другие…

— Я все же ближе к «другим», если пользоваться вашей классификацией. Коль уж скоро мы приняли классическую формулу «бытие определяет сознание», так давайте менять в первую очередь именно бытие. А когда призывы к подъему инициативы, сознательности, предприимчивости и прочих полезных качеств сопровождаются процветанием сотен тысяч (!) нормативных актов, всячески тормозящих любой новаторский или просто хоть чуточку неординарный шаг, это может только отвращать творческих людей от дел. И способствовать злоупотреблениям со стороны «власть предержащих» чиновников, расцвету коррупции.

— Тут мы подошли к теме, которую никак нельзя обойти в беседе с автором популярнейших детективов, знатоком криминального дела. Итак — коррупция, организованная преступность, «бум» уголовщины… Что происходит? Где корни тревожной нынешней ситуации?

— Это мягко сказано — «тревожной». Положение очень

тяжелое. Оно усугубляется, повторю, тем, что рост преступности провоцируется стойкостью разного рода запретов, позволяющих бюрократу изрекать классическое «не дам, не пущу, не позволю». Сама по себе организованная преступность — дело совсем не новое. Знаменитая в сороковых годах «Черная кошка» была вполне оформившимся преступным бандформированием — со «штабом» и «филиалами».

— Но можно ли ее равнять с нынешними крупными бандами? Разве тогда преступники имели столь тесные связи с ответственными работниками разных ведомств? Разве бандиты ворочали миллионами?

— По поводу «оборота» преступных организаций можно бы и поспорить. А вот коррупции в нынешнем виде тогда точно не было. Не думаю, что чиновники в те времена были сознательнее нынешних. Но их ведь усиленно «подкармливал» «великий кормчий». Известна система конвертов, в которых руководящие работники регулярно получали доплату — и значительную — к основному заработку.

При Н. С. Хрущеве «конверты» отменили. Справедливость восторжествовала. Но что получилось? По уровню зарплаты сегодня советский работник входит, скорее, в категорию малоимущих. Его месячного дохода может и не хватить на покупку одной пары сапог для жены. А тут — за один росчерк пера, «почти законный» — «годовая премия». Соблазн велик. Понятно, что причины коррупции нельзя сводить только к этому. Но во многих случаях именно сочетание системы запретов по мелочам приводит к злоупотреблениям, к втягиванию честных в прошлом людей в преступные дела.

— Получается, что если мы сейчас резко поднимем оклад — жалованье ответственным работникам, то коррупция сгинет?

— Во всяком случае база ее ослабнет. И ряды коррумпированных деятелей будут пополняться не так интенсивно. Однако это лишь «местный наркоз». Чтобы по-настоящему лечить болезнь, надо резко сокращать количество запретительных, ограничительных актов, перейти от слов о поощрении предпринимательства и инициативы к делу.

Свобода слова должна подкрепиться свободой творчества — не только в искусстве, но и в бизнесе. Это, кстати, относится не к одной лишь проблеме коррупции.

Я как-то заинтересовался тем, кто идет в рэкетиры. Понятно, что многие из них — испорченные, грубо говоря, шальными деньгами ребята. Но есть и просто отчаявшиеся найти честное применение своей энергии, своему желанию нормально

зарабатывать, хорошо жить. Абсолютно уверен, что рэкет в какой-то степени — уродливое проявление системы запретов и ограничений. Не только развлечения, а и школы бизнеса, предпринимательства могли бы нам помочь.

И еще об одном эффекте «забора» из нормативных актов хочу сказать. Толковые хозяйственники, лучшие директора — преступники, если пользоваться формальными мерками. Без нарушений план не выполнишь, прибыль не получишь. Необходимость преступать разросшиеся, устаревшие инструкции, нормы, положения не только растлевает людей, но и порождает эффект неуверенности, нестабильности. Убеждает, что для хорошего дела можно и нарушить…

— А чем, собственно, можно заменить нормативные акты? Новыми, более совершенными?

— Зачем? Давайте обратим свой взор к иноземным демократиям. Там жизнь регулируется законами и рынком, а не нормативными актами. Без выхода на этот уровень нам не стать членами международного экономического сообщества.

Повторяю, что борьбу с преступностью считаю больше проблемой экономической, чем юридической. Да, правоохранительные органы надо и оснащать иначе, и кадрами укреплять, и труд их оплачивать иначе. Но только это радикально ситуацию не изменит.

При этом очень важно социальное преломление экономического развития. Уж не буду трогать скудность прилавков в магазинах. Но как быть с тем, что кафе и ресторанов в РСФСР меньше, чем в одном Париже? И открытие нескольких кооперативных картину не изменит…

— Тем более что цены, которыми они потчуют горожан, по карману разве что их же собратьям-кооператорам. Или еще узкому кругу высокооплачиваемых людей. Но вот ведь штука: даже после десятикратного увеличения числа кооперативных кафе цены в них не понизились. Экономика останется прежней для отдельно взятого кооператора.

— Безусловно. Потому что необходимы цепочки, начинающиеся с производителя продукта, в данном случае с сельскохозяйственного участка.

Разрешат кооператору покупать там продукты? Нет. А где же их еще купить? На рынке? Легче найти лазейку через «черный ход». Предприимчивый человек купил бы землю и стал бы партнером нескольких кафе и магазинов. Но как ему это сделать? Опять упираемся в нормативные акты. И так во всем. Препоны и рогатки — на каждом шагу. Инициатива без поощрения — ерунда.

Америка — при всех ее проблемах — рванула вперед. Среди прочих причин: нет запретов. Там считается нормальным желание человека стать миллионером. У нас, похоже, предпочитают всех подравнять под бедных. Почти как у Достоевского в «Бесах». «Все равны и каждый пишет донос друг на друга». В Штатах снизили налоги и утроили количество миллионеров…

— Да, «равенство по карточкам» мало кого может устроить. И требование дать свободу предпринимательству, «открыть шлюзы» звучит все чаще. Но почему в подобных случаях происходит непонятное? Если на Западе расширение демократических свобод способствует дальнейшему насыщению потребительского рынка, то у нас — дальнейшему обеднению?

— Во-первых, мне кажется, сейчас нарастает организованный саботаж перестроечных реформ, сливаются интересы мафии и тех коррумпированных элементов системы управления тех непорядочных чиновников, о которых мы говорили. Спекуляция на дефиците и дестабилизация общественного мнения устраивают, к сожалению, многих. Борьба против этих многих идет вяло. Вот о чем надо подумать и профсоюзам, и окончательно застывшему в своих сомнениях комсомолу. Нельзя же все проблемы вешать на партию. Клянусь, что никому в Республиканской партии США не придет в голову давать указания о сроках разгрузки вагонов.

— Понимаю природу ссылок на американские примеры — вы только что вернулись из поездки в США. Вижу на столе листы с грифом ФБР. Секретные документы?

— Вот, кстати, еще одна информация для размышления. Секретный документ секретной службы. Но мне его могут скопировать, предварительно закрыв, замазав специальным составом те места, которые огласке не подлежат. Вот и получил для очередного выпуска «Совершенно секретно» (редактируемое Ю. Семеновым издание, пять номеров которого уже известны читателям), интереснейший материал.

Мы же предпочитаем запретить, а не найти разумный выход. Задумываешь явно перспективное дело. Уж детектив-то у нас точно — остродефицитный товар. Но сколько же барьеров на пути серии «Детектив и политика», сколько раз нас по сути толкали на преступление. Московская штаб-квартира Международной ассоциации «Детектив и политика», честно говоря, попала в такое переплетение бюрократических тенет, что не всякий сыщик бы распутал…

Решили, скажем, позаботиться об отдыхе наших работников. Эстонские товарищи предложили купить дом на побережье, но,

оказывается, есть какой-то тухлый указ, запрещающий организации покупать дома у частных лиц.

Кому жаловаться? Советской власти? А что, к примеру, сегодня может районный совет? Он вынужден, наподобие дельцов «отмывать» необходимые для оплаты честной работы на должном уровне средства с помощью комсомольских хозрасчетных центров, кооперативов.

«Вся власть — Советам!» — прекрасный лозунг. Но когда-то надо начать с конкретных шагов в этом направлении. И было бы очень полезно в этом, да и во многих других отношениях еще и еще раз изучить ленинское наследие. Там найдется немало четких схем взаимодействия между партией и советами, их органами. После Октября события развивались так, что где подменой, а где отменой существо советской власти выхолостили до дна.

Хочу привести любопытное соображение американского коллеги. Он считает, что от Октябрьской революции очень выгадали рабочие в капстранах. Предприниматели там призадумались, опасение «экспорта революции» заставило их пойти на множество шагов по улучшению условий жизни трудящихся. А мы о некоторых элементах такой заботы, по сути, забыли. Где у нас подлинное социальное страхование — Ленин боролся за его развитие еще в царской России.

Кстати, в те времена не все у нас было плохо. Скажем, жизнь крестьян отнюдь не всюду была такой, как она описана в традиционных параграфах школьных учебников истории. Бедняков было меньше, чем середняков и зажиточных. И в короткий период нэпа бедняками оставались, как правило, те, кто не хотел работать. Выкорчевали справного мужика, изжили с корнем… А почему как-то позабыли «мелкую деталь»: в 1924 году Советская республика, провозгласившая нэп, продавала хлеб за границу. Вот вам и чувство хозяина!

— Не думаю, что сейчас возможна реставрация былых законов, старинных укладов…

— Безусловно, не о том речь. Речь об устранении общинного начала, предполагающего «покорность и управляемость» граждан — и в сельском хозяйстве, и в других сферах. За этим подходом мне видится и эффективный инструмент, необходимый при решении проблем межнационального общения. Свободный союз свободных государств — прекрасная цель. Но как бы нам не переувлечься ею, забыв о каждом человеке и его интересах.

Вот известный писатель Валентин Распутин почти всерьез трактует возможность выхода России из Союза. А я пытаюсь прикинуть: сколько ж миллионов долларов она тогда заплатит за

один только хлопок для текстильных фабрик Иваново? А каково будет другим республикам без энергетических и иных богатств РСФСР? Без ресурсов Украины? Без полезных ископаемых Закавказья? Средней Азии? Нет, «разбежаться» — это не выход.

— Где же выход? Может быть, вам известно решение архисложной проблемы?

— Никто его, наверное, сегодня не сформулирует. Но я точно знаю, что свободу и нормальную жизнь можно и нужно приближать каждодневно, выбирая наиболее демократичные и мудрые варианты при решении локальных конфликтных ситуаций.

Думаю, что принципиально важным в этом смысле будет формирование нашего отношения к недавним решениям грузинского парламента. Знать истинный характер происшедшего даже в давние годы крайне важно для движения вперед. Если мы хотим правды, надо жить по правде. И, честно говоря, меня не страшит происходящее в тех республиках, где ищут выход из тупиков именно на такой основе.

— А каково ваше отношение к последним событиям в ГДР, Болгарии?

— Не сказал бы, что они для мня неожиданны. Давно убежден, что если трудящиеся ГДР примут наконец суть стратегии перестройки, отменив варварские запреты на общение друг с другом, то они преуспеют в строительстве социализма «с человеческим лицом», как и болгарские товарищи.

Единовластие, возвеличивание «великих, гениальных, выдающихся» ведет к катастрофе. Это мы почувствовали на собственном опыте. Теперь расхлебываем.

Умеющих творчески, умно работать осталось не так уж много — генотип пострадал. Таких в первую очередь расстреливали, ссылали, травили. А окружающие, видя это, отвыкали, отучались работать.

Надо всячески поддерживать оставшихся работяг, давать им волю. И не загонять под ярмо всяческих посредников, «промежуточных звеньев». Платят аграрию валюту за сверхплановую пшеницу — пусть имеет право самостоятельно тратить ее на то, что необходимо хозяйству. А ему опять советуют действовать через какие-то объединения, конторы…

Мы можем быть достойными свободы. Надо только поверить в это. И — действовать.

Сам Юлиан Семенов действует с фантастической работоспособностью.

Редактор «Совершенно секретно» и «Детектив и политика»,

создатель и почетный президент Международной ассоциации детективного и политического романа, глава ее Московской штаб-квартиры, а также советско-французского издательского предприятия ДЭМ продолжает литературную работу.

Безусловно, привлечет читательское внимание его роман о нашумевшем убийстве актрисы Зои Федоровой — «Тайна Кутузовского проспекта», который уже в ноябре начинает печататься в «Совершенно секретно»…

* * *

9 апреля 1990 года
«ФИГАРО»
Бруно Курти.
Франция

Русский Сименон, советский Ле Карре, папа римский московского детектива, бизнесмен-издатель, журналист газеты «Правда», Юлиан Семенов, 59 лет, коллекционирует профессии и прозвища с редким счастьем и добавляет, дабы поддержать тайну, окутывающую его прошлые и нынешние отношения с советским руководством: «Я еще и генерал КГБ. Очень своеобразный, конечно, ведь я не член партии и полукровка!» Тут следует взрыв громоподобного смеха, сотрясающего всю внушительную фигуру этого боксера в сталинскую эпоху, когда «отец народов» держал в тюрьме его отца.

Семенов в форме — его мотивирует бой за перестройку Горбачева.

С тех пор как в России гласность, он начал издание журналов «Детектив и политика» и «Совершенно секретно», и издательство ДЭМ — первое в союзе с капиталистической страной — Францией.

После тридцати лет плодотворной литературной деятельности, 30 миллионов экземпляров, проданных в СССР и за рубежом, Семенов публикует свой новый роман у Бельфона.

«Фигаро»: Как и «Русский дом» Джона Ле Карре ваш «Инженер Горенков»[128] — настоящий защитник перестройки.

Юлиан Семенов: Этот роман — продолжение моей первой детективной книги «Петровка, 38». Я написал его именно потому, что являюсь сторонником Горбачева и вижу опасность фашизма в Советском Союзе. Все мои детективные романы были средством «донести мысль». Вы, конечно, поняли, что в книге я пишу об антисемитской организации «Память», которая приговорила меня

к смерти еще два года назад, но так меня и не прикончила!

Я говорю в романе и о мафии, существующей у нас в самых высоких эшелонах власти, и о коррупции. Эта проблема, с тех пор как о ней стали писать, несколько уменьшилась.

«Фигаро»: Коррупция, взятки, экстремистские движения… Советские знают обо всем этом. Зачем им об этом рассказывать?

Юлиан Семенов: Одно дело, когда об этом говорят, другое — когда этот разговор распечатан миллионами экземпляров. В последнем случае это становится фактом истории. Этой книгой я хотел привлечь внимание читателей на опасность фашизма и ультраконсерватизма… И поверьте мне, эти консерваторы не будут походить на тех, что подле Маргарет Тэтчер, это будут консерваторы русские, страшные!

«Фигаро»: Как была принята книга критикой?

Юлиан Семенов: Не было ни одной статьи в прессе, хотя книга, выпущенная тиражом в 1 100 000, разошлась в магазинах за два часа! В магазине она стоила 5 рублей, спекулянты перепродавали ее в десять раз дороже.

«Фигаро»: Персонажи вашей книги — полицейские, мафиози, за- или противоперестроечные аппаратчики — много говорят о прошлом, о Сталине, о Гитлере и особенно часто о Ленине, цитаты которого вы приводите…

Юлиан Семенов: В статье, которую «Новый мир» отказался опубликовать, я задавал вопрос: «Нужен ли марксизм-ленинизм перестройке?». Ответ был: «Нет», потому что марксизм-ленинизм — это открытие Сталина. Мы не можем использовать марксизм сегодня, потому что Маркс не знал, что такое реактивный самолет. Он не знал Эйнштейна и Сахарова. Использовать сегодня рецепты прошлого века равносильно лечению больного раком лекарствами от насморка! Но если мы внимательно прочтем работы Ленина 1922–1923 годов и если мы их применим на практике, несмотря на сопротивление консерваторов, экономическая ситуация в стране через год изменится. Ленин, долгое время проживший в Европе, желал Европы для России, желал индивидуальной деятельности и, главное, желал избавиться от Сталина!

«Фигаро»: Шовинизм, описанный вами в книге, эти члены общества «Добрая старина» жутки.

Юлиан Семенов: Американский журналист, приехавший в Москву меня интервьюировать, тоже был напуган захватившими Дом литераторов фашистскими коммандос. Но что поделаешь? На мой взгляд, надо писать книги, как «Репортер».

«Фигаро»: В книгах вы осуждаете Брежнева и Сталина, а ваши отношения с шефом КГБ тех лет были дружескими…

Юлиан Семенов: Я горжусь тем, что Андропов любил мои книги и спас три из них от запрета цензуры. Никто на Западе не знает, что первым делом сделал Андропов, когда он сменил Брежнева. Я вам скажу. Он пригласил ученых, историков и попросил их как можно быстрее подобрать все документы о НЭПе. Ему не удалось преодолеть сопротивление бюрократии, но Горбачев сейчас это делает.

«Фигаро»: С одной стороны, люди, считающие, что перестройка идет слишком медленно, с другой — те, кто ее полностью отрицает, и народ, предпочитающий словам полные прилавки. Есть ли в такой ситуации у Горбачева шанс выиграть?

Юлиан Семенов: Нельзя отделять Горбачева от людей, верящих в него. Мы — вместе. Если ему не удастся, значит нам не удастся. Если у него ничего не получится — организуйте кампанию по освобождению меня из тюрьмы! Но я — оптимист. 4 февраля этого года 250 000 людей вышли на улицы, чтобы поддержать перестройку, демократизацию и плюрализм. Я оптимист в отношении Горбачева, поскольку я оптимист в отношении меня самого! Все, что я сделал в жизни, основанные мной журналы и газета, все это, созданное для миллионов людей, должно будет исчезнуть? Это невозможно!

«Фигаро»: Почему вы доверяете Горбачеву?

Юлиан Семенов: Я был в Женеве в 1985 году во время встречи Горбачева с Рейганом. Во время пресс-конференции, последовавшей за встречей, я оказался за столом рядом с Раисой Горбачевой, которая, как и я, член Советского фонда культуры. Конференцию вел Замятин, занимавшийся тогда делами информации в ЦК.

Я поднял руку, чтобы задать вопрос Горбачеву; Замятин меня не заметил. Я поднимал руку еще дважды, но он всякий раз давал слово американцам и англичанам. Затем он объявил, что конференция закончена. Я поднялся и сказал: «Минуту, пожалуйста. Я три раза просил разрешения задать вопрос Михаилу Горбачеву». Замятин повторил, что конференция закончена. В этот момент Горбачев, с которым я познакомился в 1973 году в Ставрополе, сказал: «Я знаю писателя Семенова и уважаю его. Я отвечу на его вопрос».

Пассаж Горбачева, в котором он говорил, что он меня уважает, был просто-напросто вырезан во время показа пресс-конференции по телевидению. Вот вам пример официального антисемитизма!

«Фигаро»: И несмотря на это, вы остаетесь оптимистом?

Юлиан Семенов: Да, но при этом я процитирую вам фразу большого американского писателя Марка Твена: «Нет зрелища

грустнее, чем молодой пессимист, за исключением зрелища старого оптимиста».

* * *

9 апреля 1990 года
«Последние новости Альзаса»
Даниэль Бризон, Франция

«ПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

Он зовет Горбачева исключительно «Горби», защищает перестройку со всей своей недюжинной энергией, очень любит выдавать себя за двойного агента и как никто умеет получать авторские гонорары.

Юлиан Семенов — это явление. Репортер «Правды», известный детективный писатель, которого, к зависти многих, прозвали «советским Сименоном», стал известен, публикуя шпионские романы, в которых хорошими были русские и плохими — европейцы. Результат: тридцать миллионов экземпляров книг.

Теперь он легко погрузился в новую область, бывшую ранее для журналистов и писателей запретной. Он пишет о проституции, подпольной торговле, наркотиках. С «Инженером Горенковым» он зашел очень далеко. В нем мы наблюдаем страшную борьбу между прогорбачевцами и противниками реформ. Вертикальное погружение в ситуацию, очень близкую к реальности.

Интрига строится вокруг личности Варравина, понятное дело, названного Иваном (именем одновременно и самым распространенным в России, и именем царя Грозного), — журналиста в «Трибуне Москвы», сына героя, борца за новый стиль работы, против «четвертой власти».

Иван, компенсирующий в своей работе семейные неурядицы — его жена загипнотизирована гадалкой, расследует причины опалы инженера Горенкова, выгнанного с работы, оклеветанного, посаженного в тюрьму. Действие происходит в тот момент, когда в Москве консерваторы объединяются против «Горби».

Роман написан в форме репортажа. Здесь описано все: и предместья, в которых молодежь безнадежно скучает и пускается на хулиганские выходки, и механизм государственной коррупции. Семенов чудесно рассказывает о карьере молодого аппаратчика,

напуганного одной мыслью потерять свои маленькие привилегии, препарирует феномен диктатуры, показывает колоссальную работу, которую необходимо проделать, чтобы вернуть честным людям силы и смелость, столь необходимые каждый день.

Журналист ведет расследование, изучая записи своего героя. Грех ли это против партии: придумать формулу, при которой строители принесут стране прибыль? Почему он себя так вел, этот инженер? Чтобы скрыть свои собственные заработки, действовать согласно дикому капитализму или чтобы привить своей бригаде вкус к работе?

Расследование продолжается в каждой новой главе. По всему видно: журналист мешает. Кто кого одолеет, как говорили во времена Ленина…

Ответ — на последней странице, и, поскольку в нем — интрига, я его не открою даже за все рубли в мире. Но поверх всех детективных интриг в романе есть аспект «расследование — правда». И это расследование — о борьбе за власть. И это — уже не авторская выдумка.

* * *

8 октября 1991 года
«Вечерняя Москва»
Г. Борисов

…Такое уже случалось — Александр Дюма написал 477 книг, а на слуху — десяток-полтора. «Отец» Штирлица-Исаева, пожалуй, не уступит (хотя любые сравнения с классиками опасны), «отцу» д'Артаньяна по умению наработаться всласть. Не случайно враги пускают слухи о «литрабах» Семенова, а друзья рассказывают легенды о том, как он, отвергнув гостиничный комфорт, возвращается из командировки в 2–3 часа утра, чтобы в 7 сесть за письменный стол. А иначе и не объяснить, как это один человек сумел, не подменяя напрочь свою жизнь писательством, выпустить около ста произведений…

Быть может, со временем читатель откроет иного Семенова, поменяется знак восприятия содержания его исторических хроник и всплывет другое. Вспомнится, к примеру, что знаменитый литературный критик Лев Аннинский в 1959 году написал статью «Спор двух талантов», посвященную рассказам Ю. Трифонова и Ю. Семенова, расцветет интерес к его разысканиям отечественных культурных ценностей и возвращению их на Родину. Замелькают имена и названия: Янтарная комната, «Аукцион», Дмитрий

Степанов, Ника Турбина, барон Фальц-Фейн, Георг Штайн… И еще театр — «Современник» вдруг вновь поставит «Поиск-891» или «Версии»…

А будущие историки станут подчеркивать, что именно Юлиан Семенов выступил пионером новой издательской (а если шире — экономической) политики, организовав первое в нашей стране совместное предприятие — советско-французское издательство ДЭМ — Детектив — Энигма (загадка) — Мистери (мистерия).

Удивительное достоинство этого писателя в его несомненной способности будить в нашем воображении смуту, любопытство, наконец, беспокойство, не исчерпывающее душу, а ее волнующее.

Глава восьмая
ВОСПОМИНАНИЯ БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ

ВОСПОМИНАНИЯ МАМЫ Ю. СЕМЕНОВА, ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ НОЗДРИНОЙ

В тридцатые годы мой муж — Семен Александрович Ляндрес — работал помощником Николая Ивановича Бухарина в газете «Известия». Николай Иванович был очень скромен, его всегдашний вид: кожанка, сапоги, кепчонка. Несколько раз Николай Иванович заезжал в гости в нашу коммунальную квартиру в Спасоналивковском переулке, 19. Рисовал он замечательно и раз подарил свою картину, которую мы повесили в столовой.

Бухарин очень любил охоту, природу. Видно, ему эту любовь привил его отец — Иван Гаврилович.

Пятилетний Юлик его очень полюбил. Мы как-то поехали семьями на десять дней в Адлер, и Юлиан так и рвался к этому седобородому дедушке, умевшему удивительно имитировать пение птиц.

Вскоре после ареста Николая Ивановича моего мужа исключили из партии и перевели на работу в гараж. Меня тоже выгнали из партии и с работы. Период был сложный, ведь надо было еще помогать стареньким родителям мужа и моей маме и младшей сестре.

Как-то, когда я шла домой, меня встретил горько плачущий Юлик.

— Мамочка, ведь это неправда, неправда, что мой папа — враг народа?!

— А кто тебе это сказал?

Плач еще больше усилился, слезы так и лились из глаз малыша (ему не исполнилось шести лет).

— Так сказал Генка Малов[129]. Это правда?!

Долго пришлось его уговаривать, что это не так. Но ведь дома обстановка была наряженной, и Юлик, хотя мы при нем ни о чем не говорили, это чувствовал. Ночи стали бессонными — я боялась, что муж что-нибудь с собой сделает, и каждый раз, когда он шел в ванную или на кухню, оглядывала его — практически стала его сторожем.

Во время войны я с сыном уехала в эвакуацию в город Энгельс. Юлик, одиннадцатилетний тогда, попытался сбежать на фронт, «бить фрицев», но его сняли с поезда. В Берлин его с собой взял уже в мае 1945 года Семен Александрович — он там был военным корреспондентом…

…Это случилось 29 апреля 1952 года. В институте, где учился

Юлиан, устраивали первомайский вечер. Он предупредил меня, что придет домой поздно, чтобы я не волновалась.

Около 12 часов ночи раздался звонок в дверь. Я подумала, что сын вернулся с вечера и, не спрашивая о том, кто за дверью, открыла ее.

На пороге оказался незнакомый человек средних лет, в штатском, с очень неприятным лицом и бегающим взглядом. Не представляясь, он вошел и сказал, что нужно проверить документы всех, кто проживает в квартире, в связи с тем, что наши окна выходят на правительственную трассу. Я вынесла ему в прихожую свой и Юлика паспорта.

Он спросил:

— А где паспорт вашего мужа?

— Муж ночует у своей мамы, — ответила я.

— Давайте адрес.

Он вышел, запретив мне подходить к телефону и входить в комнату сына. Скоро вернулся с каким-то военным, дворничихой и пожилым мужчиной. Велел идти в мою комнату и не выходить. Я слышала, как они стали что-то выносить из комнаты сына. Догадалась, что это могли быть немецкие журналы, привезенные его отцом из Германии в 1945 году. В голове мелькнуло: это криминал!

Около четырех утра в двери раздался звонок. Я поспешила открывать. Пожилой незнакомец шел следом, приказав ничего не объяснять сыну.

Юлик вошел веселым, румяным, улыбающимся. Видно, после вечера в институте провожал домой сокурсницу. Лицо его изменилось, когда он увидел рядом со мной пожилого незнакомца. Не успел опомниться, как военный обыскал его. И… обнаружил стартовый пистолет. Его одолжил сыну заведующий военной кафедрой, чтобы отпугивать по вечерам хулиганов.

Я заплакала и стала утверждать, что это не настоящий пистолет, а стартовый, а Юлик не выдержал и закричал: «Что ты перед этой сволочью унижаешься и плачешь?!» Мужчина в военной форме рявкнул на него: «Сиди и молчи!»

В шесть часов утра вернулся тот, что был в штатском, с бегающими глазами и объявил: «Ваш муж арестован. Сейчас будем производить у вас обыск».

В кабинете Семена Александровича вся стена была уставлена книжными полками. Эту библиотеку с любовью он собирал многие годы.

Они брали книги, трясли их и бросали на пол. Если что-то выпадало из них, скомкав, бросали. Такого варварского отношения к книгам я нигде и никогда не видела.

На столе лежал наш семейный альбом с фотографиями. Они тщательно просмотрели и его. На одной из них увидели фото мужа моей тети в модной красивой шляпе Семена Александровича. Спросили: «Это что за иностранец?» Пришлось назвать фамилию. Потом стали разглядывать фотографию сына, снятую в Гороховецком военном лагере, где все студенты проходили военную подготовку. Юлиан на ней был запечатлен в форме, пилотка набекрень, небритый. «Это что за военнопленный?» — последовал вопрос. Тоже пришлось объяснить.

Обыск продолжался с 6 утра до 2 часов следующего дня. Лазали повсюду. Даже бедные цветы подвергались экзекуции. Горшки протыкали чем-то острым, разрезая тем самым корни растений.

На полу среди книг, разбросанных документов и фотографий лежал один листок. На нем был написан приказ по Наркомтяжпрому о награждении Семена Ляндреса автомобилем, подписанный Серго Орджоникидзе. Юлиан увидел эту бумагу и ногой подвинул ее под тахту.

Все документы и фотографии с Серго, Константином Симоновым, Ворошиловым увезли, кабинет опечатали.

Ночью Юлиан вскрыл форточку в комнате отца и достал этот приказ. Потом это во многом помогло делу. Отпадало одно из самых серьезных обвинений: наличие подарка от троцкистского диверсанта Николая Бухарина.

Через несколько дней после обыска мне сообщили, что меня переводят с поста директора детской школы в школу рабочей молодежи.

Юлю, как сына врага народа, исключили из комсомола и из института. Декан факультета, на котором он учился, сказал ему: «Наш ВУЗ — политический. Вам в нем не место!»

В комнату мужа подселили инвалида-пьяницу с женой.

Жизнь становилась невыносимой.

ВОСПОМИНАНИЯ КУЗИНЫ Ю. СЕМЕНОВА ГАЛИНЫ ТАРАСОВОЙ

Прежде чем рассказывать о Юлике, хотелось бы вспомнить его отца и моего дядю — Семена Александровича. В начале 30-х годов он работал в «Известиях» помощником у Николая Ивановича Бухарина, прекрасно к нему относился и тот его ценил. После расстрела Бухарина Семена от должности освободили, переведя в гараж, но не арестовали, а забрали брата Илью — полковника милиции, заместителя начальника отдела борьбы с бандитизмом. Он сидел в Магадане и был реабилитирован в 40-м году.

И в «Известиях», и позднее, в Огизе, в газете «Гудок», в издательстве «Иностранная литература» и в университете, Семена все любили. Он очень хорошо разговаривал с людьми. Если даже кому-то за дело выговаривал, то это было не обидно и человек понимал.

Я старшеклассницей и студенткой часто к нему на работу заходила — поговорить, посоветоваться, и он никогда, как бы ни был занят, не сказал мне «приди потом».

Семен был бессребреником, много помогал родителям, сам жил скромно. Все его богатство состояло из маленькой спортивной машины «Форд» — подарок Орджоникидзе за блестящую подготовку выставки «Наши достижения» и книг. Книги он собирал всю жизнь и любовь к ним привил Юлиану.

Жена Семена и мама Юлика — Галина была у нас вечным студентом. Сперва работала на заводе и училась в библиотечном институте, потом работала библиотекарем и училась на историческом факультете, затем работала учителем истории и повышала квалификацию, стала завучем, затем директором школы.

Появилась она в нашем доме невестой в 1929 году и с комсомольским задором со мной играла. Замечательная у нее была мама — Евдокия Дмитриевна. Очень простая, открытая, чистая. Настоящая некрасовская русская женщина. Весь дом она вела и Юлиана воспитывала до самой смерти — Галине было некогда. Она Юлиана и окрестила тайком. Ведь в те годы за крещение выгоняли из партии, с работы. Баба Дуня тихонько его окрестила Степаном, а уж потом Галя и Семен зарегистрировали его в загсе и назвали Юлианом.

Сначала они жили в Спасоналивковском переулке, потом переехали на Можайку.

С маленьким Юлианом я часто нянчилась. Он был толстый, весь в ямочках, как медвежонок нескладный. Когда чуть подрос, выводила гулять. Если кто-то из детей пристально смотрел на игрушку Юлиана, он тут же того одаривал. Сначала подарит, а уж потом подбежит ко мне и спрашивает: «Можно я подарил?»

Раз мы остались одни на известинской даче на Сходне. Юльке лет пять было, он в своей комнатке играл, а я на террасе Конан Дойля читала. Он подошел и спрашивает:

— Что читаешь?

— Жуткую историю.

— Страшно тебе?

— Очень.

— Тогда я сейчас принесу мое ружье и буду тебя охранять.

Так и сидел с игрушечным ружьем возле меня до приезда родителей.

Семена Юлиан очень любил. Они были неразрывны. Семен, при всей занятости, уделял ему много внимания, никогда не сюсюкал, старался дать что-то новое, интересное. С работы он приходил поздно, уже ночью, Юлька спал, но, услышав сквозь сон отцовские шаги, просыпался и, как верная собачка, к нему бежал.

После смерти бабы Дуни (Юлиану было шестнадцать лет) в семье появились мелкие недовольства, потому что из-за работы Галина не успевала заниматься хозяйством. А еще Семен не переносил появившийся у Галины, после того как она стала директором школы, менторский тон. Я помню ее первый конфликт с Юлькой. Она ему говорит:

— Ты прочел эту книгу?

— Еще не читал.

— А я, по-моему, велела прочесть.

— Обязательно прочту.

— Вот сейчас возьми и начинай читать.

— Сейчас я дочитываю другую книгу.

— А я говорю, читай эту!

— Не буду!

И ушел в комнату плакать, а Галина отправилась к себе рыдать. Я сидела и не знала, какую позицию занять. Сказать что-либо Гале, когда она в состоянии аффекта, нельзя — она сразу начнет читать длинную и нудную мораль. Юлиана пожалеть тоже нельзя. Но тут пришел Семен, и уже через десять минут конфликт был ликвидирован и все улыбались.

Юлька вырос начитанным, веселым и компанейским парнем. Прекрасно имитировал, особенно ему удавался спортивный комментатор Николай Озеров.

В Институт восточных языков он поступил легко, с большим

желанием учиться и сразу завел массу друзей. А в апреле 1952-го у нас случилось несчастье.

В тот вечер Семен пришел к своей маме Марии Даниловне на Никитскую, она жила в большой коммунальной квартире, 12 комнат, 29 человек — одна дружная семья. Семен себя неважно чувствовал и решил у нее переночевать.

В три часа раздался стук в дверь и его забрали.

Я, как и большинство, была воспитана ни в чем не сомневающейся патриоткой и была уверена, что все, что делает правительство и правовые органы, — правильно.

Когда Семена увезли, я была просто ошарашена и без конца повторяла: «Не может быть!» На Можайке всю ночь шел обыск.

Утром Юлиан приехал к нам. За эту ночь он из веселого, жизнерадостного паренька превратился во взрослого мужчину. Зашел и сразу спросил меня:

— Ты что-нибудь понимаешь?

— Понимаю, Юлинька.

— Что понимаешь?

— Что это недоразумение. Через несколько дней все образуется.

— Я не хочу, не могу больше жить, если происходит такое!

— Что ты говоришь! Подумай о маме. И жди отца. Ты должен его дождаться. Его скоро освободят.

Юлик, конечно, хотел мне верить, но шли дни и ничего не менялось.

А когда я узнала, что Семена забрали по двум расстрельным статьям: 58.10 — контрреволюционная пропаганда и агитация и 58.11 — участие в контрреволюционной организации, решила: «Все. Семена мы потеряли. Точно расстреляют». Юлиану я, конечно, ничего не говорила — ждала приговора.

Галину сразу вызвали в райком партии и заставляли в письменном виде отречься от мужа. Она сказала: «Ни за что. Я познакомилась с Семеном Александровичем двадцать лет назад. Мы тогда вместе работали на заводе „Коммунар“. Его портрет, как организатора первых пионерских отрядов на Красной Пресне, висит на Пресне в музее. Он честный человек».

«Честный человек? Тогда вон из партии и из директорства». И отправили учителем в школу рабочей молодежи.

В тот период Юлиан и стал меня сторониться — не навещал, к телефону не подходил. Я не понимала, в чем дело. Потом подловила его и говорю:

— Юлик, что происходит. Ты же так любил у нас бывать. И я тебя люблю. Ты по-прежнему мой братик.

— Пока ситуация с отцом не прояснится я к вам больше не

приду.

— Почему?!

— Не хочу рисковать твоим положением и положением твоего мужа.

Юлиан в тот период метался, переживал, делал все возможное, чтобы спасти отца, писал во все инстанции, добивался с ним встреч. Галине помогал, подрабатывая ночами грузчиком на вокзалах и участвуя в платных боксерских боях.

А Семену дали 8 лет лишения свободы. В переводе на язык юристов (я в юридическом училась) это означало — ничего не накопали.

Тут уж Юлька засыпал органы письмами, лично Берия писал, но, конечно, безрезультатно. Он все рвался к отцу и даже раз получил свидание с ним во Владимирском изоляторе, хотя свидания не разрешались.

А вскоре ко мне ночью позвонили:

— У вас есть двоюродный брат?

— У меня три двоюродных брата.

— А кто из них хулиган?

— Володька Яковлев[130].

— А брат Юлиан у вас есть?

— Есть. Что случилось?!

— Он находится у нас в 108-м отделении милиции за хулиганство. Просил позвонить не матери, чтобы не огорчать, а вам.

Я помчалась в отделение, и начальник мне рассказал, что произошло.

Юлиан зашел пообедать в кафе в Доме актеров. Подошел к столику, за которым уже сидел человек, и попросил разрешения сесть рядом. А тот презрительно ответил: «Я с детьми врагов народа за одним столом не сижу!» Юлик дал ему по физиономии, вытряхнул со стула и оторвал рукав пиджака.

Тут я напрягла все свои извилины (все-таки юрист по образованию) и обратилась к начальнику: «Товарищ, здесь же нет состава преступления. Это не хулиганство, а нанесение легких телесных повреждений в состоянии аффекта, наступившего в результате оскорбления самого дорогого ему человека!»

Начальник подумал и решил: «Ладно, я его сейчас отпущу, а утром доложу начальству — пусть думают, что с ним делать».

Я стала Юлика прорабатывать:

— Как ты мог?! Мама, наверное, думает, что и тебя забрали!

— А меня и забрали.

— Что ты говоришь? И тот человек, кстати, старше тебя.

— У подлости нет возраста. Еще раз услышу от кого-нибудь

такое про отца — убью!

Это он, конечно, сказал после стресса — на него смотреть было страшно.

А Семена весной пятьдесят четвертого выпустили и реабилитировали. Похудевший, постаревший, но это был Семен. Не угасший, не потерявший веру, не озлобленный. Тут и Юлика (которого выгнали из института) сразу восстановили, и он успешно защитился.

Семен вплоть до своей болезни и смерти в 1968 году работал в издательствах и редакциях.

Умирал он от рака поджелудочной железы в больнице Академии наук. Боли у него были страшные. Другой бы застонал, а Семен только губу закусывал.

Юлиан привез к нему экстрасенса — они тогда только в моду входили, и он стал над Семеном пассы какие-то делать и бормотать.

Семен долго молчал, потом поманил меня пальцем и тихо-тихо, чтоб тот не услышал, шепнул на ушко: «Скажи Юльке, чтоб увез шамана».

Это было 24 мая, а 6 июня его не стало.

Для Юлиана это была страшная потеря. «Семнадцать мгновений весны» он посвятил отцу и последний роман о Штирлице «Отчаяние» писал, используя воспоминания и события отцовской жизни…

Сам Юлиан был прекрасным отцом. Возил своих девчонок повсюду, нянчился. Но когда они совсем маленькими были — не интересовался.

Раз, Оленьке месяцев восемь исполнилось, я спросила: «А что она уже умеет делать?» «Писает и какает, что ей еще делать», — отрезал Юлиан. Они в этом возрасте для него были не детьми, а заготовками. А вот когда уже можно было что-то ребенку объяснить, он его «забирал» себе…

ВОСПОМИНАНИЯ АКАДЕМИКА ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА

Я очень любил Юлиана. Мы дружили в институтское время, когда учились вместе в Институте востоковедения и после. Он был цельной натурой, это сразу чувствовалось, а в те трагические для него дни, когда посадили Семена, особенно.

Юлиан состоял тогда вместе со мной в лекторской группе МГК комсомола, и я, будучи руководителем нашей секции, дал ему отличную характеристику. Это не в заслугу мне будет сказано, просто он был отличным лектором.

Характеристика не спасла. Его исключили из комсомола и института, потому что он продолжал добиваться освобождения отца. Его запугивали: «Перестаньте лить грязь на КГБ», но его ничто не могло остановить.

Он мне потом рассказывал, как был во Владимирской тюрьме и встретился с отцом, как потом сняли начальника этой тюрьмы за то, что он организовал эту встречу.

Юлиан мог добиваться всего и добивался, он был как маленький бульдозер, шел и шел, потому что обожал отца, видел, как самый близкий ему человек находится в беде. И не мог отступить — в этом проявилась его глубокая порядочность и целостность натуры. Никто не мог его с этого пути сбить, он был готов на самопожертвование, на самосожжение. На что угодно, лишь бы только освободить отца.

Помню, мы шли с ним по улице Горького мимо Центрального телеграфа; темно, уже ночь. Я тогда был «пламенеющим сталинистом», а он ругал Сталина по-страшному. Был 1952 год, но он мог это позволить со мной, потому что знал: я — его друг.

Потом он мне сказал: «Знаешь, я хочу тебе подарить книгу» (у меня до сих пор есть эта маленькая книжечка, стихи Иосифа Уткина). На титульном листе Юлиан написал: «В день выхода из тюрьмы».

А когда вышел отец, Юлиан сразу же позвонил мне. Я тут же пришел и оказался одним из первых, кто увидел Семена…

Узнать его было почти невозможно. Из сильного молодого мужчины он превратился в старика с отбитыми на допросах почками и печенью, весом сорок восемь килограммов. Это был не человек, а мощи.

Спустя несколько лет Юлиан меня здорово выручил. Мы с женой Лаурой были тбилисцами и в Москве снимали угол. С жильем тогда было очень плохо, комнатка была маленькая и по

закону в ней мог прописаться только один человек.

Тогда мы с Лаурой решили схитрить: сначала с моим паспортом и паспортом нашей хозяйки в милицию пошел я. И меня прописали. Потом отправилась Лаура в надежде, что там ничего не заметят. Но хитрость нашу сразу же раскрыли и забрали у Лауры паспорт.

Я позвонил Юлиану. Он тут же приехал, и уже через двадцать минут вышел из отделения с победным видом. В руке у него были паспорта хозяйки и Лауры — с пропиской.

Он умел добиваться.

А еще Юлиан был прекрасным актером. Помню, в начале шестидесятых мы отдыхали в Эшерах. Юлиан был с женой Катей, я — один. Собралось еще несколько общих друзей. Юлиан как раз закончил книгу и пригласил всех в ресторан обмывать. Там за соседним столиком сидели какие-то задиралы. Они нам нагрубили, мы им ответили. Началась драка. Должен сказать, что Катя дралась и переворачивала столы не хуже нас. Приехала милиция и всех, за исключением Кати, забрала в отделение.

Сидя в каталажке, Юлиан моментально вошел в роль узника и зычно закричал образовавшейся у входа в ресторан толпе:

— Эй там, на воле! Смотрите, арестовали корреспондентов Евгения Примакова и Юлиана Семенова!

Из отделения нас, разумеется, через несколько минут выпустили.

Или вот еще к актерству Юлиана. В середине восьмидесятых мы вместе отдыхали в Кабардино-Балкарии. Местным начальством было устроено застолье. И я тогда к контрразведке никакого отношения не имел. Руководил Институтом стран Азии и Африки. Юлиан выпил и потом с очень серьезным видом обратился к кавказцам:

— А вы знаете, с кем вы сидите?! — Я полковник контрразведки, а Евгений Максимович уже генерал!

Наши горцы притихли и до конца отпуска смотрели на меня с огромным почтением и даже чуть-чуть побаивались.

ВОСПОМИНАНИЯ УЧЕНОГО ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА

Сказать, что на нашу долю досталось нелегкое время, было бы большой банальностью. Во-первых, легких времен не бывает, а во-вторых, как соизмерить весовые показатели кусочков металла, одни из которых, угодив в грудь, могли оборвать жизнь, а другие, оказавшись на груди, как бы приобщали к бессмертию.

Трагедии общества прокатывались через наши судьбы. Давящий рок был общим, но реакция на него — индивидуальной, поскольку у каждого по-своему болит душа, и положение того, кто харкает кровью, не то, как у смотрящего со стороны. Характер человека формируется в экстремальных условиях быстрее и определеннее складываются его черты.

Помню, как на третьем курсе Юлиан круто изменился. Пышущий благополучием баловень процветающей среды в одночасье потерял и блеск и лоск. Еще вчера он являл пример устойчивого понятия золотой молодежи, а сегодня — посеревший парень с повернутым во внутрь взором.

Такие трансформации нередко проходили тогда в среде московской интеллигенции. О точных причинах не всегда знали. Но в общем догадывались: кого-то из близких «взяли». На нашем курсе, из нашего учебного потока ребят с опрокинутой жизнью оказалось несколько. У Юлиана — отец, у другого — брат, а чуть подальше почти из аудитории взяли и нашего товарища.

В Институте востоковедения все студенты знали, что есть на втором этаже комната с железной дверью, рядом с отделом кадров. Никто, мне думается, туда добровольно не заглядывал. Находился за той дверью человек с голой, как биллиардный шар, головой, о котором только и знали, что его надо сторониться.

Находит меня какая-то девчонка из деканата и сообщает, что надлежит немедля за ту дверь зайти.

Иду. Комната, какими, наверное, бывают камеры. Решетка на окнах, хотя на второй этаж с земли не допрыгнуть. Закрывшаяся дверь щелкнула замком, не предвещая пустопорожнего разговора.

— У вас на факультете учится Ляндрес?

— Да, Юлиан, на афганском отделении.

— Он всюду бьет пороги, клевещет на советские органы, пишет, что его отца неправомерно осудили. Разве у нас допустимы ошибки в приговоре? Как может такой клеветник

учиться в институте, разлагать окружающих, да еще состоять в комсомоле? Гнать надо взашей сначала из комсомола, а потом из института. И не возражайте, что он имеет право. Нет у него права клеветать, а у вас, комсомольского вожака, — прикрывать его. Идите. Потом сообщите мне о решении. И больше никому ни слова.

Вышел я из той зарешеченной комнаты, как выпотрошенный. Несколько дней переваривал выслушанное, не представляя, что придумать.

Много лет спустя, встретившись с Юлианом как-то в Доме кино, мы вспоминали, как долго кружили мы тогда по двору института, и он рассказывал мне о своих хождениях от инстанции к инстанции, о преодолении множества преград к встрече с отцом.

«Не может он быть против Советской власти. Я говорил с ним, как я могу ему не верить? Как я могу не добиваться пересмотра? Разве не было ошибок в прошлом? А вся ежовщина не об этом говорит?»

Логичная и не вызывающая сомнений позиция сына и просто честного человека. Пусть хлопочет. Это так естественно. Дело окружающих — не мешать ему.

Преподаватели словно не замечали сплошного отсутствия Юлиана на занятиях. Товарищи помогали проскочить зачеты и экзамены.

Мы были воспитаны на книжном примере Павлика Морозова. Но жизнь сложнее вдалбливаемой схемы. И когда для Юлиана наступил выбор, он был сделан в пользу сыновьих чувств, которые дали уверенность и гражданскому мужеству. Не побоюсь высокопарности, но думаю, что здесь находится первый общественный урок из фактов его биографии.

Что касается моих отношений с человеком из-за двери, то я решил «тянуть резину». Но эта материя имеет предел.

Помню, что прошел не один месяц. И вот снова девчонка из деканата передает слова в повелительном наклонении.

Иду. Объясняюсь, говорю, что Ляндрес никого не ругает, просто ищет возможную ошибку. В ответ — металл теперь уже в мой адрес. Что-то о «покрывательстве» и отсутствии долга.

Пошел советоваться в партком. Там наш общий с Юлианом знакомый посмотрел на меня прозрачными глазами: не мне все это было сказано, а тебе, вот и действуй. Когда нам скажут, мы найдем, что делать.

Третий разговор с лысым был совсем краткий и жесткий. Ему уже было известно мое обращение в партком. Теперь уже собеседник не настаивал, а требовал осознать ответственность.

И вновь шло время. Юлиан совсем исчез из института. Мы еще по молодости не умели соединять общественное с личным. Охваченные всеобщим горем, правые и виноватые, с чувствами тревоги и неясности за будущее хоронили Сталина. А через какое-то время я поймал себя на мысли, что перестал думать о человеке за железной дверью, да и он не давал о себе знать. Так закончилась одна глава истории страны и началась другая.

Много раз осмысливая ту ситуацию, я думаю о том, что если на меня был нажим, то какому же давлению пришлось подвергнуться Юлиану. Как отбросить от себя прилипчивую тень «сына врага народа»? И не просто отбросить, а искать правду в стране бесправия, добиваться управы на клевету в царстве произвола и доносительства? Где находить силы действовать, когда, кажется, инстинкт требует забиться в норку и замереть, чтобы не вызвать еще больших осложнений?

Мне представляется, что именно проявившееся тогда стремление действовать, не смиряться с наиболее очевидным поворотом судьбы, а искать другой выход, пробиваться сквозь несокрушимые стены стали определяющей чертой не только характера, но и литературной работы Юлиана.

В конечном итоге то, что несколько поколений нашей детворы играют в Штирлица, служит наилучшим подтверждением достижений на избранном Юлианом пути.

Сейчас, когда рушатся многие представления о нашей истории, меняются идеалы, возрастает важность ценностей вечного достоинства. К ним, безусловно, относятся смелость, граничащая с риском, и порядочность, что сродни благородству, и преданность долгу, вплоть до способности пожертвовать собой.

Герои Юлиана наделены этими качествами в достатке. Возможно поэтому они переживут наше лихолетье. Чем больше будут кромсать сознание людей рыночные отношения (ведь рынок — кулачный бой!), тем больше нужно иметь спасительных островов, зон безопасности, где еще оставались бы реликтовые отношения бескорыстия и добра. Поэтому, представляется, что спрос на героев Юлиана будет расти.

Агент интернационала

Давняя проблема «поэт и царь» у нас за неимением царей преобразилась в отношение «художник и власть». Здесь Юлиану «повезло» оказаться объектом многих слухов. Его мнимое звание секретного сотрудника КГБ росло быстрее, чем щетина его бороды, и сейчас приписывает ему погоны с зигзагами, не

сходясь, правда, во мнении, сколько звезд посадить на каждое плечо. А может быть, прямо на маршала тянуть? Ну, как? Маршал КГБ! Неплохо. Такому и В. А. Крючков позавидовал бы.

Если бы существовала категория тайных членов КПСС, то Юлиану вполне можно было бы признаться и в этом, так как кто же поверит, будто беспартийному «Правда» доверяла быть своим спецкором?

Однако я не считаю возможным пропустить один элемент отношений Юлиана с властью — стопроцентную и сразу поддержку курса на перестройку.

Не стоит рассчитывать, что это обязательно зачтется ему в плюс, кое-кто из его собратьев — писателей зачтет и в минус, особенно, если кроме «Сорока способов любви» издательства перестанут выпускать иную литературу.

Конечно, таких издержек перестройки Юлиан не предполагал, да и сам зачинатель нового курса на них не рассчитывал. Но, как известно, и жар углей дает золу.

На первых порах политика обновления, названная перестройкой, далеко не всеми была встречена с пониманием. Что же касается писательских, да и вообще интеллектуальных кругов, то, пожалуй, только публицисты на нее откликнулись возгласами одобрения. С развернутыми позициями в адрес инициатора преобразований писем поступало мало. Поэтому два письма Юлиана, которые довелось читать и мне, были широко распространены. Как принято тогда было говорить, их разослали по политбюро. Но круг ознакомления был значительно большим. И дело было не только в доброжелательной позиции популярного писателя, но и в большом наборе позитивных предложений.

Следует оговорить и еще одно обстоятельство в этой связи. Лет двадцать назад перед всеми интеллектуалами замаячил вопрос об отношении к диссидентскому течению. У Юлиана было все, чтобы активно к нему примкнуть — факты биографии, взгляды, к тому же финансовая независимость.

Юлиан поступил иначе. Ему виднее, почему. Но, я убежден, — не из страха. Скорее всего по причине малой продуктивности этого направления общественной жизни, как оно тогда выглядело. И если так, — в этом была правомерность. Ведь либерализация, не будем себя обманывать, пришла сверху. Таким образом, интуиция, стремление к результативности подсказывали: грядущему обновлению надо помочь.

…Внешне у посторонних людей могло сложиться впечатление, что Юлиан жил как бонвиван и жуир с обложки рекламного журнала. Реальность с таким расхожим представлением сходилась только в экстравагантной внешности и

эпатирующих шмотках, в которых Юлиану удавалось подчас соединить атрибуты революционного обличья множества эпох. Мало кому ведомо, что кажущийся плейбой, этакий баловень удачи, работал до полного выкладывания сил, превращая в труд даже положенный по Конституции отдых.

Припоминаю, как мы встретились с ним в зимний, мало подходящий для курортной жизни сезон в Карловых Варах, кажется в 1980 году. Юлиан жил тогда в «Империале» на горе, а мы с женой в центре города в «Бристоле». И в промежутках между рандеву с медициной, которая выполняла юлиановский заказ — уменьшить его на десять процентов, он мчался на частную снятую квартиру. Не для курортной интрижки, как могло бы показаться, а для того чтобы с коллегой-соавтором, приехавшим из Москвы, отрабатывать очередной сценарий.

Наше пребывание там совпало дней на десять, и не помню, чтобы он соблазнился на глоток иного напитка, кроме минеральной воды из источника № 8. Если несведущим серебряная клемма в его ухе казалась экзотическим украшением, то знакомым было известно, что это попытка найти панацею от подступавших недугов.

ВОСПОМИНАНИЯ АРТИСТА ВАСИЛИЯ ЛИВАНОВА

Наша первая, очень необычная встреча с Юлианом произошла в конце далеких пятидесятых.

Как-то летней ночью я с моим другом — будущим знаменитым композитором Геннадием Гладковым шел пешком со студенческой вечеринки. Он был влюблен в одну женщину, и мы с ним обсуждали вопрос: жениться ему на ней или не жениться?

Мы медленно брели по улице Горького, ведя диалог типа диалога из «Гаргантюа и Пантагрюэля»: «А если так, то тогда женись. А если этак, то тогда не женись».

Уже рассвело. Вдруг, повернув на улицу Немировича-Данченко, мы увидели такое зрелище: прислонившись спиной к стене дома, один парень отбивается от четверых головорезов. Драка была страшная: получив, они откатывались, потом снова налетали.

Мы с непечатным текстом ввязались, и головорезы (явно приезжие, не центровые), поняв, что оказались на чужой территории, убежали.

Мужественный парень поблагодарил нас и, оторвав от пачки сигарет кусочек бумаги, написал на нем свое имя — Юлиан и номер телефона.

Я положил этот кусочек в карман рубашки и забыл. А через полгода случайно наткнулся и решил позвонить.

Поднял трубку сам Юлиан. Он прекрасно помнил всю историю и тут же пригласил меня к себе в гости. Я поехал. С тех пор нас с ним связала очень крепкая мужская дружба.

Юлиан отличался фантастической работоспособностью. Работал постоянно. Помню, как он мне читал рукопись своей первой книги «Дипломатический агент», а как только она вышла, подарил экземпляр с очень нежной надписью.

Прошли годы, кто-то из знакомых (не помню кто) выпросил у меня эту книгу почитать, и больше я ее не видел. После этого я перефразировал «Дружба — дружбой, а денежки врозь» в «Дружба — дружбой, а книжки врозь» и пришел к убеждению, что книги с надписями давать не нужно никому.

Я заинтересовал Юлиана театром. Вернее, театром он интересовался и раньше, но в тот период он собрался писать пьесы и не знал, как к этому приступить. Тогда я заманил домой моего педагога — талантливого, замечательного Владимира Григорьевича Шлезингера. Тут Юлиан с ним и встретился.

Владимир Григорьевич устроил Юлиану своеобразный мастер-класс, объясняя театральную специфику и меру условностей. В результате Юлиан стал писать пьесы, и очень успешно, кстати, — его пьесы шли. Поэтому я считаю себя крестным отцом Юлиана Семенова в драматургии.

Когда он влюбился в Катю Кончаловскую-Михалкову, то стал часто приезжать к ней на никологорскую дачу. Он тогда ездил на красном мотоцикле.

Однажды я застал его на Николиной Горе: он сидел в траве возле дома, а перед ним был наполовину разобранный мотоцикл, который он ремонтировал. Я стал ему помогать. Долго мы возились, все собрали и вдруг я обнаружил рядом, в траве, стержень сантиметров 20 — маслянистый и блестящий.

«Юлик, мы забыли стержень!» «Сейчас пристроим», — успокоил он меня и стал его запихивать во все существующие в мотоцикле отверстия. Стержень никуда не входил. «Что ж, — заключил Юлик, — поеду без него».

И чудо — мотоцикл завелся, и Юлька на нем благополучно укатил. До сих пор для меня загадка — имел ли тот стержень отношение к мотоциклу, или случайно валялся в траве…

Дом на Николиной был необычайно гостеприимным. Вела его Наталья Петровна Кончаловская — талантливая поэтесса, поощрявшая общение своих сыновей — Андрона и Никиты с интересными людьми, которые хотели чего-то добиться в жизни. Конечно, Юлика она приваживала.

Время мы там проводили весело. Однажды, когда Натальи Петровны не было дома, разорили с Юлианом ее гардероб и изображали разные сцены. Лучше всего получилась пожилая супружеская пара, будто сошедшая с картины передвижников «Все в прошлом». Для нее понадобились лучшие шали и шубы Натальи Петровны. Андрон, как будущий кинематографист, нас снимал.

Юлик тогда ухаживал за Катей, и у него появилась надежда, что его любовь взаимна. В отличном настроении возвращаясь с Николиной Горы в Москву на своем красном мотоцикле, он закладывал такие виражи на мокрой от дождя дороге (изображая, как он мне потом признался, нашего разведчика в Германии), что его занесло и он проехал на спине вдоль длинного нетесаного тисового забора. Снял с забора все, чудом не налетев на гвозди. Мотоцикл погиб безвозвратно, мы вытаскивали из Юлика сотни заноз, а мысль о разведчике в нем засела и потом замечательно воплотилась в Штирлица.

Вообще он сочетал в себе совершенно несочетаемые качества. Был идеалист, романтик, в чем-то невероятно наивен, а в чем-то прагматичен.

Однажды ночью он мне позвонил, сказал, что снимается фильм «Жизнь и смерть Фердинанда Люса» по его роману «Бомба для председателя» и в сценарий необходимо включить чисто информационный политический текст, а он не знает, как это сделать. Текст ведь должен идти через один из персонажей, а ни один нормальный человек подобный текст, раскрывающий политические интриги, произнести не может. И я придумал.

— У тебя есть в сценарии какой-нибудь персонаж, безответно влюбленный в женщину?

— Угадал, есть — военный врач.

— Надо сделать сцену, где он пьяный сидит рядом с ней и, чтобы произвести впечатление, этот текст выдает. Дескать, «посмотрите, как я проинформирован».

— А ты сможешь сыграть этого врача?

— Смогу.

Подобрали мне на «Мосфильме» военную куртку, а тут я увидел у Юлика на руке солдатский браслет: цепочка и плашка, на которой пишется имя. И я перед съемкой говорю: «Одолжи мне его — хорошо в кадре сыграет». Юлик смутился почему-то, но браслет дал. А после съемки я думаю: отчего он так смутился? Покрутил браслет — на плашке с одной стороны было написано Юлиан Семенов, а на другой — Максим Исаев.

В этом взрослом, многоопытном человеке жила совершенно мальчишеская мечта о таинственном разведчике.

Он был замечательный писатель со своей темой и своими страстями. Его знали, афоризмы из его книг цитировали. Он, безусловно, завоевал своего читателя еще до фильма «Семнадцать мгновений весны». А фильм, думаю, останется в истории нашего кино навсегда.

Работа настолько поглотила Юлика, что болеть у него не хватало ни сил, ни времени. Хотя он был страшно мнителен, верил в то, что выдумывал, и, решив как-то, что у него чудовищная болезнь печени, высовывал язык и оттягивал веки, доказывая мне ее реальность.

По поводу знаменитых пророчеств Юлиана могу рассказать такую историю. Однажды, года через два после нашего знакомства, он позвонил ко мне ночью, часа в два и сказал:

— Немедленно приезжай и постарайся достать водки.

— Что случилось?!

— Объясню, когда приедешь.

В те времена водку ночью можно было купить у таксистов — они этой торговлей подрабатывали. Я взял две бутылки и приехал к Юлиану. Вся разномастная посуда, что стояла у него в шкафчике на кухне, была разбита и валялась на полу.

— Юлик, что происходит? Ты что, с ума сошел?!

— С ума я не сошел. Утром я должен вылетать на Дальний Восток и знаю, что самолет разобьется.

— Что ты фантазируешь?

— Я не фантазирую. Я знаю, что он разобьется.

Прекратив этот разговор, мы выпили водки и уже сильно «теплые» поехали в аэропорт «Внуково». Там мы, выдавая себя за иностранцев (кто ж иначе бы в те времена пустил?), прошли в ресторан и добавили еще.

Все эти возлияния закончились тем, что Юлик почему-то отправился мимо охраны с чемоданом на летное поле, и это хождение завершилось в милиции. А самолет, на который он не попал, действительно разбился.

С тех пор Юлька мне всегда говорил: «Васенька, ты меня тогда спас, достав много водки. Если бы я с тобой не напился, то улетел бы».

В 1987 году Юлиан позвонил ко мне из Крыма и сказал, что у него появилась идея о создании со мной театра «Детектив».

Я привлек к этому делу моего друга Виталия Соломина. Юлик приехал в Москву, и мы в течение целого года таскались втроем по высоким инстанциям и добились нашего театра. Хотели открываться Юлькиной пьесой — он решил написать пьесу об узбекской коррупции. Мы ждали, но инстанции эту тему запретили, и открываться нам пришлось другой пьесой…

ВОСПОМИНАНИЯ РЕЖИССЕРА НИКИТЫ МИХАЛКОВА

Честно говоря, я запомнил не тот момент, когда Юлиан вошел в нашу семью, но фрагменты моих ощущений. Прежде всего страшной ревности по отношению к сестре. Вот она куда-то уходит, приходит и уже ее провожают. Какая-то другая жизнь. И, хотя сестра особо меня не баловала, ощущение того, что что-то чужеродное к нам пришло и отнимает что-то. И это, в силу моего детского возраста, меня очень волновало.

Юлик оказался человеком потрясающей контактности, удивительного, шампанского темперамента и щедрости. Еще не было богатого и знаменитого писателя Юлиана Семенова, был просто Юлик, но уже тогда обладавший огромной энергетикой и влиянием на людей.

В нашем доме он обаял всех. На меня такую волну обаяния напустил, что я покорен был абсолютно. Ведь Юлик первым стал со мной разговаривать как с равным, что всегда подкупает мальчика. Подарил монгольский меч чингисхановских времен, правда, через много лет он его забрал, решив, что меч свою миссию выполнил…

Отец Юлика — Семен Ляндрес был человек известный. Я его хорошо помню — обаятельный, с неизменной сигаретой, сутулый, все понимавший про то, что происходило, и, наверное, очень много давший Юлику в его мироощущении.

Наступала «оттепель». Юлиан весь был соткан из времени разоблачения Сталина и совершенно в него вписался. Он был очень резок в суждениях и невероятно драчлив. Дрался замечательно, потому что до этого занимался боксом.

В нашей семье Юлик был мне крайне близок. Он был старше меня на 15 лет и стал в какой-то мере наставником. Мой брат не интересовался охотой, вообще вся мачевская романтика его не трогала — он музыкой занимался, в консерватории учился. А мне все это было безумно интересно, и Юлик брал меня с собой на охоту. В определенном смысле я видел в Юлике защиту для себя. И он, действительно, оказывался моей защитой в разного рода напастях — защищал перед мамой, перед Катей, перед отцом и братом. Вообще в конфликтах, возникавших в нашей семье между мной и братом, мной и мамой, мамой и папой, Юлик всегда оказывался частью позитивного, сращивающего материала.

Именно поэтому мама его очень любила. У них были похожие темпераменты. Она тоже взрывная и быстро отходчивая. Еще они

были очень похожи фантастической работоспособностью — все, что начинали, всегда доводили до конца. Он называл ее Таточка — она разрешала ему обращаться к ней по имени. Она его — Юлочка. И это было абсолютно органично. В конце пятидесятых они вместе ездили в Китай, оттуда привезли книжку. И позднее, в его конфликтах с Катей, мама не безоговорочно принимала ее сторону.

Юлиан был чрезвычайно начитан, замечательно знал западную литературу. Он, Примаков, Бовин — это была одна компания ребят-международников. Новое поколение, знавшее все, что было, и вдруг получившее возможность говорить о том, что они знают, открыто. Они этим пользовались и сыграли громадную роль в становлении характера многих молодых, в том числе и моего характера.

В первые годы нашего общения Юлиан мне очень много дал. Просто мужской закваски какой-то. Он же споспешествовал тому, чтобы меня перестали мучить музыкой. Ведь меня заставляли играть по пять часов в день, били мокрым полотенцем по рукам.

Юлик вообще внес совершенно новую струю воспитания в наш дом — мужскую, с определенными вескими поступками и культурой отказа. Именно высокую культуру отказа, когда говоришь «Нет, я не буду этого делать. Я буду делать другое». В этом смысле он был очень яркий человек. Вообще он был планета определенная. Попадая в любую компанию, моментально становился магнитом для всех — фонтанировал рассказами, отличался острым юмором. Умел слушать прекрасно, обожал слушать и рассказывал замечательно. Будучи самим собой, он совершенно обезоруживал самых разных людей — от генерала армии до официантки. Причем в нем не было ни хамства, ни амикошонства, ни панибратства. Это был свой парень. Из оттепели в застой Юлиан переплыл достаточно органично, и там, где он появлялся, этот застой застоем быть переставал. Он придавал ему волну своим юмором, неожиданными решениями, поездками и азартом.

Если смотреть из сегодняшнего дня, то Юлиан — запечатленное время. Это битый, — как бы с незаживающими язвами всего того, что ему пришлось пережить, относя отцу посылки в тюрьму (при том, что отец до этого был большим начальником) и чувствуя отношение к себе, как к сыну врага народа, — подранок. Но все это, вместе взятое, выработало в нем огромную жизненную энергию. Силу травы, которая прорастает сквозь бетон. И в том, что он сам себя сделал, в этом было определенное наслаждение. Когда можно много зарабатывать и тратить деньги как хочешь, что угодно купить, куда угодно

поехать. Так он рассчитывался за унижение. И он никогда не обращался за помощью к моему отцу. Никогда. Это была часть его программы.

Он добился Катерины, он сам добился имени. Ведь мало кто и знал, что он — зять Михалкова. Хотя уж мог бы и сказать. Но его удерживал талант. Он не хотел его разменять, не хотел, чтобы говорили: «Ну, понятно — женился на дочке Михалкова и теперь пишет». В этом смысле мы с ним похожи.

Я не женился на одной очаровательной девушке только потому, что понимал — если это сделаю, то моя карьера кончена, ибо она начнет стремительно расти именно потому, что ее папа, условно говоря, — член политбюро. Я же хотел сам пройти путь к вершине, а не быть на нее вознесенным. Ведь занимать высоту намного проще, чем ее удерживать. Но как ты можешь ее удерживать, если ты ее не занимал, а тебя туда поставили? Юлик в этом смысле был человеком самостоятельным и бесстрашным.

То, что он написал, стало новым словом. Он замечательно работал с материалами. С архивами работал, как никто. Быстро очень, но прорабатывая их насквозь. А легкость по отношению к факту абсолютно завораживала читателя и зрителя. Он жонглировал именами: Геббельс, Геринг, Мюллер. Он заставлял читателя поверить, когда говорил, что в «этот день у Гитлера был насморк и температура поднялась до 37,3».

Недавно я вновь пересмотрел «Семнадцать мгновений весны». Это очень серьезная и очень хорошая картина. И Лиознова сработала замечательно, и играют все первоклассно, и история эта, действительно, заворожила народ, поэтому ее и повторяют. Это кабинетно-разговорная стилистика, которая интересна, как сага, которую каждый вечер смотришь, сидя в кресле, как книжку читаешь.

Интересно и бесстрашие Юлиана в трактовке образа Петра в историческом романе «Смерть Петра»…

У Юлиана были замечательные отношения со всеми структурами, от которых так или иначе мог зависеть доступ к архивам, и у него дома бывали высокие начальники, но я это расценивал не как желание выслужиться, а как необходимость, которая ему позволяла получать в руки документы и бумаги. Хотя многим казалось странным, что он так много ездил за границу, очень вольно себя вел, и некоторые говорили, что он работает на КГБ. У меня таких сведений не было и нет. Я себя тоже вольно вел в свое время. Человеку, у которого, что называется, рыльце в пуху, сложно оперировать любыми возможностями — он все равно придерживался бы немножко и скрывал что-то. Юлик же легально вел очень широкую жизнь с невероятными общениями и

встречами на самых разных, часто международных уровнях…

У него были друзья, которые в любую минуту, безоговорочно могли воспользоваться его помощью. И это при том, что он был достаточно жесток в отношениях и близко не подпускал. Но любой из тех, с кем его связывала студенческая пора или «драчливый» период его жизни, или общие воспоминания о сидевших отцах, потому что все их поколение было так или иначе тронуто репрессиями, мог на него в случае проблемы рассчитывать. В этих случаях Юлиан был очень категоричен, жесток и деятелен. Он мог позвонить в любую секунду, набрать номер любого телефона, куда невозможно добраться. И какой-нибудь недостижимый «Владимир Николаевич» для него становился Володенькой. Это было телефонное право во благо…

…В 60-х годах я снялся в фильме по повести Юлиана «Дунечка и Никита». Героя там звали Никита, а Дуню — мою племянницу, Дуней. И Володя Граннатиков — Володя Грамматиков. Это во многом биографическая и автобиографическая история. Его проблемы с Катериной, их долгие разговоры. То они сходились, то расходились…

Когда я недавно год назад случайно увидел эту картину, то всплыли все давно мною забытые тогдашние отношения — мои с Юлианом, Юлиана — с Катей, мои — с Дуней. И Москва 60-х. Абсолютно завораживающее зрелище. Время молодых надежд, которым, к сожалению, не всегда удается быть осуществленными…

Юлиан совершенно истово любил дочерей, но абсолютно, реально не был способен на семейную жизнь — лежать в гамаке, держась за руки, сидеть в шлепанцах, потом вместе нюхать цветы — это совершенно не для него было. И это разрушало их отношения с Катей, потому что ей мечталось именно о таком доме. Она потрясающе готовила, у них устраивались спорадические обеды, приглашались Рождественский, Боровик, Поженян, Дуров, водка «кончаловка» лилась рекой и все были пьяны и все кипело, бурлило, и звучали имена — Хемингуэй, Кастро, Че. Эти слеты приносили массу сплетен, разговоров, душещипательных бесед, телефонных звонков, включение во все эти переговоры огромного количества родни, но сидеть дома Юлиан не мог — все время ездил.

Я помню, как они ругались и скандалили по поводу глупостей. Когда одно цепляется за другое, а потом все вырастает до какого-то безумного, бессмысленного кома…

Зная Катерину, все зная, я все равно во время их конфликтов внутренне всегда оставался с Юликом просто из мужской солидарности.

Что мне кажется важным — Юлиан и Катя сумели не восстановить друг против друга детей. Девочки выросли, очень трезво понимая в каждой конкретной ситуации вину того или другого и никогда не принимая жесткую сторону кого бы то ни было. В этом была та грамотная внутренняя защита семьи, которая не позволяет из конфликта сделать что-то безобразное и мерзкое, вылезшее из суповой миски, что невозможно туда обратно засунуть.

Не знаю, был ли Юлиан влюбчив, но думаю, что если он мог себе позволить «лечь» под чьи-то желания, то это были желания Кати. Другие дамы, с которыми я мог его видеть, — это было совершенно не то. Катерина на него влияла. Это была связь на неосознанном уровне, на уровне молочной железы. Думаю, что в определенном смысле, его достаток и безостановочное движение в писательской карьере во многом были связаны с желанием доказать Кате, что никто ей кроме него не нужен. Что он сам ее всем обеспечит и все даст. Это в определенном смысле ее подкосило — тот самый случай, когда глаза становятся больше, чем рот. И на Юлика это производило сильное разрушающее впечатление, потому что он был по-другому воспитан. Ему ничего в руки не катилось, он всего сам добивался.

…Вспоминаю ли я Юлиана? Вспоминаю. Нет, я не сажусь на крыльцо, чтобы его вспоминать. Просто он — неотъемлемая часть моей жизни, и я не мог бы вычленить мою жизнь 50—60-х годов без образа того самого, безбородого Юлика, появившегося в нашем доме и выросшего в бородатого Хемингуэя наших дней…

ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЯ-ФРОНТОВИКА АЛЕКСАНДРА БЕЛЯЕВА

«Сапоги для Мэри»

Не располагаю точными сведениями, родился ли Юлиан охотником, но то, что он им стал после первого же выстрела по проносящемуся в поднебесье чирку, в этом я могу поклясться. И не просто стал. Он буквально заболел охотой — этим прекраснейшим и увлекательнейшим видом спорта. Естественно, в нашу уже давно сложившуюся компанию опытных охотников он вошел как полный неумеха.

И стрелять ему еще следовало научиться, и лесной грамотой овладеть, и навыков общения с природой тоже следовало поднабраться. И он, понимая это, не стесняясь и не скрывая, и расспрашивал, и прислушивался, и наблюдал. Но он привнес в новый для него коллектив много своего, такого, что сразу же заставило всех относиться к нему, как к достойному партнеру.

Теперь мне представляется, что главным, чем он вызывал к себе всеобщее расположение, были его неуемность, искренняя готовность всегда и во всем помочь товарищу и полное небрежение к тому, в каких условиях придется жить и охотиться.

Повезет остановиться в крестьянской избе — хорошо. Придется ночевать где-нибудь в шалаше, под лодкой — тоже пожалуйста. Вымокнув до нитки, терпеливо сушиться у костра, для того чтобы через час-другой снова попасть под крутой ливень, — и это его не пугало и нисколько не портило ему настроения. Ведь главное было дождаться удачливой зорьки…

В ту пору его писательская звезда только восходила. Он очень много работал. И нас не удивляло, что именно на охоте он находил разрядку и не только восстанавливал силы, но и получал массу дополнительных наблюдений и энергии, которые так необходимы для успешной творческой работы.

Мы особено часто выезжали тогда в Мещеру с ее сказочно красивой и богатой природой и в Весьегонск, завлекавший нас своей необжитостью и непередаваемой прелестью глухомани.

Впрочем, Юлиан довольно скоро почувствовал тягу к более дальним местам. А может, наслушавшись наших россказней о том, что, конечно, тут хорошо, но вот и в Карелии или в дельте Волги, уже не говоря о Ленкорани, — вот там да! — справедливо решал, что он уже и «сам с усам», и, дождавшись открытия

очередного весеннего сезона, махнул попытать счастья в охоте на гусей аж в далекое Заполярье. Потом он стал частым гостем на Каспии и на Кавказе. Ездил с нами, а иногда — один.

В одну из таких поездок мы отправились с ним вдвоем в Нальчик. Нас встретил и был на охоте нашим хозяином удивительной доброты и сердечности человек, будущий народный поэт Кабардино-Балкарии Максим Геттуев. Сам же Максим никогда ружья в руки не брал и поэтому свои хозяйские обязанности видел в том, чтобы утром отправить нас на охоту, а после нашего возвращения устроить, как и подабает у горцев, хорошее застолье.

Охота начинается от Нальчика километрах в тридцати. Четвероногих и пернатых объектов охоты множество. Но мы избрали два: кабанов и фазанов. И таким образом имели возможность поохотиться и по зверю, и по птице. Но если успех охоты по фазану зависит на девяносто процентов только от умения стрелять влет, то чтобы добыть желанный трофей с десятью- или пятнадцатьюсантиметровыми клыками, требуется выкладываться до седьмого пота.

Кабан неимоверно подвижен, крепок на рану, а в ярости свиреп и могуч. Свалить его, что называется, с первого выстрела удается далеко не сразу. Как не всегда удается и подставиться на верный выстрел. И бывали случаи, когда по одному и тому же зверю группа охотников — хочу подчеркнуть: опытных, из местных, — стреляла по десять-пятнадцать раз, а из зверя и щетинки не выбивала. А бывало и так, что по пять-шесть пуль кабан в себе уносил, и добивать его приходилось километра за два-три увала.

На таких охотах мы стояли с Юлочкой всегда по соседству, и у меня была полная возможность видеть его, как говорится, в деле. Горяч в ту пору он был немного. А во всем остальном вел себя достойно: за деревья от несущегося не него секача не прятался и мимо себя без выстрела его тоже никогда не пропускал…

— А при чем тут Мэри и сапоги? — спросите вы.

Да все очень просто. В Москву, по-моему, даже по приглашению Юлиана приехала Мэри Хемингуэй. И Юла, конечно же, решил устроить для нее охоту по-русски. Вот и пришлось мне, благо подходил размер, отдать ей свои болотные сапоги…

ВОСПОМИНАНИЯ РЕЖИССЕРА БОРИСА ГРИГОРЬЕВА

Я не могу сказать, что хорошо знал Юлиана. И склонен думать, что вообще нет людей, которые бы знали его хорошо. Мне иногда кажется, что он сам себя до конца не знал. Путался в себе. Он был очень талантлив. И широта и открытость очень легко соседствовали в нем с какой-то замкнутостью, неразгаданностью, таинственностью, а логичность и некая правильность — с невероятной импульсивностью. Весь в брызгах. Понять его было иногда сложно. Даже за долгие годы. Повторяю, он был невероятно талантлив. По натуре — где-то авантюрист, честно скажем.

Мне интересно было наблюдать за ним. Он лез в такие щели, где его никто не ждал, где он был абсолютно лишним. К каким-то архивам, бумагам, которые были недоступны взору простого смертного. Этим он досаждал многим. Я совершенно не удивлялся, когда мне рассказывали, что его выдернули с самолета, когда он пытался, без визы, разумеется, лететь к папуасам. Или ловили, когда он в Испании через горы шел пешком в Андорру.

Однажды он договорился с великим испанским тореадором Доминго о том, чтобы ездить с ним и описывать все его бои с быками. Он страшно радовался этому. Причем он добился права давать свои корреспонденции во все издания мира, какие только захочет. Советская власть запретила ему это, и он теребил бороду: «Какая поездка сорвалась!»

Он искал Янтарную комнату и показал мне в Западной Германии какое-то мрачное здание: «Вот, у меня есть план второго этажа. Видишь, четвертое окно — Янтарная комната там. И план у него действительно был. Где он его взял?!

Он обшарил весь Даллас, причем не только по поверхности, но и под землей. У него была своя версия убийства Джона Кеннеди. Очень любопытная, кстати, версия.

Как журналист он побывал в воюющем Вьетнаме и на Северном полюсе. Господи, где он только не побывал как журналист, специальный корреспондент «Литературной газеты» и «Правды»! И везде как заводной, как будто на какой-то пружине.

У него в друзьях были вдова Хемингуэя, Эдвард Кеннеди и масса лидеров арабских стран. Он брал интервью у Скорцени, что никому практически не удавалось.

Вот таков был Юлиан — неукротимый, загадочный,

таинственный, с которым было и сложно и очень приятно дружить и работать.

Иногда мы расходились, и на значительные периоды времени. Мы были достаточно дружны, чтобы позволить себе такую гадкую роскошь, как ссора, но знали, что пройдет время, мы «отфырчимся», «отдышимся» и пойдем друг к другу.

А познакомились мы с ним в середине шестидесятых. Я только закончил ВГИК, снял с товарищем диплом на студии Горького, и там же мне предложили сценарий молодого писателя Семенова по его роману «Пароль не нужен». Сценарий был о сложнейшей ситуации на Дальнем Востоке в 21–22 годах. Я прочитал, и мне он показался очень интересным — острое письмо, широта мыслей, серьезнейшее знание материала. А больше всего понравились герои.

Главный герой в этой картине — Василий Константинович Блюхер, будущий маршал, расстрелянный в 38-м году, а тогда еще — министр Дальневосточной республики и главком Народно-революционной армии, 30-летний кавалер трех орденов Боевого Красного Знамени.

Второй герой — П. П. Постышев, тогда комиссар, потом член ВКПб.

И третий герой — молодой разведчик М. М. Исаев, который по прошествии лет появился в картине «Семнадцать мгновений весны» уже под видом Штирлица. Так что экранный путь Штирлица начинался у нас, под именем Исаева. Исполнял его тогда молодой еще, азартный, талантливый Родион Нахапетов.

Была зима, мы встретились у Юлиана на даче, чтобы работать. Дачу он тогда снимал на Николиной Горе у какого-то старого большевика.

Дед был невероятно странный и добрый. Он все разрисовывал: чурка для колки дров у него была синяя, а топорище для топора — красное. Он варил смесь из зерен и меда и вмазывал это в щели в сосне, чтобы дятел прилетал и выклевывал. И это восхищало и меня и Юлиана.

Вдали лаял пес гроссмейстера Ботвинника. Мы ходили по дорожке, слушали стук дятла, лай пса экс-чемпиона мира и много говорили о сценарии, о тематике. Что-то убирали, что-то исправляли.

Перед началом работы над режиссерским сценарием директор студии Бритиков сказал: «Ты еще ни черта не знаешь про это время. Вот тебе командировка, езжай во Владивосток, в Хабаровск. Походи там, пошарь по углам, понюхай воздух. В сопки зайди, в архивы».

И я поехал. И когда рылся в архивах, то какую бы папку ни брал (за каждую папку нужно было расписываться в реестре), везде пометка «Ю. Семенов». Это меня до такой степени заинтриговало, что я решил во что бы то ни стало найти хоть одну папку, которую бы Юлиан не изучил. И вот увидел папку с одним-единственным листочком, исписанным уже выцветшими чернилами — показания малограмотного машиниста паровоза, в топке которого японцы сожгли Лазо и двух его друзей. Опять в реестре «Ю. Семенов»! Взял уж совсем сторонние документы, более позднего периода и снова — «Ю. Семенов»! У него было свойство: если он внедрялся в какую-то тему, то как кит раскрывал пасть, всасывал весь планктон (т. е. информацию), процеживал его сквозь усы и полностью слизывал. И все в голову. Потому что память у него, по его собственному признанию, была какая-то звериная, биологическая. Я не знаю, какая у зверей память, но он мог цитировать какие-то документы буквально дословно, знал тысячи имен, помнил тысячи лиц.

Когда я вернулся из Владивостока, вооружившись знанием и еще большим уважением к автору, началась работа.

Во время съемок на Дальнем Востоке Юлиан прилетел, тут же нашел какого-то майора, мастера спорта по стрельбе (хорошо помню, его звали Владимир Ильич), и они умотали на китайскую границу или даже в Китай, конечно, без визы. Вернулся он оттуда с кабаргой. Потом, правда, выяснилось, что ему эту кабаргу дали танкисты, поскольку ни на какую охоту они его не отпустили. Ребята до такой степени озверели в этих танках в сопках на границе, что когда живая душа, да еще писатель, да к тому же Юлиан Семенов к ним приехал, то они ни на минуту его не отпустили. Юлик тут же отнес эту кабаргу на кухню, чтобы ее разделали, и я эту кабаргу ел…

Вот такая замечательная была натура. Совершенно замечательная. Порой Юлик мог обмануть, вернее приврать — издержка писательской профессии, фантазии. Мог. Но предать — никогда.

Он расстраивался из-за того, что ему не давали государственную премию, расстраивался до такой степени, что напивался вдрызг. От широты натуры, так сказать. Дескать: «Что ж меня каждый год выдвигают и каждый раз отшвыривают». Это отшвыривание стало уже традицией. Я его успокаивал: «Вот у тебя рядом на даче Нагибин живет. У него тоже нет премии. Что, он плохой писатель?» «Нет, один из лучших». «Ну чего ты так бесишься?»

Ему казалось, что его, пишущего приключенческие и детективные вещи, не считали за писателя. Хотя он, несомненно,

был писателем — много думающим и много анализирующим. Я бы назвал его творчество тревожно-думающим писательством. Особенность его стиля — энергичные диалоги и кинематографичность текста. У него отсутствуют бунинские и тургеневские описания природы — озер, летящих уток и сидящих у лужицы воробьев. Его произведения насыщены интереснейшей информацией.

Юлиан уважал публику. Уважал читателя. Уважал милицию. Не потому, что они его любили, а потому что много об их работе знал. Знал, что ох как просто лягнуть человека, сказать «Продажная шкура». А ты пойди вместо него поработай. И изменишь мнение, и слова найдешь более осторожные.

Помимо романов Юлиан писал и совершенно замечательные рассказы о своем детстве и стихи, тоже замечательные, которые нигде не публиковал.

…В каком бы раздрыге Юлик ни был, он становился дома под холодный душ, растирался и садился к машинке: тюк-тюк-тюк. Он быстро печатал. Ночь наступала, а он все работал. Он не мог не работать. Это было совершенно удивительное свойство.

Я, будучи человеком созерцательным, с ленцой, поражался. «Ну отдохни. Вот собака у тебя — фокстерьер. Погуляй с ней». Нет.

Приезжаешь к нему на дачу на Пахре, идешь на веранду. Там — большущий таз, в нем кабанья голова лежит в шерсти, с клыками еще — убил где-то на Кавказе, холодец сейчас будут делать. Знаменитая бутыль, оплетенная прутьями — «Кончаловка» — водка, настоянная на черной смородине. На запах «Кончаловки» писатели собираются. Твардовский приходит. Юлик выпивает, выдыхает и снова — никого. Он и машинка.

Он бешено работал. Его стол с окном на запущенный сад был похож на какой-то огромный верстак от стены до стены. И чего только на нем не было — и рукописи, и книги, и рога, привезенные из Африки, и монеты иностранные, и какой-то истукан африканский из красного дерева, и в центре — печатная машинка. Это был его мир. И еще стеллажи, куда он ставил чужие и свои книги, изданные у нас и за рубежом (его за рубежом много издавали).

Раз мы разошлись — я отказался от одного сценария, он вспылил: «Ты такой-сякой». На все буквы меня послал, естественно. И разошлись до самой петрушки.

Прошло какое-то время, и я к нему позвонил: «Ладно, — говорю, — хватить фырчать. Давай-ка лучше подумаем, как сделать премьеру твоей хорошей повести „Петровка, 38“».

Он с живостью на это откликнулся. А надо сказать, что писал он эту повесть по-юлиановски. Пришел на Петровку к какому-то генералу и сказал: «Хочу написать о работе уголовного розыска». Генерал оказался достаточно понятливым человеком, позвонил оперативникам: «Тут писатель пришел. Пусть поживет с вами. На операциях с ним поосторожней — чтоб не пристрелили. Но жизнь чтоб нашу узнал». И Юлиан несколько месяцев был с оперативниками — разговаривал, ездил. В результате чего и родилась «Петровка, 38», а позднее «Огарева, 6».

Юлиан азартно, с жаром взялся за сценарий и довольно быстро его написал. Легко согласился с выбором актеров, исполняющих главные роли: В. Лановой, Г. Юматов (светлая ему память) и Женя Герасимов, ныне депутат городской Думы. Оператором был Игорь Клебанов.

Дальше мы пошли путем Юлиана: он нас привел на Петровку, рассказал (уже другому генералу), что мы должны снимать картину, тот вызвал полковника. «Покажите им службы, которые можно показывать, познакомьте с сотрудниками, с архивами. В общем, помогите освоиться». И мы в течение нескольких дней знакомились с людьми, кстати с замечательными людьми.

Генерал даже разрешил декорацию построить на территории Петровки. И милиция за окнами ездила, поисковые собаки ходили — удивительный фон. Такой нам понятливый и хороший генерал достался…

Конечно, бывали и трудности. Кино — всегда не простое дело. К примеру, сняли мы Васю Ланового в телебудке, а потом пошла панорама. Игорь Клебанов ведет эту панораму, пух тополиный летит. Тут я увидел — по улице Горького кортеж какой-то движется. «Давай, — говорю, — на улице Горького панорамируй. Игорь человек опытный, краем уха услышал и повел камеру. И точно вышел на этот кортеж с длинными машинами. Получился очень хороший кадр от локального телефонного разговора, через эту панораму, на большую Москву и на ее жизнь.

Тут выяснилось, что в кортеже был какой-то посол и кадр надо вырезать.

— Ну и что, что посол?

— Посол, значит показывать нельзя.

— Так давайте посмотрим на экран. Если вы сможете разглядеть флажок страны на его машине, то я отдам все мое имущество! Но ведь флажка-то не видно.

— Все равно нельзя.

— Почему?!

— Потому что посол.

Мы к Юлиану. «Юлик, помоги». Он туда, сюда. Нельзя и все. И таких случаев, когда создавалось впечатление, что упираешься в стену, было немало. Например, когда снимали про КГБ, нужно было снять здание и пустить на его фоне титр. Мы сделали стекла с надписями, поставили их возле площади Дзержинского и собрались снимать. Вдруг между надписями и зданием становится человек. Мы просим:

— Отойдите, пожалуйста. Нам снять нужно.

— Не отойду. Я сотрудник. Снимать нельзя.

— Почему нельзя?

— Нельзя.

— Ну почему? Смотрите, беру фотоаппарат, щелкаю здание. Это можно?

— Можно.

— А почему титр тематический на фоне здания нельзя установить? Фильм-то про разведку!

— Нельзя.

Мы снова к Юлиану. Он звонит к нашему консультанту — генерал-майору КГБ, замечательному человеку. Он сразу с комитетом связался, но ничего добиться не смог — упрямилось другое ведомство. Пришлось нам снимать в другом месте. И в этих условиях Юлиан Семенов работал. И роман «Тайна Кутузовского проспекта» — об убийстве Зои Федоровой — ему не так-то просто было написать. И деньги на съемки фильма по этой вещи мы в 91-м году так с Игорем Клебановым и не нашли[131].

…Юлиан организовал целый концерн «Совершенно секретно», который затем перешел к Артему Боровику. Но это же Юлиан все создал. Он же организовал на базе газеты издание лучших детективов мира, выходивших целыми сериями. Вообще, я не уставал удивляться, как ему все это удавалось. Ему помогало еще и знание иностранных языков. Мне, да и другим друзьям он грубовато говорил: «Идиоты, почему вы боитесь говорить? Пусть с ошибками, но говорите!»

Мы раз снимали пресс-конференцию Юлиана со студентами из института Патриса Лумумбы, которые по-русски — ничего. Смотрю, он с африканцами болтает, с греком каким-то болтает. Потом мне объяснил: «Вот грек знает 5 слов по-итальянски, а я — 8. Я хорошо знаю английский, а он — испанский, которым я владею плохо. Я со школы немного помню немецкий, а грек, хоть ни бельмеса в немецком, учил польский. Мы всегда с ним из этих малостей соберем „свой язык“, найдем тему для разговора и прекрасно поговорим». Так он там и стоял, окруженный толпой, и всем что-то рассказывал. У него была удивительная

коммуникабельность и притягательность.

Как-то в Карловых Варах мы с ним работали над сценарием, тут один ветеран из туристической группы из Иркутска возьми и брякни в компании: «А я ведь здесь, Юлиан Семенович, воевал. Ранен был километрах в двадцати отсюда, в деревеньке. Меня местные жители подобрали и одна крестьянка выходила. Я потом опять воевал».

И пошло-поехало. Пошел «пресс» на нашего несчастного ветерана — связь с заграницей и т. д. и т. п.

Юлиан как об этом узнал, сразу помчался к консулу. «Немедленно организуйте нашу делегацию вместе с ветераном в ту деревню. Найдите крестьянку. Пусть они встретятся!»

Консул поехал в туристическую группу деда, а тот, запуганный, уже и сам не рад: «Ошибся я. Не здесь я был ранен. Перепутал. И вообще ранен не был».

Юлька у консула бушевал: «Это что же происходит?! Как же мы наших людей унижаем глупыми запретами и подозрительностью!»

В таких ситуациях он был принципиален и бесстрашен. Кидался, как бык на копье.

Юлик рано ушел. Ведь он был крепким, как орех. Еще мог бы жить.

Последний раз я его видел на даче, после глубочайшего инсульта. Он лежал седой, тощий. Над ним хлопотала его замечательная жена Катя.

Он нас с Игорем Клебановым узнал, заплакал беспомощно. У меня сердце защемило и тоже слезы потекли.

Катя показала нам листок. «Вчера попросил вот бумагу и ручку. Хотел писать».

Я посмотрел на листок — будто фрагмент радиограммы. «Здорово, Юлька».

Вскоре он скончался. Эта встреча стоит у меня перед глазами.

ВОСПОМИНАНИЯ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА КГБ ВЯЧЕСЛАВА КЕВОРКОВА

Наша дружба с Юлианом началась в конце семидесятых, но знакомство состоялось за десять лет до этого, когда он собирал материал для романа «Семнадцать мгновений весны» и встретился с моим шефом — интереснейшим человеком и красавцем (высоким, с усами) Норманом Бородиным, работавшим во время войны нелегалом во Франции.

Норман тогда позвал меня с собой: «Тут один молодой писатель просит рассказать о моей нелегальной работе. Присоединяйся».

Встретились мы в ресторане, и Юлиан очень подробно расспрашивал Бородина о жизни во Франции. Тот, помимо прочего, упомянул о своей жене Татьяне, которая была там вместе с ним и, когда ждала ребенка, страшно волновалась: «Ведь я же буду кричать по-русски!» Я те слова пропустил мимо ушей, а когда увидел в фильме сцену, где Кэт разговаривает об этом с мужем и Штирлицем, просто ахнул: «Вот это настоящее писательское! То, что Толстой умел делать, — тщательно собирать детали и потом удачно и к месту их использовать».

Помимо Бородина Юлиан встретился тогда со многими нелегалами, оттого и роман получился замечательный, а образ Штирлица — сочный и живой. Прототипа у него, как известно, не было, образ этот — собирательный, но, на мой взгляд, наиболее близок к нему Коротков, действительно работавший во время войны в Германии. То, что и сейчас фильм регулярно показывают, — закономерно, ведь каждому новому поколению хочется посмотреть на Штирлица.

Я одним из первых узнал о некрасивой истории с награждением участников фильма. У меня были хорошие отношения с помощником Брежнева — Агентовым, очень умным человеком, этакой ходячей энциклопедией, он-то мне и рассказал, что Брежнев на даче любил по вечерам с внучкой Витусей смотреть в своем кинозале хорошие фильмы.

По чьей-то инициативе ему «подсунули» «Семнадцать мгновений весны». Досмотрев фильм до середины, Брежнев вызвал помощников:

— Почему раньше его не видел?! Почему никто не доложил мне об этой истории?

Те стали оправдываться. Досмотрев до конца, Брежнев вызвал помощника Александрова и велел подготовить список к

награждению участников фильма. Тот его быстренько составил и услужливо представил Брежневу на подпись. Брежнев подписал: тому орден, этой орден и т. д. Юлиана в списке не было.

Я зашел к Александрову и говорю:

— Как же так получается, исполнители награждены, а автора романа и сценария оставили в стороне?

Александров нехотя признал, что это — упущение, но менять что-либо отказался.

— Пойми, у нас есть свои правила игры. Если мы сейчас пойдем и скажем, что мы забыли Семенова, значит аппарат не сработал. А аппарат не любит, когда выясняется, что что-то не сработало.

Так и остался Юлиан без награды…

Прошло несколько лет после нашей первой встречи (мы с ним в это время не виделись), и наступил момент, когда наша контрразведка нащупала шпиона «Огородника». Долго за ним ходили, а когда убедились в правильности наших предположений, я на свой страх и риск позвонил Юлиану.

Увиделись мы с ним в ресторане «Узбекистан», что недалеко от Лубянки, и я рассказал ему всю историю. Юлиан моментально загорелся об этом написать. Андропов, который к нему прекрасно относился, сразу дал добро.

Через несколько дней Юлиан зашел ко мне в Комитет. Я подготовил три тома дела и говорю:

— Вот, посмотри, а я отойду в столовую.

Прихожу через сорок минут. Его нет. Спрашиваю секретаря:

— Зина, а где же Семенов?

— Сказал, что все прочел, и ушел.

Я опешил — мы три года писали, а он за сорок минут прочел?!

При следующей встрече Юлиан мне объяснил:

— Документы я просмотрел, но мне легче выдумать, чем следовать за всеми этими «подслушками» и «наружками». Автор — хозяин положения.

Через три недели вернулся ко мне в кабинет, положил на стол объемную папку и спросил:

— Где тут телефон Андропова?

Я показал. Юлиан решительно снял трубку, его сразу соединили, и я услышал знакомый голос (кремлевка очень хорошо была слышна):

— Андропов слушает.

— Юрий Владимирович, Семенов докладывает. Роман «ТАСС уполномочен заявить» написан за 18 дней.

На том конце провода воцарилась долгая тишина, а потом

Андропов спросил:

— Юлиан Семенович, так быстро — не за счет качества, я надеюсь?

А Юлиан в ответ:

— Да что вы, разве Семенов пишет плохие романы?! Будете зачитываться.

Так и началась наша с Юлианом дружба. Надо сказать, что в контрразведке у него было только два друга — я и заместитель руководителя контрразведки Виталий Константинович Бояров. Мы и стали консультантами фильма «ТАСС уполномочен заявить».

Юлиан всегда был душой компании, собирал у себя на даче интереснейших людей — Ролана Быкова, Льва Дурова, Эльдара Рязанова. Дурова невероятно ценил, говорил: «Вот гениальный актер и не менее гениальный хозяйственник» и с гордостью показывал мне то или иное новшество: «Это мне Левушка посоветовал сделать. И это тоже».

Юлиан был всегда настолько уверен в себе и в правильности того, что он делает и говорит, что можно было у него этой уверенности подзанять. Она сквозила во всем и порой носила несколько гротескный характер.

Однажды (я уже работал в ТАССе) ко мне зашел один испанский журналист. Тут заглядывает Юлиан и сразу начинает что-то увлеченно испанцу рассказывать. Долго они общались, потом Юлиан ушел, и довольный журналист обернулся ко мне:

— Какой обаятельный человек! А на каком языке он говорил?

— По-моему, по-испански.

— Да неужели?!

Эта вера Юлиана в то, что все делает правильно, очень ему помогала. Да он, кстати говоря, и делал все правильно, начиная от поиска Янтарной комнаты и похищенных во время войны ценностей и вплоть до основания газеты «Совершенно секретно».

В какой-то мере Юлиан был кудесником — он очень многое предвидел. Будто руками ощущал грядущие события. Это заметно в вещах, которые он написал. А еще он удивительно говорил о любви: «Любить я умею, а писать о любви не могу. И может быть, не смогу никогда. У меня есть две точки любви. Первая — мои дочери. Они — самое главное. Если завтра понадобится отдать им кожу — я отдам не раздумывая. Вторая — работа». И это было абсолютной правдой.

Юлиан никогда не преклонялся перед представителями власти. Я как чиновник должен был с секретарем ЦК или членом политбюро соответствующим образом себя вести, а он звонил по кремлевке, к примеру, к Лигачеву и говорил:

— Я вот послал тебе мои сочинения в пяти томах (причем непонятно было, просил тот книги или нет), а теперь у меня вопрос с бумагой для моей газеты «Совершенно секретно».

Я его вразумлял:

— Юлик, все же это член политбюро, можно бы с ним и на «вы».

На что он мне отвечал:

— Почему он со мной на «ты», а я с ним — на «вы». Я — писатель. Он уйдет и его забудут, а меня долго будут помнить.

Многие чиновники Юлиана побаивались. Боязнь писателей, журналистов тогда была очень развита. Она и сейчас существует. Каждый, кто чувствовал за собой какой-то грех, старался от общения с Юлианом уходить, справедливо рассудив, что если он столь талантливо написал образ Штирлица, то так же талантливо может написать и отрицательные образы и лучше от него держаться подальше.

Об отношениях Юлиана с Андроповым нужно рассказать отдельно. Юрий Владимирович был человеком одиноким — все члены политбюро его побаивались, видя в нем сильный интеллект, который у них, скажем откровенно, отсутствовал.

Первое, что я услышал от него, когда он пришел в Комитет: «С интеллигенцией нельзя ссориться. Интеллигенция формирует общественное мнение».

Юлиана он всегда любил, прочел все, что тот написал (Юрий Владимирович вообще очень много читал). Разведка в их отношениях занимала маленькое место. Для Андропова был ценен и важен общеполитический взгляд Юлиана. Он считал, что нужно с такой высокой интеллигенцией общаться. Их взгляды во многом совпадали. Юрий Владимирович стоял на том, чтобы ввести хозрасчет, разрешить частный сектор, демократизировать выборы. То, что сейчас реализует Китай, было, по сути, андроповской и юлиановской идеей. Если бы Андропов не умер, мы бы все жили в несколько иной ситуации.

Поскольку Юлиан общался с Андроповым, дружил со мной и Бояровым, и, еще со времен «Семнадцати мгновений весны», часто встречался с нелегалами — Бородиным, Удиловым и многими другими, консультировавшими его фильмы, то поползли слухи о том, что Семенов — тайный агент. Видели, что Юлиан с нами общался, знали, что он пользовался какими-то материалами, и делали «соответствующие» выводы. Никому и в голову не приходило, что у него могут быть человеческие отношения с по-человечески мыслящими людьми.

Юлиан и не думал эти слухи опровергать. Наоборот, всячески их приветствовал и сам же распространял.

Он часто приходил ко мне на Лубянку и по полтора часа обзванивал своих знакомых по правительственной связи. Дескать, «Видишь? Если что-то обо мне услышишь в будущем, не удивляйся. Я — близок к власти». А однажды произошла такая история.

Сидим мы с Юлианом в ресторане. Приходит мрачный, как ночь, Бояров.

— Что такое, Виталик?

— Да был вчера на приеме. Подошла ко мне вполне цивилизованная дама (жена одного сценариста) и говорит: «Виталий Константинович, мы тут смотрели фильм по сценарию Юлиана Семенова. Ведь это же ясно, что он — ваш агент. А мой муж тоже мог бы писать про шпионов». Я в ответ: «Сама постановка вопроса некорректна. Не хотел бы на эту тему говорить».

И тут же предлагает:

— Давайте я завтра же выступлю по телевидению и, как заместитель руководителя контрразведки заявлю, что Юлиан Семенов нашим агентом никогда не был.

Юлик вскочил:

— Только не это! Очень тебя прошу меня не дискредитировать! Если хочешь выступить, то, наоборот, скажи, что я — глубоко зашифрованный агент, выполняющий какие-то сверхсекретные задания, которые никому неизвестны.

…В Горбачева Юлиан поначалу очень верил, писал ему письма, разговаривал с ним, но тот так много выступал, что в конце концов всех нас заговорил; и как-то Юлиан сказал мне: «Оправдает ли он надежды, которые мы на него возложили?» Потребовалось время, чтобы эти опасения подтвердились…

У Юлиана было неровное отношение к оружию. Он обожал ружья, пистолеты, ножи, а мне из всех командировок привозил в качестве сувениров патроны разных калибров. Один раз даже патрон от гранатомета привез.

Я держал эти дары на своем рабочем столе в ТАССе. За годы патронов накопилось столько, что моя секретарь аккуратно, по размеру, сложила их в ящик стола. Выглядело это абсолютно невинно, но во время путча пришли с проверкой следователи, наткнулись на патроны и запаниковали. А как узнали, что я — генерал КГБ, то сразу заявили: «Ах так, теперь нам все понятно. В КГБ ведь и Крючков начинал. Вы все — заодно!»

Следователь Морозов, сверля меня глазами, достал папку с подшивкой, а там — фото патронов и траектории их полета! Я засмеялся, а он сурово:

— Зря смеетесь. Теперь-то самое трагическое и начнется. С

этими документами вам не отвертеться.

— Хорошо, — согласился я, — но вы не будете отрицать, что все патроны — разных калибров?

— Да, разных.

— Так значит к каждому патрону мне было нужно отдельное оружие, вплоть до гранатомета! Где же все это?

Следователь задумался, посидел и, вздохнув, ушел ни с чем…

Юлиан в это время уже тяжело болел — инсульт. Я приезжал к нему на дачу и очень остро чувствовал, насколько ему было трудно говорить, ходить. Об этих последних встречах вспоминаю с чувством большого горя…

Сейчас я нахожусь в таком возрасте, когда приходится терять людей. Никуда не денешься — биологический процесс. Каждый уходящий или оставляет в сердце и душе что-то, или просто забываешь о нем. Все эти годы я помню Юлиана. Он был очень светлым человеком. И эта «светлость» его во мне осталась. Часто у меня возникает желание посидеть с ним, обсудить ту или иную ситуацию, послушать его политические прогнозы и анализы, в которых он был так точен, просто увидеть…

На днях я звонил к Боярову: «Знаешь, мне не хватает Юлиана», — сказал он.

ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЯ ВАЛЕРИЯ ПОВОЛЯЕВА

Писателем Юлиан Семенов был выдающимся. Известность его могла сравниться только с популярностью его героя штандартенфюрера СС Штирлица. Со страниц книги, а затем с экрана фильма «Семнадцать мгновений весны» Штирлиц перекочевал на видеокассеты, в анекдоты, растиражирован ныне по всему свету.

Рассказывают, что когда Брежнев посмотрел все серии «Семнадцати мгновений весны», то распорядился: Штирлицу, если живой, немедленно присвоить звание Героя Советского Союза. Если мертвый — посмертно.

Леониду Ильичу объяснили, что Штирлиц — фигура вымышленная, но он не поверил и вручил золотую звезду актеру Вячеславу Тихонову, исполнявшему роль легендарного разведчика. Правда, не Героя Советского Союза, а Героя Социалистического Труда.

На съемочную группу посыпался дождь наград, а автор не получил ничего.

Роман «Семнадцать мгновений весны» многие справедливо считают лучшим произведением Семенова. Построен он очень динамично, написан сочно, литературные образы выверены, каждый персонаж запоминается. Это, на мой взгляд, вообще лучшее произведение приключенческого жанра в литературе России двадцатого столетия.

Юлиан написал его на одном дыхании. Работоспособность и скорость письма у него была огромная. Роман этот он написал за две недели, сидя в Крыму на пляже, под стенами гостиницы «Ялта».

Каждое утро он выходил на пляж как на работу, ставил на стол под грибком пишущую машинку и начинал стучать по клавиатуре. Страницы спархивали с машинки будто птицы.

Вскоре читатели знакомились со Штирлицем на страницах журнала «Москва». И о нем сразу заговорили.

Меня Юлиан заставил написать первую детективную книгу. Произошло это так. Мы с ним состояли в редколлегии журнала «Человек и закон», представляя там Союз писателей. Детективов я никогда не писал, ограничивался повестями на нравственно-этические темы.

— Тебе нужно выступить в журнале с детективом, — настаивал Юлиан, — обязательно.

— Но я же в жизни никогда не писал детективов. Даже не знаю, как это делается.

— Детектив пишется так же, как и любая книга, — пером. Затем перепечатываете на машинке.

— И все-таки это особый род литературы, — сомневался я. И Юлиан это почувствовал.

— Знаешь, как надо писать детектив? — неожиданно спросил он и сощурился, будто во что-то целился.

— Как?

— Чтобы самому было страшно. Когда самому бывает страшно — значит, детектив удался.

Так у меня появилась первая детективная повесть. Потом она была издана-переиздана раз десять, не меньше.

Приехали мы как-то с ним в Ялту, в Дом творчества писателей. Юлиан тогда работал над романом «Горение» о Дзержинском.

Не успел я распаковать чемодан, как Юлиан появился в номере.

— Пошли в город!

Через десять минут мы были уже внизу. Для начала заглянули в аптеку.

— Здесь мы приобретем ялтинский «хрусталь», — объявил он.

Мы купили штук двадцать мензурок, испещренных рисками — 20 мл, 30 мл, 50 мл для дозированного приема лекарства.

— Хрусталь для званых приемов, — сказал Юлиан, — будем пить из «мерзавчиков» крепкие напитки.

— А менее крепкие?

— Из обыкновенных стаканов. Как Штирлиц, отмечающий вступление Красной армии на территорию Германии в 1945 году…

Но самую значительную покупку Юлиан сделал на рынке, в хозяйственном магазине. Он купил… большой ночной горшок, эмалированный, с крышкой и невинными голубыми цветочками по бокам.

Вначале я не понял, зачем это. А на следующий день началась работа — жесткая, без поблажек самому себе, изнурительная.

Он наполнял горшок водой из-под крана, опускал туда кипятильник. Потом высыпал пачку чая. Целую. Со слонами, нарисованными на упаковке. Был такой популярный «Индийский» чай. Напиток получался такой крепкий, что им хоть самолеты заправляй.

За работой, до обеда, Юлиан выпивал целый горшок этого черного чифиря. После обеда заваривал второй. И так — каждый день.

Через месяц пребывания в Ялтинском доме творчества был готов очередной том «Горения» — толстенный, написанный захватывающе интересно. Я не знаю ни одного другого писателя, который мог бы работать так, как работал Юлиан Семенов.

Однажды мы с ним ехали в поезде. Он печатал, а я читал. Так вот, чтение занимало у меня больше времени, чем у него — печатанье! Стиль его хорошей, доброй прозы всегда был прекрасен и своеобычен.

Хочется вспомнить о его политических пристрастиях — или непристрастиях. Хоть и создал он знаменитую Международную ассоциацию политического детектива (МАДПР), а следом за ним — издательство и газету «Совершенно секретно», но все-таки находился вне политики. В рассорившемся, вконец разодравшемся Союзе писателей он дружил и с «демократами» и с «патриотами», строя свои отношения по принципу личных симпатий. А уж за кого тот или иной стоит горой — за Ельцина, Горбачева, Зюганова или Руцкого с компанией, ему было наплевать. Главным мерилом оставались человеческие качества.

То же самое было присуще и его творчеству: он болел за белых и за красных, все заключалось в личности, которую описывал. И по ту и по другую сторону стояли герои, великолепные характеры. Они сами, своей жизнью и поступками определяли к себе отношение.

Юлиан Семенов был человеком дела и чести.

Однажды он приехал в Союз писателей. Я тогда работал секретарем правления. Отвечал и за правительственную связь.

— Старичок, мне надо позвонить по вертушке, — сказал он мне.

— Звони.

Трубку на той стороне провода поднял не секретарь, не референт, не помощник, не советник, а сам хозяин телефона.

— Юрий Владимирович, это Семенов Юлиан Семенович. Я только что прилетел из Парижа. Вопрос о переносе праха Шаляпина окончательно согласован с родственниками и с официальными лицами Франции. Теперь нужно Ваше согласие. Согласны? Я буду держать Вас в курсе дела. Хорошо?

Разговаривал Юлиан Семенов с Андроповым, тогдашним руководителем страны. Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Через некоторое время прах Шаляпина был перевезен в Россию. Совершено это было с помпой, с высокопарными речами. Юлиана же, который все это сделал, откровенно оттеснили в тень. Юрия Владимировича Андропова к тому времени уже не стало. Именно Юлиану Семенову мы должны в первую очередь поклониться за то, что прах великого певца вернулся на Родину.

Юлиана Семенова много раз пытались задвинуть в тень, но и в тени такие люди, как он, выглядят ярко. А Юлиан Семенов был ярким человеком.

А теперь о самом горьком.

…В тот промозглый осенний вечер сидели мы с Юрием Сенкевичем у меня на кухне, что-то обсуждали, потягивая из бокалов вкусное красное вино. Разговор зашел о Юлиане. Он уже долго болел — перенес один инсульт, потом второй, за ним третий. Надо бы проведать его, съездить в Красную Пахру, где он жил, да все дела, дела.

Но в тот вечер мы решили твердо: завтра едем. Позвонили жене Юлиана — Екатерине Сергеевне.

— Конечно, приезжайте, — ответила она. — Только общаться с Юликом можно минут восемь, от силы десять. Он всех узнает, живо реагирует, но быстро слабеет. Приезжайте! Он будет очень рад вас видеть.

Все-таки страшная болезнь — инсульт. И речь потеряна, и координация движений, и мир видится в черных красках. Для Юлиана, который всегда находился в движении, собирал вокруг себя множество людей, это было более чем трагично…

Но на завтра не получилось. Сенкевич не смог отменить телевизионную съемку…

А через день раздался телефонный звонок, от которого у меня едва не остановилось сердце: Юлиана Семенова не стало.

Так мы с Сенкевичем к нему и не успели съездить, повидать еще живым. И такое безоглядное, жесткое чувство вины сидит в нас до сих пор, что хоть криком кричи.

Что касается дочерей Юлиана Семенова, то старшая стала художницей, а Оля успешно занимается журналистикой, растит дочь Алису и сына, которого в честь отца назвала Юликом. Портреты улыбающегося отца, деда ее детей, замечательного писателя и человека Юлиана Семенова есть в каждой комнате ее дома.

ВОСПОМИНАНИЯ АРТИСТА ЛЬВА ДУРОВА

Время идет, и всплывают воспоминания о времени, о людях во времени. Странное дело: одних мы вспоминаем гораздо чаще, других — только навскидку. Очевидно первые были неповторимы — мы таких больше не встречаем, или, как утверждает популярный слоган, «Таких больше не делают!» Есть люди, которые не повторяются, и вот к таким-то и относился Юлиан Семенов.

Мое знакомство с Юлианом Семеновым не ограничивается рамкой фильма «Семнадцать мгновений весны». Да, конечно, я довольно долго знал его заочно, ибо читал его произведения, — а каждая книга Юлиана Семенова была бестселлером, таким литературным знаком своего времени, и знаком очень ярким. А сколько картин было снято по его сценариям! И я ни в одной не снимался.

Потом пришло очное знакомство, множество совместных акций, смешных эпизодов, иногда странных, подчас нелепых, а в целом это выросло в фигуру, которую я называл Фальстафом за жизненную неуемность. Это был подлинный вечный двигатель, еще не созданный научной практикой, но воплощенный в человеке!

Впервые (после съемок «Семнадцати мгновений весны») мы встретились в Германии, на Мюнстерском фестивале. Он возник резко, сразу после нашего приземления в аэропорту, и тут же, «взяв в плен» меня и Леню Каневского, стал рассказывать о городе, о своей корреспондентской работе. Рассказывал бурно, перебивая свой рассказ вопросами о делах и планах нашего театра.

Будучи корреспондентом «Литературной газеты» в Германии, Юлиан снимал отдельный дом — странное бетонное здание, эдакое бунгало, куда он нас и повез.

Там висели замечательные картины его дочери Дарьи, о творчестве которой мы выслушали увлекательную лекцию. Ему было мало, что мы безоговорочно признали Дарью потрясающим художником, он договорился до того, что все импрессионисты пошли от Дарьи. И хотя все это Юлиан рассказывал чрезвычайно увлеченно, в то же время он умудрился разжечь камин, поджарить так какие-то сосиски и… подготовить выпивку!

Леня Каневский, очевидно думая, что Юлиан богатый человек, сделал попытку его «расколоть»: «Ой, говорят, здесь в магазинах есть замечательные плащи, а у меня всего 70 марок». И Юлиан без паузы, продолжая жарить сосиски, сказал: «Леня!

Продай Родину, добавь 70 марок и купи себе плащ». Все мимоходом. Продолжая готовить стол. И больше к этому не возвращаясь.

А когда Юлиан показывал нам Бонн — городские достопримечательности и музеи, оказалось, что он прекрасный знаток искусства, живописи. Я был потрясен его эрудицией и гордился наличием столь грандиозного гида.

Позднее мы встретились в Ялте, где я снимался и жил в доме отдыха «Актер». При этом я регулярно ходил в гостиницу «Ялта», в которой был бассейн.

И вот однажды, только я спустился по лестнице, увидел пробегающего мимо таким мелким-мелким шажком в трусах и майке Юлиана Семенова.

Мельком взглянул на меня и бросил через плечо: «Левочка, присоединяйся».

Я почему-то присоединился и таким же мелким шажком затрусил по бетонной дорожке.

«Я каждое утро бегаю трусцой. Ты не бегаешь?»— обращается ко мне Юлиан.

Смущенно говорю, что нет.

«Вот теперь будешь бегать».

Итак, мы бежим, а он говорит: «Сейчас добежим до палатки и побежим в обратную сторону». И только мы подбегаем к палатке, оттуда моментально «высовываются» два фужера с апельсиновым соком.

Юлиан комментирует: «Так, принимаем коктейль „Юлиан Семенов“ и бежим обратно».

Я начинаю пить и понимаю, что это не совсем апельсиновый сок, а сок с чем-то очень крепким! Но рассуждать-то некогда — надо дальше бежать, в обратную сторону.

Так, а обратная сторона, где кончается? Правильно, у той же палатки с коктейлем «Юлиан Семенов».

Не помню точно, сколько кругов мы сделали. Но мне сделалось уже совсем жарко, а чувствам — убежденно.

И когда Юлиан сказал мне: «Меня кое-кто ждет в номере, и я надеюсь, что ты примешь участие в одном деле».

Об отказе с моей стороны не могло быть и речи.

В номере его действительно ждал человек крупных габаритов с огромным портфелем.

Увидев его, Юлиан скомандовал: «Едем покупать дачу!»

Втроем сели в машину и поехали в Алупку.

Товарищ с портфелем оказался такого же статуса, что и я: это был директор карьера, приятель Юлиана, приглашенный также поучаствовать в одном деле.

Наконец мы подъезжаем к какому-то зданию с часовыми, нам козыряют и открывают ворота. Далее коридоры, кабинеты, в одном из которых произносится: «Товарищ Семенов, все в порядке, все оформлено, печати есть, подписи есть, пожалуйста!»

Вручаются какие-то документы. В ответ произносится «спасибо», и начинается обратный ход по коридорам.

Все это сопровождается бесчисленным козырянием и демонстративным почтением.

Садимся в машину и едем в деревню Мухалатку.

Оказывается, мы были в каком-то «компетентном органе», без санкции которого в то время в Крыму невозможно было ничего ни купить, ни продать.

Очевидно, оказать услугу для Юлиана Семенова, который достаточно серьезно и много писал о работниках этих органов, им было весьма приятно.

И вот мы въезжаем в Мухалатку, образно говоря, на руины бывшего дома.

Продавец руин, по лицу — давно и сильно пьющий, просто счастлив избавиться от своей недвижимости. Он с радостью подписывает бумаги, а подошедшие представители местной власти тоже ставят свои подписи. При этом последние говорят: «Только товарищ Семенов, Вы знаете… Вы должны придерживаться параметров вот этого… вот этих… этой руины. Вы не имеете права расширяться».

Я, поминая наш прием в «компетентном доме», ожидаю от Юлиана полного разворота и в словах и в действиях, а он без паузы, твердо так: «Хорошо. Пойдем вверх!» Не знаю, во сколько этажей он выстроил дом в Мухалатке. Но главное — вверх, а не вширь. По закону, а не по беспределу.

На обратном пути в гостиницу мы встретили на шоссе понурую группу киношников, снимавших какой-то фильм с участием Андрея Миронова.

Стоп! Юлиан выскакивает из машины и залихватски командует: «Вперед! Танки вперед! Кавалерия вперед! Ура! И потом все в корзину».

Киногруппа опешила, оживилась, а Юлиан тут же прыгнул в машину и сказал: «Поехали!»

Я только в зеркальце разглядел в недоумении расставленные руки Андрея Миронова.

Когда приехали в «Ялту», в огромном портфеле нашего коллеги по экспедиции оказались не бумаги, а много-много вкусного и веселящего. Так мы отметили приобретение будущей мастерской для прародительницы импрессионистов, художницы Дарьи Семеновой.

В той же «Ялте» я оказался однажды в постели Семенова с самим Семеновым.

«Зайди ко мне». Зашел. Огромный номер и огромная двуспальная кровать болотного цвета. Вокруг этого болота груды книг и исписанной бумаги, как торф на поверхности. Естественно, «Ложись», так как сидеть негде.

Уложив меня, Юлиан ложится рядом и спрашивает: «Хочешь, я прочту тебе несколько глав из книги о Столыпине?» Я: «Интересно». И он стал читать. Это было безумно интересно. Художественное историческое исследование. Сколько материала он перелопатил! И эти груды были маленькой толикой его источников!

Три дня я провел в номере Юлиана, а он читал мне Столыпина. В доме отдыха «Актер» меня считали исчезнувшим, а когда я пришел туда, то честно сказал: «Три дня провел в постели у Юлиана Семенова».

Семенов был, конечно, редкий, потрясающий человек. Даже его обиды носили какой-то вселенский характер. Когда наверху было решено наградить создателей картины «Семнадцать мгновений весны», то в наградном списке не оказалось только одного человека — писателя Юлиана Семенова.

Юлиан был безутешен. «Бог с ними, — говорил я ему. — Ну нет и нет, вот и меня вычеркнули из списка, потому что негодяи по наградам перевесили положительных».

«Лева, это я их родил… Я родил Штирлица, всех… всех, ну как же так…»

Это была скорбь создателя, которого отрывали от детей. Именно скорбь, а не оскорбленная амбиция.

И еще одна маленькая, но провидческая история связана с Юлианом.

Я долго охотился за настольной мобильной лампой, которой можно было придать «любую форму».

Я как-то зашел в магазин «Свет» на 3-й Фрунзенской и поинтересовался. А в ответ слышу: «Есть такая лампа, причем только одна, но ее заказал Юлиан Семенов».

И тут я пошел в атаку: «Знаете что, продайте мне! Он не будет сердиться! И потом он сейчас за границей, а пока вернется, то лампа покроется толстым слоем пыли и потеряет товарный вид!»

В общем, лампу они мне продали.

Прошло определенное количество времени, которое я стойко выдержал, и зашел опять в магазин. Осторожно спрашиваю: «Не появлялся Семенов?»

«Конечно появлялся».

«Ну, возмущался?»

«Нет, он сказал, раз Левочке это нужно… — А потом добавил: — Ему мало того, что он в театре играет, еще и писать надумал?».

Можете себе представить, ведь как в воду глядел! Я «записал». И когда через много-много-много дней и ночей сел за свои «Грешные записки», то светила мне именно лампа Юлиана.

ВОСПОМИНАНИЯ БАРОНА ЭДУАРДА ФАЛЬЦ-ФЕЙНА

Я узнал и полюбил Юлиана почти тридцать лет назад. Ему рассказали обо мне в Женеве, в Сотби. Вот, мол, есть такой русский барон в Лихтенштейне, во многом сможет вам помочь. Он приехал. И мы стали друзьями.

Как-то Юлиан предложил: «Эдуард, подключайся к поискам Янтарной комнаты». Я согласился. В нашу международную группу поиска входило десять человек: сам Юлиан, Георг Штайн, Жорж Сименон, Джеймс Олдридж, люди из разведки Германии и Англии.

С Юлианом, который просил меня привлечь как можно больше знаменитых людей, мы ездили к Марку Шагалу на его виллу «Колин» в Сен-Поль де Ванс. Ему, конечно, наша идея очень понравилась.

Мы начали работу. Писем приходило огромное множество. Некоторые писали о том, что им известно место, где спрятана Янтарная комната, и просили прислать необходимую сумму для последних поисков.

Вначале мы с Юлианом по русской легковерности все принимали за чистую монету, и я финансировал каждого. Потом стали осторожнее. И когда ко мне обратился немец Хайм Манн, жуликоватый, на мой взгляд, автор «мемуаров» Гитлера, им и выдуманных, уверяя, что имеет неопровержимое свидетельство пятнадцатилетнего жителя Кенигсберга, якобы видевшего, как Янтарную комнату загружали в один из бункеров, я ответил: «Найдите — заплачу полмиллиона долларов. А до этого — нет».

Тогда два американца провели в тех местах несколько недель. Увы, безрезультатно.

Так мы с Юлианом потратили на поиски годы, веря, что комната найдется. И если кто-нибудь найдет ее теперь — обещание в силе, плачу полмиллиона, а я передам комнату России.

Юлиан часто приезжал ко мне в Лихтенштейн. Места эти он обожал. Никто его здесь не беспокоил телефонными звонками, не действовал на нервы. Я с утра уходил в офис, а он весь день писал.

Вначале я его приглашал в свободное время поработать со мной в саду. Но он не отрывался от пишущей машинки.

Здесь он начал свою книгу «Лицом к лицу».

Здесь, в Вадуце, ему пришла идея создать газету «Совершенно

секретно».

Как-то вечером, за водочкой — мне-то мама алкоголь употреблять запретила, так я ее никогда не пил, а Юлиан — любил, он мне говорит: «Эдуард, я решил основать газету, в которой буду публиковать секретные архивные материалы. Большинство из них по истечении определенного срока — тридцати, пятидесяти лет могут быть рассекречены. А я буду эти документы публиковать. Представляешь, как такая газета будет для всех интересна!»

Так и получилось.

Однажды Юлиан пригласил меня в Крым, в свой дом недалеко от Ялты, в Мухалатку.

В Симферополе, куда я прилетел, устроил чудный прием. Привез домой. Но потом, по своему обыкновению, засел за печатную машинку, а я заскучал. Тогда Юлиан пообещал мне пригласить на ужин своих друзей, в том числе одну интересную даму.

«Тебе, знаменитому Казанове, она очень понравится».

Я, конечно, безумно обрадовался.

На следующий день, в шесть часов вечера, раньше остальных гостей, приехала дамочка.

Я начал за ней ухаживать и даже успел один раз поцеловать. Но тут приехали остальные гости.

Вдруг дамочка подводит ко мне одного их них и говорит: «Позвольте представить Вам моего мужа».

«Вот тебе — на! — думаю. — Кончен бал, больше не поухаживаешь».

Говорю Юлиану: «Почему ты меня не предупредил, что она замужем?»

Юлиан смеется: «Специально, иначе бы ты не решился за ней приударить».

— А кто она такая?

— Алла Пугачева!

Что за лицо у меня было! Никогда не забуду этот случай.

Крым я полюбил и спустя несколько лет приехал сюда, чтобы подарить пропавший во время революции из Ливадийского дворца и купленный мной и Юлианом на аукционе гобелен.

История его покупки очень интересна.

В один прекрасный день Юлиан звонит мне в Вадуц и говорит: «Эдуард, на аукционе во Франкфурте продается уникальный гобелен — портрет царской семьи. Подарок персидского шаха Николаю II к трехсотлетию дома Романовых. Ты обязан его купить!»

В тот момент я не мог сразу выехать во Франкфурт. И тогда

Юлиан, будучи корреспондентом в Бонне, предложил торговаться на аукционе вместо меня, держа со мной связь по телефону. Я, конечно, согласился, и Юлиан купил гобелен. Так благодаря ему гобелен вернулся «домой» в Крым, в Ливадию, во дворец.

Помню, как Юлиан однажды сказал мне: «Эдуард, ты будешь героем России, если поможешь перевезти прах Шаляпина из Парижа на Родину. Ты во Франции учился, связи у тебя там большие. Помоги».

А русские уже до этого вели об этом переговоры с французским правительством и ничего не добились. Разрешение на перезахоронение дает не правительство, а мэр Парижа. Тогдашнего мэра, в будущем президента Франции Жака Ширака, я знал. Но вначале необходимо было закрепить письменное разрешение наследников.

Мы с Юлианом позвонили сыну Шаляпина Федору Федоровичу, жившему в Риме. Я пригласил его в Лихтенштейн. Мы с ним давние друзья.

Он приехал, но разрешения сперва не дал. Целую неделю мы с Юлианом его уверяли, убеждали, забрасывали аргументами и добились его согласия!

Затем поехали в Париж.

Ширак отнесся к идее хорошо, но сказал, что поскольку Шаляпин обожал Париж и парижане его до сих пор знают и любят, то необходим компромисс: мэрия дает разрешение на перезахоронение праха, но перед этим на доме, где Федор Иванович жил на улице Рю де Ло, 1, надо установить мемориальную доску.

Мы так и сделали.

Прошло немного времени. Я уехал на каникулы в Монте-Карло. Там, на пляже, раскрываю газету и вдруг вижу крупный заголовок: «Вчера в Москву передан прах Шаляпина».

Только вот на торжественную церемонию перезахоронения великого певца нас с Юлианом чиновники пригласить забыли…

Когда я узнал, что Юлиан перенес инсульт и лечится в Австрии в Инсбрукской клинике (это недалеко от Лихтенштейна), я сразу же поехал к нему.

Он узнал меня и улыбнулся. Я говорил с ним, говорил. И он все понимал, кивал головой, улыбался, но ответить не мог…

Это было тяжело видеть. Очень тяжело…

Я возвращался домой. И всю дорогу, все сто пятьдесят километров, думал о нем, вспоминая наши встречи в Германии, во Франции, в России, в Крыму. Все наши встречи в этом мире. И передо мной был улыбающийся Юлиан. Таким он остался в моей памяти навсегда.

ВОСПОМИНАНИЯ КРИТИКА И ПИСАТЕЛЯ ЛЬВА АННИНСКОГО

Бархатный сезон

Ранней осенью 1983 года на заседании редколлегии журнала «Дружба народов» главный редактор Сергей Баруздин, в свойственной ему манере объявляя важные новости, как бы между прочим обронил:

— Журналу в отделе публицистики необходим материал о важности в наше время жанра политического романа.

Я решил, что могу пропустить эту реплику мимо ушей. Во-первых, я работал не в отделе публицистики, а в отделе критики. Во-вторых, жанр политического романа не просто мало интересовал меня как объект анализа, но вызывал что-то вроде аллергии. И в-третьих, когда я слышал оборот «в наше время», уши мои захлопывались почти автоматически (теперь такую реакцию вызывает у меня выражение «на сегодняшний день»).

— Мне удалось договориться, что у нас на эту тему выступит Юлиан Семенов, — продолжил Баруздин. — Юлиан согласился принять нашего корреспондента…

Сергей Алексеевич покосился на меня. Я изобразил внимание. Он закончил нарочито скучным голосом:

— Но поставил одно условие: чтобы к нему в Крым съездил побеседовать о жанре политического романа Лев Аннинский.

Раздался общий хохот: члены редколлегии бросились меня поздравлять с поездкой на курорт в самый что ни на есть бархатный сезон.

Я дисциплинированно поломался и пошел оформлять командировку.

Через несколько дней я сошел с поезда в Ялте и стал осматриваться. Вагон был хвостовой и остановился далеко от здания вокзала. Народ схлынул, перрон опустел. Похоже, меня никто не встречал.

Вдруг из-за какой-то привокзальной постройки вынырнул сверкающего вида автомобиль (теперь сказали бы «иномарка») и с победным рыком подскочил, как мне показалось, по рельсам прямо к дебаркадеру. Я успел разглядеть на капоте эмблему «вольво» прежде, чем того, кто за рулем, но, не разглядев его, понял: за рулем Семенов.

Мы обнялись, и «вольво» рванула.

Осенние красоты Южного берега понеслись перед глазами как в кино. Попутные машины Юлиан обдирал, не церемонясь. На сиденье рядом с ним лежал полосатый милицейский жезл, как я понял, — подарок благодарных читателей, незаменимая палочка-выручалочка на крутых крымских поворотах.

Через полчаса Юлиан показал мне свой только что достроенный (но еще не до конца) дом в Мухалатке. По стенам висели портреты: от Симонова до Шпеера. В столовой хлопотала дочь Юлиана, художница Дарья. Во дворике сидел около конуры на толстой цепи огромный пес, имя которого я теперь уже запамятовал.

Этот пес поразил меня тем, что днем покорно сидел в ошейнике, иногда скуля от «невозможности освободиться», ночью же преспокойно и самостоятельно освобождался и бегал где хотел, а под утро влезал в ошейник, добровольно и тоже самостоятельно, и далее изображал узника.

Но это — детали.

Нам надо было сделать с Юлианом главное — диалог о политическом романе.

Я предпочел начать так:

— От чего я оторвал вас?

Он мгновенно понял и подхватил игру:

— Почему «вас»? Разве мы не дружим четверть века? «Вас» — это для дипломатов.

— Хорошо… От чего я оторвал тебя?

Диалог пошел…

А что «мы дружим четверть века» — чистая правда, и теперь самое время об этом рассказать. Отступаю еще на четверть века.

Знакомство

Ранней осенью 1959 года новый главный редактор «Литературной газеты» Сергей Сергеевич Смирнов, просмотрев ворох статей, завалявшихся в загоне при его предшественнике, вздохнул и пропустил на полосу мой опус под загадочным названием «Спор двух талантов».

Эти два таланта были: Юрий Трифонов и Юлиан Семенов. Первый — впервые за много лет после «Студентов» появившийся в печати с циклом грустноватых «туркменских» рассказов и второй — дебютировавший в молодежном журнале с циклом рассказов «сибирских», выдержанных в яростно-романтическом стиле.

Я в ту пору решил перейти из газеты в журнал «Знамя», и

меня уже брали… но мой «Спор» попался на глаза главному редактору журнала Вадиму Михайловичу Кожевникову, и тот, в свойственной ему нарочито-косноязычной манере, проговорил:

— Зачем, та-ска-ать, мы берем этого глухаря в отдел критики, он же, так-ска-ать, текста не слышит!

Меня, в конце концов, взяли, объяснив по секрету, что в юности автор партийно-эпического полотна «Заре навстречу» был одним из «мальчиков при Бабеле», и текст, та-ска-ать, слышит отлично, хотя в интересах дела иногда это успешно скрывает.

Не буду углубляться в сей боковой сюжет, возвращаюсь к главному.

Итак, я сижу в своей литгазетской келье и млею от удовольствия, что напечатал свой «Спор»…

Вдруг приоткрывается дверь, и в келью заглядывает симпатичная круглая физиономия, обросшая лесной бородой:

— Семенов…

Пауза.

— Знакомиться пришел.

Я сообразил, кто это, ахнул и пошел ему навстречу.

Много лет спустя я как-то заметил, что материнская его фамилия «Ноздрин» в сочетании с «Юлианом» звучала бы куда ядренее, да и «Ляндрес» отецкий запоминался бы куда лучше, чем стертое «Семенов». Но в ту пору, когда я позволил себе это замечание, никакого «Семенова» никто отдельно не воспринимал, а «Юлиана Семенова» знали все. Тем более знали «Штирлица».

Штирлиц

Юлиан оказался добрейшим человеком, замечательным собеседником и заразительным выдумщиком. У него была невероятная внутренняя энергия, прекрасная быстрая журналистская реакция, он легко задавал вопросы, мгновенно ориентировался в беседе, хорошо накапливал материал.

Он был замечательный читатель и исследователь, а главное, обладал талантом общения.

Трифонов (с которым я общался не меньше), был настолько погружен в себя, настолько медленно, тяжело соображал, что уж если говорил что-то, это было по существу умно и точно. И если ты сморaживал при нем какую-то глупость, то он смотрел с таким выражением, что становилось ясно: ты смолол чушь.

С Юлианом было совершенно иначе. Я мог спокойно сморозить глупость. Он эту глупость подхватывал, выворачивал ее, вышучивал, и мы продолжали разговор. С ним было очень

легко.

Он был замечательно начитан, размышлял на те же темы, что и я: о причине мировых событий, о том, куда идет мир, какова роль тех или иных деятелей — Сталина, Черчилля, Рузвельта, апеллировал этим ярко и необычайно парадоксально. Все это очень привлекало.

Передо мной встала проблема. Я вообще не очень сближаюсь с людьми, тем более пишущими, а если я сам пишу о таком человеке, то совершенно не могу общаться, это мне мешает: пишу-то я об «астральном» теле, обретающемся в духовном космосе, а общаться приходится с телом эмпирическим, коснеющим в бренности. Остерегался я общаться с писателями, которые мне были интересны как писатели. В общем, приходилось выбирать: либо я о нем пишу, либо я с ним общаюсь.

В случае с Юлианом соблазн общения был почти непреодолим, и я поддался.

Впрочем, ненадолго. Дело в том, что фантастический взлет популярности Юлиана все-таки поддразнивал во мне литературного критика, и я на всякий случай отодвигался, чтобы иметь свободу в оценках.

Должен признаться, что настораживала меня именно фантастическая популярность его главного героя: следуя за Штирлицем, Юлиан быстро сошел с первоначальных романтических зимников и лежневок и устремился по орбитам глобальной политики и тайным каналам спецслужб: это нарушало в моем понимании «цельность первоначального образа» и переводило писателя в какой-то другой, мало ведомый мне массовый читательский регистр. А мне казалось, что с его уровнем мышления не надо искать популярности в столь широких кругах.

Мне Юлиан был интересен как писатель и без Штирлица. В связи с этим хочу вспомнить о маленькой сценке.

Я, как нормальный шестидесятник, очень много ходил в походы. Раз пошел с приятелем по Псковщине. Зашли в какой-то деревне к бабке за молоком. Посмотрела она на нас со своим дедом внимательно и говорит:

— А вы, случаем, не шпионы?

— С чего вы такое взяли?!

— Да ходите тут, все выглядываете, тропки разузнаете, а нам потом умирать.

— Не шпионы мы. Хотите, паспорт покажу?

— Так паспорт-то подделать можно.

— Как же вас убедить, что я нормальный человек, а не шпион?!

— А я сейчас тебе вопрос задам. Если ответишь, то значит ты — наш человек.

— Задавайте!

— Ну-ка, скажи мне, где сейчас находится Штирлиц?

Я, «отвалился», но ответил:

— На своем посту, выполняет очередное особое задание.

Тут бабуля вынесла нам молока, а я еще раз убедился, что Штирлиц — давно уже реальное лицо.

И все-таки (даже напившись благодаря Штирлицу молока) я поделился с Юлианом моими соображениями, заметив, что он мне интересен и без его героя. Мы всегда с ним говорили чуть со смехом, а тут Юлиан вдруг посерьезнел:

— А вот Катя считает, что именно Штирлиц помогает мне найти читателя…

И посмотрел на меня с такой искренней озабоченностью, что я решил более никогда данного пункта не касаться.

Однако пришлось мне с легендарным героем Юлиана даже вступить в диалог.

Пастор Шлаг

— Юлиан, я не владею логикой тайных агентов.

— А я этого от тебя и не жду, — успокоил меня хозяин дома, налаживая диктофон. — От имени Штирлица буду говорить я. А тебе предлагаю в этом диалоге роль пастора.

Радушная жена Юлиана Катя только что накормила меня вкуснейшим обедом, и я расслабился настолько, что для интеллектуального диспута требовалась срочная перестройка.

— Какого… пастора? — спросил я.

— Нормального протестантского пастора, гуманиста и философа… Защищайся!

Юлиан щелкнул клавишей диктофона:

— Так что же получается, что если пересадить Господа Бога с державных высот и сердечных глубин под корку отдельно мыслящего индивида, все остальное устроится само собой: и государство, и общество, и братство?

— Само собой, господин Штирлиц, ничего не устраивается, разве что пищеварительный процесс, да и то, если поешь… А насчет подкорки…

Я почувствовал бойцовскую дрожь. Разнословия христианства в ту пору (самый конец 60-х годов) были предметом моего острого интереса и темой усердных библиотечных занятий (в Институте философии, где я тогда работал, можно было

заниматься этими темами вполне законно).

Через год Юлиан подарил мне свой новый роман с дарственной надписью: «Левушке — пастору Шлагу».

Читая, я натыкался на свои полузабытые уже реплики. Мне было легко и весело.

А когда еще через пару лет эти реплики стал произносить с экрана великий артист Плятт, я почувствовал эффект настоящего переселения душ.

Васятка Родыгин

В 1972 году я перешел работать в журнал «Дружба народов». Там волею расписания, по которому все сотрудники по очереди читали готовые к печати номера (это называлось «свежие головы»), я получил для прочтения несколько глав нового романа Юлиана Семенова.

Я начал читать, и мне показалось, что пастор Шлаг задумал надо мной подшутить. Фразы и обороты были несомненно мои, из наших давешних диалогов, но облику протестантского пастора никак не шли. Русский менталитет, национальные аспекты революции, империя и свобода… Весь спектр философских штудий великих идеалистов «позорного десятилетия»: Розанов, Мережковский, Булгаков, Шестов, Федотов, Флоренский…

С момента, когда в 1960 году я впервые прочел Бердяева, — излюбленное мое чтение. К концу десятилетия эти ребята «перепахали» меня не хуже, чем автор романа «Что делать?» в свое время «перепахал» автора брошюры «Что делать?». К моменту моих диктофонных диалогов с Юлианом Семеновым я был набит соответствующими идеями и, по укоренившейся с юности привычки, гудел о них на всех углах.

Пастору Шлагу Юлиан из всего вороха обрушившихся на него попутных идей не отдал тогда ни одной, но, как видно, приберег их для третьего десятка «мгновений весны» и теперь щедро одарил ими литературного героя по имени Василий Родыгин. Я аж подпрыгнул, наткнувшись в его речах на свои любимые пассажи.

Подпрыгнул вовсе не от факта, что Юлиан эти пассажи использовал: я сам дал ему это право и даже гордился в глубине души тем, что так ловко распропагандировал на «русский лад» властителя дум и яростного «западника» (а Юлиан в ту пору был, наверное, самым читаемым автором в широких интеллектуальных кругах и несомненным, как теперь сказали бы, «мондиалистом»). Но дело в том, что рупором этих свежих идей Юлиан сделал…

матерого эмигранта-белогвардейца.

По нынешним-то временам таким приколом можно и возгордиться, но для начала 70-х годов, согласитесь, это было достаточно пикантно, и я счел возможным впасть по данному поводу в хорошо темперированное возмущение. Я ходил по редакции и гудел, что идеи, которые Юлиан снял с моего неосторожного языка, сами по себе законны и неподспудны, но какого лешего он вложил их в красноречивые уста нашего идеологического оппонента!..

Через пару недель старая добрая сотрудница отдела прозы, отличавшаяся тонким юмором и редактировавшая роман, дала мне очередную порцию текста и произнесла интригующе:

— Васятка-то наш, а?

— Какой Васятка, Татьяна Аркадьевна? — не понял я.

— Васятка Родыгин…

— Что Васятка Родыгин?! — вскинулся я.

— Оказался тайным агентом наших спецслужб. Поздравляю вас!

— Да? Отлегло.

— А Юлиан-то наш, а?

— Что Юлиан, Татьяна Аркадьевна?

— На высоте!

В свой час я рассказал об этом Юлиану, и мы со смехом обсудили этот сюжет…

В восьмидесятые встречи наши были уже редки: оба были заняты каждый своей текучкой. Хотя при случае дружески салютовали друг другу. И я не удивился, когда еще через несколько лет Юлиан сделал так, что журнал «Дружба народов» официально направил меня к нему в Крым для диалога о политическом романе.

Это оказался последний с ним диалог. Пусть он завершит мои воспоминания, благо, читатель, знающий теперь предысторию, легко уловит подтексты.

* * *

Не является ли политический роман ключевым жанром современной прозы?

— От чего я оторвал тебя?

— От пишущей машинки. Только что вернулся из поездки в Западную Европу. По-прежнему занимаюсь проблемой пропавшей Янтарной комнаты и сотен тысяч экспонатов из наших ограбленных гитлеровцами музеев.

— Это будет политический роман?

— Как пирог ни называй, только в печку ставь.

— Я хочу поставить пирог по имени. Меня интересует твое отношение к политическому роману как к жанру современной литературы.

— Политический роман — дитя эпохи научно-технической революции. Радио, ТВ в каждом доме… На полках — политические биографии. До дыр зачитываются книги, написанные Трухановским и Молчановым. «Августовские пушки» Барбары Такман, книга адмирала Кузнецова «Накануне». Все это — бестселлеры нашего времени, как и ожидаемая всеми «Международная панорама», как еженедельник «За рубежом»… Сегодня перелет за двенадцать часов из Шереметьева в Манагуа — реальность. Меня волнуют не жанры, а скорости. Вековые страсти человека в пересчете на новые скорости. Я боюсь литературоведения с его окостеневающими на глазах формулами.

— Но все-таки. Считаешь ли ты жанр политического романа (то есть жанр, в котором традиционная романтическая «интрига» — история индивида, история души, история выделенной из общего потока конкретной человеческой жизни сопоставлена не просто с «достоверным фоном», но с картиной политической жизни нашего времени), считаешь ли ты этот жанр принципиально новым или видишь его предшественников в истории литературы? Почему ты уверен, что современности нужен именно этот жанр?

— Я в этом уверен, потому что исхожу из того, как лучше воплотить структуру современной реальности, а не из того, в каком жанре это сделать. Главное, завоевать читателя. Как в каждом случае удобнее, эффективнее, так и делаешь, а какой при этом получается жанр, пусть решат критики. Интрига интригой, а политическая реальность нашего времени обязательна.

— Но предшественников своих литературных ты можешь назвать? Ориентиры у тебя есть?

— Разумеется. Джон Рид. «Десять дней, которые потрясли мир». Что поражает у Рида: описывая революционную борьбу, он ставит друг перед другом достойных противников. При всей своей тенденциозности (без которой не может быть политического писателя), Джон Рид сохраняет объективность, и поэтому ему веришь. Михаил Кольцов тоже отлично знает, на чьей он стороне. Но он не знает, не хочет знать готовых ответов на сложнейшие вопросы революционной реальности. Он анализирует, он доискивается причин, он — как медик — выслушивает действительность и ставит ей диагноз: точность его диагнозов я мог в какой-то степени проверить сам, когда в 60-е годы был в

Испании и интересовался ее проблемами. Тогда я оценил Кольцова как политического писателя: он великолепно почувствовал структуру политического сознания своего времени, он дал художественное исследование политической реальности. И дело не в том, роман ли это, или поэма, или очерк, — дело в чувстве реальности, которая в наш век насквозь политизирована.

— Стало быть, предшественников современного политического романа вовсе не обязательно искать среди романистов…

— Именно! Я их и нахожу среди поэтов и драматургов. Величайшим политическим писателем был Шекспир: «Король Лир», «Гамлет» — трагедии огромного политического темперамента, пронизанные интересом к человеку, осуществляющему себя именно как «существо политическое». Пушкин был величайшим политическим поэтом…

— А «История Пугачева»? А «Капитанская дочка»? Что тебе все-таки ближе?

— И «История…» и «Капитанская дочка»: и там и там он политический художник, хотя в «Истории…» точнейшим образом придерживается исторических фактов, а в «Капитанской дочке» соединяет вымышленных героев с историческими фигурами Пугачева и Екатерины. Дело же не в эффекте такого «жанрового соединения», а в том, что у Пушкина между сторонами политического конфликта идет серьезная борьба, и каждый чувствует себя правым, так что Петруше Гриневу действительно приходиться решать, с кем он, а не присоединяться к готовой правоте одной из сторон.

— Само соединение реальных исторических фигур с вымышленными не предвещает ли у Пушкина современный художественный тип романа?

— Предвещает, но почему только у Пушкина? «Война и мир» — гениальный политический роман, где историческое соединено с вымышленным: все дело в том, что и вымышленное у Толстого исторично по внутренней задаче.

— Где же начало политического романа в европейской литературе?

— Начало пусть ищут историки литературы. Я думаю, что и в античности можно найти образы художественно-политического письма. Хотя установки на увлекающее читателя действие у тогдашних политических авторов не было.

— Зачем же тебе эта внешняя установка?

— Старый спор! Теперешнего читателя — массового, занятого, надо завоевывать! Надо его держать, и покрепче! Нужна интрига, нужна тайна, нужно расследование. Роман обязан быть

очень интересным. Альберт Бэл, латышский прозаик, не побоялся назвать свой роман «Следователь», не побоялся чисто детективного сюжета, хотя речь там идет о глубоких и серьезных вещах: и герой, и автор размышляют над историей страны. Возьмем Владимира Богомолова: ведь критика, ожидавшая от него продолжения стилистики «Ивана» и «Зоси», никак не могла освоиться с романом «В августе сорок четвертого…». Ее настораживал детективный принцип организации материала. Критика хотела причесать Богомолова по-своему. Я ловил извиняющиеся интонации, ему норовили приписать привычное, установившееся, стыдливо обходили острые углы политического детектива. История с анализом богомоловского романа иллюстрирует неподготовленность критики к вторжению политического романа в нашу литературу и нашу жизнь. Сверхзадача-то у Богомолова не в детективном действии, сверхзадача — самоосуществление человека, сознание которого насквозь политизировано. Я считаю, что Богомолов написал настоящий политический роман.

— Все же Богомолова привычнее выводить из несколько иной художественной системы: из «военной прозы»…

— Это если исходить из окостенелых тематических и жанровых рубрик. Но их границы подвижны и исходить надо из понимания человека. Замечательным политическим писателем я считая Василя Быкова.

— А Юрий Бондарев?

— Ты имеешь в виду «Берег»? И наверное, ожидаешь, что я отнесу «Берег» к жанру политического романа, потому что там можно найти рассуждения о современном противостоянии систем, филиппики против наших противников и т. д. Но я не поэтому отношу роман Бондарева к тому жанру, о котором мы говорим. Знаешь, какая линия делает эту книгу политическим романом? Линия Княжко! Выстрадана убежденность человека, прошедшего войну, прошедшего через ненависть к немцам, утверждающегося в необходимости добра, в необходимости диалога и сотрудничества с немцами. Эта история современного политического сознания, и именно она делает «Берег» политическим романом.

— Однако есть разница между художественным произведением, вообще и в принципе передающим политизированность современного сознания, и произведением, непосредственно и точно сконцентрированным на исследовании современных политических структур? Предметнее говоря, ты как автор «Альтернативы» чувствуешь ли жанровое родство, скажем, с романом А. Чаковского «Победа», где политическая реальность

точно так же является жанрообразующим и базисным элементом?

— Не чувствую родства. Мне интересна в романе «Победа», так сказать, установка на технологию правды: внимательное реконструирование подробностей исторического события, Потсдамского совещания глав правительств. Я считаю, что эта реконструкция решает задачу куда сильнее, чем прямые эмоциональные оценки, вложенные в уста того или иного вымышленного героя. Эмоции мешают анализу. Политический роман не нуждается в педалировании чувств, он должен быть суховат, говорить в нем должны факты. Если ты сочтешь это жанровым признаком, я не буду спорить.

— Кого ты назвал бы еще из современных писателей, чья работа лежит в русле политического романа?

— Конечно же Чингиз Айтматов — «Буранный полустанок». Здесь очень важно постоянное стремление писателя подняться «над горизонтом», увидеть событие с глобальной точки зрения: эта тенденция точно передает ситуацию современного человека, который чувствует, как «уменьшился» земной шар. Я назвал бы Алеся Адамовича, автора «Карателей». Колоссально важен опыт Льва Гинзбурга, автора «Бездны» и «Потусторонних встреч»; этот писатель поистине болел политическими проблемами — отсюда и художественная убедительность его работ. Но опять-таки: почему мы ищем узкие жанровые аналогии? Почему современный, пронизанный политическим сознанием мир должен быть исчерпан непременно в жанре романа? Я, например, считаю сегодня одним из самых политических художников поэта Ивана Драча. Считаю таковым поэта Олжаса Сулейменова. Поэтов Андрея Вознесенского и Егора Исаева. Поэта Евгения Евтушенко.

— А прозаика Евгения Евтушенко?

— Нет, поэта! Потому что именно поэт Евтушенко, с моей точки зрения, придал современной литературе эффект непрерывного, живого, острого отклика на политическую реальность, и этот непрерывный отклик обозначил судьбу лирического героя. Поэзия Евтушенко, этот его политический «роман в стихах», убедительнее для меня, чем «Ягодные места».

— Валентин Распутин назвал этот роман агитационным. Тебе не кажется, что это определение перекликается с определением «политический роман»?

— Не кажется. Мне не надо, чтобы меня агитировали за готовые истины — мне надо, чтобы автор искал истину вместе со мной, исследовал современные структуры, откликался на вопросы, еще не имеющие решения. Здесь-то и лежит главный внутренний признак политического романа: не в том, что речь идет о политике, а в содержании «речи». «Хождение по мукам»,

«Эмигранты» Алексея Толстого — замечательные образцы политического романа, а «Поджигатели» Н. Шпанова — образец отрицательный, потому что автору заранее известны ответы на те вопросы, которые он пытается ставить.

— Так, может быть, дело просто в качественном уровне письма? Может быть, всякая отлично написанная вещь сегодня с неизбежностью окажется художественным исследованием политического сознания?

— Вовсе нет. Василий Белов, например, пишет отлично и широко читается, но я не считаю его художественный мир причастным к жизни современного политизированного человека, — этот мир слишком замкнут в своем местном своеобразии, он ориентирован на такое замыкание.

— Считаешь ли ты актуальным для современного политического романа опыт И. Эренбурга?

— Считаю чрезвычайно актуальным. Страстность Эренбурга-писателя делает и романы его, и публицистику вехой в становлении современного политического романа.

— Но как связать это утверждение с тем, что ты только что говорил о «заранее известных» ответах на вопросы? Эренбург отлично знал ответы на вопросы, какие ставил, он знал, на чьей он стороне, он был, как теперь говорят, безостаточно ангажирован в политической борьбе.

— Да, был, но «ангажированность» была для него делом жизни, была его страстью, его судьбой. Это замечательный пример политической страсти, дающей художественный результат.

— А если взять западную литературу? Тут какие ориентиры?

— Дюма-отец. «Три мушкетера» — блистательный политический роман своего времени.

— Нет поближе.

— Габриэль Гарсия Маркес. «Сто лет одиночества»…

— Жорж Сименон?

— У Сименона есть прекрасный политический роман «Президент».

— А цикл о Мегрэ?

— Опять проводишь жанровые параллели?.. Да, серия романов об инспекторе Мегрэ — пример художественного постижения сегодняшней насквозь политизированной реальности. Но для этого постижения вовсе не обязательно иметь в основе сюжета криминальную интригу. Хотя я предпочитаю ее иметь.

— Я хотел бы остановиться на этой «формальной особенности» чуть подробнее. Думается, это отнюдь не

«формальная особенность» твоих книг. Недаром же в глазах столь огромного количества читателей ты не столько автор политических романов, сколько создатель особой разновидности романа приключенческого: создатель «интеллектуально-милицейского детектива», как сформулировал один мой знакомый. Свое писательское право на такую форму ты отстаиваешь последовательно, в частности и от моих давних нападок. Так я хочу связать воедино две стороны твоего художественного мира: интерес к современной политической реальности и интерес к деятельности современных секретных служб. Я подозреваю, что это вовсе не «форма», удачно совпавшая с содержанием, это нечто другое, это что-то вроде магдебургских полушарий, стянутых внутренним вакуумом и притертых до нерасторжимости. Вопрос состоит в том, почему так важен для тебя сам феномен «разведслужбы», «секретного знания» и т. д., то есть некая особая, дополнительная, подспудная параллельная реальность, существующая кроме, помимо и, так сказать, опричь реальности явной и видимой? Не является ли эта скрытая реальность для тебя более подлинной, чем реальность явная? Да и писательская твоя манера — беглый сцеп фактов, когда автору как бы «некогда» возиться с объяснениями (в молодости ты прикрывал этот пуантилизм авторитетом Хемингуэя), — о чем говорит? О вере в потаенно подлинную, невидимо сцепленную реальность, которая скрыта под обманным флером реальности внешней, «объяснимой» для дураков, не подлинной? Для этого-то прощупывания и нужен тебе в сюжете «разведчик», «секретный агент», «сыщик»?

— Все проще… Я пишу реальность как она есть. Великие политические писатели: Бомарше и Дефо были асами секретных служб. Или пример, поближе к нашему времени. Автор книги «Моя тайная война» Ким Филби являлся руководителем одного из важнейших подразделений английской разведки. Вместе с ним служили Ян Флемминг, Грэм Грин и Ле Карре. Первый стал автором знаменитой «бондианы». Второй — автором политических романов (в «Тихом американце» предсказал вьетнамскую войну.) Третий, Ле Карре, известен у нас романом «В одном немецком городке» — это настоящий политический роман о неофашизме. Конечно, я не ставлю их на одну доску. Ким Филби отстаивает правду антиимпериалистическую. Позиция Грина — честный, впрочем несколько отстраненный, анализ данностей, отсюда и «Тихий американец» и «Наш человек в Гаване». Ле Карре, дотянувшийся до правды в романе о неофашизме, затем снова сполз в антисоветизм. Почему? Темечко не выдержало: честный роман критики на Западе замолчали,

требовали привычной тенденции с заранее готовыми ответами, мол, во всем виноваты красные (парафраз известного трюизма: англичанка гадит — национализм всегда однозначен), и Ле Карре решил служить этой незрячей тенденции в своих следующих опусах. Жаль: он по-настоящему талантливый политический романист. Так вот, о разведчиках, агентах и работниках секретных служб. Они не то что живут в какой-то особой реальности, они по роду деятельности первыми смотрят в глаза фактам и вырабатывают относительно новых фактов концепции. Самое страшное в наше время — иллюзии и неосведомленность. Ложь ведет ко всем ужасам. Мера ответственности людей, знающих правду, узнающих ее первыми, — это концентрированная истина о современном человеке. Здесь человек политический выражает себя предельно адекватно. Иными словами, Штирлиц для меня не «средство упования публики», как считаешь ты, а квинтэссенция современной политизированной реальности. Просто я верен фактам и структурам XX века.

— Леопольд Сенгор, письмо которого лежит у тебя на столе, замечает, что в твоих книгах он видит загадочный сплав фактов и структур: ему не удается нащупать там грань правды и вымысла. Ты считаешь, что это комплимент?

— Не знаю. Один мудрец был потрясен, созерцая валенок: нету шва, непонятно, как это сделано.

— Жорж Сименон, письмо которого также лежит у тебя на столе, утверждает, что твои книги — это литературное исследование политической истории. Ты согласен?

— Может быть, это нескромно с моей стороны, но я согласен.

— Каковы перспективы этого жанра?

— Для меня это тревожный вопрос. Мы много говорим о молодых писателях, а ведь настоящей смены у нас практически нет. Мы не готовим политических писателей в Литературном институте, мы не готовим политических кинематографистов во ВГИКе. Политическая реальность требует от художника, с одной стороны, многолетнего опыта и вдумывания и с другой — живого присутствия. И то и другое не так просто. Александр Проханов поехал в Афганистан и написал «Дерево в центре Кабула». Но какой молодой писатель поехал у нас в Никарагуа? В Ливан? В Сирию? В другие горячие точки планеты, туда, где только и может писатель ощутить себя автором столь необходимого людям политического романа? Впрочем, некоторые работы внушают оптимизм. Назову Леонида Млечина, политический детектив которого о Японии — «Хризантема пока не расцвела» — оставил у меня впечатление безусловной компетентности. Ищет себя Артем

Боровик, автор очерков о кубинских эмигрантах в Перу — «Плата за предательство», от этих очерков прямой мост к политическому роману. Или к дневникам в кольцовском духе. Хочу также назвать интересный политический детектив Андрея Левина «Желтый дракон Цзяо», написанный на сингапурском материале. Силы-то у нас есть.

— Последний вопрос: где и как зародился у тебя замысел «Пресс-центра»?

— За рулем, когда я мотался из Бонна в Амстердам, из Гааги в Брюссель, из Женевы в Париж, из Вены во Франкфурт-на-Майне. С процесса Ментона, убивавшего во время войны наших людей и грабившего наши музеи, ехал на встречу с начальником личного штаба Гиммлера, обергруппенфюрером СС Карлом Вольфом, на встречу с бывшим министром Третьего рейха Альбертом Шпеером, на встречу с Отто Скорцени. Наблюдал за жизнью бирж Цюриха и Мадрида, спешил на аукцион в Швейцарию, где пускали с молотка русские картины, заворачивал во Францию к Шагалу, а потом к Сименону, а потом к Олдриджу, стараясь привлечь внимание западной интеллигенции к трагической судьбе наших культурных сокровищ, а потом в полицай-президиум Гамбурга, где расследовалось дело о контрабанде гонконгских наркотиков. Я хотел связать все это воедино, во мне возникало ощущение общей мелодии, как-то связывающей весь этот калейдоскоп, я хотел нащупать за ним политические структуры. В моем сознании маячил образ универсальной силы, скрепляющий и связующий, но также и замыкающий эти структуры и факты: я со школьных времен знал эту силу по имени: финансовый капитал. Постепенно из школьного понятия в ходе моих встреч возникли фигуры живых людей, вполне обыкновенных миллионеров с чиненными башмаками на ногах, людей, в сознании которых боролись две концепции. Одна из концепций — сознание жизненной необходимости сближения и сотрудничества Европы с Советской Россией; другая же пытается исключить Россию из современного мирового политического баланса как чуждую силу. Я хотел исследовать две эти концепции, и, хотя нетрудно догадаться, на чьей стороне в этом споре я стоял, так сказать, изначально, художественной моей задачей было объективное исследование нынешней политической ситуации в мире.

— Что получилось в итоге?

— Читатели «Дружбы народов» смогут судить об этом в марте, когда «Пресс-центр» начнет печататься в журнале.

P.S. В марте «Пресс-центр» благополучно напечатался. В

январе так же благополучно напечатался наш диалог. Записи его тогда же, в Крыму, Юлиан при мне прочел и одобрил. Но сказал:

— Левушка, одна просьба: убери «опричь»!

«Ах, ты, бестия, — подумал я, — просек, дьявол, аллюзию «опричнины»! Ишь, рентгенщик идейный!»

— Хорошо, Юлиан, — кротко сказал я. — Заменим на другой оборот.

А два месяца спустя в редакции, вычитывая последнюю корректуру, не удержался от соблазна и, мысленно застонав от неловкости, все-таки слово восстановил.

«Авось, Юлиан не заметит».

Он не заметил. Или сделал вид, что не заметил.

У тени его я сегодня прошу прощения за это мое самоуправство.

Юлиан был профессионал высокого класса, очень неплохим историком, великолепно имитировал архивы.

Человеком он был утренним, как и я, жаворонком, и писал с раннего утра. Ведь он, в отличие от Достоевского, занимался не темными безднами и не темными глубинами необъяснимого сознания, и не темными аллеями, как Бунин, а светлой разумной человеческой фактурой, которая пыталась этот мир упорядочить. И, конечно, такие вещи делаются утром. Толстой вот так работал по утрам, потому что был великим, разумным исследователем вселенной российской.

Возможно, что высокий класс профессиональности Юлиану немножко мешал — он делал все чуть быстрее, чем надо было бы, чтобы ощутить неразрешимость некоторых проблем.

Есть проблемы, которые по природе своей неразрешимы. И русская мысль эти проблемы любит. Русский человек любит погрузиться в неразрешимость и объяснять этим все свои беды. А Юлиан все проблемы разрешал. Он был рационально мыслящим писателем и поэтому так быстро работал. После его смерти, когда стали обсуждаться совсем другие умственные идеи, его логика была не опровергнута, а как бы отодвинута.

Думаю, что его время придет теперь на абсолютно другом уровне, когда нужно будет опять внедрять некий разум в эту систему. Юлиан как человек и как писатель был привержен логике, а русский человек, вообще живущий не по логике, время от времени эту логику себе возвращает, упиваясь тем, что, оказывается, мир может быть разумен.

Поэтому время Юлиана еще вернется. Но, конечно, уже на другом уровне, и читать его будут иначе…

ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЯ ГЕОРГИЯ ВАЙНЕРА

С Юлианом я познакомился 25 декабря 1966 года при трагикомических обстоятельствах.

Накануне этого дня он «сильно отдыхал» в ВТО и что-то не поделил с присутствовавшими там гражданами. В ВТО ходили не только деятели сцены, но и масса всякого рода смешных людей — деловиков, фарцовщиков и прочих. Вот с ними он и затеял драку, причем был и ее инициатором и виновником.

Дело закончилось тем, что их всех забрали в знаменитое 108-е отделение на Пушкинской площади.

Фарцовщики и всякие темные личности были трезвыми и их отпустили, а Юлиан — знаменитый милицейский писатель, автор «Петровки, 38» продолжал бушевать и его посадили в обезьянник. Он и оттуда оскорблял работников дежурной части, и те составили страшные рапорты о том, что Семенов чуть что не сверг советскую власть.

Утром его, естественно, выпустили, но возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

По сей день не знаю, почему начальство решило тогда сделать из Юлиана фигуру для битья и стало его сильно прессовать.

Все вчерашние друзья — милицейские начальники и зрители спектакля «Петровка, 38» — отказались с ним разговаривать по телефону и видеться.

На счастье мы с братом в тот день встретились с нашим товарищем, который нам и рассказал, что Юлиана Семенова чуть что не сажают.

Мы выразили большое сожаление, потому что Семенова почитали как писателя.

— А вы можете ему помочь? — с надеждой спросил нас друг.

— Мы не генералы, но конечно поможем! — тут же откликнулись мы.

Он незамедлительно позвонил Юлиану, и мы договорились о встрече.

Надо сказать, что мы в то время с Аркадием как литературные фигуры не существовали. Я был корреспондентом ТАСС, а он — старшим следователем на Петровке.

Приехали мы к Юлиану. Несмотря на Рождество, настроение у него было явно не рождественское — он встретил нас весь в синяках после ВТОшной битвы и в большой депрессии.

От Юлиана мы узнали, что дело вел следователь Ракцинский — наш товарищ.

Мы его немедленно взяли в оборот и узнали, что фарцовщики и хулиганы, теперь выступавшие в роли потерпевших, — мои хорошие знакомые. (У меня в тот период был такой круг общения.)

Я к ним позвонил и в приказном порядке велел все заявления и показания отозвать.

На Ракцинского мы с Аркадием тоже «оказали давление», и он все дело развалил.

Две недели спустя начальство его запросило, а там ничего против Юлика не было. Его отправили на поруки в Союз писателей, и оттуда на Петровку пришло письмо о том, что ему объявляется строгий выговор с занесением в личное дело, — дескать, он сурово наказан.

Так Юлик отбился, а мы с ним подружились до конца его жизни.

Вспоминаю я Юлиана с большой любовью и грустью, потому что ни с кем другим я так не дружил, — если Аркадий был человеком спокойным, то мы с Юлианом — взрывными, и наши с ним отношения нельзя было назвать ровными и добрыми. В «мирную пору» мы друг друга беззаветно любили, но уж если ссорились из-за чего-то, то доходили чуть что не до драк…

Именно Юлиан в значительной мере предопределил нашу литературную судьбу. Произошло это так: вскоре после спасения Юлика от «судилища» мы, стыдливо хихикая, признались ему, что написали свой первый роман. Я увидел, как напряглось его лицо. Он тревожно спросил:

— Какого размера?

— Шестьсот страниц, — ответили мы с Аркадием.

На лице Юлиана застыла маска отчаяния, но он сказал:

— Дайте прочитаю.

На другой день он позвонил в восторге:

— Восхитительно, гениально!

Как я потом понял, Юлиан вначале решил, что мы графоманы.

Из благодарности он готов был вещь переписать, но, узнав, что она огромна, пришел в ужас — шестьсот страниц не был способен переписать даже Юлиан Семенов.

Прочтя наше скромное творение, он пришел в восторг не от его литературных качеств, а потому что стало ясно: переписывать его не придется! Но рукопись он отредактировал и сократил. Причем когда Юлиан сообщил, что необходимы сокращения, мы испугались:

— На сколько надо сократить?

— На половину! — решительно заявил Юлиан.

— Это невозможно!

— Не бойтесь, нос вашей Венере Милосской не отобью, — успокоил нас Юлиан. — Я вам сейчас покажу класс редактирования!

Далее произошло примерно такое: четные страницы Юлиан отложил налево, нечетные — направо.

— Связки я вам придумаю, — заверил он нас и слово сдержал.

В таком виде наш роман «Часы для мистера Келли» и вышел с его легкой руки в журнале, а затем в «Молодой гвардии».

Помимо этого, Юлиан отвел нас на «Мосфильм» и в Министерство культуры, где мы продали нашу первую пьесу.

Благодаря Юлику мы избежали массы унижений и неизбежных мытарств, сопутствующих первопроткам, и попали практически всюду (за исключением разве балета и поэтических сборников).

Юлиан «подарил» мне Париж. Он Париж обожал, будучи человеком выездным, много раз там бывал, прекрасно знал и, как хемингуэеман, в 1987 году провел меня по всем местам Хемингуэя.

Никогда не забуду Клозери де Лила — кафе, в котором на столах привинчены таблички с именами известных литераторов, за ними сидевших.

Юлиан заказал эспрессо. Нам принесли две крошечные чашечки, и я, эспрессо раньше не пивший, свою одним глотком опустошил.

Юлиан мягко заметил: «Жорик, это не хлебный квас. Эспрессо залпом не пьют».

Когда ему принесли счет и я увидел, что одна чашечка эспрессо стоит 18 франков (!), то понял, что, действительно, это не хлебный квас!

Юлиан был человеком чрезвычайно умным и проницательным.

Я всегда считал, что коммунистический строй в СССР вечен. (Вечного в подлунном мире нет, но все, что возникло до нашего рождения и существует после нашей смерти, воспринимается каждым отдельным человеком как вечность.) Я считал, что коммунизм в СССР вечен, не видел обстоятельств, которые могли бы его разрушить, и не замечал этнических или политических предпосылок. А Юлиан, будучи значительно проницательнее меня и находясь ближе к власти, понял, что вся эта конструкция стала весьма шаткой и шаткость эта была связана с верхами, а не с

низами.

Он мне тогда сказал: «Через два года ничего этого не будет». «А что будет?». «Не знаю. Но что-то совсем другое».

Юлиан был замечательным бизнесменом. Он создал и раскрутил первую коммерческую газету «Совершенно секретно» — высокодоходнейшее предприятие, основал издательство, имел связи с бизнесменами на Западе и носился с бредовой, на мой взгляд, идеей создания трансконтинентальной трассы от Москвы до Америки и громадного горнолыжного курорта в Бакуриани.

Он обладал громадным талантом личностного обаяния — знакомясь с человеком, он уже через десять минут был с ним не разлей вода. И милиционеры и уголовники, с которыми мы его знакомили, были от него в восторге, потому что он поражал широтой и парадоксальными выходками и идеями.

…Он любил игру: включал диктофон, и мы поочередно разыгрывали следователя и допрашиваемого. Что-то из этих допросов Юлиан использовал в своих детективных романах.

Однажды мы вместе написали пьесу. Ее отрывки напечатали в газете «Советская культура» — органе Министерства культуры, патронировавшего все театры страны. Юлиан ликовал: «Ребята, порядок! Теперь 400 театров страны ее поставят! Все финансовые потолки — наши!»

В тот раз его пророчества сбылись лишь частично — пьесу поставили в 8 театрах, причем самым большим из них был театр Черноморского флота.

Я никогда не забуду сценку на даче у Юлиана. Он нам с Аркадием как-то вечером заявил: «Я написал новый роман. Хотите почитаю?»

«Конечно».

И он начал читать с листа. Читает пять минут, десять, двадцать — очень интересно. Но время-то позднее, Аркадия стало клонить в сон, и он, чтобы развеяться, стал прохаживаться по комнате. А Юлиан бубнит и бубнит свой роман. Зайдя ему за спину, Аркадий взглянул на лист, с которого Юлиан читал, и вдруг увидел, что лист абсолютно чист. Юлик читал с белого листа бумаги. Вот это талантище!

В нашей дружбе я оказался младшим — Юлиан был старше меня на шесть лет и на целое поколение — в литературе. Когда напечатали наш роман «Место встречи изменить нельзя», он поздравил: «Замечательный роман». А когда вышел фильм, заключил: «Вы в моем патронаже больше не нуждаетесь!» Но при всем том он всегда оставался для меня старшим.

В результате общения с ним я выработал некий алгоритм поведения: когда я сталкивался с проблемой — ситуационной ли,

или в отношениях с людьми, я сразу же задавал себе вопрос: «А как бы поступил, что бы сделал в этой ситуации Юлиан?» И почти безошибочно находил решение вопроса.

ВОСПОМИНАНИЯ КИНООПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА КАРМЕНА

«Инженер моей души»

Мои отношения с Юлианом состоялись при прямом участии моего отца и с его благословения.

Познакомились мы на даче в Красной Пахре. Но на самом деле произошло это намного раньше, правда заочно, по рассказам отца. Он, похоже, влюбился в Юлиана с первого взгляда, как и я.

Это было в начале 60-х годов, когда хрущевская «оттепель» уже сдвинулась на жесткий, традиционный для режима курс, и Юлиан, не принимавший такого поворота, бузил, выступал, «мутил воду», за что снискал симпатии московского студенчества (они даже выставляли около его квартиры и на даче охранные пикеты: боялись, что за ним «придут») и всех тех, кто, как и он, видел в смене кремлевского курса крушение своих надежд на превращение нашей Родины в цивилизованное государство.

Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы читать «между строк» в его произведениях всю горечь и боль за то, что происходило в стране, чувствовать его кредо «инженера человеческих душ», стремившегося эзоповским, подцензурным, типичным для творческой интеллигенции тех лет языком донести до умов своих читателей собственный дискомфорт и непримиримость.

Сейчас нет-нет да и услышишь, что-де Семенов был «слугой режима», что под маской «дозволенного диссидентства» воспевал существовавший строй и его основателей.

Нет ничего более далекого от истины. Да, диссидентом в затасканно-привычном смысле этого слова его не назовешь — он же, как и мой отец, не подписывал никаких «прошений», не уехал, не сидел в психушках! Но я убежден, что многие из тех, кто во второй половине 80-х годов встал под знамена перестройки, наивно видя в ней начало желанных перемен, сформировали свои убеждения в том числе и под влиянием семеновских книг.

Сергей Петрович Капица как-то назвал такой тип общественно-политического поведения «ортодоксальным несогласием» — желанием перемен и преобразований, но без разрушения всего того доброго и ценного, что было накоплено в процессе многолетнего общественного развития.

Так вот именно эта семеновская непокорность, его нежелание

по-конформистски держать язык за зубами и восхищали моего отца. «Юлька ходит по острию ножа, — не раз говорил он мне. — Но как чертовски красиво он это делает! Тебе обязательно надо познакомиться с ним». Вот наше знакомство и состоялось. Правда, с некоторым опозданием, как раз в день моего 25-летия.

Юлиан, дача которого находилась неподалеку от отцовской, явился позже всех. В то время у него был жесткий, неукоснительно соблюдавшийся режим: ранний подъем, работа до полудня, потом обед. Если он жил на даче, иногда во время послеобеденной прогулки общался с друзьями и соседями. Затем снова работа.

Вообще, насколько я знаю, работал и жил он запойно, сам говорил, что процесс вынашивания нового сюжета идет у него постоянно. И если идея его захватывала, он после определенной, чисто технической подготовки (знакомство с архивными и историческими материалами и документами, всей доступной ему литературой, биографиями героев и пр.) нырял в работу. На это время он «исчезал с лица земли», его не существовало ни для кого. И только закончив рукопись и сдав ее на машинку, он выныривал на свет Божий.

И вот тут-то у него наступала «разрядка», запои иного рода в прямом смысле этого слова. Он «отключался» так же увлеченно и самозабвенно, как еще вчера работал над очередным произведением. Но даже и в такие периоды, к счастью, очень недолгие — всего лишь до выхода рукописи с машинки, он не терял самообладания. Потом, когда наступало время окончательной редактуры рукописи, он жил в облегченном режиме, занимался общественными делами, позволял себе и «погулять», и даже присутствовать на дне рождения сына своего друга.

Так было и в тот раз.

Юлиан явился с кучей каких-то очень «дефицитных» пластинок — в подарок.

Мы встретились так, будто давно уже знали друг друга и только в силу обоюдной занятости какое-то время не виделись: он умел с полуоборота расположить к себе людей.

Он как раз закончил работу над очередной рукописью, о чем по прибытии тотчас и объявил во всеуслышание.

Отец, знавший его манеру, только покачал головой, посоветовал мне «присмотреть за ним», но тут же снисходительно махнул рукой: «А! Все равно бесполезно. Раз Юлька сдал рукопись, он неуправляем». Так оно и случилось:

Юлиан позволил себе «расслабиться» от души. К концу праздника он уже лежал на траве, широко раскинув руки, и

слегка посапывал. Ему было хорошо.

С того дня и началась наша дружба. Ее благословил отец, и это для меня значило много.

Нередко, когда передо мной вставали какие-то проблемы, он прямо адресовал меня к нему: «Посоветуйся с Юлькой». Он понимал, что слова Семенова могли быть намного авторитетнее для меня, «молодого, растущего», чем его, отцовские. Ведь для нас, детей, даже взрослых, родительские нравоучения и поучения нередко значат гораздо меньше, чем «советы постороннего», тем более такого, как Юлиан. А разница между тем, что сказал бы мне отец, и тем, что я мог бы услышать от Семенова, была бы незначительной.

Не буду бахвалиться — несмотря на настойчивые рекомендации отца, сторонника моего сближения с Юлианом, тесной дружбы у нас не было. Нет, не из-за каких-то расхождений во взглядах. Просто нас разделяло многое — и работа, и в определенной степени возраст, а позже — и мои, и его длительные зарубежные командировки. Но не было случая, чтобы, обратившись к нему за советом или за помощью, я получил бы отказ.

Когда он был досягаем, а я, столкнувшись с какой-нибудь проблемой, нуждался в ее разрешении или более широком и глубоком видении, и звонил ему, то в телефонной трубке всегда раздавалось приветливое и щедрое: «Для тебя, старикаш, я всегда свободен. Приезжай…» И выбирались день, час и место. Иногда таким местом становилась его дача.

Были у нас встречи и за границей. Одна из них — в Чили во время моей первой зарубежной командировки. Мы неожиданно столкнулись с ним в Сантьяго на набережной пересекающей город реки Мапочо. Там работали молодые художники — ребята из молодежной пропагандистской «Бригады имени Рамоны Парра», писали прямо на облицовочных камнях огромную — от моста до моста — мураль, посвященную 70-летию Пабло Неруды и 50-летию чилийской компартии, а я пришел туда взять у них интервью и поснимать.

Еще одна встреча произошла в Гаване, куда Семенов по приглашению кубинского телевидения и МВД прилетел на премьеру испанского варианта «Семнадцати мгновений весны», а заодно привез мне письмо от бати.

Конечно же он находился «под колпаком» нежно опекавших его хозяев, но, выбирая свободные минутки, отрывался от них, и тогда мы с ним ездили по заветным местам его кумира Хемингуэя — в кабачок «Бодегита дель Медио», где тот когда-то проводил массу времени, дружески беседуя с хозяином и всеми

завсегдатаями, в кафе «Флоридита», где у него было свое постоянное место в левом углу за стойкой, и где до сих пор сохранился *его,* хемингуэевский бокал, из которого, и только из него, великий писатель пил свои коктейли (знаменитая фраза Хема об этих любимых им напитках; *«Мой мохито — в «Бодегите», мой дайкири — во «Флоридите»),* и, наконец, — в Кохимар, рыбацкий поселок к востоку от Гаваны, где он частенько бывал, где стояла его яхта «Пилар», откуда он выходил в море на ловлю «больших рыб», и где жил Грегорио Фуэнтес, прототип его знаменитого «старика» (как известно, Фуэнтес умер в январе 2002 года, пережив всех, кто о нем писал и снимал фильмы, в том числе и Юлиана).

Третья зарубежная, да и последняя встреча состоялась у нас в Перу в дни, когда умер Андропов и на пост генсека был избран Черненко.

В то время Юлиан уже был нездоров, его дочери то и дело звонили ко мне в корпункт, беспокоясь о его самочувствии. А чувствовал он себя действительно неважно.

Я увез его за 280 километров на юг, в насыщенный легендами полуостров Паракас. А оттуда мы отправились в не менее таинственную пустыню Наска, на поверхности которой начертаны и нарисованы так до конца и неразгаданные геометрические фигуры, линии и рисунки зверей, птиц, рыб и насекомых.

Я познакомил его с «хранительницей» пустыни Наска, легендарной немецкой ученой-математиком Марией Райхе, посвятившей свою жизнь изучению секретов этих рисунков, охране их от варваров, потом устроил ему полет над пустыней в авиетке компании «Аэро-Кондор», хозяева которой были моими давними друзьями.

Там же, в Паракасе, у нас состоялся разговор об отце. Юлиан упрекал меня за мое «безделье», «преступное нежелание» писать воспоминания о нем.

Я пытался объяснить ему, почему «не отваживаюсь» сесть за эти мемуары: боялся, что, написав о нем *в прошедшем времени,* тем самым похороню его для себя самого. А он, напрочь отбрасывая мои аргументы как «оправдание собственной лени», настаивал:

— Ты обязан сделать это, потому что *только ты* знаешь многое из того, на чем с каждым годом все чаще будут спекулировать все, кому не лень. Многие из приближенных к нему наверняка напишут о нем всякую всячину, лишь бы показать, насколько они были близки к Великому Кармену, будут славословить его, а по сути дела, демонстрировать «себя в Кармене», примазываясь к его славе, к его имени. Появятся и

откровенные подонки, которые будут перемалывать всякие сплетни и пересуды о нем. Твои воспоминания могли бы сбить эту волну. Больше некому.

Прошло четверть века. Сколько раз я убеждался в правильности слов Юлиана Семенова, незабвенного Юльки — инженера моей души, большого, искреннего и абсолютно бескорыстного друга моего отца!

Хочу подробнее остановиться на нашей с ним «перуанской» поездке. Но сначала об одном курьезном факте, в какой-то степени связанном с Янтарной комнатой, так любимой Юлианом.

Янтарная комната — в Уругвае?

В уругвайском корпункте РИА «Новости» раздался звонок.

— Не помешаю, если подъеду к тебе прямо сейчас?

Несмотря на нарочито бодрый тон, в голосе дипломата прослушивалась нервозность. Я уже знал: если он «выдает бодрячка», значит, его службе приспичило нечто экстравагантное. В таких случаях они бросались шуровать по всем сусекам, в том числе и в моем корпункте, дабы найти хоть крупицу того, что от них требуют из Центра.

— Приезжай.

Он тут же явился и, отбросив все профессиональные формальности, «заходы» и уловки, выпалил:

— Что тебе известно о Янтарной комнате?

Под грифом «Совершенно секретно»

Признаюсь, я мог ожидать чего угодно, но чтобы про Янтарную комнату…

— Наверное, то же, что и всем, — оправившись от удивления и пожав плечами, ответил я.

— Нет, ты меня не понял, — сказал дипломат. — Ты вот много писал о беглых нацистах, наверняка кого-нибудь из них видел и здесь, и в Парагвае, и еще где-нибудь. Они не могли знать о судьбе этой комнаты?

Он впился в меня глазами и, втолковывая каждое слово, спросил:

— Кто-ни-будь-здесь мо-жет-хоть-что-ни-будь-знать-о-ней?

— Подожди, — взмолился я, — лучше объясни, что все это значит?

Дипломат молча буравил меня взглядом, будто проверяя,

можно ли доверить этому типу великую тайну. Но, видимо, отпущенные ему сроки уже настолько иссякли, что терять было нечего. И он раскололся:

— Понимаешь, *мы* получили задание найти Янтарную комнату.

— В Уругвае?! — оторопел я.

— Да нет же! Скорее всего, это задание разослали по всем странам: авось где-нибудь да проклюнется.

— И вы здесь решили отличиться, — не смог не съязвить я, уж больно нелепо все это выглядело.

— Александр, прошу тебя, я ведь серьезно. — Ему и в самом деле было не до смеха.

— Глупости все это. Посоветуй своим шефам или тем, кто вам спускает такие задания, чтобы не занимались ерундой.

— Мои шефы, как и я, — тоже люди подневольные, — пробормотал мой гость, и, чуть поколебавшись, открыл теперь уже самую-самую, совершенно секретную тайну: Янтарная комната зачем-то очень срочно понадобилась Горбачеву. Ну, прямо вынь да положь!

Сказав эту фразу, дипломат сразу как-то посветлел, в его глазах уже не было ни той волчьей пристальности, ни затравленности загнанного в угол неудачливого охотника за информацией. В них плескался трудно сдерживаемый смех. В самом деле, иногда полезно произнести вслух мучающую тебя глупость, чтобы осознать всю ее абсурдность и никчемность.

— Я знаю, к кому надо обратиться, — сказал я. Веселье, озарившее было его глаза, мгновенно потухло. Они снова стали острыми как два кинжала. Он стал в стойку, готовый к прыжку за искомой добычей.

На этот раз смех начал распирать меня. Выдержав паузу, я произнес:

— Этого человека надо искать в Москве.

— Так кто же он?!

Мне удалось выдержать еще одну паузу, и, внутренне проклиная себя за дешевое позерство, я изрек:

— Этот человек — Юлиан Семенов.

Тень глубокого разочарования легла на лицо дипломата.

— Ты что, смеешься?

— Нет, вполне серьезно. Но с Семеновым надо говорить доверительно. Не о том, о чем он пишет про поиски Янтарной комнаты, — он ведет тему, его надо понять. Спросить его следует о том, о чем он *не пишет* и, может быть, не напишет никогда. Мне известно точно: он в курсе дела.

Обиженный дипломат вяло махнул рукой и оставил меня

наедине с воспоминаниями о еще одном телефонном звонке, раздавшемся в корпункте «Комсомольской правды» в Лиме в начале февраля 1984 года.

«Эту Юлю зовут Семенов»

Телефон разбудил меня часов в шесть утра. Звонил мой коллега Владимир Весенский из Буэнос-Айреса.

«К тебе едет Юля», — сказал он.

Спросонья я не врубался: «Какая Юля?»

«Проснитесь, Шура, — весело произнес Весенский. — Эту Юлю зовут Семенов».

Наконец-то я понял. А в трубке уже звучали инструкции по встрече и программе пребывания «высокого гостя»: отель, встречи, контакты и пр.

«Вообще-то Юля едет по линии АПН, — продолжал Весенский, — и все хлопоты по его официальному пребыванию должны лечь на них. Но, поскольку ты его друг и, как он сам утверждает, давно зазывал его в Перу, он хочет, чтобы его встречал, размещал и лелеял именно ты. А все нюансы программы, — добавил он, — пусть ложатся на апээновцев».

Проснулась жена Валентина. Выслушала меня и сказала: «Все ясно: он будет жить у нас, а отель — это для престижа. Не забудь заехать на рынок!» Но я все-таки помчался претворять в жизнь полученные инструкции. Потом связался с заведующим бюро АПН, рассказал о полученных ЦУ и пожеланиях «высокого гостя», чем вызвал у него, трепетно ограждавшего свой имидж руководителя крупного учреждения, плохо скрываемое недовольство: почему, мол, не сообщили ему лично из Москвы напрямик, а передают через кого-то! Но вскоре аналогичные инструкции получил и он.

Вернувшись домой, узнаю, что в мое отсутствие Семенов позвонил сам и рассказал Валентине, что уже недели две мотается по Южной Америке, что страшно устал, что у него подскочило давление, и он безумно хочет провести несколько дней покоя и тишины в компании милых друзей. Что же касается «программы пребывания», то — как сложится, а вообще-то ну ее к лешему.

Юлиан прилетел через два дня.

Накануне в Лиму пришло известие о смерти Андропова. Вся совколония, разумеется, стояла вверх дном, и до писателя никому не было дела.

Для Семенова же смерть генсека была ударом: во-первых, у

них были добрые личные отношения, Юлиан высоко ценил его и как человека, и как выдающегося политического, государственного деятеля, и во-вторых, благодаря Андропову Юлиан имел допуск к каким-то, мало кому открывавшимся «секретам секретных служб». Короче говоря, из самолета он вышел совершенно подавленным. На его неподдельную многодневную усталость известие о смерти Андропова наложилось тяжелой черной тучей.

Вдобавок в аэропорту выяснилось, что у него нет перуанской визы, и мы проторчали там часа два, уговаривая иммиграционные службы снизойти и выдать «великому советскому писателю» разрешение на хотя бы трехдневную побывку на родине инков.

В конце концов, проблема его пребывания в Перу была решена, и мы отправились в город. По пути Юлиан попросил подбросить его в посольство: хотел «на всякий случай» отметиться у посла и заодно узнать, не получил ли тот «по верху» из Москвы какие-нибудь свежие подробности о случившемся, и чем все это там оборачивалось.

Посол Анатолий Иванович Филатов, на редкость милый и интеллигентный человек, приятно выделявшийся из среды своих коллег, представлявших в те годы нашу державу в Латинской Америке, был полностью погружен в траурные дела.

Извинившись за краткость аудиенции, он попросил войти в его положение: со смертью главы государства свалилось столько присущих моменту протокольных хлопот!

«Конфиденциальных» же новостей, на которые рассчитывал Семенов, не было и в помине.

Уже прощаясь, у двери Филатов, подмигнув мне, шепнул ему на ухо: «Вы бы лучше смотались куда-нибудь за город, развеялись, а то вижу, на вас прямо лица нет».

Мы вышли во дворик, и тут нас окружили ребята-пограничники, охранявшие наше посольство. В тот час известие о том, что в здании находится Юлиан Семенов, имело для них гораздо большее значение, чем московская трагедия. Забыв о службе, они как дети поочередно просили его сфотографироваться с ними, дать им на память автограф.

«Я никогда не отказываю им ни в чем, — словно оправдываясь за этот момент «звездной славы», не совсем уместный в царившей вокруг муаровой обстановке, бурчал под нос Юлиан, направляясь к воротам. — Им ведь здесь, на чужбине, труднее всех: ни по стране поездить, ни жене, ни детишкам подарок купить достойный: жалованье-то у них мизерное. И дипломаты, эта «белая кость, да голубая кровь», ни в грош их не ставят. А в случае чего ведь первая пуля — им. Сколько таких

случаев было!»

На тротуаре он постоял, подумал о чем-то, рассматривая носки своих ботинок, потер пятерней бороденку и наконец, чуть склонив голову, вкрадчиво поинтересовался: «А что, старикаш, вы и впрямь тут задумали для меня какую-то программу?»

Я сказал, что программа, согласно полученным мной ЦУ, находится в руках апээновцев, на меня же возложена приятная миссия встречи высокого гостя и его приюта. Тем не менее, я готов сделать для него все, что он пожелает, если это, конечно, в моих силах.

Юлиан снова задумался, посмотрел себе под ноги, потом поднял по-собачьи усталые глаза и, глядя в упор, спросил: «Ты мог бы прямо сейчас увезти меня из этого города? Куда-нибудь далеко, где тихо и глухо, да так, чтобы ни одна сука нас не нашла и не мешала бы нам спокойно уединиться».

«Могу, только надо предупредить апээновцев, что нас не будет в Лиме», — ответил я, понимая, что обрекаю себя на тяжелые и явно незаслуженные разборки с зацикленным на собственном величии завбюро АПН.

«Да пошли они все… — пробормотал Юлиан. — Никого не хочу ни видеть, ни слышать».

Признаюсь, таким я его не видел ни разу. Только что он щедрой рукой раздавал автографы, терпеливо позировал перед объективами прапорщиков, а тут такое, я бы сказал, жесткое пренебрежение к усилиям людей, ему незнакомых, но искренне желавших сделать его пребывание в Перу насыщенным и полезным.

Апээновцы действительно занимались его «программой», готовили какие-то встречи, искали нужных ему людей. А он вот так категорически все откинул.

Наверное, все это он прочел на моем лице, потому что, произнеся столь «кощунственную» фразу, тут же спохватился и устало взмолился: «Ну хоть ты-то пойми меня!»

Он, действительно, был на пределе, как физическом, так и духовном. И ни спорить с ним, ни что-то доказывать ему в этот момент я чисто по-человечески не смог. И, покорно кивнув, сел за руль: «Поехали!»

Мы едем в тишину

Наскоро заскочили в отель, отказались от заказанной для него комнаты, потом — в корпункт, схватили какие-то шмотки, термос, банку растворимого кофе и умчались из Лимы.

— Куда едем? — впервые поинтересовался Юлиан, когда я уже выруливал на широкое, ведущее на юг Панамериканское шоссе. До этого он молча и угрюмо смотрел в окно, автоматически фиксируя картинки бегущего навстречу города и наверняка думая не столько о Лиме, сколько о Москве.

— Какая тебе разница? — Ответил я. — Ты просил увезти тебя в тишину, вот я и везу. Положись на водителя.

— На такого водителя полагаться опасно, — ворчливо бросил Юлиан. — Ты совершенно не знаешь меры в скорости. А если баллон рванет? Кстати, у тебя шины бескамерные? — Я кивнул. — Значит ты полный м…к: наедешь на булыжник, вот и будешь потом рулить на том свете и меня заодно потащишь туда же. И вообще, куда ты мчишься, за нами, что — гонятся? Или ты передо мной выкаблучиваешь?

— Не люблю видеть впереди чужие подфарники, — сказал я, и попытался подколоть его: — Если бы не твой прилет в чужую страну без визы, мы бы ехали гораздо тише. А сейчас уже шестой час, и ехать нам еще часа полтора, не меньше. Темнеет же в тропиках, как тебе известно, ровно в шесть и сразу, а твой водитель не любит ездить в потемках. К вечеру на автострады выкатывают все трейлеры, и не мне тебе рассказывать, как встречные машины слепят здесь глаза, вспомни Кубу.

Я напомнил ему эпизод восьмилетней давности, когда, приехав на Кубу, он попросил меня повозить его по хемингуэевским местам, и в частности в Кохимар, рыбацкий поселок под Гаваной, откуда Хемингуэй ходил в море на ловлю своих «больших рыб».

Возвращались мы из Кохимара очень поздно, и все шедшие навстречу автомобили нещадно слепили нам глаза, а Юлиан то и дело просил «прибавить газку» да «врубить им» дальний свет, авось поймут, как надо вести себя на дорогах.

Сейчас все было иначе. Что-то в нем надломилось, сделало его осторожным и осмотрительным. Где крылась причина этой осторожности, напрочь вытеснившей былую семеновскую удаль и бесшабашность, которую многие осуждали и которой я втихаря завидовал по-черному?

После некоторых колебаний я все-таки не утерпел и спросил его: «Чего это ты стал бояться скорости? Неужто какая-нибудь гадалка подсказала? Или ты был у Ванги?»

Хаос после четвертого генсека

О том, что он посещал болгарскую ясновидящую, я знал, и

мне давно хотелось поговорить с ним об этом. А тут вроде сама судьба выводила на эту тему.

Юлиан ответил не сразу. Так же молча и отвлеченно он смотрел на пролетавшие мимо пейзажи. Но брошенная мной наживка не осталась без внимания.

— У Ванги я был, и не раз, — минут через пять, неожиданно, будто наш разговор вовсе и не прерывался, сказал он. — Она мне много интересного наговорила.

Чтобы хоть как-то отмазаться за явно не понравившийся ему вопрос о его осторожности, я, так сказать, «на злобу дня» спросил, а не говорил ли он с ней о наших делах государственных.

— Ты, наверное, слышал, — не отрываясь от бокового окна, сказал он, — Ванга политические прогнозы делать не любит. Все это знают и стараются к ней с этим не приставать. Но я же — «не все». Мне же обязательно надо влезть, куда другим неповадно. Вот я и спросил однажды…

— И что же она тебе сказала? — Не вытерпел я.

— Да вот вспоминаю, — сказал Юлиан. — Ну, в общем, может быть и не дословно, но фраза ее прозвучала примерно так: «Сменятся у вас четыре главы, и наступит хаос». Вот я и думаю: двое уже сменились — Брежнев, Андропов… Кто же те двое, что остались на очереди?

Теперь настал мой черед молчать. Что мог я тогда сказать! В самом деле, смерть Андропова могла принести совершенно разные пути развития политической ситуации. Как однажды говорил мне сам Юлиан во время одной из наших предыдущих московских встреч, в Кремле могли возобладать силы, которых возмущали даже те робкие сдвиги в общественно-политической жизни, что появились при Андропове, те подававшие надежды на перемены, а лучше сказать, «нестандартные» подходы к решению национальных и международных проблем, которыми ознаменовалось его короткое пребывание на посту генсека. Но все могло обернуться и иначе. Ведь не случайно же говорилось в народе, что Андропов готовит почву для перемен больших и радикальных, что под его крылом пестуются политики нового типа, те, что придут на смену засевшим в Кремле склеротикам.

Мне же, человеку, много лет «оторванному от советской действительности», от политической кухни, на которой пеклись все эти пироги, было нелегко выстраивать прогнозы.

Юлиан же, всегда отличавшийся умением раскладывать политические пасьянсы, снова ушел в себя…

Непроявленный снимок

Зависшую было в автомобиле молчанку развеяла забавная картина: лежащий опрокинутым на бок немыслимых размеров трейлер, а вокруг него — десятки тысяч раскатившихся по асфальту и придорожной канаве разбитых яиц, усердно размазываемых по «панамерикане» несущимися в обе стороны автомобилями.

«Ты когда-нибудь видел яичницу длиной в два километра? — оживился Юлиан. — Это же надо занести в Книгу рекордов Гиннесса!»

Яичная сценка вывела его из состояния мрачной сосредоточенности. Он стал балагурить, вспоминать похожие случаи на дорогах Испании, что-то из его германского опыта. Помню, наш разговор стал на рельсы его антинацистских изысканий. И я задал давно мучивший меня вопрос о том, насколько допустим вымысел в творчестве писателя и журналиста.

Юлиан насторожился: «Что ты имеешь в виду?»

Я привел ему пример из его же материала: сказал, что его интервью с бывшим денщиком Гитлера отдает вымыслом, что, по моим подсчетам, этот денщик умер лет за десять до их беседы.

Минуты три я ощущал его тяжелый взгляд на моем правом ухе, после чего услышал совершенно неожиданный вопрос: «А тебе-то самому это интервью понравилось?»

«Разумеется, — ответил я, — но…», — хотел я продолжить, однако он резко прервал меня: «Вот и не скули! Это — своего рода обобщение, литературный прием. Был бы жив этот фриц, ничего иного я от него бы не услышал. Вот и ты не мучай себя угрызениями совести, когда надо показать какое-то явление или общественный феномен, а тебе не хватает фактуры. Надо уметь творчески подходить к работе, домысливать. Но при этом не отрываться от реальности. Например, ты рассказываешь о человеке, и тебе позарез нужно, чтобы он оказался в какой-нибудь вполне конкретной заварухе, где все лучшие качества его характера, его личности проявились бы как нельзя рельефнее. Но ты знаешь, что *его* там не было. И что? Ты не опишешь, как *он* участвовал в этих событиях?»

Я пожал плечами, пробормотал что-то вроде «а как же иначе, ведь его на самом деле там не было…»

«Ну и зря! — Юлиан вошел в раж. — Ты же создаешь литературное произведение — не важно, что это газетная или журнальная заметка. Ты имеешь полное право на допустимый вымысел. Кто кроме тебя знает, был ли твой герой там или нет? А тебе он нужен именно там. Так и «воткни» его туда. Ведь он вполне мог бы там оказаться и повел бы себя как раз так, как это

нужно тебе для раскрытия темы. Повторяю, это же не сообщение информационного агентства о событии, где все должно быть точным до мелочей, а очерк, почти рассказ».

По ходу этой «теоретической беседы» о журналистском творчестве мы накрутили последние километры нашей поездки.

Куда мы приехали? В рай. В самом деле, отель «Паракас», куда я привез его, расположен на одноименном полуострове — в уникальном экологическом заповеднике, где в одной точке сошлись и неописуемо красивый залив, и высоченные песчаные дюны, и восхитительной красоты пальмы, и буквально усыпанные птицами, тюленями и пингвинами гуановые острова Бальеста, и мистика одноименной с полуостровом доколумбовой цивилизации, и знаменитый, известный по фильму Эриха фон Дэникена «Воспоминания о будущем», гигантский рисунок загадочного «канделябра» на склоне возвышающейся над океаном горы, и маленькие рыбацкие поселки вдоль берега с их ресторанчиками — неказистыми, но щедрыми на самые изысканные блюда из креветок, устриц, крабов, трепангов, кальмаров, черепах и, разумеется, рыб, и прелестные фламинго, когда-то настолько поразившие своей красотой высадившегося здесь со своим войском освободителя Перу от испанского колониального владычества генерала Сан-Мартина, что он дал их цвета — красный и белый — флагу новой республики, и многое-многое другое.

То есть здесь было все то, что на самом деле может создать непревзойденную обстановку для отдыха, где, говоря словами Юлиана, было бы «далеко, тихо и глухо» и где бы «ни одна сука нас не нашла и не мешала бы нам спокойно уединиться».

— Да-а-а, лилипут, ну и местечко ты выбрал! — только и крякнул Юлиан, стоило ему выглянуть из окна предоставленного нам бунгало на шуршащий волнами залив, на появившуюся на неожиданно быстро очистившемся небе луну, вдохнуть океанский бриз.

Обращение «лилипут» он перенял у моего отца. Тот награждал этим словечком своих самых близких людей, когда хотел подчеркнуть свое особое к ним расположение. Юлиан знал, что мне будет приятно услышать такое из его уст, и я пойму, как ему хорошо и как он мне за это благодарен.

Прогулявшись по берегу и размявшись после двухчасового пути, мы отправились в соседний поселок, где в ресторанчике под названием «Лас Гавиотас» («Чайки») отдались на произвол тамошних волшебников морской кухни.

Разговаривали о всяческой ерунде. Юлиан вспоминал, где, в каких странах, при каких обстоятельствах, в каком виде и как он

ел «этих гадов морских». Признаться, опыт по этой части у него был отменный.

За тот час, что мы провели в «Лас Гавиотас», с нами за столом побывали и японские, и вьетнамские, и африканские, и испанские, и чилийские, и еще Бог знает какие гости, когда-то разделившие с ним экзотические яства, приготовленные из «гадов», выловленных во всех океанах и морях планеты Земля. Теперь к ним добавлялись и перуанские.

Но, к сожалению, трапеза наша закончилась плачевно. От рыбных блюд, насыщенных йодом и чем-то еще, противопоказанным для людей в его состоянии, у Юлиана резко подскочило давление. Он поднял руки: «Лилипут, сдаюсь. Старость — не радость». Тут же выругался, и мы, расстроенные, медленно покатили назад, в отель.

Наутро он встал как ни в чем не бывало, прогулялся к морю, походил по воде. Купаться не стал, буркнув, что-де «не взял плавки». «Давай лучше поскорее сплаваем на эти хваленые острова, и посмотрим на твой «канделябр», — сказал он. За завтраком вместо кофе пил чай и очень торопился не опоздать на катер.

Часа три длилось это плавание. Море было спокойным, солнце сияло, и удовольствий от встречи с островами и их живностью было масса. Юлиан, боявшийся качки, тем не менее, чувствовал себя прекрасно. Гигантский «канделябр» поразил его своей простотой и необъяснимостью. И вот тут-то мы вернулись к разговору о Ванге. А «вышли» на него совершенно неожиданно.

Дождавшись, пока уляжется первое впечатление от созерцания «канделябра», я рассказал Юлиану о том, как однажды приехал сюда же с намерением сделать снимки этого таинственного рисунка и увидел прямо над ним и так же крупно «выгравированное» на склоне горы слово «ОДЕССА». Как выяснилось позже, надпись эту сделали наши морячки-черноморцы с судна, стоявшего у местного грузового причала. Фотографировать такую прелесть у меня не поднялась рука. Выслушав мой рассказ, Юлиан как-то весь съежился, сделался маленьким и беззащитным.

— Что с тобой? — спросил я, никак не связывая его перемену с тем, что он только что услышал от меня, и решив, что его попросту «укачало» или у него вновь подскочило давление.

«Не могу такое слушать, — сокрушенно сказал он. — Ну как можно надругаться над святыней! Ведь это все равно, что осквернить Библию, нагадить в Эрмитаже перед Мадонной Леонардо да Винчи, бросить в костер рукопись Льва Толстого, Гейне. Не знаю…»

Ему и в самом деле стало плохо. Все очарование нашей поездки рухнуло, и я проклинал себя за то, что распустил язык. Тогда, искренне намереваясь перевести разговор на другую тему, я задал ему вопрос:

— Скажи, а когда ты был у Ванги, не поинтересовался ли у нее судьбой Янтарной комнаты, где искать ее?

Спросил и тотчас понял, что снова попал не в ту степь.

Юлиан помрачнел еще больше, долго угрюмо молчал, держась за поручни и делая вид, что разглядывает окрестности. Потом, не отрывая глаз от берега, сухо спросил:

— Зачем тебе это? — Неожиданно тяжелый, отчужденный тон его голоса заставил меня насторожиться. Я понял, что ступил на минное поле или постучался в запретную дверь. Но отступать было поздно.

— Мне трудно представить, что ты, так страстно разыскивающий Янтарную комнату, не спросил у Ванги, где она находится. И не нужно было бы тратить столько сил, энергии и средств на ее поиск. Правда, тогда бы не появилось новых книг об этом поиске…

— Болтаешь всякую ерунду! — Вспыхнул Юлиан. — «Книг не будет», видите ли! Да хрен с ними, с книгами. Разве в них дело!

Он снова стал улиткой уползать в свою раковину, и я понял, что еще минута и вытянуть эту тему из него будет не так-то просто. И, не желая сдаваться и даже постаравшись казаться обиженным, я продолжал настаивать: «Так говорил ты с ней об этом или нет?»

Он резко повернулся ко мне всем корпусом и словно наставил в упор пистолет:

— Ну, скажи мне, человек-вопрос, зачем мне было спрашивать Вангу про Янтарную комнату?

Тут профессиональное чутье подсказало мне: я что-то нащупал.

— Я уже сказал тебе: чтобы сэкономить на поиске, и вообще, что бы узнать ее судьбу наконец.

И тут он ответил:

— Чтобы узнать, что ее разграбили наши солдаты и офицеры?! Из таких же варваров, что и те, которые написали здесь священное для нас с тобой слово «ОДЕССА», но обезобразили им святыню перуанскую? Нет уж, спасибо! — Он выпалил все это одним залпом, на одном дыхании. И, резко отвернувшись, умолк.

Мне стало не по себе. Я понимал: даже несмотря на то что Юлиан, отвернувшись, как бы перерезал нить нашего разговора, к этой теме еще можно было бы вернуться чуть попозже, когда

взрывная волна уляжется и он вновь оттает. Но как страшно бывает иногда открывать дверь в неизвестное, и, чтобы не столкнуться за ней с жестокой, обжигающей правдой или слишком примитивной разгадкой долго мучившей тебя тайны, я предпочел не только не браться за ручку этой двери, но даже больше и не стучаться в нее.

В общем-то семеновская реакция на мои вопросы совсем не обязательно могла быть откровением. Получалось как при фотопечати: бумага была экспонирована мгновенной вспышкой, но, чтобы узнать содержание кадра, ее следовало еще проявить. А делать это было боязно.

К теме Янтарной комнаты мы с ним больше не возвращались. Ни в Перу, ни позже в Москве. И впервые о нашем разговоре с Юлианом я вспомнил только несколько лет спустя, во время столь странного визита ко мне дипломата с его нелепым заданием.

Позже я не раз задумывался, как бы сам прореагировал на мои же вопросы, окажись на месте Юлиана. То есть на месте человека, предположительно знавшего правду, переживавшего ее, мучившегося от осознания собственного бессилия перед жуткой и неисправимой бедой. И чем больше я думал об этом, тем больше убеждался, что за странным поведением Семенова все-таки могла скрываться именно эта правда, эта тайна и эта беда. Но проявиться снимку было не суждено…

Утром мы услышали по радио, что генсеком «избрали» Черненко. И это известие напрочь отринуло все остальные темы.

Юлиан был в состоянии шока, матерился, разводил руками, хватался за голову. А я, наблюдая его реакцию, думал, что, раскрой ему Ванга «тайну Янтарной комнаты» и окажись эта разгадка такой, какой она показалась мне после разговора с ним, наверняка его реакция была бы столь же отчаянной, как и на избрание Черненко: рушились надежды и вера в здравый смысл людей, подавляло и обезоруживало ощущение полного бессилия перед тупой силой, ставящей перед фактом бессмысленного, ничем не оправдываемого варварства.

ВОСПОМИНАНИЯ ФИЛОЛОГА ТАВРИЗ АРОНОВОЙ

Признаюсь сразу: я встречалась с Юлианом Семеновым всего три раза. Правда, достаточно часто и подолгу мы говорили с ним по телефону.

На первую встречу с писателем я не шла, а буквально летела, обуреваемая каким-то сумасшедшим восторгом и ощущением, что вот он-то меня не только поймет, поддержит, подскажет, направит, но, главное, оценит результаты моей предварительной работы — мною были собраны и обработаны сотни статей, очерков, газетно-журнальных публикаций о жанре детектива, который в общем-то хоть и не считался высокой литературой, но вместе с тем был столь увлекателен и любим народом, что нуждался в объективной научной оценке.

На эту встречу, как и на остальные две, я пришла не одна — меня сопровождал мой научный руководитель Алексей Васильевич Терновский, о котором надо сказать особо.

Настоящий ученый, воплощавший лучшие качества русского интеллигента: высочайшую порядочность, редкое благородство, действенную, а не слезливую доброту, энциклопедические знания, такт и какую-то совсем не современную, по советским меркам, кротость.

По дороге мы условились, что говорить в основном будет Алексей Васильевич, а я, так сказать, — на подпевках. Ни страха, ни неуверенности я почему-то не ощущала. Было безумно интересно и волнительно, вперемежку с какой-то, совершенно беспочвенной самоуверенностью.

Юлиан Семенов встретил нас подчеркнуто вежливо, но в его лице мы не заметили ни малейшего интереса ни к нам, ни к моей, такой замечательно-смелой (с моей, безапелляционной точки зрения) идее написать диссертацию о его творчестве.

О том, что эта идея и замечательная, и смелая, думала только я. Алексей Васильевич считал эту задумку слишком дерзкой, хоть и интересной. А сам Юлиан Семенов, похоже, не испытывал никакого желания подобрать хоть какие-то эпитеты к моему проекту.

Он равнодушно слушал, кивал, отвечал на вопросы, оставаясь при этом несколько отстраненным.

Я совсем пала духом и, понимая, что заколачиваю последний гвоздь в крышку гроба, в котором уже лежала моя идея-мечта, вдруг ринулась в бой с самим Семеновым.

Я категорически отказывалась принимать его мягкое недоверие, скепсис и полное отсутствие каких-либо эмоций.

Это был не тот Семенов, образ которого угадывался во всех его книгах, каким я его видела в телепередачах.

Мой эмоциональный взрыв неожиданно помог мне. Писатель вдруг включился в разговор, отбросив куда-то свое меланхоличное недоверие. И, зажигаясь каким-то внутренним азартом, торопливо заговорил.

Как же он говорил! Сколько страсти, любви и трепетной нежности, ненависти и разочарования, тоски и едкой иронии, веры и усталого безверия прозвучало тогда.

И мы, слушая его, ужасались и негодовали, печалились и оскорблялись, хохотали и не верили, улыбались и верили, любили и ненавидели, растворялись и отторгали, взмывали в восторге и камнем падали вниз. Это было какое-то, почти осязаемое, единение душ.

Когда мы прощались, он, чуть улыбаясь, сказал:

— Что ж, милое дитя, пиши, а вдруг и получится.

Удивительное дело. Прошло уже более 20 лет, а я, мне кажется, не забыла ни единой детали, даже самого маленького нюанса этого взрывного знакомства.

На вторую встречу я шла как на заклание — несла Юлиану Семенову рукопись первого варианта диссертации, на страницах которой разгулялась в мыслях, ощущениях и выводах, без малейшей оглядки на цензуру.

Я была почти уверена, что Семенов будет, мягко выражаясь, разочарован, обнаружив, что диссертантка позволила себе отнюдь не тяжеловесно-академический стиль в своем научном исследовании. Да и выводы, сделанные мною, могли показаться писателю не просто неожиданными и непозволительно резкими, но и непочтительными, не отвечающими общепринятым стандартам.

Этот первый вариант он одобрил в целом, хотя и были у нас с ним споры и несогласия (если так можно выразиться). Правда, признаюсь с откровенной радостью, что он был приятно удивлен и даже обрадован общей тональностью и выводами диссертации.

Он много смеялся и уверял, что в таком виде работа не пройдет через бастионы профессуры кафедры советской литературы МГПИ им. Ленина, где мне и довелось быть аспиранткой. Однако охваченная ликованием от осознания того, что первый вариант был Семеновым не просто одобрен, но даже пару раз удалось сорвать аплодисменты, я внутренне приготовилась к яростной схватке.

Увы, Семенов оказался прав. Кафедральные оппоненты

буднично-серыми голосами, всего за пять минут доходчиво объяснили, что это интересно, элегантно, временами даже умно (вероятно, им на удивление), но в таком непричесанном виде не пойдет. Да и вообще, не надо умничать и выписывать сложные пируэты — не о Достоевском пишете.

Ни о какой схватке, яростной или родовой (в смысле рождения истины), и речи быть не могло.

Вся в тоске и скорби, я позвонила Семенову. А он вдруг, совершенно неожиданно для меня, откровенно-безудержно обрадовался.

Готовый вариант диссертации с авторефератами и всеми отзывами официальных оппонентов я принесла Семенову на третью, последнюю нашу встречу.

Мы втроем сидели на кухне в его шикарной квартире в доме на Набережной, пили зеленый чай, шутили, смеялись, но как-то вполсилы. Как будто истощился заряд оптимизма и веселья.

Прощаясь, он вдруг как-то протяжно-тоскливо сказал:

— Завалят тебя на защите! Может, мне прийти в качестве моральной поддержки?

Алексей Васильевич, помолчав, задумчиво сказал:

— Нет, это может быть расценено как психологическое давление — вы слишком знамениты и популярны.

— Да ей-то за что страдать? — воскликнул Семенов. — Мои враги будут рассчитываться с этой девчушкой!..

За «девчушку» я немедленно обиделась и, запальчиво так, как-то по-юношески, порывисто вскочила и, глядя ему прямо в глаза, отчеканила:

— У вас нет врагов, у вас есть лютые завистники.

Семенов как-то странно посмотрел на меня и, преодолевая какое-то внутреннее сопротивление, сказал:

— У тебя, деточка, есть еще один серьезный минус: ты еврейка, а я — наполовину. Тебя могут обвинить (не в открытую, конечно) в том, что еврейка защищает диссертацию по творчеству полукровки.

Я, глупое провинциальное дитя, высокомерно-надменно улыбнулась.

— Я готова к любым баталиям и уверена в победе. Ваши ненавистники не могут не знать, как вы любимы и почитаемы народом. Вашего Штирлица обожают все, даже воры в законе. Мне об этом говорил начальник колонии в Узбекистане, мой студент-заочник. Абсолютно не ведая о том, что я занималась творчеством Семенова, он как-то у меня спросил: «Можно ли достать книги Юлиана Семенова? А то в моей колонии, в тюремной библиотеке, — уже 73 заявки на его романы, и среди

них есть заявки даже от воров в законе. Хотя этим-то с воли пришлют». Я ответила: «Его книги нарасхват и на воле. Законопослушные граждане СССР любят Семенова, пожалуй, поболее ваших заключенных».

Семенов выслушал мою тираду, а потом сказал:

— Я не смогу сидеть и ждать твоей защиты. Лучше уж я в Ялту полечу. Там хоть как-то отвлекусь от беспокойства и волнения.

Алексей Васильевич даже обрадовался:

— Да, это мудро. А мы уж тут сами, без вас справимся.

А назавтра нас ожидал такой мощный выпад из стана завистников Юлиана Семенова, которые окопались тогда в секретариате Союза писателей Москвы, что мы не просто изрядно поволновались, а попросту впали в глубочайшую, почти безысходную тоску-печаль.

Представьте себе мое потрясение, да что там потрясение, — шок, когда главный оппонент — заведующий кафедрой Литературного института имени Горького, доктор филологических наук, профессор, ровно за сутки до означенного срока сдачи вдруг отказывается от защиты, если не будут изменены некоторые формулировки и выводы, напрямую касавшиеся Юлиана Семенова.

Справедливости ради надо отметить, что диссертацию он одобрил, но… у него были профессионально-дружеские связи с некоей группой не особливо удачливых писателей и журналистов, которые, кто тайно, кто явно, стремились усложнить жизнь Юлиану Семенову. Они использовали в качестве рычагов давления и влияния ложь, клевету, слухи, домыслы, вымыслы, а то и прямые запреты, если имели на это возможность.

Мой оппонент не мог противостоять жесточайшему давлению, которое оказывали на него эти люди. К счастью, он оказался не настолько коварным, чтобы вынести смертный приговор моей диссертации прямо на защите, но весьма малодушным, ибо о своих претензиях заявил только за сутки, хотя работа находилась в его распоряжении полгода.

Авторитет Алексея Васильевича, полное доверие ему как научному руководителю, ученому помогли нам найти удивительного человека — доктора филологических наук, профессора Петра Ивановича Плукша.

Профессор Плукш, сам с удовольствием читавший Юлиана Семенова, очень удивился, что нашлась в «далекой Азии столь рисковая аспирантка».

Он с явным, искренним, а не показным энтузиазмом согласился стать моим оппонентом. Конечно, он вздохнул, когда

мы его поставили прямо-таки в прифронтовые условия (написать за сутки отзыв — дело нешуточное), но на следующий день в 6.15 вечера под неодобрительно-строгим взглядом ученого секретаря, еле переводя дух, я сдала все отзывы и диссертацию в секретариат.

Я опоздала на пятнадцать минут. Все заканчивали работу в 6 часов.

До защиты оставалось ровно тридцать дней, как и было положено по инструкциям ВАК[132].

ВОСПОМИНАНИЯ ЖУРНАЛИСТКИ ТАТЬЯНЫ БАРСКОЙ

В августе 1982 года в Доме творчества Союза писателей, как всегда людно, полный аншлаг. Этот литературный Олимп хранил память о Паустовском, Маршаке, Фадееве, Твардовском, Луговском, Каверине, Окуджаве, Вознесенском. Легче назвать тех, кто тут не бывал.

Проходя мимо нашей редакции газеты «Советский Крым» (ныне «Крымская газета»), которая размещалась тогда на полпути от Дома творчества к набережной, писатели непременно к нам заглядывали, приносили отрывки из будущих книг. Мы их печатали на традиционной литературной странице «Воскресное чтение».

Юлиан Семенов появился неожиданно. Он вообще оказался непредсказуемым. Экспромт, импровизация были свойственны его натуре. Этим он был интересен и привлекателен. Накануне взволнованный фотограф Валерий Макинько рассказал нам, что встретился на Ялтинской киностудии с Семеновым и сфотографировал его!

На следующий день во дворе редакции появился плотной комплекции бородатый человек в рубашке защитного цвета с большими карманами на груди, из которых выглядывали авторучка и пачка сигарет. Представился: «Юлиан Семенов. Прошу любить и жаловать».

Все последующие годы нашего с ним общения и сотрудничества были верны этому призыву: любили и всегда жаловали. На протяжении многих лет на страницах нашей газеты печатались главы из его будущих книг, над которыми он работал в гостинице «Ялта», в Доме творчества писателей, в санатории «Россия». Все гонорары просил перечислять в Фонд мира.

Вскоре Семенов стал своим человеком в городе. Он вникал во все проблемы, связанные с развитием туризма, культуры, музеев, в частности очень близко к сердцу принимал судьбу Ливадийского дворца. Предлагал создать при нем Центр международных исследований «Восток — Запад»…

…На читательскую встречу с Юлианом в кинотеатре «Сатурн» в декабре 1982 года собралось более тысячи зрителей.

Он появился на сцене легко и стремительно. Контакт с залом возник мгновенно. Его слушали затаив дыхание. Ни один вопрос не остался без ответа. Любимой формой общения оставался диалог.

Зрители даже не подозревали, что перед ними стоит человек с температурой 39, простуженный, буквально за несколько минут до встречи поднявшийся с постели.

Когда мы, организаторы встречи, пришли к нему в Дом творчества и увидели, в каком он состоянии, стали уговаривать перенести ее на другое время.

Он решительно сказал: «Ни за что! Ведь там же собрались люди!»

Помимо писательского таланта он еще обладал огромным даром любви и уважения к людям, какого бы звания и положения они ни были…

Поражали его общительность, открытость, неуемная работоспособность и вместе с тем какая-то моцартовская легкость. Юлиан будто жил вне времени. И я не удивлялась, когда в двенадцатом часу ночи раздавался телефонный звонок и он, хриплым голосом произнеся свою обычную фразу: «Значится так», — начинал диктовать поправки к очередной газетной публикации.

В 1989 году Юлиан решил организовать фестиваль «Детектив. Музыка. Кино». На приглашение фестиваля откликнулись его добрые знакомые — Микаэл Таривердиев, Валентин Гафт, Леонид Ярмольник, Георгий Гречко.

Не побоялся Семенов пригласить и известного на всю страну следователя по особо важным делам Тельмана Гдляна (тогда на него начались гонения).

Августовским вечером 1989 года к концертному залу «Юбилейный» устремились толпы горожан и отдыхающих. В воздухе висел вопрос: «Нет ли лишнего билетика?!» Его, конечно, не было.

Увлекательные детективно-литературно-музыкальные шоу продолжались в течение пяти вечеров. Главным героем в них оставался Юлиан Семенов. В совершенно необычном для него белом одеянии[133] он напоминал мифологического героя. Он был счастлив, потому что сбывались его мечты — зрители ликовали при встрече с актерами, с удовольствием смотрели западные кинодетективы, привезенные с XVI Московского кинофестиваля, на ура проходил аукцион книг его издательства ДЭМ, а главное, — средства, полученные от фестиваля, переводились на благоустройство Пушкинского и Чеховского музеев в Гурзуфе.

ВОСПОМИНАНИЯ ПОЭТА ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА

С Юлианом Семеновым я познакомился сначала как читатель. Прочел в конце шестидесятых в журнале только что написанную им повесть «Семнадцать мгновений весны» и поразился литературной добротности этого произведения. Потом, конечно, с удовольствием смотрел фильм (да и до сих пор просматриваю на кассете), никогда не забывая, что основа его — прекрасный литературный материал.

Подружились мы позднее. О литературе не говорили — это удел молодых, начинающих писателей, которым крайне важна оценка их работы. Для нас же литература стала неотъемлемой частью жизни. Воздухом. Разве мы говорим о воздухе, которым дышим? Разве только когда его уж особенно загрязнят дымом или выхлопными газами. Поэтому мы с Юлианом чаще говорили о судьбах — своих и чужих.

Готовил Юлиан сам. Однажды приехал я в Москву, он ко мне звонит: «Олжас, жду. Манты будем есть!»

Прихожу. Стоит Юлиан на кухне в переднике и варит купленные в ресторане «Узбекистан» манты, энергично помешивая в кастрюле половником, — совсем как сибирские пельмени. А манты ведь на пару готовят — на решетке, в каскане. После этого я ему и прислал из Алма-Аты каскан.

По натуре Юлиан был путешественник, открыватель. Общителен был очень и со всеми находил общий язык — если стоило его находить. Отцом был на редкость нежным. Может и не хватало ему времени, чтобы выразить свое отношение к дочкам, но, как необязательно выпить все море, чтобы осознать, что оно соленое, — достаточно нескольких капель, так и тех часов, которые он с ними провел при мне, мне хватило, чтобы понять, насколько он их любил…

Перестройку Юлиан принял сразу и активно в нее включился. Перестройку должны были делать новые люди, и Юлиан по складу ума к ним относился. Они формировали общественное мнение, подготавливая его к приближающимся изменением. Почти все мы, писатели, старались их приблизить. Изменения пришли, но, к сожалению, в дальнейшем оказались слишком прямолинейными и не всегда к лучшему…

Юлиан был динамичен, экспрессивен и успешен. Всего добивался. Все, к чему прикасался, превращалось в дело. Оттого и завидовали ему. Когда в любой среде появляется личность такого

масштаба, то сразу привлекает повышенное внимание, и далеко не всегда доброжелательное. Сам Юлиан не знал равнодушия и если уж верил в человека, то веру эту хранил и поддерживал не на словах, а на деле. Строки: «Если друг оказался вдруг и не друг и не враг, а так» точно не о нем. Он другом быть умел.

В декабре 86-го года в Алма-Ате начались выступления молодежи и гонения на Кунаева. Он уже вышел на пенсию, но предъявленные ему обвинения были более чем серьезны.

Я, будучи на его стороне, также оказался в опале.

Гонениям было суждено продолжаться в течение долгих месяцев — пришло время низвержения памятников.

Я всегда думал, что у меня очень много друзей, — со сколькими писателями встречались, общались, выпивали! А тут вдруг понял, что друзей у меня почти не осталось. Вокруг образовалась пустота. И в этой пустоте раздался один-единственный голос в мою защиту — голос Юлиана Семенова. И не просто голос. Вскоре мне пришлось бежать из Алма-Аты (иначе бы меня арестовали), и я приехал в Москву, где Юлиан меня приютил. «Прятался» я и на его даче в Крыму, под Ялтой.

Как раз в те дни меня пропечатали в «Правде», и Юлиан, выступая перед московской интеллигенцией в ЦДРИ, получил вопрос из зала: «Что вы думаете о поэте Олжасе Сулейменове?». Ни секунды не раздумывая, он ответил: «Я знаю Олжаса. Олжас — алмаз. А к алмазу грязь не пристает!» И эту позицию Юлиан не изменял до окончания гонений на меня.

Через некоторое время я вернулся в Алма-Ату в надежде отстоять Кунаева (а им занимался и ЦК КПСС и КГБ и местный ЦК).

С Юлианом мы договорились поддерживать тайную связь через надежных людей — друзей кинорежиссеров. Я ему оставил их телефонные номера, и он по ним звонил, не называя имен и фамилий.

У Юлиана был обширный круг знакомых в КГБ и ЦК КПСС, и он, разузнав касающиеся нас новости, сообщал их мне.

Надо сказать, что Юлиан знал и Горбачева, и Яковлева, и Бобкова — интеллигентнейшего человека, который в моей судьбе принял участие. Он в КГБ занимался идеологией, и в писательских делах и интригах прекрасно разбирался. Это были основные «источники информации» Юлиана.

Я хорошо знал, что Юлиан был близок к КГБ. Это было связано с его сферой литературной деятельности, с архивами, но эти отношения никогда не превратились в нечто, от чего порядочному человеку стоит отворачиваться.

Юлиан был человек мудрый и понимал, где добро, а где

зло…

Все помнили, что было в тридцатые годы, но забыли, что в 60-е, в нашу эпоху «возрождения», и в КГБ появлялись интеллигентные и светлые люди, способные отличить добро от зла. И Юлиан общался именно с такими людьми. Он меня с ними впоследствии познакомил. А в ЦК таким светлым человеком был наш общий хороший друг Александр Николаевич Яковлев…

Что поразительно, в 87-м году отмечали юбилей — 50-летие 37-го года. Отмечали торжественно. Я помню, как откликнулись писатели, которые всегда, начиная с XX съезда, выступали с трибун, сокрушая сталинизм. Но лишь только появлялась возможность свести с кем-то счеты, как ими же использовались методы, сведшие в могилу многих писателей в 37-м году и в нашей республике и в других республиках Советского Союза. Психология у многих осталась та же самая… Не каждый из пишущих прошел эту проверку. Даже очень уважаемые ныне имена в то время «проверялись на всхожесть» и «всхожесть» оказывалась плохой…

Шли месяцы, мы поддерживали с Юлианом «тайную связь». И вот однажды он звонит к моему «связнику» — режиссеру-документалисту Юре Пискунову и ликующе говорит:

— Олжас, можешь передать Кунаеву, что все обвинения с него сняты!

— Юлиан, — взмолился я, — мы же договаривались, без фамилий!

— Ничего, пусть эти сволочи слушают! Демаш Ахматович свободен.

Юлиан в своей жизни помог многим. Но говорить об этом не любил, имен не называл, на благодарность или ответную помощь не рассчитывал, — он помогал бескорыстно. В этом природа добра — оно ведь всегда бескорыстно.

Вот таким был Юлиан — и от Бога и от воспитания…

ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЯ ИРЖИ ПРОХАСКИ

Вице-президент исполкома МАДПР… Этим ироническим титулом меня когда-то наградил один чехословацкий журналист, даже не подозревая, какую честь мне этим оказывает. Ибо быть другом и ближайшим сотрудником президента — основателя МАДПР Юлиана Семенова — писателя, журналиста, неистового репортера, которому хочется находиться в центре всех опасных и драматических событий нашей планеты, вечного путешественника и мечтателя, который к тому же гейзер или, точнее сказать, вулкан идей, инициатив и вдохновений, это действительно награда.

В тот раз мы встретились на Кубе в мае 86-го года по случаю литературной конференции, посвященной детективу. Мы были приглашены туда как почетные гости, поскольку семеновский Штирлиц и мой майор Земан на Кубе необычайно популярны.

Юлиан явился на Кубу с одной из своих фантастических идей: создать здесь МАДПР — Международную ассоциацию детективного и политического романа.

Признаюсь, мне эта мысль в первый момент показалась несколько дикой. Из писателей тут были мы с ним, наши кубинские товарищи, два мексиканца, один уругвайский писатель — эмигрант, один болгарин — и все. Объявить в таких условиях о создании новой международной организации казалось мне по меньшей мере безответственным, слишком претенциозным и до смешного самонадеянным.

Об этом мы спорили и ругались с Юлианом Семеновым на гаванском яхтовом причале целую ночь. При этом мы изрядно выпили, а посему около двух часов ночи спустились по трапу причальной дамбы в море, чтобы немного охладить свои разгоряченные головы.

Теплое море под космическим куполом карибской ночи, похожей на своевольную женщину, воткнувшую в свои волосы тысячи лениво мерцающих звезд, было так великолепно и умиротворяюще, что мы наконец-то договорились, и я согласился с Юлианом.

И только утром мы узнали, какой номер отмочили. Ночью гаванский порт кишмя-кишит акулами, барракудами, меч-рыбами и другими опасными тварями, а мы-то вместе с ними плавали!

Но Юлиан, как всегда, оказался прав: основание в 1986 году МАДПР было задумано мудро, а время выбора настолько отвечало

состоянию мира и стремлению писателей к взаимопониманию, что сегодня МАДПР объединяет писательские организации от Америки до Японии с благородной целью — помогать литературе бороться с насилием, преступностью, беззаконием и использованием силы в любой части света.

Все мои встречи с Юлианом Семеновым были интересны и полны приключений, поскольку его прямо-таки влекут драматические конфликты, напряженность и авантюры.

Например, когда создавалась МАДПР, я был арестован на Кубе как террорист, поскольку у меня имелся пистолет-кольт «Смит и Вессон», почетный подарок одного кубинского генерала, забывшего проинформировать полицию о своем даре.

В 1987 году, во время второй встречи Исполкома МАДПР в мексиканском городе Сен Жуан дель Рио, Юлиан вдруг спросил меня:

— Тебя исключили из партии?

Надо сказать, что перед этим из Праги в Москву поступило сообщение, что Семенов общается с человеком, который из-за своей политической позиции недостоин его доверия.

— Да.

— За что?

— Я не согласен с вводом ваших войск в Чехословакию в 68-м году.

— Но ты прав, — сказал Юлиан. — Это был идиотский поступок. Рано или поздно нам все равно уходить, поскольку это крупнейшая политическая ошибка, которую нам придется исправлять. Слава Богу, что тут со мной от вас хоть кто-то порядочный.

И с тех пор на многочисленных заседаниях он с гордостью сообщал, что рядом с ним сидит чешский писатель, который не согласен с советской оккупацией Чехословакии.

За год до этого в испанском портовом городе Хихон я предложил выбрать местом следующей встречи Прагу. Однако американцы ответили, что не поедут в страну, где писателей сажают в тюрьму за их убеждения. Поскольку в то время по стечению обстоятельств Вацлав Гавел и другие политические узники совести были на свободе, я поручился, что у нас в тюрьме нет ни одного писателя.

Незадолго до нашей добржишской конференции в январе 1989 года Вацлава Гавела посадили.

Юлиан Семенов немедленно прилетел в Прагу и отправился в ЦК КПЧ ходатайствовать за него у Рудольфа Гегенбарта и министра внутренних дел Кинцла.

Вернулся он успокоенный, поскольку эти государственные и

партийные деятели гарантировали ему, что еще до открытия нашей конференции на Добржиши Вацлав Гавел будет снова на свободе, так как его арест якобы всего лишь формальность.

Однако наступило 20 февраля — день открытия нашей конференции, а Вацлав Гавел все еще не был на свободе. Наоборот, на той же неделе его ожидали суд и приговор.

Встречая в аэропорту своих иностранных друзей — членов Исполкома МАДПР, я видел, что дело плохо. Не прилетел Фридрих Дюрренматт, которому мы должны были вручить премию за весь его творческий жизненный путь. В знак протеста не прилетели и американские писатели, послав телеграмму следующего содержания:

> «Дорогие коллеги! Накануне встречи Международной ассоциации авторов детективной литературы в Праге Исполнительный комитет членов этой организации решительно протестует против заключения нашего друга и писателя и драматурга Вацлава Гавела.
>
> Этот репрессивный акт является нарушением всех прав человека и противоречит духу сотрудничества, который завладел миром.
>
> Мы убедительно просим, чтобы он и другие политические заключенные были освобождены.
>
> Мы настаиваем, чтобы это письмо было зачитано во время заседания Исполнительного комитета в Праге, было ратифицировано комитетом и оглашено на пресс-конференции этой организации в Чехословакии.
>
> Благодарим вас за понимание.
>
> *Роджер Л. Саймон, Роаз Томас, Джо Гоез и Джером Чарин».*

Под этой американской резолюцией поставили свои подписи и другие члены исполкома: Лаура Гримальди, Марко Тропеа, Мишель Квинт, Пако Игнасио Тайбо, Андре Мартин, Макуэль Кинто, Хуан Мадрид, Эрик Райт, Сюзан Муди. А я зачитал ее на заключительной пресс-конференции.

Последним в тот февральский день прилетел Юлиан Семенов. Нам даже не удалось переговорить, потому что тут же, на аэродроме, ожидала правительственная машина, которая немедленно увезла его в ЦК КПЧ, к руководителю отделения обороны и безопасности Рудольфу Гегенбарту.

Нам в тот вечер на Добржиши пришлось заседать без него. В писательский замок его привезли около полуночи усталого,

раздраженного и злого.

Он тотчас пригласил меня к себе.

— Эти идиоты начали с Вацлавом Гавелом большую игру и не собираются от нее отказываться, — сказал он мне. — Я не имею права рассказывать тебе подробности, но мы влипли в нехорошую историю. Похоже, это конец организации, которую мы, затратив столько сил, все эти годы строили.

Я молчал, мне было тяжело.

— Для меня и для советской политики лучше всего было бы присоединиться к американцам и к их резолюции. Но таким образом я бы уничтожил тебя. На тебя возлагают ответственность за ход этого заседания, поскольку это ты предложил провести его в Праге. Если дело не кончится добром, тебя посадят.

Я был к этому готов.

— Нам нужно обмозговать, что делать. Разумеется, мы должны настаивать на освобождении Вацлава Гавела. Это наша моральная обязанность, и я сгорел бы от стыда, если бы этого не сделал. Но нужно так сформулировать, чтобы спасти тебя.

В этих словах было столько солидарности и настоящей жертвенной дружбы, что я не забыл их до сих пор.

Я искренне зол на истеричного француза Жана Франсуа Церраля, который так ничего и не понял и по сей день клевещет на Юлиана Семенова за его тогдашнюю тактику.

Пятая, добржишская конференция исполкома МАДПР и впрямь была драматичной. Секретари «старого» Союза писателей Адлова и Мадат, этот «мальчик со злыми испуганными глазами», как его охарактеризовал Юлиан Семенов, шпионили за нами на каждом шагу и записывали на магнитофон каждое слово, в том числе и те, что были сказаны на ночном закрытом заседании, которое демонстративно покинула половина французской делегации — Дидье Деник и Жан-Франсуа Церраль, не согласные со «слишком умеренной резолюцией», которую мы предложили. Международная ассоциация — МАДПР тем не менее эту бурю пережила, не распалась и к утру приняла резолюцию, которая звучала так:

«Исполнительный комитет МАДПР на своем пятом заседании в Праге большинством голосов своих членов (воздержался лишь один кубинец) решил просить президента ЧССР, чтобы он воспользовался своим правом и в духе хельсинкских и венских договоренностей предоставил свободу писателю Вацлаву Гавелу».

Но даже столь дипломатично сформулированная резолюция МАДПР не могла быть опубликована в Чехословакии, и весь ход пражского заседания бойкотировался официальными органами и печатью.

Несмотря на это, пятая конференция Исполкома МАДПР стала легендой в истории этой международной писательской организации.

Вскоре Вацлав Гавел стал президентом нашей республики, советские войска покинули нашу страну, а мне по-прежнему хотелось быть «пражским резидентом» Юлиана.

ВОСПОМИНАНИЯ ПРОФЕССОРА-НЕВРОПАТОЛОГА ВИКТОРА ШКЛОВСКОГО

Познакомились мы с Юлианом сорок лет назад, в Доме кино, и я его сразу запомнил и полюбил.

Он был невероятно яркой фигурой, способной из состояния спокойствия неожиданно переходить в состояние шаровой молнии. Если человек ему был симпатичен, то он мгновенно проникался к нему доверием, раскрывался и с ним было необычайно интересно с первых же минут разговора. Он был общителен, но избирателен. Мне пару раз выпадала возможность понаблюдать, как резко мог Юлиан разговаривать с некоторыми людьми, чуждыми ему по духу.

То, что Юлиан был человеком необычным, удивительным, не побоюсь этого слова, уникальным, не вписывавшимся в рамки окружавших нас стандартов, я понял сразу. Он и думал, и говорил нестандартно. Меня поразила энциклопедичность его знаний и вместе с тем некий энергичный романтизм. В ходе наших последующих встреч я начал воспринимать его не только как писателя и публициста, но и как очень серьезного исследователя целого ряда проблем, касавшихся каждого, кто жил в тот непростой период.

Юлиан был уникальным пропагандистом своей Родины. Я лично никогда не считал себя поклонником КГБ, хотя организации такого рода необходимы и существуют в каждом государстве — мир без разведки существовать не может. Увы, то, что происходило за стенами КГБ в определенные годы, можно охарактеризовать извращением представления о гражданских правах. Но Юлиан смог создать образ Штирлица — честного и умного человека, преданного своему государству. И этот персонаж не был полностью плодом его писательского воображения — он обратился к фактам истории, к жизни замечательных разведчиков, служивших стране верой и правдой.

Не каждая книга и не каждый фильм выдерживали испытание временем. «Семнадцать мгновений весны» выдержали. Три десятка лет тому назад, при его первом показе, этот фильм смотрела вся страна: люди бросали работу, отменяли сабантуи и приникали к экранам телевизоров. Все в этом фильме было удачно — и режиссура, и актерские работы, и музыка нашего общего друга Микаэла Таривердиева. Мы ее с Юликом иногда слушали — она была ему очень близка, и как-то он мне сказал: «Микаэлу удалось сделать удивительное — его музыка легла на д

у ш у м о и х м ы с л е й». Но, безусловно, самая большая заслуга в успехе фильма принадлежала Юлиану — автору и сценаристу, с его взглядом и рукой мастера…

Ту, последнюю нашу встречу (не считая моего врачебного визита на Пахру, к уже совсем больному Юлику незадолго до его смерти) я запомнил особенно хорошо…

Вторая половина восьмидесятых, я отдыхаю в Массандре и конечно же звоню к Юлиану, на его крымскую дачу недалеко от Фороса.

Юлиан обрадовался, и мы договорились встретиться через три дня.

На следующий день я ехал с моим приятелем — комендантом госдач по трассе, и вдруг он говорит: «Смотри-ка, машина Юлиана Семенова!» (Юлика и его оранжевый «жигуленок» с «татуировкой» на двери со стороны водителя в Крыму знали все).

Мы остановились, посигналили, встретились, обнялись, и Юлик сразу же заявил: «Ждать послезавтра не будем. Поехали ко мне!»

Мы сидели в небольшом доме в горной деревеньке Олива, завешанном его фотографиями с политиками и нацистскими преступниками, интервью с которыми он добился, и горячо обсуждали тогдашнюю политическую ситуацию.

Тогда-то Юлиан и рассказал мне о своей новой задумке — последнем романе о Штирлице «Отчаяние».

Я был потрясен. Штирлиц должен был вернуться после войны на Родину и попасть в тюрьму как враг народа!

Этот сюжет тоже не был полностью плодом воображения Юлиана — фактов предательства нашим государством замечательных разведчиков было несколько. Предательство властью своих соотечественников — верных и преданных, — это самое страшное явление в нашей истории, и примеров его хватает по сей день.

Юлиан, описывая трагическую судьбу Штирлица, будто прогнозировал и предвидел время, которое нам предстояло.

Его рассказ меня поразил — это было серьезнейшее откровение, предвидение. А чего стоило в романе изображение Сталина — трагической и страшной фигуры, в течение тридцати лет маячившей над страной! Я, как медик, уже тогда был убежден в паранойяльности этой личности, не щадившей не только врагов, но и близких.

Поразила меня и следующая вещь Юлиана — «Ненаписанные романы» — исследование политической ситуации в стране в сталинскую эпоху. Это была своеобразная квинтэссенция всех личных переживаний Юлиана, «перемолотых» его интеллектом.

Да, страна развивалась. Да, мы выиграли войну. Да, выходили фильмы, ставились спектакли, писались книги. Но все это — в условиях гигантского концентрационного лагеря.

В «Ненаписанных романах» Юлиан говорил и о Ленине. Личность этого гениального, пусть и зло — гениального человека его всегда привлекала…

Некоторые по-разному могут трактовать все то, что произошло в нашей стране, но то жесткое, эмоциональное, грамотное отношение к истории, которое было свойственно Юлиану, должно быть достоянием людей ныне живущих. Новое поколение должно жить, понимая и помня историю, поэтому его книги должны были бы издаваться ныне миллионными, а не тысячными тиражами.

Его книги представляют сейчас очень большой интерес — это то чтение, которое, оказывая на современного читателя сильное психологическое влияние, дает возможность ему осмыслить то время, в котором жили его родители и родители родителей.

Демократия в том виде, в котором она у нас организовалась, ужасна. Это вседозволенность, разгул, безответственность.

Юлиан в начале перестройки мечтал об истинной демократии и стремился сделать все, для того чтобы свободы были для всех и в равной степени значимы.

Созданная им газета «Совершенно секретно» стала его рупором.

Увы, зараженного духом Юлиана Боровика не стало, и сейчас газета лишь теплится.

ВОСПОМИНАНИЯ БРИТАНСКОГО ИЗДАТЕЛЯ ДЖОНА КАЛДЕРА (Великобритания)

Никогда не знаешь, будет ли пользоваться успехом та или иная книга, которую ты решил печатать, — это всегда определенный риск.

Я сначала узнал о книгах Юлиана, принял решение их издавать, а потом уже стал его другом.

В его шпионских романах меня поразило глубокое, двухстороннее знание международной политики и корректное отношение к «политическим врагам» его страны. Эти тонкость и вежливость отличали и его роман «ТАСС уполномочен заявить», который я издал.

В Англии любят шпионские романы, и эта книга Юлиана пользовалась успехом и хорошо разошлась.

Затем мы с Юлианом представляли ее в Америке: проехали через Торонто, Калифорнию, Нью-Йорк, Сан-Франциско. Юлиан давал интервью, выступал на конференциях, часто увлекался и не мог остановиться — очень хорошо помню, как он беседовал с одним журналистом в течении трех часов!

Несколько раз ему задавали вопросы про его связи с КГБ, и Юлиан всегда отвечал с юмором.

Мне он поведал о своей встрече с Андроповым, когда тот сказал, что хорошо бы Юлиану писать шпионские романы, которые стали бы своеобразным противовесом американским и английским.

Юлиан с удовольствием согласился, и Андропов предложил ему допуск ко всем секретным архивам. Юлиан благоразумно отказался от ознакомления со всеми документами — просмотрел лишь несколько, пояснив: «Я — писатель с богатым воображением. Остальное выдумаю! Зачем мне знать лишнее?».

Он был патриотом, но критиковал многие стороны тогдашней жизни.

В Голливуде его все полюбили, он приобрел много хороших друзей, в том числе автора шпионских книг Гилта. Он нравился людям, они к нему инстинктивно тянулись.

Мы с Юлианом после той поездки неоднократно встречались в Лондоне и в Париже, и меня всегда поражало количество людей, с которыми он был знаком…

Я уверен, что книги Юлиана не устареют, потому что он был хорошим писателем. В его романах мне всегда нравилось наличие

философской стороны (то, чего порой не хватало Ле Карре), интересных диалогов, раздумий и ретроспектив. И, несмотря на насыщенный сюжет, Юлиан никогда не становился его пленником.

Я теперь на пенсии, но очень надеюсь, что молодые издатели будут продолжать издавать Семенова. Я же каждый год устраиваю чтения в моем книжном магазине в Лондоне — читаем мы и отрывки из романов Юлиана.

ВОСПОМИНАНИЯ ИЗДАТЕЛЯ АЛЕКСАНДРА УИКАМА (Франция)

Юлиан Семенов оказался первым русским политическим писателем, о котором услышали в 80-е годы во Франции и который решался говорить о политике, не будучи диссидентом.

О Советской России существовало вполне определенное мнение — все писатели пишут исключительно то, что велит власть, и их за это печатают в государственных издательствах. В начавшуюся перестройку мы тогда не особо верили.

Юлиан Семенов позвонил ко мне, и мы договорились о встрече.

Я увидел удивительный персонаж — он был близок к власти, к КГБ, но в то же время говорил так свободно, будто не жил в коммунистической стране.

Конечно, сперва у меня были опасения, что он — секретный агент, и я даже думал о возможности какой-то «махинации», но Юлиан сам так увлеченно рассказал мне о своих близких отношениях с Андроповым, что я понял — передо мной не секретный агент, а настоящий писатель, страстно увлеченный вопросами власти и политики. Поскольку меня эти темы также увлекали, я и решил его издать.

Мой прямой начальник — господин Бельфон, хозяин издательства «Бельфон», сперва сомневался в том, что Семенов заинтересует французского читателя — ведь если читатель не заинтересуется личностью нового писателя, он не заинтересуется и книгой. (Мы и не знали, что у себя на Родине Семенов писал бестселлеры, в нашем понимании автором бестселлера мог стать исключительно француз.) И тогда я предложил Бельфону ход — создать Семенову несколько противоречивый имидж — писатель из коммунистического мира, живо интересующийся капитализмом.

Надо сказать, что у нас во Франции людей любят «раскладывать по полочкам». Семенов же, действительно, ни в какие «полочки» не влезал. Он любил женщин, машины и не пренебрегал деньгами, мастерски ведя деловые переговоры, и… был настоящим патриотом свой страны. Охотно признавал, что в Советской России проблемы со всем (кроме литературы), и… невероятно гордился тем, что он — русский. Причем, на мой взгляд, он сперва ощущал себя русским, а уж потом советским. Он имел связи в высших эшелонах коммунистической власти, но по убеждению был скорее не коммунистом, а философом,

желавшим изменений и считавшим, что менять нужно не все и не сразу.

Мой ход удался, журналисты напечатали с Юлианом Семеновым несколько интервью, читатели им заинтересовались, и его книга «ТАСС уполномочен заявить», вышедшая в нашем издательстве, разошлась очень хорошо.

Обычно издатели не читают выпускаемых ими книг, но я оба романа Семенова, выпущенных у Бельфона, прочел с интересом.

Я знаю, что и в России «ТАСС…» пользуется огромным успехом, но мне лично больше понравился второй роман Семенова — «Репортер», вышедший у нас под названием «Инженер Горенков», к которому я написал комментарий.

Это история рядового инженера, оказавшегося в тюрьме из-за отказа слепо подчиниться власти и открытого выступления против номенклатуры. В этом романе Семенов показал, что перестройка — вовсе не историческая неизбежность, как у нас любят представлять, и Горбачев, если бы не захотел, мог бы ее и не начать.

Семенов нашел своего читателя во Франции, не навязывая персонаж, а говоря о политике и власти, — это было ново и не могло не заинтересовать.

У нас каждый год публикуется 60 миллионов книг, и при такой конкуренции не просто привлечь к себе внимание, но ему это удалось.

Издательское дело во Франции отличается от американского тем, что издатели и после выхода книги сохраняют с авторами приятельские отношения.

Каждый раз, когда Юлиан приезжал во Францию, я с ним с удовольствием встречался. Вскоре мы начали обговаривать условия публикации новой книги Юлиана, но нашим планам не суждено было сбыться из-за его болезни. Вскоре его не стало.

Юлиан Семенов был несравним, и единственный, с кем я провожу параллель, вспоминая его, это Хемингуэй.

ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЯ-ЮМОРИСТА ВЛАДИМИРА ХОЧИНСКОГО

Юлиану Семенову

Сгорел… Ушел от нас так рано,
Погасла яркая звезда,
Но Юлиан и «Юлиана»
Остались с нами навсегда!

Юлиан, Юля, Юличка… Я закрываю глаза… Воспоминания, воспоминания. Сколько лет пролетело… В памяти волнами наплывают мгновения встреч: его глаза, лицо, жесты, слова, улыбка, смех!

Он был ни на кого не похож, неповторим, непредсказуем. Это был действующий вулкан. Его творческая душа, темперамент требовали новых впечатлений, ощущений, постоянного возбуждения, контрастов. К чему бы он ни прикасался, он все делал с размахом, стараясь объять необъятное, торопясь сделать это. Он считал, что сделать невозможное — возможно, и ему с его поразительной энергией, талантом, исключительной работоспособностью все удавалось.

Наше знакомство, как и он сам, было удивительным.

Много лет тому назад я получил письмо от моего друга Сергея Высоцкого с просьбой оказать помощь Юлиану Семенову, который снимал на «Ленфильме» картину о Вьетнаме «Ночь на 14-й параллели».

Юлиан был членом редколлегии журнала «Человек и Закон», а Сергей Высоцкий его главным редактором.

В письме Сергей просил меня срочно соединиться с Юлианом, ибо вопрос не терпел отлагательства.

Вначале я слегка обалдел. Затем рассмеялся. Это я-то должен срочно помочь знаменитому Юлиану Семенову, которого знает вся страна, у которого есть большие связи? Что может быть почетнее! Жаль только, что связи у меня лишь с издательством, которое несколько лет назад выпустило мою книжку «Короче…». (Будучи юристом я работал на фабрике юрисконсультом и изредка печатался в центральных газетах и журналах.) Но просьбу друга надо выполнять.

Я позвонил. В трубке раздался уверенный голос Юлиана. Я представился, и он попросил меня приехать на «Ленфильм»,

сообщив, что помощница режиссера его картины попала в беду и ее надо спасать.

«Спасать, так спасать!» — подумал я и поехал.

На студии Юлиан рассказал мне о случившемся.

Под Новый год пьяный сосед помощницы режиссера по коммунальной квартире, не найдя припрятанной в коридоре водки, решил почему-то, что виновница пропажи — помрежа, подошел к ней на общей кухне и дважды попытался ударить ее кочергой по голове.

Когда он вторично занес кочергу над головой женщины, та ударила его ножом в живот.

Ее арестовали, и дело было передано в суд.

Слушая Юлиана, я с умным видом кивал, но ничего путного мне в голову не приходило…

Вдруг я вспомнил, что однажды помог, а потом и подружился на юрфаке в университете с большим добрым парнем Колей Ермаковым, которого я, правда, уже давно не видел. А ведь теперь Николай Александрович Ермаков председатель городского суда! Вот тебе и связь, если Коля не зазнался!

Я поделился моими соображениями с Юлианом, и он решительно сказал: «Не теряя времени, едем к твоему Коле!»

В машине, как бы изучая, Юлиан меня внимательно разглядывал, а потом сказал:

— Мне очень нравятся твои острые афоризмы — я их читал…

— Но я ведь давно не был в городском суде и не видел Ермакова! — выпалил я невпопад.

— Ерунда! Если он друг, то поможет!

Мы подъехали к зданию суда и зашли в приемную. Я попросил Юлиана подождать, а сам отправился к Ермакову.

Николай тепло встретил меня, и я ему объяснил причину моего приезда.

Пригласив в кабинет Юлиана, заявил, что затребует дело, подробно с ним ознакомится и постарается помочь: «Тут есть зацепки — необходимая оборона, освобождающая от ответственности».

Через месяц помреж была освобождена. Ее действия были признаны самообороной.

Узнав результат, Юлиан улыбаясь изрек: «Судьи — слуги закона… и друзья тоже».

С этого момента и завязалась наша дружба, которая продолжалась и крепла до последней нашей встречи. А мне кажется, что она продолжается и сегодня, потому что Юлиана я вспоминаю очень часто, будто наяву слышу его голос, советы, шуточки, выражение его лица, когда он негодует или радуется и

смееется. Бережно храню его послания в «Литгазету» (Рога и Копыта) Суслову с просьбой почаще меня печатать, Л. Ленчу и Б. Ласкину — с просьбой написать предисловие к моей книжке. В них он называл меня «внучатым праправнуком герцога Ларошфуко», чем я очень гордился.

Юлиан любил делать добро и был верным другом. Дружить так дружить, любить так любить, ненавидеть так ненавидеть! Он часто повторял: «Да здравствует бюрократия нашей дружбы!»

В Москве он познакомил меня с женой и дочками, которых бесконечно любил.

«Какой же Юлик счастливый! Красавица жена, чудные дочки, талант, полон энергии, гремучая смесь — плодовит, богат, знаменит» — радовался я за него, но когда мы бывали вдвоем, что-то меня в Юлике настораживало и волновало. То ли воспоминания прошлого, спрятанные на дне его души, а может вечная неудовлетворенность его характера, а может быть то, что действительность только слегка напоминает жизнь, которую он так любил. Иногда, несмотря на показную грубоватость его высказываний, он как бы стесняясь, тянулся к нежности. Казалось, что ему, с его противоречивым характером и вулканической работой души, нежности-то в жизни и недоставало.

Как-то приехав в Ленинград и остановившись в гостинице «Ленинградская», он позвонил ко мне. Я мигом приехал.

Юлиан сидел в номере уже слегка подвыпивший. Мы обнялись и продолжали празднество вдвоем.

В тот вечер я рассказывал Юлику о Вольфе Мессинге, с которым познакомился мальчишкой в Челябинске в 1944 году и в течение нескольких лет помогал в проведении психологических опытов.

В то время Мессинг жил в гостинице «Южный Урал» вместе со знаменитым Араго, который в уме множил пятизначные числа и извлекал из них корни.

Юлик с увлечением слушал.

«Такие вещи ты обязан записывать» — корил он меня.

Сам он Мессинга знал — встретился с ним только один раз, но настолько экстрасенсу понравился, что тот ему на память подарил свою фотографию с надписью: «Юлиан Семенович, я всегда с Вами».

В тот вечер Юлиана никто не дергал телефонными звонками, чему я был очень рад, и мы замечательно посидели.

— Скоро мой поезд на Москву, проводишь? — спросил Юлиан и, не дожидаясь ответа, позвонил в Управление МВД.

— Капитан Сидоренко слушает!

— Здравствуйте, это Юлиан Семенов. Мне нужна машина к

поезду «Стрела».

Трубка молчала.

— Капитан?

— Машин сейчас нет.

— А вы поняли, кто к вам обращается с просьбой?

— Понял. Но машин пока нет.

Юлиан выругался и долго не мог успокоиться. Я опасался, что если машина не придет, то капитан станет рядовым.

— Выдай-ка мне пару афоризмов на закуску, — вздохнул Юлиан.

— Жизнь — это кросс, в котором каждый стремится вырваться вперед, чтобы прийти к финишу последним…

Сколько промахов! И все — в цель!

Юлиан грустно улыбнулся. Я посмотрел в окно. К гостинице подъезжала машина, по виду напоминающая «черный ворон».

«Неужели за нами?» — подумал я, вздрогнув, и неожиданно рассмеялся.

Раздался телефонный звонок, и трубка мрачно сказала: «Машина вышла».

— Похоже, этот воронок за мной, — сердито заключил Юлиан.

— За нами, — уточнил я, сдерживая смех.

— Ты здорово чувствуешь юмор, — слабо улыбнулся Юлиан, и мы, покачиваясь, вышли из гостиницы и поехали в воронке на вокзал.

Жизнь бежит… Вот и наша последняя встреча.

Юлиан в Ленинграде, в гостинице «Октябрьская», и, как всегда, я слышу в трубке знакомый голос:

— Это ты?

— Это я!

— Жду.

Захожу в номер. Там Юлиан, женщина и двое молодых людей. Здороваюсь.

— Это мой друг, внучатый праправнук Ларошфуко, писатель, мастер афористики, человек с большими связями в юридическом мире, — весело представляет меня Юлиан и знакомит с присутствующими: — Мой секретарь, а это Сергей Шолохов и Сергей Курехин — два молодых талантливых друга.

На столе лежал большой кусок ветчины и стояло вино. Юлиан принялся меня угощать.

— Ну как, старина? Все бегун-одиночка на длинные дистанции? Как рождаются афоризмы? Выдай что-нибудь новенькое для нашей газеты «Совершенно секретно». Хорошо оплатим. Почем для друга продашь?

Подумав, я назвал цену 400 рублей за афоризм.

— Для друга по 300, лады?

— Лады! — согласился я.

Секретарь записывала афоризмы, молодые парни с интересом их слушали. Юлиан о чем-то задумался, а затем неожиданно обратился ко мне с вопросом:

— Богач, а деньги у тебя есть?

— Есть, а что, бедняк?

— Прошу тебя сходить вот с этой милой женщиной вниз и посмотреть в ларьке янтарные украшения для подарков. Она тебе покажет, что надо купить. Сегодня воскресенье, ларек закрыт, а я вечером еду в Прибалтику, где как главный редактор «Совершенно секретно» встречаюсь с журналистами, а затем в Германию, — эти подарки пригодятся…

Внизу я записал все, что надо купить, и вернулся в номер.

За разговорами я не заметил, как пролетело время. Юлиан одел черное потертое кожаное пальто, держащееся на одной пуговице.

«Модник», — подумал я.

Мы вышли на улицу. Машина уже ждала.

Юлик посмотрел на меня с грустью. Что-то во мне екнуло.

«Еду в Прибалтику, а потом дальше, в Германию…»

Мы обнялись. Машина тронулась.

На следующий день я купил янтарные бусы, брошку, запонки и другие украшения, но шло время, а ко мне никто не звонил. Янтарь спокойно лежал у меня в шкафу, дожидаясь Юлиана.

Через некоторое время я решил его рассмешить. Пошел на почту и написал ему телеграмму такого содержания:

> «Срочно прекрати поиски Янтарной комнаты. Она находится у меня, на Апраксином переулке, в полной сохранности! Обнимаю. С Богом».

Но когда я протянул этот текст приемщице, она посмотрела на меня такими глазами, что я вдруг понял опасность моего поступка. А что если это послание попадет в грязные руки людей, лишенных юмора? Хороши шуточки.

Телеграмму я не отправил, а текст сохранил, чтобы повеселить при встрече Юлиана.

Прошло еще немало времени. За «Янтарной комнатой» никто ко мне не обращался.

Звоню Юлиану домой — молчание. В редакцию «Совершенно секретно» — отвечают, что он в командировке.

Неудержимый, неугомонный, непредсказуемый человек, наверное, где-то за рубежом с сильными мира сего

задерживается, — успокаивал я себя, но на сердце было тревожно.

Вскоре узнал, что с Юликом случилась беда. Я не мог в это поверить, а когда поверил, то звонил к его родным, подолгу с ними разговаривал и все надеялся, что он поправится, встанет, будет бороться до конца и победит! Люди с таким бойцовским характером не должны умирать: «Большое сердце должно дольше биться…» Биться и сражаться…

Он иногда и сейчас приходит ко мне, смотрит на меня глазами, в которых так много оттенков: от любви до ненависти, от мудрости до мальчишества, от юмора до сатиры, и тогда я бываю счастлив. Счастлив оттого, что это было! И вспоминая его я думаю, «что можно жить и прошлым, если оно НАСТОЯЩЕЕ!»

ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЯ ДМИТРИЯ ЛИХАНОВА

«Юлианские календари»

Ломая ботинками жесткий панцирь мартовского наста, я брел к его могиле мимо иных, неведомых и ненужных мне могил, скользил взглядом по гранитным, незнакомым мне лицам, глазам с черно-белых и цветных фотокарточек, выполненных на железных овалах с потрескавшейся эмалью, и все не находил того единственного, дорогого мне многие годы лица. Лица вечно улыбчивого, с вдумчивыми глазами, с седой щетиной по щекам и подбородку, с коротким пацанским ежиком седеющих уж волос, с губами его — полными иронии и ядовитых шуток. Такое лицо — на тысячи одно. Его уже ни с кем не спутать. А встретив хотя бы раз, не забыть.

Смерть и Юлик, тем не менее, понятия несовместимые. Даже когда я дотрагивался в последнем прощании до его высохшего, восковой пеленой подернутого лица, даже тогда, стоя возле гроба его, все еще не верил, что его уже нет. Что он уже Там.

Даже сейчас, по прошествии многих лет, когда наконец в ликующей весенней пыли вижу занесенную снегом могилу и буквы его имени, по которым струится и плачет первая в этом году капель, я все равно не верю, что Юлика столько лет нет вместе с нами. И никогда не поверю, потому что по отношению к этому человеку нельзя применять привычные нам системы координат и отсчета времени. Ведь он тем и отличался, что жил по какому-то своему, Юлианскому, календарю.

Апрель. Новый Арбат. Москва

Той редакции больше нет и никогда не будет. В ту чудесную, беззаботную пору она располагалась на конспиративной квартире КГБ, в высотном доме на Новом Арбате, известном своим популярным по тем временам магазином виниловых грампластинок «Мелодия».

Обычная тесная «двушка», где некогда бывалые «опера» назначали тайные встречи своей многочисленной агентуре, теперь вполне открыто и даже можно сказать вызывающе ютился первый состав «Совсека» — независимой частной газеты,

придуманной и запущенной Юлианом Семеновым в 1989 году.

Деньги на газету каким-то немыслимым путем через решение политбюро, через постановление Совмина СССР, как потом выяснилось, добыл сам Юлиан Семенович. Деньги в те годы совершенно астрономические. Бешеные деньги. Один миллион рублей.

Как ему удалось убедить политбюро и Совмин профинансировать первую независимую газету журналистских расследований, доподлинно я не знаю. Но, так или иначе, в то время пока первые российские олигархи еще с трудом упражнялись в решении задачек по арифметике и цедили дешевые сигареты на школьном дворе, Семенов, благодаря свой харизме, настойчивости, связям и личному обаянию, уже сделался первым советским медиа-магнатом.

Справедливости ради, впрочем, стоит сказать, что «магнатство» это было и в самом деле советским, «перестроечным» в самом прямом смысле этого слова. Как и многое в игрушечном капитализме горбачевской поры.

При всей своей внешней свободе, хозяйство «Совсека» еще много лет было под госконтролем, служило эдакой вывеской свободы печати в СССР. Но Семенова нисколько не смущало подобное положение вещей. При всем своем показном, даже лучше сказать артистическом космополитизме, Юлиан был, по сути своей, глубоко советским человеком, настоящим патриотом своей страны.

В отличие от большинства чиновников со Старой площади, он мыслил открыто и широко, водил знакомства с европейскими интеллектуалами всевозможных мастей, свободно говорил на разных языках, да и вообще мало чем напоминал советский истэблишмент той поры.

Вместе с тем водил теплую и нескрываемую дружбу с топ-менеджерами КГБ, влиятельными партийными бонзами и даже литературным начальством из СП.

Очевидно, все эти явные и тайные обстоятельства и повлияли, в конечном счете, на то, чтобы во главе «Совсека» встал Юлиан Семенов.

Наша редакция на Новом Арбате, к слову сказать, была своеобразным отражением тех его знакомств.

Секретаршей шеф-редактора служила эффектная политкаторжанка Зоя, которая, по словам Юлика, прошла сталинские лагеря, а оттого считалась особо стойким товарищем.

Тут же возле Зои ютился, по старорежимному интеллигентный кадровик Богдан Андреевич — в прошлом отставной офицер ПГУ и бывший советский резидент в Норвегии,

которому все никак не удавалось обуздать нашу журналистскую расхлябанность «приказами по личному составу».

В чугунной ванной хранила свои бесценные видеозаписи никому неизвестная журналистка Лена Масюк. А на кухне беспрестанно курили и фантазировали над очередным номером собственные и залетные авторы, среди которых можно было заметить двух Эдиков — Хруцкого и Лимонова, Женю Додолева, Артема Боровика.

В большой комнате за казенным столом, помеченным инвентарным номером, восседал тот, кто объединял всех этих персонажей, достойных фильмов Феллини.

В этой комнате всегда было дымно от его настоящего британского «данхила». Весело от его едкого юморка. Жарко от непрекращающихся споров. Интересно. Парадоксально. Живо.

Он, собственно, и сам был как будто из тех самых черно-белых фильмов итальянского ренессанса. Из «Дольче виты» или «Ночей Кабирии». Сделавшийся вдруг настоящим. Ставший, зачем то, цветным.

Август. Католика.

До сих пор я не знаю, зачем Юлиан назначил мне эту встречу на берегу сонного моря, в этом, изнывающем от жара оловянного солнца, городке, где медленно движутся трехколесные велосипеды, спят у обочин автомобили со швейцарскими номерами, а на деревянных верандах ресторанов, увитых фиолетовыми глициниями, подают очень сухое «ламбруско».

Я ехал сюда на электричке из Болоньи, а он на своем знаменитом форде «скорпио» кофейного цвета — из Парижа.

Формальный повод для встречи — в стиле Семенова: посещение фестиваля фильмов ужаса.

Если учесть, что ни одного советского фильма на фестивале, естественно, не было, а из всех показов мы удостоили своим вниманием только «Сияющего» с Джеком Николсоном в главной роли, то можно предположить, фестиваль этот захолустный был только прикрытием некоей важной конспирологической операции.

Вслед за Семеновым неотступно следовал его «совершенно секретный» заместитель Саша и женщина Алла, чья роль в иерархии газеты долгие годы оставалась темой еще более тайной и неразгаданной.

Всем своим видом она подчеркивала свою особую миссию, свой специальный статус во всей нашей беспокойной компании.

Именно в компании, а не в жизни Юлиана, потому как в то время в его жизни были другие женщины, и пышная блондинка в розовых блузках не вписывалась в его контекст.

Если уж следовать логике «совершенно секретной» жизни, то Алла могла быть командирована к нам ну, скажем, из контрразведки. Или из ГРУ. Как и Саша, который до того, как стать заместителем Семенова, защищал рубежи нашей советской Родины под крышей корпункта АПН, где-то на бескрайних просторах Хиндустана.

Я не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что тем теплым августовским вечером Юлиан Семенов привез в курортный итальянский городок Католика целый багажник золота партии. Или спасал какого-нибудь важного советского резидента. Или даже добывал компромат на политическую верхушку Италии. Все это я восприму, как в порядке вещей. Удивить меня сможет только одно. То, что он приехал сюда из Парижа посмотреть фильмы ужасов.

А когда я сказал ему об этом как-то на веранде с фиолетовыми глициниями, он только засмеялся раскатисто, зашелся вдруг кашлем застарелого курильщика. Но тут же загасил его доброй порцией неразбавленного виски со льдом. А глаза его вдруг стали печальны, как последняя листва в Красной Пахре.

Февраль. Гавана

Еще до того, как образовалась газета «Совершенно секретно», Семенов создал МАДПР — Международную ассоциацию детективного и политического романа.

Ассоциация эта, с виду сугубо писательская, по рассказам самого Юлика, родилась в гаванской гостинице «Havana Libre» в присутствии нескольких местных интеллектуалов, двух-трех троцкистов из Мексики и писателей левого толка из Западной и Восточной Европы. А поскольку дело происходило во время крупного подпития, инициатором которого, без всякого сомнения, был сам Семенов, то его и избрали первым и пожизненным фундадором, президентом и председателем этой молодой, но, как выяснилось впоследствии, достаточно агрессивной организации.

Сразу же после учреждения МАДПР в столице СССР была обустроена ее Московская штаб-квартира. В прямом смысле — штаб. В прямом — квартира. Та самая, где располагалась и редакция газеты, ею учрежденной.

Конечно, МАДПР, хоть и была писательской организацией, по

сути, разительно отличалась от привычного с детства Союза писателей СССР. Во-первых, потому что была международной, со своими штаб-квартирами в Праге, Нью-Йорке, Милане и Мехико. Во-вторых, потому что туда принимали далеко не всех писателей. И даже не всех представителей детективного жанра. А в-третьих, потому что это был такой очень закрытый клуб. Тайное общество. Масонская ложа, если хотите. Принимали в нее, правда, без всей этой напыщенной секретности, без специальных ритуалов и клятв на крови, однако вступивший в МАДПР однажды уже оставался в ней до конца.

Имена отцов-основателей МАДПР мы знали, что называется, наизусть. Помимо Семенова, туда входил основатель пражского театра «Фата Моргана» интеллигентный и худой Иржи Прохаска; усатый мексиканский писатель Пако Игнасио Тайбо Второй; бывший летчик уругвайских ВВС Даниэль Эчеваррия, известный тем, что угнал на Кубу американский истребитель с военно-воздушной базы под Монтевидео; милейший рыжий немец Фрэд Брайенсдорфер; итальянская писательница и по совместительству родственница монархов Монако — Лаура Гримальди, чьего сына некогда замели за участие в «красных бригадах», и вечный ее спутник Марко Тропеа из миланского издательства Mondadori; болгарский другарь Атанас Мандажиев, которого сперва Юлиан, а потом и все остальные называли то Сатанасом, то Ананасом.

Многие отцы-основатели во главе со своим фундадором уже давно перебрались в иной мир и, хочется верить, продолжили там бессмертное дело МАДПР, а те, что остались, вспоминают, надеюсь, ежегодные съезды этой странной организации как самые веселые и беззаботные дни во всей своей писательской жизни. Ведь Семенов не только оплачивал для многих из них поездки и пребывание в дальних странах, но и издавал их, мягко говоря, не слишком одаренные произведения многотысячными тиражами в СССР.

Октябрь. Мехико

Были ли у Семенова враги? И немало! А главным из них считался тот самый усатый мексиканец с длинным именем Пако Игнассио Тайбо Второй.

По виду он вроде бы тоже был левым, издавался неплохими тиражами в своей Мексике и даже несколько раз был переведен на русский язык. Не Курт Воннегут, конечно, но мужчина в своей латиноамериканщине — известный. Впрочем, как и все местные левые, а особенно левые мексиканские, отличался некоторым

троцкистским загибом, своего рода манией преследования. Всюду мерещились Пако тайные агенты КГБ с альпенштоками, заговоры спецслужб и тому подобная ерунда.

Вполне естественно, что главным у всех этих призраков был Юлиан Семенов.

«Ну что, — говаривал Пако обычно, встречая Юлика на очередном заседании МАДПР, — тебе уже присвоили звание полковника?».

«Недооцениваешь ты меня, дорогой, — отвечал ему Семенов, — я ведь давно уже генерал».

Сколько раз намекали Пако о том, что участие в ассоциации — дело сугубо добровольное. И уж коли тебе так не нравится его президент, напиши заявление о выходе. Препятствий чинить не будут. Однако мексиканец, помимо того что был с придурью, обладал еще и болезненным тщеславием. Что называется, изо всех сил тянул на себя одеяло. Ему самому хотелось быть президентом. Вернее так: самым главным детективным писателем.

Борьба Семенова и Тайбо Второго за президентское кресло — это отдельный, во многом даже юмористический рассказ, хотя сам Юлик ко всем этим схваткам относился чрезвычайно серьезно, жутко переживал, а как-то раз во время нашей поездки в Мексику втайне от посольства возложил венок на могилу Лео Троцкого — поступок по тем временам даже более героический, чем те, что совершал его собственный Штирлиц.

Дело в том, что формально «Совершенно секретно», как я уже говорил прежде, подчинялась Ассоциации, а стало быть, кто стоял у ее руля, тот мог рулить и газетой, и издательством, и недвижимостью, одним словом, всем тем, что успел создать Юлиан Семенов. Вот было бы весело, если бы досталось оно мексиканскому троцкисту Пако!

Но не досталось. К тому моменту, когда Пако наконец-то возглавил МАДПР, подоспела приватизация, и хозяйство Семенова оказалось, хоть и не в мексиканских, но оттого не менее ухватистых руках. А МАДПР с его уходом и сама почила в бозе. И теперь уже никто не вспоминает этот один из самых веселых писательских союзов.

Июнь. Ялта

Был у Семенова, впрочем, талант возможно даже более развитый, чем писательский. Талант друга. Уверен, мало кто из его друзей-товарищей назовет сегодня сюжеты и перипетии

большинства его романов, однако все без исключения помнят и по сей день хранят в своих сердцах те, поистине яркие, словно вспышки, дни, месяцы, годы дружбы с Юлианом Семеновичем.

У Семенова было много друзей. Гораздо больше, чем врагов. В Мюнхене. В Нью-Йорке. В Гаване. В Праге. В Ленинграде. В Крыму. И конечно в Москве.

Он мог позвонить любому. В любое время суток. Или отозваться сам из какой-нибудь затерянной гостиницы в самом чреве Берлина в половину третьего ночи. Готовый помочь, мчаться на другой край света, если того просит друг.

Он не искал в дружбе выгоду. А должности, звания, общественное положение человека были для него не слишком важны. Не по такому, прагматичному принципу выбирал Семенов друзей. Они либо нравились ему, либо нет. Только-то и всего.

Помню, как-то раз он собрал друзей в Ялте. Человек сорок. Оплатил дорогу. Номера в «Ореанде». Спускался к ним каждый день за сорок верст со своей дачи в Мухалатке, пил с друзьями холодное «Инкерманское», строил планы по приобретению Ялтинской киностудии и строительству автобана из Крыма до самого Парижа, потом пил таблетки из набитой медикаментами сумки и вновь возвращался в Мухалатку на заднем сиденье автомобиля, которым управляла его младшая дочь Ольга. А назавтра все повторялось вновь.

Семенов не уставал дружить. Не уставал встречаться, разговаривать, радоваться общению. Дружил взахлеб. Точно так же, как и писал. Он вообще жил страстно.

Впрочем, была в его жизни и еще одна, недосказанная, незавершенная дружба.

Еще с юности, с работы в «Огоньке». С Генрихом Боровиком их связывали самые искренние отношения. Потом разрыв. И долгие годы забвения. Прозрение, впрочем, пришло уже слишком поздно. На похоронах Юлиана Генрих признался, что потерял своего самого лучшего друга. Какого уже не будет никогда. Мне показалось: он говорил честно.

Ноябрь. Париж

Смерть Саши отрекошетила и в Юлиана. Еще не убила. Но уже ранила в самое сердце.

Они уехали в Париж вместе, а вернулся Семенов оттуда вместе с цинковым гробом, в котором лежал его заместитель.

Эта странная история и до сих пор остается одним из секретов газеты «Совершенно секретно».

Накануне Саша был абсолютно здоров. Сорок с хвостиком. Каждое утро — пробежка пять километров. Атлетическая фигура. Накаченные мышцы.

Еще утром вместе с Эдом Лимоновым гуляли по Парижу. Потом прием в модном журнале V.S.D. Здесь и почувствовал себя дурно. Вызвали такси. И доктора — прямо в отель. Но, оказалось, слишком поздно. Врач констатировал смерть, которая показалась бы странной даже непрофессионалу: русский журналист просто изошел кровью, которая сочилась буквально отовсюду.

Парижская полиция назначила вскрытие, но даже несмотря на то, что внутренние органы Саши оказались разрушены, не усмотрела в этом ничего необычного. И, поспешно закрыв дело, отправила тело в Москву.

Здесь, по просьбе Семенова, провели новое исследование. И установили, что Сашу отравили.

Кто отравил? Зачем? Как? — Все эти вопросы так и остаются до сих пор без ответа.

Что-то попыталась расследовать «Совершенно секретно», какие-то, на мой взгляд, слишком уж странные домыслы привел в своей «Книге мертвых» Эдуард Лимонов, который по воле случая или по собственной воле оказался втянутым в эту детективную историю.

Однако увлекшись расследованиями, никто отчего-то не обращал внимания на Юлиана. А ведь он переживал случившееся, быть может, острее остальных. И именно его сердце оплакивало Сашу, наверное, горше многих. А еще он думал о том, что Сашу убили по ошибке. Что на самом-то деле целились в него.

Декабрь. Бухарест

Господи, как же он орал на меня, когда в тот день я вернулся из Шереметьево ни с чем.

Семенову было бесполезно доказывать, что Бухарест не принимает, а местный аэропорт «Отопень» с утра занят мятежными войсками.

«Насрать, — кипятился Семенов, — езжай поездом, лети в Будапешт, переходи границу. Как хочешь, так и добирайся. Там революция! И мы должны быть на ней первыми. Как ты только этого не понимаешь?!»

Мне нечего было ему возразить. Становилось стыдно. В мои годы он уже прошел войну во Вьетнаме, пробирался вместе с вьетконговцами через пропахшие напалмом джунгли тропой Хо Ши Мина, сидел в окопе, хоронясь от американских «ковровых

бомбардировок» и потому имел полное моральное право упрекать меня в журналистской нерасторопности.

И тем не менее, в Бухаресте «Совсек» все равно оказалась первой.

Преодолевая протесты многочисленных родственников, перепуганных военными действиями в Румынии, преодолевая непогоду и дипломатические санкции, я вылетел в Бухарест той же ночью вместе со съемочной группой CNN.

А уже на следующий день под треск АКС диктовал свои первые репортажи из корпункта «Правды», где приютил меня старый приятель Володя Ведрашку.

От тех предновогодних дней в Бухаресте осталось несколько публикаций в газете и маленькая повесть «Похороны луны», которую опубликовал семеновский журнал «Детектив и Политика». Осталась Юлианова заповедь, которой следую по сей день: история не повторяется дважды. И если тебе довелось стать очевидцем таких событий, будь благодарен судьбе.

Апрель. Москва

Самым шумным местом в его мастерской на улице Чайковского, кто помнит, конечно же была кухня. Остальное пространство занимал широкий письменный стол с портативной гэдээровской пишущей машинкой Colibri и кровать, заправленная теплым пледом. Вот, собственно и все!

Хотя нет же. Думаю, многие тогдашние завсегдатаи семеновской мастерской помнили еще его холодильник, доверху набитый вкуснейшим провиантом из валютного магазина «Березка», настоящим «скотчем», белужьей икрой, парной бараниной с Центрального рынка.

Семенов был хлебосол. И народ у него под хорошую-то выпивку да закуску засиживался до поздней ночи. В громких, до хрипоты спорах. В воспоминаниях. В заботах о спасении Родины иные оставались и до самого утра. Нет, это не были те, по большей части бессмысленные кухонные посиделки диссидентов середины семидесятых. Застолья у Семенова всегда были позитивны и всегда заканчивались каким-нибудь результатом: статьей в газете, коллективным письмом в политбюро, новым фильмом на ТВ или журналистским расследованием.

В лучшие времена «Совсека» кухня Семенова вообще превратилась в своего рода штаб, где принимались и осуществлялись самые судьбоносные решения, принимались на работу лучшие журналисты и даже выдавались зарплаты.

Именно здесь, на кухне, Юлиан Семенович рассказал мне о главных книгах своей жизни. Когда его отец Семен Ляндрес освободился из тюрьмы, он велел своему сыну обязательно прочитать именно их: «Исповедь» Жан Жака Руссо и «Жизнь Бенвенуто Челлини».

Июнь. Москва

Свидетелей той трагедии, что случилась с Семеновым, осталось немного. А может быть, и вообще никого не осталось. Ведь в то солнечное утро, когда Юлиан на своем форде «скорпио» отправлялся к Речному вокзалу, рядом с ним было всего двое — водитель Семенова Александр Иванович и Артем Боровик.

Ехали на переговоры с первым заместителем австралийского медиамагната Руперта Мэрдока Джоном Эвансом. Эти переговоры, насколько мне известно, через своих знакомых устраивал Боровик с целью привлечения в «Совершенно секретно» теперь уже не советских, а западных инвестиций.

О чем уж они там говорили, я не знаю. Только на следующий день Артем рассказал мне, что Семенов вдруг захрипел и повалился на него всем своим телом. Рассказал с возмущением, как долго его, известного советского прозаика, пришлось устраивать в ближайшую Боткинскую больницу. И как он долго лежал в коридоре в одних трусах, укрытый больничной, нестираной простыней.

Слава Богу, когда появилась такая возможность, Семенова перевели в госпиталь имени Бурденко, к знаменитому хирургу Коновалову. Там Юлику сделали операцию. Говорили, что успешно. Хотя, по правде сказать, говорилось это скорее в угоду его родным и близким.

О том, что Юлиан Семенович никогда не выберется из своего сумеречного мира, мне стало ясно, лишь только я увидел его в отдельной госпитальной палате. Мне достаточно было встретиться с ним одним только взглядом, чтобы сразу увидеть в нем непроглядную, страшную тьму. И понять: он не вернется к нам никогда.

Октябрь. Красная Пахра

Его возили в австрийский Инсбрук на реабилитацию. То и дело укладывали в московские военные госпитали, но все остальное время он теперь жил на даче в Красной Пахре, которая

вдруг объединила вместе весь Семеновский клан — и Юлианову маму, и Екатерину Сергеевну, и Дунечку с Ольгой.

Отныне он оказался в плену всех этих женщин, из которого уже не вырвется до конца своих дней. Женщины руководствовались любовью. Чувством долга. Чувством ответственности и сострадания. Но если бы его спросили, а он сумел ответить, думаю, он ответил категорично и жестко: невмоготу ему такой плен.

Как любой свободолюбивый мужчина, Семенов больше всего боялся окончить свою жизнь так, как он ее в результате окончил. Его кумиры, его герои, его иконы сгорали в огне революции, в захлебывающихся атаках за безымянную высоту, в предательских объятиях роковых женщин или, на худой конец, с пулей в голове из собственного нагана. Но уж никак не на кроватке со стальными решетками, чтобы случайно не грохнулся на пол. Не в окружении множества женщин, которые вынуждены подкладывать под тебя судно. В безрассудстве. Во тьме.

Всего лишь два или три раза приезжал я к Семенову в Пахру во время его болезни. И всякий раз уезжал оттуда с тяжелым сердцем.

Со временем он как будто стал меньше ростом. Превратился в седого, морщинистого подростка со стрижеными ежиком волосами и бородой. Теперь он лежал в своей детской кроватке и улыбался, глядя куда-то мимо. А потом начинал плакать. Точно так же молча, беззвучно.

Все это время я пытался убедить себя, что это уже не он. Что тот Юлик Семенов, которого я всегда любил и помнил, сражен выстрелом в голову из снайперской винтовки на заднем сиденье форда «скорпио» кофейного цвета пару лет тому назад. Отчасти это было действительно так. Пуля неведомого снайпера навеки погасила его сознание. Лишила возможности думать, творить, созидать. И мы, остававшиеся с ним рядом, переживали эту потерю острее всего. А что стало с самим Юлианом? Что творилось в его мятежной душе?

Теология называет такое состояние человека душевными сумерками. Считается, будто внутренний мир наш вдруг словно слепнет, не видя ни прошлого, ни будущего, ни зла, ни добра. И пребывать ему в таком состоянии вплоть до самой смерти, когда душа наконец изыдет из бренного тела и освободится навек.

Но за что все это Юлиану?

Иные говорят: слишком страстно жил.

Да, страстно.

Любил всем сердцем. Пил — вусмерть. Писал до изнеможения. Ненавидел — до спазма в желваках.

Это про таких, как он, писал несколько сотен лет тому назад его любимый персидский поэт Джалал ад-дин Руми:

Страсть грешну душу очищает,
Страсть две души в одну сплавляет.

Борись с проказой безучастья,
Жги язву страстью, страстью, страстью!

Размышляя о последних месяцах Юлианского календаря, я все чаще и чаще прихожу к заключению, что сумерки его души не были наказанием, но очередным и, должно быть, самым главным испытанием в его жизни, после которого его душа явилась на Божий суд уже очищенной и совсем невинной.

Так что теперь я просто верю, что душа Юлика пребывает ныне в небесных кущах. Что ей там наконец-то светло и радостно. Как никогда.

P.S. Юлианские календари особые. В них всего десять месяцев. Потому как, чего и говорить, он мог и должен был прожить на этом свете гораздо больше. Жаль, что этого не случилось. Жаль, что его нет. Хорошо, что он жил вместе с нами. Оставив в наших душах иное времяисчисление. По Юлианскому календарю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Истинного художника всегда должно преследовать размышление о смерти. Только тогда он полюбит жизнь по-настоящему. Надо всегда торопиться — потом станет ясно, где зазря поторопился, а где преступно медлил. Все надо отдавать, все. Люди разберутся потом, что им пригодится, а что нет. Мы все медлим из-за комплекса и тщеславия. Хотим создать бессмертное, великое. На века. Не нам это определять, а векам.

Юлиан Семенов

Я очень надеюсь, что все приведенные материалы помогли любителям творчества Юлиана Семенова лучше его узнать. Многие высказывания друзей и проницательных западных журналистов, с ним встречавшихся, говорят о том, что он вплотную подошел к проблеме борьбы за власть. Отцу, в силу ума и политизированности, стало понятно слишком многое. Если проанализировать его близкие отношения с Гдляном, смелые выступления со страниц «Совершенно секретно», неоднократные обвинения в адрес высокопоставленных коррумпированных чиновников, его постоянные утверждения об их связи с мафией, знание архивов, то ответ напрашивается сам собой — Семенов становился опасен. Эмиль Золя умер в расцвете сил, после выступления в защиту Дрейфуса — якобы угорел, но историки все чаще думают об у г о д н о с т и его ухода. Уход Семенова был также угоден многим…

В моей книге об отце, вышедшей в 2006 году в серии ЖЗЛ, я высказала предположение, что, возможно, писателю, перенесшему в 1990 году инсульт, «помогли» получить второй. Визит к нему, больному, вечером в больницу двух незнакомцев, оставшихся с ним некоторое время наедине, был более чем подозрителен. Но сенсация должна основываться на неопровержимых фактах — у меня их нет. Есть лишь страшные и горькие предположения…

Отца не стало в 1993 году. Страна тогда неузнаваемо, стремительно менялась. В течение долгого времени — в плохую сторону. То, чего так опасался Юлиан Семенов, произошло:

Россия растаскивалась, миллионы людей обманывались. Как во все смутные времена, подняла голову всяческая мразь, национальное самосознание и высокую национальную гордость, пробуждению которых так радовался отец, сплошь и рядом стали подменять темным национализмом, в стране, ценой миллионов жизней победившей гитлеризм, появились русские нацисты. Институт мировой литературы им. А. М. Горького возглавил непримиримый идейный враг Семенова — Феликс Кузнецов.

Имя создателя Штирлица целое десятилетие намеренно замалчивалось, а прилавки книжных магазинов заполонили сомнительные сочинения. В океане пошлятины терялись имена прекрасных мастеров. Но российский читатель — читатель умный и, как ни старались испортить его литературный вкус, остался разборчивым. Теперь его на мякине не проведешь: возьмет книжку очередного новоиспеченного «гения», полистает и поставит обратно на магазинную полку. А настоящих писателей читает и читать будет.

Ныне Семенова признали классиком жанра детективного и политического романа. Появились и молодые авторы — достойные, интеллектуальные. Один из них при встрече со мной восторженно сказал: «Учился на книгах Юлиана Семенова — он мой кумир!» О подобного рода ситуациях замечательно сказал в свое время сам отец: «Мир живет по законам логики и долго терпеть безумия не сможет. И дело тут не в личностях, а в некой надмирной системе, управляющей нами по своим, неизменным законам».

В последнее время о папе появлялись «воспоминания», правды в которых, прямо скажем, было мало. Талантливые — хорошо их придумывали, бездарные — глупо врали, но и в том и в другом случае читатели не получали никакой достоверной информации. А автор легендарного Штирлица — настоящего российского интеллигента и патриота, феноменального литературного героя, пережившего развал Союза и смену режима, — заслуживает того, чтобы его читатели знали о нем правду.

Хочется верить, что с этой задачей наш сборник справился.

Ольга Семенова

notes

Примечания

1

На письме пометка рукой Ю. Семенова «девочка утонула». *(Здесь и далее примечания составителя.)*

2

Эта телеграмма, очень обрадовавшая Юлиана Семенова, тем не менее, не достигла желаемой цели. От выдвижения на пост депутата Юлиан Семенов отказался. Считал, что дело писателя — литература, а написать ему хотелось еще так много, что совместить литературную деятельность с политической было невозможно.

3

Речь идет о разгромной статье Т. Ивановой, появившейся в «Известиях».

4

Поэтесса и детская писательница Н. П. Кончаловская была тещей Юлиана Семенова, но поскольку в их отношениях всегда доминировало творчество — вместе путешествовали по Китаю и написали об этом книгу, читали рукописи друг друга, делали замечания, то эти два письма Натальи Петровны — к зятю с «рецензией» и к зятю и дочери в Коктебель я вношу в раздел переписки с коллегами.

С. В. Михалкова.

Н. С. Михалков, сын Натальи Петровны.

7

Владимир Грамматиков.

8

Старшая дочь Юлиана Семенова.

9

Приятельница Натальи Петровны.

10

Хуан Гарригес — один из лучших друзей писателя, испанский бизнесмен и сын министра юстиции в постфранкистском правительстве Испании — дона Антонио Гарригеса.

11

Юлиан Семенов был в командировке, а цензура в это время потребовала купировать многие пассажи романа.

12

Быков, которого ныне называют совестью Белоруссии, был Юлианом Семеновичем любим и ценим.

13

Сенгор был не только политическим деятелем и бессменным президентом своей страны в течение двух десятилетий, но и талантливым литератором.

14

Немецкий ученый и писатель. Автор нашумевшей в ФРГ книги «Что русские читают? Что русские смотрят?» о 24 самых читаемых авторах в СССР. Юлиан Семенов неоднократно гостил у Мэнарта дома — в Шварцвальде (Черном лесу).

15

Мама Юлиана Семенова в то время гостила у него в ФРГ.

16

Краткое наименование партии ХДС/ХСС.

17

Георг Штайн, бывший немецкий солдат, долгие годы безвозмездно занимался поиском культурных ценностей, пропавших и похищенных с территории СССР во время войны. Нашел и вернул в Россию коллекцию уникальных псковских икон. Вместе с Юлианом Семеновым искал Янтарную комнату, тратя на поиски немалые средства. Его поддерживал их общий друг — барон Фальц-Фейн.

18

Речь идет об одной из многочисленных версий о местонахождении Янтарной комнаты.

19

Екатерина Григорьевна — сторожиха на даче у Юлиана Семенова.

20

Перед работой над каждым новым романом Семенов тщательно изучал документы, консультировался со специалистами по той или иной эпохе. О степени серьезности проводимой им работы говорит следующее письмо видного российского историка.

21

Немецкий ученый и писатель.

22

Юлиан Семенов на перезахоронение, им и бароном организованное, властями также приглашен не был.

23

Штайна.

24

Русский коллекционер, живший на юге Франции. Барон хотел купить и переправить в Россию его коллекцию русской живописи.

25

Вскоре Штайн покончил с собой (или был убит). Его труп нашли в лесу — он сделал себе харакири. Странный способ сведения счетов с жизнью для старого немецкого солдата, даже если учесть, что у него начались финансовые проблемы.

Похороны Штайна организовал барон. Юлиан Семенов написал об их совместных поисках Янтарной комнаты и других культурных ценностей книги «Аукцион» и «Лицом к лицу» и пьесу «Поиск-891», поставленную в театре «Современник».

26

Французский политический деятель, кавалер ордена Почетного легиона, соратник де Голля.

27

Среди всех писателей, с которыми общался Юлиан Семенов, одним из самых светлых и душевных был чех Иржи Прохаска.

Высокий, худой, «профессорского вида» автор сценария чудесного фильма «Четыре танкиста и собака» — бестселлера семидесятых, радости всех российских детей и подростков.

Крепкая дружба связала их в 1986 году, в момент несколько авантюрного основания — по идее Юлиана Семенова — Международной ассоциации детективного и политического романа, о чем Прохаска с юмором рассказывает в своих воспоминаниях. Нижеприведенное письмо так же о созданной ассоциации.

Специфика русского языка Прохаски сохранена.

В. Маяковского.

29

Писатель, с которым у Юлиана Семенова и Прохаски были разногласия.

30

В письме идет речь о конфликте, возникшем на съезде писателей Международной ассоциации детективного и политического романа в Праге в связи с их требованием в адрес властей освободить из заключения Вацлава Гавела.

31

Круглов — ветеран Великой Отечественной, писатель, долгое время бывший в опале.

32

В конце 80-х годов у Юлиана Семенова установились теплые и доверительные отношения с Гдляном. Он приглашал его на вечера «Совершенно секретно», проходившие при стечении тысяч читателей, давая ему тем самым редкую возможность высказаться. О степени противодействия следователю со стороны властей можно судить по этому письму.

33

Юлиан Семенов не забыл жестокого, грубого полковника Кобцова. Он вывел его в романе «Майор Вихрь» под этой же фамилией в роли негативного персонажа из разведки.

34

Молодые родители Юлиана Семенова — Семен Александрович и Галина Николаевна в течение первых недель жизни сына — пока не набрали достаточно денег на хорошую колыбель, — укладывали его спать в фанерную коробку.

35

Письмо мамы писателя — Ноздриной Галины Николаевны в Институт восточных языков. Написано после его исключения. Вскоре Ю. Семенов был в институте восстановлен и защитил диплом.

36

Юлиан и Екатерина Семеновы поженились 12 апреля 1955 года.

37

Юлиан Семенов писал свою первую повесть «Дипломатический агент» — о российском ученом — востоковеде и дипломате Виткевиче.

38

Так переименовали Юлиан Семенов, Андрон Сергеевич и Никита Сергеевич Коктебель.

39

Так называли в семье маму Юлиана Семенова — Галину Николаевну.

40

Речь идет о трагическом случае на охоте. Подробно о нем рассказано в следующей главе.

41

Из-за переживаний в связи с несчастным случаем на охоте у Юлиана Семенова начался тромбофлебит.

42

Юлиан Семенов дважды опаздывал на самолеты, которые разбивались: один раз — во время творческой командировки в Китае и второй раз — в России. О последнем случае рассказывает В. Ливанов. Из-за этих странных совпадений Юлиан Семенов очень не любил летать, хотя летал постоянно.

43

Так маленькая дочь Юлиана Семенова называла Москву.

44

Дача в Поселке писателей на Пахре.

45

Писатель Тендряков.

Голубовский.

47

«Друзьями на Арбате» Юлиан и Екатерина Семеновы называли ломбард на Арбате, в который они в молодости постоянно наведывались, залатывая дыры в семейном бюджете.

48

Так Юлиан Семенов называл супругов Боровиков.

49

Отношения родителей Юлиана Семенова в конце их совместной жизни сильно испортились, и они расстались.

50

Писатель-фронтовик, страстный охотник и друг Юлиана Семенова Александр Беляев.

51

Пехорка — шутливое название Поселка писателей на Пахре.

52

Так Юлиан Семенов часто переделывал слово «трезвый».

53

Любимая церковь Юлиана и Екатерины Семеновых в Москве, в Брюсовом переулке — церковь Воскресения.

54

В этом предложении Ю. Семенов перечисляет названия своих произведений.

55

Домработница.

56

Маленькая.

57

Юлиан Семенов любил давать себе шутливые имена.

58

Повесть «На „козле“ за волком».

59

Эстрадный артист из Ташкента, хороший знакомый Юлиана Семенова.

60

Постучи по дереву *(англ.)*

61

Артист Ливанов.

62

Два нижеприведенных письма — варианты одного из отправленных дочери писателя Дарье. Одно было получено, другое осталось в архиве. Оба дают представление о той трагической ситуации, в которой писатель оказался.

63

Ученый и друг детства Юлиана Семенова.

64

Бабушка Екатерины Семеновой — О. В. Сурикова, в замужестве Кончаловская.

65

Наташа Карасева — подруга Дарьи.

В то время средняя зарплата составляла 150 рублей в месяц.

Траты Е. С. Семеновой.

68

Письмо теще — Н. П. Кончаловской.

69

Атей Юлиан Семенов иногда называл дочь Дарью.

«Кузовочками», «кузьмами» или «кузьмиными» Юлиан Семенов шутливо называл дочек.

71

Попугай.

Лилипутом Юлиан Семенов называл Р. Л. Кармена, одного из лучших своих друзей, незадолго до того скончавшегося.

73

Старый Лыс — шутливая кличка Юлиана Семенова.

А. А. Вишневский — близкий друг Н. П. Кончаловской.

Режиссер Анатолий Бобровский.

76

МАХУ — Московское художественное училище, законченное Дарьей Семеновой.

77

Так за глаза называли старушку-сторожиху.

Собака Юлиана Семенова.

79

Статья Юлиана Семенова о Георге Штайне, искавшем похищенные нацистами ценности.

В. И. Кеворков — друг Юлиана Семенова, полковник контрразведки, ныне генерал-майор в отставке, писатель.

81

Друг Юлиана Семенова в Абхазии.

Друг Юлиана Семенова.

83

Нижеприведенное письмо — ответ Юлиана Семенова на статью Чемесовой в «Посеве» от 3 июня 1962 года после выхода его антисталинской повести «При исполнении служебных обязанностей». Несмотря на то что советская критика встретила повесть в целом плохо, хвалебная, на первый взгляд, статья Чемесовой огорчила Юлиана Семенова еще больше.

84

О случае на охоте.

Книги Семенова часто издавали за рубежом. Особенным успехом пользовались «Семнадцать мгновений весны», вышедшие во многих странах, в том числе в Америке и во Франции, но под другим названием.

Романтическое российское прагматичному западному читателю ни о чем не говорило, поэтому «Мгновения» превратились в интригующий «Заговор Гиммлера». Также были изданы «Петровка, 38», «Майор Вихрь», «ТАСС уполномочен заявить».

Со своими переводчиками Семенов поддерживал теплые отношения. Здесь приводятся два письма английскому переводчику.

86

Роман Кармен.

Евтушенко.

В конечном итоге роман появился без изменений, которые изначально требовали власти. Возможно, они сами поняли абсурдность создавшейся ситуации. Через три года, при появлении романа «Семнадцать мгновений весны», Юлиан Семенов вновь столкнется с «советчиками». На этот раз они попросят ввести в текст произведения «Центр», в романе отсутствовавший, дескать «не мог Штирлиц столь умно действовать сам, без мудрых советов сверху».

89

А. Т. Шаповалов в годы Великой Отечественной войны был военным разведчиком, внедрившимся в абвер на территории Кракова. Юлиан Семенов познакомился с ним при работе над романом «Майор Вихрь».

90

Давно уже нет на свете участников драмы, о которой идет речь в нижеприведенном письме, но некоторые коллеги из литературной среды ее до сих пор вспоминают.

Мне довелось читать телеинтервью одного писателя, бывшего эмигранта, для юбилейного фильма Семенова — в честь его 75-летия (дали друзья-журналисты, прежде чем смонтировать фильм, «выбрав» хорошие фразы): «Вся его литературная жизнь была сломана в один момент! — горячо говорил писатель. — Вы что, не знаете, что с ним произошло?! Это были не сплетни, просто люди узнавали и обсуждали. Во время охоты под его пулю попал егерь. Случайно и совершенно насмерть. И все говорили, что будет суд, и вряд ли его пощадят».

Несчастный случай произошел на глазах у Е. С. Семеновой. Когда раздались выстрелы, одним из которых был смертельно ранен егерь Н. Осипов, она сразу подбежала к раненому: возле него, отбросив в сторону ружье, стоял на коленях… актер Сергей Столяров и отчаянно плакал. Сперва думали, что виновник — он, потом подозрение пало на Ю.С.

У адвокатов есть девиз: «Лучше оправдать виновного, чем осудить невиновного». В той трагической ситуации суд руководствовался иными мотивами.

Следствие продолжалось долго: показания свидетелей были противоречивы. Столяров и Семенов уверены, каждый, — в собственной невиновности, эксперты затруднялись с безапелляционным ответом. Перед судьей встала непростая задача — кого осудить за случившееся? Известный, заслуженно любимый народом талантливый пожилой артист — с одной стороны и не менее талантливый, но молодой писатель — с другой.

Виновным признали Семенова. Быть может, суд решил, что молодому перенести такое легче? Оказалось, что нет — он горько и тяжело переживал происходившее. Папа не рассказывал мне об этой истории, поэтому много лет спустя, уже после его смерти, я сама сделала вывод о его невиновности, прочтя это письмо.

«Семнадцать мгновений весны».

Роман вышел под названием «Бриллианты для диктатуры пролетариата».

93

Фильм снят не был.

Благодаря вмешательству Ю. В. Андропова фильм стал десятисерийным.

95

Письмо написано в период работы Юлиана Семенова спецкором «Литературной газеты» немецкому ученому Н. Г. Мэнарту, чьи письма приведены в разделе писем друзей и коллег. Мэнарт в тот период готовил свою книгу «Что русские читают? Что русские смотрят?» и в связи с этим анкетировал самых известных писателей СССР, в том числе Юлиана Семенова.

96

Граф Ламздорф — немецкий политический деятель, потомок царского министра иностранных дел. Граф на письмо ответил и вскоре с Юлианом Семеновым сдружился.

97

Письмо написано в период работы Ю.С. в ФРГ спецкором «Литературной газеты».

Речь идет о кинофильме «ТАСС уполномочен заявить».

Фальц-Фейн.

100

В своем ответе Лифарь доверительно пожаловался Ю. Семенову на сложности общения с представителями советской власти, дескать, переговоры шли еще при Фурцевой, «а воз и ныне там».

Юрий Владимирович одобрил эту идею, и в результате появилось произведение «Противостояние», с главным отрицательным героем Кротовым — бывшим нацистским приспешником, полицаем. Вскоре Юрий Владимирович скончался. Юлиан Семенов смог без его помощи открыть «Театр детектива» с В. Соломиным и В. Ливановым, но киностудия героических фильмов для молодежи так и осталась мечтой.

102

Михайлов Марк — друг Юлиана Семенова, бывший работник отдела идеологии ЦК.

103

Так Юлиан Семенов называл дочку друга.

Ю. Семенов не скрывал своего негативного отношения к Ф. Ф. Кузнецову из-за его крайне националистических убеждений и ярко выраженной национальной нетерпимости, постыдных, по мнению Семенова, для любого русского писателя.

105

Главному редактору одного из толстых журналов (фамилия отсутствует).

Как можно констатировать из многочисленных писем Юлиана Семенова руководителям страны, он в течение долгих лет пытался добиться патриотического издания для молодежи.

«Нельзя быть Иванами, не помнящими родства!» — повторял часто отец и мечтал регулярно рассказывать со страниц журнала о героических страницах российской истории.

Патриотический журнал для молодежи, — казалось бы, что нужнее и проще? Но на деле все оказалось весьма сложно. Несмотря на веские доводы и настойчивость, добиться разрешения у властей не получалось.

Было ли дело в инертности системы или личном равнодушии тех, к кому Семенов обращался, сейчас сказать сложно. Но после долгих лет «стучанья в закрытые двери» он решился на невероятный по тем временам шаг — создание Международной ассоциации писателей со своим печатным органом. Семенов смог «обустроить» Ассоциацию в России и начать выпуск «Совершенно секретно» и «Детектив и Политика».

Большинство последующих писем Ю. Семенова в высшие эшелоны власти связаны с этим его детищем.

107

Пьеса была запрещена цензурой и утеряна. Подробнее об этом в воспоминаниях В. Ливанова.

108

Нижеприведенное письмо в политбюро дает представление о том, какие препоны встали на пути писателя, когда он решил основать журнал «Детектив и политика» и газету «Совершенно секретно». Только Семенову — с его умением настаивать на своем, — оказалось под силу пробить непробиваемые стены советской партийной бюрократии.

109

Ответ Юлиана Семенова на статью Б. Надеина по поводу фильма «Большая игра».

110

Это последнее письмо Юлиана Семенова. В мае 1990 года по дороге на переговоры с австралийским магнатом у него случился инсульт, после которого ему не суждено было подняться.

111

Богачев — главный герой повести Ю. Семенова «При исполнении служебных обязанностей».

Кончаловский.

113

Случай на охоте.

«Папой» Хемингуэя называли друзья и близкие.

115

Французская секретная служба.

116

Лаврентий Павлович Берия.

117

Набросок к «17 мгновениям весны».

118

В этот период Юлиан Семенов был там военным корреспондентом.

119

Отбывал срок под Магаданом как политзаключенный.

120

Юлиан Семенов путешествовал по Японии в качестве собственного корреспондента «Правды», готовя серию статей по теме «Технический прогресс и психология».

121

«Он убил меня под Луанг-Прабангом».

122

Немецкая журналистка, хороший друг Ю. Семенова.

123

Коррепондент Э. Мнацаканов с женой — двоюродной тетей Юлиана Семенова.

Друг Юлиана Семенова, журналист Сырокомский.

125

Дочь Дарья.

126

Специалист по китайскому языку, путешествовавший вместе с Юлианом Семеновым, Е. Евтушенко и С. Михалковым.

127

Западные журналисты отказывались верить в то, что большую часть денег за публикации книг советское государство забирало в казну и прозвали Юлиана Семенова мультимиллионером, что, конечно, истине не соответствовало.

«Репортер».

129

Сосед по дому.

Сын дяди писателя — Ильи.

Б. Григорьев и И. Клебанов просили о помощи А. Боровика, взявшего в свои руки газету «Совершенно секретно» после болезни Юлиана Семенова, но тот фильм финансировать отказался.

Т. И. Аронова удачно защитилась. Позднее читала в Филологическом институте в Ташкенте лекции по творчеству Юлиана Семенова.

133

Национальном афганском костюме, подаренном Ю. Семенову друзьями из Кабула.